ИНОСТРАННАЯ литература

1

1968

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР — Осквернитель праха . 8
ГЕРМАН КАНТ — Актовый зал 93

РАССКАЗЫ

КРИШАН ЧАНДАР — Прекрасный принц. Отставка сатаны. Справедливость Викрамадитьи 157

СТИХИ

АЛЬФРЕДО ВАРЕЛА — Слово борцам! (Отрывок из поэмы) 3
КОГДА КАЖДЫЙ СТАНОВИТСЯ СОЛДАТОМ. ТО ХЫУ, ХЮИ КАН, ТХУ БОН, ХОАНГ ЧУНГ ТХОНГ, ТИМ ЧАНГ, СУАН ХОАНГ, НГУЕН ДИНЬ ТХИ, НГУЕН СУАН ШАНЬ, АНЬ ТХО, ТИНЬ ХЫУ, ТХАНЬ ХАЙ (Стихи вьетнамских поэтов. Вступление Ирины Левченко) 80
ИЗ ИТАЛЬЯНСКОЙ ПОЭЗИИ — ВИТТОРИО СЕРЕНИ (Вступление Л. Вершинина) . . 154
АМРИТА ПРИТАМ — Лирические стихи (Из книги «Черная роза») 176

1

ЯНВАРЬ

1968

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
Москва

КРИТИКА

А. ЗВЕРЕВ — «Маленький человек» и безумный мир 181

А. СНИГИРЦЕВ — Варфоломеевская ночь китайской литературы 189

ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ

АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ — Небо Бориса Пастернака 199

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

МАРТТИ ЛАРНИ — Раздумья о реализме . . 204

ПУБЛИЦИСТИКА

ИРЕНА ДУБСКАЯ — Американский год (Отрывки из книги) 207

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

Л. ЖАДОВА — Фернан Леже 241

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Заметки на полях зарубежных газет и журналов

Н. Н. — Мера зрелости 254

А. КАРЕЛЬСКИЙ — Мятеж в шпрингеровской империи 255

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

Эльвио Ромеро — Так поет Пабло Неруда. ◇ Морис Ваксмахер — Однотомник Аполлинера 258

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

В. Полюдов — Продолжение традиции. ◇ Т. Мотылева — Связи Толстого с Польшей. ◇ А. Елистратова — «Пирамида» Уильяма Голдинга 260

НАШИ ГОСТИ

Л. СИМОНЯН — Нелегкая жизнь Герберта Иобста 267

М. САЛГАНИК — На бенгали и урду... . . . 270

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника 274

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА 287

На обложке: Гобелен французского художника ЖАНА ЛЮРСА (фрагмент).

АЛЬФРЕДО ВАРЕЛА

СЛОВО БОРЦАМ!

ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ

Перевод с испанского и вступление
РИММЫ КАЗАКОВОЙ

Пламенем Октябрьской революции зажглись сердца аргентинских патриотов, основавших полвека назад — первой на континенте после Октября — партию коммунистов Аргентины.

Пятьдесят лет существования Коммунистической партии Аргентины — это пятьдесят лет героической борьбы в очень тяжелых условиях запретов, «антикоммунистических законов», полицейских преследований, кровавых репрессий. Много жертв понесла партия, мужественно защищающая интересы аргентинского народа. И ныне компартия находится в глубоком подполье.

Альфредо Варела написал большую поэму о героях-коммунистах Аргентины, погибших в неравной борьбе. Отрывок из этой поэмы публикуется в журнале.

Дайте мне сказать их имена,
которые из меда и кебрачо *,
из радости и горестного плача,
которыми цветок их вен означен
и сотканная му́кой седина.
Дайте мне познать их боль
и соль,
которой их отвага посолила,
и любовь, что путь им озарила,
счастьем их улыбки одарила,
стала стержнем их бесстрашных воль.

Дайте мне быть их последним словом,
их языком, и нежным, и суровым,
посланьем, кричащим с листа.
С пьедестала из их костей,
их растерзанной плоти
моим голосом
говорят их уста.

---

* Дерево очень твердой породы.

(Не я владею своим голосом. Им владеют они.
Не я нахожу слова. Мне их диктуют они.
Моим горлом, моей рукой, клавишами моей души
они распоряжаются из своей тиши.
Они подчиняют грамматике мое бормотанье бессвязное.
Не мною, а ими сказано все сказанное.
Я всего лишь их рупор, покорный смычок, эхо
безмолвных речей, беззвучного смеха.)

Сколько мертвых,
сколько у партии траурных дат.
Сколько язв на груди ее, сколько ожогов, жал.
Сколько ирисов без воды. Сколько дроздов без песни.
Сколько кровавых рек — по морщинам земных пластов.
Сколько высоких нив — в бездне.
Сколько, о, сколько сгинуло великодушных цветов!

■ ■ ■

Усади их рядом с собою, товарищ,
протяни сигарету.
Пожми им руки, хотя и понимаешь,
что рук у них нету.
У них нет ни рук, ни тела, ни жизни самой.
Но разве ты не знаешь, что, покинув могилы,
смешавши солнце, воздух и песню с собой,
летят они над миром?

Они не исчезли бесследно.
Ты видишь, из земли сочится свет?
Наступает рассвет.
Это их след.
Это их сердца
прорастают, как зерна, светло и бессмертно.

Понимаешь, они живы!
Все слова о том, что их нет,— лживы!
Усади их за стол, когда вся семья в сборе,
с соседями познакомь.
У оловянной стойки, где пьют и спорят,
угости коньяком.
Позови их —
это простого проще —
в клуб, на площадку, где гоняют мяч, на площадь.

Пригласи их на митинг. Не забудь известить о сроке,
когда ячейке собираться положено.
Они придут. В этом деле они — за порядок строгий.
Да и во всем на них положиться можно.
Они приходят, если мы о них помним.
Погляди на эту робкую девчушку в простеньком платье.
Ты понял, чем ее взгляд наполнен?
Она только что вступила в партию.

В ее взгляде — они...
А этот маляр старый,
что стачку заваривал в тридцать пятом...
Они не ушли. Они им стали.
Трубы победы еще протрубят им.
Помни о них, как они о тебе помнили.
Принеси им последний доклад ЦК.
Ночью ли черной подполья, сияющим полднем ли
пусть рук их надежных ищет твоя рука.
Помни о них. А если забудешь — уйдут.
Если забудешь — приговоришь их к смерти, понял?
Они тебя не покинут, они не предадут,
они навсегда с тобою, только ты их помни.

Они не забывали тебя. И меня. И его. И того,
кто, может быть, об этом не знал и не знает ничего.
Ради моих детей, ради твоих детей, ради его детей,
ради всех детей,
против всех смертей —
сколько великих смертей!
Ради всех, кто сгорел,
ради дня, что уже созрел,
что летит, отражаясь в наших глазах,
на распущенных парусах.

■ ■ ■

Чувствуешь, как бьются их сердца?
Взгляни кругом: они во всем, что живо.
В травинке, в лепестке, в зелёных жилах,
которыми природа лист прошила,
в ребенке, вопрошающем отца,
в голубке, вопрошающей простор
упрямством крыльев, в виноградных гроздьях,
в пунцовых облаках, в пунцовой розе,
в веселом звоне вод, в весеннем кроссе
пылинок, мшинок, звезд, семян и спор.

Чувствуешь, они слились с зарею,
с беспечным гамом дня, с самой землею,
с камнем, от которого по воде — круги...
Они здесь. Локоть к локтю.
Всей кровью и плотью.
Идут с тобой рядом.
Направляют твои шаги.

Они остались такими же, какими их застигла беда.
Все тот же самый возраст. Не стареют. Не устают.
Говорю тебе, они не умерли. И это — навсегда.
Ничего уже с ними не сделают.
Никогда уже их не убьют.

Волны не умирают, не знают агонии.
Они мчатся в диком галопе, расшибаются вдрызг о скалы,
но снова себя собирают для вечной погони,
не отступая, не уставая, во что бы то ни стало.

Говорю тебе, они живы,— павшие.
Они ежедневно встают с постели.
Звякают подойниками, косят, пашут,
над гудящими станками склоняются, потея.
Они красят стены, разбрасывают листовки,
идут, стуча в убогие двери и в каждое сердце под рубищем,
радуются вам, первые клейкие листочки,
пахнущие, как вести о будущем.

Их имена отчеканены в нас медалями,
вздуты пламенем солнц жгучих.
Их имена — гитары, которым умолкнуть не дали мы.
Слышишь рокот их струн могучих?

Видишь — красное?
Звучный, прекрасный
цвет мятущейся крови.
Окуни свою память в этот поток красный.
Сколько он тебе откроет!
Над тобою поднимется их небо.
Перед тобою расстелются их пути.
Вкуси от их нескончаемого хлеба,
их огнем свои дни освети.

Не расставайся с ними. Цветок своей нежности к ним
гордо носи на лацкане.
Рукам твоим не тосковать одним —
с ними руки их братские.

■ ■ ■

Они все были разные —
пришельцы из разных миров:
у каждого своя любовь, свои надежды, свой кров.

Их равняло лишь мужество.
Их сближала спокойная скромность,
с которой вступили они в огромность
небывалого дела,
отдав ему все до конца —
душу и тело.
Серьезных, чистых,
их не пугала никакая опасность.

А еще, пожалуй, равняла страстность,
спаявшая их воедино,
бросившая на поединок
с жизнью, уродливой и затхлой.
И кто б они ни были по прозванию,
они были сеятели по призванию,
они одинаково верили в завтра.
Ибо в общем-то они все были одинаковы в основе.
К одной колыбели все они могут припасть по-сыновьи.
Крепкие побеги одного корня,
яблоки от одной яблони упрямой,
листья на одном дереве ветвистом.
Сыновья — если уж совсем прямо —
одной и той же семьи коммунистов.

■ ■ ■

Да, уже давно они покинули свои могилы.

Не шлите им соболезнований,
не возлагайте венков на каменные плиты.
Им не нужны ни жалобы, ни траурные молитвы.

Сдержи свой крик,
проглоти слезу.
Разве они этого хотели?
Если ты их любишь, не стенай — организуй!
Будь наследником в их деле.

Учись у них, несгибаемых, с их ненавистью и любовью,
с их незапятнанной совестью,
с их незапятнанной подписью,
с верой, скрепленной кровью.
Смотри на их женщин храбрых.

Прочь черное, серое, бесцветное,
нейтральное, рабье.
Никакого траура: трата сил напрасная.

Дайте красное!
Красное — молодая кровь, красное — вдохновенная заря,
красное — жизнь, прожитая не зря,
красное — вещая сейба *, отводящая беды.
Красный цвет любви, борьбы, победы.

---

* Большое раскидистое дерево, произрастающее в Аргентине.

УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР

СКВЕРНИТЕЛЬ ПРАХА

РОМАН

Перевод с английского
М. БОГОСЛОВСКОЙ-БОБРОВОЙ

Глава первая

То было в то воскресенье, ровно в полдень шериф подъехал к тюрьме с Лукасом Бичемом, хотя весь город (да уж если на то пошло, весь округ) еще со вчерашнего вечера знал, что Лукас убил белого человека.

Он стоял и ждал. Он пришел первым и теперь топтался на месте, стараясь придать себе занятой или хотя бы ни к чему не причастный вид, укрывшись под навесом запертой кузницы, через дорогу, напротив тюрьмы, где его дядя, если он пойдет через Площадь или, вернее, когда он пойдет за одиннадцатичасовой почтой через Площадь, может, и не заметит его.

Потому что он тоже знал Лукаса Бичема — так же, как его знал всякий из живущих здесь белых. И пожалуй даже, если не считать Кэрозерса Эдмондса, в поместье которого в семнадцати милях от города жил Лукас, лучше многих других, потому что он однажды ел в доме Лукаса. Это было в самом начале зимы, четыре года тому назад; ему тогда было только двенадцать лет, и вот как это случилось. Эдмондс дружил с его дядей; они вместе слушали курс в университете, где дядя изучал дополнительно правовые вопросы после того, как вернулся из Гарварда и Гейдельберга и собирался выставить свою кандидатуру в адвокаты окружного суда, и вот за день перед тем Эдмондс приехал в город повидать дядю по каким-то там окружным делам и остался у них ночевать, а когда вечером сели ужинать, Эдмондс сказал ему:

— Едем со мной завтра утром, пойдешь охотиться на зайцев.— И тут же его маме: — А под вечер завтра я его отправлю домой. А на охоту, пока он с ружьем будет, я с ним пошлю парнишку одного с фермы.— И, повернувшись к нему, добавил: — Собака у него очень хорошая.

— У него свой есть парнишка, сверстник,— сказал дядя, а Эдмондс спросил:

— А он что, тоже охотится на зайцев?

И дядя сказал:

— Мы пообещаем, что он не будет мешать вашему.

И вот на следующее утро он и Алек Сэндер поехали с Эдмондсом к нему домой. Утро было очень холодное, первые зимние заморозки, зеленые изгороди застыли недвижные, заиндевевшие, стоячая вода в канавах по обочинам дороги затянулась льдом, и даже быстротечный рукав реки на Девятой Миле подернулся у берегов тоненькой пленкой, сверкающей и хрупкой, словно волшебное стекло, а как только они проехали первую ферму, а потом еще и еще, на них дохнуло без ветра едкой горечью дыма, а позади домов на дворах видны были уже окутанные паром чугунные котлы, и женщины, все еще в летних соломенных или старых мужских фетровых шляпах и длинных мужских пальто, подкладывали под них дрова, а мужчины в передниках из мешковины, подвязанных проволокой поверх комбинезонов, оттачивали ножи или уже возились в загоне, где хрюкали и визжали свиньи, не то что испуганные или застигнутые врасплох, но просто настороженные и словно уже смутно осознавшие свой жирный неминучий удел; к ночи все дворы будут увешаны их призрачными полыми бледными цельными остовами, схваченными за задние ноги и словно остановленными в бешеном стремительном беге к центру земли.

И он просто понятия не имел, как это с ним случилось. Сын одного из арендаторов Эдмондса, постарше и покрупнее Алека Сэндера, который, в свою очередь, был больше его самого, хотя они были однолетки, уже ждал их в доме с собакой, настоящей охотничьей собакой на зайцев, из породы гончих, не совсем чистой, но почти, черно-пегой с желтыми подпалинами, может быть, чуть-чуть с примесью пойнтера где-то у предков, а у Алека Сэндера был железный костыль, этакий болт с нарезкой, которым сцепляют рельсы, насаженный на отпиленный конец толстой палки от метлы, и Алек так ловко метал его, что он у него летел, как пуля из ружья, и попадал в зайца на бегу; и вот, они все втроем—Алек Сэндер и мальчик Эдмондса с болтами, а он с ружьем—пошли через парк и потом наперерез лугом, чтобы перейти рукав в том месте, где сын фермера знал переход по бревну, и он сам не знал, как это с ним случилось такое, что могло бы случиться ну разве с девчонкой, и ей это было бы простительно, но уж никак не кому другому, он шел по бревну, нисколько не думая об этом,— мало ли он хаживал по самому верху ограды по узкой перекладине вдвое длиннее этого бревна,— и вдруг ни с того ни с сего привычная солнечная, зимняя земля перевернулась под ним, и он, распластавшись, но не выпуская ружья из рук, полетел стремглав не от земли, а от ясного неба, он вот и сейчас помнит тонкий звонкий хруст ломающегося льда и как он даже ничего не почувствовал, когда очутился в воде, а только когда уже вынырнул на воздух. А ружье он выронил, и ему пришлось снова нырнуть, чтобы найти его, снова из ледяного воздуха погрузиться в воду, которой он все еще не чувствовал, холодная она или нет, и даже его насквозь промокшая одежда — сапоги, толстые штаны, свитер, охотничья куртка — вовсе не чувствовалась в воде как тяжелый груз, а только стесняла в движениях, и он поднял ружье и, еще раз нащупав дно, оттолкнулся и, молотя по воде одной рукой, подплыл к берегу, шагнул по воде и, уцепившись за сук ивы, вытянул руку с ружьем, и кто-то ухватил его с берега, по-видимому, мальчик Эдмондса, потому что в этот самый миг Алек Сэндер ткнул его концом длинного шеста, толстого, как кол, и сшиб с ног, и он опять ушел с головой в воду и чуть было не выпустил из рук и ветку, за которую держался, но тут чей-то голос сказал:

— Убери кол с дороги, чтобы не мешал вылезть,— просто какой-то голос, не потому, что это не мог быть ничей другой, кроме как Алека Сэндера или Эдмондсова мальчика, а потому, что сейчас было все рав-

но; цепляясь теперь уже обеими руками, он выбирался из ивняка, и тоненький льдистый налет, покрывавший деревья, ломался, звеня и хрустя, осыпаясь ему на грудь, одежда его теперь была словно свинцовая обертка, он не двигался в ней, а был завернут в нее, как в пончо или в просмоленный брезент, так он карабкался по откосу и увидел перед собой две ступни, две ноги в резиновых сапогах, ноги не Алека Сэндера и не Эдмондсова мальчика, потом ноги до колен и штаны, заправленные в сапоги, и тут он вылез на берег, встал и увидел негра с топором на плече, в толстой овчинной куртке и в светлой широкополой фетровой шляпе, какую когда-то носил дедушка,— он стоял и смотрел на него; так первый раз, насколько он помнит, он увидел Лукаса Бичема, и, наверно, это и в самом деле было первый раз, потому что Лукас был не из тех, кого забывают; едва переводя дух, трясясь всем телом и только теперь чувствуя, как его знобит от ледяной воды, он смотрел на это лицо, которое глядело на него без всякого участия, жалости или каких-либо других чувств, даже без удивления, просто глядело, ведь тот, кому принадлежало это лицо, не двинул даже пальцем, чтобы помочь ему выбраться из воды, напротив, даже велел Алеку Сэндеру убрать кол, что как-никак было единственной попыткой помочь ему, лицо это, как ему показалось, принадлежало человеку лет под пятьдесят, может быть, даже не больше сорока, если бы не эта шляпа и не глаза, и человек этот был чернокожий, негр, но это было все равно двенадцатилетнему продрогшему до мозга костей мальчику, который все еще никак не мог отдышаться и от потрясения, и от того, что он совсем выбился из сил, к тому же то, что проступало на этом лице, не имело никакой окраски, даже в той малой доле, какая бывает у белого,— оно не было ни заносчиво, ни презрительно, просто неподатливо и спокойно.

Тут мальчик Эдмондса что-то сказал этому человеку и произнес имя — что-то вроде мистер Лукас, и тогда он понял, кто это, и вспомнил все остальное из этой истории, представлявшей собой кусок или часть летописи здешнего края, которую мало кто, да, пожалуй, никто не знал так хорошо, как его дядя: как этот человек был сыном одного из рабов прадеда Эдмондса, старого Кэрозерса Маккаслина, и раб этот был не просто рабом, а и сыном старого Кэрозерса; и вот он стоял, трясясь всем телом, и, как ему казалось, уже не одну минуту, а этот человек стоял и смотрел на него с ничего не выражающим лицом. Потом этот человек повернулся и сказал, даже не оглянувшись через плечо, а уже на ходу, даже не замедлив шага, не поглядев, слышали ли они, уж не говоря о том, послушались ли.

— Идем ко мне.

— Я к мистеру Эдмондсу пойду,— сказал он.

Человек этот даже не обернулся. Даже ничего не возразил.

— Возьми его ружье, Джо,— сказал он.

Итак, он, и мальчик Эдмондса, и Алек Сэндер пошли за ним гуськом по берегу реки к мосту и на дорогу. Его скоро перестало трясти. Он только чувствовал, что он продрог и промок насквозь, да и это, наверно, скоро прошло бы, надо было только не переставать двигаться. Они перешли мост. Впереди уже виднелись ворота, откуда въездная аллея поднималась по склону и вела через парк к дому Эдмондса. До него оставалось примерно с милю. Наверно, он бы совсем высох и согрелся, пока дошел, и он все еще уверял себя, что вот он сейчас повернет в ворота, и даже когда ему стало ясно, что он не повернет, уже не повернул, уже прошел мимо, он все еще говорил себе, что это только потому, что Эдмондс — хотя Эдмондс был холостяк и у него в доме не было женщин,— сам Эдмондс может не пустить его никуда, пока не отправит домой к маме, и так он и продолжал себя уверять, хотя уже давно понял, что все дело в том, что он просто не может ослушаться этого человека,

так же как он не мог ослушаться своего деда, и вовсе не из какого-нибудь страха и не оттого, что ему потом за это достанется, а потому, что, как его дед, вот так же и этот человек, шагавший впереди, не допускал и мысли, что какой-то мальчишка-подросток осмелится прекословить ему или не послушаться его.

Так что он даже не замедлил шага, когда они поравнялись с воротами, даже не посмотрел в ту сторону, когда они шли мимо, и вот теперь они свернули, не то чтобы на обыкновенную тропинку, которая ведет из усадьбы к хижинам крестьян-арендаторов или дворовой прислуги и всегда хорошо утоптана, а просто в какую-то расщелину, где то ли рытвина, то ли колея ползла уединенно вверх по склону, и вид у нее был такой же неподатливый — не подступись,— и тут он увидел домик-хибарку и вспомнил продолжение этой истории, этой летописи о том, как отец Эдмондса сделал дарственную своему чернокожему двоюродному брату, передав в вечное владение ему и его наследникам этот домик и десять акров земли, на которой он стоял,— продолговатый клочок, вклинившийся в самую середину плантации, раскинувшейся на две тысячи акров, точно почтовая марка, налепленная на самой середине конверта, некрашеный деревянный домишко, некрашеный забор-частокол с некрашеной без запора калиткой, в которую этот человек, все так же не останавливаясь, не оглядываясь, прошел, толкнув ее на ходу коленкой, а следом за ним он, затем Алек Сэндер и мальчик Эдмондса гуськом вошли во двор. Можно было представить себе, что он даже и летом был без единой травинки — ни листика, ни единого стебелька, каждое утро кто-нибудь из женщин в доме Лукаса подметал пыль метелкой из связанных веником ивовых прутьев, оставляя сложные завихрения и спирали, которые по мере того, как двигался день, медленно и постепенно искажались, загаженные куриным пометом, испещренные загадочными трехпалыми отпечатками, словно земная поверхность в миниатюре (так ему теперь вспоминалось в шестнадцать лет) в эру гигантских ящеров, и они все четверо пошли по какому-то не то что проходу — собственно, это была просто утоптанная глина,— узенькая, прямая как стрела дорожка между высившимися с обеих сторон залежами консервных жестянок, бутылок, битой фаянсовой посуды и торчавшими из земли глиняными черепками вела к некрашеному крыльцу и некрашеной терраске, вдоль которой тоже были свалены жестянки, но уже побольше, пустые галлоновые ведерца, в которых когда-то держали патоку, а может быть, краску, дырявые ведра для воды или молока, пятигаллоновый бидон для керосина с продавленным верхом и половина чего-то, что было некогда баком для нагревания воды из чьей-то кухонной плиты (наверно, Эдмондсовой),— оторванная вдоль, как кожура с банана,— прошлым летом сквозь нее проросли цветы, и сейчас еще торчали мертвые стебли и хрупкие высохшие тычинки, а за всем этим и самый дом, серый, обшарпанный и не то что некрашеный, а какой-то неподатливый, не приемлющий краску, отчего он казался не только единственно возможным продолжением мрачной нерасчищенной дороги, но венчающим ее завершением, как листья аканта на капителях греческих колонн.

Не останавливаясь, человек поднялся на крыльцо, прошел через террасу, открыл дверь, вошел, за ним следом — он, мальчик Эдмондса и Алек Сэндер; полутемная передняя, даже совсем темная после яркого солнечного света, и сразу же запах, запах, который он безоговорочно считал всю жизнь чем-то, присущим всякому дому, где живут люди, у которых в жилах хоть капля негритянской крови, так же как он всегда считал, что всякий человек по фамилии Мэллисон должен быть непременно методистом, и тут они вошли в спальню: голый, истертый, совершенно чистый, некрашеный пол без всяких дорожек, в одном углу — покрытая ярким лоскутным одеялом большая кровать под балдахином,

наверно стоявшая в доме Маккаслина, и старый дешевый обшарпанный буфет из мебельного магазина в Грэнд-Рэпидсе — и в первую минуту как будто все или почти все; только потом уже он заметит или вспомнит, что видел, заставленную каминную полку и на ней керосиновую лампу, расписанную от руки цветами, и вазу, набитую свернутыми в трубку обрывками газет, а над каминной полкой цветную литографию с календарем трехлетней давности, на которой Покахонтас в мокасинах и украшенном перьями и бахромой одеянии вождя племени сиу или чиппева стоит у мраморной балюстрады и смотрит в сад с чинными кипарисами, а в полутемном углу, напротив кровати, на золоченом мольберте в голстой деревянной золоченой раме цветной портрет, на котором изображены двое. Но портрета он пока еще не видел, потому что был к нему спиной, а сейчас он видел только камин — камин из плохо обожженного кирпича, промазанного глиной, в котором чуть тлело наполовину зарытое в серой золе большое обгорелое полено, а рядом с камином в качалке сидела девочка, так ему показалось сначала, пока он не увидел лица, а тогда он даже остановился, чтобы разглядеть ее, потому что ему вдруг показалось, сейчас он вот-вот вспомнит что-то еще, что ему рассказывал дядя о Лукасе Бичеме или, во всяком случае, в связи с ним, и, глядя на нее, он только теперь подумал, какой он, должно быть, на самом деле старый, потому что это была крохотная старушка, чуть ли не кукольных размеров, гораздо темнее, чем он, в фартуке, в накинутой на плечи шали, а голова ее была повязана белоснежной косынкой, поверх которой была надета крашеная соломенная шляпа с какой-то отделкой. Но он так и не мог вспомнить, что такое ему рассказывал или говорил дядя, а потом ему даже стало казаться, что он просто все спутал и никто ему ничего не рассказывал; и он сидел в кресле прямо перед камином, в котором мальчик Эдмондса разводил огонь, пихая туда чурки и сосновые щепки, а Алек Сэндер, присев на корточки, стаскивал с него мокрые сапоги и штаны, а потом он встал, и его высвободили из куртки, и свитера, и рубахи, и им обоим приходилось приседать и увертываться, чтобы не наткнуться на человека, который стоял у камина, спиной к огню, расставив ноги все еще в резиновых сапогах и даже не сняв шляпы, а только скинув толстую овчинную куртку, а потом перед ним снова эта старушка, такая маленькая, меньше даже, чем он и Алек, а ведь им только двенадцать, и на руке у нее другое пестрое лоскутное одеяло.

— Снимай все! — сказал человек.

— Нет, я...— начал было он.

— Снимай все,— повторил человек.

И он стащил с себя мокрое белье и сейчас же снова очутился в кресле теперь уже перед ярко полыхавшим огнем, закутанный в одеяло, как кокон, и весь обволокнутый этим безошибочно различимым среди всех других запахом негров, запахом, о котором ему никогда и в голову не пришло бы задуматься, не случись того, что должно было с ним случиться через какой-то небольшой промежуток времени, который теперь уже исчислялся минутами, так бы он и в могилу сошел, не удосужившись подумать, а не является ли этот запах вовсе не прирожденным запахом расы и даже не нищеты, а, скорее, состояния, сознания, убеждения, приятия, пассивного приятия ими самими вот этого убеждения, что им, неграм, вовсе и не положено иметь какие-либо удобства, чтобы мыться как следует, или мыться часто, или хотя бы просто позволить себе полоскаться и размываться даже и безо всяких удобств, и что, в сущности, оно даже предпочтительней, чтобы они этого не делали. Но ни тогда, ни даже теперь еще этот запах ровно ничего не значил для него: до того, что с ним тогда произошло, еще должен был пройти час, и пройдет еще четыре года, прежде чем он поймет, во что все это раз-

рослось и как повлияло на него, и только уже совсем взрослым он по-настоящему поймет и признает, что и он сам считал, что так оно и должно быть. А сейчас он просто вдохнул этот запах и тут же перестал его замечать, потому что он свыкся с ним, ведь он всю жизнь нюхал его изо дня в день и будет нюхать и дальше; а жизнь его до сих пор в значительной мере проходила в хижине Парали, матери Алека Сэндера, жившей у них во дворе, там они с ним играли в плохую погоду, и Парали, готовя еду для дома, в промежутке между завтраком и обедом пекла им лепешки, и они с Алеком ели вместе — и тот и другой с одинаковым аппетитом; он даже не мог представить себе такого существования, которое вдруг раз и навсегда лишилось бы этого запаха. Он вдыхал его испокон веков и всегда будет вдыхать; этот запах был частью его неотвратимого прошлого, ценной частью его наследия как южанина; ему не надо было даже отгонять его от себя, он просто давно уже перестал замечать его, как старый курильщик не замечает запаха своей прокуренной трубки, который стал такой же принадлежностью или частью его одежды, как пуговицы и петли; так он сидел и даже немножко дремал в теплой окутывавшей его вони одеяла, один раз он чуть-чуть насторожился, услышав, как мальчик Эдмондса и Алек Сэндер, сидевшие на корточках у стены, поднялись и вышли из комнаты,— но только чуть-чуть и сейчас же снова провалился в теплую одеяльную вонь, а над ним, по-прежнему спиной к огню, заложив руки за спину и совсем такой же, каким он увидел его, когда только что вылез из речки, если не считать того, что он был сейчас без своей овчинной куртки и без топора и держал руки за спиной, стоял человек в резиновых сапогах и вылинявшем рабочем комбинезоне, в каких ходят негры, но с солидной золотой цепочкой от часов, свисавшей из нагрудного кармана; еще когда они только вошли в комнату, он заметил, как этот человек, повернувшись к заставленной каминной полке, достал с нее что-то и сунул себе в рот, и только потом он уже разглядел, что это такое: золотая зубочистка, точь-в-точь такая же, какая была у дедушки, и шляпа на нем была поношенная, но касторовая, ручной выделки, такие вот заказывал себе дедушка и платил за них тридцать — сорок долларов, и она не была плотно надета на голову, а словно едва держалась, сдвинутая чуть-чуть набок над темным, как у негра, лицом, но с прямым и даже с горбинкой носом, а то, что глядело из этого лица или проступало на нем, было не черным, не белым, не надменным и даже не презрительным, а просто непреклонно-неподатливым и невозмутимым.

Тут Алек Сэндер вернулся с его одеждой, уже высушенной и еще горячей от плиты, и он оделся, притоптывая, с трудом влез в свои зажухлые сапоги, а мальчик Эдмондса опять уселся на корточки у стены и что-то доедал с руки, и он сказал:

— Я пойду обедать к мистеру Эдмондсу.

А тот человек ничего не возразил и не поддакнул, он даже не шевельнулся, даже не посмотрел на него. Он только сказал непререкаемо и спокойно:

— У ней все уж положено.

И он прошел мимо старушки, которая посторонилась в дверях, чтобы пропустить его в кухню. В залитом солнцем квадрате окна, выходящего на юг, за покрытым клеенкой столом, где только что ели мальчик Эдмондса и Алек Сэндер — хотя никаких следов этого, ни грязных тарелок и ничего такого не было, и откуда он это узнал, он и сам не мог бы сказать,— он тоже уселся и стал есть салат из капусты, кусок мяса, зажаренного в муке, большой плоский увесистый кусок бледного недопеченного пирога и стакан пахтанья — пищу негров, с которой он тоже свыкся и не думал об этом, потому что это было как раз то, чего он и ожидал, это было то, что ели негры, наверно, потому, что они это лю-

били, выбрали по своему вкусу; не потому, что за всю долгую историю их существования, если не считать тех, кто ел на кухне еду, которую стряпали для белых, это все, что они имели возможность приучиться любить, но (так думал он в двенадцать лет, и только уж совсем взрослым он в первый раз с удивлением задумается — а так ли это?) потому, что они выбрали это изо всего другого, сами, по своему вкусу и пищеварению; потом через каких-нибудь десять минут — и с тех пор на протяжении четырех лет — он будет стараться уверить себя, что вот эта еда и была началом всего.

Но следовало бы ему понимать, что это не так. То, в чем он был повинен с самого начала, его предвзятое отношение окрашивало все, его не требовалось даже и подстрекать запахом дома и одеяла, ведь он и так с трудом выдерживал то, что глядело (не на него даже, просто глядело) из лица этого человека; поднявшись наконец из-за стола с уже зажатой в руке монетой в полдоллара, он пошел обратно в комнату и только теперь, очутившись как раз напротив, он увидел портрет в золоченой раме на золоченой подставке и, сам не зная почему, подошел и нагнулся разглядеть его, потому что он стоял в темном углу и видно было только, как поблескивает позолота. Его, по-видимому, недавно подновили; из-под круглого, слегка преломляющего выпуклого стекла, словно из магического кристалла гадалки, на него снова глядело невозмутимое, неподатливое лицо под сдвинутой набок шляпой, накрахмаленный воротничок без галстука, пристегнутый к белой накрахмаленной сорочке запонкой в виде змеиной головы чуть ли не в натуральную величину, и цепочка от часов, выпущенная петлей на черную из тонкого сукна жилетку, виднеющуюся из-под черного сюртука, недоставало только зубочистки, а рядом — маленькая, с куколку, женщина в цветной соломенной шляпке и шали; конечно, не кто другой, а эта самая женщина, хотя совсем непохожая, и вдруг он понял, что даже не в этом дело,— в ней, в этой женщине на портрете, было что-то страшное, что-то дико несообразное, и тут она что-то сказала, и он поднял глаза, человек этот по-прежнему стоял у камина, широко расставив ноги, а старушка снова сидела в кресле-качалке на старом месте в углу, и она не смотрела на него, и он знал, что она ни разу не взглянула на него после того, как он вернулся, но она сказала:

— Это все Лукаса выдумки.

— Что? — спросил он, и человек этот сказал:

— Молли не нравится, что тот, кто делал этот портрет, снял у нее эту обмотку с головы.— И правда, на портрете видны были ее волосы, и ему показалось, он смотрит через герметически завинченную стеклянную крышку гроба на бальзамированный труп, и он подумал: *«Молли. Ну, конечно»,*— потому что теперь он вспомнил, что рассказывал ему дядя о Лукасе или о них обоих.

— А почему он снял повязку? — спросил он.

— Я велел ему,— сказал этот человек,— я не желал иметь у себя в доме портрет негритянки-батрачки.

И тут он подошел к ним и, сунув в карман кулак с монетой в пять-десят центов, подцепил и зажал десятицентовик и еще две монетки по пять центов, все, что у него было, и сказал:

— Вы раньше в городе жили. Мой дядя знает вас — адвокат Гэвин Стивенс.

— Я вашу матушку тоже помню,— сказала она.— Она тогда звалась мисс Мэгги Дэндридж.

— Это бабушка моя,— сказал он.— Моя мама раньше была тоже Стивенс.— И он протянул свои монеты; и в ту самую секунду, когда он почувствовал, что она сейчас возьмет их, он понял, что вот только на эту одну-единственную невозвратимую секунду он опоздал навсегда, и

уже непоправимо, и медленно горячая кровь — медленно, как ползут минуты,— приливала к его щекам и шее, и так он стоял, протянув онемевшую ладонь с четырьмя позорными крохами отчеканенного в монеты сплава, пока наконец этот человек не проявил что-то похожее по меньшей мере на жалость.

— Это еще зачем? — сказал он, даже не двинувшись, даже не наклонив головы, чтобы взглянуть, что у него там на ладони, и опять целая вечность, и только густая горячая недвижная кровь прихлынула и стоит, пока наконец яростно не кинулась ему в голову, не зазвенела в ушах, и тут он хоть как-то справился со своим стыдом и увидел, как повернулась его ладонь и не то что швырнула, а стряхнула монеты, которые, звеня и подпрыгивая, покатились по голому полу, а один пятицентовик попал в какую-то длинную покатую выбоину и скатился по ней с таким суховатым шорохом, словно мышь пробежала, и тут же голос: — Подбери это!

И опять ничего, человек этот ни на что не глядел, руки по-прежнему за спиной, даже не пошевельнулся, только горячая кровь хлынула волной и застыла, и сквозь нее голос, обращенный ни к кому:

— Подберите его деньги! — И он услышал и увидел, как Алек Сэндер и мальчик Эдмондса бросились куда-то в темень и заерзали по полу.— Отдайте ему,— сказал голос, и он увидел, как мальчик Эдмондса бросил две его монетки на ладонь Алеку Сэндеру, и почувствовал, как рука Алека Сэндера старается всунуть все четыре монеты в собственную его опущенную руку и наконец всовывает их.— Ну, а теперь идите стрелять зайцев,— сказал голос.— Да держитесь подальше от ручья.

Глава вторая

И снова они вышли на пронизанный солнцем морозный воздух (а ведь сейчас был полдень, самое теплое время, и сегодня, наверно, уж нечего было и ждать, что еще потеплеет) и пошли обратно через мост, и (вдруг, только он кинул взгляд по сторонам, оказывается, они уже чуть ли не полмили прошли берегом, а он даже и не заметил) тут собака загнала зайца в кустарник около хлопчатника и залилась истерическим лаем, а он выскочил, обезумев, обратно, маленький красно-рыжий комочек, и, сжавшись на мгновение в клубок, круглый, как крокетный шар, взметнулся высоко в воздух и в следующую секунду, вытянувшись, длинный, как змея, уже летел впереди собаки, и маленький белый хохолок его хвоста мелькал между оголенными кустами хлопка, как парус игрушечного кораблика в ветер на пруду, а Алек Сэндер кричал ему через заросли кустарника:

— Стреляй, стреляй! Да что же ты не стреляешь?

А он повернулся не спеша, решительно зашагал к речке, вынул четыре монеты из кармана и швырнул в воду; а ночью, ворочаясь без сна, он понял, что эта еда вовсе не была каким-то угощением, лучшим из того, что Лукас мог предложить ему, нет, просто это было все, что он мог ему предложить, и он был там сегодня утром не как гость Эдмондса, а в гостях на плантации старого Кэрозерса Маккаслина, и Лукас понимал это, а он нет, и вот, значит, Лукас его и побил, стоял, расставив ноги перед камином, и, даже не двинув пальцем, не разомкнув сложенных за спиной рук, вынул свои собственные семьдесят центов и побил его, и, корчась в бессильной ярости, он уже думал об этом человеке, которого он видел только раз в жизни и всего каких-нибудь двенадцать часов тому назад, совсем так же — но это ему еще только предстояло узнать в будущем году,— как думал о нем любой

белый в здешних краях, во всей округе, на протяжении многих лет: *«Мы его сперва заставим быть негром. Он должен признать, что он негр. А тогда, может быть, мы и согласимся считать его тем, чем ему, по-видимому, хочется, чтобы его считали»*. Потому что он сразу начал очень многое узнавать о Лукасе. Не то чтобы он слышал случайно — нет, он сам расспрашивал о нем всех, кто хорошо знал эту округу и мог рассказать ему о Негре, который говорил, обращаясь к женщинам, «мэм» (совсем как любой белый) и говорил вам «мистер» или «сэр», если вы были белый, но вы знали, что он не считает вас ни тем, ни другим и знает, что и вы это знаете, но у него даже и в мыслях нет, что вы можете его одернуть, потому что для него это не имеет значения.

Ну, взять хотя бы такой случай.

Это было три года тому назад в лавке, на перекрестке дорог, в четырех милях от усадьбы Эдмондса, в какой-то из субботних дней к концу дня, когда каждый живущий окрест, будь то хозяин-арендатор или батрак, белый или черный, идет мимо и обычно заходит что-нибудь купить, а кругом в ивняке и под березами и смоковницами в жидкой грязи у ручья топчутся на привязи оседланные мулы и лошади со стертыми от поклажи боками, а всадники их толпятся в набитой битком лавке, теснятся у входа на улице, сидят на пыльной скамье напротив или, присев на корточки, а кто и стоя, тут же рядом откупоривают с треском бутылки с содовой и тянут прямо из горлышка, жуют, поплевывая, табак, скручивают не спеша сигаретки и чиркают рассеянно спичкой, разжигая потухшие трубки; в тот день там среди прочих были трое довольно еще молодых белых из артели с соседней лесопилки, один из них известный заводила и скандалист, все они немножко подвыпили, и вот в лавку вошел Лукас в своем потертом черном костюме из тонкого сукна, который он надевал в воскресенье и когда ездил в город, в поношенной дорогой шляпе, солидная часовая цепочка на груди и эта его зубочистка, и тут что-то произошло, но чем это было вызвано, рассказчик не говорил, а скорей всего, даже и не знал, может быть, тем, как Лукас вошел и, не сказав ни слова, подошел к прилавку, заплатил и взял покупку (это была пятицентовая пачка имбирного печенья), повернулся, оторвал конец обертки, переложил зубочистку из одной руки в другую и спрятал в нагрудный карман, потом вытряхнул одно печенье себе на ладонь и сунул его в рот,— может быть, этим, может быть, даже и ничем, только вдруг белый как вскочит и прямо обращается к Лукасу и говорит:

— Ах ты паршивый наглец, сволочь вонючая, скрутить тебе шею, чтоб гнулась, осел упрямый, Эдмондсов сукин сын.

А Лукас дожевал печенье, проглотил его и, уже нагнув пачку, чтобы вытряхнуть другое, медленно повернул голову, поглядел на белого и, помолчав, сказал:

— А я не Эдмондс. Я не из этих новоселов. Я — Маккаслин.

— Походи тут еще с эдакой наглой рожей, мы тебя превратим в падаль для воронья! — крикнул белый.

С минуту или по крайней мере полминуты Лукас смотрел на белого человека спокойным, изучающим, невозмутимым взглядом, а пачка печенья в его руке медленно наклонялась, пока на ладонь другой руки не вытряхнулось еще печенье, и тогда он слегка вздернул угол рта и, чмокнув, пососал верхний зуб,— звук получился довольно громкий среди внезапно наступившей тишины, но в нем не было ничего нарочитого, ни вызова, ни насмешки или хотя бы осуждения, ровно ничего, просто он сделал это почти машинально, как мог бы сделать любой человек, который ест имбирное печенье в полнейшем на сто миль уединении и у него что-то застряло в зубе.

— Да, я уже не первый раз слышу такие речи,— сказал он.— И заводят их у нас, как я заметил, даже не Эдмондсы.

Тут белый сорвался с места и, сунув руку на прилавок, за спиной, где лежало с полдюжины рукояток для плуга, не глядя, схватил одну из них и уже замахнулся на Лукаса, но в это время сын хозяина лавки, энергичный молодой человек, выскочил из-за прилавка или, может быть, перескочил через него и обхватил белого сзади, так что рукоятка, никого не задев, отлетела вбок и ударилась о нетопленую печь; а тут кто-то еще подбежал и тоже стал удерживать его.

— Уходи, Лукас,— бросил через плечо сын хозяина.

Но Лукас стоял, не двигаясь, и смотрел совершенно спокойно, даже без тени насмешки, даже и не презрительно, даже не так уж и настороженно, яркая пачка печенья в левой руке и одно маленькое печеньице в правой, просто стоял и смотрел, в то время как хозяйский сын и его приятель едва удерживали разъяренного, вырывавшегося с проклятьями и бранью белого.

— Катись к черту отсюда, проклятый болван! — крикнул хозяйский сын, и только тогда Лукас не спеша двинулся с места, не спеша повернулся и, поднеся правую руку ко рту, пошел к двери, а когда он выходил, видно было, как мерно двигаются его жующие челюсти.

И вот из-за этого полдоллара. На самом-то деле, конечно, всех денег было семьдесят центов в четырех монетах, но уже давно, с того самого момента, чуть ли не с первой доли секунды, он перевел и обратил их в одну неразменную монету, в единое полновесное неделимое целое, отнюдь не соизмеримое с какой-то ее жалкой обменной стоимостью; бывали, правда, минуты, когда его самоугрызения или попросту муки стыда доводили его до такого душевного изнурения, что он вдруг успокаивался и говорил себе: *«Зато у меня осталось полдоллара, по крайней мере хоть что-то у меня осталось»,* — потому что теперь не только эта его промашка и позор, но и главное действующее лицо драмы, этот человек, Негр, и эта комната, и эта минута, и самый этот день — все теперь исчезло, отчеканилось в круглую звонкую символическую монету, и ему даже иногда представлялось: вот он лежит, не терзаясь, совсем спокойный, и видит, как изо дня в день эта монета растет и наконец, разбухнув до каких-то гигантских размеров, застывает недвижно, навеки повиснув в черном своде его непрестанных мучений, словно последняя омертвелая, навсегда неущербная луна, и против нее он, собственная его хилая тень, неистово жестикулирующая и жалкая в каком-то нелепом затмении: неистовом, нелепом и в то же время неутомимом, потому что теперь уж он никогда не оставит, никогда не отступится, он, унизивший не только свое мужское «я», но и всю свою расу; прежде, бывало, каждый день после школы, а в субботу с утра, если он не играл в бейсбол, или не отправлялся на охоту, или не предвиделось чего-нибудь еще, что он намеревался или обязался сделать, он шел в контору к дяде, где отвечал на телефонные звонки или выполнял разные поручения, и все это с каким-то подобием ответственности, если даже и без прямой необходимости; во всяком случае, в этом проявлялось его стремление придать себе какой-то вес в собственных глазах. Он начал это делать еще совсем ребенком, он даже не помнит когда, просто из безграничной слепой привязанности к единственному брату своей матери — привязанности, в которой он никогда даже и не пытался разобраться,— и так это и повелось с тех пор; потом уже в пятнадцать, шестнадцать и семнадцать лет ему иной раз вспоминался рассказ о мальчике и его любимце теленке, которого тот каждый день переносил через изгородь на выгон, годы шли, и мальчик стал уже взрослым, а теленок превратился в быка, и все равно он каждый день по-прежнему переносил его через изгородь.

Так вот, он покинул своего теленка. До рождества оставалось меньше трех недель, каждый день после школы, а в субботу с утра он слонялся по Площади или где-нибудь поблизости, откуда ее было видно, и он мог все наблюдать. Холод держался еще дня два, потом потеплело, подул мягкий ветер, яркое солнце заволокло туманом, зарядил дождь, а он все равно стоял или прохаживался по улице возле лавки, в витринах которой уже появились рождественские подарки — игрушки, бенгальские огни, цветные фонарики, ветки плюща, блестки и фольга, или, заглядывая в запотевшие окна аптеки и парикмахерской, всматривался в лица приезжих негорожан, держа наготове в кармане два пакетика — четыре сигары по двадцать пять центов пара для Лукаса и стаканчик нюхательного табака для его жены — в яркой рождественской обертке; наконец он увидел Эдмондса и отдал ему, с просьбой передать им на рождество утром. Но это только покрывало (вдвое) те семьдесят центов, а мертвый чудовищный застывший диск по-прежнему висел по ночам в черной бездне его бессильной ярости: *«Если бы только он сначала был просто негром, хоть на секунду, на одну крохотную, бесконечно малую долю секунды»;* и так, в феврале он начал копить деньги — двадцать пять центов, которые он получал каждую неделю от отца на карманные расходы, и двадцать пять центов, которые платил ему за его конторские услуги дядя,— и наконец к маю у него накопилось достаточно, и он пошел с мамой, чтобы она помогла ему выбрать, и купил платье из искусственного шелка с разводами и отправил его посылкой по почте на имя Кэрозерса Эдмондса для Молли Бичем и наконец испытал какое-то облегчение —ярость его улеглась, и он только никак не мог забыть свою обиду и стыд; круглый знак все еще висел в черном своде, но ему уже почти минул год, и свод теперь был уже не такой черный, и диск побледнел, и он даже засыпал под ним, как человек, измученный бессонницей, забывается в тускнеющем свете бледной заходящей луны. И вот наступил сентябрь, через неделю уже должны были начаться занятия в школе. Как-то раз он пришел откуда-то домой, и его встретила мама.

— Смотри, что тебе прислали,— сказала она. Это было галлоновое ведерце свежей домашней патоки, и сразу, много раньше, чем она успела договорить, он догадался, откуда это.— Кто-то с плантации Эдмондса тебе прислал.

— Лукас Бичем! — не сказал, а почти закричал он.— А давно он ушел? Почему же он не подождал меня?

— Нет,— сказала мама.— Он не сам это принес. Послал с кем-то. Мальчик какой-то, белый, привез на муле.

И все. Итак, значит, опять все вернулось на прежнее место, и опять все надо начинать сначала; а теперь даже еще хуже, потому что на этот раз Лукас заставил белого поднять его деньги и отдать ему. И тут он подумал, что он даже и не может начать сначала, потому что отвезти обратно это ведерце с патокой и швырнуть его в дверь Лукаса это опять будет как те же монеты, которые Лукас опять заставит кого-нибудь подобрать и вернуть ему, уж не говоря о том, что ему пришлось бы сделать конец в семнадцать миль, чтобы добраться до этой двери и швырнуть в нее ведро, а это значит ехать на своем шотландском пони, которого он стыдился, потому что ведь он теперь уже большой, а мама все еще не позволяет ему завести настоящую лошадь или во всяком случае такую, какую ему хотелось бы иметь и какую ему обещал подарить дядя. И, значит, теперь уже все: то, что могло бы как-то освободить его, было не только свыше его сил, но и выше его понимания; он мог только надеяться на какой-то случай или примириться с тем, что так оно и останется.

И вот прошло четыре года, и уже год с лишним, если не все полтора, он чувствовал себя свободным и думал, что с этим все кончено: старушка Молли умерла, а ее и Лукаса дочь уехала с мужем в Детройт, и только теперь, спустя много времени, он от кого-то случайно услышал, что Лукас живет в своем доме один-одинешенек, бобылем, нелюдимо и не только не водит дружбы ни с кем из своих соплеменников, но даже как будто гордится этим. За все это время он видел его три раза на площади в городе, и не всегда в субботние дни,— нет, правду сказать, вот только теперь, через год после того, как он видел его в последний раз, он вдруг припомнил, что никогда не встречал его в городе в предпраздничный день, когда все негры, да и большинство белых, приезжали из поселков, и что всякий раз эти встречи происходили почти ровно через год, и не потому, что так выходило, что он в эти дни случайно оказывался на площади, а потому, что он приходил нарочно в те дни, когда Лукас каждый год непременно приезжал в город, и всегда в будние дни, как белые — не крестьяне, а хозяева плантаций, люди, ходившие в жилетах с галстуком, как коммерсанты, доктора и даже сами юристы,— словно он избегал, не желал иметь ничего общего не только с неграми, но даже с образом жизни негров, живущих в деревне, и всегда он был в этом своем поношенном, тщательно вычищенном черном костюме из дорогого сукна, в том самом, что на портрете в золоченой раме, в превосходной, сдвинутой набок шляпе, в белой крахмальной сорочке, такой, как носил дедушка, с крахмальным воротничком без галстука, толстая часовая цепочка и золотая зубочистка, такая же, как у дедушки, в верхнем жилетном кармане; в первую встречу — это было на следующий год зимой — он сам первый заговорил с ним, хотя Лукас сразу его вспомнил; он поблагодарил его за патоку, и Лукас ответил ему так, как мог бы ответить дедушка, только слова он произносил несколько иначе, не совсем грамотно.

— Уж очень она хороша нынешний год вышла. Вот я когда ее делал, тут и вспомнил, как все мальчишки лакомы до патоки.— И уже уходя, сказал через плечо: — Смотри, чтобы нынешней зимой больше не падать в ручей.

После этого он видел его еще два раза — черный костюм, шляпа, цепочка, только зубочистки не было, когда они встретились в следующий раз, и Лукас, глядя прямо на него, прямо ему в глаза, прошел мимо в каких-нибудь пяти шагах, и он подумал: *«Он меня забыл. Он даже и не помнит меня больше»,*— так он и думал до тех пор, пока, кажется уже на другой год, дядя как-то сказал ему, что у Лукаса в прошлом году умерла его старушка жена, Молли. И он, даже не дав себе времени подумать, не поинтересовавшись, откуда это дядя мог узнать (наверно, Эдмондс ему сказал), стал торопливо отсчитывать назад, и тут же сказал себе с чувством оправдания, облегчения, чуть ли не с торжеством: *«Она тогда только что умерла. Вот почему он меня не видел. Вот почему при нем не было зубочистки.*— И с каким-то изумлением подумал:— *Он в горе был. Где уж там стараться не быть негром, когда у тебя горе»,*— потом оказалось, что он опять караулит и опять слоняется по Площади почти так же, как он делал это два года тому назад, когда он поджидал Эдмондса, чтобы отдать ему для них два рождественских подарка, и так прошло два, три, четыре месяца, и вдруг его осенило: ведь он всегда встречал Лукаса в городе в январе или в феврале и только раз в году, и вот только теперь до него дошло почему: он приезжал вносить ежегодный налог за свой участок. И вот это было в конце января, ясным холодным днем. Он стоял на углу возле банка, в закатном солнечном свете и увидел, как Лукас вышел из здания суда и пошел через Площадь прямо на него, в черном костюме, в рубашке без галстука, в старой своей превосходной шляпе, небрежно сдвинутой набок, весь такой прямой, что его

теплая куртка прилегала только к плечам, с которых она свисала, и ему уже виден был поблескивающий сбоку кончик золотой зубочистки, и он чувствовал, как все мускулы его лица напряглись в ожидании, и тут Лукас поднял глаза и еще раз посмотрел прямо на него, долго, может быть, с четверть минуты, а потом отвел взгляд и продолжал идти прямо и даже чуть-чуть посторонился, чтобы пройти мимо, прошел мимо и пошел дальше; и он тоже не обернулся ему вслед и так и стоял на углу тротуара в холодном закатном солнечном свете и думал: *«Он даже и не вспомнил меня в этот раз. Даже не узнал. И он даже вовсе и не старался, ему ничего не стоило забыть меня.*— И думал даже с каким-то умиротворением: — *Ну, теперь все, кончено»,* потому что теперь он свободен: человек, который в течение трех лет преследовал его наяву и во сне, вышел из его жизни. Он, конечно, увидит его еще; можно не сомневаться, они будут проходить вот так же мимо друг друга по улице, раз в год, пока Лукас жив, но это будет все, ибо один из них будет уже не тот человек, а только тень того, что приказал двум мальчишкам-неграм поднять его деньги и отдать ему; а другой будет лишь воспоминанием о подростке, который протянул их, а потом бросил на пол, воспоминанием, которое донесет до взрослого только полинявший обносок того давнего жгучего стыда, муки и жажды — не мести, не отплаты, а просто восстановления, утверждения своего мужского «я»и своей белой расы. А когда-нибудь один из них перестанет даже быть и тенью того человека, который приказал подобрать его монеты; а другому его стыд и муки перестанут даже и вспоминаться, даже тени их не сохранит память, только легкое дуновение, шелест, словно горько-сладко-кислый вкус щавеля, который он жевал мальчиком в давно отошедшем детстве, а теперь случайно взял в рот и вдруг что-то вспомнил на миг и тут же забыл, прежде даже, чем успел вспомнить, откуда это; он представлял себе, как они встретятся совсем старыми, глубокими стариками, у которых во всех суставах и в оголенных кончиках нервов стоит никогда не прекращающаяся, ничем не утолимая боль, и это-то за неимением лучшего слова у них называется «жить», и когда не только все истекшие годы обоих, но и полвека разницы между ними станут неразличимы, их нельзя будет даже и сосчитать, как нельзя сосчитать песчинки, попавшие в кучу угля, и он скажет Лукасу: «Я был тот мальчик, которого вы накормили половиной вашего обеда, а он попытался заплатить вам за это монетами, которые в те времена равнялись семидесяти центам, а когда у него это не вышло, он, чтобы не опозориться, не мог придумать ничего лучшего, как швырнуть их на пол. Не помните?» И Лукас: «А я ли это был?» Или в обратном порядке, не он, а, наоборот, Лукас скажет ему: «Я был тот человек, который приказал двум мальчишкам-неграм подобрать ваши деньги, которые вы бросили на пол, и вернуть вам. Помните?» И на этот раз он скажет: «А я ли это был?» Потому что теперь с этим было кончено. Он подставил другую щеку, и это приняли. Он свободен.

А потом как-то в субботу он шел по Площади, возвращаясь домой, время было уже далеко за полдень (они играли в бейсбол на школьной площадке), и он услышал, что Лукас убил Винсона Гаури возле лавки Фрейзера; около трех часов по телефону затребовали шерифа, после чего по загородной линии стали звонить в другой конец округа, куда шериф выехал утром по делу и где посыльный сможет разыскать его разве что поздно ночью или совсем под утро — ну, оно, конечно, разница небольшая, даже если бы он и сидел у себя на месте,— все равно наверняка будет поздно, потому что лавка Фрейзера находится на Четвертом участке, и если Йокнапатофа не такое место, где негр может позволить себе выстрелить белому в спину, то Четвертый участок самое неподходящее место во всей Йокнапатофе, и ни один негр, если у него есть хоть что-нибудь в голове, и никакой пришлый любого цвета не вы-

берет это место, чтобы стрелять в кого бы то ни было, будь то в грудь или в спину, и уж во всяком случае ни в кого по фамилии Гаури; уже последняя машина, битком набитая молодыми, да и не очень молодыми, людьми (к которым обращались по делу в бильярдную и в парикмахерскую не только к концу дня в субботу, но и всю неделю, кой-кто из них имел какое-то отношение к хлопку, автомашинам, продаже земельных участков или скота, они заключали пари на состязания призовых боксеров, на стрельбу в цель и на бейсбольные матчи по всей стране), двинулась с Площади и помчалась за пятнадцать миль, чтобы стать в ряду других на шоссе против дома констебля, который, надев на Лукаса наручники, отвел его к себе и, по слухам, защелкнул наручники за ножку кровати и теперь сидит и сторожит его с ружьем (да уж и Эдмондс, конечно, тоже там; даже у деревенского простака констебля хватит соображения послать за Эдмондсом — всего каких-нибудь четыре мили,— и прежде даже, чем вызванивать шерифа), на случай если Гаури и их родственники решат не дожидаться, пока похоронят Винсона; конечно, Эдмондс сейчас там; если бы Эдмондс был сегодня в городе, он, наверно, увидел бы его утром или в течение дня, до того как пошел на бейсбол, а раз он его не видел, значит, Эдмондс был дома, всего в каких-нибудь четырех милях; посыльный мог поспеть к нему, и сам Эдмондс уже мог быть в доме констебля прежде, чем другой посыльный записывал телефон шерифа и что ему сказать, а потом еще добирался до ближайшего телефона, чтобы передать все, что требуется; значит, Эдмондс (и опять что-то уже второй раз зацепило на секунду его внимание) и констебль — их двое, а один только господь бог может сосчитать, сколько там этих Гаури, Инграмов и Уоркиттов, а если Эдмондс еще чем-нибудь занят, ужинает, или читает газету, или считает деньги, то констебль совсем один, хотя и с ружьем; но ведь он-то свободен, какое ему дело, почти не колеблясь, он дошел до угла, чтобы повернуть домой, и только когда увидел, какое еще солнце на улице и что день еще далеко не на исходе, он повернул и зашагал назад и вдруг вспомнил, а почему все-таки он не пошел прямо через Площадь, теперь уже почти пустую, к наружной лестнице, ведущей в контору.

Хотя, конечно, нет никаких оснований предполагать, что дядя засидится в конторе так поздно в субботу, но по крайней мере, хоть пока идешь по лестнице, можно об этом не думать, и как раз он сегодня в башмаках на резиновой подметке, но все равно эти деревянные ступеньки скрипят и грохочут, если только ступишь не с краю у самой стены; и он подумал, как это он до сих пор не ценил резиновые подметки: ну что может быть лучше, когда надо вот так собраться с мыслями и решить про себя, что ты будешь делать, и тут он увидел закрытую дверь конторы, и хотя свет у дяди мог и не гореть, потому что было еще сравнительно рано, но у самой двери был такой вид, какой бывает только у запертых дверей, значит, он мог бы даже быть и на кожаных подметках; отперев дверь своим ключом, он запер ее за собой на задвижку и подошел к тяжелому откидному, с вертящимся сиденьем креслу — в нем когда-то сиживал дедушка, а уж потом оно перешло к дяде — и уселся за стол, заваленный бумагами, который дядя завел вместо старинного дедушкиного бюро и через который правовые дела всего округа (требующие юридического вмешательства) проходили с незапамятных времен, потому что его память это ведь и есть память, во всяком случае для него, и, значит, этот потертый стол, и пожелтевшие, с загнутыми углами бумаги, и нужды, и страсти, запечатленные в них, так же как и вымерянный и обведенный чертой границы округ,— все это было одного возраста, одно нераздельное целое; последние солнечные лучи протянулись из-за тутового дерева в окно позади и легли на стол, на растрепанные груды бумаг, на чернильницу и подносик со скрепками, грязными

заржавленными перьями и проволокой для чистки трубки, и на лежавшую в куче пепла глиняную трубку с головкой из кукурузного початка, и стоявшую рядом на блюдце кофейную чашку с засохшими коричневыми подтеками, и на цветную кружку из гейдельбергской Stube * со скрученными обрывками газетной бумаги для разжигания трубки — как в вазе у Лукаса на камине в тот день,— и, прежде чем он успел поймать себя на этой мысли, он вскочил и, взяв со стола чашку с блюдцем, пошел через комнату в уборную, прихватив по дороге кофейник и чайник, вылил остатки из кофейника, вымыл под краном и кофейник и чашку, налил воды в чайник, поставил все в кухне на полку, вернулся к креслу и снова уселся, как будто вовсе и не уходил и можно еще долго сидеть и смотреть, как этот заваленный бумагами стол со всем своим привычным хаосом постепенно, по мере того как угасает солнечный свет, сливается в одно, погружаясь в безымянность тьмы, сидеть, задумавшись, вспоминая, как дядя говорил, что у человека только всего и есть что время, все, что стоит между ним и смертью, которая внушает ему ужас и отвращение,— это время, и, однако, половину его он тратит на то, чтобы придумать, как скоротать вторую половину, и вдруг в памяти его само собой ниоткуда вынырнуло то, что уже давно бередило его сознание: Эдмондса ведь нет дома, он даже не в Миссисипи; он лежит в больнице в Новом Орлеане на операции, у него камни в печени; тяжелое кресло откатилось по деревянному полу почти с таким же грохотом, как фургон по деревянному мосту, когда он вскочил и замер у стола и так стоял, пока не затихло эхо, и слышно было только, как он дышит: потому что ведь он свободен; и он быстро направился к выходу, потому что мама знает, когда кончился бейсбол, даже если ей и не слышно, как они там орут на окраине города, и она знает даже, сколько времени, с тех пор как начало смеркаться, ему понадобится, чтобы дойти домой, и, заперев за собой дверь, он сбежал по лестнице опять на Площадь, сейчас уже всю одетую сумраком, вот уже первые огни засветились в аптеке (в парикмахерской и в бильярдной их так и не гасили сегодня с шести утра, когда швейцар и чистильщик обуви открывали двери и выметали волосы и окурки) и в мелочной тоже, чтобы всем, понаехавшим из округа, кроме тех, что с Четвертого участка, было где подождать, пока из лавки Фрейзера не пришлют сказать, что все опять тихо-мирно и они могут забирать с задних дворов и из тупиков свои грузовики, машины, фургоны и мулов и отправляться домой спать; на этот раз он повернул за угол, и перед ним выросла тюрьма, громадная, темная, кроме одного, заделанного решеткой прямоугольника в фасадной стене наверху, откуда обычно по вечерам негры — азартные игроки, добытчики и торговцы виски, бритвометатели — перекрикивались со своими девчонками и женщинами, стоявшими внизу на улице, и где сейчас вот уже три часа должен был бы сидеть Лукас (дубася, наверно, в железную дверь, требуя, чтобы ему подали ужин, а может, уже и поужинав, просто выражая свое возмущение скверной кормежкой, потому что можно не сомневаться, он сочтет это своим правом, предоставленным ему со всем остальным при казенном помещении и харчах), но вот только почему-то у нас считается, что единственная задача всего нашего государственного аппарата сводится к тому, чтобы выбрать одного такого человека, как шериф Хэмптон, достаточно крупного или во всяком случае здравомыслящего и твердого, чтобы управлять округом, а на остальные должности насажать родственников да зятьев, которым, за что бы они дотоле ни брались, так и не удалось пристроиться и заработать себе на жизнь. Но ему-то какое дело, и, кроме того, теперь уже, наверно, все кончилось, а если даже и нет, он знает, что ему делать, и

---

* Комната *(нем.)*.

для этого у него еще масса времени, и завтра еще будет время; а сегодня надо только дать с вечера Хайбою две лишние мерки овса на завтрашний день, и сначала ему показалось, что ему самому страшно хочется есть или вот-вот захочется, когда он сел у себя дома за стол, на свое обычное место, и белоснежная скатерть, и серебро, и стаканы для воды, и ваза с нарциссами и гладиолусами, и в ней еще несколько роз, и дядя сказал:

— Ну, твоему другу Бичему на этот раз, кажется, каюк.

— Да,— сказал он,— теперь они из него хоть раз в жизни, а все-таки сделают негра.

— Чарльз! — сказала мама, а он ел, ел быстро и много, и говорил очень быстро, и рассказывал без конца про бейсбол, и ждал, что вот-вот сейчас, сию минуту у него защемит от голода, и вдруг сразу почувствовал, что этот последний кусок уже в глотку не лезет, и, с трудом дожевывая его и давясь, только бы скорее проглотить, и уже вскочив:

— Я иду в кино,— сказал он.

— Ты еще не доел,— сказала мама; и потом: — До начала кино еще чуть ли не целый час.— Потом, взывая даже не к отцу, и не к дяде, а ко всем временам господним — тысяча девятьсот тридцатому, сороковому, пятидесятому: — Я не пущу его сегодня вечером в город, не пущу! — И наконец крик и вопль к верховной власти — к самому отцу — из той, объятой тьмою, бездны ужасов и страхов, в которой женщины (во всяком случае матери) живут чуть ли не добровольно: — Чарли! — Пока дядя не положил салфетку и не сказал поднявшись:

— Вот тебе случай отнять его наконец от груди. Кстати, мне надо дать ему одно поручение.— И вышел; потом уже на веранде, в прохладной темноте, помолчав немного, дядя сказал: — Ну что же, иди.

— А вы не пойдете? — сказал он. И тут же вскричал: — Но почему? Почему?

— А разве это имеет значение? — сказал дядя и тут же добавил то, что он слышал тому назад уже два часа, когда проходил мимо парикмахерской: — Сейчас — нет. Ни для Лукаса, ни для кого другого, кто подвернется там с его цветом кожи.— Но он уже и сам думал об этом, и не перед тем, как сказал дядя, но еще до того, как он слышал это, да и, кстати сказать, многое другое, два часа тому назад возле парикмахерской.— Ведь вопрос, в сущности, не в том, почему Лукасу понадобилось пустить пулю белому в спину, а иначе и жить было нельзя, но почему из всех белых он выбрал именно Гаури и застрелил его не где-нибудь, а именно на Четвертом участке. Ну, ступай. Только не задерживайся допоздна. В конце концов надо же иногда проявлять добросердечие даже к родителям.

И действительно, одна из машин, а кто знает, может статься и все, вернулась к парикмахерской и к бильярдной, так что Лукас, по-видимому, все еще мирно прикован к ножке кровати, и констебль сидит над ним с ружьем на взводе, и, наверно, жена констебля принесла им туда ужин, и Лукас, проголодавшись, съел все, что ему дали, с большим аппетитом, и не только потому, что ему не надо за это платить, а потому, что не каждый ведь день случается пристрелить кого-то; и наконец, по-видимому, это все-таки правда, что шерифу в конце концов дали знать и от него получен ответ, что он вернется в город ночью и заберет Лукаса завтра рано утром, а теперь — что бы ему такое придумать, надо же как-то скоротать время, пока не кончится кино, пожалуй, можно было бы и пойти туда, и он перешел Площадь к зданию суда и сел на скамейке в темном прохладном пустом уединении среди разорванных теней, мятущихся без ветра весенних листьев на звездном мареве неба, отсюда ему виден был освещенный брезентовый навес перед входом в кино, и, возможно, шериф и прав: по-видимому, он как-то сумел

поладить с этими Гаури, Инграмами, Уоркиттами и Макколемами настолько, что они голосуют за него через каждые восемь лет, так что, может быть, он приблизительно знает, как они будут действовать в этом случае, может быть, те, в парикмахерской, были правы, и Инграмы, Гаури и Уоркитты медлят не потому, что хотят сначала похоронить Винсона, но просто потому, что теперь уже через каких-нибудь три часа наступит воскресенье, а им вовсе не хочется делать это наспех, так чтобы успеть все кончить к полуночи и не нарушить седьмого дня; вот уже первые из расходящихся зрителей начали просачиваться из-под навеса, а за ними потекли другие, мигая на свет и даже секунду-другую хватаясь руками за воздух, унося с собой в затрапезную жизнь угасающий жар дерзновенной мечты, целлулоидных пылких видений. Ну, теперь можно и домой идти, то есть, вернее сказать, надо идти, ведь она просто чутьем знает, когда кончилось кино, как она знала, когда кончился бейсбол, и хоть она никогда не простит ему, что он сам может застегивать себе пуговицы и мыть за ушами, но по крайней мере она хоть примирилась с этим и не прибежит за ним сама, а просто пошлет отца, и вот если пойти сейчас, пока все еще не хлынули из кино,— на улице никого, пусто и так до самого дома; так он и дошел до самого двора и только повернул за угол, как рядом вырос дядя без шляпы, дымя одной из своих глиняно-кукурузных трубок.

— Слушай,— сказал дядя.— Я звонил Хэмптону в Пэддлерс-Филд и говорил с ним, и он уже звонил сквайру Фрейзеру, и Фрейзер сам ходил к Скипуорту и видел Лукаса, прикованного к ножке кровати, так что все в порядке и ночью все будет спокойно, а завтра утром Хэмптон заберет Лукаса в тюрьму.

— Я знаю,— сказал он,— они не будут его линчевать до завтра, да и то только после двенадцати ночи, когда уже и Винсона похоронят, и воскресенье пройдет.— И уже на ходу: — Да я ничего. Ведь для меня, собственно, Лукасу нечего было так уж стараться не быть негром.— Потому, что ведь он свободен — у себя в постели, в прохладной уютной комнате, в прохладной уютной темноте, потому, что ведь он уже знает, что он решил на завтра, а в конце концов все-таки он забыл сказать Алеку Сэндеру дать Хайбою лишнюю порцию овса на ночь, но это можно сделать и утром, а сейчас спать, потому что у него есть средство в десять тысяч раз быстрее, чем считать овец; вот сейчас он заснет так быстро, что вряд ли успеет сосчитать до десяти,— и с бешенством, в почти невыносимом приступе возмущения и ярости: убить в спину белого, да еще из всех белых решиться выбрать этого, младшего из шести братьев,— один из них уже отбыл год в каторжной тюрьме за вооруженное сопротивление и дезертирство из армии и еще срок принудительных работ на ферме за то, что гнал виски, и еще у них там орды зятьев и двоюродных братьев, все вместе они завладели изрядным куском округа, а сколько их там всего, пожалуй, так сразу не скажут даже и наши бабушки и девственные старушки тетушки,— целое племя драчунов: охотники, фермеры, торговцы лесом и скотом, и кто же может осмелиться поднять руку на одного из них — все они тут как тут, так и кинутся, да и не только они, потому что это племя в свою очередь породнилось и перемешалось с другими драчунами, охотниками, торговцами виски, и это уж получилось не просто племя, а клан, и совсем особой породы, который, сплотившись в своем горном гнезде, давно уже представлял собой такую силу, что не считался ни с местными, ни с федеральными властями, и не просто заселил и развратил весь этот уединенный край поросших соснами холмов, с разбросанными далеко друг от друга кособокими крестьянскими хижинами, кочующими лесопилками и перегонными кубами для контрабандного виски, край, куда городские блюстителя порядка даже и не заглядывали, если за ними не

посылали, а посторонние белые, если их занесло сюда, старались с наступлением темноты держаться поближе к шоссе, а негры, уж и говорить нечего, никогда и близко не подходили к этому участку,— словом, как сказал один из наших остряков: из посторонних туда мог ступить безнаказанно один господь бог, да и то только днем и в воскресенье,— он изменил его до неузнаваемости, превратив его в синоним своевластия и насилия — понятие с реальными границами, вроде как карантин во время чумы, так что только он один, единственный из всего округа, был известен всему остальному округу по номеру своих межевых координат — Участок номер Четыре — такой известностью в середине двадцатых годов пользовался город Сисеро в Иллинойсе, все знали, где он находится, и кто там живет, и чем занимается, даже те, кто представления не имел, что это за город Чикаго и в каком он штате; и как будто всего этого еще мало, он как нарочно выбрал такое время, когда единственный человек, будь то белый или черный,— Эдмондс, один-единственный из всего Йокнапатофского округа, из всего Миссисипи или, уж коль на то пошло, из всей Америки, изо всего света, единственный, у кого могло бы быть какое-то поползновение — уж не будем говорить возможность или власть — попытаться стать между Лукасом и свирепой судьбой, на которую Лукас давно набивался (и тут, хотя он уже совсем было собрался заснуть, он невольно расхохотался, вспомнив, как это ему в первую минуту пришло в голову, что, если бы Эдмондс был дома, это могло бы иметь какое-то значение,— ясно представив себе это лицо, сдвинутую набок шляпу и эту фигуру перед камином в позе барона или герцога — стоит себе, расставив ноги, эдакий сквайр или член конгресса, заложив руки за спину, и так это, даже не глядя, приказывает двум мальчикам-неграм поднять его деньги и отдать ему; и ему даже не надо было вспоминать слова дяди, который чуть ли не с тех пор, как он научился понимать, что ему говорят, наставлял его, что ни один человек не может заслонить другого от его судьбы, потому что даже и дядя при всей своей гарвардской и гейдельбергской учености не мог бы назвать такого смельчака и сумасброда, который решился бы стать между Лукасом и тем, что он задумал сделать), этот человек лежал теперь неподвижно на спине в операционной в Новом Орлеане, так вот Лукасу как раз и приспичило выбрать это время, эту жертву, и это место, и субботний день после полудня, и ту же лавку, где у него уже было столкновение с белым, во всяком случае один-то раз,— выбрать первую подходящую субботу, удобное время дня и, прихватив с собой старый однозарядный кольт такого калибра и типа, каких уже теперь больше и не делают, и уж конечно такой только и есть у Лукаса, так же как вот золотая зубочистка, ни у одного человека во всем округе такой нет, и подождать у лавки — самое верное место, нет человека из тех, что живут по соседству, который в субботу днем рано или поздно не показался бы здесь,— и как только появится жертва, уложить на месте выстрелом в спину, а почему — до сих пор так никто и не знает, и по всему тому, что он слышал сегодня днем и даже уже совсем вечером, когда он наконец пошел домой с Площади, никто даже и не интересовался; ну какое это имело значение, во всяком случае меньше всего для Лукаса, ибо он, по-видимому, вот уже лет двадцать или двадцать пять с неутомимым, ни на минуту не ослабеваемым рвением готовился к этому всеутверждающему моменту; он пошел следом за ним в перелесок — ну что там ходу? плюнуть дойти — и выстрелил ему в спину, и, конечно, все, кто там толкался у лавки, услышали; и когда первые из толпы подбежали к нему, он так и стоял над телом с аккуратно засунутым в верхний карман брюк револьвером, и, конечно, с ним тут же и расправились бы, не сходя с места, если бы не тот же Дойл Фрейзер, который семь лет тому назад спас его от плужной ру-

коятки, и старый Скипуорт, констебль, маленький, высохший, сморщенный старикашка, глухой как пень и росту чуть побольше щуплого подростка, в одном кармане куртки у него всегда большой никелированный револьвер без кобуры, а в другом — резиновая слуховая трубка, которую он наподобие охотничьего рога носил на ремне из необделанной кожи, накинутом на шею, и вот он-то чуть ли не на свой риск и страх проявил отчаянную смелость и мужество, вызволил Лукаса (который, впрочем, не оказал ни малейшего сопротивления, а просто наблюдал происходящее все с тем же спокойным, невозмутимым, даже не презрительным интересом) из толпы, увел к себе домой и приковал к ножке кровати до тех пор, пока не вернется шериф, а тогда уж он заберет его в город и будет стеречь до тех пор, пока Гаури, Уоркитты, Инграмы и все остальные их гости и свойственники не похоронят Винсона, а тут уж и воскресенье пройдет, и они со свежими силами без помех приступят к своим обязанностям с начала новой недели, и вот, ну просто не верится, оказывается, уже и ночь прошла, петухи в предрассветной мгле пробуют голоса, опять тишина, и затем громкий звонкий щебет птиц, и в окне, выходящем на восток, уже видны в сером свете деревья, а вот уже и солнце высоко над деревьями сверкает неистово, прямо в глаза, и, наверно, уже поздно, и, конечно, так оно и должно было случиться; но он же свободен — вот он позавтракает, и все обойдется, и ведь он всегда может сказать, что идет в воскресную школу, а то и вовсе ничего не надо говорить, выйти с черного хода просто прогуляться, потом через задворки на выгон и прямо наперерез рощей к железнодорожным путям, к станции и оттуда обратно на Площадь, и тут же подумал: а нельзя ли еще как-нибудь попроще, а потом сразу бросил думать и пошел через переднюю к парадному входу, пересек веранду, спустился в сад и прямо по аллее на улицу, и тут только, как он потом вспомнил, тут только в первый раз он заметил, что не видел ни одного негра, если не считать Парали, которая подала ему завтрак; обычно в эти часы в воскресенье утром чуть ли не на каждом крыльце видишь горничную или кухарку в свежевыглаженном воскресном фартуке с щеткой в руках, иногда они переговаривались с крыльца на крыльцо через проход меж дворами, и дети, тоже отмытые, вычищенные, собирались кучками в воскресную школу, зажав в потных ладонях пятицентовики; но может быть, сейчас еще слишком рано или, может быть, по обоюдному уговору или даже по чьему-то распоряжению сегодня не будет воскресной школы, только церковная служба, и вот в какой-то согласованный со всеми момент, скажем, в половине двенадцатого, весь воздух над Йокнапатофским округом, словно накаленный зноем, задрожит беззвучно единым дружным заклинанием: *«Успокой сердца этих понесших тяжелую утрату разгневанных людей, аз воздам, сказал господь, не убий»*,— разве только сейчас уже немножко поздно, что бы им сказать это Лукасу вчера,— и, мимо тюрьмы с заделанным решеткой окном во втором этаже, откуда в обычное воскресенье просовывается между прутьев множество темных рук, и даже время от времени видно, как сверкают белки, и певучие голоса окликают, смеясь, прогуливающихся или стоящих внизу негритянских девушек и женщин; и вот тут-то он и подумал, что, кроме Парали, он со вчерашнего дня совсем не видел негров — хотя еще только завтра он узнает, что никто из негров, живущих в Холлоу и Фридментауне, не выходил на работу со вчерашнего вечера,— ни на Площади, ни даже в парикмахерской, где для чистильщика обуви воскресное утро самое доходное время: почистить башмаки, почистить одежду, сбегать по поручению, приготовить ванну для мытья холостым шоферам грузовых машин, рабочим из гаража, которые жили на холостую ногу, снимая комнаты, молодым и не очень молодым людям, трудившимся без устали целую неделю в бильярдной; а шериф, оказывается, действи-

тельно вернулся в город и даже пожертвовал своим воскресным днем, чтобы забрать Лукаса,— и, прислушиваясь, ловя на ходу: да, машин десять—двенадцать отправились вчера к лавке Фрейзера и вернулись ни с чем (он-то знал, что одна машина, набитая битком, отправилась туда еще раз уже совсем поздно вечером, а теперь все они тут, слоняются, зевая, и жалуются, что не выспались, и это тоже еще сверх всего припомнится Лукасу),— и все это он уже слышал раньше и даже сам думал, еще до того как слышал.

— Интересно, захватил с собой Хэмптон лопату? Это все, что ему понадобится.

— Ему там дадут лопату.

— Д-да, если останется, что закапывать. Бензин-то у них там найдется даже и на Четвертом участке.

— А я думал, старик Скипуорт насчет этого позаботится.

— Ясно. Но ведь это Четвертый участок. Они будут слушаться Скипуорта, покуда он держит у себя негра. Но ведь он должен передать его Хэмптону. Вот тут-то все и случится. Хэмптон может быть шерифом в Йокнапатофском округе, но на Четвертом участке он просто человек — как все.

— Нет. Сегодня они ничего не будут делать. Они сегодня днем хоронят Винсона, а жечь негра, пока похороны не кончились, это неуважение к Винсону.

— Верно. Должно быть, на вечер отложат.

— В воскресный-то вечер?

— А что, разве это Гаури вина? Лукасу следовало бы подумать об этом раньше, а не убивать Винсона в субботу.

— Ну, насчет этого я не знаю. Но сдается мне, Хэмптон не такой человек, чтобы у него так просто было забрать заключенного!

— Негра, убийцу? Кто в этом округе да и во всем штате станет помогать ему защищать негра, который стреляет белому в спину?

— Да и на всем Юге?

— Да. И на всем Юге.

Все это он уже слышал; пройтись что ли еще раз на Площадь, только вот бы дядя не вздумал отправиться пораньше в город, чтобы забрать двенадцатичасовую почту, а если дядя не увидит его, то так прямо и скажет маме, что не знает, где он, и, конечно, первое, что ему пришло на ум, это пустая контора, но ведь как раз туда-то наверняка и пойдет дядя; и во всяком случае — и тут он опять вспомнил, что и сегодня утром опять забыл дать Хайбою лишнего корму, а теперь уже поздно, ну, конечно, корм можно взять и с собой — он теперь совершенно точно знает, как ему поступить: шериф уехал из города около девяти; до дома констебля пятнадцать миль по неважной щебнистой дороге, но, конечно, шериф поехал туда и вернется с Лукасом около двенадцати, даже если он и заедет напомнить о себе, раз уж он там, кой-кому из своих избирателей; так вот, задолго до того он вернется домой, оседлает Хайбоя, привяжет мешок с кормом сзади к седлу и поедет прямо в противоположную сторону от лавки Фрейзера и так, никуда не сворачивая, все прямо, прямо будет ехать двенадцать часов, то есть примерно до полуночи, а тогда накормит Хайбоя, даст ему отдохнуть до рассвета или даже дольше, там посмотрим, и потом двенадцать часов обратно, значит, когда он вернется, пройдет восемнадцать, или, может быть, даже двадцать четыре, или все тридцать шесть часов, и уж во всяком случае все будет кончено — и никакого больше возмущения, ни ярости, оттого что лежишь в кровати и стараешься заснуть и считаешь овец; и тут он свернул за угол и, пройдя несколько шагов по другой стороне улицы,

нырнул под навес закрытой кузницы, ее тяжелые двойные дубовые двери не задвигались ни засовом, ни задвижкой, а замыкались цепью, пропущенной в просверленные отверстия каждой из створ и защелкнутой висячим замком; цепь провисала свободно, и между подавшимися внутрь несомкнутыми дверьми получался глубокий выем, нечто вроде алькова, здесь уж никто тебя не увидит ни с той, ни с другой стороны улицы, даже если кто мимо пройдет (не мама, конечно, она-то во всяком случае сегодня не выйдет), разве только нарочно остановится посмотреть; и вот уже колокола начали мягкий неторопливый разноголосый перезвон через весь город с одной колокольни с взметнувшейся голубиной стаей на другую, и улицы и Площадь вдруг запрудила толпа шествующих чинно мужчин в черных костюмах, женщин в шелковых платьях и с зонтиками, девушек и юношей, шествующих чинными парами под этот переливчатый гул в это многоголосое смятение — прошли, и Площадь и улица снова опустели, а колокола все еще трезвонят — небожители, беспочвенные обитатели лишенного кровли воздуха, слишком далеки, высоки, бесчувственны к пресмыкающейся земле,— и вот затихают неторопливо, звон за звоном, смолкают от подземного содрогания органов и настырного, неистового гульканья успокаивающихся голубей. Два года тому назад дядя сказал ему, что выругаться — это совсем не плохо, в этом нет ничего дурного, наоборот, это не только полезно, но и незаменимо, но как и все, что ни есть ценного, оно только тем и дорого, что запас ругани ограничен, и если ты будешь тратить его зря, то в минуту крайней нужды можешь оказаться банкротом; и тут он сказал: *«Какого черта я здесь торчу?»* И сам же и ответил вполне вразумительно — не затем, чтобы увидеть Лукаса, он уже видел Лукаса, но чтобы Лукас мог увидеть его еще раз, если пожелает кинуть на него взгляд не просто с порога ничем не примечательной смерти, а из бензинового рева и пламени апофеоза. Потому что он свободен. У него больше нет никаких обязательств по отношению к Лукасу, он больше не сторож Лукасу — Лукас сам отказался от него.

И вдруг сразу пустая улица заполнилась людьми. Пожалуй, их было уж не так много, ну, может, человек двадцать набралось, а то и меньше, и как-то внезапно, бесшумно, ниоткуда. И все же они словно запрудили, загородили всю улицу, как если бы ее вдруг перекрыли, и не то чтобы никто не мог здесь пройти, пройти мимо них, идти, как обычно, по этой улице, нет, никто не осмеливался даже и близко подойти, никто даже и не пытался этого сделать — так всякий старается держаться подальше от надписи «Высокое напряжение» или «Взрывчатое вещество». Он знал, он узнавал их всех, кой-кого он видел и слышал два часа тому назад в парикмахерской — молодые люди или люди лет под сорок, холостые, бездомные, они приходили в субботу или в воскресенье в душевую парикмахерской — водители грузовиков, рабочие из гаража, смазчик хлопкоочистительной машины, продавец содовой воды из магазина и те, что сплошь всю неделю толклись в бильярдной или поблизости; никто не знал, что они делали, как будто совсем ничего, у них были свои машины, и они ездили на них в Мемфис и Новый Орлеан, и никто, собственно, не знал, каким способом они добывали деньги, которыми они там швыряли в борделях,— такие люди, говорил дядя, водятся в каждом городке южных штатов, они, в сущности, никогда не ведут за собой толпу и даже не подстрекают ее, но всегда являются ее ядром, ибо толпа в массе своей как нельзя более пригодна и доступна для этого. И тут он увидел машину; и узнал ее даже издалека, сам не зная как и, по правде сказать, вовсе и не задумываясь над этим, вышел из своего укрытия на улицу, перешел ее, стал с краю толпы, которая не издавала ни звука, а просто стояла, запрудив тротуар перед тюремной оградой и захлестнув часть мостовой, а машина между тем

приближалась не быстро, совсем не спеша, так это спокойно, медлительно, как подобает ездить машинам в воскресное утро, подъехала к тротуару перед тюрьмой и остановилась. За рулем сидел помощник шерифа. Он так и остался сидеть. Затем задняя дверца открылась, и вышел шериф — громадного роста, исполин, плотный, ни капли жира, маленькие холодные светлые глаза на бесстрастном, почти приветливо-учтивом лице; даже не взглянув на толпу, он повернулся и придержал дверцу. И тут вылез Лукас — медленно, едва поворачиваясь, ну так, как человек, который провел ночь, прикованный к ножке кровати; неловко нагнувшись, он стукнулся или, вернее, задел головой за крышу машины над дверцей, так что, когда он вылез, его сплюснувшаяся шляпа слетела с головы на мостовую прямо ему под ноги. Вот тут в первый раз он увидел Лукаса без шляпы и в ту же секунду подумал, что, может быть, за исключением Эдмондса единственные белые люди, которые когда-либо видели его без шляпы,— это те, что караулят его здесь на улице, караулят вот и сейчас, когда он вылез, согнувшись, из машины и, не разгибая спины, неловко потянулся за шляпой. Но, наклонившись всем своим рослым и вместе с тем удивительно гибким туловищем, шериф уже подхватил ее и протянул Лукасу, который, все так же согнувшись, казалось, еле-еле удержал ее в руке. Но чуть ли не в тот же миг шляпа приняла свою прежнюю форму, и Лукас, выпрямившись, но все еще с опущенной головой — лица не видно,— провел по ней рукавом несколько раз, взад и вперед, быстро, легко, ловко, так вот как точат бритву. Затем голова и лицо запрокинулись — назад и вверх, и одним, не очень быстрым, движением он накинул шляпу на голову, чуть-чуть набок, под обычным углом, который шляпа словно приняла сама собой, как если бы он поймал ее головой на лету; и прямой в своем черном костюме, измятом после бог весть как проведенной ночи (с одной стороны по всему боку от плеча до щиколотки налип какой-то сор, словно ему долгое время пришлось лежать в одном положении на неметеном полу), Лукас в первый раз поглядел на них, и он подумал: «*Сейчас. Сейчас он меня увидит,*— и потом подумал: — *Он видел меня. Ну, теперь все,*— а потом подумал: — *Никого он не видел*»,— потому что лицо это даже не смотрело на них, а просто повернулось к ним, надменное, спокойное, без вызова и без страха, замкнутое, отчужденное, почти задумчивое, неподатливое, невозмутимое; глаза его немножко мигали на солнце даже и после того, как кто-то в толпе шумно втянул воздух, и чей-то голос сказал:

— А ну-ка сшибите ее опять, Хоуп. Да на этот раз вместе с головой.

— Вы, ребята, расходитесь отсюда,— сказал шериф.— Ступайте себе в парикмахерскую.— И, повернувшись, сказал Лукасу: — Ну хорошо, идем.— И все; еще секунду лицо, глядящее не на них, просто в их сторону, а шериф уже зашагал к тюремным воротам, и тут Лукас наконец повернулся и пошел за ним, и вот, если сейчас поспешить немножко, он еще успеет оседлать Хайбоя и уехать прочь до того, как мама, спохватившись, пошлет Алека Сэндера разыскивать его, чтобы он шел обедать. И тут он увидел, что Лукас остановился и обернулся — и вот как он, оказывается, ошибся,— потому что Лукас, прежде даже чем обернуться, знал, где он там в толпе, и, глядя прямо на него, даже еще не совсем повернувшись, сказал ему:

— Вы там, молодой человек, скажите вашему дяде, что мне надобно его повидать.— И, снова повернувшись, пошел за шерифом, все еще немножко одеревенелый, в испачканном черном костюме, в небрежно сдвинутой и сейчас на солнце заметно выцветшей шляпе, и голос из толпы ему вслед:

— На черта ему адвокат. Ему даже гробовщика не понадобится, после того как Гаури разделаются с ним нынче ночью!

А он прошел мимо шерифа, который, остановившись, обернулся к толпе и говорил своим мягким, холодным, учтивым, бесстрастным голосом:

— Я вам уже сказал раз: уходите отсюда. Больше я повторять не буду.

Глава третья

Вот если бы утром, когда он только подумал об этом, он пошел прямо из парикмахерской домой и оседлал Хайбоя, он теперь был бы уже в десяти часах езды отсюда, примерно в пятидесяти милях.

Колокола теперь молчали. На улице было пусто, а если бы кто и повстречался им сейчас, это были бы люди, идущие молиться в более тесном, не столь официальном собрании, шествующие степенно, от фонаря к фонарю, в густой темноте широко раскинувшихся теней и столь строго соблюдающие тихий воскресный покой, что они с дядей спокойно прошли бы мимо, узнав их еще издали, за много шагов, не зная, не гадая и не пытаясь припомнить, когда, где, как, откуда они их знают,— не по фигуре, нет, и даже голос не обязательно слышать, а вот самое их присутствие, может быть, ток какой-то или просто сопоставление: вот эта личность в такое-то время дня, в таком-то месте, и это все, что требуется, чтобы узнавать людей, среди которых ты прожил всю жизнь,— и даже, посторонившись, сошли бы с тротуара на поросший травой край мостовой; быть может, дядя окликнул бы кого-то на ходу, перекинулся двумя словами — и снова на тротуар.

Но сегодня улица была пуста. И сами дома кругом казались замкнутыми, притихшими, настороженными, как если бы люди, живущие в них, которые в этот теплый майский вечер (те, кто не пошел в церковь) вышли бы посидеть после ужина на темных верандах в креслах или качалках, спокойно беседуя друг с другом или переговариваясь с веранды на веранду, если дома достаточно близко, попрятались или ушли из дому. Но и на улице сегодня им попался только один человек, и он не шел, а стоял у калитки чистенького маленького, как сапожная будка, домика, втиснувшегося в прошлом году между двумя другими домами, которые и так уже жались друг к дружке, так тесно, что из одного дома в другой слышно было, как спускают воду в уборной (как-то дядя ему объяснил: если ты родился, вырос и всю жизнь жил в такой глуши, что не слышно ничего, кроме сов по ночам да петухов на заре, а в сырую погоду, когда звук далеко летит, можно услыхать, как твой ближайший сосед за две мили от тебя дерево рубит, тебе приятно жить так, чтобы рядом с собой слышать людей, чувствовать их присутствие всякий раз, как они спускают воду или открывают банку рыбных консервов или супа),— он стоял, темнее собственной тени и, конечно, более неподвижный, человек, приехавший откуда-то из деревни год тому назад, а теперь у него была маленькая убогая лавчонка где-то на окраине, и покупатели его были большей частью негры; они увидели его, только уже когда чуть не налетели на него, хотя он-то узнал их — или по крайней мере его дядю — еще издалека и ждал, когда они подойдут, и заговорил с дядей прежде, чем они оказались рядом.

— Не рановато ли вы, адвокат? Ведь людям с Четвертого участка надо и коров подоить, и дров наколоть на утро, чтоб с завтраком не запоздать, и, прежде чем в город ехать, еще и поужинать успеть.

— А может быть, они еще надумают дома посидеть в воскресный вечер,— любезно отозвался дядя, проходя мимо. На что этот человек ответил почти точь-в-точь то же, что говорил кто-то утром в парикмахерской (и он вспомнил, как дядя сказал ему однажды, какой неболь-

шой запас слов требуется человеку, чтобы жить себе спокойно и даже успешно обделывать свои дела, и как не только отдельный человек, но и целая категория людей, подобных ему, такого же типа и склада, обходится небольшим количеством избитых словечек и фраз для выражения своих несложных запросов, потребностей и вожделений):

— Ну уж это будьте покойны. Не их вина, что нынче воскресенье. Этому сукину сыну следовало бы подумать, прежде чем убивать белого человека в субботу под вечер.— И так как они уже прошли, продолжал, повысив голос: — Жене моей сегодня что-то неможется, да и неохота мне так просто торчать там да глазеть на тюрьму. Но если уж помощь понадобится, вы им скажите, чтоб кликнули.

— Я думаю, они знают, что на вас можно рассчитывать, мистер Лилли,— отозвался дядя. Они продолжали идти.— Вот видишь? — сказал дядя.— Он ничего не имеет против, как он выражается, черномазых. Спроси его, и он тебе наверняка скажет, что он любит их больше некоторых известных ему белых, и сам он этому верит. Они, по всей вероятности, частенько обсчитывают его, не додадут цент-другой и тащат, наверно, какие-нибудь пустяки, по мелочам: пачку жевательной резины, синьку, пару шнурков или там банан, а то и коробку сардин или флакон выпрямителя для волос — уносят, пряча под комбинезонами или фартуками, и он знает это; он, вероятно, и сам отдает им даром какие-нибудь там кости, мясо с душком, которое он по недосмотру принял от мясника, завалявшиеся карамельки. Все, что он требует от черномазых, это чтобы они вели себя как черномазые. Вот так именно и поступил Лукас: пришел в ярость и застрелил белого человека, и, наверно, мистер Лилли считает, что все негры хотели бы сделать то же, а теперь белые возьмут и сожгут его, все правильно, как полагается, и он твердо убежден, что и сам Лукас хотел бы, чтобы с ним поступили именно так, как подобает белым; и те, и другие поступают неуклонно по правилам: негр — как положено негру, а белые — как полагается белым, и после того, как каждая сторона утолила свою ярость, никто не в обиде (ведь мистер Лилли это не Гаури); в действительности мистер Лилли, наверно, одним из первых предложит дать деньги на похороны Лукаса и помочь вдове и детям, если бы они у него были.

Теперь им видна была Площадь, тоже пустая,— амфитеатр неосвещенных лавок, стройный белый пилястр памятника конфедератам на фоне массивной громады здания суда, простершего ввысь свои колонны к тусклому четвероликому циферблату часов, освещенному с каждой стороны маленькой электрической лампочкой, столь же не соответствующей своей сутью этим четырем механическим гласам предостережения и заклятия, как огонек светлячка. А вот и тюрьма, и в тот же миг снопы света вспыхнувших фар, и весь в огнях, с ревом и воем, маленький среди этой огромной ночи и пустого города и вместе с тем вызывающе-наглый, вынырнул из ниоткуда грузовик и закружил по площади, и голос, голос молодого человека завопил из него — это были не слова, и даже не крик, а рев, многозначительный и бессмысленный — и, промчавшись в дальний конец Площади и завершив круг, грузовик скрылся в никуда. Они свернули к тюрьме.

Это было кирпичное прямоугольное здание строгих пропорций, с четырьмя кирпичными колоннами, выступающими по фасаду, плоским барельефом и даже с кирпичным архитравом под карнизом, потому что здание было старое и строилось еще в ту пору, когда даже и тюрьмы строили старательно, не спеша и заботились, чтобы получилось красиво; и он вспомнил, как дядя говорил ему когда-то, что не правительственные здания и даже не церкви, а тюрьмы представляют собой подлинную летопись округа, историю общины; ибо не только загадочные,

всеми забытые инициалы, слова и даже целые фразы, вопли возмущения и обвинения, нацарапанные на стенах, но самые кирпичи и камни хранят не осадок, но сгусток — уцелевший, нетронутый, действенный, неистребимый сгусток страданий, и позора, и терзаний, от которых надрывались и разрывались сердца, давно обратившиеся в неприметный, всеми забытый прах. И так оно было на самом деле, во всяком случае в отношении этой тюрьмы, потому что наряду с одной из церквей это было самое старое здание в городе — здание суда и все, что стояло на Площади или примыкало к ней, было сожжено и разрушено вступившими в город федеральными войсками после битвы в 1864 году. Потому что на одном из стекол веерообразного окна над дверью было нацарапано одно имя, имя молоденькой девушки, начертанное алмазом на стекле ее собственной рукой в том самом году, и два-три раза в год он поднимался на галерею посмотреть на него — такое загадочное, когда глядишь не с той стороны,— не затем, чтобы ощутить прошлое, но чтобы почувствовать снова бессмертность, неизбывность, постоянство юности; это было имя одной из дочерей тогдашнего тюремщика (и дядя, который все умел объяснить не фактами, а чем-то давным-давно перешагнувшим пределы сухой статистики и гораздо более волнующим, потому что это была правда, которая хватала за сердце и не имела ничего общего с тем, что давали сведения из достоверных источников, рассказывал ему еще, что эта часть Миссисипи была тогда еще совсем девственной, город, селение, община выросли здесь меньше пятидесяти лет тому назад, люди, которые пришли тогда, чтобы поселиться здесь— а давность этому меньше продолжительности жизни самого старого из них,— трудились сообща, все вместе, выполняя и самую черную работу, и почетный труд, не из-за денег или из каких-либо политических соображений, а чтобы создать отчизну своему потомству, где человек, будь он потом тюремщиком, хозяином гостиницы, кузнецом или разносчиком, оставался бы неизменно тем, что юрист, помещик, доктор и священник называют порядочным человеком); она в тот день стояла у этого окна, глядя на разрозненные остатки отступавшего из города войска конфедератов, и вдруг глаза ее встретились через все разделявшее их пространство с глазами оборванного небритого лейтенанта, шагавшего во главе одного из разбитых отрядов; она не нацарапала его имени тут же на стекле не только потому, что юная девушка того времени никогда бы не сделала этого, но потому, что она тогда еще не знала его имени, хотя полгода спустя он стал ее мужем.

В сущности, и сейчас с этой деревянной галереей вдоль фасада, огороженной деревянной балюстрадой, нижний этаж был похож на жилое помещение. Но надо всем этим кирпичная стена без окон, кроме одного высокого прямоугольника за толстыми прутьями решетки; и он снова вспомнил, как обычно в воскресные вечера, которые сейчас отошли в какие-то легендарные времена, с самого ужина и до того, как тюремщик, выключив свет, выходил на лестницу и кричал им, что пора там уняться наверху, темные гибкие руки высовывались между прутьев решетки, и мягкие нераскаянные беспечные голоса перекрикивались с собравшимися на улице женщинами в фартуках поварих или нянек, с девушками в ярких дешевых платьях, заказанных и полученных по почте, с другими молодыми людьми, еще не попавшими в тюрьму или уже отсидевшими срок и только что выпущенными. Но не сегодня; сегодня даже в глубине, в помещении за решеткой было темно, хотя не было еще восьми часов, и он представлял себе, видел, как они все собрались, ну, может быть, не в кучу, но все вместе, так, чтобы чувствовать друг друга локтем, если даже и не касаться друг друга, и, конечно, они сидят тихо, ни смеха, ни разговоров сегодня, сидят в темноте и смотрят на лестничную площадку, потому что бывало уже, и не раз,

когда толпе белых людей мало того, что все черные кошки казались серыми, она даже не давала себе труда сосчитать их.

И входная дверь была распахнута настежь, чего он никогда раньше не видел даже летом, хотя в нижнем этаже помещалась квартира тюремщика, и, откинувшись на складном стуле, придвинутом к стене прямо против входной двери, так что ему видно было всю улицу, сидел человек; это был не тюремщик и даже не один из помощников шерифа, потому что он сразу его узнал,— это был Уилл Лигейт, живший на маленьком хуторе в двух милях от города, один из лучших лесорубов, превосходный стрелок и первый охотник на ланей во всей округе, он сидел, откинувшись на стуле, держа в руках иллюстрированную цветную страницу юмора сегодняшней мемфисской газеты, а рядом с ним, прислоненная к стене, стояла не старая его заслуженная винтовка, которой он перестрелял столько ланей (и зайцев прямо на бегу), что даже и счет потерял, а двуствольное ружье, обыкновенный дробовик, и он, даже не опустив газеты, не шевельнув ею, увидел и узнал их прежде даже, чем они вошли в ворота, и теперь внимательно следил, как они шли по двору, поднялись по ступеням на галерею и, пройдя через нее, вошли в комнату; в ту же минуту и сам тюремщик появился из двери справа — сердитый, толстопузый, неряшливый человек с встревоженным, озабоченным, возмущенным лицом, с тяжелым револьвером, заткнутым за пояс патронташа, выглядевшего на нем так же нелепо и неуместно, как шелковый цилиндр или железная цепь, которую когда-то в пятом веке надевали наподобие ошейника на шею рабов,— и, притворив за собой дверь, сразу начал жаловаться дяде:

— Он даже не дает закрыть и запереть входную дверь, уселся с этой дурацкой газетой — и нате вам, пожалуйста, приходи всякий, кто хочет.

— Я делаю то, что мне велел мистер Хэмптон,— спокойно и вежливо сказал Лигейт.

— А что же Хэмптон думает, эта дурацкая газета остановит молодчиков с Четвертого участка? — не унимался тюремщик.

— Мне кажется, у него сейчас пока еще нет опасений насчет Четвертого участка,— все так же спокойно и вежливо отвечал Лигейт.— Это у меня просто так — для упреждения.

Дядя поглядел на Лигейта.

— И, похоже, помогает. Мы видели машину — или, может быть, одну из многих,— она кружила по Площади, как раз когда мы подошли. Наверно, побывала и здесь.

— Да, приезжала раз или два, а может, и три,— сказал Лигейт.— Признаться, я как-то не придал этому значения.

— Вот только на то, черт возьми, и надейся, что помогает,— сказал тюремщик.— Потому как, ясное дело, этой воробьиной трещоткой никого не остановишь.

— Ясно,— сказал Лигейт,— я и не надеюсь их остановить. Если наберется достаточно людей, которые решатся на такое дело и внушат себе, что так надо, их ничто не остановит. Ну, тогда уж мне на подмогу придете вы, с этим вашим револьвером.

— Я? — вскричал тюремщик.— Чтобы я полез драться против всех этих Гаури и Ингрmaмов за семьдесят пять долларов в месяц? Из-за какого-то черномазого? Да и вы, если у вас что-нибудь в голове есть, тоже не полезете.

— Ну нет, я обязался,— сказал Лигейт все тем же спокойным вежливым тоном.— Я вынужден буду оказать сопротивление, мистер Хэмптон платит мне за это пять долларов.— И, обратившись к дяде: — Вы, я полагаю, пришли повидать его.

— Да,— сказал дядя.— Если не возражает мистер Таббс.

Тюремщик, обозленный, встревоженный, уставился на дядю.

— И вам тоже понадобилось в это впутаться. Ну как же, разве вы можете позволить себе стоять в стороне.— Он круто повернулся.— Идемте.— И пошел в дверь, возле которой сидел, прислонясь к стене, Лигейт, и они вышли на черный ход, откуда вела лестница на верхний этаж; щелкнув выключателем внизу у лестницы, он начал подниматься по ступеням, за ним дядя и следом за ними он, глядя внимательно на кобуру с револьвером, заткнутую за пояс у тюремщика, которая то поднималась горбом у него на бедре, то опускалась. Внезапно тюремщик замедлил шаг, словно собираясь остановиться, должно быть, так показалось и дяде, он тоже остановился, но тюремщик, продолжая идти, заговорил через плечо: — Вы на меня не обижайтесь. Я, конечно, все сделаю, что могу. Я ведь тоже присягу приносил, как сюда поступал.— Он слегка повысил голос и продолжал спокойно, только чуть-чуть погромче: — Но только не думайте, что я по своей охоте на это иду, уж этого меня никто не заставит признать. У меня жена, двое детей, какая им от меня польза будет, если я дам себя убить, защищая какого-то негодного вонючего негра? — Голос его еще повысился, теперь он уже не был спокойным. — А как я сам с собой жить буду, если я позволю этой своре паршивых сукиных сынов забрать у меня из-под замка арестанта? — Тут он остановился одной ступенькой выше их и, возвышаясь над ними обоими, повернулся к ним лицом, опять исступленным, издерганным, и голос у него теперь был исступленный, негодующий: — Для всех было бы лучше, коли эти парни забрали бы его тут же на месте, как только накрыли вчера...

— Но они этого не сделали,— сказал дядя.— И думаю, что и не сделают. А если и собираются, в конце концов это не имеет значения. Может, они соберутся, а может, и нет, и если нет, тогда все в порядке, а если да, то мы сделаем все от нас зависящее, вы, мистер Хэмптон и Лигейт, и все мы — все, что можем и считаем своим долгом сделать. А пока что нечего и беспокоиться. Ясно?

— Да,— сказал тюремщик.

Он повернулся и, отстегивая на ходу связку ключей от пояса под патронташем, поднялся еще на несколько ступеней, подошел к тяжелой дубовой двери, замыкавшей лестницу (это была добротная дверь из цельного теса толщиной два с лишним дюйма, запиравшаяся солидным современным висячим замком на кованом железном засове, вставлявшемся в железные пазы, которые, так же как и тяжелые завитки петель, были выделаны вручную, выкованы свыше ста лет тому назад в той самой кузнице напротив, где он стоял вчера; однажды прошлым летом какой-то сумасброд из столичных, архитектор, напомнивший ему даже чем-то его дядю, без шляпы, без галстука, в теннисных туфлях, заношенных фланелевых брюках, в машине с откидным верхом стоимостью три тысячи долларов, с ящиком шампанского или, вернее, с тем, что еще осталось в нем, не то чтобы заехал проездом, а намеренно пожаловал в наш город и вкатил, никого не задев, через тротуар прямо в витрину, пьяный, веселый, денег при нем меньше пятидесяти центов в кармане, но масса всяческих удостоверений, визитных карточек и чековая книжка, по корешкам которой выяснилось, что у него на счету в одном из нью-йоркских банков свыше шести тысяч долларов; он тут же потребовал, чтобы его посадили в тюрьму, хотя пристав и хозяин витрины оба старательно убеждали его пойти в отель и проспаться, а потом выписать чек за стену и за витрину; в конце концов приставу пришлось отвести его в тюрьму, где он и заснул сразу как младенец, а машину забрали чинить в гараж, а на следующий день тюремщик позвонил приставу в пять утра, чтобы он тут же убрал этого типа, потому как он весь его приход перебудил, перекликаясь из своей камеры с неграми в общей

арестантской. Пристав явился и выпроводил его, тогда он пожелал примкнуть к партии арестантов, которых вели на мостовые работы, но его к ним не допустили, и машина его была уже готова, но он никак не хотел уезжать и остался на эту ночь в отеле, а через два дня дядя привел его вечером к ужину, и они с дядей три часа сидели и говорили о Европе, о Париже и Вене, а он и мама слушали, а отец извинился и ушел, и после этого еще через два дня он все еще был здесь и всячески старался добиться от дяди и мэра и от городского совета и под конец даже от самого Совета попечителей, чтобы ему разрешили купить целиком эту дверь, а уж если они никак не хотят ее продать, то хотя бы засов с пазами и петлями), отомкнул засов и распахнул дверь.

Теперь они уже оставили позади человеческий мир, мир людей — людей, которые работали, жили дома, растили детей и старались заработать немножко больше денег, чем, пожалуй, они заслуживали, разумеется, честным способом или по меньшей мере непротивозаконным, истратить немножко на развлечения и как-никак отложить кой-что и на старость. Потому что едва только дубовая дверь распахнулась, оттуда словно вырвалось и хлынуло прямо на него затхлое дыхание всей человеческой низости и позора — вонь креозота, испражнений, блевотины, неисправимости, пренебрежения, отречения, и все это, словно нечто осязаемое, они как бы с трудом преодолевали напором собственного тела, поднимаясь на последние ступени и входя в коридор, который, в сущности, был частью общей арестантской, загоном, отделенным от всего остального помещения толстой проволочной сеткой, вроде как курятник или псарня; внутри этого загона у дальней его стены лежали на нарах пятеро негров; неподвижно, с закрытыми глазами, не всхрапывая, не издавая ни единого звука, они лежали не шевелясь под тусклым светом единственной пыльной лампочки, висевшей без колпака, недвижные, спокойно и чинно, словно набальзамированные покойники; тюремщик снова остановился и, ухватившись руками за сетку, окинул свирепым взглядом безжизненные фигуры.

— Поглядите на них,— сказал он чересчур громким, тонким, почти истерическим голосом.— Смирные как овечки, чертовы дети, а ведь ни один не спит. А что их винить, когда эта разъяренная толпа белых, того и гляди, ввалится сюда в полночь с револьверами да с жестянками бензина. Идемте,— сказал он, повернулся и пошел. Тут же рядом в сетке была дверь, закрытая не на замок, а на крючок — так иногда запирают собачью конуру или ларь с зерном,— но тюремщик прошел мимо нее.

— Вы что, в камеру его поместили? — спросил дядя.

— Хэмптон приказал,— ответил через плечо тюремщик.— Не знаю уж, если теперь еще какого белого арестанта приведут, как ему понравится, что отдохнуть, выспаться здесь можно, только если кого убьешь. Ну, одеяла-то я все-таки с коек убрал.

— Может, потому, что он здесь не так долго пробудет, чтобы лечь спать? — сказал дядя.

— Ха-ха,— отозвался тюремщик каким-то неестественным тонким, грубым и невеселым смешком.— Ха-ха-ха-ха-ха...

А он шел следом за дядей и думал, как из всего, что ни делает человек, ничто так настоятельно не требует уединения, как убийство; сколько усилий приложит человек, чтобы уединиться для отправления естественных потребностей или для любовного акта, но ради того уединения, которое нужно ему, чтобы лишить человека жизни, он пойдет на все, даже еще убьет, и, однако, никаким другим поступком он не лишает себя уединения так окончательно и бесповоротно, как убийством; дверь, на этот раз по-современному заделанная стальной решеткой, с внутренним запором величиной чуть ли не с дамскую сумку; тюремщик открыл ее другим ключом из своей связки и тут же повернул-

ся и ушел, и звук его шагов, быстро удалявшихся, чуть ли не бегущих по коридору, слышен был, пока не стукнула дубовая дверь на лестнице, а за этой дверью — камера, освещенная другой, такой же тусклой, пыльной, засиженной мухами лампочкой под проволочной сеткой, ввинченной в потолок, чуть побольше чуланчика для метлы, в сущности в ней только и умещались две койки друг над другом у стены, и с обеих были сняты не только одеяла, но и матрасы, и, когда они с дядей уже вошли, все, что он увидел, было то, что он увидел с первого взгляда: шляпу и черный сюртук, аккуратно висевшие на вбитом в стену гвозде; и он потом вспоминал, как он чуть ли не со вздохом и даже с облегчением подумал: *«Его уже забрали. Его нет. Мы опоздали. Уже все кончено»*. Потому что хоть он и не представлял себе, что́ он здесь ожидал увидеть, но только не это: старательно разостланные листы газеты аккуратно покрывали голые пружины нижней койки, а другая половина газеты была так же аккуратно разостлана на верхней койке, чтобы свет не бил в глаза, а сам Лукас лежал на разостланных газетах на спине, подсунув под голову один из своих башмаков, сложив руки на груди, и спал совершенно спокойно или так спокойно, как спят старые люди,— рот у него был открыт, и дышал он всхлипывающими, прерывистыми, мелкими вздохами, а он стоял и, чуть не задыхаясь от возмущения — нет, не просто возмущения, а бешенства,— смотрел на это лицо, которое в первый раз, в кои-то веки, хоть на миг не защищенное ничем, выдавало его возраст, на дряблые узловатые старческие руки, еще только вчера всадившие пулю в спину другому человеческому существу, мирно покоившиеся на груди белой крахмальной старомодной сорочки без воротничка, застегнутой на шее медной посеребренной запонкой в виде изогнутой стрелы величиной с маленькую змеиную головку, и думал: *«Ведь это просто негр, как все негры, хоть у него и прямой нос, и он не гнет шею и носит золотую цепочку, и для него нет никаких мистеров, даже если он к кому так и обращается; только негр способен убить человека, и как убить — выстрелом в спину, и потом спать себе как невинный младенец, едва только нашлось место, где растянуться»;* он все еще смотрел на него, и вдруг Лукас, не двинув ни одним мускулом, не пошевелившись, закрыл рот, веки его открылись, глаза секунду-другую тупо смотрели в потолок, затем, хотя он все еще не повернул головы, белки его вдруг задвигались, и он, так и не шелохнувшись, уставился прямо на дядю — лежал и смотрел.

— Ну что, старик, крышка,— сказал дядя.— Натворил дел.

И тут Лукас зашевелился. Он медленно, с трудом сел, с трудом перекинул ноги через край койки и, подхватив под коленку одну ногу обеими руками, стал раскачивать ее, ворочая туда и сюда, так ворочают осевшую калитку, когда не могут открыть ее или закрыть, охая и кряхтя — не то чтобы откровенно, без стеснения, во весь голос, но успокоительно, как охают и кряхтят старые люди с давнишней небольшой ломотой в суставах, такой знакомой и привычной, что она уже и не кажется болью, и если бы они вдруг от нее излечились, им стало бы как-то не по себе, как если бы они что-то утратили, а он слушал и смотрел, все так же возмущаясь, а теперь еще и удивляясь этому убийце, которого ждет не просто виселица, а самосуд разъяренной толпы, и он мало того, что нашел время охать оттого, что у него спину ломит, он еще возится с этим, как будто ему предстоит целые годы, всю оставшуюся ему долгую жизнь чувствовать при каждом движении эту привычную боль.

— Похоже на то,— сказал Лукас.— Потому я за вами и послал. Что вы со мной собираетесь сделать?

— Я? — сказал дядя.— Ничего. Я не Гаури. И даже не Четвертый участок.

Опять все так же медленно, с трудом Лукас нагнулся и поглядел под ноги, потом, протянув руку, достал из-под койки другой башмак, снова сел прямо и, поскрипывая пружинами койки, стал медленно поворачиваться, чтобы поглядеть позади себя; тут дядя наклонился, достал его башмак с койки и бросил на пол рядом с другим. Но Лукас не стал их надевать. Мигая от света, он снова сел прямо, неподвижно, руки на коленях. Потом махнул рукой, как бы отметая прочь всех Гаури, толпу, месть, костер, который ему готовят, и все остальное.

— Об этом я начну беспокоиться, когда они здесь появятся,— сказал он.— Я о законе спрашиваю. Ведь вы наш окружной адвокат?

— А-а! — сказал дядя.— Так это районный прокурор, он пошлет тебя на виселицу или упрячет в Парчмен, а не я.

Лукас все продолжал мигать — не часто, но непрерывно. Он следил за ним. И вдруг он заметил, что Лукас вовсе и не смотрит на дядю и, по-видимому, уже секунды две-три.

— Понятно,— сказал Лукас.— Значит, вы можете взять на себя мое дело.

— Твое дело? Защищать тебя на суде?

— Я вам заплачу,— сказал Лукас.— Насчет этого можете не беспокоиться.

— Я не берусь защищать убийц, которые стреляют человеку в спину,— сказал дядя.

И опять Лукас тем же отметающим жестом махнул темной узловатой рукой.

— Не про суд речь. Мы еще до него не дошли.— И тут он увидел, что Лукас глядит на дядю, опустив голову, глядит на него снизу вверх из-под седых, нависших космами бровей — пронзительным, пристальным, себе на уме взглядом. Затем Лукас сказал: — Я хочу нанять кого-нибудь...— И остановился.

И он, глядя на него, вспомнил одну старушку, теперь уже покойницу, старую деву, их соседку, которая носила крашеный парик и всегда держала наготове в кладовой целое блюдо домашних булочек для всех ребятишек с улицы, и вот как-то летом (ему было лет семь-восемь, не больше) она научила их всех играть в пятьсот; в жаркие летние дни с утра они сидели за карточным столом на занавешенной стороне ее веранды, и она, послюнив пальцы, вынимала одну карту из тех, что были у нее на руках, и, положив ее на стол, конечно отнимала руку, но не убирала совсем, а держала рядом с картой на столе, пока тот, кто ходил следующим, не выдавал каким-нибудь движением, или жестом, или торжествующим возгласом, или просто усиленным сопением, что вот он сейчас побьет эту карту и обыграет ее, тогда она быстро говорила: «Постой, я не ту карту взяла»,— и тут же хватала свою карту со стола и ходила другой. Это было точь-в-точь то, что сейчас сделал Лукас. Он и до этого сидел спокойно, но сейчас он был совершенно неподвижен. Он как будто даже не дышал.

— Нанять кого-нибудь? — сказал дядя.— У тебя есть адвокат. Я взял на себя твое дело еще до того, как пришел сюда. Я тебе скажу, как вести себя, когда ты мне расскажешь, что произошло.

— Нет,— сказал Лукас.— Я хочу кого-нибудь нанять. И не обязательно, чтоб был адвокат.

Теперь уже дядя уставился в недоумении на Лукаса:

— А что он должен делать?

Он следил за ними обоими. Теперь это уже была не детская игра без ставок в пятьсот, это было больше похоже на партию в покер, которую он видел когда-то.

— Возьметесь вы или нет сделать то, что мне надо? — спросил Лукас.

— Итак, ты не хочешь сказать мне, что надо сделать, пока я не соглашусь? — сказал дядя.— Хорошо, тогда я скажу тебе, что ты должен сделать. Так что же все-таки произошло вчера?

— Значит, вы не беретесь за то, что я предлагаю? — сказал Лукас.— Вы не сказали ни да, ни нет.

— Нет,— отрезал дядя чересчур громко и резко и тут же, спохватившись, продолжал, не сразу понизив голос до какого-то яростно-внушительного спокойствия.— Потому что ты не можешь никому ничего предлагать. Ты в тюрьме и можешь только бога молить, чтобы эти проклятые Гаури не выволокли тебя отсюда и не повесили на первом фонарном столбе. Почему они тебя дали в город увезти, этого я до сих пор понять не могу.

— Что сейчас об этом беспокоиться,— сказал Лукас.— Мне бы надо...

— Что беспокоиться? — сказал дядя.— Ты скажи Гаури, что им беспокоиться, когда они сегодня ворвутся сюда. Четвертому участку скажи, чтобы они не беспокоились.— Он осекся, с явным усилием опять понизил голос до того же яростно-терпеливого спокойствия, глубоко потянул воздух и тут же выдохнул.— Ну. Рассказывай все как есть, что произошло вчера.

Секунду-другую Лукас не отвечал; сидя на койке, руки на коленях, упрямый, невозмутимый, он уже не смотрел на дядю и чуть шевелил губами, как будто пробовал что-то.

— Их двое было,— сказал он,— компаньоны по лесопилке. Ну, лес они покупали, который на лесопилке пилили.

— Кто это они? — спросил дядя.

— Винсон Гаури один из них.

Дядя долго не сводил с Лукаса пристального взгляда. Но теперь голос у него был совсем спокойный.

— Лукас,— сказал он,— тебе когда-нибудь приходило в голову, что, если бы ты, обращаясь к белым, говорил «мистер» и так бы и относился к ним, ты сейчас, наверно, не сидел бы здесь.

— Оно, видно, мне сейчас самое время начать,— сказал Лукас.— Вот как они меня выволокут отсюда да разведут подо мной костер, я и буду им говорить: «мистер, мистер».

— Ничего с тобой никто не сделает до тех пор, пока ты не предстанешь перед судом,— сказал дядя.— Что, ты не знаешь, даже Четвертый участок не очень-то позволяет себе вольничать с мистером Хэмптоном, и уж во всяком случае не здесь, в городе.

— Шериф Хэмптон сейчас спит у себя в постели дома.

— Но здесь внизу сидит мистер Уилл Лигейт с ружьем.

— Не знаю я никакого Уилла Лигейта.

— Охотника на ланей? Того самого, который из своей старой винтовки попадает в зайца на бегу?

— Ха,— усмехнулся Лукас.— Гаури — это вам не лани. Может, гиены или пантеры, но уж никак не лани.

— Хорошо,— сказал дядя.— Тогда я останусь здесь, чтобы тебе было спокойней. Ну. Говори дальше. Винсон Гаури с каким-то другим человеком покупали вместе лес. Кто этот другой?

— Пока что известно только про Винсона Гаури.

— Известно только, что он был убит среди бела дня выстрелом в спину,— сказал дядя.— Что ж, есть и такой способ сделать человека известным. Кто же был другой человек?

Лукас не отвечал. Он не двигался. Возможно, он даже и не слышал, сидел невнимательный, спокойный, в сущности даже и не выжидал, просто сидел под пристальным взглядом дяди. Тогда дядя сказал:

— Хорошо. Что же они делали с этим лесом?

— Складывали тут же на дворе, до того как все не распилят, чтобы потом все разом продать. Только тот, другой, вывозил лес по ночам, приедет на грузовичке уже совсем затемно, нагрузит кузов и везет его продавать в Глазго и Холлимаунт, а денежки в карман.

— Как ты все это узнал?

— Я его видел. Следил за ним.

У него не было ни тени сомнения в том, что Лукас говорит правду, потому что он вспомнил отца Парали, старика Ефраима, который после того, как овдовел, сидел целыми днями и дремал в кресле-качалке, летом — на крыльце, а зимой — дома перед камином, а ночами бродил по дорогам, уходил из дому — не то чтобы куда-нибудь, а так, куда глаза глядят, иной раз на пять-шесть миль от города уйдет, а потом на рассвете вернется и опять целый день сидит и дремлет в кресле, очнется и опять заснет.

— Хорошо,— сказал дядя.— Ну и что же дальше?

— Вот и все,— сказал Лукас.— Воровал дрова и увозил, и так чуть ли не каждую ночь.

Секунд десять дядя не сводил с Лукаса пристального взгляда. Потом сказал тихим, едва сдерживающим изумление голосом:

— И ты, значит, взял свой револьвер и пошел вывести все это начистоту. Ты, негр, взял револьвер и пошел восстанавливать справедливость между двумя белыми? На что ты рассчитывал? На что, собственно, ты рассчитывал?

— Не важно, на что кто рассчитывал,— сказал Лукас.— Мне бы надо...

— Ты шел в лавку,— продолжал дядя,— по дороге ты встретил Винсона Гаури, проводил его до перелеска и рассказал ему, как его обкрадывает компаньон, и, конечно, он тебя послал к черту, обозвал тебя лгуном, вполне естественно, ничего другого он и не мог сделать, независимо от того, правду ты ему сказал или нет; может быть, он даже бросился на тебя, сшиб тебя с ног и пошел себе, а ты выстрелил ему в спину...

— Никто никогда не сшибал меня с ног,— сказал Лукас.

— Тем хуже,— сказал дядя.— Тем хуже для тебя. В таком случае это даже не самозащита. Ты просто выстрелил ему в спину, и так и стоял над ним, сунув в карман револьвер, из которого ты только что выстрелил, и дождался, когда сбежались белые и схватили тебя. И если бы не этот скрюченный ревматизмом старикашка констебль, который, во-первых, оказался тут просто случайно, а, во-вторых, это и вообще-то не его дело, его дело вручать повестки о вызове в суд или препровождать в тюрьму с ордером на арест, за что ему платят по доллару за каждого арестанта, так вот у него хватило мужества уберечь тебя от этого проклятого Четвертого участка в течение полутора суток, пока Хоуп Хэмптон счел возможным, или спохватился, или изловчился перевести тебя в тюрьму, а если бы он не удержал всю эту ораву, а ведь это целый клан, с которым тебе, со всеми твоими друзьями, сколько бы ты их ни собрал, за сто лет...

— У меня нет друзей,— сказал Лукас гордо, сурово и непреклонно и вслед за этим прибавил что-то еще, хотя дядя уже заговорил:

— Ты прав, верно, ничего не скажешь, нет у тебя друзей, а если бы и были, так после этого твоего выстрела они мигом бы все улетучились и ты с ними до второго пришествия... Что? — перебил себя дядя.— Что ты сказал?

— Я сказал, что я сам за себя плачу,— сказал Лукас.

— Понятно,— сказал дядя.— Ты не одалживаешься у друзей, ты платишь наличными. Так. Понимаю. Ну, слушай меня. Твое дело завтра будет разбираться в совете присяжных. Они составят обвинительный акт и передадут дело в суд. Тогда, если хочешь, я добьюсь, чтобы Хэмптон перевел тебя в Моттстаун или даже еще подальше до начала судебной сессии в следующем месяце. И тогда ты уже на суде признаешь себя виновным. Я уговорю окружного прокурора, чтобы твое дело было передано в суд, потому что ты старый человек и до сих пор за тобой ничего такого не водилось. Я исхожу из тех данных, какими будут располагать о тебе судья и окружной прокурор, а они живут по меньшей мере за пятьдесят миль от Йокнапатофского округа. Тогда тебя не повесят, а отправят в каторжную тюрьму, вряд ли ты протянешь так долго, чтобы дождаться досрочного освобождения, но во всяком случае Гаури тебя там не достанут. Ну, хочешь ты, чтобы я остался здесь на ночь?

— Нет, лучше не надо,— сказал Лукас.— Мне прошлую ночь совсем не дали спать, может, я немножко посплю. А если вы здесь останетесь, вы проговорите до утра.

— Правильно,— коротко отрезал дядя и уже сделал шаг к двери, бросив ему: — Идем! — Потом тут же остановился.—Тебе ничего не надо?

— Может, пришлете немного табаку,— сказал Лукас.— Если только эти Гаури дадут мне время покурить.

— Завтра,— сказал дядя.— Сегодня уж не буду мешать тебе спать.

И пошел, и за ним следом он, но дядя пропустил его вперед, и он, выйдя из двери, повернулся и, отступив, чтобы дать ему пройти, стоял и смотрел в камеру, пока дядя выходил, закрывал за собой дверь, и тяжелый стальной штырь вонзился в стальной паз с глухо прокатившимся звуком неотвратимой свершенности, подобным тому последнему трубному гласу, который прокатится в космосе, когда, как говорил дядя, машины, созданные человеком, в конце концов уничтожат, сотрут его с лица земли и, оставшись без основателей рода, ненужные самим себе, ибо им нечего будет уничтожать, захлопнут над собственным апофеозом последнюю выточенную карборундом дверь, замок которой отомкнется не часовым механизмом, а отзовется только на последний зов вечности; дядины шаги, удаляясь, разносились по коридору, потом дробный звук костяшками пальцев в дубовую дверь, а они с Лукасом все еще стояли и смотрели друг на друга через прутья стальной решетки. Лукас стоял теперь под самой лампочкой посреди камеры и смотрел на него, и по его лицу трудно было сказать, что оно выражало; на секунду ему показалось, будто Лукас что-то сказал. Но Лукас ничего не говорил, стоял, не шелохнувшись, и только смотрел на него с безмолвной терпеливой настойчивостью до тех пор, пока шаги тюремщика не застучали на лестнице, все ближе и ближе, и кованый засов на двери не грохнул откинувшись.

Тюремщик запер за ними засов, и они прошли мимо Лигейта, который все так же, с листком юмора в руках, сидел на раскладном стуле рядом со своим ружьем напротив открытой настежь входной двери, вышли на крыльцо, потом пошли по двору к воротам на улицу; и он шагал сзади, а когда они уже вышли из ворот и дядя повернул к дому, он остановился, думая: *«Негр убийца, который стреляет белому в спину и даже ничуть не раскаивается в этом»*.

Потом сказал:

— Я думаю, Скитс Макгоан, наверно, где-нибудь здесь, на Площади. У него ключ от мелочной лавки, я уж отнесу Лукасу табаку сегодня.

Дядя остановился.

— С этим можно подождать до утра,— сказал дядя.

— Да,— сказал он, чувствуя на себе пристальный взгляд дяди и даже не задаваясь вопросом, как ему поступить, если дядя скажет «нет», в сущности даже и не дожидаясь ничего, а просто стоя рядом.

— Хорошо,— сказал дядя.— Только не задерживайся долго.

И теперь он мог бы уже уйти. Но он все еще стоял, не двигаясь.

— Мне кажется, вы говорили, что сегодня ничего не случится.

— Я и сейчас так думаю,— сказал дядя.— Но разве можно быть уверенным. Такие люди, как Гаури, не придают большого значения смерти или тому, что человек умирает. Но вот покойник и то, какой смертью он умер, в особенности свой, кровный,— это для них очень важно. Если ты достанешь табак, отдай Таббсу, чтобы он отнес ему, и приходи поскорей домой.

И на этот раз ему даже не пришлось говорить: «хорошо», дядя повернулся и пошел, и тогда он тоже повернулся и зашагал к Площади и шел до тех пор, пока не затихли дядины шаги, тогда он остановился и подождал, пока черный силуэт дяди не превратился в белое пятно его блеснувшего на свету полотняного костюма, которое тут же исчезло за последним дуговым фонарем; и вот если бы тогда он пошел домой и оседлал Хайбоя, как только узнал машину шерифа, сейчас он был бы уже восемь часов в пути, почти за сорок миль,— и тут он повернул и пошел назад, к воротам: глаза Лигейта уже следили за ним, узнали его поверх развернутого газетного листа еще прежде, чем он дошел до ворот, а вот если он сейчас пойдет прямо, он может выйти в проход за забором и оттуда — через пустырь, и оседлать Хайбоя, и махнуть в задние ворота на пастбище, и оставить позади Джефферсон, и негров убийц, и все, и пустить Хайбоя во весь опор, пусть мчится, как хочет, куда угодно, а когда уж он совсем задохнется, пусть идет шагом, только чтобы хвостом к Джефферсону и неграм убийцам; в ворота, по двору, через галерею — и опять тюремщик мигом вышел из двери справа, и на лице его сразу выразилось возмущение и тревога.

— Опять? — сказал тюремщик.— Да когда же вы наконец угомонитесь?

— Я там забыл одну вещь,— сказал он.

— Полежит до утра,— сказал тюремщик.

— Пусть лучше сейчас заберет,— с обычной своей спокойной медлительностью сказал Лигейт,— а то если до утра оставить, могут ведь и растоптать.

Тюремщик повернулся, и они снова пошли вверх по лестнице, и опять тюремщик отомкнул засов на дубовой двери.

— А насчет другой не беспокойтесь,— сказал он.— Я и через решетку могу.

И не стал ждать: дверь за ним захлопнулась, он слышал, как засов со скрипом вошел в паз, но ведь все равно, стоит ему только постучать, а шаги тюремщика уже удалялись вниз по лестнице, но даже и сейчас надо только крикнуть, погромче постучать об пол, и во всяком случае Лигейт его услышит, а сам шел быстро, чуть ли не бегом, и думал: *«Может, он напомнит мне об этом проклятом салате с мясом или, может быть, он скажет мне — я все, что у него есть, все, что у него осталось, и этого будет достаточно»*,— и вот стальная дверь, и Лукас так и не двинулся с места, все так и стоит под лампочкой посреди камеры и смотрит на дверь, и он подошел, остановился и сказал таким же резким голосом, каким говорил дядя, и даже еще резче:

— Ну что вы от меня хотите?

— Пойдите поглядите его,— сказал Лукас.

— Пойти куда? На кого поглядеть? — сказал он. Но он уже все прекрасно понял. Ему казалось, он всегда знал, что так и будет, и он

даже с каким-то чувством облегчения подумал: *«Ну, вот и все»,*— в то время как его собственный инстинктивный голос вопил возмущенно, не веря: *«Чтобы я? Я?»* Это было как если бы вы чего-то страшились, опасались, избегали из года в год, и уж начинало казаться, что в этом и проходит жизнь, и вдруг несмотря на все это случалось, и что же это было — это была только боль, вас мучила боль и все, и, значит, с этим все кончено, все позади и все в порядке.

— Я вам заплачу,— сказал Лукас.

Так он стоял и не слушал, не слушал даже собственного голоса, полного изумленного негодования, отказывающегося верить. «Чтобы я пошел туда раскапывать эту могилу?» Он даже не думал больше: *«Вот чего будет стоить мне это блюдо мяса с капустой».* Потому что он переступил через это, и уже давно, когда вдруг что-то, неизвестно что, удержало его здесь тому назад пять минут и когда он, обернувшись, глядел через эту огромную, почти непреодолимую пропасть между ним и старым негром убийцей и видел и слышал, как Лукас что-то сказал ему, не потому, что это был он, Чарльз Мэллисон-младший, не потому, что он ел его еду и грелся у его камина, а потому, что из всех белых он был единственный, с кем у Лукаса была возможность говорить между вот этим сейчас и той минутой, когда его поволокут на веревке из камеры по лестнице вниз,— единственный, кто услышит немую, лишенную надежды, упрямую настойчивость его глаз. Он сказал:

— Подойдите сюда.

Лукас подошел и стал, взявшись обеими руками за прутья решетки, как ребенок, прильнувший к забору, а он не заметил, что и он сделал то же, но взглянув мельком, увидел свои руки, ухватившиеся за два прута решетки, две пары рук — черные и белые, ухватившиеся за прутья решетки, а над ними — они, лицом к лицу друг против друга.

— Пойдите поглядите,— сказал Лукас.— Если уж будет поздно, когда вы вернетесь, я могу сейчас подписать вам бумагу, что я должен вам, сколько это по-вашему стоит.

Но он все еще не слушал: он ведь знал это; и только самому себе:

— Чтобы я отправился за семнадцать миль в темноте...

— Девять,— сказал Лукас.— Гаури хоронят у шотландской часовни. Первый поворот направо в горы, сразу за мостом через рукав на Девятой Миле. Вы туда за полчаса доберетесь на машине вашего дяди.

— ...рискуя, что Гаури поймают меня, когда я буду раскапывать эту могилу. Зачем, хотел бы я знать. Я даже не знаю, что я там должен искать. Зачем?

— Мой пистолет — кольт сорок первого калибра,— сказал Лукас. Так оно на самом деле и было; единственное, чего он до сих пор не знал, это калибра: добротное оружие, вполне исправное, в отличном состоянии и вместе с тем такое же старомодное, редкостное, единственное в своем роде, как золотая зубочистка; оно, наверно (можно не сомневаться), было гордостью старого Кэрозерса Маккаслина пятьдесят лет тому назад.

— Хорошо,— сказал он.— Ну и что же?

— А застрелили его не из кольта сорок первого калибра.

— А из чего же его застрелили?

Но на это Лукас не ответил, он стоял по свою сторону стальной двери, держась за прутья чуть сжатыми, недвижными руками и сам неподвижный, только грудь едва поднималась от дыхания. Он и не ждал от Лукаса ответа — он знал, что Лукас никогда на это не ответит и не добавит ни одного слова, не скажет ничего больше ни одному белому человеку, и он понимал, почему Лукас дожидался, чтобы сказать о пистолете ему, мальчишке, а не сказал этого ни дяде, ни шерифу, когда ведь им-то, собственно, и надлежало вскрыть могилу и осмотреть труп.

Его удивило, что Лукас уже почти готов был рассказать это дяде, и он снова почувствовал и оценил это особенное свойство дяди, которое заставляло людей рассказывать ему то, чего они не рассказали бы никому другому, и даже побуждало и негров рассказывать ему такие вещи, о которых говорить с белыми противно природе негра; и он вспомнил старика Ефраима и историю с кольцом мамы в то лето, теперь уже пять лет тому назад,— колечко дешевое, с поддельным камнем, но только их было два, совсем одинаковых: его мама со своей товаркой по комнате в колледже Суитбрайер в Виргинии купили их на свои сбережения из карманных денег, обменялись, как это водится среди девчонок, и поклялись носить до гроба; подруга мамы теперь жила в Калифорнии, и уже ее дочка училась в том самом колледже, с его мамой они не виделись годами и, возможно, больше и не увидятся, и все-таки его мама берегла это кольцо, и вдруг как-то раз оно пропало; он помнит, как он тогда просыпался ночью и, видя внизу свет, догадывался, что она все еще ищет свое кольцо, и все это время старик Ефраим посиживал в своем самодельном кресле-качалке на крыльце Парали; и вот как-то раз Ефраим сказал ему, что за полдоллара он найдет кольцо, и он дал Ефраиму полдоллара, а сам в тот же день уехал на неделю в бойскаутский лагерь, а когда вернулся, то увидел, как мама в кухне вместе с Парали вытряхивают на застланный газетами стол кукурузную муку из большой глиняной банки и ворошат ее вилками; тут он первый раз за эту неделю вспомнил о кольце и побежал к домику Парали, где на крыльце сидел в качалке старик Ефраим, и Ефраим сказал ему: «Оно под свиной кормушкой на ферме твоего батюшки»,— и Ефраиму даже не понадобилось и говорить ему, как он это узнал, потому что он к тому времени сам догадался: миссис Даунс — старая белая женщина, которая жила совсем одна в маленькой грязной хибарке величиной с будку, откуда шла вонь, как из лисьей норы, хибарка стояла на самом краю города в негритянском поселке, и туда непрестанно один за другим целыми днями и, наверно, и большую часть ночи ходили негры: она (это уже не от Парали, которая всегда отделывалась, будто она не знает, или стоило только завести разговор, сейчас же говорила, что ей некогда и не до того, а от Алека) не только гадала и лечила от дурного глаза, но и находила пропавшие вещи; ей-то и пошли полдоллара, и он сразу же так безоговорочно поверил, что кольцо найдено, что не стал даже ни о чем и расспрашивать, и только какие-то второстепенные, связанные с этим обстоятельства задели его любопытство, и он сказал Ефраиму: «Ведь ты уже всю эту неделю знал, где оно, что же ты им не сказал ничего?» А Ефраим поглядел на него и, покачиваясь неторопливо, безостановочно в своей качалке, пососал свою остывшую, забитую пеплом трубку, из которой всякий раз, как он откидывался назад, вырывался звук, вроде как из маленького, задохнувшегося поршня: «Я бы мог сказать твоей ма. Но надо было, чтобы ей кто-нибудь помог. Вот потому я тебя и дожидался. Дети и женщины — у них головы не так забиты делами. Они могут слушать. А мужчины, вот такие пожилые, как твой батюшка или дядя, они не могут слушать, им некогда, у них дел по горло. Вот ты это запомни, может, когда пригодится. Если тебе когда-нибудь понадобится сделать что-то такое, что не всякому объяснить можно, ты не трать времени, не суйся к мужчинам, поди к женщинам либо к детям, они тебя выручат». И он вспомнил, как рассердился или, вернее, возмутился папа, как он сначала чуть ли не с яростью отрицал возможность таких вещей, а потом вдруг бросился защищать моральные устои, которые будто бы надо спасать от этой угрозы. И даже дядя, который до сих пор был способен не меньше, чем он сам, поверить вещам, которые другим взрослым внушали сомнения только потому, что противоречили здравому смыслу, — когда уже мать спокойно и упрямо собиралась

ехать на ферму, на которой она не была больше года, да и отец не заглядывал туда уже несколько месяцев, задолго до пропажи кольца,— даже дядя отказался везти ее туда на машине, так что отец нанял кого-то из гаража, и этот человек поехал с ней на ферму и с помощью надсмотрщика они сдвинули корыто для корма свиней и нашли под ним ее кольцо. Только теперь ведь это было не какое-то ничтожное кольцо, которым тому назад двадцать лет обменялись две юные девушки, а смерть — позорная, насильственная смерть, которая грозит человеку не потому, что он убийца, а потому, что у него черная кожа. И тем не менее это было все, что Лукас счел возможным сказать ему, и он знал, что это все, и в каком-то неистовом исступлении подумал: *«Поверить? Поверить чему?»* — потому что Лукас даже и не просил его чему-то верить, он даже не просил его ни о каком одолжении, не умолял его, не взывал к его человечности, он даже предлагал заплатить ему, если это будет не слишком много, за то, что он отправится один, за семнадцать миль, в темень (нет за девять, он вспомнил по крайней мере, что хоть это-то он слышал), рискуя быть пойманным за раскапыванием могилы человека, принадлежавшего к клану людей, готовившихся свершить самое зверское из всех жесточайших кровавых злодеяний, и он даже не говорил зачем. И все-таки он еще раз попытался спросить, зная, что Лукас не только знает, что он это сделает, но знает даже, что и он знает, какой получит ответ.

— Из какого же револьвера он был застрелен, Лукас?

И услышал в ответ то самое, что, как даже и сам Лукас знал, он и ожидал услышать.

— Я вам заплачу,— сказал Лукас.— Скажите сколько, так чтоб не слишком дорого, и я заплачу.

Он глубоко потянул воздух, выдохнул; оба они смотрели друг на друга через прутья решетки — помутневшие глаза старика следили за ним, скрытные, непроницаемые. Они сейчас уже не были настойчивыми, и он с полным спокойствием подумал: *«Мало того, что он взял надо мной верх, он никогда в этом ни на секунду и не сомневался».*

— Хорошо,— сказал он.— Оттого что я на него посмотрю, толку не будет, даже если я и смогу сказать насчет пули. Вы понимаете, что выходит. Я должен откопать его, вытащить из ямы и, прежде чем меня поймают Гаури, доставить в город, чтобы мистер Хэмптон мог послать в Мемфис за экспертом, который разбирается в пулях.— Он смотрел на Лукаса, на этого старика, мягко обхватившего руками изнутри камеры прутья решетки и теперь даже уже не глядевшего на него. Опять глубоко вздохнул.— Но самое главное — это вытащить его из ямы и отвезти туда, где кто-то мог бы осмотреть его, прежде...— Он поглядел на Лукаса.— Я должен добраться туда, вырыть его и вернуться в город до двенадцати или до часу ночи, а может, и в двенадцать уже будет поздно. Не знаю, как я могу это сделать. Я этого не смогу сделать.

— Попробую подождать,— сказал Лукас.

Глава четвертая

У тротуара перед подъездом, когда он подошел к дому, стоял старый, обшарпанный видавший виды пикап. Сейчас было уже много позже восьми, и, по всей вероятности, оставалось меньше четырех часов на то, чтобы дядя сходил к шерифу, убедил его, затем разыскал судью или кого там требуется растолкать и уговорить, чтобы вскрыли могилу (вместо того чтобы просить на это разрешения Гаури, которого у них ради чего бы то ни было, а уж тем более ради того, чтобы спасти от костра какого-то негра, не добился бы не только деревенский шериф, а

и сам президент США), а потом отправиться к шотландской часовне, раскопать могилу, вытащить тело и успеть вернуться с ним в город. И надо же, чтобы ни в какой другой, а именно в этот вечер какому-то фермеру (чья корова, мул или свинья забрели в загон к соседу, и тот требует с него доллар, а без этого не отдает скотину) понадобилось прийти к дяде, и он теперь застрял у него на час в кабинете, сидит и говорит: «да», «нет» или «стало быть», а дядя заводит разговор об урожае или о политике, хотя он понятия не имеет о первом, а тот ничего не смыслит во втором, и ждет, когда наконец у его посетителя развяжется язык и он выговорит, что ему от него надо.

Но ему-то сейчас некогда церемониться. Он шел очень быстро от самой тюрьмы, а сейчас пустился бегом наперерез, прямо через газон, на веранду, юркнул из передней мимо библиотеки, где за столом в кресле под одной настольной лампой еще сидел отец над страницей кроссвордов в воскресной мемфисской газете, а под другой — мама с новой книжкой серии «Лучшая книга месяца», и — дальше по коридору, в заднюю часть дома, которую мама когда-то старательно приучала всех называть кабинетом Гэвина, но Парали и Алек Сэндер давно переименовали в контору, и так ее с тех пор все и звали. Дверь была закрыта, из-за нее смутно доносился тихий мужской голос, он слышал его в ту секунду, когда он, не останавливаясь, постучал дважды и тут же, открыв дверь, вошел, говоря:

— Добрый вечер, сэр. Простите, пожалуйста. Дядя Гэвин...

Потому что голос оказался дядин; прямо напротив дяди, по ту сторону письменного стола, вместо мужчины с гладко выбритой загорелой шеей в чистой воскресной сорочке без галстука и праздничных брюках, сидела женщина в простом ситцевом платье, в круглой, черной, с виду как будто слегка запыленной шляпе на самой макушке (точно такую шляпу всегда носила бабушка) — и тут он узнал ее, прежде даже, чем увидел ее часы — маленькие золотые часики с крышкой, приколотые золотой брошью на плоской груди, точно в таком же положении и с виду почти точь-в-точь как нагрудный червонный туз на холщовой куртке фехтовальщика,— потому что с тех пор, как умерла бабушка, никто из знакомых женщин, кроме нее, никогда не носил таких часов, да ни у кого их и не было; да и грузовичок ее, пикап, он должен был бы сразу узнать: мисс Хэбершем, чье имя теперь было самым старинным во всем округе. Когда-то их было трое: доктор Хэбершем, содержатель таверны Холстон и младший сын некоего гугенота по имени Гренье приехали в этот край верхом еще до того, как здесь были намечены, нанесены и определены границы, когда Джефферсон был еще просто факторией с индейским названием, по которому ее находили в глухой бездорожной чаще леса и зарослей тростника, и все они теперь, кроме одного, сгинули, исчезли и даже в устной памяти не сохранились. «Холстон» — это была теперь просто гостиница на площади, и мало кто в округе знал или интересовался, откуда произошло это слово; а то, что уцелело от крови Луи Гренье, изысканного дилетанта-архитектора, учившегося в Париже, который подвизался немножко на судейском поприще, но большую часть времени уделял плантаторству или живописи (причем любителем он скорее был в деле выращивания кормов и хлопка, чем с холстом и кистью), теперь текло в жилах мирного, беспечного, еще не старого человека с младенческим лицом и таким же развитием, который жил в двадцати милях от города на берегу реки, в полуноре-полусарае, сложенном собственными руками из старых прогнивших досок, сплющенных печных труб, жестянок из-под консервов. Он не знал, сколько ему лет, не мог написать даже Лонни Гриннап, как он теперь называл себя, и даже понятия не имел, что земля, на которой он жил в своей

берлоге, была последним забытым клочком многих тысяч акров, принадлежавших его прадеду, и вот так осталась одна только мисс Хэбершем — одинокая семидесятилетняя старая дева, жившая на краю города в старинном, с колоннами, доме без электричества, без воды, некрашеном с тех пор, как умер ее отец; с ней жили двое слуг — муж с женой, негры (тут что-то мелькнуло у него в голове, задело на секунду и исчезло, не то чтобы он отмахнулся, само исчезло) в хижине на заднем дворе: жена стряпала, а мисс Хэбершем с ее мужем растили овощи, разводили цыплят и возили на пикапе продавать в город. Еще два года тому назад у них была толстая старая белая лошадь (говорят, в то время, с какого он ее помнит, ей было уже двадцать лет и кожа у нее под лоснящейся белой шерстью была розовая и гладкая, как у младенца) и двухколесная тележка. Потом выдался как-то хороший год или у них что-то там уродилось, и мисс Хэбершем купила подержанный пикап, и каждое утро зиму и лето можно было видеть, как они разъезжают по улицам от дома к дому, мисс Хэбершем за рулем в бумажных чулках и в круглой черной шляпе, которую она носила по меньшей мере лет сорок, и в чистом ситцевом платье — из тех, что можно увидеть в каталоге фирмы «Сирс Робак», стоимостью два доллара девяносто восемь центов,— с аккуратными маленькими часиками, пришпиленными к ее плоской, никогда не кормившей груди, в ботинках и в перчатках, про которые мама говорила, что они были сделаны по ее размеру на заказ в нью-йоркском магазине, и стоили ботинки тридцать—сорок долларов пара, а перчатки пятнадцать—двадцать, а негр слуга прогуливал свой громадный живот, таская из дома в дом корзину с яркой зеленью или в одной руке яйца, а в другой — ощипанного голого цыпленка,— вспомнил, узнал (вот привязалось), сейчас не до этого, некогда, и он заговорил быстро:

— Добрый вечер, мисс Хэбершем. Извините, пожалуйста. Мне надо поговорить с дядей Гэвином.— И затем к дяде: — Дядя Гэвин...

— Вот так-то, мисс Хэбершем,— быстро, не отвлекаясь, сказал дядя таким тоном и голосом, которые в обычное время дошли бы до него сразу, наверно, в обычное время по этим словам дяди он мог бы угадать даже, о чем, собственно, идет речь, но не сейчас. Он даже и не слышал их. Он и не слушал. По правде сказать, ему и самому-то некогда было разговаривать, он говорил торопливо и в то же время спокойно, только настойчиво и обращался исключительно к дяде, потому что он забыл о мисс Хэбершем, забыл даже, что она здесь.

— Мне надо поговорить с вами.

И тут только он остановился, не потому, что он кончил говорить, он даже еще и не начинал, но потому, что он только сейчас впервые услышал, как дядя, который сидел вполоборота в своем кресле, свесив одну руку через спинку, а другую с раскуренной глиняно-кукурузной трубкой положив на стол, даже не сделав паузы, продолжал говорить все таким же голосом, похожим на легкое, ленивое пощелкивание маленьким гибким прутиком.

— Значит, ты ему сам отнес. Или ты даже и не стал доставать табак. А он тебе рассказал басню. Надо полагать, недурную.

И все. Он мог бы сейчас уйти. По правде сказать, и надо было бы уйти. В сущности, ему даже и незачем было заходить сюда из холла или даже вовсе забегать домой, надо было сразу обежать кругом — и на двор, в конюшню, а по дороге кликнуть Алека Сэндера; Лукас сказал ему это полчаса тому назад в тюрьме, когда, казалось, он вот-вот сейчас скажет все, но даже под нависшей над ним угрозой, что к нему каждую минуту могут ворваться Гаури, так и не решился, не сказал, понимая, что нельзя даже и заикнуться об этом ни дяде и никому из белых. И все еще он не двигался. Он забыл

про мисс Хэбершем. Отмахнулся от нее; он сказал: «Простите»,— и она тут же исчезла не только из комнаты, но из этих минут тоже — так фокусник одним словом или жестом заставляет исчезнуть пальму, или кролика, или вазу с розами,— и они теперь остались одни, втроем: он — у двери и все еще держась за нее, наполовину в комнате, куда он по-настоящему так и не вошел, да лучше бы и вовсе не заходил, а наполовину уже подавшись назад, в коридор, куда его с самого начала совсем зря занесло, только время потерял; дядя — откинувшись в кресле, за столом, заваленным грудами бумаг, и среди них еще такая же немецкая кружка со скрученными клочками газет и, должно быть, с полдюжины глиняно-кукурузных трубок, в разной степени обгорелых; и за полмили от них — старый, одинокий, нелюдимый, упрямый, заносчивый, бесчувственный, неподатливый, своевольный (и дерзкий тоже) негр, один в камере, где первый знакомый голос, который ему придется услышать, будет, наверно, голос старого однорукого Наба Гаури в дверях внизу, который крикнет: «Прочь с дороги, Уилл Лигейт, мы пришли за этим черномазым»; а за стенами этой тихой, освещенной лампой комнаты огромная лавина времени ревела, не приближаясь к полночи, а волоча ее за собой, не затем, чтобы швырнуть полночь в крушение, но чтобы изрыгнуть на них останки крушения полночи одним хладнокровным, заслоняющим небо зевком; и он знал теперь, что непоправимый миг наступил не тогда, когда он сказал Лукасу «хорошо» через стальную дверь камеры, а наступит вот сейчас, когда он сделает шаг назад в коридор и закроет за собой вот эту дверь. Поэтому он попытался опять, все так же спокойно и теперь даже не торопливо, не настойчиво, просто с подкупающей убежденностью и рассудительностью:

— А что, если это не из его пистолета убили Винсона?

— Ну, разумеется,— сказал дядя.— То же самое и я сказал бы, будь я на месте Лукаса или какого-нибудь другого негра убийцы, да уж, коль на то пошло, и любого невежественного белого убийцы. Он, наверно, сказал тебе, во что он стрелял из своего пистолета. Ну, во что же? В зайца, или, может, в консервную жестянку, или в дерево — просто чтобы проверить, действительно ли он у него заряжен, выстрелит ли он. Но не стоит об этом говорить. Допустим на минуту, что это так. Ну и что? Что ты предлагаешь? Нет, что тебя просил сделать Лукас?

И он даже ответил и на это:

— Не мог бы мистер Хэмптон вырыть его и посмотреть? — А на каком основании? Лукас был пойман сейчас же после выстрела, двух минут не прошло, он стоял над телом с засунутым в карман револьвером, из которого он только что стрелял. Он вовсе и не отрицал, что стрелял, собственно, он отказался дать какие-либо показания даже мне, своему адвокату, адвокату, за которым он сам же послал. Да и как можно на это решиться? Да я бы скорей пошел и пристрелил еще одного из его сыновей, чем решился сказать Набу Гаури, что я хочу вырыть тело его сына из освященной земли, где он был похоронен и отпет. Ну, а уж если бы я на это пошел, я просто сказал бы, что хочу вырыть тело, чтобы вытащить у мертвеца золотые зубы, у меня язык не повернулся бы сказать ему, что я делаю это, чтобы спасти негра от линчевания.

— Ну, а если...— сказал он.

— Послушай меня,— сказал дядя с каким-то усталым, но вместе с тем несокрушимым терпением.— Постарайся выслушать до конца. Лукас сейчас под замком за непроницаемой стальной дверью. Под самой надежной защитой, какую мог предоставить ему Хэмптон или кто-либо другой во всем округе. Как сказал Уилл Лигейт, у нас в округе найдется достаточно людей, которые, если они действительно захотят, прорвутся к нему, несмотря на Таббса и даже на эту дверь. Но я не думаю, чтобы у нас в округе было так уж много людей, которым действительно хоте-

лось бы вздернуть Лукаса на телефонном столбе, облить его бензином и поджечь.

Ну вот опять. Но он все еще пытался.

— Ну, а если все-таки...— снова начал он и опять в третий раз услышал почти точь-в-точь то же, что уже слышал дважды на протяжении двенадцати часов, и опять его поразила бедность и почти вошедшая в норму скудость не словаря того или иного человека, а Словаря вообще, самого запаса слов, пользуясь которым даже человек может жить более или менее мирно огромным гуртом, стадом даже и в бетонном садке — и даже его дядя.

— Ну, если и так. Лукасу надо было подумать об этом раньше, прежде чем стрелять в спину белому человеку.

И только уже потом он сообразил, что дядя говорил это мисс Хэбершем; в ту минуту он не только не видел, что она здесь, в комнате, он даже не вспомнил о ней; не вспомнил даже, что она уже и до этого давно перестала существовать, когда, уходя и закрывая за собой дверь, услышал лишенную смысла внушительность дядиного голоса:

— Я ему сказал, что делать. Если бы у них это было задумано, они устроили бы это у себя на задворках, дома, а ни в коем случае не дали бы мистеру Хэмптону увезти его в город. Сказать правду, я и сейчас не понимаю, как они это допустили. Что это, просто случайность, нерасторопность или старик Гаури уж вовсе одряхлел; что бы там ни было, но все обошлось; он сейчас в безопасности, и я уговорю его признать себя виновным в непреднамеренном убийстве; он — старик, и я думаю, районный прокурор не будет возражать. Его отправят в каторжную тюрьму, а через несколько лет, если он будет жив...

И тут он закрыл дверь; он уже слышал все это, и хватит с него — вон из комнаты, куда он, собственно, даже по-настоящему и не входил, и незачем ему было даже и заглядывать, и в первый раз с тех пор, как он взялся за ручку двери, он отпустил ее и с лихорадочным остервенением и кропотливым упорством, с каким человек в горящем доме пытается подобрать рассыпавшуюся нитку бус, твердя про себя: *«Теперь мне придется бежать всю дорогу обратно в тюрьму, чтобы спросить Лукаса, где это»,*— думал, как вопреки всем сомнениям Лукаса, вопреки всему он все-таки до последней минуты надеялся, что дядя и шериф возьмут это на себя и поедут туда, и не потому, что он воображал, что они ему поверят, а просто потому, что, ну просто он не мог себе представить, что это ляжет на него с Алеком Сэндером; и вдруг вспомнил, что Лукас и об этом уже позаботился и это предусмотрел,— вспомнил не с облегчением, а с таким взрывом ярости и возмущения, на какой он даже и не считал себя способным: как Лукас не только сказал ему, что́ надо сделать, но точно сказал, где это находится и даже как туда добраться, и только потом, уже напоследок, спросил, возьмется ли он, и — слыша за дверью библиотеки шуршанье газеты, съехавшей у отца на колени, и запах сигары, дымящейся в пепельнице у него под рукой, и глядя на синеватую струйку дыма, медленно выплывавшую из открытой двери, когда в поисках какого-нибудь пропущенного слова или синонима отец, должно быть, поднес сигару к губам и затянулся разок,— вспомнил еще: ведь он сказал даже, на чем ехать туда и обратно,— и тут он представил себе, как он снова открывает дверь и говорит дяде: *«Не будем говорить о Лукасе. Позвольте мне только взять вашу машину»,*— потом идет в библиотеку к отцу — ключи от машины всегда у него при себе, в кармане, пока он, раздеваясь, не спохватится, что их нужно вынуть и положить туда, где мама может их взять, когда они ей понадобятся утром,— и говорит: *«Дай мне ключи, папа. Мне надо поехать за город и раскопать могилу»;* он даже вспомнил пикап мисс Хэбершем перед домом (не ее самое — о ней он ни разу не вспомнил.

Вспомнил просто пустую машину, стоящую без всякого присмотра на улице в каких-нибудь пятидесяти ярдах от дома); ключи, верно, так и висят там в машине, и когда Гаури поймают его за разграблением могилы их сына, брата или кузена, они в то же время поймают и вора, угнавшего машину.

Потому что (отгоняя, отмахиваясь и наконец разом отряхнувшись от этой мельтешившей, прилипчивой, как конфетти, чепухи) он понимал, что с самого начала он ни минуты не сомневался, что отправится туда и даже что он выроет тело. Он представлял себе, как он уже добрался до этой часовни на кладбище, и это не стоило ему никаких усилий, и даже времени не так много прошло, он видел, как он своими руками, один, вытаскивает тело и тоже без всяких усилий, не задыхаясь, не напрягаясь, не мучаясь, не замирая от ужаса. И вот тогда-то и обрушится на него подглядывающая, задыхающаяся, низринутая крушением полночь, и, как он ни пытался, он не в силах был ни заглянуть дальше, ни отмахнуться от этого. И тут (продолжая идти: он не останавливался с той самой доли секунды, когда закрыл за собой дверь конторы) одним физическим усилием он бросился в непререкаемо логическую, яростную рассудительность, спокойное, обдуманное, безнадежное взвешиванье не «за» или «против», потому что никаких «за» не было: он отправляется туда, потому что кто-то должен это сделать, а кроме него нет никого, кто бы это сделал, а сделать это необходимо, потому что даже сам шериф Хэмптон (vide*: Уилл Лигейт и ружье напротив распахнутой двери тюрьмы, словно на освещенной сцене — кто бы ни шел, сразу увидит его, так же как и он тех, кто идет, прежде чем они дойдут до ворот) далеко не уверен, что Гаури, их друзья и родственники не попытаются ворваться сегодня ночью в тюрьму за Лукасом, а следовательно, если они все сегодня в городе и собираются линчевать Лукаса, то там никого не будет, и его никто не поймает за раскапыванием могилы, и если это неопровержимый факт, то, значит, и обратное этому так же неопровержимо; если они сегодня не собрались в городе для расправы с Лукасом, тогда любой из пятидесяти или сотни мужчин или подростков, связанных кровным родством или совместной охотой, торговлей самогонным виски или лесом, может случайно наткнуться на него с Алеком Сэндером; да, и вот еще — он должен отправиться туда верхом и по той же самой причине: потому что никто другой не поедет, кроме шестнадцатилетнего мальчишки, у которого только и есть что лошадь; и тут ему опять придется выбирать: либо он поедет один верхом и будет там вдвое скорее, но в три раза дольше будет один выкапывать тело, потому что одному ему придется не только копать, но и сторожить и прислушиваться, либо он возьмет с собой Алека Сэндера (они с Алеком Сэндером ездили так и раньше на Хайбое и подальше, чем за десять миль,— большой ширококостный мерин брал высоту в пять перекладин даже с грузом в семьдесят пять фунтов и, даже когда вез их двоих, бежал легким неторопливым галопом и широкой тряской рысцой, скоростью не меньше галопа, только даже Алек Сэндер не мог выдержать этого долго, сидя позади седла, а еще у него была какая-то своя, безымянная, шаркающая походь, наполовину рысью, наполовину шагом, так он мог везти их двоих целые мили, первый раз, когда он пустил его галопом, Алек Сэндер сидел позади, а в следующий раз уже держался за стремя и бежал рядом), и тогда они выроют тело втрое быстрей, но с риском, что Алек Сэндер попадет в компанию с Лукасом, когда Гаури появится с бензином; и внезапно он поймал себя на том, что он снова увиливает в это конфетти — вот так же, как увиливаешь и мнешься, не решаясь ступить в холодную воду,— и воображает, и видит, и слышит, как он пытается объяснить это Лукасу:

* Смотри *(лат.)*.

«Придется нам ехать на лошади. Ничего не поделаешь». И Лукас:

«Могли бы уж попросить у него машину». А он:

«Он все равно отказал бы. Что, вы не понимаете, он не только отказал бы, он запер бы меня, и я бы даже не мог выйти, не то что взять лошадь». И Лукас:

«Ладно, ладно, я вас не осуждаю. В конце-то концов ведь не вам же это Гаури костер готовят». И уже подходя к черному ходу, а ведь он был неправ: не тогда, когда он сказал Лукасу «Хорошо» через прутья стальной двери, и не тогда, когда он отступил назад в коридор и закрыл за собой дверь в контору, но вот здесь, сейчас — этот непоправимый миг, после которого уже не будет возврата; он может остановиться здесь и не переступить его, и пусть останки крушения полночи рухнут бессильно, безобидно на эти стены — они крепкие, они выдержат; они твое гнездо — непреоборимее всякого крушения, сильнее всякого страха; и даже не останавливаясь, даже не подумав спросить себя, а может, он не смеет остановиться, он спокойно шагнул за дверь тамбура и спустился по ступеням в яростный водоворот мягкого майского вечера и теперь уже быстрым шагом направился через двор к темной хижине, где Парали и Алек Сэндер не спали сегодня так же, как и все другие негры на милю в окружности, и не ложились даже — сидели тихонько в темноте с закрытыми ставнями, дожидаясь, когда весенняя тьма дохнет на них глухим гулом остервенения и гибели; остановился и посвистел — сигнал, каким они всегда вызывали друг друга с Алеком Сэндером с тех пор, как научились свистеть,— и, отсчитывая секунды до того, как посвистеть еще раз, только подумал, что он на месте Алека Сэндера не вышел бы сегодня из дому ни на чей свист, как вдруг совершенно беззвучно и, конечно, не освещенный сзади, потому и не видно было, как он вышел, выступил из черноты Алек Сэндер и в безлунной тьме уже подошел совсем близко, чуть-чуть повыше него, хотя между ними было всего только несколько месяцев разницы, подошел глядя даже не на него, а поверх его головы в сторону Площади, как если бы взгляд мог описать такую же высокую траекторию, как бейсбольный мяч, над деревьями, над улицами и над домами и, опустившись, увидеть Площадь — не дома в полутемных дворах и мирные трапезы, и отдых, и сон, которые были целью и наградой, но Площадь: здания, сооруженные и предназначенные для торговли, управления, суда и заключения, где боролись и соперничали страсти людей, для которых отдых и кратковременная смерть-сон были целью, избавлением и наградой.

— Значит, они еще не пришли за Лукасом,— сказал Алек Сэндер.

— А твои тоже об этом думают? — спросил он.

— И ты бы думал,— сказал Алек Сэндер.— Вот из-за таких, как Лукас, всем достается.

— Так, может, тебе тогда лучше пойти в контору посидеть с дядей Гэвином, чем со мной идти.

— Куда с тобой идти? — спросил Алек Сэндер.

И он сказал ему прямо и грубо в четырех словах:

— Вырыть тело Винсона Гаури.— Алек Сэндер стоял, не двигаясь, глядя все так же поверх его головы в сторону Площади.— Лукас сказал, что он убит не из его пистолета.

Все так же не двигаясь, Алек Сэндер засмеялся не громко, не весело — просто засмеялся; он сказал буквально то же, что минуту назад сказал дядя:

— И я бы на его месте так сказал. Чтобы я пошел туда выкапывать этого мертвого белого человека? А что, мистер Гэвин уже в конторе или мне просто пойти туда и сидеть, пока он не придет?

— Лукас тебе заплатит,— сказал он.— Он мне это сказал, прежде даже, чем сказал за что.

Алек Сэндер засмеялся не весело, не злобно — в этом смехе не было ничего, кроме звуков смеха, вот как в дыхании слышен только шум дыхания и ничего больше.

— Я не богач,— сказал он.— На что мне деньги.

— Ну хоть по крайней мере оседлай Хайбоя, пока я поищу фонарь. Надеюсь, ты еще не настолько загордился из-за Лукаса и можешь это сделать?

— Конечно,— сказал Алек Сэндер, повернувшись, чтобы идти.

— Да захвати заступ и кирку. И еще длинную веревку. Это мне тоже понадобится.

— Конечно,— сказал Алек Сэндер. Он остановился полуобернувшись.— Как же ты повезешь заступ и кирку на Хайбое, когда он даже и хлыста не терпит, когда видит его у тебя в руке?

— Не знаю,— сказал он, и Алек Сэндер ушел, а он повернул обратно к дому, и сначала ему показалось, что это дядя вышел из парадной двери и идет сюда, быстро огибая дом,— не потому, что он думал, будто дядя мог заподозрить и догадаться, что он затеял, нет, этого он не думал, дядя слишком безоговорочно и решительно отринул не только его предположения, но исключил даже и возможность их,— а просто потому, что он сейчас никого не мог вспомнить, кто бы это мог быть, кроме него, и даже когда он увидел, что это женщина, он решил, что это мама; даже после того, как он должен был бы узнать шляпу, и до того самого момента, когда мисс Хэбершем окликнула его по имени, он был уверен, что это мама, и первым его побуждением было юркнуть бесшумно и быстро за угол гаража, откуда можно незаметно пробраться к забору, перелезть через него, и прямо попасть в конюшню, и выехать через калитку на выгон, даже и не огибая дома, и наплевать на фонарь, но он опоздал, она окликнула: «Чарльз!» — таким напряженным, настойчивым шепотом и тут же быстро подошла, остановилась и, глядя прямо на него, сказала тем же напряженным быстрым шепотом:

— Что он тебе сказал?

И теперь он понял, что мелькнуло у него на миг в голове, когда он узнал ее там в конторе у дяди, и тут же исчезло: старушка Молли, жена Лукаса, была дочерью одной из рабынь старого доктора Хэбершема, деда мисс Хэбершем, они были однолетки с мисс Хэбершем, между ними было всего несколько дней разницы, и они вместе сосали грудь Моллиной матери и росли почти неразлучно, как сестры, как близнецы: спали в одной комнате — белая девочка на кроватке, черная на койке рядом, в ногах кровати, и так почти до тех пор, пока Молли с Лукасом не поженились, и мисс Хэбершем в негритянской церкви крестила первого ребенка Молли.

— Он сказал, что это не его пистолет был,— сказал он.

— Значит, не он это сделал,— сказала она все так же быстро, и теперь в голосе ее слышалась не просто настойчивость, а что-то еще.

— Не знаю,— сказал он.

— Глупости,— отрезала она.— Если это был не его пистолет...

— Я не знаю,— сказал он.

— Ты должен знать. Ты видел его, говорил с ним.

— Не знаю,— сказал он. Он сказал это тихо, спокойно, с каким-то недоверчивым удивлением, как будто он только сейчас по-настоящему понял, что́ он такое обещал, что́ затеял.— Я просто не знаю. До сих пор не знаю. Я вот собираюсь туда...— Он не договорил, голос его прервался. Был даже какой-то миг, когда он вспомнил, что лучше было бы, если бы он мог вернуть свои слова обратно, эту последнюю недоговоренную фразу. Хотя сейчас уже, наверно, поздно, она уже сама закончила ее и вот сейчас поднимет крик, начнет протестовать, ахать, и на ее голос сбежится весь дом. Но в ту же секунду он бросил об этом думать.

— Конечно,— сказала она быстро спокойным шепотом; и на какую-то долю секунды у него мелькнуло, что она просто не поняла его, но и это он в ту же секунду отбросил, и они стояли друг против друга почти не различимые в темноте в этом быстром, захлебывающемся шепоте; и тут он услышал свой собственный голос, такой же приглушенный и быстрый, и оба они были похожи не то что на заговорщиков, а на людей, которые бесповоротно решились вдвоем на какой-то шаг и совсем не уверены, под силу ли он им; а все-таки они не отступят.— Мы даже не знаем, что это не его пистолет. Он просто сказал, что не его.

— Да.

— Он не сказал, чей это, и не сказал, стрелял он или нет. Он даже не сказал тебе, что он из него не стрелял. Просто сказал, что это не его пистолет.

— Да.

— А твой дядя, вот тогда у себя в кабинете, ответил тебе, что то же самое и он бы на его месте сказал, и это все, что он мог сказать.— На это он ничего не ответил. Да ведь она и не спрашивала. К тому же она не дала ему ответить.— Хорошо,— сказала она.— Так что же теперь? Надо узнать, действительно ли это был не его пистолет,— узнать, что он хотел этим сказать. Поехать туда и что?

Он ответил ей так же грубо, как он ответил Алеку Сэндеру, коротко и ясно:

— Посмотреть на него.— И даже не успел дать себе времени подумать, что вот сейчас-то уж она, конечно, ахнет.— Поехать туда, выкопать его, привезти в город, чтобы тут кто-то, кто разбирается в пулях и следах пуль, осмотрел его.

— Да,— сказала мисс Хэбершем.— Конечно. Разумеется, он не мог сказать твоему дяде. Он негр, а твой дядя мужчина.— Вот теперь и мисс Хэбершем повторяет и говорит то же самое, и он подумал, что на самом деле это вовсе не бедность, не скудость словаря, а так оно получается прежде всего потому, что умышленное, насильственное уничтожение, стирание с лица земли человеческой жизни само по себе так просто и окончательно, что разговоры, возникающие вокруг этого, которые замыкают, обособляют и сохраняют это в летописи человеческой, должны быть неизбежно просты, несложны и даже почти однообразно повторяться, а во-вторых, потому, что в более широком, так сказать, обобщенном смысле то, что по-своему повторила мисс Хэбершем, это сущая правда, даже никакой не факт, и, чтобы выразить это, не требуется никакого многоглаголанья, ни оригинальности, потому что правда — это всеобщее, она должна быть всеобщей, чтобы быть правдой, и не так уж ее много надо, чтобы уцелело нечто такое небольшое, как земной шар, и поэтому всякий может узнать правду: надо только остановиться, помолчать, выждать.— Лукас знал, что на это может пойти подросток или вот такая старуха, как я, кому не важно, есть ли там доказательства, правдоподобно ли это. Мужчины, такие как твой дядя и мистер Хэмптон, им ведь уж так давно приходится быть мужчинами, им так давно некогда. Так что же? — сказала она.— Привезти его в город, чтобы кто-нибудь сведущий мог посмотреть на отверстие, оставленное пулей. А вдруг они посмотрят и установят, что это пистолет Лукаса? — На это он ничего не ответил, и она, не дожидаясь, сказала, уже поворачиваясь: — Нам понадобится кирка и заступ. Фонарик у меня есть в пикапе.

— Нам? — сказал он.

Она остановилась и сказала почти терпеливо:

— Это пятнадцать миль отсюда...

— Девять,— сказал он.

— Могила глубиной шесть футов. Сейчас уже больше восьми, а времени у тебя, может, только до двенадцати, чтобы поспеть вернуться в город...— И что-то еще, но что, он даже и не слышал.

Все это он и сам говорил Лукасу каких-нибудь четверть часа тому назад, но он только сейчас понял, что он такое говорил. Только после того, как он услышал это из чужих уст, он понял не чудовищность того, что он задумал, но просто недвижную, громоздкую, немыслимую физическую огромность того, что ему предстояло; он сказал спокойно, с каким-то безнадежно непреодолимым изумлением:

— Мы этого не сможем сделать.

— Нет,— сказала мисс Хэбершем.— Так как же?

— Что вы сказали, мэм?

— Я говорю, что у тебя даже нет машины.

— Мы собирались ехать на лошади.

Теперь она переспросила:

— Мы?

— Я и Алек Сэндер.

— Значит, нас будет трое,— сказала она.— Неси скорей кирку и заступ. Как бы они там не стали удивляться в доме, почему я до сих пор не запустила мотор.— И она опять повернулась.

— Да, мэм,— сказал он.— Поезжайте вдоль забора к воротам на выгон. Мы вас там встретим.

Он тоже не стал мешкать. Перелезая через забор, он услышал, как отъезжает пикап; и вот уже перед глазами у него белое пятно на лбу Хайбоя в черном зеве конюшни; Алек Сэндер уже затянул подпругу и закреплял ремень, когда он подошел. Он отстегнул путы с кольца узды, потом вспомнил и снова пристегнул их, отцепил другой конец с кольца на стене, перекинул вместе с поводьями на шею Хайбоя, вывел его из конюшни и вскочил на него.

— Вот,— сказал Алек Сэндер, подавая ему кирку и заступ, но Хайбой уже заплясал на месте, прежде даже чем увидел их, как он всегда делал даже при виде обыкновенного прута, и он сильно дернул поводья и осадил его, а Алек Сэндер крикнул:

— А ну, стой смирно! — и громко шлепнув Хайбоя по крупу, протянул ему заступ и кирку, а он, придерживая их на луке седла, старался осадить Хайбоя и в то же время высвободить ногу из стремени, чтобы Алек Сэндер мог поставить свою, и только Алек Сэндер успел перекинуть ногу, Хайбой рванул с места и чуть ли не понес сразу, но он осадил его одной рукой — заступ и кирка подпрыгивали у него на седле — и повернул прямо через выгон к воротам.

— Давай мне сюда эти проклятые заступ с киркой,— сказал Алек Сэндер.— Ты захватил фонарь?

— А тебе-то что? — сказал он.

Алек Сэндер, нагнувшись, протянул мимо его локтя свободную руку и взял заступ с киркой, и опять на секунду Хайбой мог увидеть их, но на этот раз обе руки у него были свободны, и он мог и придержать, и осадить его.

— Ты же никуда не едешь, так зачем тебе фонарь? Ты ведь только что сказал мне.

Они уже были почти у ворот. Он уже мог различить черную точку пикапа, стоявшего за оградой на смутно белевшей дороге, то есть ему казалось, что он может, потому что он знал, что он там. Но Алек Сэндер действительно увидел его: у него была способность видеть в темноте, почти как у животных. Алек Сэндер держал заступ и кирку, и у него не было свободной руки, и все-таки он вдруг опять выкинул вперед руку и, схватившись за поводья впереди его рук, дернул Хайбоя так, что конь чуть ли не сел на задние ноги, и сказал свистящим шепотом:

— Что это?

— Это пикап мисс Юнис Хэбершем,— сказал он.— Она едет с нами. Да отпусти же его, черт тебя возьми,— стараясь вырвать поводья у Алека Сэндера, который тут же и отпустил их со словами:

— Она их возьмет в машину.— И не то чтобы сбросил заступ и кирку наземь, а швырнул их, так что они с грохотом ударились о ворота, и мигом соскользнул сам, и как раз вовремя, потому что Хайбой, рванувшись, стал на дыбы и опустился только тогда, когда он хлыстнул его ремнем между ушей.

— Открой ворота,— сказал он.

— На что нам лошадь,— сказал Алек Сэндер.— Расседлай и привяжи ее здесь. Мы ее отведем, когда вернемся.

То же самое говорила сейчас по ту сторону ворот и мисс Хэбершем, в то время как Алек Сэндер запихивал в багажник пикапа заступ и кирку, а Хайбой все еще пятился и бил копытами, точно он ждал, что Алек Сэндер вот-вот запустит в него киркой, а голос мисс Хэбершем доносился из темной глубины пикапа.

— Хорошая лошадь, видно. А что ж, она и галопом идет?

— Да, мэм,— сказал он.— Нет, я возьму лошадь,— сказал он.— Хотя самый ближний дом в миле от часовни, а все-таки кто-нибудь может услышать машину. Мы оставим пикап внизу у холма, как только переедем рукав.— И тут же добавил, отвечая на то, что он даже не дал ей спросить: — Нам понадобится лошадь, чтобы довезти его до машины.

— Ха,— сказал Алек Сэндер. Это был не смех. Да никто и не думал, что он смеется.— Как ты думаешь, эта лошадь повезет то, что ты выкопаешь, когда она даже не хочет везти то, чем ты будешь копать?

Но он уже и сам это подумал, вспомнив, как дедушка рассказывал ему про прежнее время, когда в Йокнапатофском округе, в двенадцати милях от Джефферсона, охотились на ланей, и медведей, и диких индеек, и про охотников — майора де Спейна, дедушкиного двоюродного брата, и старого генерала Компсона и двоюродного прадеда Кэрозерса Эдмондса и дядюшку Айка Маккаслина, которому сейчас девяносто лет, и Буна Хоггенбека, у матери которого была мать индианка, и негра Сэма Фазерса, чей отец был вождем индейского племени, и старого одноглазого охотничьего мула Алису, не боявшегося даже медвежьего духа, и он подумал, что если на самом деле человек — это совокупность всех качеств, заложенных в его предках, то очень жаль, что его предки, пустившие в нем ростки тайного гробозора деревенских кладбищ, не позаботились снабдить его потомком этого бесстрашного одноглазого мула, который не боялся бы возить вырытую им кладь.

— Не знаю,— сказал он.

— Может быть, он еще научится к тому времени, как нам ехать обратно,— сказала мисс Хэбершем.— Алек Сэндер может вести машину?

— Могу,— сказал Алек Сэндер.

Хайбой все еще был неспокоен; если его сейчас придержать, то он просто будет горячиться без толку, а так как ночь была прохладная, он первую милю пустил его во весь опор и ехал, не теряя из виду задних огней пикапа. Затем он сбавил ход — огни стали удаляться, слабеть и вскоре исчезли за поворотом. Тогда он пустил Хайбоя тем шаркающим аллюром, полурысью-полушагом, который на бегах не удовлетворил бы ни одного судью, хотя и пожирал расстояние; ехать надо было девять миль, и он с каким-то угрюмым изумлением подумал, что наконец-то у него есть время подумать, только теперь уже поздно думать, никто из них троих сейчас и не смеет думать, и если им хоть что-то удалось сегодня, так это отбросить раз навсегда, оставить позади всякие размышления, рассуждения, рассмотрения; только пять миль отъехать от города, и он переедет (а мисс Хэбершем с Алеком Сэндером уже переехали в ма-

шине) невидимую землемерную черту — границу Четвертого участка, знаменитого, почти легендарного; и уж что-что, но, конечно, думать сейчас не решится никто из них, зная, как заехавшему сюда чужому человеку ничего не стоит,попасть впросак и восстановить против себя Четвертый участок сразу двумя вещами, потому что Четвертый участок уже заранее восставал чуть ли не против всего, на что осмеливались приезжие из города (и если уж на то пошло, то и из любой части округа), и вот им-то — шестнадцатилетнему белому юнцу, и негру, подростку одних с ним лет, и белой старой женщине, семидесятилетней деве — и выпало на долю из всего того, что можно придумать, изобрести, выбрать и совершить сразу два самых страшных дела, за которые Четвертый участок потребует жесточайшей расплаты: вскрыть могилу одного из их родичей, чтобы спасти от возмездия негра убийцу.

Но хоть по крайней мере у них будет какое-то предупреждение (не задумываясь, кому какой толк от этого предупреждения, когда те, кто должен быть предупрежден, уже сейчас в шести или семи милях от тюрьмы и удаляются от нее так быстро, как он только решается пустить лошадь), потому что если Четвертый участок собирается туда сегодня ночью, то скоро они будут попадаться ему навстречу (или он им)— старые, облепленные грязью машины, пустые грузовики для перевозки леса и скота, верховые на лошадях и мулах. Однако пока что он никого не встретил, с тех пор как выехал из города: пустая дорога, белея, тянулась впереди и позади него, неосвещенные дома и хижины ютились, припав к земле, или смутно громоздились по сторонам, темные поля простирались далеко в темноту, пронизанную запахом вспаханной земли, и время от времени густой аромат цветущих садов наплывал на дорогу, и он проезжал сквозь него, словно сквозь нависшие клубы дыма, так что, может статься, все для них складывается даже лучше, чем он мог надеяться, и, прежде чем он успел себя остановить, он подумал: *«Может быть, мы и сможем, может, нам все-таки удастся»,*—прежде чем он успел вспомнить, схватить, задушить, потушить эту мысль, не потому, что он не мог на самом деле поверить, что им может удаться, и не потому, что ты не смеешь до конца доверить целиком даже и себе заветную надежду или желание, да еще когда оно вот так висит на волоске,— этим ты сам же и обречешь его,— но потому, что высказать его словами хотя бы самому себе это все равно что чиркнуть спичкой, которая не разгонит мрака, а только осветит его ужас, слабая вспышка сверкнет и обнажит на секунду необратимое, непримиримое зияние пустынной дороги и темных пустынных полей.

Потому что — ну, вот уже почти и доехал; Алек Сэндер и мисс Хэбершем, наверно, уже полчаса как там, и он на секунду подумал, догадался ли Алек Сэндер поставить пикап так, чтобы его не было видно с дороги, и тут же одернул себя: ну конечно Алек Сэндер это сделал, и не в Алеке Сэндере он усомнился, а в самом себе, если он хоть на секунду мог усомниться в Алеке Сэндере,— ведь с тех пор как он выехал из города, он не видел ни одного негра, тогда как в это время в воскресный майский вечер дорога ну просто сплошь унизана ими: мужчины, женщины, молоденькие девушки, даже иной раз старики и старухи и даже дети — пока еще не очень поздно, но большей частью мужчины, молодые парни, которые всю неделю с утра понедельника вгрызались в расступающуюся землю плугом, взрезая и выворачивая пласт, шагая за выбивающимися из сил, надрывающимися мулами, а потом в субботу к полудню, вымывшись и побрившись, надевали чистые праздничные рубашки и брюки и до поздней ночи разгуливали по пыльным дорогам, и весь день в воскресенье, и чуть ли не всю ночь напролет так и не переставали гулять, пока только и оставалось время попасть домой переодеться в рабочий комбинезон и грубые башмаки, поймать, запрячь мулов и после сорока восьми

часов на ногах — разве что повезло и прилег ненадолго с женщиной — снова, едва рассветет в поле, вгрызаться лемехом плуга в новую борозду; но не сейчас, не сегодня вечером, когда и в городе, если не считать Парали и Алека Сэндера, он за целые сутки не видел ни одного негра; но он к этому был готов, они вели себя именно так, как и следовало ожидать: и негры, и белые одинаково считали, что так они и должны вести себя в такое время; они были все тут, они никуда не сбежали, вы просто не видели их — чувствуя, ощущая их постоянное присутствие, их близость,— черные мужчины, женщины, дети жили в ожидании в своих наглухо закрытых домишках, не пресмыкаясь, не съежившись, не притаившись, не в гневе и даже не в страхе, просто пережидая, выдерживая, ибо их оружие, с которым белому не потягаться и — если бы он только понимал это — и не совладать: терпение; просто убраться с глаз, убраться с дороги; но не здесь — здесь нет этого ощущения смежного с тобой множества чернокожего человеческого присутствия, выжидающего и невидимого; этот край был пустыней и свидетелем, эта безлюдная дорога — подтверждением того (пройдет еще некоторое время, прежде чем он поймет, как далеко он зашел: мальчик из провинциальной глуши Миссисипи, который еще сегодня на заходе солнца, казалось,— ведь он и сам так считал, если хоть сколько-нибудь об этом думал,— был несмышленым младенцем, спеленутым в давних традициях своего родного края, или даже просто безмозглым плодом, вырывающимся из чрева — если бы он только знал, что такое родовые потуги,— слепым, бесчувственным и даже еще не очнувшимся в легкой безболезненной судороге появления на свет), что весь он сейчас повернулся умышленно, словно единой спиной всего темнокожего народа, на котором зиждилась самая экономика этого края, не в раздражении, не в гневе и даже не в огорчении, но в едином, необратимом, непреклонном отречении — не к расовому унижению, а к человеческому сраму.

Вот он уже и здесь; Хайбой подтянулся и даже после девяти миль прибавил немного шаг, почуяв воду, и теперь он уже мог разглядеть, различить мост или хотя бы более светлый проем в темноте, там, где дорога пересекала непроницаемую мглу ивняка, сбегающего с обеих сторон к рукаву реки, и тут Алек Сэндер выступил из-за перил моста; Хайбой фыркнул на него, а тогда и он его узнал, не удивившись, не вспомнив даже, как он когда-то подумал, сообразит ли Алек Сэндер спрятать пикап, не вспомнив даже и того, что он в этом и не сомневался; не останавливаясь, осадил Хайбоя, чтобы шагом переехать мост, затем, ослабив поводья, позволил ему свернуть с дороги за мостом и спуститься осторожно, рывками, не сгибая передних ног, к воде, не видимой еще секунду, но вот уже и он увидел сверкнувшую гладь, в которой отражалось небо; но тут Хайбой остановился и снова зафыркал, потом вдруг стал на дыбы, отпрянул и чуть не выбросил его из седла.

— Это он зыбучий песок чует,— сказал Алек Сэндер.— Пусть обождет, дома напьется. Я бы тоже хотел чего-нибудь другого, а не того, что сейчас.

Но он направил Хайбоя чуть-чуть подальше по берегу, где можно было спуститься к воде, и опять Хайбой только фыркнул и шарахнулся в сторону, так что он тут же повернул обратно на дорогу и вытащил ногу из стремени для Алека Сэндера; Хайбой уже шел рысью, когда Алек Сэндер закинул ногу.

— Здесь,— сказал Алек Сэндер, но он уже повернул Хайбоя с шоссе на узкую грунтовую дорогу, круто заворачивавшую к черной гряде холмов и чуть ли не сразу начинавшую медленно ползти вверх, но прежде даже, чем они начали подниматься, на них дохнуло сильным стойким сосновым духом, который напирал на них, не подгоняемый ветром, плот-

ный, крепкий, почти как рука,— двигаясь ему навстречу, вы осязали его всем телом, словно рассекали воду. Подъем становился круче, и лошадь, несмотря на двойную ношу, пыталась взять его галопом, как она обычно делала на подъеме, и она уже было пустилась вскачь, но он круто осадил ее, но и потом ему пришлось удерживать ее, намотав на руку поводья; она шла порывистым, тряским, неровным шагом, пока первый уступ холма не перешел в плато, и тут Алек Сэндер снова сказал: — Здесь,— и мисс Хэбершем, с заступом и киркой, выступила из темноты сбоку.

Алек Сэндер соскользнул вниз, и Хайбой остановился. Он тоже соскочил.

— Ты не слезай,— сказала мисс Хэбершем.— Кирка с лопатой у меня и фонарь тоже.

— Еще полмили осталось, и все в гору,— сказал он.— Это не дамское седло, но, может быть, вы сможете сесть боком. Где пикап? — спросил он Алека Сэндера.

— Вон там за кустами,— сказал Алек Сэндер.— Мы ведь не выставляться приехали. Уж во всяком случае не я.

— Нет, нет,— сказала мисс Хэбершем.— Я могу дойти.

— Мы сэкономим время,— сказал он.— Сейчас, верно, больше десяти. Он смирный. Это тогда просто потому, что Алек швырнул заступ с киркой.

— Ну, конечно,— сказала мисс Хэбершем. Она протянула Алеку Сэндеру кирку и заступ и подошла к лошади.

— Мне жаль, что это не...— сказал он.

— Ха,— усмехнулась она, и, взяв у него из рук поводья, прежде даже, чем он успел подставить ей руку для ноги, она сунула ее в стремя и ловко и легко — не хуже, чем он сам или Алек Сэндер,— уселась верхом, так что он только успел отвернуться, чувствуя на себе ее взгляд в темноте, когда поворачивал голову.— Ха,— снова усмехнулась она.— Мне семьдесят лет. А юбка моя — что о ней сейчас беспокоиться, у нас с вами дела поважнее.

И сама повернула Хайбоя на дорогу, и он только успел схватить его под уздцы, как Алек Сэндер сказал:

— Шшш! — Они остановились, застыв в медленно струившемся на них невидимом потоке стойкого соснового духа.— На муле кто-то сверху едет,— сказал Алек Сэндер.

Он сразу начал поворачивать лошадь.

— Я ничего не слышу,— сказала мисс Хэбершем.— Ты уверен?

— Да, мэм,— ответил он, повернув Хайбоя прочь с дороги.— Алек Сэндер не ошибется.

И стоя у самой головы Хайбоя среди деревьев и поросли, приложив другую руку к ноздрям лошади, на случай если бы ей вздумалось заржать, когда другая будет проходить мимо, он тоже услышал на дороге мула или коня, явно приближавшегося сверху. Животное, по всей вероятности, было неподковано; по правде сказать, единственный звук, который он на самом деле слышал, было поскрипывание стремянных ремней, и он удивился, как Алек Сэндер услышал это (ни секунды не сомневаясь, что он слышал) еще за две с лишним минуты до того, как животное приблизилось к ним. Затем он увидел его или, вернее, то место, где оно прошло мимо них,— какой-то комок, движение более темного тела, чем тень на бледной грязи дороги, скользящего вниз по склону, мягкий мерный шорох и скрип ремня, затихающие вдали и — стихшие. Но они подождали еще минуту.

— Что это он такое вез, поперек седла, прямо перед собой? — спросил Алек Сэндер.

— Я даже не мог разглядеть, сидел там человек или нет,— сказал он.

— Я ничего не видела,— сказала мисс Хэбершем. Он вывел лошадь обратно на дорогу.— А что, если...— сказала она.

— Алек Сэндер услышит,— сказал он.

И вот опять Хайбой сильным и быстрым шагом стремится одолеть крутизну, он с киркой в руке, ухватившись за стремянный ремень под тощей и жесткой икрой мисс Хэбершем с одной стороны, а Алек Сэндер с заступом — с другой, подымаются очень быстро, чуть ли не бегом сквозь крепкий, живой, пьянящий, сильный сосновый дух, который вытворяет что-то такое с легкими и с дыханием (так он представлял себе — он никогда не пробовал. А мог бы — глоток из чаши святых даров не в счет, потому что это был не просто глоток, а кислый, освященный, едкий,— бессмертная кровь господня, ее не пробуют, она идет не вниз к желудку, а вверх и вовне, во Всеведение между добром и злом, выбором, отречением и приятием на веки вечные,— за обедом в день благодарения и на рождество, но никогда не хотел), как вино с желудком. Они теперь были очень высоко, холмистый край, открываясь, проваливался куда-то, не видимый в темноте, но вас уже переполняло ощущение высоты и простора; днем он мог бы видеть, как увал за увалом, густо поросшие сосной, уходят на восток и на север, точно настоящие горы в Каролине, а до нее еще в Шотландии, откуда вышли его предки (он-то ее еще не видел); у него немножко перехватывало дыхание, и он не только слышал, но и чувствовал частые жесткие хрипы, вырывавшиеся из легких Хайбоя, когда он порывался взбежать и на эту кручу с всадницей на спине, да еще волоча двоих. Мисс Хэбершем сдерживала и осаживала его, пока они не поднялись на самый гребень, и Алек Сэндер еще раз сказал: «Здесь»,— а мисс Хэбершем повернула лошадь с дороги, потому что, пока они не свернули, ничего не было видно, и только теперь он различил вырубку, не потому, что это была вырубка, а потому, что в скудно сочившемся звездном свете торчала, слегка покосившись набок, там, где осела земля, узкая плита мраморного надгробья. А часовню (облезлую, некрашеную, деревянную, ну, чуть побольше комнаты) почти и совсем не было видно, когда он повел Хайбоя кругом, чтобы укрыть его за ней, и, привязав его к молодому деревцу, отстегнул путы с кольца узды и вернулся обратно туда, где его дожидались мисс Хэбершем и Алек Сэндер.

— Это единственная свежая могила,— сказал он.— Лукас говорил, что с прошлой зимы здесь никого не хоронили.

— Да,— сказала мисс Хэбершем.— И еще цветы. Вон, Алек Сэндер уже нашел.

Но чтобы убедиться (он тихо молил сам не зная кого: *«Я наделаю еще массу ошибок, но дай только, чтобы не эту»),* он прикрыл электрический фонарик скомканным носовым платком, так что только один тоненький быстрый лучик осветил на миг свежий холм со скудно разбросанными на нем венками, букетами и даже отдельными цветками и в следующий миг — соседнее надгробье, на котором он только успел прочесть выгравированную надпись: «Аманда Уоркитт, супруга Н. Б. Форреста Гаури, 1878—1926», и тут же погасил фонарь, и снова разлилась темнота и крепкий сосновый дух, и они еще минуту стояли у свежего могильного холма, все еще ни за что не принимаясь.

— Страшно приступиться,— сказала мисс Хэбершем.

— Не вам одной,— сказал Алек Сэндер.— А до пикапа всего полмили. Да под гору.

Она двинулась первая.

— Сними цветы,— сказала она.— Осторожно. Тебе видно?

— Да, мэм,— сказал Алек Сэндер.— Их тут немного. Похоже, набросали кое-как.

— А мы не будем бросать,— сказала мисс Хэбершем.— Снимай осторожно.

Наверно, теперь уже было около одиннадцати; они не успеют; Алек Сэндер был прав: надо было вернуться к машине, убраться отсюда, уехать обратно в город и прямо через город дальше, ехать, не останавливаясь, чтобы некогда было даже думать, все ехать, ехать, править, следить, чтобы все было исправно, ехать, не останавливаясь, и уж не возвращаться; но ведь у них все равно не было времени, и они знали это еще до того, как выехали из Джефферсона, и на секунду у него мелькнуло, как бы это было, если бы Алек Сэндер по правде так и сделал, когда сказал, что не поедет, и как бы он тогда поехал один, и тут же (быстро): нет, он не будет об этом думать; сначала Алек Сэндер взялся копать заступом, а он пустил в ход кирку, хотя земля была все еще такая рыхлая, что, в сущности, в кирке не было даже и надобности (а если бы она не была такая рыхлая, они бы ничего не могли сделать даже и днем); с двумя заступами они управились бы куда скорее, но что же, теперь уже поздно жалеть, и вдруг Алек Сэндер сунул ему заступ, а сам вылез из ямы и исчез (даже без фонарика) и, ориентируясь только с помощью того чутья, превосходящего и зрение, и слух, которое подсказало ему, что Хайбой тогда, у ручья, почуял зыбучий песок, и обнаружило мула или коня, спускавшегося по склону, на минуту с лишним раньше, чем он или мисс Хэбершем начали что-то слышать, вернулся с легкой короткой доской, так что теперь у них обоих были лопаты, и ему слышно было сначала хлюп, а потом свистящий шорох, когда Алек Сэндер втыкал доску в землю, а потом, подхватив пласт, поднимал и швырял его наверх и всякий раз, шумно выдыхая, издавал хриплое «ха», и этот яростный, злобный, сдавленный звук вырывался у него все чаще и чаще и, наконец, стал почти таким же частым, как пульс или стук сердца, когда бежишь — «ха!.. ха!.. ха!..», так что он сказал ему через плечо:

— Ты полегче. Мы успеем.— И, выпрямившись на секунду, чтобы утереть потное лицо, увидел над собой, как и раньше, мисс Хэбершем — неподвижный силуэт на фоне неба, в прямом ситцевом платье и круглой шляпе на самой макушке,— такую за последние пятьдесят лет немногие видели и уж, наверно, никто никогда не видел и не увидит из наполовину разрытой могилы, больше чем наполовину, потому что, начав снова копать, он вдруг услышал стук дерева о дерево, и Алек Сэндер сказал резко:

— А ну, уходи отсюда, не мешайся тут.— И, швырнув доску вверх, выдернул у него из рук заступ, и он вылез из ямы и только успел нагнуться и пошарить рукой около себя, как мисс Хэбершем протянула ему свернутую кольцом веревку.

— И фонарик,— сказал он. И она подала ему и это тоже, и он постоял немного, пока плотный, крепкий, неподвижный сосновый дух не очистил его тела от пота, и по спине у него пробежал холодок от взмокшей рубахи, а внизу в яме не видимая ему лопата скребла и скрежетала по дереву, и, нагнувшись и опять заслонив фонарь, он мигнул им, осветив некрашеную крышку соснового гроба.

— Хорошо,— сказал он.— Довольно. Вылезай.

И Алек Сэндер, подхватив последние остатки земли, вышвырнул их наверх вместе с заступом, так что он вылетел, как копье, и сам выскочил вслед за ним одним прыжком, а он с веревкой и фонариком спрыгнул в яму и только тут вспомнил, что ему понадобится молоток, лом — что-нибудь, чем открыть крышку, а если что-то такое и можно найти, так только у мисс Хэбершем в пикапе за полмили отсюда, и потом еще обратно в гору, и, нагнувшись, пощупать винт, или гвоздь, или что там придется вытаскивать, увидел, что крышка вовсе даже и не закреплена: тогда, перекинув ногу через гроб и удерживаясь на одной ноге, он ухит-

рился приподнять крышку и сдвинуть ее назад и, приперев ее локтем, тряхнул веревку, схватил ее за конец, щелкнул фонариком, посветил вниз и сказал: «Постой». Он сказал: «Постой». И все еще повторял: «Постой» и, только когда услышал свистящий шепот мисс Хэбершем:

— Чарльз... Чарльз...

— Это не Винсон Гаури,— сказал он.— Этого человека зовут Монтгомери. Это такой скупщик леса, нездешний, из округа Кроссмен.

Глава пятая

Конечно, им пришлось снова засыпать могилу, и, кроме того, он же ехал на лошади. Но все равно было еще далеко до света, когда он оставил Хайбоя Алеку Сэндеру у ворот на выгон, и, стараясь помнить, что надо идти на цыпочках, пробрался в дом, но едва только он открыл входную дверь, как на него тут же в ночной рубашке, с распущенными волосами накинулась с воплем мама: «Где ты был?» — и бросилась за ним к двери дядиной комнаты и, пока дядя надевал на себя что-то: «Ты? Разрывал могилу?» — а он, с каким-то усталым, но неослабевающим терпением и уже сам почти совсем выдохшись после всей этой езды и рытья и потом снова в обратном порядке — зарывания и снова езды, все еще как-то старался оттянуть, отдалить то, от чего он, по правде сказать, вовсе и не надеялся уйти:

— Алек Сэндер и мисс Хэбершем помогали.

Но это как будто только ухудшило дело, хотя она все еще не повышала голоса, просто была ошеломлена и не давала подступиться к себе, пока дядя не вышел из спальни совершенно одетый, даже в галстуке, только небритый и сказал:

— Ты что, Мэгги, хочешь разбудить Чарли?

И тогда она пошла за ними к выходу и уже у дверей сказала,— и он опять подумал, как с ними никогда нельзя сладить из-за какой-то их увертливости, и это не просто такое свойство — непостоянство, но готовность покинуть с невесомой скоростью ветра или самого воздуха не только свою позицию, но и принцип; вам даже не надо и мобилизовать свои силы: они у вас все здесь, наготове — и огневое превосходство, и право, и справедливость, и уроки прошлого, и опыт, и обычай — все за вас, и вы бросаетесь в атаку, обрушиваетесь, сметаете все на своем пути или так вам кажется до тех пор, пока вы не обнаруживаете, что враг даже и не отступал вовсе, а уже давно покинул поле, и не просто покинул, а захватив, присвоив себе ваш же боевой клич; вы думали, вы завладели крепостью, а вместо этого оказывается, вы просто вступили на никем не занятую позицию и потом узнаете, что никем не отраженный и даже совсем непредвиденный бой уже завязался в вашем незащищенном и ничего не подозревающем тылу.

— Но ему же надо спать! Он даже не ложился совсем!

И он уже остановился и стоял, пока дядя не заговорил, не зашипел на него:

— Иди же. Ну, что ты стал? Ты что, не знаешь, что она понапористей, чем ты и я, оба вместе, так же как вот старуха Хэбершем оказалась напористее, чем вы с Алеком Сэндером; ты-то, может быть, еще и решился бы поехать без того, чтобы она тебя потащила за руку, но Алек Сэндер — никогда, да и за тебя я, по правде сказать, не ручаюсь, не уверен, как бы ты, когда до дела дошло...— И тут он зашагал рядом с дядей, и они подошли к пикапу мисс Хэбершем, который стоял позади дядиной машины (она была в гараже вчера в девять вечера; потом, когда будет время, не забыть спросить дядю, куда его посылала мама разыскивать

его).— Беру свои слова обратно,— сказал дядя.— Забудь, что я говорил. Устами младенцев, и сосунков, и старух...— перефразировал он.— Что правда, то правда, и так вот оно нередко правду и узнаешь, только не очень приятно, когда тебе ее в три часа ночи прямо в лицо швыряют. И потом, не забудь еще свою мамочку, на что ты, конечно, и не способен — об этом она уже давно позаботилась. Запомни только, что они могут вынести все, признать любой факт (это только мужчины увиливают от фактов) при условии, что им не придется сталкиваться с ним лицом к лицу, они могут принять его, отвернув голову и вытянув назад одну руку — как политикан, когда берет взятку. Ты посмотри на нее; она может прожить благополучно и счастливо долгую жизнь, но в своем нежеланье простить тебе, что ты уже дорос до того, что сам можешь застегивать себе штаны, в этом она никогда ни на йоту тебе не уступит.

И все еще было далеко до света, когда дядя остановил машину у ворот дома шерифа и они пошли по дорожке к крыльцу и поднялись на веранду дома, который он снимал. (Поскольку он не мог сам себе передавать полномочия, то, хотя он прошел на выборах теперь уже третий раз, время перерывов от одного переизбрания до другого было почти вдвое больше его двенадцатилетней службы. Он был из крестьянской семьи, фермер, сын фермера, когда его выбрали первый раз, а теперь и ферма, и дом, где он родился, стали его собственными; в городе он снимал дом и жил в нем все время, пока состоял на своем посту, но каждый раз, когда срок его службы истекал, он возвращался к себе на ферму и жил там до тех пор, пока снова мог выставить свою кандидатуру, и его снова выбирали — в шерифы.)

— Надеюсь, что он спит не так, что его не добудишься,— сказала мисс Хэбершем.

— Он не спит,— сказал дядя.— Он готовит себе завтрак.

— Готовит завтрак? — сказала мисс Хэбершем, и тут он увидел, что несмотря на свою прямую спину и эту шляпу, которая, ни разу не шелохнувшись, не сдвинувшись, сидела прямо на самой макушке, будто не приколотая булавкой, а просто от такой неподвижно устойчивой посадки шеи, как у негритянок, которые носят на голове всю многосемейную стирку, она совсем обессилела от перенапряжения и от этой ночи без сна.

— Он деревенский человек,— сказал дядя.— Для него всякая еда с утра, как только рассветет — настоящий обед. Миссис Хэмптон сейчас в Мемфисе у дочери, которая вот-вот родит, а единственная женщина, которая станет готовить человеку завтрак в половине четвертого утра, это жена. Ни одна городская кухарка не согласится на это. Она придет в свое время около восьми и вымоет посуду.— Дядя не постучался. Он начал было открывать дверь, потом остановился и, оглянувшись, посмотрел мимо них двоих, туда, где у нижних ступенек крыльца стоял Алек Сэндер.— Не думай, что ты увильнешь оттого только, что твоя мама не голосует,— сказал он Алеку Сэндеру.— Иди-ка и ты сюда.

Затем дядя открыл дверь, и на них сразу пахнуло запахом кофе и жареной свинины, и они пошли по линолеуму к слабо пробивавшемуся свету в глубине передней, потом по линолеумовой дорожке через столовую, обставленную старомодной мебелью, взятой напрокат в Грэнд-Рэпидсе, и вошли в кухню, где ярко и весело пылала топившаяся дровами плита, а у плиты над шипящей сковородкой стоял шериф в нижней сорочке, в брюках со спущенными подтяжками, в носках и с всклокоченными после сна волосами, торчавшими во все стороны, как у десятилетнего мальчишки,— в одной руке лопаточка для теста, в другой — кухонное полотенце. Шериф уже повернул свое громадное лицо к двери, прежде чем они вошли, и он увидел, как его маленькие жесткие светлые глаза скользнули с дяди на мисс Хэбершем, на него и потом на Алека Сэндера, и за эту секунду глаза его не то чтобы расширились, но малень-

кие твердые черные зрачки сжались на миг до булавочной головки. Но шериф все еще ничего не говорил, только уставился теперь на дядю, и теперь маленькие твердые зрачки как будто даже опять расширились — как вот когда переводишь дыхание и перестает теснить в груди,— и в то время, как все они трое стояли молча, не сводя глаз с шерифа, дядя быстро, сжато и коротко рассказал все с того момента накануне вечером, когда он увидел, что Лукас хочет ему что-то рассказать — или, вернее, попросить о чем-то,— и до того, как он десять минут тому назад вошел к дяде в комнату и разбудил его, и, когда он замолчал, они снова увидели, как маленькие жесткие глаза скользнули мигая — флик, флик, флик — по их трем лицам и опять уставились на дядю, чуть ли не на двадцать секунд и уже не мигая.

— Вы не пришли бы ко мне с эдакими россказнями в четыре утра, если бы это не была правда,— сказал шериф.

— Вы слушаете не только двух шестнадцатилетних мальчишек,— сказал дядя.— Напоминаю вам, что мисс Хэбершем была там.

— Можете не напоминать,— сказал шериф.— Я этого не забыл. И вряд ли когда-нибудь забуду.

И шериф повернулся. Громадный человек, и уже далеко за пятьдесят, никто бы и не подумал, что он может так быстро двигаться, да оно даже как будто и незаметно было, однако он уже успел снять другую сковородку с гвоздя на стене за плитой и уже почти повернулся к столу (где только сейчас он заметил, увидел половину копченого окорока), а казалось, он даже еще и не двинулся,— взял большой кухонный нож, лежавший около окорока, и все это прежде, чем дядя успел заговорить:

— Так вот, как мы это успеем? Вам придется ехать за шестьдесят миль в Гаррисберг к районному прокурору и взять с собой мисс Хэбершем и этих мальчиков в качестве свидетелей и постараться убедить его подать ходатайство об эксгумации трупа Винсона Гаури...

Шериф быстро вытер ручку ножа полотенцем.

— Мне кажется, вы сказали, что в этой могиле нет Винсона Гаури.

— Официально он там,— сказал дядя.— По актам гражданского состояния нашего округа он там. И если вы, живя здесь и зная мисс Хэбершем и меня на протяжении всей вашей служебной карьеры, считаете нужным спрашивать меня об этом дважды, как же, по-вашему, отнесется к этому Джим Холладей? Затем вам надо будет ехать шестьдесят миль обратно с вашими свидетелями и этим ходатайством и убедить судью Мэйкокса выдать ордер...

Шериф бросил полотенце на стол.

— А надо ли? — мягко и как-то почти рассеянно бросил он; и тут дядя остановился, не договорив фразы, и уставился на него, а шериф повернулся от стола с ножом в руке.

— А-а! — сказал дядя.

— И вот я еще о чем подумал,— сказал шериф.— Удивляюсь, как вам это не пришло в голову. А может, и приходило.

Дядя все смотрел на шерифа. И вдруг Алек Сэндер — он даже не вошел, а стоял позади всех в дверях из столовой в кухню — сказал ровным безразличным голосом, как будто машинально читая какое-то ловко составленное объявление, рекламирующее что-то, чего у него нет, да вряд ли когда-нибудь и понадобится.

— А может, это и не мул был. Может, это была лошадь.

— Ну, может быть, теперь до вас дошло,— сказал шериф.

— А-а! — сказал дядя.— Д-даа,— протянул он.

Но тут уже вмешалась мисс Хэбершем. Она окинула Алека Сэндера быстрым суровым взглядом и теперь снова устремила взгляд на шерифа, такой же суровый и острый.

— И до меня тоже,— сказала она.— И я полагаю, мы как-никак заслужили, чтобы вы тут не секретничали.

— Я тоже так полагаю, мисс Юнис,— сказал шериф.— Да вот только того, с кем надо было бы это выяснить, его здесь сейчас нет.

— Ах вот что,— сказала мисс Хэбершем. И сейчас же прибавила: — Ну да. Конечно,— сказала она, уже шагнув, и, поравнявшись с шерифом на полдороге между столом и дверью, взяла у него из рук нож и подошла к столу, а он пошел к двери, и дядя, а за ним следом он и за ним Алек Сэндер — все посторонились друг за другом, чтобы дать ему пройти, и он вышел, прошел через всю столовую в темную переднюю и закрыл за собой дверь; и он подумал: почему шериф не оделся как следует, как только встал; человеку, который привык или ему приходится или почему бы то ни было надо вставать в половине четвертого утра и готовить себе завтрак, казалось бы, ничего не стоило подняться на пять минут раньше и надеть верхнюю рубашку и башмаки, и тут мисс Хэбершем что-то сказала, и он вспомнил о ней; ну конечно, присутствие дамы — вот почему он пошел надеть рубашку и башмаки, даже не позавтракав. Мисс Хэбершем что-то говорила, и он вздрогнул и, не двигаясь с места, очнулся — он, наверно, заснул на несколько секунд, а может быть, даже и минут, стоя вот так же, как спит лошадь, но мисс Хэбершем все еще только переворачивала свинину набок, чтобы нарезать, и говорила: — Разве он не может позвонить в Гаррисберг и добиться, чтобы районный прокурор позвонил сюда судье Мэйкоксу?

— Вот он сейчас это и делает,— сказал Алек Сэндер.— По телефону говорит.

— Может быть, тебе прямо пойти в переднюю, и ты оттуда послушаешь, что он говорит,— сказал дядя Алеку Сэндеру. Затем дядя опять перевел взгляд на мисс Хэбершем, и он тоже смотрел, как она режет бекон тоненькими ломтиками, очень быстро, один за другим, почти так же быстро, как режет машина.

— Мистер Хэмптон говорит, что мы обойдемся без всяких бумаг. Мы можем справиться с этим сами, не беспокоя судью Мэйкокса.

Мисс Хэбершем выпустила из рук нож. Она не положила его, а просто разжала руку и тем же движением схватила полотенце и, уже вытирая руки, повернулась и пошла к ним от стола через кухню очень быстро, гораздо быстрее даже, чем тогда шериф.

— Тогда чего же мы зря тратим время? — сказала она.— Ждем, когда он наденет пиджак и галстук?

Дядя быстро шагнул ей навстречу.

— Мы ничего не сможем сделать в темноте,— сказал он.— Надо подождать, пока рассветет.

— Мы не ждали,— сказала мисс Хэбершем и остановилась: ничего другого ей не оставалось делать, разве только пойти прямо на дядю, хотя дядя даже и не прикоснулся к ней, просто стоял между ней и дверью, так что ей волей-неволей пришлось остановиться хотя бы на секунду, чтобы он посторонился; и он тоже смотрел на нее, такую прямую, тощую, в прямом ситцевом платье, почти бесформенную под правильным точным кругом шляпы, и думал: *«Уж очень она старая, не по ней это,*— и тут же поправился: — *Нет, это не для женщины, нельзя, чтобы леди приходилось делать такое»,*— потом вспомнил вчерашний вечер, как он закрыл за собой дверь конторы и вышел во двор и стал высвистывать Алека Сэндера, и он знал, что он тогда был уверен — он и сейчас был уверен,— что поехал бы один, даже если бы Алек Сэндер не передумал и остался, но только после того, как подошла мисс Хэбершем и заговорила с ним, он поверил, что доведет дело до конца, и он опять вспомнил, что сказал ему старик Ефраим после того, как они нашли кольцо под свиным корытом: *«Если тебе когда-нибудь понадобится что-нибудь такое,*

что не всякому объяснить можно, а откладывать нельзя, не трать времени, не суйся к мужчинам: у них, как твой дядюшка говорит, на все постановления да решения. Поди к женщинам и к детям. Они на случай надеются».

Тут дверь из передней открылась. Он услышал, как шериф идет через столовую к кухне. Но шериф не вошел в кухню, а остановился в дверях и стоял, не двигаясь, даже после того, как мисс Хэбершем спросила суровым, чуть ли не свирепым голосом:

— Ну как?

И он не надел башмаков и даже не подобрал болтавшихся подтяжек и как будто даже и не слышал мисс Хэбершем; он стоял высоченный, загромождая весь проход, и смотрел на мисс Хэбершем, не на шляпу ее, не прямо ей в глаза, даже не в лицо — просто смотрел на нее, как на ряд букв русских или китайских, про которые кто-то, кому вы доверяете, сказал вам, что так пишется ваше имя, и, наконец, раздумчиво и недоуменно произнес:

— Нет.— Затем, повернув голову, посмотрел на него и сказал: — И не ты тоже. И еще больше повернул голову, пока не остановился взглядом на Алеке Сэндере, а Алек Сэндер вскинул глаза вверх на шерифа, потом сейчас же отвел их, потом опять вскинул вверх.

— Ты,— сказал шериф.— Вот ты. Ты отправился туда в темноте, чтобы помочь вырыть мертвеца. Да мало того: белого мертвеца, про которого другие белые люди утверждали, что его убил негр. Почему? Потому что тебя мисс Хэбершем заставила?

— Никто меня не заставлял,— сказал Алек Сэндер.— Я даже и сам не знал, что поеду. Я уже сказал Чику, что я не поеду. Только когда мы подошли к пикапу, все как будто считали, что я, конечно, тоже еду, и я даже сам не знаю, как это вышло.

— Мистер Хэмптон,— сказала мисс Хэбершем.

И теперь шериф посмотрел на нее. Он даже услышал ее.

— А вы еще не кончили резать окорок,— сказал он.— Дайте-ка мне нож.— Он взял ее под руку и пошел с ней к столу.— Мало вы за сегодняшнюю ночь наездились и наволновались, не пора ли передохнуть? Через какие-нибудь четверть часа уже светать будет, с утра люди линчевать не пойдут. Иной раз, если у них что-нибудь там не вышло, не повезло или они поздно приступили, у них может это затянуться до света. Но приступать к этому при дневном свете они не будут, потому что тогда каждый увидит лицо другого. Вот тут по два яйца каждому. Кому больше?

Они оставили Алека Сэндера с его завтраком за столом в кухне, а свои понесли в столовую — он, дядя и мисс Хэбершем несли миску с яйцами, бекон и сухарницу со сдобными булочками, испеченными вчера вечером, но разогретыми в печке, так что они стали вроде как поджаренные, и кофейник, в котором непроцеженная гуща кипела вместе с водой до тех пор, пока шериф не догадался снять его с жаркого места плиты и отставить в сторону; их было четверо, хотя шериф поставил пять приборов, и только они сели за стол, как шериф поднял голову и прислушался — хотя он ничего не слышал,— потом встал и пошел в темную прихожую и куда-то в глубину дома, и потом он услышал, как стукнула дверь у черного входа, и потом шериф пришел обратно и с ним Уилл Лигейт — только без ружья, и он повернул голову поглядеть позади себя в окошко, и правда, уже светало.

Шериф раздавал тарелки с едой, а дядя и Лигейт подставляли мисс Хэбершем под кофейник чашки — свои и шерифа. Вдруг ему показалось, как будто он уже давно слышит откуда-то издалека голос шерифа: «Мальчик... мальчик...— И потом: — Разбудите его, Гэвин. Заставьте его съесть завтрак, прежде чем он заснет»; и он вздрогнул: и все еще только

светало, мисс Хэбершем наливала кофе все в ту же чашку, и он стал есть и, жуя и даже глотая, как будто поднимался и падал, в том же мерном темпе, как жевал, в глубокую мягкую трясину сна и в смутные голоса, пережевывавшие что-то давнишнее, конченое и уже не касающееся его; голос шерифа:

— Вы знаете Джека Монтгомери из округа Кроссмен? Кажется, он последние полгода частенько сюда к нам наведывался.

И голос Лигейта:

— Как же. Ворованный лес скупает. Когда-то держал харчевню под вывеской ресторана у самой границы штата Теннесси, на выезде из Мемфиса, только я не слыхал, чтобы кто-нибудь там мог поесть или купить что-либо съедобное, а потом как-то раз ночью там человека пристукнули, года два-три тому назад. Правда, так и не дознались, был ли к этому делу хоть сколько-нибудь причастен Джек, но полиция штата Теннесси выпроводила его обратно в штат Миссисипи просто так, порядка ради. С тех пор он, кажется, у отца околачивается на ферме, где-то под Глазго. Может быть, выжидает, пока люди забудут про то дело, и он опять сможет открыть харчевню где-нибудь на езжем месте, эдакий кабак с подполом, чтобы можно было упрятать ящик с виски.

— А здесь у нас чем он промышлял? — спросил шериф.

И опять Лигейт:

— Лес покупал как будто... Да не он ли это с Винсоном Гаури...— И с какой-то неуловимой интонацией: — Промышлял?..— И потом без всякой интонации: — Чем промышляет?

И на этот раз свой собственный голос, безразличный, совсем уже на краю глубокой, мягкой впадины сна, и безразлично, вслух он это сказал или нет:

— Он теперь ничем не промышляет.

Но потом стало полегче, из душного жаркого дома снова на воздух, и солнце мягкой, высокой и ровной золотистой струей скользит по самым верхушкам деревьев, золотит недвижно повисший голстый столб воды городского фонтана, вытянувшего паучьи лапы на синеве неба, и снова они вчетвером в дядиной машине, а шериф стоит, нагнувшись к окошку у руля, уже совсем одетый, даже в ярком, оранжевом с желтым, галстуке и говорит дяде:

— Вы отвезите сейчас мисс Юнис домой, она еще может поспать. А я заеду за вами, скажем, через час.

Мисс Хэбершем на переднем сиденье рядом с дядей только и сказала: «Ха». И все. Она не накинулась на него. В этом не было надобности. Это было гораздо более внушительно и непререкаемо, чем если бы она его стала ругать. Она перегнулась через дядю к шерифу:

— Берите вашу машину и поезжайте в тюрьму, или куда там следует, чтобы достать кого-то, кто будет копать! Потому что нам пришлось засыпать могилу, мы знали, что вы нам не поверите, пока не увидите все как есть сами, на месте. Поезжайте,— сказала она.— Мы вас там встретим. Поезжайте.

Но шериф не двинулся. Ему слышно было, как он дышит широко, глубоко, медлительно, словно как бы вздыхая.

— Я, конечно, не знаю,— сказал шериф,— может статься, леди, у которой только и есть что две тысячи цыплят, которых надо кормить, поить и выхаживать, да какой-то там огород в пять акров, ей, конечно, и нечего делать. Но этим мальцам надо идти в школу. Я, по крайней мере, не слышал, чтобы школьный совет ввел такие правила, по которым школьникам разрешается пропускать занятия, чтобы трупы выкапывать.

На это даже она промолчала. Но она все еще не откинулась на сиденье. Она сидела, наклонившись вперед, чтобы дядя не заслонял шерифа, и он опять подумал: «*Уж очень она старая для этого, нельзя ей этого*

делать»; только если бы не она, тогда ему и Алеку Сэндеру — а ведь все они: и она, и дядя, и шериф, и мама, и папа, и Парали говорят про них «дети»,— так вот, им пришлось бы взяться за это самим и справились бы они с этим или нет, а взяться пришлось бы не ради того даже, чтобы соблюсти справедливость или там порядочность, а чтобы оградить невиновного, и он представил себе человека, которому, по-видимому, надо было убить другого человека не по какой-то причине или там поводу, а просто у него такая потребность, жажда убить ради того, чтобы убить, а потом он придумывает, сочиняет причину или повод, чтобы ему можно было жить среди людей и считаться разумным существом; кому бы там ни понадобилось убить Винсона Гаури, ему пришлось потом вырыть его мертвого и убить другого, чтобы положить на его место в могилу, чтобы тот, кому надо убивать, мог передохнуть; а родным и друзьям Винсона Гаури надо убить Лукаса или еще кого-нибудь, все равно кого, и только тогда они могут лечь спать, и дышать спокойно, и даже погоревать спокойно, и на этом успокоиться. Голос шерифа звучал теперь мягко, почти ласково:

— Поезжайте домой, вы с этими мальчиками сделали хорошее дело. Почти наверняка жизнь спасли, а теперь поезжайте домой и предоставьте нам все это до конца довести. Там будет совсем не место для леди.

Но мисс Хэбершем просто прервали, да и то ненадолго:

— Вчера там было не место для мужчин.

— Подождите, Хоуп,— вмешался дядя. Дядя повернулся к мисс Хэбершем.— Для вас есть дело в городе,— сказал он.— Не понимаете?

Теперь мисс Хэбершем смотрела на дядю, но она все еще сидела вполоборота, не откинувшись на спинку сиденья, и пока еще не думала сдаваться — смотрела, выжидая, и как будто вовсе даже и не сменила одного противника на другого, а без всякого колебания или запинки приняла бой с обоими, не прося пощады, не бахвалясь.

— Уилл Лигейт — фермер,— продолжал дядя.— Кроме того, он просидел там всю ночь. Ему надо пойти домой, у него свои дела есть.

— Неужели у мистера Хэмптона других помощников нет? — сказала мисс Хэбершем.— Для чего же их держат?

— Так ведь это просто сторожа с ружьями,— сказал дядя.— Лигейт сам говорил нам с Чиком вчера вечером, что если найдется достаточно людей, которые решатся на такое дело и захотят настоять на своем, они все равно прорвутся, несмотря на него и Таббса. Но вот если женщина, леди... белая леди... — Дядя остановился, замолчал; они вперились друг в друга, и, глядя на них, он опять вспомнил дядю и Лукаса в камере вчера вечером (вчера вечером, конечно, а как будто годы прошли); и опять ему показалось (только сейчас дядя и мисс Хэбершем действительно уставились друг другу в глаза, а не впивались друг в друга с тем сверхчеловеческим напряжением всех чувств, в совокупности которых какое-то одно жалкое, сбивчивое, обычное человеческое восприятие вряд ли значит больше, чем умение разбирать санскрит), будто перед ним два последних оставшихся игрока в покер разыгрывают банк —...просто будет сидеть там на виду, так что первый, кто пройдет мимо, успеет разозвонить об этом задолго до того, как на Четвертом участке заправят машины, чтобы в город ехать... а мы тем временем успеем добраться туда и разделаемся с этим, покончим раз и навсегда...

Мисс Хэбершем откинулась назад медленно, пока не прислонилась к спинке сиденья.

— Значит, я должна сидеть там на лестнице, раскинув веером юбки,— сказала она,— или, может, даже лучше — прислонившись спиной к перилам и уперевшись ногой в стенку кухни миссис Таббс, пока вы, мужчины, которые не удосужились вчера задать этому старику негру несколько вопросов, так что ему вчера вечером не к кому и обратиться

было, кроме как к мальчику, к ребенку...— Дядя промолчал. Шериф стоял, нагнувшись к окошку, дыша широкими глубокими вдохами, не то чтобы тяжело, но просто, должно быть, как надо дышать такому громадному человеку.— Везите меня сначала домой,— сказала мисс Хэбершем.— У меня там набралась кой-какая починка. Не буду же я сидеть полдня без всякого дела, чтобы миссис Таббс подумала, что ей надо меня разговорами занимать. Везите меня сначала домой. Я уже час тому назад поняла, как вам с мистером Хэмптоном не терпится поскорей с этим разделаться, но на это вы все-таки можете выкроить время. Алек Сэндер может пригнать мою машину к тюрьме по дороге в школу и оставить ее у ворот.

— Отлично,— сказал дядя.

Глава шестая

Итак, они повезли мисс Хэбершем к ней домой, на окраину города и через запущенную, косматую кедровую рощу подъехали к некрашеному портику с колоннадой; здесь она вышла из машины и пошла в дом и, по-видимому, даже и не останавливаясь — на черное крыльцо, потому что они сейчас же услышали откуда-то из-за дома, как она кричит на кого-то — должно быть, на старого негра, брата Молли и шурина Лукаса — громким, срывающимся голосом, немножко осипшим от усталости и оттого, что она не спала ночь; затем она вышла с большой картонкой в руках, набитой чем-то вроде выстиранного неглаженого белья и длинных мягких тряпочек и скрученных чулок, и снова уселась в машину, и они поехали обратно к Площади по чистым, тихим, утренним улицам; большие, старые, деревянные, обветшалые дома времен основания Джефферсона, укрывшиеся среди заросших, запущенных газонов, среди старых деревьев и переплетающихся корнями благоухающих цветущих кустарников (названия которых мало кто знает из жителей моложе пятидесяти лет), кажутся до сих пор — даже если в них и живут дети — обиталищем каких-то призрачных теней женщин, престарелых девиц и вдов, которые и сейчас, семьдесят пять лет спустя, все еще ждут медлительных телеграфных известий о битвах в Теннесси, Виргинии и Пенсильвании; дома эти теперь уже не глядят на улицу, а заглядывают через плечи послезавтрашних новеньких, маленьких, чистеньких одноэтажных домиков, спроектированных в Калифорнии и Флориде и поставленных, вместе с подобающим каждому из них гаражом, на аккуратном участке с подстриженной травой и унылыми цветочными клумбами, по три и четыре домика на участок — такое дробное деление двадцать пять лет тому назад показалось бы несколько мелковатым для одной приличной подъездной площадки перед фасадом; там живут молодые процветающие супруги, у каждой четы двое детей (как только они могут себе это позволить), у каждой своя машина, все они члены местного клуба, и клуба, где играют в бридж, и ротарианского и коммерческого клубов, у каждой патентованные электрические приборы для стряпни, и охлаждения, и чистки, и опрятные щеголеватые цветные горничные в наколках, которые орудуют этими приборами, звонят по телефону друг дружке из дома в дом, болтают в то время, как жены, в сандалиях и в брюках, с покрытыми лаком ногтями на ногах, попыхивают испачканными губной помадой сигаретками, набивая покупками сумки в бакалейных лавках и магазинах.

Или так оно всегда бывало, и казалось бы, и должно быть; в воскресенье они даже и не заметили бы, сочли бы это в порядке вещей, что никто не включает и не выключает жужжащего пылесоса, не щелкает штепселем электроплиты, ибо это день отдыха или, может быть, день,

посвященный какому-нибудь событию, вроде крестин или торжественных похорон, или все уехали на пикник, но сегодня понедельник, новый день, новая неделя: отдых и потребность заполнить время и убить скуку — все это позади; дети со свежими силами — в школу, супруг и отец— за прилавок или в контору или толочься в редакции «Вестерн юнион», куда ежечасно поступают сведения о ценах на хлопок; сейчас уже время завтрака, и спешки, и столпотворения всеобщего исхода из дома, а все еще нигде не видно негров — ни молодых девушек с выпрямленными волосами, накрашенных, в ярких нарядных модных платьях, заказанных по почте,— они даже не надевают своих франтоватых наколок и фартучков, пока не переступят порога белых кухонек,— ни пожилых негритянок в длинных, по щиколотку, ситцевых или клетчатых холстинковых платьях, сшитых дома, так же как и те длинные простые передники, которые они носят все время, и это уже перестало быть признаком или принадлежностью их работы, а стало просто одежей, ни даже мужчин негров, которые должны были бы сейчас подстригать изгороди и газоны, ни даже (они сейчас ехали через Площадь) уличных метельщиков из городской артели, которые сейчас должны были бы поливать мостовые из шлангов, выметать вороха брошенных воскресных газет и коробок из-под сигарет; они переехали Площадь и остановились у тюрьмы, здесь дядя тоже вышел, и они с мисс Хэбершем пошли по дорожке к крыльцу, поднялись на ступеньки и прошли через галерею в комнату с по-прежнему распахнутой настежь дверью, против которой все еще стоял придвинутый к стене пустой стул Лигейта, и он опять с усилием выкарабкался из долгого, мягкого, безвременного, черного провала сна и опять, как всегда, убедился, что время даже и не двинулось с места, дядя все еще только надевает шляпу и поворачивается, чтобы спуститься с крыльца. А потом они остановились у своего дома, и Алек Сэндер тут же выскочил из машины, побежал кругом и скрылся за домом, а он сказал:

— Нет. Я останусь.

— Вылезай,— сказал дядя.— Тебе надо идти в школу. Или, пожалуй, лучше пойти лечь спать. Да, да.— Дядя вдруг точно спохватился: — И Алеку Сэндеру тоже. Пусть он сегодня посидит дома. Потому что об этом не должно быть никаких разговоров, никому ни слова, пока мы с этим совсем не покончим. Ты сам должен понимать.

Но он не слушал, они с дядей даже и говорили-то не об одном и том же — даже и тогда, когда он еще раз сказал «нет», а дядя в это время уже вышел из машины и повернул было к дому, но остановился, поглядел на него, затем снова повернулся к нему и долго стоял так, глядя на него, потом сказал:

— У нас с тобой как-то все немножко шиворот-навыворот получается. В сущности, ведь это мне надо спрашивать у тебя, можно ли мне поехать.

Потому что он-то думал о маме, и не то чтобы он только сейчас вспомнил о ней, а еще когда они ехали через Площадь, минут пять тому назад, и казалось, чего проще было бы выйти там из дядиной машины, пойти и сесть в машину шерифа и просто сидеть и ждать, пока они соберутся ехать к часовне, и он даже, наверно, подумал тогда об этом и, наверно, даже так и сделал бы, если бы не эта сонная одурь, если бы он так не отупел и не раскис; и он знал, что на этот раз он не сможет ей противостоять, и даже будь он совсем в форме, на свежую голову; тот факт, что он уже сделал это дважды на протяжении одиннадцати часов — один раз тайком, а другой просто с налету, ошарашив ее полной неожиданностью и массированной быстротой действий, теперь еще более безоговорочно обрекал его на поражение и сдачу; он думал, что ему сказать дяде на эти наивные детские разговоры о школе и о том, чтобы лечь спать, когда ему сейчас грозит этот неуловимый, неумолимый натиск, но тут

дядя опять угадал его мысли; он все еще стоял около машины и глядел на него с состраданием, без тени надежды, потому что, хотя он был пятидесятилетний холостяк и уже тридцать пять лет как вышел из подчинения женщине, он слишком хорошо знал и представлял себе, какие она тотчас же найдет отговорки: и школа, и уроки, и что он выбился из сил — и тут же отбросит их, чтобы прибегнуть к другим; она не признает никаких разумных доводов, когда ему хочется остаться дома — и никакого чувства гражданского долга, простой справедливости, или человечности, или что это необходимо для того, чтобы спасти чью-то жизнь или даже сохранить мир собственной бессмертной души, никаких оправданий,— когда ему надо уйти.

Дядя сказал:

— Хорошо. Идем. Я поговорю с ней.

Он подвинулся к дверце, стал выходить и вдруг сказал спокойно, в каком-то изумлении не перед рухнувшей надеждой, а перед тем, в какой безнадежности может пребывать человек и как долго он может это выдержать:

— Вы ведь мне только дядя.

— Хуже,— сказал дядя.— Я всего-навсего мужчина.— И опять дядя угадал его мысли.— Хорошо. Я попробую поговорить и с Парали тоже. Положение у вас одинаковое. Надо думать, у материнства кожа лишена цвета.

И должно быть, дядя сейчас тоже думал, как с ними не только никогда нельзя выиграть боя — нельзя даже найти место боя, чтобы вовремя признать поражение: всегда оказывается, они уже до этого успели перенести его куда-то еще; он вспомнил — это было тому назад два года,— как он наконец-то попал в футбольную команду своей школы, и то ли он вытянул жребий, то ли его выбрали на место выбывшего игрока участвовать в иногороднем состязании — постоянный игрок, кажется, получил ушиб во время подготовки к матчу или оказался недостаточно подготовленным, а может быть, просто его мать не позволила ему ехать,— он точно не помнит, что там такое вышло, потому что сам он перед этой поездкой весь четверг и пятницу был поглощен тем, что тщетно ломал себе голову, как сказать маме, что он едет в Моттстаун со школьной командой играть в настоящем матче, и не мог ничего придумать и откладывал до последней минуты, когда уже он вынужден был ей сказать, что он и сделал очень плохо; пришлось выдержать целую бурю, и он выдержал, потому что тут оказался отец [хотя он вовсе и не рассчитывал на это — не потому, что не хотел,— может быть, он и подумал бы об этом, не будь он в таком смятении, чуть ли не вне себя от ярости и стыда, и вдобавок еще стыда оттого, что он так разъярен (на какую-то ее отговорку он крикнул ей: «А чем команда виновата, что я у тебя единственный сын?»)], и уехал с командой в пятницу вечером с таким чувством — так он представлял себе,— какое должно быть у солдата, когда он, вырвавшись из материнских объятий, отправляется воевать за какое-то не совсем достойное дело; конечно, она будет огорчаться за него, если он провалит игру, и даже будет опять глядеть ему прямо в лицо, если у него все сойдет хорошо, и все-таки навсегда теперь между ними останется старое, но всегда свежее, незабываемое, постоянное расхождение; так что всю эту ночь в пятницу, тщетно стараясь уснуть в чужой незнакомой кровати, и всю первую половину следующего дня, дожидаясь, когда начнется игра, он думал: лучше было бы для команды, если бы он не поехал, потому что какой от него может быть прок, когда у него только одно на уме, пока не раздался первый свисток и все — на поле, а потом позже, когда в самом низу, под налетевшей на него кучей обеих команд, рот и нос забиты расплесканной и засохшей гашеной известкой, которой проводят линию ворот, он, прижав мяч к груди, услышал, узнал

среди всех голосов этот один, пронзительный, торжествующий, кровожадный голос и, вывернувшись наконец, перевел дух и увидел ее в толпе, впереди всех, не на трибуне среди сидящих, а среди тех, кто топтался и даже бегал взад и вперед вдоль боковой линии, следя за каждым ударом, и потом в тот же вечер в машине, когда они возвращались домой в Джефферсон, он — на переднем сиденье рядом с шофером из гаража, а мама — с тремя или четырьмя другими игроками сзади, каким гордым, спокойным, безжалостным голосом, вот таким и сам он мог говорить, она спросила его: «А рука у тебя еще болит?» — и сейчас, войдя в переднюю, он признался себе, что он ожидал ее увидеть в дверях, все еще с распущенными волосами, в ночной рубашке, и что его после трехчасового отсутствия встретят все теми же непрерывавшимися с тех пор жалобными возгласами. Но вместо этого из столовой быстро вышел отец и сразу накинулся на него, не давая ему сказать ни слова, даже когда дядя, повернувшись, крикнул ему прямо в лицо:

— Чарли! Чарли! Тьфу, пропасть! Да погодите же вы!

И только тогда, совсем одетая, как для выхода, бодрая, деловитая, собранная, к ним из глубины коридора, из кухни подошла мать и, даже не повышая голоса, обратилась к отцу:

— Чарли. Иди в столовую и кончай завтракать. Парали сегодня не совсем здорова и не будет возиться здесь целый день.

Потом к нему — милое, неизменное родное лицо, которое он знает всю жизнь и поэтому не способен описать так, чтобы его мог узнать посторонний, и сам он никогда не узнал бы его, если бы ему кто-нибудь описал, но сейчас оно деловито-спокойно и даже чуточку невнимательно, а возгласы, возгласы — это только старая, укоренившаяся привычка твердить одно и то же: «Ты не умывался!» — и, даже не остановившись посмотреть, идет ли он за ней, тут же пошла вверх по лестнице и в ванную, и уже повернула кран, и сует ему мыло в руки, и стоит с полотенцем в руках,— такое родное лицо со своим родным выражением удивления, протеста, беспокойства и непримиримого отрицания — выражением, которое в течение всей его жизни появлялось у нее всякий раз, когда он делал что-то, что еще на шаг отдаляло его от младенчества, от детства: когда дядя подарил ему шотландского пони, которого кто-то научил прыгать через препятствия высотой в восемнадцать и двадцать четыре дюйма, и когда отец подарил ему первое настоящее стреляющее порохом ружье, и в тот день, когда грум привез на грузовике Хайбоя, и он первый раз сел на него, а Хайбой встал на дыбы, и ее вопль, и спокойный голос грума: «Хлестните его покрепче по голове, когда он такие штуки вытворяет, вы что же, хотите, чтобы он повалился на спину и придавил вас?» — ну, просто это лицевые мускулы по невнимательности, уступая привычке, складываются в прежнее выражение, вот как и ее голос, тоже по невнимательности, просто по старой памяти выхватывает машинально затверженные возгласы, потому что сейчас в нем было что-то еще другое, такое вот как тогда, вечером, в машине, когда она сказала: «Ну, как твоя рука, не болит больше?» — и в другой раз, когда отец, вернувшись домой, застал его, когда он прыгал на Хайбое через бетонную кормушку во дворе, а мать, прислонившись к забору, стояла и смотрела на него; с какой яростью после возгласа облегчения и гнева накинулся на него отец и такой спокойный голос матери: «А почему же нет? Кормушка гораздо ниже этой шаткой загородки, которую ты купил ему, ведь она даже не закрепляется ничем»,— и хоть он сейчас совсем осовел и у него все смешалось в голове, он узнал эту нотку в ее голосе и, подняв к ней лицо и руки, с которых капала вода, вскричал возмущенно и недоверчиво:

— Ты тоже собираешься ехать! Это невозможно! — И тут же при всей своей осовелости, спохватившись, каким надо быть наивным дурачком, чтобы пытаться пронять ее какими-то избитыми фразами, пустил

в ход свою последнюю карту: — Если ты поедешь, я не поеду. Ты слышишь меня? Я не поеду.

— Вытри лицо и пригладь волосы,— сказала она.— И потом приходи в столовую пить кофе.

С Парали, по-видимому, как будто все обошлось, потому что дядя уже был в передней у телефона, когда он спустился в столовую, и не успел он еще сесть, как отец снова накинулся на него:

— Но это же черт знает что, почему ты не пришел поговорить со мной вчера вечером? Если ты еще раз когда-нибудь...

— Да потому что вы не поверили бы ему,— сказал дядя, входя из передней.— Вы даже не стали бы и слушать. Надо было вот такой старухе сойтись с двумя детьми, чтобы поверить правде без всяких оснований только потому, что эту правду сказал старый человек, попавший в беду, заслуживающий сострадания и доверия, и сказал кому-то, кто способен сострадать, даже если по-настоящему никто из них ему и не верил. Ведь и ты сначала не поверил ему,— сказал дядя, обращаясь к нему.— Когда ты по-настоящему начал верить? Когда открыл гроб, не так ли? Я хочу знать, понимаешь ты? Может быть, я еще не слишком стар и могу научиться кое-чему. Так когда же?

— Не знаю,— сказал он. Потому что он правда не знал. Ему казалось, что он с самого начала знал. А потом казалось, что он по-настоящему никогда не верил Лукасу. И тут же казалось, что ничего этого никогда не было, и он опять, не двигаясь, выплывал на поверхность из долгой глубокой пучины сна, но по крайней мере теперь — на какой-то пролет времени, хоть этого-то он как-никак достиг, и, может быть, теперь он все-таки продержится, как на этих таблетках, которые принимают ночные перевозчики грузов,— они совсем крохотные, с пуговичку от сорочки, но в них столько бодрствования, что хватает доехать до следующего города,— и потому что сейчас в комнате мама, спокойная, деловитая, вот она поставила перед ним чашку с кофе, и если бы Парали так поставила, она сказала бы, что Парали швырнула чашку, вот из-за кофе-то, верно, ни папа, ни дядя даже не глядят на нее, а папа, даже наоборот, возмутился:

— Как, кофе? Черт знает что! Мне кажется, когда ты в конце концов согласилась, чтобы Гэвин купил ему эту лошадь, у нас был уговор, что он не только не будет просить, но и сам в рот не возьмет ни капли кофе до восемнадцати лет.— А мама даже не слушала и так же, как чашку, той же рукой не то толкнула, не то швырнула ему кувшин с молоком и сахарницу и тут же повернулась и пошла в кухню, и голос — нисколько не раздраженный, даже не торопливый, просто деловитый:

— Пей сейчас же. Мы и так задержались.

И вот только теперь они в первый раз посмотрели на нее: совсем одета, даже в шляпе, а на руке корзинка плетеная, из которой она всегда, с тех пор как он помнит, брала чинить носки — его, папины, дядины и чулки, но дядя сначала заметил только шляпу и на секунду, по-видимому, так же оторопел, ужаснулся, как и он только что в ванной.

— Мэгги! — сказал дядя.— Тебе нельзя туда! Чарли...

— Я и не собираюсь,— бросила она, даже не остановившись.— На этот раз вам, мужчинам, самим придется копать. Я еду в тюрьму.— Она уже была в кухне, и только голос ее доносился в столовую: — Не могу же я допустить, чтобы мисс Хэбершем сидела там одна и вся округа пялила на нее глаза, я только помогу Парали с обедом, и мы...

Голос не замер, не затих, а умолк, оборвался: она уже выкинула их из головы, но отец сделал еще попытку.

— Он должен идти в школу.

Но даже и дядя пропустил это мимо ушей.

— Ты можешь водить пикап мисс Юнис? — спросил дядя.— Сегодня в негритянской школе нет занятий, так что Алек Сэндер не сможет пригнать машину к тюрьме, а если бы даже и были, боюсь, что Парали не позволит ему на наш двор и шагу ступить, по крайней мере еще неделю.— Тут дядя, по-видимому, спохватился, что все-таки слышал отца, или, во всяком случае, решил ему ответить.— И школа для белых сегодня тоже была бы закрыта, если бы вот этот мальчик не послушался Лукаса, чего я не пожелал сделать, и мисс Хэбершем, чего я тоже не сделал. Ну, как? — спросил дядя.— Ты способен так долго без сна выдержать? Ты сможешь немножко подремать дорогой.

— Да, сэр,— сказал он. И стал пить кофе — по-видимому, от мыла, воды и растирания полотенцем в голове у него несколько прояснилось, настолько, что он понимал, что ему противно и не хочется пить кофе, но не настолько, чтобы поступить попросту, не пить его вовсе,— пробуя маленькими глоточками и после каждого глотка прибавляя сахару, так что в конце концов и кофе, и сахар потеряли свой вкус и превратились в какую-то тошнотворную, приторную и горькую, как хина, омерзительную смесь, и наконец дядя не выдержал и сказал:

— Будет тебе, что это за месиво.— Встал, пошел в кухню и принес кастрюльку горячего молока и большую чашку для бульона, опрокинул его кофе в чашку, налил туда горячего молока и сказал: — Ну вот, пей. Не раздумывай. Просто выпей и все.

И он так и сделал, взял чашку обеими руками и стал пить, как воду из ковшика, почти не чувствуя вкуса, а отец, теперь уже откинувшись на стуле, все еще поглядывал на него и что-то говорил, спрашивал, очень ли трусил Алек Сэндер, а сам он, может быть, даже больше Алека Сэндера трусил и только из тщеславия не показывал перед негром и теперь не сознается,— никто из них не решился бы и дотронуться до могилы в темноте, даже и цветы снять, если бы не мисс Хэбершем; тут его прервал дядя:

— Алек Сэндер уже тогда сказал тебе, что, похоже, могилу кто-то трогал, что она засыпана кое-как, наспех?

— Да, сэр.

— Знаешь, что я сейчас думаю? — сказал дядя.

— Нет, сэр.

— Я рад, что Алек Сэндер не разглядел в темноте и не окликнул человека, который ехал вниз с холма с какой-то поклажей на муле.

И он вспомнил: они все трое думали об этом, но никто ничего не сказал; просто стояли, не видя друг друга, над невидимым черным зевом обрыва.

— Засыпьте как было,— сказала мисс Хэбершем. Они засыпали (в пять бросков на этот раз): рыхлую землю сбрасывать вниз куда быстрее, чем выбрасывать наверх, хотя казалось, что это никогда не кончится в скудном звездном свете, пронизанном немолчным шумом безветренных сосен, словно каким-то мощным неослабеваемым гулом — не удивления, а внимания, настороженности, любопытства, не назидательного, непредвзятого, ни в чем не замешанного и ничего не упускающего.— Положите обратно цветы,— сказала мисс Хэбершем.

— На это же время уйдет,— сказал он.

— Положите обратно,— сказала мисс Хэбершем, и они положили.

— Я поеду на лошади,— сказал он.— Вы с Алеком Сэндером...

— Мы сейчас все пойдем,— сказала мисс Хэбершем.

Они собрали инструменты, веревку (на этот раз не прибегая к электрическому фонарику), и Алек Сэндер сказал: «Погодите»,— нашел ощупью доску, которой он орудовал как лопатой, и понес ее куда-то, где можно ее было засунуть обратно под часовню, а он отвязал Хайбоя и взялся за стремя, но мисс Хэбершем сказала:

— Нет. Мы его поведем. Алек Сэндер пусть идет прямо следом за мной, а ты пойдешь прямо следом за Алеком Сэндером и поведешь лошадь.

— Мы могли бы скорей добраться..— начал он снова, а лица ее им не было видно, только длинный прямой силуэт, тень — и шляпа, которая на ком-нибудь другом даже и не была бы похожа на шляпу, а на ней, так же вот как на его бабушке, выглядела точь-в-точь как надо, лучше и быть не может, и голос у нее совсем не громкий, чуть-чуть погромче дыхания, будто она даже не шевелила губами и не обращалась ни к кому, а просто шептала:

— Это все, что я могу сделать. Больше я ничего не могу сделать.

— Может быть, нам всем вместе посредине идти,— сказал он громко, слишком громко, вдвое громче, чем намеревался или даже мог подумать, должно быть, на мили было слышно, здесь в особенности, на весь этот край, уже безнадежно разбуженный, настороженный бессонным, свистящим, как, наверно, сказал бы Парали — и уж конечно старик Ефраим, да и Лукас тоже,— «шабашем» сосен. Она сейчас смотрела на него, он чувствовал это.

— Я не смогу объяснить этого твоей маме, но Алеку Сэндеру здесь совсем не место,— сказала она.— Вы оба идите прямо следом за мной, а лошадь пусть идет сзади.— И она повернулась и пошла, и хотя он так и не понял, какой смысл в этом, потому что в его понимании самое слово «засада» означало сбоку, со стороны, они все пошли гуськом вниз по дороге, к тому месту, где Алек Сэндер спрятал машину в подлеске; и он шел и думал: *«Если бы это я был, вот бы где это произошло»,*— и она тоже так думала.— Постойте,— сказала она.

— Как же вы можете загородить нас, если мы все не будем стоять рядом? — спросил он. На этот раз она даже не сказала: «Это все, что я могу сделать»,— а просто стояла, пока Алек Сэндер прошел мимо нее в кусты, запустил мотор, выехал на дорогу и развернулся, так чтобы можно было сразу ехать, мотор работал, но фары еще не были включены, и она сказала: — Подвяжи поводья и пусти его. Разве он сам не придет домой?

— Думаю, что придет,— сказал он. И вскочил в седло.

— Тогда привяжи его к дереву,— сказала она.— Мы вернемся сюда, как только повидаем твоего дядю и мистера Хэмптона...

— Ну, тогда уж мы наверняка увидим, как он трусит по дороге, а впереди него, может быть, тот самый мул или конь,— сказал Алек Сэндер. Он включил зажигание, потом снова выключил его.— Чего уж там, садитесь, поедем. Либо он нас подстерегает, либо нет; нет — так все хорошо, а если да, чего же он так канителился, подпустил нас к машине, теперь уж он все равно опоздал.

— Тогда поезжай прямо следом за пикапом,— сказала она.— Мы поедем медленно.

— Ну, нет,— сказал Алек Сэндер.— Поезжай вперед; нам все равно придется тебя ждать, когда приедем в город.

И тогда — ему не требовалось понуканья — он пустил Хайбоя вниз с холма, придерживая его так, чтобы он не мог опустить головы; едва пикап двинулся с места, его огни настигли их, а Хайбой, едва они спустились с уступа, почувствовал себя на ровном месте, и даже тот короткий путь, что оставался до шоссе, пытался взять галопом, но он осадил его и заставил идти шагом, пока они не выехали на шоссе, огни фар то появлялись, то исчезали, пока пикап не спустился к подножию холма, и только тогда он ослабил узду, и Хайбой пошел рысью, как всегда фыркая и стараясь вытолкнуть удила, думая, как всегда, что вот ему сейчас удастся так фыркнуть, что удила сдвинутся и попадут ему прямо в зубы, и он бежал, пытаясь перейти на галоп; огни пикапа взметнулись, когда он свер-

нул на шоссе, копыта Хайбоя отбили восемь глухих ударов по мосту, он пригнулся навстречу темному ветру и пустил его во весь опор, и так они летели полмили, и огней пикапа даже не было видно, а затем он осадил Хайбоя, и тот пошел своей длинной, быстрой, тряской иноходью, и так они проехали почти целую милю до того, как пикап нагнал и обогнал их, и его красный задний фонарь сначала совсем близко впереди, потом — все дальше, дальше и вот уже исчез, но по крайней мере он уже выбрался из этих сосен, избавился от этого обступившего его угрюмо-подстерегающего, равнодушного ко всему, но ничего не упускающего, нашептывающего всей округе свиста: «Смотри, смотри!» — но ведь где-то они и сейчас нашептывали это, и, конечно, теперь это нашептывание длилось уже так долго, что весь Четвертый участок, все Гаури, Ингрямы, Уоркитты и Фрейзеры, все они должны были к этому времени услышать, и лучше уж об этом не думать, и он тут же перестал думать — сразу, как вспомнил, и, сделав последний глоток из чашки, поставил ее на стол в ту самую минуту, как отец, вскочив из-за стола, с грохотом отодвинул стул и сказал:

— Пожалуй, я все-таки пойду поработаю. Надо же кому-нибудь позаботиться и о пропитании, пока вы тут в фараоны и разбойники играете.— И вышел.

А кофе, видно, все-таки как-то повлиял на его, как он называл, мыслительные способности или на то, что люди называют способностью рассуждать, потому что он теперь разгадал отца: его гнев — это было чувство облегчения после всего случившегося, и оно должно было найти в чем-то выход и вылилось в гневе не потому, что он запретил бы ему пойти, а потому, что ему-то самому ведь не представилось такого случая, и это его напускное, презрительно-ироническое высмеивание их храбрости, его и Алека Сэндера, касалось не столько разрытой в темноте могилы, сколько настойчивости мисс Хэбершем; в сущности, это было неуклюжее вышучивание и низведение всего события на уровень чего-то вроде охоты на ведьм в детском саду, что, вероятно, было по-своему, по-мужски тем же нежеланием поверить, как говорил дядя, что он уже достаточно вырос, чтобы самому застегивать себе штаны; на этом он бросил размышлять об отце, услышав, что мать уже выходит из кухни, и отпихнул стул и, поднявшись, вдруг обнаружил, что кофе, оказывается, это не только то, что он о нем знал, а нечто гораздо большее, но никто не предостерег его, что он вызывает видения, вроде как кокаин или опиум; он увидел: внезапно у него на глазах отцовский гвалт и крик рассеялся и исчез, как развеянный ветром дым или туман, не просто открыв, а обнажив человека, который дал ему жизнь и теперь оглядывался на него через непроходимую пропасть — от той минуты зачатия — не только с гордостью, но и с завистью тоже; вот в дядином риторическом, уничиженном самоистязании было что-то надуманное, а отец — он поистине глодал горькую кость своего непоправимого разрыва с временем, сожаления, что он слишком рано или слишком поздно появился на свет, что это не ему сейчас шестнадцать лет и не он скакал в темноте за десять миль, чтобы спасти от веревки старого, дерзкого, одинокого негра.

Но, по крайней мере, он хоть не засыпает. Это как-никак сделал кофе. Ему все еще хотелось спать, но теперь он уже не мог. Желание осталось, но теперь было еще и возбуждение, с которым надо было бороться, подавлять его. Сейчас было уже больше восьми. Один из загородных школьных автобусов проехал мимо, когда он приготовился отъехать от дома на пикапе мисс Хэбершем, и на улице, наверно, полно детей, особенно оживленных с утра в понедельник, с книжками и бумажными мешочками с едой, чтобы позавтракать в перемену, а за автобусом ехала вереница машин и грузовиков, облепленных деревенской грязью,

покрытых пылью, и такая непрерывная и тесная, что дядя с мамой уже успеют до тюрьмы доехать, прежде чем ему удастся влиться в нее, потому что в понедельник — аукцион скота в торговых рядах позади Площади, и он представил себе эти сонмы пустых машин и грузовиков вдоль всего тротуара у суда, сгрудившихся тесными рядами, как свиньи у кормушки, и торговцев скотом с толстыми палками, которые, даже не останавливаясь, идут прямо через Площадь в проход к торговым рядам и, жуя табак или незажженную сигару, ходят из загона в загон среди аммиачной вони навоза и смазки, и рева телят, и топанья, и фырканья лошадей и мулов, и среди подержанных тележек и плужных частей, оружия, сбруи, часов, и только жены (те немногие, что приехали, поскольку день торгов — это не суббота, а мужской день) толкутся возле Площади по лавкам, а на самой Площади пусто, если не считать машин и грузовиков, и так будет до полудня, когда мужчины придут на часок с торгов, чтобы встретиться с женами в ресторанах или кафе.

Тут он с усилием — теперь это уже был не рефлекс — оторвался не от сна, а от видений, его гипнотический транс продолжался даже и на улице при ярком дневном солнечном свете, и сейчас, когда он ехал в пикапе, который до вчерашнего вечера он и не отличил бы от других, но который с тех пор, с того вечера стал такой же неотъемлемой частью его памяти, его переживаний, его дыхания, каким навсегда останется свистящий шорох заступа, врезающегося в рыхлую землю, или скрип железной лопаты по сосновой крышке; двигаясь в каком-то мираже полнейшей пустоты, в которой не просто не было вчерашнего вечера, но не было даже и субботы, он вдруг спохватился, как если бы только сейчас увидел, что ведь в школьном автобусе не было детей, а только взрослые, и в потоке машин и грузовиков, следующих за автобусом, а теперь, когда ему наконец удалось влиться в этот поток,— и за ним (в некоторых из них даже и в понедельник, в день торгов, должны были бы сидеть негры, а в субботу половина открытых грузовиков бывала битком набита черными мужчинами, женщинами, детьми в плохоньких дешевых нарядах, в которых они ездили в город) не было ни одного черного лица. И на улице ни одного школьника, идущего в школу, хотя он, не слушая, слышал, как дядя говорил по телефону с директором, тот спрашивал его, можно ли сегодня детям в школу, и дядя сказал: «Да», и вот уже, подъезжая к Площади, он увидел еще три желтых автобуса, предназначенных для того, чтобы возить в школу детей из округа, но хозяева этих автобусов, они же подрядчики и шоферы, использовали их по субботам и в праздники как платный пассажирский транспорт; а вот и Площадь, стоянки машин, грузовиков — все как всегда, но на самой Площади не как всегда, не безлюдно; мужчины не валят толпой к торговым рядам, а женщины в лавки, так что, когда он подъехал к стоянке и остановил пикап позади дядиной машины, он уже успел увидать там, где это было видно, и почувствовать, даже если и не видел, глухое брожение, прерывистый учащенный пульс и гул толпы, заполнившей Площадь и — как на карнавальном шествии или футбольном матче — выплеснувшейся на улицу и сгрудившейся на тротуарах напротив тюрьмы и хлынувшей туда, дальше, мимо кузницы, где он стоял вчера, стараясь быть незаметным, как если бы все собрались здесь смотреть на торжественный парад (и почти посреди мостовой, так что машины и грузовики, все еще двигавшиеся непрерывным потоком, вынуждены были объезжать ее, стояла кучка человек в двенадцать, словно группа лиц, принимающая парад, и в самом центре ее он узнал форменную фуражку со значком городского полисмена, который в этот день и в этот час должен был бы стоять перед школой и регулировать уличное движение, чтобы дети могли спокойно переходить улицу, и ему даже не пришлось напрягать память, оно само вспомнилось, что фамилия полисмена Инграм, этот Инграм с Четвертого участка ушел в город, подобно

некоторым другим отступникам клана Четвертого участка, которые уходили в город и женились на городских девушках и становились парикмахерами, приставами и ночными сторожами,— так маленькие немецкие князьки покидали свои Бранденбургские холмы, чтобы вступить в брак с наследницами европейских тронов), мужчины, женщины и ни одного ребенка, обветренные деревенские лица, загорелые шеи, руки и яркие ситцевые платья, сплошная толкучка на Площади и на улице, как если бы и лавки сегодня были закрыты, заперты, и они даже не глядят на голый фасад тюрьмы с единственным заделанным решеткой окном, которое пустует и безмолвствует вот уже двое суток, а просто толкутся, теснятся — не в ожидании, не в предвкушении и даже без особой настороженности, а просто пока еще в той предварительной стадии оседания по местам, как перед поднятием занавеса в театре, и он подумал: вот это что — праздник; обычно — день развлечения для детей, ну а здесь все наоборот; и тут он вдруг понял, что он все представлял себе совсем не так; нет, это не субботы не было, а только вчерашнего вечера, который для них еще и не наступил,— ведь они не только не знали про вчерашний вечер, но ни один человек, никто, даже сам Хэмптон, не мог им о нем рассказать, потому что они не поверили бы ему, и тут словно какая-то завеса или перепонка вроде как на глазах у кур — а он даже и не подозревал, что она у него есть,— спала с его глаз, и он всех их увидел впервые, те же обветренные и все еще совсем не настороженные лица, те же выцветшие чистые рубахи, и брюки, и платья, но не толпа, ждущая поднятия занавеса над театральным вымыслом, а, скорее, толпа, собравшаяся в зале суда, которая ждет, когда судебный пристав провозгласит: «Внимание! Внимание! Внимание! Суд идет!» — она даже не выражает нетерпения, потому что еще не настало время судить не Лукаса Бичема — его они уже осудили,— но Четвертый участок; они пришли сюда не смотреть, как вершат то, что они называют правосудием, или как воздают должную кару, а убедиться, что Четвертый участок не уронит своего престижа белого человека.

Итак, он остановил пикап, вылез и уже бросился бегом, но тут же одернул себя отчасти из чувства гордости или собственного достоинства при воспоминании о вчерашнем вечере, когда он затеял и даже в некотором роде возглавил или, во всяком случае, помог выполнить это дело, важности которого, уж не говоря насущности, не понял никто из ответственных взрослых, но отчасти и из осторожности, припомнив, как дядя говорил, что подстегнуть к действию толпу ровно ничего не стоит, достаточно какого-нибудь пустяка; а что, если для них достаточно увидеть подростка, бегущего к тюрьме,— и он снова представил себе бесчисленную массу лиц, удивительно схожих отсутствием всякой индивидуальности, полнейшим отсутствием своего «я», ставшим «мы», ничуть не нетерпеливых даже, не склонных спешить, почти торжественных в полном забвении собственной своей страшной силы,— даже сто бегущих детей не заставят их сдвинуться с места; но вот миг — и все перевернулось: отказаться, отступить от задуманного не заставит их и толпа детей, не сотня, а во сто раз больше; и как тогда, когда он чувствовал полную безнадежность того, что было еще только в замысле, и потом физическую неосуществимость, когда они решились привести это в исполнение, так сейчас он понял, насколько чудовищно то, во что он слепо вмешался, и как правильно было его первое инстинктивное побуждение — бежать домой, взнуздать и оседлать лошадь и мчаться без оглядки до тех пор, пока не свалишься в изнеможении, и заснуть, и потом вернуться, когда уже все кончится (а теперь — теперь ему казалось, что это он вытащил на белый свет нечто гнусное и постыдное, присущее всему белому роду, основателю края, и ему тоже, ибо он плоть от плоти его, а не сделай он этого, оно могло бы просто вспыхнуть, взметнуться

пламенем из Четвертого участка и снова скрыться во тьме или хотя бы сгинуть незримо вместе с угасшим пеплом распятого Лукаса).

Но теперь уж поздно, он не может отречься, отказаться, бежать — дверь тюрьмы все так же распахнута, и в глубине против двери видно мисс Хэбершем, сидящую на стуле, на котором сидел Лигейт, на полу у нее в ногах картонка, а на коленях что-то из белья или одежды; она все еще в шляпе, и ему видно мерное движение ее руки и локтя, и ему казалось, что он видит, как мелькает и блестит игла в ее руке, хотя он знал, что на таком расстоянии он не может этого видеть, а дальше дядя загораживал ему, и он сделал еще несколько шагов от ворот, но тут дядя повернулся, вышел из двери и пошел через галерею, и тогда он увидел и ее тоже на стуле рядом с мисс Хэбершем; сзади подъехала машина и остановилась, и вот теперь она не спеша выбрала носок из корзинки и сунула в него деревянное штопальное яйцо; у нее даже была наготове иголка с ниткой, вколотая на груди в платье, и теперь он уже мог разглядеть мелькание и блеск иглы, или, может быть, это потому, что ему так хорошо знакомо это движение, привычная, узкая гибкость руки, которую он наблюдал всю жизнь, и уж во всяком случае он может с кем угодно поспорить, что это его носок.

— Кто это тут? — раздался позади голос шерифа.

Он обернулся. Шериф сидел за рулем своей машины, втянув голову в плечи и согнувшись, чтоб можно было выглянуть, не задев головой за верх окна. Мотор продолжал работать, а сзади в машине он увидел ручки двух лопат и кирки, которая им не понадобится, и на заднем сиденье двух мирных и неподвижных, если не считать непрестанного вращения и сверкания белков, негров в синих джемперах и в грязных, с черными полосами, арестантских штанах, которые носят заключенные на принудительных работах, работающие по починке мостовой.

— Кто бы это мог быть? — опять позади него спросил голос ляди, но на этот раз он не повернулся и даже не стал слушать, потому что внезапно с улицы подошли трое мужчин и остановились около машины, и, пока он смотрел, подошли еще человек пять, шесть, и в следующую минуту целая толпа двинулась с той стороны улицы к воротам; уже проезжавшая машина резко затормозила (а за ней сзади и другая) — сначала чтобы не врезаться в толпу, но затем сидевшие в ней высунулись наружу и стали глядеть на машину шерифа, в то время как первый из подошедших уже стоял возле нее и заглядывал внутрь; его коричневые загорелые руки фермера ухватились за край поднятого окна, а коричневая обветренная физиономия всунулась в машину, любопытная, вопрошающая, без тени смущения, а за ним — прислушивающаяся масса его размноженных копий в фетровых шляпах и пропитанных потом панамах.

— Что это вы задумали, Хоуп? — спросил он.— Разве вы не знаете, что можете попасть под суд за то, что швыряете зря казенные денежки? Или вы не слыхали про этот новый закон, который провели янки насчет линча? Те, кто линчует негра, обязаны вырыть ему могилу!

— Может, он везет эти лопаты Набу Гаури и его сыновьям, чтобы они поупражнялись малость? — сказал второй.

— Тогда, значит, Хоуп правильно поступает, что везет с собой и рабочие руки,— подхватил третий.

— Если ему придется иметь дело с кем-нибудь из Гаури, насчет того чтобы яму копать или что другое сделать, отчего пот прошибает, ему без рабочих рук не обойтись.

— А может, это вовсе и не рабочие руки,— сказал четвертый.— Может, это на них Гаури думают поупражняться сперва.

И хотя кто-то фыркнул, толпа не засмеялась, их собралось теперь вокруг машины уже человек двенадцать. если не больше; и каждый ки-

дал быстрый многозначительный взгляд в глубину машины — где двое негров сидели, застыв неподвижно, словно выточенные из дерева фигуры, глядя прямо перед собой, ни на что, без малейшего движения, даже как будто не дыша, только белки чуть заметно то расширялись, сверкая, то прикрывались,— а потом снова переводил глаза на шерифа, почти с таким же выражением, какое он видел на лицах игроков, дожидающихся перед стеклом автомата, какой кому выпадет приз.

— Ну, хватит,— сказал шериф. Он высунул в окно голову и громадную руку и, отпихнув передних из толпы, обступившей машину, с такой легкостью, как если бы он откинул занавес, сказал, повысив голос, но не очень громко: — Уилли.

Полисмен подошел; он слышал, как тот говорил на ходу:

— Дорогу, ребята. Дайте-ка я выясню, что беспокоит сегодня нашего досточтимого шерифа.

— Почему вы не разгоняете толпу, чтобы она не загромождала улицу и машины могли проехать в город? — спросил шериф.— Может быть, этим приезжим тоже хочется стать где-нибудь поблизости и глазеть на тюрьму.

— А уж это как пить дать,— сказал полисмен. Он повернулся и, раскинув руки, стал отстранять теснившихся у машины, не трогая их, а словно погоняя стадо, чтобы заставить его двинуться с места.— Ну, ну, ребята,— говорил он.

Они не двигались и продолжали смотреть мимо полисмена на шерифа, ничуть не вызывающе и даже и не сопротивляясь вовсе, а так это незлобиво, покладисто, чуть ли не добродушно.

— А почему, шериф? — раздался голос в толпе, а за ним другой:

— Ведь улица для всех, шериф. Что, вам, городским, жаль, если мы постоим здесь, мы ведь наши денежки у вас в городе тратим.

— Но нельзя же и другим мешать попасть в город и потратиться,— сказал шериф.— Проходите, не стойте. Разгоните их, Уилли, чтобы не загромождали улицу.

— Двигайтесь, двигайтесь, ребята,— подгонял полисмен.— Не вы одни, другим тоже охота проехать сюда да стать поудобней, чтобы глазеть на эти кирпичи.

Они двинулись теперь, но все еще не спеша; полисмен загонял их обратно на ту сторону улицы, как женщина загоняет кур со двора — она не торопит их, только следит, чтобы они шли, куда надо, да и следит-то не очень, куры бегут перед ней, а она машет на них передником, они не то чтобы непослушные, но кто их знает, они ее не боятся и пока даже и не всполошились; остановившаяся машина и другие следом за ней тоже двинулись, медленно, еле-еле, ползком, со своим грузом высунутых и повернутых к тюрьме лиц; ему слышно было, как полисмен покрикивает на водителей:

— Проезжайте, проезжайте. Не задерживайтесь, машины сзади.

Шериф снова посмотрел на дядю.

— А где же другой?

— Кто другой? — спросил дядя.

— Второй сыщик. Тот, который видит в темноте.

— Алек Сэндер,— сказал дядя.— Он что, нужен вам?

— Нет,— сказал шериф.— Я только заметил, что его нет. Я просто удивился, что нашлось одно человеческое существо в нашем округе, у которого хватило ума и такта не выходить сегодня из дому. Ну как, вы готовы? Поехали.

— Поехали,— сказал дядя. Шериф был известен своей ездой: машины хватало ему на год, она изнашивалась у него, как у тяжелого на руку метельщика изнашивается метла — не от скорости, а просто от тре-

ния; вот сейчас машина прямо-таки сорвалась с места, и они даже не успели заметить, как она повернула и исчезла. Дядя подошел к их машине и открыл дверцу.— Ну, полезай,— сказал дядя.

И тогда он решился — это-то по крайней мере не трудно было выговорить:

— Я не поеду.

Дядя остановился, и он увидел, как он с мрачным, насмешливым видом вглядывается в него насмешливыми глазами, которым достаточно на чем-нибудь задержаться, и они редко когда что упустят; сказать по правде, за все то время, что он их знает, они никогда ничего не упускали до вчерашнего вечера.

— А! — протянул дядя.— Понятно, мисс Хэбершем, конечно, леди, но другая-то ведь твоя, бедняжечка!

— Вы посмотрите на них,— сказал он, не двигаясь с места и даже почти не двигая губами.— Через улицу. И на Площади — тоже, и никого, кроме Уилли Ингрема в этой его дурацкой фуражке...

— А ты разве не слышал, как они разговаривали с Хэмптоном? — спросил дядя.

— Я слышал,— сказал он.— Они даже над собственными остротами не смеялись. Они смеялись над ним.

— Они даже не подтрунивали над ним,— сказал дядя.— И даже вовсе не зубоскалили на его счет. Они просто наблюдали. Они наблюдают за ним и за Четвертым участком и ждут, что будет. Все эти люди приехали в город посмотреть, что будет делать та или другая сторона или, может быть, обе.

— Нет,— сказал он.— Не только за этим.

— Хорошо,— сказал дядя, теперь уже совершенно серьезно.— Допустим. Ну и что?

— А что, если...

Но дядя перебил его:

— Ну, если даже явится Четвертый участок, поднимет стулья с твоей мамочкой и мисс Хэбершем и вынесет их во двор, чтобы они не мешали, Лукаса-то ведь нет в камере. Он в доме мистера Хэмптона — сидит, должно быть, в кухне и завтракает. Ты как думаешь, чего ради Уилл Лигейт явился с черного хода через каких-нибудь четверть часа после того, как мы приехали и рассказали мистеру Хэмптону? Алек Сэндер даже слышал, как он ему звонил.

— А тогда чего же мистер Хэмптон так торопился сейчас? — спросил он, и голос дяди прозвучал теперь очень серьезно, но только серьезно — и все:

— Потому что лучший способ покончить со всякими предположениями или отрицаниями — это отправиться туда, сделать то, что надо, и вернуться обратно. Ну, лезь в машину.

(Окончание следует)

Когда каждый становится солдатом

СТИХИ ВЬЕТНАМСКИХ ПОЭТОВ

Прибыл из Вьетнама пакет с новыми стихами. Естественно, что советские поэты сразу же взялись за перевод произведений своих вьетнамских товарищей. Издательство «Известия» готовит к печати антологию современной вьетнамской фронтовой лирики «Поэзия ведет огонь». Некоторые произведения из этой книги открываются сегодня перед читателями «Иностранной литературы».

Поэзия борющегося за свою свободу и независимость Вьетнама становится все более известной в нашей стране. Для нее характерны высокий накал чувств, боевая направленность, сочетающаяся с древним мастерством и новыми, привнесенными жизнью ритмами. Я полагаю, что имена авторов, чьи стихи публикуются в этом номере журнала, уже знакомы любителям поэзии, но, пользуясь тем, что я встречалась с некоторыми из этих поэтов на дорогах Вьетнама, слышала, как они читают свои стихи, видела их на позициях зенитчиков, на заводах и в кооперативах, позволю себе сказать о них несколько слов.

Поэт То Хыу, утверждающий, что «Октябрьский ветер — нашей судьбы путевая веха, мы жизнь начинали с этой даты», по праву считается одним из крупнейших мастеров. Невысокого роста, подвижный, очень юный по внешности, он прошел долгий и суровый путь борца за свободу своей родины. В СССР изданы две его книги, и любители поэзии, наверно, оценили то, что еще будучи юношей, То Хыу всецело отдал свою жизнь и поэзию делу освобождения народа. Его стихи впервые публиковались как листовки. В застенках колонизаторов, в 1942 году, писал он о верности революционному делу, посылал привет Советскому Союзу. Сейчас этот человек с вечно молодой душой поэта ведет большую неутомимую работу как секретарь ЦК Партии трудящихся Вьетнама.

Хюи Кан и Нгуен Динь Тхи принадлежат к тому же поколению, что и То Хыу. У них за плечами десятилетия партизанской войны, они и сейчас в боевом строю, на переднем крае борьбы против американской агрессии.

Биография каждого вьетнамского поэта старшего поколения могла бы послужить материалом для целого романа.

В Музее революции в Ханое есть замечательная фотография: «Съезд писателей Вьетнама». Поляна в джунглях; прямо на земле сидят воины в форме с оружием — все, как полагается у воинов; разве что на коленях лежат блокноты, потому что эти воины — писатели. В центре Нгуен Динь Тхи, еще тогда, в годы войны Сопротивления на этом необычном съезде избранный генеральным секретарем Союза писателей. Он является им и поныне.

Нгуен Динь Тхи не только поэт, он еще и великолепный прозаик, если можно так сказать — страстный и поэтический прозаик. Его редко застанешь в Ханое — он чаще на боевых позициях, среди воинов — писатель, воин и пропагандист. Но таков не один Тхи — со многими я встречалась именно не в Ханое, а на боевых позициях. С поэтессой Ань Тхо ездила вместе на фронтовую линию, и мы с ней, как две подруги, делили все трудности нашего похода и вместе с вьетнамскими зенитчиками радовались сбитым на наших глазах американским самолетам. Мы не участвовали в бою, мы были только свидетелями боя. Но Ань Тхо мне рассказывала, как в предыдущую свою поездку в боевую зону она и еще трое вьетнамских писателей оказались во время налета американских бомбардировщиков на зенитной батарее, и в том бою писатели и маленькая Ань Тхо были подносчиками снарядов. А после боя написали о победах зенитчиков.

Поэты Демократической Республики Вьетнам прислали для антологии стихи своих братьев из Южного Вьетнама. Первоначально эти стихи звучали по радио в освобожденных районах, в партизанских джунглях. Обычно в ханойской печати под опубликованными стихами поэтов Южного Вьетнама следует примечание: доставлено из Южного Вьетнама. За этой короткой фразой — долгий путь по рекам и чащам, многодневные пешие переходы, боевые схватки с американскими патрулями: не так-то просто доставить стихи на Север...

Я верю: мы еще прочитаем стихи вьетнамских поэтов не только об их воле к победе, но и об окончательной победе вьетнамского народа.

ИРИНА ЛЕВЧЕНКО

ТО ХЫУ

Здравствуй, весна шестьдесят седьмого

О земля моя,
разреши орудийным салютам произнести это заздравное слово.
Я низко кланяюсь тебе, весна.
Здравствуй, весна шестьдесят седьмого.
Весна,
ты обрушиваешь свой гром, как будто залпы прямой наводки,
весна новых подвигов и побед,
весна, занесенная в военные сводки.
Весна, посылающая на Север и Юг добрые вести товарищам нашим.
Весна, когда тридцатимиллионный народ движется к цели единым маршем,
когда замирают небеса, прислушиваясь к отдаленным раскатам,
когда никто не может стоять в стороне, когда становится каждый солдатом,
когда современность и древность — в одном ряду,
когда все поднялось и пришло в движенье,
когда бамбук и ракету,
копье и меч
берет революция на вооруженье,
когда — кто в повозке, кто в лодке,
а кто пешком,
кто с тяжелой поклажей, кто с солдатским мешком,
кто по горной тропе, кто в ущелье глубоком движется вместе с людским потоком.
Посмотри, как деревни идут, пыля, как встают города, ураганным огнем угрожая,
как прямоугольниками строятся рисовые поля, ожидающие нового урожая.
Низко кланяюсь вам, призванные войной наши сестры, возлюбленные и подруги,—
с карабином, покоящимся за спиной, и рукою, лежащей на плуге.
Буду вечно отныне обязан вам, вашей выдержке, стойкости, вашей силе.
Низко кланяюсь старикам, что бредут, оскользаясь, в песке и иле.
Низко кланяюсь рекам, и синим морям, и высотам, которым еще не дано названья.
Низко кланяюсь седым матерям, шьющим ночью солдатское обмундированье.
Низко кланяюсь детям, переходящим потоки вброд, по утрам торопящимся в школу из родного селенья.
Низко кланяюсь тебе, мой народ, достойный любви и высокого удивленья.

О весеннее солнце, тебе хорошо известны
все излучины рек и все истоки,
ты бываешь на Севере и на Юге, ты гостишь на Западе и Востоке.
Побывай же во всех уголках планеты, расспроси у всех двадцати
столетий:
есть ли в мире сегодня земля такая, есть ли в мире другая страна
на свете,
где поля овеяны вечной славой,
где леса повиты огнем и дымом,
где любой ручей и любая грядка
рубежом становятся непроходимым,
где дома и окопы, холмы и рвы содрогаются от гула орудий,
где, пройдя сквозь тысячи испытаний, все равно доброту сохраняют
люди,
где под ливнями раскаленных осколков сердце, не ведая страха, бьется
и где в нем, опаленном грозой и горем, место для дружбы всегда
остается.
О Вьетнам, прославляю твое терпенье, благословляю твое бесстрашье.
Я увидел, что среди бед и страданий человек становится выше и краше.
Ты как мать, заботящаяся о детях, от чужих скрывающая заветные
мысли,
поднимающая непосильную тяжесть на своем бамбуковом коромысле.

Мы в огонь научились глядеть не мигая, за свободу платить своею
кровью,
а солдату громких речей не надо, ведь солдат не нуждается
в многословье.
Мы наши судьбы нерасторжимо связали с нашим родимым краем.
Мы знаем, за что идем в наступленье, и твердо знаем, за что умираем.
Студеный ветер, Октябрьский ветер — нашей судьбы путевая веха,
мы жизнь начинали с этой даты, нам тоже сейчас — половина века.
Мы — зерна завтрашних урожаев, новых ростков семена и споры,
наверно, История нас не случайно избрала своей точкой опоры.
Наши сердца во мраке ночи
светят, как факел огнем крылатым.
Есть на свете нелегкое право —
быть первым идущим на штурм солдатом.
Такого земля не знавала наша за все четыре тысячелетья —
впервые правда расправилась с ложью, впервые раб разогнулся
под плетью.
Мы сумеем свою отстоять свободу, мы одержим победу над злом
и горем —
так дядя Хо заявил когда-то, так сегодня и мы вслед за ним повторим.
И когда Суан * сражался за нашу землю, он твердил, на локтях
приподнявшись над нею:
«Голову выше держи, товарищ, и цельсь, цельсь как можно точнее!»
О свет весны, ты похож на знамя, внезапно вспыхнувшее во мраке,
ты похож на свет клинка боевого, сверкающего в минуту атаки.

Ты примеряешь солдатскую каску, ты смотришь пристально и сурово,
здравствуй, весна больших испытаний,
здравствуй, весна шестьдесят седьмого!

---

* Нгуен Виет Суан — герой войны с американскими захватчиками.

ХЮИ КАН

На этом клочке земли

Я возвратился в древний край к тебе, земля Тхай-бинь,
где далеко в короне гор видна земля Шон-нам,
где ранних утренних небес всегда прозрачна синь,
где всё о дедах и отцах напоминает нам.

История, она и впрямь как риса колосок,—
взойдет он или не взойдет, но ты его сажай.
Прошло четыре тыщи лет, немалый минул срок,
и вот пришла пора снимать сегодня урожай.

Квадраты рисовых полей бегут за окоем.
Мы помним предков имена, мы чтим их честный труд.
Куда сейчас ни поглядим, мы след их узнаем,
и в каждой горсточке зерна они для нас живут.

Покоя праздного они не знали ни на миг:
то наводненье их дома сметало дважды в год,
то раскаленный суховей сжигал посевы их,
то вновь нагрянула беда, и снова недород.

Все силы отдавать земле — был их удел таков,
был в вечных схватках закален их мужественный нрав.
Трудолюбивый мой народ здесь сорок жил веков,
на всякий случай меч храня и кисть в руке зажав.

Встречаю ль утренний рассвет, в полях остановясь,
любуюсь ли сияньем дня под пологом небес,
здесь с каждым маленьким ростком я ощущаю связь,
и тяжесть каждого зерна я чувствую на вес.

Обычно пишет музыкант над верхней строчкой нот:
«задорно», «сдержанно», «легко», «негромко», «не спеша»,—
но как, скажите, передать волненье этих вод
и то волнение, каким полна моя душа?!

Не часто можно день такой увидеть наяву:
стоит, склоняясь, зрелый рис, и светом все полно.
Какую надобно найти для лука тетиву,
чтоб не стрелу доверить ей, а спелое зерно?

И снова зерна налились, как капельки дождя,
и вновь земля готова нас кормить из года в год.
Снимая новый урожай и в смертный бой идя,
ты за четыре тыщи лет не постарел, народ.

С заветных дедовских времен мы Землю берегли,
она, как море, солона, как солнце, горяча,—
и труд сумел отвоевать у моря часть земли,
тесня его к заливу Хо, за дальний берег Ча.

Я слушать музыку полей часами здесь готов,
то ветра различаю шум, то синих волн раскат.
Здесь зреет Ароматный рис и рис других сортов,
и словно песня для меня названья их звучат.

Уже последний луч зари теряется в горах,
но даже ночью здесь стоит осенняя теплынь.
Не раз захватчиков своих ты обращала в прах,
отцов и дедов колыбель, земля моя Тхай-бинь.

ТХУ БОН (Южный Вьетнам)

Песня о птице Те-рао

Что же Хуангу сегодня заснуть не дает —
то ли в груди его боль шевелится тупая,
то ли волненье гудит в нем всю ночь напролет,
так же, как море, гудит, к берегам подступая?

Может, сейчас ему вспомнился старенький дом,
ряд тополей и тропинка, ведущая к дому.
Там неприкаянный ветер шумит за окном,
ветви качая и с крыш обрывая солому.

Девушки там, собираясь на дюнах морских,
сети плетут и тихонько поют у причала.
Если признаться, то есть там одна среди них —
та, что, прощаясь, всю жизнь его ждать обещала.

Сумрачно небо и берег обрывист и крут.
Мокрые сети висят, отдыхая, в сторонке.
Слушает море, как девушки песню поют,
в лад этой песне качает на привязи джонки.

Ты не забыл, как здесь ветры всегда солоны,
как серебрится в корзинах добыча живая,
как поднимается лодка на гребень волны,
скошенным парусом кромку небес задевая.

Ты не забыл, как еда закипает в котле,
как собираются к вечеру лодки у мыса.
На разоренной, сожженной врагами земле
даже не радует запах вареного риса.

Родина, родина — тихого вечера дым.
Рыба всплеснет, и опять все вокруг молчаливо.
Лампа домашняя спорит со мраком ночным.
Стайка медуз на песке ожидает прилива.

Вот и семья пред холодным сошлась очагом.
Мать на собравшихся смотрит встревоженным взглядом.
Все здесь, как прежде, и только на месте твоем —
миска пустая и палочки сложены рядом.

Знаешь, мне вспомнилась старая песня опять:
«Птица Те-рао склевала зеленое манго».
Песенкой этой нас в детстве баюкала мать:
«Птица Те-рао склевала зеленое манго».

Где-то в лесу, не смолкая, стучит пулемет,
залпы орудий разносятся с правого фланга.
Что ж эту песню сегодня никто не поет:
птица Те-рао склевала зеленое манго...

ХОАНГ ЧУНГ ТХОНГ

Малыш

Когда, повсюду сея смерть, пришли французы в край родной,
мать, бросив дом, ушла пешком с твоей сестренкой за спиной.
Она скиталась по лесам, брела тропой средь горных скал,
и долго орудийный гул в ее ушах не умолкал.
Когда ж бомбежкой ночь потряс американский самолет,
когда обрушился на нас огнем объятый небосвод,
мать за руки взяла детей в поселке, выжженном дотла,—
через Нан-ха, Ха-бак, Ха-бей ее дорога пролегла.
Ты ночью с матерью спешил, шагал за ней при свете дня,
худыми ножками с трудом в песке и глине семеня.
Просторы рисовых полей вам открывались с высоты,
в воде прозрачной у плотин белели лотоса цветы.
С поклажей буйволы брели, сходясь в тени по временам,
деревья вай свои плоды с холмов протягивали вам.
И долго ты не мог уснуть, за огоньком ночным следя,
и долго вслушивался ты в порывы ветра и дождя...
Ты различал сквозь треск цикад глухие взрывы вдалеке
и забывался лишь к утру на обветшалом тюфяке.
К чужим неведомым краям и к новым людям ты привык,
они охотно для тебя срезали сахарный тростник.
Они с бананами в руках встречали вас у всех дорог,
и я хочу, чтоб этих встреч ты позабыть нигде не мог.
Еще не время отдыхать, и труден горный перевал.
Наверно, так, как ты, малыш, еще никто не уставал.
И эту школу проходя, ты в ней усвоил навсегда,
что в каждом рисовом зерне — и пот, и кровь людей труда...
Покинь убежище свое, дитя лишений и невзгод,—
бомбардировщики ушли, воздушный кончился налет.
В полнеба зарево стоит, селенья ближние в дыму,
но ты, пройдя недетский путь, успел привыкнуть ко всему.
За самолетами следя, ты в небе их считаешь сам,
ты научился в темноте их различать по голосам.
Ты мало прожил на земле, за этот срок понять успев,
что значит дружба и любовь, что значит ненависть и гнев.
Я так люблю следить за тем, как ты совсем один, малыш,
мурлыча песенку свою, с тряпичной куклою сидишь,
как ты в «атаку на врага» идешь с игрушечным ружьем,
как ты, оставив вдруг игру, о чем-то думаешь своем.

Тебе достался трудный век, четырехлетний мой солдат,
все пушки целятся в тебя, все бомбы сжечь тебя хотят.
Но ты мужаешь и растешь, с годами становясь сильней,
на этой огненной земле, средь несгибаемых людей.

Перевод Мих. МАТУСОВСКОГО

ТИМ ЧАНГ (Южный Вьетнам)

Цветы бонг шунг*

Я срываю цветы на рассвете в саду моем.
Мать растит их в воронке от взрыва фугасной бомбы.
Сколько ж боли хранит в глубине своей водоем —
всю поверхность его испещрили мелкие волны!

Сколько лет прошло, как воронка молчит, черна.
Пальмы листья над ней широкие распластали.
Здесь из нашей плоти и крови,
с темного дна,
вышел к солнцу бонг шунг
темно-розовыми цветами...

СУАН ХОАНГ

Порт Донг-хой

Ты идешь по маленькой улице,
пальмы сумрак над ней качают.
В порт под вечер ворвался ветер,
ночь становится холодней.
На давно разрушенной улице
только взгляд мой тебя встречает,
но теплеет лента дороги
от фигурки быстрой твоей.

Я сейчас не просто люблю тебя,
а особенно сильно, нежно:
Ведь на этой маленькой улице
зародилась наша любовь.
На давно разрушенной улице
не убита наша надежда,
и сердца наши первой памятью
могут здесь насладиться вновь!

На давно разрушенной улице
сколько прячет темень ночная!
Были ночи благоуханны,
удивительны и тихи...

---

* Цветы бонг шунг похожи на лотос.

Силуэт твой на фоне моря,
как тогда — подойди, родная!
На плече твоем засыпают
эти ласковые стихи.

Перевод ОЛЕГА ДМИТРИЕВА

НГУЕН ДИНЬ ТХИ

Люди Фу-Лоя

Слезы бегут, как бежит огонь.
Время смыкает круг.
И мчится клич, как встревоженный конь,
Сквозь царство мертвых, на Юг.

Это мы к братьям взываем своим.
Их прячет колючий кордон.
Над Родиной нашей стелется дым,
Как черная стая ворон.

Братья и сестры! Вы храбро дрались.
Скажите, который уж год
Едите с известкою смешанный рис
И пьете воду болот?

Железная крыша раскалена.
Украдено небо у вас.
Скрывает глухая — без окон — стена
Деревья от ваших глаз.

И тело ваше снедает жара,
И мучает тошнота...
И нету жизни, и нету добра,
Ни проблеска — темнота!

Но каждая капля крови — звезда!
Немеркнущая звезда.
И вы не умрете уже никогда,
Братья мои, никогда!

И каждая поднятая рука,
Как знамя, вознесена,
Колышется, словно от ветерка,
От каждого вздоха она.

О горе, терзающее сердца,
Дай силы бороться и жить!
Дай силы вблизи огня и свинца
Товарища заслонить!

Здесь беспартийный и коммунист
Под дулом одним стоят.
И янки оружье склоняет вниз
И вниз опускает взгляд.

Но тысяча наших друзей и подруг
От яда умолкли навек,
Пять тысяч восстали, и вздрогнул Юг,
Как вздрагивает человек.

Поднялся народ, в гневе един,
И гнев над врагами занес.
И в горсти риса, который едим,
Есть привкус яда и слез.

И голос ребенка, и милой рука
От острой беды не спасут...
Как сможем мы спать, не свершится пока
Над янки праведный суд?

Отныне мы станем работать вдвойне,
Как в домне огонь, гореть,
И будет в расплавленном чугуне
Ненависть наша зреть!

Пока с земли, покрытой золой,
Не сгинет последний бандит,
Дыханье людей, что узнали Фу-Лой,
В нашей груди кипит.

Помню

О ком вспоминаете, звезды, мерцая так поутру,
дорогу бойцу освещая за облачный перевал?
Огонь, ты бойцов вспоминаешь? Ты их сердца согревал
под сенью родного леса, продрогшего на ветру.

Люблю я тебя так нежно! Люблю, как родную страну,
как вечную, юную землю, израненную врагом.
Люблю! О тебе вспоминаю, как ни о ком другом,
в пути ли, на кратком привале — лишь только думать начну.

И звезды вовек не погаснут над общею нашей судьбой.
Мы любим друг друга, сражаясь за нашу любовь и за честь.
Пусть пляшет огонь на свободе! Мы люди. Такие, как есть.
Гордимся людьми быть, гордимся всегда оставаться собой.

НГУЕН СУАН ШАНЬ

Я в доме Маяковского

Я в доме Маяковского. Снега
сиреневым отсвечивают цветом,
и зимний сад под солнцем фиолетов,
и облака копнятся, как стога.

Я в крошечную комнату вхожу,
и здесь легко звучат воспоминанья.
Поэт давно ушел. Его дыханье
я ощущаю и за ним слежу.

Вот на столе последний черновик.
И ручка, и зеленые чернила.
И, кажется, бумага сохранила
тепло его души. И вот возник

чеканный стих, как будто в первый раз.
И Ленин ожил в музыке поэмы,
открылась даль, и расступились стены
перед прищуром ясных его глаз...

Пусть тридцать лет прошло. Но как звучит
поэта голос! В нем все та же сила,
и время бас его не заглушило,
а только все быстрей, быстрее мчит.

А над Москвою чистый-чистый свет.
И я молчу, высокой думой полон,
и движутся стихи, как будто волны,
и маленький качают кабинет.

Перевод Н. ЗЛОТНИКОВА

АНЬ ТХО

Голос гонга

Памяти товарища Мау из третьего отдела г. Хайфона

Гонг... Гонг...
Время не ждет.
Секунда так дорога.
Гонг... Гонг...
Снова налет.
Опереди врага!

Рядом с тобой
тихий прибой,
люди толпой бегут.
Возле шоссе
замерли все —
слышен зловещий гул.

Гонг... Гонг...
Бомбы свистят.
Секунда так дорога.
Гонг... Гонг...
Звонкий набат,
опереди врага!

Счет не открыт.
Пушки — в зенит!
В бой, ополченье, в бой!
Детям пора
вниз, в бункера.
Берег гремит пальбой.

Знойно в порту.
Горечь во рту.
Бомбы! Ну и налет!
Солнце вдали
и корабли:
утренний мир цветет.

Гонг... Гонг...
Мау, ложись!
Осколок впился в плечо.
Гонг... Гонг...
Покуда есть жизнь —
гонга удар еще.

Напрасно бежит санитар сюда,
уже не успеет он.
Сливаются сердца последний удар
и гонга последний звон.

В красных цветах город Хайфон,
люблю его красоту.
Гомон веселый со всех сторон
и корабли в порту.

Велосипедов легкий разгон,
влажный и нежный май.
Но есть еще — гонг, гонг, гонг —
сердце товарища Мау.

ТИНЬ ХЫУ

Керосиновые фонари

Где застанет нас
боевой приказ,
от одной зари
до другой зари
не смыкают глаз,
не смыкают глаз
керосиновые фонари.
Двадцать лет в пути!
Мы идем, спеша.
Двадцать лет,

как нет
для бойцов ночей,
и не гаснут,
бессмертные, как душа,
фонари,
распуская цветок лучей.

Наш военный шаг,
партизанский бег,
будут вновь и вновь
торопить они:
на тропинках гор
и над гладью рек
фонарей огни,
фонарей огни.
Мы идем
гуськом,
Мы идем
гуськом,
мы идем
гуськом
за мерцающим огоньком.

ТХАНЬ ХАЙ (Южный Вьетнам)

Вы уже взлетели!

Вы взлетели, взлетели впервые
в небо,
братья мои дорогие!
Черноглазые наши ребята,
наконец-то вы стали крылаты.
Расскажите, что стоило нервам
ожидать перед вылетом первым:
враг бомбил и больницы и ясли,
по неделям пожары не гасли,
вашим небом владели пираты...
Но отныне вы тоже крылаты!

Наглотались вы дыма и пепла,
но отчизна в сраженьях окрепла.
Этот день — исторический прямо:
авиация есть у Вьетнама!

Вам видна из-под тучи, оттуда,
вся страна — наше светлое чудо —
реки, горы, поля и долины
и сады, где цветут апельсины.
Ну, теперь не робейте, ребята,
настигайте и бейте пирата,
защищая родную округу,
вы поможете также и Югу.

Сыновья батраков и шахтеров
на машинах и верткнх и скорых,
ваши матери только мечтали,
чтоб их дети под солнце взлетали!
Здесь, укрытые джунглями Юга,
мы сейчас поздравляем друг друга:
мы услышали, как затрубили
реактивные ваши турбины.
Через все расстоянья и тучи
слышим Родины голос могучий.

Знаю, братья, вопрос мой поймете:
только ль ненависть в вашем полете?
Нет! Поют боевые турбины,
что для нас Юг и Север едины.
Вы взлетели, взлетели впервые
в небо,
братья мои дорогие.
Дети Севера!
В синем зените
поздравления Юга примите!

Перевод Евг. ДОЛМАТОВСКОГО

ГЕРМАН КАНТ

АКТОВЫЙ ЗАЛ

РОМАН

Перевод с немецкого
А. ИСАЕВОЙ и И. КАРИНЦЕВОЙ

День нынешний
есть результат вчерашнего.
Следует уяснить себе,
чего желал тот,
если хочешь понять,
чего желает этот:

Генрих Гейне

Человек сидит за пишущей машинкой, курит запоем, сдувает пылинки с клавиш, откусывает яблоко и вспоминает Шиллера, тупо глядит на нетронутый лист бумаги, потом на часы, счищает с литеры «а» краску, закуривает очередную сигарету — и все это называет работой.

Он подкарауливает мысль.

Мысль выглянула из-за угла, немного помедлила, но в конце концов подобралась ближе.

Вот она уже совсем рядом!

Еще один-единственный шаг, крошечный шаг — и ловушка захлопнется, мысль будет поймана, и он отстукает ее на бумаге.

В это утро Роберт Исваль почти два часа подкарауливал первую добычу. Он не проявлял нетерпения, но, уловив ее, все-таки обрадовался. Начало всегда самое трудное, и оно наконец пришло.

Вдруг позвонили в дверь. На коврике в коридоре лежал желтый конверт с красным почтовым штемпелем — рожком с молниями.

Роберт Исваль терпеть не мог телеграмм. Он не помнил ни одной, сообщавшей что-либо приятное. Незваные гости, грозные предупреждения, внезапная смерть — все, что нагоняло страх, узнавалось из телеграмм.

Роберт прочел:

«По окончании семестра намечено закрытие РКФ тчк Запланирован торжественный вечер тчк Сообщи возможность выступления тчк Мейбаум тчк Директор».

В этом весь Мейбаум. Посылает зимой телеграмму о том, что в конце семестра надо произнести речь. Через полгода. Нет чтобы написать обыкновенное письмо. Только телеграммы. Это производит впечатление.

По окончании семестра. Йохен Мейбаум полагает, верно, что Роберт Исваль всю весну и все лето промучается над составлением речи, чтобы

как положено затянуть торжественный вечер. А вообще стоило бы над ней поразмыслить, подумал Роберт, было бы только время. При условии, что присутствующие не пожалеют своего времени, чтобы выслушать. И он представил себе эту сцену: он стоит за празднично украшенной кафедрой, склонившись над пухлой рукописью, сплошь исписанной примерно такими фразами: «Прежде чем закончить вступительные замечания и обратиться к первому основному пункту, мне бы хотелось добавить к упомянутым мною положениям Песталоцци о становлении личности еще несколько примечаний...»

Он видел перед собой актовый зал, и в первых рядах на золоченых стульях заслуженных деятелей университета, его превосходительство ректора и их превосходительств деканов в отливающих матовым блеском мантиях со златыми цепями на груди и беретами на коленях или уже под ногами; они тщетно пытаются бороться со сном, придавая своему взгляду высокомерное выражение, и он слышал свой громоподобный голос: «Здесь, в этом величественном зале, с его роскошью позднего барокко, бессмертном творении профессора математики Андреаса Майера, здесь, в этом зале, одном из немногих сохранившихся шедевров архитектуры некогда столь богатого ганзейского севера, среди искусно украшенных стен, в нишах которых,— и тут я процитирую ученого-библиотекариуса Денерта,— «в нишах которых стоят бюсты четырех прославленных герцогов: Вартислава IX, основавшего сию академию, Филиппа I, поднявшего ее вновь после упадка, Эрнста Людвига, создавшего первую коллегию, и Богислава XIV, чьим щедрым дотациям академия обязана своим благоденствием», здесь, в бывшей библиотеке и нынешнем актовом зале, именно здесь и произошло...»

Да, так что же здесь произошло? Происходило ли в этом зале с галереей когда-либо что-либо такое, о чем стоит упомянуть в речи, которую жаждет услышать Мейбаум,— что-либо такое, что устанавливает связь между дорогостоящим тщеславием герцогов фон Поммерн-Вольгаст и фактом закрытия РКФ в конце семестра?

Роберт помнил одно: из-за этого архитектурно-математического шедевра господина Майера он чуть не сбежал из древнего университетского города прежде, чем началась первая лекция.

Трулезанд, поглядев на здание университета, заявил:

— Смахивает на замок, где мы как-то ремонтировали крышу.

Они взобрались по широкой лестнице и перед дверью, на которой вычурными буквами было выведено: «Aula» *, немного помедлили. Трулезанд попытался разобраться в этом слове:

— А́ула. Не знаю такой. Вот а́улы — знаю.— Но заглянув внутрь, испуганно пропел: — Поги-и-ибли наши головушки'

Роберт хотел было тут же повернуть назад.

— Они, видать, что-то напутали,— сказал он,— объявили здесь рабоче-крестьянский факультет, а ты погляди-ка! Да сюда разве что на коне с золотыми стременами въезжать, и прямо к трону, а на нем сидит королева и швыряет в тебя розы.

Трулезанду это понравилось.

— А ты со своей верхотуры, с коня этого, заглядываешь ей за вырез, и голова у тебя идет кругом, ну, а пажи подхватывают тебя и дают отхлебнуть некару, потому как для них это дело привычное.

— Нектару,— поправил Роберт,— а теперь пошли отсюда, это какая-то ошибка, в таком дворце нам явно делать нечего.

Они купили жидкого пива и стали обсуждать, не лучше ли попросту вернуться домой, и только страх — в этом оба признались друг другу,—

---

* Aula — актовый зал *(лат.)*.

что дома их засмеют, удержал их. И еще кое-что, о чем сказал Трулезанд:

— А что, если все по-другому: входим мы с тобой, рыцарей там всяких побоку, позвольте, позвольте, разрешите представиться — Исваль и Трулезанд, электромонтер и плотник, и ты подлетаешь к королеве, не сходить ли нам, дескать, в кино «Мы из Кронштадта» поглядеть. Ну, что?

Вот как должно это быть, как при штурме Зимнего, со штыками и криком «ур-ра!». Они видели себя верхом на огромных скрипящих воротах, грудь крест-накрест перехвачена пулеметными лентами, на бескозырках горят красные банты. Вот как должно это быть. Только так, только штурмом!

Роберт Исваль соображал, можно ли сказать об этом в речи. Сказать-то, конечно, можно, только ни один человек не поймет. Пожилые господа поглядят с недоумением, а студенты отметят, что все очкарики времен грюндерства легко впадают в героическую романтику. Впрочем. Роберт с ними совершенно согласен; он и сам не терпит, когда старики твердят: «А вот в наше время...» Кажется, будто они хвалятся, что теперь больше не мочат штанишки, но, ах, какая была прекрасная пора, когда они это делали — прекрасная, но трудная пора; последнее обстоятельство, прежде всего, не должны забывать те, кто ныне, благодаря усилиям предшествующего поколения, появляются на свет сразу чистенькими. Речи подобного рода всегда признак старческого маразма — то ли отдельной личности, то ли целого поколения. И побудить они ни к чему не могут.

И все-таки подобный приговор не совсем справедлив. Роберт это чувствовал; эффектно, как сожжение мостов, но точно так же опасно. Нельзя обрести будущее без прошедшего; это азбучная истина, не требующая доказательств. Все зависит от того — *как*: как говорить о прошедшем с людьми, для которых оно давно прошедшее? Может быть, говорить лишь о светлых минутах, о блестящих успехах, которые тоже ведь были?

Тогда останется лишь дополнить лирические рассуждения о великолепном творении Андреаса Майера описанием трогательного события. Он вспомнил о нем с гордостью: «...именно здесь одного из нас подняли на щит, и хоть был он далеко не воин, но прошел через тысячу битв!»

Вот как надо было бы выступить. А что, разве они и правда не подняли его, Роберта, ну, если не на щит, то на плечи, и не подкидывали в воздух на глазах у его превосходительства ректора и представителей власти — вверх, до бюстов четырех прославленных герцогов? Впоследствии он утверждал, что побеседовал с глазу на глаз с одним из лакированных ангелочков на плафоне и даже показал ему язык. Да, да, все так и было, и всю торжественность, навеянную речью директора, торжественность, которую одобрили бы даже сам Богислав и сам Вартислав, как ветром сдуло, когда его стали подбрасывать в воздух. Тут еще на беду очки у него съехали, а руками пришлось прижимать к груди премию — Гёте и Шекспира в издании Филипп Реклам-младшего, ни мало, ни много — четырнадцать томиков.

Рассказать-то, конечно, все можно, но, пожалуй, еще сочтут, что он хвастает, да и Мейбауму не понравится. Премии с тех пор стали выдавать куда скромнее, а ссылка на исключение, сделанное для Исваля, вряд ли помогла бы Йохену Мейбауму.

Впрочем, может, обо всем этом и следует рассказать хотя бы ради историй о том, как он читал классиков. Они пригодны для любого празднества подобного рода. «С Гёте и Шекспиром, вообще-то, у меня чудно получилось,— можно было бы сказать.— Я их уже читал: Шекспира — в плену, а Гёте когда-то в незапамятные времена. В плену мне пришлось как-то работать на складе продовольственного магазина. Вскрывать боч-

ки с сельдями, таскать мешки с сахаром, расфасовывать товары — муку, соль, крупу, горох, по килограмму, по два. И вскоре я так наловчился, что даже пакеты на весы не ставил — зачерпнешь совком, и точный вес. Думаю, в таком чувстве меры есть какой-то психологический фокус, может, условный рефлекс, не знаю. Там же, в подвале, стояли шесть огромных ящиков с книгами. Четыре из них я прочел, сверху и до самого дна. В одном лежал Шекспир. Так я впервые встретился с Фальстафом и Гамлетом и с кровавыми королями. Ящики эти стояли среди других, где хранилось американское сало, испанское вино и греческий чернослив — дары ЮННРА разоренной Польше. Не стану утверждать, что не притронулся к салу и вину, но самым для меня главным в этом подвале были все-таки книги. В тюремную камеру, куда меня поместили как военнопленного, я каждый вечер проносил один том, а тюремщик, делая обход, приводил с собой двух служителей с носилками — для книг Исваля. Я жил в постоянной тревоге, что тюремщик появится прежде, чем я доберусь до конца, но это случилось лишь один раз, с Ричардом III; прошло не меньше пяти лет, прежде чем я прочел четвертую сцену пятого акта.

А с Гёте я познакомился, еще когда был учеником электротехника. Любому электрику наверняка случалось работать в доме, где грязи по колено. И все же, думаю, другой такой грязной квартиры, как та, с Гёте, не сыщешь. Во всяком случае, я себе этого не представляю. Квартира была мерзкая, и я забастовал. Уселся на стремянку и жду мастера Отсюда, с верхотуры, я разглядел на одном из шкафов стопку книг, покрытую толстым слоем пыли. Одну книжицу я обчистил от паутины и вечером уже читал «Фауста», первую часть. Владелец квартиры, бедолага, бухгалтер с высшим образованием, женился на старшей дочери хозяина, а та, как он мне рассказал, со дня свадьбы палец о палец не ударила. Женаты они были уже лет двадцать. На другой вечер мы с бухгалтером завели разговор о Фаусте, точнее сказать, он честно старался отвечать на мои наивные вопросы. Меня ведь в ту пору больше интересовало, как это в театре устраивают небо да как получается с бочкой в ауэрбаховском кабачке. И все же книг и такого разговора оказалось достаточно, чтобы разбудить во мне любопытство к миру, о котором до тех пор я и слыхом не слыхал».

Роберту этот отрывок его речи понравился, он только не уверен был, поймут ли его слушатели. Ведь если и принято в подобных речах говорить о Гёте и Шекспире, то уж во всяком случае не в таком аспекте. Лишь очень старые или очень преуспевающие люди могут позволить себе столь субъективное отношение к прошлому и к самим себе. Воспоминания человека молодого — в этом есть что-то комичное и нескромное; юности свойственны желания, надежды и планы, а не подведение итогов.

Вздор, подумал Роберт, при чем тут итоги, просто я припомнил две-три истории, которые мог бы рассказать. Рассказываю же я их при случае друзьям, и никто не находит это странным. Хотя, конечно, есть существенная разница. Одно дело, если я говорю приятелю: послушай, когда я... Он меня слушает, ведь я его друг, у нас с ним много общего, я как бы частица его самого. А что получится, если я обращусь к посторонним? Им надо преподносить занятные истории, а не себя самого — такие истории, чтобы они оказались занятными, кто бы их ни рассказал.

Прекрасно, превосходно, только вот как бы не перепутать всеобщие и объективные ценности с мелкими личными воспоминаниями? Хорошо бы иметь специальный аппарат, скажем, типометр, кибернетический, с микрофоном и шкалой: левая сторона красная — для типичных примеров, достойных внимания слушателей, правая синяя — для индивидуалистического мусора. Садишься к микрофону и читаешь в него все

задуманное, а когда кончишь, в аппарате что-то звякнет-брякнет — это он учитывает кое-какие обстоятельства: время и место действия, обстановку вообще и в частности, новейшие достижения науки, и если стрелка качнется вправо, на синюю сторону, значит бросай свою историю в корзинку.

Роберт Исваль постучал себя пальцем по лбу и заложил в машинку чистый лист. Вот он, твой типометр, лист бумаги и голова, ничего другого пока в наличии не имеется. Так на чем же мы остановились? Ага, на историях с книгами. Да, о них можно долго рассказывать. О Маргарет Митчелл и о «Книге ужасов», к примеру. Никто, можешь быть уверен, не читал с таким вниманием «Книгу ужасов» и «Унесенные ветром», как ты.

Роберт даже помнил наизусть первую строчку этого тысячелистного романа о гражданской войне в Америке: «Скарлет О'Хара нельзя было назвать красавицей». Но особенно запомнился ему вес книги. Он читал ее стоя. От первых веселых страниц до слезливого конца выстоял он на табуретке под единственной подслеповатой лампочкой, горевшей по ночам в огромном бараке. Днем о книге нечего было и думать — ее читали повара, сапожники, парикмахеры. Вот ночью — пожалуйста, главное вернуть ее к утру. Роберт работал тогда на берегу Вислы, грузил лопатой речной гравий на баржу. Он двигался точно в полусне. Не раз и не два решал он, что не станет читать в следующую ночь, и все же, только погасят свет, залезал на табуретку под ночником и бросался в битву Севера с Югом. «Книгу ужасов» он тоже читал по ночам в первый год плена, год грязи и эпидемий. Тиф и воспаление легких, голод и дизентерия сделали то, чего не смогли сделать пули и пожары. Чесотка, распространившаяся в лагере, была еще наименьшим злом. Тысячи людей страдали от нее, для врачей она была делом привычным, да и Роберт Исваль, заразившись, ничуть не удивился. Бывали болезни и похуже. Но санитар, к которому попал Роберт, принял его болезнь за иную, куда более опасную. Роберт понял это, очутившись в особом бараке, где несколько сот подстреленных Амуром рыцарей с поразительным единодушием поносили своих последних возлюбленных. Когда же Роберт на вопрос соседа по нарам заявил, что у него чесотка, вокруг раздался злобный хохот. Сосед, двинув его локтем в живот, восторженно взревел:

— Надейся, голубчик, надейся!

Чтобы избежать опасного соседства, Роберт улегся за бараком прямо на песок. И сразу же согласился дежурить, когда вызвали добровольцев на пожарный пост. На столике, за которым ему предстояло провести ночь, коптила керосиновая лампа, а рядом лежала «Книга ужасов»— днем от нее не мог оторваться санитар.

Роберт, обмотав пальцы краем спецовки и торопливо перелистывая страницы, читал историю восточного принца, приказавшего зашить своему пленному сопернику живую крысу в живот.

Даже читая эту книгу в качалке на солнечной террасе, Роберт содрогнулся бы от ужаса, а ведь он был заключенный, ночной дежурный у коптящей керосиновой лампы, и сидел в низком бараке, где духота была — хоть топор вешай, и человек сто больных метались в жару. Одни бредили, другие стонали и всхлипывали во сне от страха, пока сосед, обозлившись, не давал в зубы. Откуда-то из угла к Роберту подполз на коленях старик и попросил его с ним помолиться. Он принял «Книгу ужасов» за Библию и все тянулся, чтобы ее поцеловать. Он хотел и Роберта поцеловать, тогда Роберт не нашел ничего лучшего, как трахнуть его по голове этим собранием ужасов. Из заразного барака Роберта вызволила на следующий день врачебная комиссия.

Абсурдной была самая мысль рассказать об этом на торжественном вечере. Это ясно и без всякого типометра. О таком можно упомянуть

разве что в кругу друзей за бутылкой водки, да и то, если бутылка уже наполовину пуста.

А историю с романом Маргарет Митчелл тоже невозможно рассказать. Хотя сама по себе она вполне приемлема. Молодой, заблуждающийся немец за колючей проволокой потрясен явившимся ему чудом литературы. Обуреваемый жаждой образования, он ночами стоя читает тяжеленную книгу и губит при этом зрение. Да, это уже нечто, тут уже есть что-то от spiritus litteraris *, такая история могла бы воодушевить и слушателей, способствовать их эстетическому воспитанию. Безусловно могла бы. Только для этого нужна другая книга, и уж во всяком случае не погребальная песнь южноамериканскому феодализму. У Скарлет О'Хара зеленые глаза без единого коричневого пятнышка и медно-красные волосы? Прелестно, но не дочь ли она помещика-рабовладельца? А стало быть, паразитка?

Нет, эта история тоже не годится для мейбаумовского празднества в честь последних выпускников рабоче-крестьянского факультета. Если бы не «Унесенные ветром», а, скажем, «Буря» Ильи Эренбурга или что другое с прогрессивными веяниями, тогда бы еще куда ни шло, тогда... но так, нет, не пойдет, товарищ!

Роберт Исваль давно уже понял, что Мейбаум не зря прислал свою заявку задолго до срока, хотя все-таки телеграмма — явный перегиб директора. Разумеется, несмотря на ряд уже наметившихся трудностей, речь эта не требует полугодовой работы, пока достаточно время от времени думать о ней. Но написать ее надо, это дело чести, она должна быть на уровне. Вот, стало быть, еще одно тягостное побочное поручение; нет, антипатия к телеграммам не такая уж причуда.

Роберт прикрепил бумажку с телеграфными полосками к плетеному коврику на стене над своим письменным столом. Под портретом Хемингуэя, между запиской «Сберкасса. Постоянное поручение — деньги за свет!» и открыткой из Камеруна еще оставалось место. Хемингуэй! Вот бы Мейбаум узнал: его телеграмма под Хемингуэем. Он счел бы это чем-то вроде идеологического сосуществования.

На коврике — пропасть напоминаний: «Отзыв на «Ойленшпигель» до 12-го». «Позаботиться о гараже». «Когда ты сходишь с сыном к врачу? Жена». «Выяснить с В. амурные делишки! До заседания руководства!». «Господин Исваль, кто-то звонил, машина готова. С уважением, фрау Зельтер».

Там же огромной самшитовой прищепкой, на которой выведено «Срочно!», зажата одна-единственная записка с номером телефона, хотя дело давно улажено. Коврик куда лучше, вся поверхность просматривается, правда, не им одним. Жена, хоть и не страдает, по ее словам, любопытством и не вмешивается, тоже по ее словам, в его личные дела, все-таки поинтересовалась, что за амурные делишки предстоит ему выяснить и кто такая В.

— А-а, вопрос о кадрах,— ответил он,— тебе не интересно, а В. ты все равно, надеюсь, не знаешь. Парень зарвался, и мне придется намылить ему шею — указание руководства.

— Жаль,— заметила жена,— жаль, что одна известная пословица звучит в данном случае столь двусмысленно, а то бы я сказала: пусти козла в огород.

Если бы не работа, все эти задания можно бы выполнить играючи. «Слушай, старик,— говорят ему часто,— журналистика вообще-то дело несерьезное, а ты вдобавок нигде и в штате не состоишь. Эх, брат, мне бы твое время! Ну как, берешь поручение?».

Чаще всего он брал; проводил собрание или беседу, выступал, дер-

---

* Дух литературы *(лат.)*.

жал речь. Вот и речь-то придется держать ему в конце семестра, и в этом ее немалое достоинство, это заметно отличает ее от других заданий, напоминания о которых висят на коврике: она хоть и заказана с обычной поспешностью и настойчивостью, но прозвучать должна еще очень и очень не скоро, где-то в весьма отдаленном будущем.

— А эта толстая книга тебе к лицу,— заметила Вера,— с ней ты внушаешь доверие. Что это?

Роберт поднял тяжелый том, и Вера прочла:

— «История университета»? Будешь что-нибудь писать?

— Пока читаю из чисто научного интереса,— ответил Роберт,— но потом мне придется выступить с речью о РКФ, правда, еще не скоро.

— Неужели они хотят закрыть факультет?

— Кто их знает, все может быть.

— Я пошла спать,— сказала Вера,— а вообще-то жаль, если его закроют.

— С исторической точки зрения он свою задачу выполнил,— пробормотал Роберт.

— А не с исторической? — спросила Вера, стягивая через голову свитер, и застыла в таком положении.

— Глупый вопрос. На подобные вещи нельзя смотреть не с исторической точки зрения.

— А тогда почему ты подчеркиваешь — «с исторической»?

Роберт, отложив книгу, сказал:

— Комплимент за комплимент: тебе очень к лицу стоять вот так, без головы. Ну, а если серьезно, то не такой уж это глупый вопрос. РКФ можно рассматривать и не исторически.

— А ну, давай,— сказала Вера и, сняв свитер, выжидательно посмотрела на него.

— Ты ведь хотела спать?

Она примостилась в кресле и показала на книгу.

— Читай. Интересно, как это получается с исторической точки зрения.

Роберт торжественно начал:

— «Рабоче-крестьянский факультет был создан по знаменательному решению Германской экономической комиссии от 31 марта 1949 года...»

Продолжать он не мог, очень уж развеселилась Вера.

— Поистине прекрасно,— сказала она,— мы были созданы по решению, теперь уж ошибки быть не может. Если кто считал, что мы свалились с луны или явились плодом любви, то теперь он положен на обе лопатки. Мы созданы по решению, и к тому же знаменательному, и вдобавок по решению экономической комиссии, и все это с исторической точки зрения. С исторической точки зрения вообще все так или иначе создано по какому-нибудь решению. Рождество, например, по решению, которое чтит весь мир, и оспой мы не болеем тоже по решению о всеобщей обязательной прививке, и если...

— А ты шути, да знай меру,—сказал Роберт,—там ведь сказано, что не мы появились на свет по решению, а РКФ, да и этого там нет, а говорится об образовании РКФ, и чтобы выбить у тебя из рук оружие, должен тебе сказать, что под образованием здесь понимается совсем не то, чем ты постоянно хвастаешь. А основание, основание РКФ, его создание... нет, и создание не подходит. Итак, все-таки основание или образование его есть результат решения комиссии.

— Ание, вание, ение,— пробормотала Вера.

— Что ты говоришь?

— Решение — результат образования, образование — результат основания, а основание — результат постановления... с исторической точки зрения.

— Иди-ка лучше спать!

— И не подумаю. Хочу знать, как все было. Я требую ответа. Я — население, ты — пресса. Пресса обязана информировать население, терпеливо и доказательно.

Роберт вскочил и, точно веревкой, стянул у нее на шее рукава свитера.

— Был уже случай, когда репортер удавил свою жену, чтобы дать на следующий день материал в номер. Суд, правда, не счел причину уважительной. Но у меня будет уважительная причина, бог свидетель.

— А он явится по повестке?

Не успела она прикрыть за собой дверь, как Роберт крикнул ей вслед:

— Слушай-ка, а нам и правда туго приходилось?

— Ты про что? Ах, вот ты о чем, не знаю. По-моему, было весело. Помнишь, мне надо было укоротить твои СНМовские шорты, а ты не желал их снимать?

— СНМовские шорты? Вздор! Они наверняка назывались «укороченные брюки для членов Союза молодежи». Но неужели ты воображаешь, что я выйду на трибуну и возвещу: «Когда мы, члены Союза свободной немецкой молодежи, получили новые штаны...»

— Нет,— ответила Вера, и слышно было, что она уже засыпает,— об этом говорить нельзя. Говорить надо о том, что лиха беда — начало, и о людях на нашем берегу, и о том, как закалялась сталь, и о земельной реформе, которая тоже явилась по решению.

Роберт прикрыл дверь и еще раз перелистал юбилейный сборник к пятисоглетию со дня основания университета. Глава о рабоче-крестьянском факультете была в конце второго тома. Это его злило, но он твердил себе, что так оно и должно быть, ведь факультет был создан самым последним.

По случаю пятисотлетнего юбилея речь об РКФ шла на семи широкоформатных страницах, и Роберт спрашивал себя: сколько же места отведут факультету, когда наступит тысячелетний юбилей? РКФ просуществовал двадцать шесть семестров — всего каких-то несчастных тринадцать лет; что это за срок для тысячелетнего альманаха? Проглядывая содержание, Роберт наткнулся на главу под названием: «Пятьсот лет математики в нашем университете». Он открыл книгу и убедился, что статья занимает ровно три страницы, если не считать портрета какого-то бородатого господина. Шесть столбцов на пятьсот лет развития науки о числах и объемах — более чем скромно; с этим мог справиться только мастер кратких и четких формулировок. Но, к величайшему удивлению Роберта, автор пятисотлетнего итога умудрился напичкать свою статью пространными анекдотами. В одном речь шла о Галилее: «Опираясь на Данте, он для начала установил местонахождение и общие очертания ада. Вычертив вокруг Иерусалима окружность радиусом в $^1/_{12}$ периметра земли, или в 3333 км, и на ней построив конус, острие которого упиралось в центр земли, он тем самым определил местонахождение ада. Вслед за тем Галилей попытался вычислить рост князя тьмы. Так как Данте был ростом всего в три локтя, то Люцифер соответственно обладал внушительной величиной в 2000 локтей». И автор добавлял: «Достойно внимания, что всю эту чепуху зрелый Галилей отверг, как глупость двадцатичетырехлетнего юнца».

Замечательно, оценил Роберт как журналист, для которого самое трудное — укладываться в определенное количество строк, то мастер-

ство, с каким автор увязал лаконизм целого и подробности частного; эх, математику надо было изучать, а не германистику!

Краткость математика слегка приглушила его порыв, а всего секунду назад он готов был возмутиться незначительным объемом истории РКФ. К тому же в статье не был поставлен главный вопрос: о пользе для науки этих двадцати шести семестров РКФ. А вот математики, как он успел заметить, ссылались на одного из своих собратьев, благодаря которому получили формулу, в принципе открывающую возможность «так разложить солнце, что, собранное заново, оно оказалось бы величиной с горошину».

— Нет, не годится так ставить вопрос,— громко сказал Роберт и тут заметил, что пора спать и ему.— Нельзя валить в одну кучу рабоче-крестьянский факультет и Институт математики. Статейка эта вообще ничего не значит, а тем более количество строк в ней.

Раздеваясь, он твердил себе: «Хватит, кончай!» Но проблема уже вырисовывалась, и попытка Роберта сосредоточиться при чистке зубов на тексте «Белизна. Витаминизированная зубная паста» была просто смешна. Он стойко сопротивлялся, пока не улегся в постель и не закурил последнюю сигарету, «контрабандную», как называла ее Вера.

Стало быть, думал он, сдаваясь, как определить пользу РКФ для науки, чем измерить ее, эту пользу, кто сумеет ее проконтролировать, кто будет ее контролировать, а если кто и проделает все это, то кого это вообще заинтересует? По сути, праздные размышления. Никто не ожидает услышать в его речи на торжественном собрании ответ на поставленные вопросы. Исторический анализ, разумеется,— прерогатива директора, а Йохен Мейбаум уж постарается: «На всех факультетах, во всех институтах, в академиях и промышленных лабораториях, на руководящих постах в государственных учреждениях и общественных организациях, в армии и в области культуры трудятся ныне выпускники рабоче-крестьянского факультета, показывая...»

Пусть, это сказать нужно, и это произведет впечатление и нынче и завтра; ну, а как послезавтра, когда историю университета будут писать к тысячелетнему юбилею?

В октябре 2456 года люди прочтут, что пятьсот семь лет назад в университете был открыт факультет для рабочих, крестьян и их детей, чтобы установить давно уже исторически необходимое равенство. Им будет, пожалуй, трудно даже представить себе, что это были за различия в те незапамятные времена и почему же рабочие и крестьяне, чтобы стать врачами и физиками, должны были овладеть бóльшим объемом общих познаний, чем обычно обладали рабочие и крестьяне. Так поймут ли они, что означало создание такого факультета?

Когда же они прочтут, что такой диковинный организм существовал всего тринадцать лет, а затем был упразднен, ибо выполнил свою задачу,— произведет ли это на них впечатление? Вряд ли, ибо что значат — с исторической точки зрения — тринадцать лет?

Вздор, подумал Роберт. Таким способом можно любое деяние, кое-что изменившее на этой планете, свести к нулю. Такая точка зрения не имеет ничего общего с исторической. Ловкими трюками можно и солнце превратить в горошину, спрашивается только, кому нужна горошина вместо солнца.

И если продолжать философствовать в этом духе, то можно, пожалуй, прийти к выводу, что телеграмма Йохена Мейбаума пришла слишком поздно.

Разошлю-ка я открытки, подумал Роберт, и сразу почувствовал, как у него отлегло от сердца. И напишу: «Телеграмм не посылать», или «От телеграмм прошу воздержаться», или еще лучше «Отправление телеграмм согласно решению, ению, ению...»

— Подбросишь меня? — спросила Вера, и Роберту пришлось встать.

Вера задавала этот вопрос каждое утро таким тоном, словно он мог ответить «нет».

Она выигрывала на этом лишних тридцать минут сна, а он — уйму рабочего времени.

Когда Роберт слышал, что кто-то завидует якобы праздной жизни людей свободных профессий, он приходил в неистовство: вот как представляет себе филистер свободу — дрыхнуть до обеда. Он, например, каждый день встает точно без десяти семь, железно! Почему именно без десяти семь? О, конечно можно было бы вставать и без одиннадцати семь или в девять минут восьмого, но он решил для себя твердо — без десяти. В том-то как раз и сказывается преимущество свободы, что можно установить добровольно: без десяти семь.

Вере надо в половине восьмого быть в глазной клинике, и если он встает без десяти семь, то успевает подбросить ее на работу.

Клиника была расположена на уродливой улочке за каналом. Особенно уныло выглядело здание в дождливую погоду.

— Пустяки,— не реже раза в неделю говорил Роберт,— вашим подслеповатым пациентам все равно!

В это утро он сказал:

— Как мне раньше не пришло в голову! Ваш домишко точь-в-точь как тот на Рейбенштрассе, где мы вступительные сдавали. Ты не находишь?

— А ты, кажется, здорово завелся,— ответила Вера.— Ну, мне пора. Привет!

Роберт видел, как привратник открыл ей дверь, и слышал, как тот поздоровался: «Доброе утро, фрау доктор!»

В те времена привратники ей двери не открывали, это уж точно. И ему тоже. Он тогда довольно долго околачивался у подъезда и разглядывал входивших, пытаясь оценить, может ли с ними состязаться. Большинство было куда моложе, и все выглядели чертовски интеллигентными. Убедившись, что шансов у него никаких, он пошел следом за всеми.

В большой комнате, смахивающей на класс, Роберт уселся в самом последнем ряду. Он яростно парировал любопытные взгляды и злился, что не принес портфеля, как остальные.

Но вот в зал вошел пожилой господин, и все застучали костяшками пальцев по скамьям и затопали ногами. Роберт знал, что прежде студенты приветствовали так своих профессоров, и был немало удивлен, что этот обычай сохранился. К тому же они ведь еще вовсе не студенты, а рабочие и крестьяне, явившиеся на собеседование.

Пожилой господин положил свой берет на кафедру и сказал:

— Друзья мои, за работу. Однако прежде, чем мы с божьей помощью углубимся в наш материал, мне хотелось бы довести до вашего сведения несколько замечаний, которые могут пригодиться вам впоследствии. Кандидат Визе подал мне работу о некоторых особенностях религиозной жизни Израиля в восьмом веке до рождества Христова, изложенных по книгам пророков Амоса, Осии и Михея. Я заручился согласием господина Визе на сие публичное заявление и желал бы из педагогических соображений прочесть некоторые выдержки из моего отзыва. Двоеточие, кавычки: «Статистических данных, правда, недостаточно, а общая картина зачастую чересчур уж заслоняет частности, но этот упрек скорее означает для студента похвалу. Аргументация, в общем-то, весьма осторожная, верна. Кое-где проскальзывают догматические взгляды, но кто же станет требовать от студента независимых исторических суждений? Работа в целом свидетельствует о любви к делу, и я буду весьма и весьма рад, ежели в этом есть и моя заслуга, ежели я пробудил ее своими лекциями о малых пророках...»

Тут Роберт окончательно понял, что ошибся. Он хотел осторожно подняться, но откидное сиденье под ним заскрипело и стукнуло о спинку. Роберт так и застыл под взглядами обернувшихся студентов. Пожилой господин сменил очки и кивнул ему.

— Подойдите ближе, друг мой, дабы я мог вас увидеть. Вы хотите нам что-то сказать? Пожалуйста, выйдите вперед.

Роберт, пробравшись вдоль зеленой стены, вышел вперед и сказал намного громче, чем хотел:

— Это ошибка. Я здесь по недоразумению. Я вовсе не собирался к малым пророкам.

Присутствующие расхохотались, и, как показалось Роберту, расхохотались отвратительно, забарабанили кулаками по скамьям, затопали ногами по полу — шум не стихал целую вечность.

Наконец пожилой господин, заклиная, воздел руки, и наступила тишина. Он спустился с кафедры и обошел вокруг Роберта.

— Солдат, сдается мне? Рыцарь с начищенными до ослепительного блеска пуговицами. Куда же вас тянет, друг мой, если не к малым пророкам? Быть может, к артиллеристам, бомбардирам? Обмундирование ваше указывает на это, но, боюсь, военных наук в нашем доме не преподают. Богу угодно было, чтобы страну нашу освободили, и теперь здесь многое не должно иметь места.

Раздался одобрительный гул, и Роберт совсем растерялся. Он оглядел свой костюм, единственный костюм, который друзья в лагере сшили ему из спального мешка ко дню освобождения. Он долго чистил медные пуговицы, прежде чем отправиться на экзамен.

— Прошу прощения,— сказал он.— Я совсем не сюда шел. Я шел сдавать приемный экзамен на рабоче-крестьянский факультет. Извините, пожалуйста.

— Редко можно встретить человека,— произнес пожилой господин и за рукав удержал Роберта, двинувшегося было к двери,— которого так тянет на экзамен. Но побудьте же, любезный рабочий — или вы любезный крестьянин? — еще немного с нами, вы здесь не такой уж чужак; пастушеское сословие нам всем очень близко, и вот, к примеру, Хазенегер на первой скамье — сын бедняка крестьянина, не так ли, Хазенегер?

Приземистый парень поднялся и подтвердил:

— Так точно, господин профессор, из Шпандоверхагена!

— Видите,— продолжал профессор,— он тоже от сохи. И наш господь, нести ученье которого мы здесь готовимся, был сыном плотника. А вы не сын ли плотника?

— Нет,— ответил Роберт,— мой отец был дворником!

— Дворником! — воскликнул профессор.— В этом есть какая-то глубокая символика, и наверняка вскорости мы прочтем в газетах: рожденный в пыли припал ныне к груди нашей матери-кормилицы! О век, о наука! Стало быть, любезный, мы были рады видеть вас у себя, однако не собираемся задерживать вас долее в вашем походе на факультет не малых, а великих пророков, зовущихся Маркс и Ленин. Счастливого пути!

Роберта под одобрительный грохот выпроводили за дверь. Очутившись в коридоре, он прочел объявление на стене: «Проф. д-р Нот, семинар по Ветхому завету» — и поспешно зашагал по темному коридору; увидев за поворотом группу молодежи, он остановился. На этот раз он будет осторожнее! Роберт сделал вид, что интересуется объявлениями на стенах, и попытался уловить, о чем говорят кругом. «Обещали сообщить...», «В математике слаб, сказал мне один там, но, я слышал, он всем так говорит...», «Откуда мне знать Шиллера, а «Колокол» я знал, и «Краснея, брел он по ее следам». Они сказали, для начала, мол, это совсем не плохо».

И тут Роберт услышал, как назвали его фамилию.

— Здесь,— ответил он, и его пропустили вперед.

— Что ж ты торчишь на задворках, если на «И» начинаешься,— сказал кто-то.— «И» уже дважды вызывали, эх, ты, раззява!

Роберт остановился:

— К «раззяве» мы еще вернемся, приятель!

— Только смотри не забудь! — успел он услышать и уже стоял перед экзаменационной комиссией.

Седой человек — его большие голубые глаза напоминали Роберту портрет Фридриха Великого, Старого Фрица,— указал ему на стул.

— Вы Роберт Исваль, не так ли? Довольно странная фамилия.

— Да,— сказал Роберт и сел.

— Повторю то,— сказал Старый Фриц,— что я уже говорил всем вашим коллегам: выражение «экзамен» в извещении, которое вы получили, подобрано не совсем удачно. Коллега Фукс, составивший текст в мое отсутствие, согласен со мной, не так ли, коллега Фукс? У нас всего-навсего собеседование. Мы интересуемся не столько вашими знаниями, сколько вашими убеждениями. Понимаете?

— Да,— ответил Роберт.

— Хорошо,— сказал Старый Фриц.— Вы человек бывалый, что явствует из вашей анкеты и автобиографии, а в двадцать три года это кое-что значит. Кстати, автобиография ваша написана весьма недурным стилем, не так ли, коллега Фукс?

Человек с заячьим лицом и усиками под носом коротко бросил:

— Не хватает тридцати двух запятых, коллега Вёльшов.

— Ну-ну,— буркнул седой и тут же дал слово более молодому преподавателю, поднявшему руку, как школьник.

Тот улыбнулся Роберту и спросил:

— Вам в лагере удалось немного изучить польский? Тогда вам, верно, нетрудно будет справиться с русским, как вы думаете?

— Ну, не знаю,— ответил Роберт.

— А как у вас обстоит с латынью? — задал кто-то вопрос, не испросив разрешения, причем таким тоном, что Роберту захотелось бегло ответить ему по латыни.

— Никак,— выпалил он,— ну, то есть, я хочу сказать, что понятия не имею о латыни.

Латинист удовлетворенно кивнул.

— Отлично. Вы, стало быть, чистый лист. Что же, на чистом листе писать удобнее.

— Это я могу подтвердить,— кивнул Роберт, и сидевший рядом с учителем русского лысый великан ухмыльнулся. Глядя на стол, он спросил:

— Сколько же вы сейчас зарабатываете?

— Нисколько. Я безработный. На прошлой неделе, когда я пришел в мастерскую, хозяина там не оказалось. На верстаке он оставил записку, что отбывает в Ганновер и может взять меня с собой.

— Ну и что же? — спросил великан.

— Да ничего,— ответил Роберт.— Что я забыл в Ганновере?

— Совершенно верно,— заметил председатель комиссии,— что вы забыли в Ганновере? Вот так и надо ставить вопрос. Но следует еще спросить: правильно ли, что такой человек, как вы, остался без дела? Конечно, нет. Нашей стране нужны рабочие руки. Но разве ей не нужны хорошие головы? Нужны, и даже очень.

— Надеюсь,— обратился лысый великан к Роберту,— что вы добиваетесь возможности стать студентом, исходя именно из этого положения.

Роберт покачал головой.

— Мне придется, я вижу, кое-что уточнить. Я вовсе ничего не добиваюсь. То есть я, конечно, хотел бы сделать попытку, во всяком случае, я заполнил анкету и написал автобиографию, но все это скорее случайно. Приятель моего теперешнего... теперешнего мужа моей матери принес мне бланк и до тех пор сидел со мной, пока я его не заполнил. Он сидел и завтракал и приговаривал, что будет завтракать, пока я не кончу. Он у нас все начисто сожрал, извините, он работает в театре...

— Методой сей не следует пренебрегать,— отозвался великан,— экономическое принуждение. У вас, действительно, веское основание для поступления к нам. А другого не было?

— Я так и так хотел из дому уйти,— ответил Роберт,— я и в народную полицию заявление подал, да вы быстрее ответили.

Тут в разговор снова включился Вёльшов.

— Полагаю, у нас нет причин быть на вас за это в обиде. Народная полиция и РКФ — это, безусловно, две равные возможности. При нашем антифашистско-демократическом порядке ликвидирована древнейшая противоположность между аппаратом государственной власти и интеллектом. Но мы все-таки рады, что получаем столь ценного слушателя. Кстати, почему вы хотите уйти из дому? Для этого есть политические причины? У вас что, наметились разногласия по вопросам мировоззрения с теперешним, по вашему выражению, мужем вашей матери? Он, верно, не понимает духа нового времени, как, впрочем, и многие другие?

Роберт угрюмо ответил:

— Нет, это наши личные дела, а вовсе не то, что вы думаете. Он ради этого нового времени шесть лет в концлагере отсидел и что ни день об этом поминает. Нет, это дела личные.

Вёльшов смущенно закашлялся, а члены комиссии обменялись взглядами. Роберт почувствовал, что отношение к нему вдруг как-то изменилось. Ему стало ясно, что он сказал нечто чудовищное.

Тогда он поднялся:

— Да, вот так оно и есть. А в коридоре еще народу много. Может, в полицию меня возьмут...

Великан обошел стол и подтолкнул Роберта к окну.

— Ну, не болтай ерунды. Согласись, что кое-чему тебе еще надо поучиться. Тебя никто не хотел обидеть. Теперь поезжай домой, а четвертого октября возвращайся. Не приедешь, я сам за тобой явлюсь. И если ты еще не станешь полицейским, я тебя доставлю сюда. Моя фамилия Рибенлам, будем знакомы. И выше голову.— Повернувшись к комиссии, он сказал: — Приедет.

Председатель с секунду помедлил, а потом подошел к Роберту и пожал ему руку.

— Итак, товарищ Исваль, мы рады, что вы не стоите в стороне в момент, когда наш народ решает поистине историческую задачу. Ждем вас к началу семестра.

Уже выходя, Роберт услышал, что кто-то сказал:

— Я не хотел вмешиваться, но математика...

Роберт вздрогнул, в стекло постучали. На тротуаре перед клиникой стоял полицейский.

— Доброе утро, уважаемый,— сказал он,— долго мы собираемся здесь стоять?

— Я не стою,— ответил Роберт,— я просто остановился: вы знаете, остановка для посадки и высадки из машины или при погрузочно-разгрузочных работах не дольше, чем на...

Но полицейский покачал головой:

— Не выйдет. Сколько я за вами наблюдаю, никакой погрузочно-разгрузочной работы не приметил. Вы, уважаемый, устроили здесь стоянку, хотите доказательств?

— Лучше не надо,— сказал Роберт,— но я, правда, только выгрузил жену.

Полицейский ткнул пальцем в вывеску.

— У нее что-нибудь с глазами? Надеюсь, ничего серьезного?

— Нет, нет. Она здесь работает, она врач. Сама лечит тех, у кого глаза болят.

— В таком случае,— сказал полицейский, немного подумав,— даю вам пять секунд.

Он взглянул на часы, и Роберт включил мотор. Влипнешь ты когда-нибудь в историю, подумал он, и уж так просто не выпутаешься. Людям с гипертрофированной фантазией не следует давать права. Но, собственно, при чем тут фантазия. Фантазия — это когда выдумываешь. А я ведь не выдумываю, я вспоминаю. Ну и вспоминай на здоровье, но не за рулем. Вот, к примеру, видишь, как тот парень затормозил? Еще чуть-чуть, и ты врезался бы ему в багажник, а потом тебя бы обвинили, что не соблюдал дистанции. Водитель, соблюдай дистанцию! Журналист, ближе к жизни! Но разве думать двадцать четыре часа в сутки о РКФ значит быть ближе к жизни? Интересно, да, но ведь в машинку заложена незаконченная рецензия на новеллу фрау Тушман «Не укради!». Да черт с ней, с фрау Тушман и с ее нравоучениями, скажу, что нет времени, мне надо речь держать, срочно, по поводу события, имеющего историческое значение, вот даже телеграмму получил. А фрау Тушман исторического значения не имеет. Ясно, так и сделаю. Остается только подыскать кого-нибудь, кто бы эти полгода платил мне деньги за размышления над речью, заказанной Йохеном Мейбаумом.

Отпирая дверь, Роберт услышал телефонный звонок.

Женский голос сообщил, что говорит секретарь господина Широкого — она соединяет с господином Широким.

— Доброе утро,— сказал господин Широкий,— надеюсь, я не слишком рано?

— Зависит от того, что вы от меня хотите,— ответил Роберт,— если речь, то слишком поздно. На речи я принимаю заявки не меньше чем за полгода.

Господин Широкий неуверенно хохотнул и сказал, что нет, говорить он будет не о речи, хотя вполне может предположить, что Роберт превосходный оратор, он внимательнейшим образом следит за его статьями и давно уже хотел с ним связаться. Есть у них один проект, и ему кажется, он заинтересует Роберта, работа как раз для него: документальный фильм о концерне Крингеля, об этой мерзкой фабрике лжи — фильм разоблачительный, ну и все, что отсюда следует, и заголовок у них уже есть, хотя, разумеется, ну, само собой разумеется, это всего лишь предложение: «На словах свобода печати, на деле — прокрустово ложе». Если Роберт придумает что-нибудь интереснее, они с радостью согласятся, хотя и сами немало попыхтели, во всяком случае, надо это дело обсудить. Когда у него найдется время?

— В ближайшее время — никогда,— ответил Роберт.— Мне очень жаль, но у меня уже есть работа. Может, осенью?

В рецензии Роберта новелле фрау Тушман не поздоровилось. В редакции опять начнутся разговоры о стиле его критики; Роберт даже слышал, как ворчит редактор: «Слишком ты резко. От нас ждут помощи. Хотелось бы мне знать, откуда у вас, у молодых, столько желчи».

Особенно раздражали Роберта все эти лакированные образы; глад-

кие, как бильярдные шары, они катились именно туда, куда того хотелось фрау Тушман. Конечно, для этого тоже нужно кое-что уметь, и Роберт не мог не признать, что автор неплохо владеет кием, ловко наносит удары и рассчитывает угловые. Но это именно игра в бильярд, прикладная математика, и все потому так хорошо сходится, что шары круглые и катятся по обтянутому сукном столу.

Математика — вещь превосходная; благодаря математике можно разрешить проблемы куда более важные, чем рост Люцифера в локтях и местонахождение ада; математика помогает в бильярде и кое-где еще, но написать с ее помощью новеллу никак нельзя. Ведь в новелле речь идет о жизни, а в жизни то и дело встречаются рытвины и ухабы, как у людей — бородавки и щербинки. «У наших людей нет щербинок»,— скажет редактор, и только, когда кругом заворчат «ну, ну», он поправится: «Конечно, кое у кого, может, и есть, но разве это типично? Мы должны ориентироваться на новое, а новое — это человек без щербинок».

Секретарь редакции добавит: «Образно говоря, конечно!» — и будет настаивать на решении, которое в конце концов и примут: «Заголовок помягче, и с богом! Нам ведь нужна борьба мнений!»

Роберту казалось, что, когда он пришел на РКФ, понятия «борьба мнений» не существовало. Может, стоит порыться в памяти, подумал он, дело, конечно, не в понятиях, а в сути явлений, в позиции, какую ты занимаешь по тому или иному вопросу.

Если он не ошибается, понятие это, во всяком случае в науке и искусстве, пришло на смену другому понятию — «критика и самокритика» и означало как бы более спокойный вариант спора.

Роберт записал в свой блокнот: «Критика и самокритика — борьба мнений?» — и обвел красной рамкой. Никогда не мешает взять на заметку то или иное воспоминание. Может, именно в этих воспоминаниях зародыш тех мыслей, которые он потом разовьет в актовом зале. Если он сумеет показать, что им всему пришлось учиться заново, даже искусству быть благоразумнее в спорах, это уже будет кое-что.

Никто не скажет, что критика и самокритика — нечто неблагоразумное; неблагоразумным был лишь метод их применения. Стукнут кого-нибудь по голове и совершенно искренне рассчитывают, что даже если тот и даст сдачи, то предварительно признает: полученный удар не лишен рационального зерна. Дружба Роберта с Трулезандом началась тоже с критики и самокритики.

Когда Роберт вышел из экзаменационной, все стали спрашивать, почему он пробыл там так долго.

— Небось размусоливал им историю своей жизни,— высказался парень, который уже раньше задирал Роберта,— ну как, все рыдали?

Вокруг шеи у него был обмотан толстый и немыслимо длинный шарф, Роберт потянул за один конец, чтобы вытащить парня из толпы, но тот возмутился:

— Руки прочь от трудов моей бабушки; она все петли пересчитает, когда я вернусь.

— Лучше бы она тебе носовой платок в карман сунула.

Но тут вмешались девчонки. Роберт мог бы это предвидеть — у парня были густые черные кудри. Одна худющая, ровесница Роберта, заявила, что, мол, нечего сказать, хорошее начало, так и весь коллектив развалить недолго, а какая-то малышка напомнила, что Роберт не только самый здесь старший, но и самый длинный.

Кудрявый отодвинул ее в сторону:

— Все в порядке, Мышонок, не бойся за Трулезанда, Трулезанд не оплошает, Трулезанд недаром плотник.— Он решительно зашагал перед Робертом по коридору и остановился лишь возле аудитории теологов.

Заложив аккуратно концы шарфа за спину, он спросил:

— Ну?

— Что значит «ну»,— огрызнулся Роберт,— вот стукну, так влетишь к малым пророкам.

— Таких я еще не знаю, кто это?

Роберт потащил его дальше.

— Пошли отсюда. А вообще-то, в чем дело, что ты вяжешься?

— Я вяжусь? Просто я тебя критикнул, приятель. Ты задержал нас, вот я тебя и критикнул.

— Ну и дела,— протянул Роберт.

Лицо Трулезанда выразило беспокойство.

— Ни на грош самокритики,— констатировал он,— ты, брат, еще хлебнешь горюшка. Ты что, и вправду не знаешь, как это делается? Так вот, я критикую тебя — конкретно, я говорю: раззява. А теперь твое дело обдумать, почему ты раззява? А когда сообразишь, выступи и скажи... ну, как думаешь, что тебе надо сказать?

— Что за чушь! — буркнул Роберт.

Трулезанд мрачно глянул на него:

— Надеюсь, они тебе все начистоту выложили? Сказали, каков твой уровень? Придется взять над тобой шефство, так и быть, беру это на себя. Итак, в чем дело, друг, почему тебя отвели, ты что, из буржуев?

Какая-то девушка, выглянув из-за угла, объявила, что Трулезанда вызвали. Роберт расхохотался, а Трулезанд, прежде чем последовать за девушкой, серьезно произнес:

— Моя критика попала в точку!

Роберт и сейчас слышит, как он это сказал, четко выговаривая согласные, натужным басом. Он и потом всегда, припрут его, бывало, к стенке, вполне серьезно признавал, что критика попала в точку. Правда, после этого, опираясь на самодельную, но крепко сколоченную моральную платформу, он неумолимо давал сдачи, с чистой совестью и без излишних рефлексий.

На РКФ Трулезанд пришел по доброй воле и в известном смысле тоже из самокритики. Сам он так об этом рассказывал:

— Вот, стало быть, зуб у меня все крошился да крошился. Я — к зубному. Объясняю ему, что и как, а он говорит: «Вы не из Штеттина ли сами? Теперь там поляк сидит». И вздохнул. Я ему: «Господин доктор, поляки в Щецине, так он теперь зовется, надо бы нам уже привыкнуть». А он: «Это, говорит, нелегкая задача». Ну, думаю, со шпахтелем во рту тебя не переспоришь, и с трудом спрашиваю, что у меня с зубом. «Кариес,— отвечает он,— кариес у вас». Ну я, конечно, хочу знать причину кариеса. Он полагает, что от недоедания. «А причина недоедания, в чем вы ее видите?» — спрашиваю я. Тут уж он мне эдак покровительственно отвечает: «Это ведь вам известно — последствия войны!» Тогда я ему задаю решительный вопрос: «Что же является причиной войны?» Он было замолчал, а потом сообразил и говорит: «Ответить на это — задача нелегкая». Я и решил ему малость помочь. Такой барьер ему ведь самому не преодолеть из-за ограниченности сознания. Говорю ему: «На основе научных исследований доказано, что причина войны, о которой вы говорите,— империализм как высшая стадия капитализма, вот она причина». Он как раз подбирал бор и так это покосился на меня через плечо, а потом вижу я — рад-радешенек, что может мне такое сказать: «Если я вас правильно понял, виновник вашей зубной боли — капитализм?» «Да»,— отвечаю я, но чую — сейчас он мне выдаст! Он и выдал: «Следовательно, в средние века, скажем, кариеса не должно было быть, а когда наступит социализм, зубная боль прекратится. Как вы полагаете, дело ограничится зубами, или же воспаление среднего уха и ангина тоже исчезнут?» Я бы и тут мог кивнуть, но это уже было рискованно.

Представляете, у нас уже социализм, а я встречаюсь с доктором на улице, и он мне говорит: «Радуйтесь, у вас социализм, но, скажу вам по секрету, зубы у людей все еще болят. В чем же теперь причина, как вы думаете, ведь вы так хорошо разбираетесь в причинах?»

— Значит,— сказал кто-то из слушателей,— ты захотел стать зубным врачом?

— Хотел поначалу,— отвечал Трулезанд,— но как же быть с проблемами, которые не лезут в рамки профессии? Не-ет, ребята, смотреть надо в корень. Вот Трулезанд и решил изучать философию. Тогда и с зубным врачом поспорить можно.

Всякий раз, когда Роберт вспоминал о Трулезанде, его начинала мучить совесть. И хотя он твердил себе, что это глупо и сентиментально, ничего с собой поделать не мог. У Роберга было много друзей, но ни раньше, ни уж тем более после не было такого, как Трулезанд. Их дружба началась не с драмы и не с подвига, ни один из них не выносил другого из огня и не вытаскивал из ревущей пучины, но можно было не сомневаться: и тот, и другой сделали бы это, не задумываясь. Только время их разлучило. Время и обстоятельства — бессмысленно питать к ним злобу. И тем не менее Роберт питал злобу, потому что, потеряв Трулезанда, он ощутил пустоту, и пустоту эту ничто не могло заполнить. Роберт ощущал ее, когда его одолевали заботы и когда попадал в беду, но еще больше, когда выдавались счастливые дни. Достаточно было сказать Трулезанду: «Эх, старина!» — и в ответ услышать: «Да, старина», чтобы уяснить себе ситуацию, по достоинству ее оценить и внести в их общий запас воспоминаний, откуда черпай потом сколько душе угодно: «Помнишь, как епископ пил с нами томатное вино твоего шурина и съел весь салат моей тетушки?» — «Еще бы, старина!»

Через несколько недель после экзамена, когда они снова встретились, оказалось, что и Трулезанд не забыл их первого знакомства. Стоя на платформе в Рибнице, он спросил Роберта, высунувшегося из окна вагона:

— Как, Длинный, местечко найдется?

Багаж его состоял из битком набитого вещмешка и лакированного дамского чемоданчика, который он сразу, как тронулся поезд, открыл. Протянув Роберту крутое яйцо и хлеб с салом, он сказал:

— Бабуся и тетечка наказывали: «Будь умницей, делись с товарищами, тогда, может, кто и подскажет». Потому как я тугодум.

— Все заранее решено в кругу семьи,— сказал Роберт.

— Ты что, дома не ладишь? — спросил Трулезанд и, когда Роберт кивнул, продолжал: — А я лажу. У меня есть только дядя, тетя и бабушка, и они прекрасно понимают, что меня надобно баловать — ведь я сирота. От родителей мне осталась одна лишь отцовская ночная рубашка, все остальное сгорело вместе с ними в Штеттине. Я тебе сразу про рубашку говорю, чтобы ты не задавал дурацких вопросов, когда увидишь ее. Кто не знает ее истории, непременно удивится. Она висела на скобе водосточного желоба, на единственной уцелевшей стене нашего дома. Вот бабуся и твердит, что это, мол, неспроста и чтоб я всегда в ней спал. Вздор, конечно, но рубашка ничего, удобная, надо только к ее виду привыкнуть.

Он сдвинул чемоданчик в угол скамьи, постелил на него свой длиннющий шарф, лег и заснул.

Приехали они довольно поздно. На дверях обеих гостиниц, куда они толкнулись, висели дощечки с надписью: «Все комнаты заняты». Какой-то пьяный посоветовал им заглянуть в «Хохотунью». Там они по-

лучили чердачную каморку, куда с трудом втиснули мешок Трулезанда. Откинув одеяла, они убедились, что простыни надо снять и спать одетыми. Но только они улеглись, как застучали в дверь. Двое полицейских потребовали их паспорта.

— А что, собственно, случилось? — спросил Трулезанд, но полицейские не удостоили его ответом.

— Бдительность прежде всего,— понимающе сказал Трулезанд,— а когда спуститесь, скажите там другу с барабаном, чтобы колотил потише, здесь люди спят.

Младший полицейский обернулся в дверях:

— Это наш виртуоз, Бобби Нейман, он не откажется от удовольствия поиграть. Да и откуда ему знать, что в этом заведении кто-то и вправду хочет спать? Здесь это не принято.

В течение ночи им еще дважды пришлось предъявлять паспорта, а виртуоз Бобби Нейман действительно не пожелал отказать себе в удовольствии и так колотил в барабан, что стропила дрожали. Ничего не оставалось, как рассказывать друг другу разные истории.

Дружба между Робертом Исвалем и Ингой Бьеррелунд для всех была загадкой — и для подруг Инги, и для друзей Роберта, а прежде всего для них самих. Пересуды обычно кончались банальным замечанием, что противоположности сходятся не менее часто, чем натуры родственные.

Началось все с резкой неприязни. Роберта послали в Паренский интернат чинить электропроводку.

— Задержись там подольше,— учил его мастер,— заведение принадлежит Обществу народной солидарности. Я тоже народ, а солидарность происходит от слова солидность, вот мы и позаботимся о солидном счете. Ну, валяй, да не забудь позаботиться!

Комнаты интерната были переполнены, школьники болтливы и любопытны. Они глаз не спускали с Роберта, а когда он пыхтел, отодвигая их двухэтажные кровати от стен, чтобы добраться до проводки, стояли как вкопанные и только канючили, чтобы он был поосторожнее с их картинками.

Девчонки были не лучше. Почти всем срочно требовалось убрать белье, прежде чем впустить Роберта в комнату. Говорили они так вычурно, что и Роберт, обращаясь к ним, невольно впадал в не свойственный ему резкий тон. Он спросил одну школьницу, что делает ее отец, а та ответила, что он — человек умственного труда, головой работает.

— А, понятно, в цирке на голове ходит! — воскликнул Роберт.

С тех пор он звал интернатских «циркачками».

Отец Инги Бьеррелунд был пастором. Его портрет стоял на ее тумбочке — строгий человек в брыжах.

— Не могли бы вы убрать сего благочестивого господина,— попросил Роберт, когда отодвигал мебель. Девицы и с места не тронулись, но одна сказала:

— Это Ингин отец.

— И трогать его, выходит, нельзя?

— Инга этого не любит.

— Инга мне нравится,— сказал Роберт,— кто из вас Инга?

Одна школьница открыла дверь в соседнюю комнату и осторожно позвала:

— Иди сюда, тут тебя спрашивают.

Ага, подумал Роберт, увидев девушку, вот какая она, эта Инга, а папаша у нее — пастор! Она, видно, была старше других, великовозрастная школьница лет двадцати, не меньше.

Гладкие светлые волосы коротко подстрижены, брови над серыми глазами чуть изогнуты, и только рот — женственно-мягкий. Костюм ее сразу не понравился Роберту. Синяя юбка с красным кантом. Что за юбка, подумал Роберт, точно форма пожарной команды, пожарная юбка и матросская блуза, ну и вкус!

— Загвоздка у нас тут,— сказал Роберт,— надо отодвинуть тумбочку метра на два, на нее мне придется положить инструмент. Хорошо бы портрет господина духовника ненадолго убрать. Но вы этого не любите, как я слышал. Вот и помогите мне!

Девушка положила фотографию в ящик, расстелила на тумбочке газету и собралась было идти.

— Впрочем, я совсем забыл — здравствуйте.

— Здравствуйте,— ответила она и вышла.

Роберт без особого рвения принялся за работу.

— Подвернется случай, принесу вам розетку,— сказал он,— при свете этой коптилки на потолке заниматься немыслимо.

Случай подвернулся уже назавтра. Роберт пришел к ним после уроков.

— Здравствуйте, фрейлейн пастор,— сказал он,— а где же остальные цыплята, вернее, где же цыплята, вы уже, надо думать, не цыпленок?

На ней снова была пожарная юбка, и Роберта просто зло взяло, хоть он и сам удивлялся, какое ему до этого дело.

Она собрала свои книги, но он предупредил:

— Из-за меня вам уходить не обязательно, я работаю тихо. Или, может, вам стихи учить надо?

Она неуверенно села и продолжала колдовать линейкой и циркулем.

Роберт подсоединил провод к выключателю, выгреб из кармана розетку и скобки, но прежде чем приколачивать, сказал:

— Извините, я, кажется, пообещал невозможное; придется немножко постучать, но потом опять буду паинькой, постараюсь поскорее все сделать.

Она отложила циркуль, скрестила руки на груди и стала наблюдать за его работой.

— Ну вот,— сказал он,— готово, можете снова чертить. Впрочем, один вопрос: почему это вы в школу ходите? Не могу себе представить, чтобы вы столько раз засыпались...

— Засыпалась?

— Ну, проваливались, оставались на второй год — не могу даже подумать о вас такое.

— Большое спасибо! Нет, я два года не ходила в школу: пришлось работать у крестьянина по хозяйству, мы у него и живем теперь.

Роберт отложил инструменты в сторону и подсел к ее столу.

— Перекур... А почему же это, позвольте узнать? Не хватает пасторского жалованья, или они вообще не получают жалованья?

— Мой отец умер.

— Мой тоже. Погиб?

Девушка посмотрела на Роберта долгим взглядом и сердито сказала:

— Можно и так сказать, господин электротехник, хотя некоторые говорят, что нет. Но я говорю — погиб. Он был проповедником соборной церкви в Кенигсберге. Когда пришли русские, он встал в дверях, не пускал их через порог. Тогда они выстрелили. Стало быть, он погиб. Вот так, господин электротехник!

— Черт побери,— ругнулся Роберт и молча принялся за работу. Когда он прощался, девушка едва ответила.

Вечером он спросил об Инге мужа своей матери. Нусбанк махнул рукой и начал одну из тех лекций, которые отравляли Роберту жизнь.

Дело совсем никудышное, сказал он, загубленное с самого начала; если бы он, Нусбанк, раньше здесь работал, этого бы не случилось, но в то время он, как известно, занимался земельной реформой, вот тут-то все и произошло. Всегда так, если сам обо всем не позаботишься. Нет, девушку нельзя было пускать в школу. Это большая психологическая ошибка, она значительно старше остальных и чувствует себя несчастной. Хорошая профессия — вот что ей нужно. В двадцать лет ходить в школу — ну, не глупость ли! А еще история с папашей. Он, Нусбанк, понятно, выяснял. Нацистом пастор не был, зато церковный фанатик, из тех, что еще в живого дьявола верят. В лагере Нусбанк знавал таких, но те видели Вельзевула в коричневорубашечниках, что по сути верно, хоть в жизни и не очень помогает. Так вот этот проповедник Бьеррелунд — кстати, фамилия шведская, предок попал сюда, верно, как полковой священник Карла Двенадцатого, да Померания, кажется, была когда-то шведской, а она недалеко от Восточной Пруссии, и семья его, может, оттуда, ну да что нам до его предков,— во всяком случае, Бьеррелунд умер, хоть и не естественной смертью, но вполне объяснимой. И угораздило же его так поступить! А дочь теперь носится со своим несчастьем и в каждом советском солдате видит его виновника. По отношению к ней нужна чуткость, иначе пропадет девица.

А мамаша ее, госпожа проповедница,— настоящий медный лоб, сидит в каморке у крестьянина, а девчонку заставляет гнуть спину и внушила ей, что ждать им недолго — смерть пастора, мол, будет отомщена. В этом смысле психологически верно, что девчонку у нее забрали и в школу устроили.

На другой день Роберт собрал из старых настольных ламп одну почти совсем новую и отнес в интернат.

— Розетка без лампы,— сказал он,— это нечто платоническое. Мне такое не по душе.

— Сразу видно,— сказала девочка, которую другие называли Плюшка.

— Только не питайте напрасных надежд,— заявил Роберт.

Все девушки, кроме Инги, вскоре приручились и даже разговаривать стали по-человечески. Им бы очень хотелось сходить в цирк — поделились они с ним,— они пытались уговорить Ингу, но она ответила, что в цирк ходить глупо, а она не может убивать вечер на глупости.

Роберт заявил, что называть цирк глупостью — это и есть глупость, цирк — чудесное развлечение, и если бы не работа, он обязательно пошел бы с ними.

— А вы сходите вечером,— посоветовала Плюшка,— и прихватите Ингу.

Инга сердито сверкнула глазами на девочку, а Роберт почувствовал, что краснеет, и поторопился уйти.

В этот вечер он не пошел с Ингой в цирк, зато на следующий решился. Дождавшись, когда она вернется из школы, он сказал ей:

— Вполне можете пойти со мной. Никто ничего не подумает, да и думать-то нечего. Там есть обезьянки, а ведь вы тоже любите обезьянок, правда? Или нет?

— Люблю,— ответила Инга,— обезьянок я люблю.

Но он чуть все не испортил. Места их были возле самой решетки, отделяющей зрителей от хищников. Когда белых медведей погнали на манеж, один остановился и, сунув морду между прутьями, обнюхал Ингину ногу. Она испугалась, и Роберт поменялся с ней местами.

— Просто медведю захотелось получше разглядеть пожарную юбку,— сказал он.

И тотчас понял, что совершил ошибку — девушка словно окаменела и за представлением следила уже без всякого интереса.

В антракте Роберт попытался загладить промах.

— Надо вам сказать,— пробормотал он,— что не мастак я обходиться с девушками, а главное, привык в лагере черт-те что болтать, вот и срывается с языка все, что ни подумаю. Ну, не сердитесь, пожалуйста, это ведь цирк!

Она чуть улыбнулась, потому что он произнес слово «цирк» как заклинание, и спросила:

— Вы были в плену?

С той минуты, как он утвердительно кивнул и рассказал немного о себе, она начала по-другому к нему относиться, разговорилась, стала общительней, доверчивей.

И гораздо позже Роберт понял, что ее симпатия основана на недоразумении: она считала его пострадавшим, такой же жертвой, как она и ее отец.

Роберт, сев в постели, спросил Трулезанда:

— Спишь?

— Боже упаси, пытаюсь догадаться, какой системы придерживается этот барабанщик. Какой-то загадочной, но, может, в этом и весь трюк? А ты заснул?

— Нет, задумался.

— О девушке?

— О девушке? Вот уж нет, просто вспоминаю об отце.

— Ты любишь отца?

— Любил.

— Ах да... Сказать тебе, что ли? Страх меня берет.

Роберт пошарил в кармане, достал сигарету и, закурив, ответил:

— Не хнычь, меня тоже.

Трулезанд сел, поджав ноги, на постели и закутался в свой широченный дождевик, а Роберту припомнилась детская песенка: «...гномик из лесу пришел в плащике пурпуровом».

Он попытался пропеть ее мысленно в ритме Бобби Неймана, да ничего не вышло. Тогда он спросил:

— Ты в школе хорошо учился?

— Если говорить честно,— ответил Трулезанд,— то кое-как, серединка на половинку. Мне все равно было. Сознательности не хватало, сам понимаешь. Теперь дело другое. Теперь придется вкалывать. А то вернусь домой, спросят меня: «Ну, как учишься?» — что же мне отвечать: серединка на половинку? У них я ведь был не середнячком, а передовиком. Им и невдомек, чего здесь только не требуют — химию там и все такое...

Страх перед будущим заставил их проговорить до утра, и потом еще им не раз бывало страшно, особенно Трулезанду. Ему, правда, ученье давалось легче, чем многим другим, но мешало жить беспокойство — как бы не опозорить свой цех и самому перед ним не опозориться. Под цехом он разумел вообще всех плотников. Он всегда был готов схватиться с каменщиками и слесарями и постоянно обсуждал вопрос, чья профессия важнее не только для строительства домов, но и вообще для развития человеческого общества. Трулезанд, не стесняясь, приводил в качестве аргумента даже тот факт, что Иисус из Назарета был сыном плотника, и если в остальном Евангелие с научной точки зрения не выдерживает никакой критики — «Встань и иди» и тому подобная чепуха,— то все, что касается плотника Иосифа, не лишено известного смысла.

И все-таки нынешняя профессия Герда Трулезанда так же мало имеет общего с плотничеством, как и с отцом Иисусовым. Хотя к време-

нам библейским она все-таки ближе, чем к плотницкому ремеслу. Но и с философией, от которой Трулезанд ждал ответа на скептические вопросы зубного врача, его профессия оказалась связанной лишь косвенно.

Виновен во всем этом был Роберт Исваль, и вот пришел конец долголетней дружбе. Время и стечение обстоятельств — это, конечно, заслон от укоров совести, но заслон чересчур тонкий, он прикрывает, но не спасает. Время и стечение обстоятельств сыграли свою роль, но когда же бывало иначе? Отговорка слабая, особенно если вспомнить, что им не столько подчинялись, сколько заставляли их служить себе,— так поступил Роберт Исваль. Роберт разыграл из себя судьбу, господа бога и историческую необходимость и совершил деяние свое из мелких и злобных побуждений. И если, помимо его воли, все окончилось благополучно, это вовсе не заслуга Роберта. Хотя в самом-то главном все окончилось совсем не благополучно: дружбе, связывавшей двоих людей, которые вынесли бы друг друга из огня и вытащили бы из ревущей пучины, этой дружбе пришел конец.

Прежде чем держать речь, думал Роберт, необходимо внести ясность в отношения с Трулезандом. Нельзя же взобраться на трибуну и пропеть оду РКФ и нашим лучшим годам, зная, что внизу, среди почетных гостей и ветеранов, сидит Трулезанд и в упор смотрит на тебя. По его глазам не трудно прочесть, что он о тебе думает и чем обернулись для него эти «лучшие годы». А Роза сидит неподалеку от Герда, может быть в том же ряду, и тоже смотрит на тебя в упор. Но в том-то и загвоздка: вполне возможно, что они будут сидеть рядом, что у них все обошлось и они до сих пор вместе, возможно, однако, что это просто дисциплина, ведь именно с помощью дисциплины ты и загнал их туда, куда хотел.

Во всяком случае, дальше так продолжаться не может. Ты слишком долго прятал голову под крыло, теперь изволь отвечать. А может, ты и в самом деле трусишь?

Роберт позвонил в редакцию. Секретарша заметила:

— А, на ловца...

Но Роберт не подхватил шутки:

— Вернер у себя?

— Ну да, он как раз хотел с вами говорить. Переключаю.

— Алло, хорошо, что ты позвонил,— осторожно начал Вернер Кульман,— хочу с тобой потолковать; откровенно говоря, дело срочное.

— Выкладывай,— перебил его Роберт,— только дай сначала мне сказать. Потребуется тебе что-нибудь в Лейпциге — посылай меня; очень уж мне нужно в Лейпциг, приятель там живет, сто лет его не видел, а теперь он позарез понадобился. Ну, валяй, что случилось, где горит? Гинденбург, что ли, помер?

— Ах, друг мой, откуда мне знать, что в мире творится? С Лейпцигом, думаю, уладим, постараюсь помочь. Но вот какое дело: не съездишь ли ты пока в Гамбург? Нам надо использовать материал о наводнении. Есть сигналы, что опять мелкий люд надули, и сигналы серьезные. На летучке я напомнил, что ты из Гамбурга, и мы решили послать тебя. Жаль, что разыскали только сегодня. Не удивляйся, все уже готово, нужна лишь фотография для паспорта, и можешь ехать скорым, завтра утром.

— Вы умницы!— воскликнул Роберт и повесил трубку.

Он тут же сложил свой чемоданчик и позвонил Вере. Она огорчилась — придется ей вставать раньше, топить самой печь и за покупками бегать, да еще четыре вечера провести в одиночестве, и к тому же беспокоиться за своего благоверного.

— Смотри не попадайся там, а то еще упрячут за решетку.

Роберту пришлось все же немало побегать, и спал он неспокойно, хоть уверял себя, что случиться ничего не может, и придраться им не к чему; он слишком хорошо знал, как это бывает в том краю, который был когда-то его родиной.

Фонари на набережной Шиффбауэрдамм еще горели, когда поезд отошел от вокзала. Роберт, стоя у окна, сонными глазами смотрел на улицы и на беспокойных чаек над Шпрее, пока какой-то дом возле моста Луизенштрассе не заслонил ему вид. В окнах клиники «Шарите» уже горел свет. Там встают спозаранку, подумал Роберт, надо перестелить постели, измерить температуру — ах, сестра, я плохо провел ночь!..

Университет, граница, стена. Четырнадцать лет назад Роберт впервые переехал эту границу, но в те времена ее видно не было, она была условной, бесплотной, и он рассмеялся, когда в городской электричке ему объяснили, что они сейчас пересекли границу, границу между русским и английским секторами города Берлина. Какая же это граница для человека, который вернулся домой из чужой страны, из плена, домой, в Германию, а не в русский или английский сектор. Разве понимали люди, пересекавшие эту границу, словно меловую черту, разве понимали они, что такое граница!

Вот на Одере — это граница, между пленом и свободой — это граница, между мальчишкой с винтовкой и взрослым человеком с чемоданчиком — граница; но для воображаемой линии, пересекающей огромный город с людьми одинаковой национальности по ту и по эту сторону, для такой линии надо побыстрее найти более подходящее наименование. Граница — это нечто совсем иное. Вот как у Гейне:

И лишь границу я увидал,
Так сладостно и больно
Забилось сердце. И, что таить,—
Я прослезился невольно. *

Тогда, за три дня до рождества сорок восьмого года, Роберт отнюдь не прослезился,— во всяком случае, не здесь, в центре Берлина, между Фридрихштрассе и Лертским вокзалом, и не на Одере. А вот как переехали мост перед Франкфуртом, внутри у него что-то дрогнуло: вот ты и дома, брат, понимаешь? Ну как тебе тут? Хорошо ему было, отлично, и даже тыквенная похлебка в карантинном лагере не могла этого изменить, и поезд с выбитыми стеклами из Франкфурта в Берлин, и руготня в переполненных вагонах, и остроты про Хеннеке **, и болтовня окружающих, что вот, мол, и конец его привольной лагерной жизни без норм и сверхсмен, и уж меньше всего их дурацкие замечания о том, что, миновав вон ту речную пристань, они переехали границу.

Теперь все было иначе. Теперь он научился смотреть в корень, видеть то, чего в те дни видеть не мог. Здесь действительно проходила граница. И дело было вовсе не в реке и не в стене, дело было в различии между тем, что творилось по ту и по эту сторону границы, в том, что совершается, растет, и в том, что уходит в прошлое. И если была теперь причина «прослезиться невольно», то причиной этой была граница, перерезающая Берлин надвое.

Лертский вокзал, склады, Дом конгрессов, бойня, вот пролетела колонна Победы, а далеко за ней видны Бранденбургские ворота, улица Бельвю, Ганзейский квартал — здания Аальто и Гроппиуса, улица имени 17-го июня — и сразу в памяти костры из книг, комендантши,— еще раз совсем близко колонна Победы, еще раз совсем далеко Бранденбургские

---

* Г. Гейне «Зимняя сказка». Перевод здесь и далее В. Левика.

** Зачинатель движения активистов в ГДР.

ворота и Красная ратуша за ними, и правда — путь с Востока на Запад; путь из завтрашнего дня через сегодняшний во вчерашний и наоборот; технический университет, станция городской электрички «Зоологический сад».

В купе Роберта вошли четыре пожилые дамы. Их провожала пятая дама и молодой человек в черном костюме. Роберту пришлось давать справки, не дует ли из окна и работает ли отопление; выяснилось, что для их багажа не хватает сеток, а цветы... куда же поставить все эти прелестные букеты?

Роберт сбежал на перрон; в киоске газета «Вельт» сообщала о новой фазе европейского движения за единство, а «Франкфуртер альгемейне» — о настораживающих нотках в последней речи британского премьера; «Золдатенцейтунг» напоминала о солдатских могилах на Волхове, а «Бильд» проявлял заботу о счастье Фары Диба. Наводнение, по всей видимости, затерялось где-то на вкладных полосах. Роберт купил журнал «Шпигель» и, заглянув в купе, где четыре старые дамы угощали друг друга апельсиновыми дольками и печеньем, отправился в вагон-ресторан.

Просмотрев журнал и выпив две рюмки коньяку, он вернулся в купе, в самый разгар нежного спора старушек.

— Нет,— говорила одна из престарелых дам,— нет и еще раз нет, Софийхен, не может это быть Эльбой, Эльба ведь куда шире, милочка.

Но Софийхен была уверена в своей правоте:

— Подумай сама, Эльза, какие еще могут быть реки в здешней местности? Речь может идти только об Эльбе. Не правда ли, молодой человек, мы сейчас переехали Эльбу?

Вопрос следовало решить быстро и удовлетворительно для обеих сторон, иначе покоя до Гамбурга не будет.

— В известном смысле вы обе правы,— сказал Роберт,— с одной стороны, та река, которую мы пересекли, действительно Эльба, и в то же время нельзя сказать, что это Эльба. Река ведь не только устье, но и исток, и сколь мало была бы она тем, что есть, без истока и без устья, столь же мало она была бы самой собой без рукавов и притоков. А в данном случае мы переехали не что иное, как один из притоков Эльбы, чье чрезвычайно близкое родство с Эльбой сказывается уже в названии, ибо называется он Эльда, через «д» — «догма», «дом», «дофин», «дьякон» или «дромадер». Река эта, на мой взгляд, слишком мало себя ценит и слишком подавлена своим вторым наименованием «приток». А ведь она играет видную роль в экономике страны. До того, как соединиться у Дёмица с той рекой, близость которой вы, уважаемые дамы, столь справедливо предположили и которая отличается от своей прилежной помощницы лишь одной буквой «б» — сравните «Библия», «богоматерь», «богослов» или «булла» — итак, до того, как одна соединится с другой, она пробегает значительный путь от Мекленбургских озер, неся на своей спине тяжело нагруженные суда. Воистину эта река — честная труженица среди остальных рек.

Неплохо у тебя язык подвешен, подумал Роберт, но уж «воистину» можно было опустить, чуть-чуть пересолил. Однако увидев восторженные взгляды пожилых дам, он успокоился: «есть же еще милые молодые люди», прочел он в их глазах, «и такие образованные! Как радостно это сознавать!»

Про Эльду он действительно знал все. На Эльде стоит Парен — городок, в котором он прожил несколько лет, а из Дёмица был Квази Рик. С ним, правда, частенько приходилось спорить, особенно о том, где Эльда красивее — в верховье или низовье.

Квази был неистощимым на выдумки организатором, другого такого Роберт не знал. Когда Роберт и Трулезанд прибыли к месту назначения, Квази уже стоял на гигантской груде угольных брикетов у входа в общежитие факультета и приветствовал их вдохновенной речью.

— Дружба, ребята! Ваша комната — тридцать вторая, на четверых, с видом на фруктовую аллею, урожай, правда, уже снят. Положите барахлишко и спускайтесь. Не забудьте надеть спецовки — уголь надо сбросить в подвал.

— А чего ты, собственно, кричишь? — спросил Трулезанд.— Ты что, активист из СНМ?

— Комиссар,— ответил Рик,— сам себя назначил. Никого не нашлось, кто бы назначил меня, и никого, кого бы назначил я. Я — первый, вы — вторые. Теперь мы можем выбирать. Но прежде надо, я полагаю, брикеты сбросить в этот квази подвал... Итак, Свободная немецкая молодежь, за дело!

Роберт и Трулезанд пошли искать свою комнату. Оказалось, в этом доме прежде была казарма; теперь в ней не осталось ни столов, ни стульев. В коридорах валялся строительный мусор, даже полы еще не были настланы, а в их комнате, кроме нескольких двухэтажных кроватей, вообще ничего не было.

Они молча огляделись, потом Трулезанд, подойдя к окну, сказал:

— Зато вид великолепный.

Роберт подошел и встал рядом, но никакого великолепия не увидел. Перед ними лежала пустынная площадь со взорванным бомбоубежищем и мокрая улица, теряющаяся вдали среди оголенных садиков и опустевших огородов.

Трулезанд видел все в ином свете.

— Ладно, старина, сейчас ведь октябрь, дождь, чего же ты хочешь? А представь себе: убежища нет, вместо пустыря — футбольное поле, по улице прогуливаются хорошенькие девчонки и на нас поглядывают, на деревьях висят груши и всякое такое — ну что, скажешь, плохой вид?

— Вид, действительно, что надо,— согласился Роберт, и оба рассмеялись.

Они переоделись в спецовки — в повестке о начале занятий рекомендовалось захватить их с собой, чтобы поработать в общежитии,— и спустились к Квази Рику.

А тот уже раздобыл штук шесть лопат и большие вилы и поставил Роберта и Трулезанда к люку.

— Если расписание точное, то через полчаса подоспеет еще народ, поезд из Пазевалька прибывает с минуты на минуту. Начнем, друзья, запевай!

— «Мама, угольщик пришел!» — затянул Трулезанд. Но Квази возразил:

— Во-первых, это не песня, а пьяное бормотанье, во-вторых, на этой теме далеко не уедешь, я, лично, помню только: «Пол гнилой, и воздух вредный, тут живет сапожник бедный», а в-третьих, все это квази не подходит к субботнику.

— Эй, Роберт,— крикнул Трулезанд,— слыхал? Он говорит, что у нас субботник.

Роберт подхватил в том же тоне:

— Вот как, субботник? А что это такое, субботник?

— Субботник,— спокойно ответил Квази,— это фактическое начало коммунизма, добровольная работа. Слово «субботник» происходит от русского слова «суббота».

Трулезанд застыл с лопатой в руке.

— Как же это так, «суббота» и вдруг фактическое начало коммунизма? Что-то не вижу связи.

Рик, как не раз поступал и потом, перевел разговор на организационные вопросы:

— На мой взгляд, у нас уже вырисовывается квази тема нашего первого молодежного вечера: «Субботник как фактическое начало коммунизма». А вы вообще-то члены СНМ?

— Вот еще!— воскликнул Трулезанд.— Мы квази баптисты.

— Да,— подтвердил Роберт,— и даже с легким уклоном в анабаптизм.

Но тут Трулезанд перегнул палку.

— А как ты думаешь, Роберт, не созрел ли он для Великого крещенья? У него какое-то похотливое выражение глаз.

Они отложили лопаты и, взобравшись на груду брикетов, принялись внимательно разглядывать Рика. Но тот засмеялся:

— Ясно, друзья, вы парни что надо. Включу вас в первую же программу молодежного вечера самодеятельности. Публика от смеха животики надорвет.

Они сбрасывали брикеты, а Трулезанд рассказывал:

— Серьезно, я знал как-то одного баптиста, фанатичного малого, он хотел отучить меня от курения, представляете, какой труд,— я ведь никогда не курил. Создатель, говорил он, не курил сам и человека к этому не приспособил. Тогда я его и спрашиваю, как же он представляет себе человека, приспособленного для курения. А он без запинки отвечает: у приспособленного человека обязательно была бы отдушина для дыма; может, сзади, на шее, может, еще где, во всяком случае, каждому понятно, что рот и нос человека — никак не божье устройство для дыма. Парень меня убедил — я так и не начал курить... Вот сказал «не начал» и вспомнил: а когда же мы учиться начнем?

Квази знал и это. Он знал, что торжественное открытие состоится вечером в главном корпусе университета, знал расписание на первый месяц и даже, что поначалу они будут заниматься «во вторую смену» в помещении гимназии.

— Гимназия...— сказал Роберт,— это слово мне не по душе.

Но Трулезанд хладнокровно ответил:

— Почему же, все дело в содержании. К примеру, кулек — это форма, а содержание — это то, что в кульке: пышки или опилки.

— Или простокваша,— подхватил Роберт.

Но тут они позабыли о проблеме формы и содержания. У подножия угольной горы поставил свой чемодан краснощекий молодой человек в зеленой шляпе с перышком, непромокаемом пальто и высоких сапогах. Сняв шляпу, он спросил:

— Извините, пожалуйста, это Роберт-Блюмштрассе, двадцать три?

— Спроси-ка у дворника,— и Трулезанд показал на Квази Рика.— Господин дворник, это Роберт-Блюмштрассе, двадцать три?

Квази сполз вниз, изучил номер над дверью и важно кивнул, с трудом сдерживая улыбку.

Парень в шляпе поблагодарил и поднял чемодан. Но потом снова поставил, еще раз снял шляпу и обратился к Квази:

— Раз вы дворник, не подскажете ли, куда мне идти. Я приехал учиться.

— Комната тридцать два,— ответил Рик.

Парень снова поблагодарил и пошел.

А Трулезанд громко спросил:

— Это что же, господин дворник, разве теперь и мужчин на повитух учат? Ведь здесь, кажется, районная школа акушерок?

— Верно, школа акушерок,— ответил Квази со всей серьезностью, на какую был еще способен.

Парень застыл на пороге, обернулся, вытащил какую-то бумажку из кармана и, внимательно перечитав ее, все-таки вошел в дом.

Пока не прибыла следующая партия их будущих однокашников, они успели сбросить в подвал изрядную часть брикетов, причем Квази без конца с восторгом повторял: «Повитухи, а повитухи!» Он приветствовал каждого новичка вопросом, не хочет ли и он тоже стать повитухой, и только потом сообщал ему номер комнаты. Всех прибывших Квази разделил на четыре смены, и каждый будущий студент хоть раз да услышал от него любимое словечко «квази». Так оно к нему и прилипло.

В обед Роберт с Трулезандом отправились в город и свели первое знакомство с актовым залом Андреаса Майера; второе состоялось два часа спустя.

Они сидели в мягких креслах, благоговейно затаив дыхание, и слушали приветственную речь его превосходительства ректора.

Ректор выглядел так, как иллюстраторы сказок изображают бравых пекарей или мельников: грузный, толстощекий человек со звучным голосом. Он мог бы и не подчеркивать, что он не оратор, но многократно это повторял. Нет, он и в самом деле не оратор — говорил он,— ему приходится витийствовать лишь по долгу службы; он — минералог, занимается камнями, с малолетства интересуется предметами, создаваемыми природой на протяжении тысяч и миллионов лет, и поспешность, с какой протекают неминералогические процессы, приводит его в замешательство; ежели в его вступительной речи, произнести которую он вынужден, как ректор, это замешательство проступит более явственно, чем он того желал бы, он просит своих юных слушателей благосклонно выслушать его и извинить. По этой не очень складной речи, продолжал он глухим голосом, не следует делать заключения об его отношении к собравшимся; он, правда, считает, что непреходящую ценность имеет лишь то, что устояло под давлением не только столетий, но и тысячелетий. Однако человек ведь не камень, а порядки человеческие — не окаменелость.

— Впрочем,— добавил он со вздохом,— не следует думать, что наша alma mater не менялась на протяжении столетий. Совсем недавно, в двадцатых и тридцатых годах шестнадцатого века, структура нашей высшей школы резко изменилась в результате новых веяний, под которыми я подразумеваю лютеровский дух. Этот дух так глубоко укоренился в наших стенах, что, как узнал я из одного манускрипта, «молодые люди из католических семей, вознамерившиеся изучать науки в нашем университете, не получали на то родительского благословения, ибо — как говорится далее в этом документе — отцы страшились подвергать сыновей своих соблазнам лютеранской ереси, обретающей все большую силу».

Более опытный и менее углубленный в свой манускрипт оратор заметил бы движение, прошедшее по рядам, как только студенты поняли, куда клонит минералог, но он ничего не замечал и не услышал шепота Трулезанда:

— При чем тут Лютер? Ведь он опубликовал «Против разбойных крестьян» и все такое прочее.

А ректор продолжал, вздыхая:

— Но духовный сдвиг не был приостановлен отеческими, в данном случае лучше сказать патриархальными тревогами...

В зале, правда, не зашумели, но внимание слушателей на какое-то время отвлеклось. «При чем тут Лютер?» — этот вопрос взволновал не только Трулезанда. Молодые люди, сидевшие в зале, и не предполагали, как тесно сведет их в последующие годы судьба с Лютером и многими другими личностями, кому они не отводили никакого места в воображае-

мой картине нового времени, иначе наверняка осталось бы довольно много незанятых коек в доме двадцать три на Роберт-Блюмштрассе, и не только в комнате номер тридцать два, угловой, с видом на фруктовую аллею.

Они вновь прислушались к словам оратора, когда он высказал одобрение нынешним порядкам:

— Однако мне кажется — и это утешает меня,— будто руководители столь своеобычного общественного устройства, в коем мы живем после кончины рейха, уделяют внимание не только различным новшествам, каковым является, например, ваш факультет, но и старейшим учреждениям, доказавшим свою необходимость. С удовлетворением узнал я о решении построить для Минералогического института, долгие годы страдавшего от ужасающего недостатка помещения, новое здание.

Закончив это импровизированное отступление, ректор с видом человека, высказавшего все, что у него наболело, прочел конец манускрипта тем же звучным голосом, что и начало. Он пожелал счастья и успехов слушателям, и хоть мало питал надежды, что кто-либо из присутствующих неофитов станет студентом его факультета, ибо минералогия — наука в высшей степени точная и ее изучение требует более основательных знаний, чем те, что они получат в своем новом учебном заведении с его скоростными методами обучения, и хотя действительно надежды на это мало, но тем не менее они всегда могут рассчитывать на его, ректора, доброжелательность.

Аплодисменты были жидкими и неуверенными, но тем громче звучали они после речи следующего оратора, доктора Мевиуса Вёльшова, будущего руководителя их факультета, человека с глазами Старого Фрица.

Он произнес речь, от которой у них захватило дыхание и согрелись сердца. Он хвалил мужество молодежи, штурмующей крепость — крепость гордыни и предрассудков, страха за свои привилегии, суеверия и классового чванства. Он обличал сопротивление одних и скепсис других, цитировал известные и неизвестные строчки, высмеивал:

Мы не созрели!
Эту песню пели
Столетиями, нам,
Темным, неученым,

Он вещал:

Свет разума и сила знаний —
Да станут всенародным достояньем!

Доктор Вёльшов говорил целый час, и овация длилась больше пяти минут.

Они с шумом покинули актовый зал, уверенные, что у них достанет сил сдвинуть горы!

Строгие фасады больших домов показались им теперь не такими грозными, а мраморные и бронзовые доски с именами знаменитых ученых, воспитанников университета, из которых даже им кое-кто был известен, пугали их меньше. Хорошо сказал с кафедры доктор Вёльшов — не то что доктор Мартин Лютер, предатель, вероломный соловей,— хорошо сказал он: университет отныне принадлежит им, и пусть кто-нибудь попробует это изменить.

— А тот «каменный» профессор,— сказал Трулезанд, когда они вернулись в общежитие,— кого хочешь запугает.

Квази с возмущением кивнул и заявил, что необходимо организовать беседу об историческом значении советской зоны оккупации, причем как можно скорее, чтобы внести полную ясность в этот вопрос.

Четвертый обитатель их комнаты, паренек в высоких сапогах, не принимал участия в разговоре; он возился с постелью, натягивал поперек комнаты веревку и развешивал на ней свои пожитки.

— «Веревка — вервие простое нам заменяет в доме шкаф»,— продекламировал Роберт,— а как ты догадался, чего именно у нас не будет?

— Чего мне догадываться: знаю, со шкафами туго, потому что туго с древесиной.

— А ты лесник? — спросил Трулезанд.

— Лесоруб,— ответил парень.

Трулезанд протянул ему руку и представился:

— Трулезанд. Плотник. Ты ведь не злишься за розыгрыш с акушерской школой?

— Да чего там,— ответил парень, которого звали Якоб Фильтер,— вы, городские, любите шутки шутить!

Совместными усилиями они доели бутерброды, привезенные из дому, с восторгом повторяя при этом слова Вёльшова.

— «Героический штурм крепости Наука»,— вспомнил Рик.— Такую речь и сам Калинин мог бы произнести; о Калинине мы тоже обязательно проведем беседу.

Якоб Фильтер, сидя на корточках перед печкой, колол щепу на растопку.

— У вас столько планов,— сказал он, обращаясь к Рику,— послушаешь, можно подумать, что мы проучимся здесь сто лет. А у нас всего три года.

Роберт удивленно рассмеялся.

— Всего три — это хорошо. А ты представляешь себе, как долго длятся три года? Можно весь лес в округе вырубить.

— Вырубить-то можно,— ответил Якоб,— а вот вырастить?

— При правильной организации,— включился было Квази, но Роберт прервал его:

— Нет, он прав. Только я бы, друзья, не мучился такими вопросами, три года — срок немалый.

В Бойценбурге в вагон вошли пограничники. Пожилые дамы уже с час назад приготовили паспорта и теперь с боязливым ожиданием то и дело поглядывали на дверь. Они шептались между собой и все снова пересчитывали свои скромные капиталы.

Сначала в купе появилась молоденькая девушка из таможни. Приветливая и быстрая, она обращалась к пожилым дамам с понимающей улыбкой, к Роберту — с выражением вежливой проницательности. Она зарегистрировала его деньги и фотоаппарат и, выходя из купе, пожелала пассажирам счастливого пути — Роберт ясно расслышал в ее голосе, кого она, собственно, имеет в виду.

Солдат пограничной охраны справился со своим делом еще быстрее; старушкам он сказал: «Приятного путешествия», а Роберту «До свидания».

— До свидания! — ответил ему Роберт. И подумал: «До свидания, товарищ!»

Он попробовал углубиться в «Шпигель», но, заметив, что читает только глазами, отложил журнал.

Поезд миновал Шванхейде, транспарант над насыпью гласил: «Германская Демократическая Республика желает вам счастливого пути!» Часовой под грибком помахал рукой; потом пошла ничейная земля, промелькнула постовая будка с гербовым орлом, и они подъехали к Бюхену.

Здесь поезд тоже стоял недолго; сошло всего несколько пассажиров.

Форма у пограничного контроля была подчеркнуто гражданского покроя, пистолетов не было заметно, большие шкиперские фуражки скорее напоминали о морской прогулке, чем об охране государственной границы.

Пожилой пограничник переполошил старушек, спросив, не везут ли они из Западного Берлина спиртные напитки — пусть уж лучше сразу выставляют бутылки,— таможенный чиновник идет по вагону следом за ним. И он подмигнул Роберту.

Однако взглянув на паспорт Роберта, он перестал подмигивать.

— Гм, минуточку,— сказал он и вышел из купе.

Он исчез из поля зрения Роберта, но в окне коридора появилось его отражение. Отражение вытащило из-под мышки толстую книгу большого формата и раскрыло ее. Четыре пожилые дамы во все глаза уставились на Роберта, а он подумал: «Ага, знаменитый список разыскиваемых лиц. Сейчас полистает в разделе «Подлежит задержанию», но не найдет, так во всяком случае было в последний раз, а с тех пор, надо думать, вряд ли что изменилось. Ну вот, переворачивает страницы, смотрит в оглавление, прекрасно! Рубрика «При въезде (выезде) сообщить в надлежащие инстанции»... Г, Д, Ж, З, И, стой, где-то он здесь, голубчик, Инзельман, Иплер, Ирменбах, Исваль Роберт, рождения 1926 года, Гамбург, вот он...

Отражение повернулось на сто восемьдесят градусов, и пограничник вошел в купе.

Толстую книгу он держал под мышкой, словно она никогда не меняла своего местоположения.

— Простите, господин Исваль,— сказал он,— куда вы едете?

— В Гамбург.

— А оттуда?

— Назад в Берлин.

— Сколько дней вы пробудете в Гамбурге?

— Дня три-четыре.

— Вы едете по приглашению или в командировку? Государственный служащий или коммерсант?

— Ни то, ни другое, ни первое, ни второе: я — свободный художник.

— Прошу уточнить.

— Н-да, уточнить...— повторил Роберт с легкой растерянностью.— Не так это просто. Отчасти я литературный критик, отчасти публицист.

— А какая ваша часть сейчас путешествует?

Вопрос понравился Роберту — среди шаблонной официальщины вспыхнула искорка личного интереса. Это, кажется, был вообще сравнительно приемлемый представитель своей профессии, не из тех холодных и скользких типов и не из тех честолюбивых юнцов, что считают себя ходячими детекторами лжи и устраивают из каждого такого опроса нечто вроде военной операции по прочесыванию мозгов.

Роберт ответил:

— Хочу поглядеть, что там, в Гамбурге, теперь, после потопа.

Пограничник заглянул в его паспорт и сказал с удивлением, явно искренним:

— Вы ведь сами из Гамбурга, почему же вы *там*? И давно вы там живете?

— После плена домой уже не вернулся, и потом я там учился — здесь бы это не вышло.

— Верно,— согласился пограничник,— у вас с этим делом попроще. Ну, ладно, только смотрите не пишите про нас невесть что, раз вы сами из Гамбурга.

Он протянул Роберту паспорт и, вежливо попрощавшись, вышел из купе.

Роберт посмотрел ему вслед и подумал: «Почаще бы попадались вот такие, как ты, друг мой. Ты, видать, не такой уж любитель всяких там «пройдемте!» и «вы арестованы!». И я тоже».

— Смотрите-ка, мы проезжаем Фридрихсру,— заметила одна из старушек.— Здесь могила Бисмарка. Я еще помню стихотворение: «Где Бисмарк Великий в могиле лежит? В Саксонском лесу над обрывом...»

Но тут, забыв о своих патриотических чувствах, она испуганно вскрикнула:

— Господи, да ведь мы уже подъезжаем, а чемоданы еще наверху!..

Роберт с трудом уговорил старушек посидеть спокойно, пока он снимет и выставит в коридор их чемоданы.

Они попрощались, растроганно благодаря его на все лады, и Роберт остался один в купе. Он глядел в окно на голые ветви буков и думал: «У каждого свои воспоминания о Саксонском лесе. Кто вспоминает Железного канцлера в глубокой могиле, а кто — синюю фуражку, давно, наверно, истлевшую где-нибудь в кустах».

Это было одно из самых печальных воспоминаний его детства. Однажды во время летних каникул — он перешел тогда в третий класс — его отпустили к дедушке с бабушкой в Парен совсем одного. И он этим очень гордился. А еще больше — своей новой фуражкой. Синей, бархатной, с крученым шнуром над лаковым козырьком. Она стоила две марки с лишним, а может, даже и все три, и матери, видно, уж очень горька пришлась разлука с ее мальчиком, раз она решила купить ему такую дорогую фуражку. Он не плакал на перроне, не заплакал и тогда, когда из окна вагона был виден уже только носовой платок матери; он ехал в Парен, в новой красивой фуражке, какие бывают только в Гамбурге, а в Парене таких никто никогда и не видывал. Это было в июле; поезд был переполнен, все окна открыты. Проводник не мог надивиться на маленького мальчика, который едет совсем один так далеко, да еще в такой красивой фуражке.

— Гляди-ка,— сказал ему проводник,— вон Саксонский лес, там могила Бисмарка.

— Где? — спросил маленький Роберт, высунул голову из окна, и фуражка улетела. Сначала он этому даже не поверил. Летним утром в солнечном буковом лесу просто не могла случиться такая беда. И вдруг он увидел свою фуражку — синее пятнышко на зеленой траве и тут же снова потерял ее из виду, потому что поезд уже обогнул лес и шел все вперед и вперед. Тогда он громко заплакал, чем сначала напугал пассажиров, потом доставил им небольшое развлечение, а в конце концов вызвал их раздражение, и они не стали этого скрывать. Он приехал в Парен с опухшими от слез глазами и непокрытой головой. И потом, когда на уроке истории речь заходила о Бисмарке, он не мог уже относиться к нему дружелюбно.

Мать не купила ему другой фуражки, но, когда Роберт вернулся из плена, оказалось, что она раздобыла и сохранила для него, несмотря на трудные времена, не только пальто и ботинки, но даже шляпу. Эта шляпа тоже была синяя. Сперва Роберт не хотел ее носить, но заметив, как глубоко это задевает мать, нашел, что шляпа очень красива. Она даже пришлась ему впору. И вскоре выдержала серьезный экзамен. На танцплощадке в тот вечер играл полицейский оркестр. Ребята, вернувшиеся из плена раньше, и те, что вообще не уходили из дому, уверяли, что нельзя пропустить такой случай. Роберт надел новые ботинки, пальто и синюю шляпу. Ему казалось, что он похож на пугало, но гордый взгляд матери заставил его промолчать. Когда ему свистнули, он

сбежал с лестницы, открыл парадную дверь, и... шляпа исчезла навеки. Порыв ветра подхватил ее и унес в неизвестном направлении.

Ему попросту не везло со штатскими головными уборами. Вот серая военная фуражка прослужила ему верой и правдой весь плен. Нельзя сказать, чтобы она выглядела под конец чересчур уж красивой — ей приходилось бывать и подушкой, и хранилищем фотографий и бритв, и миской для картошки в мундире, а однажды даже для двух горстей кислой капусты; козырек у нее сломался, она пропиталась потом и покрылась затвердевшими пятнами от муки и постного масла, десятки раз побывала она в дезинсекции, но ни разу он ее не терял.

Две другие шляпы, которые ему довелось носить в своей жизни, тоже не были утеряны, но каждая красовалась на его голове всего один день.

Первая была вообще не его. Она принадлежала Калли, и Калли выглядел в ней чертовски элегантно, он был просто неотразим. Девчонки за ним так и бегали, и Калли утверждал, что все дело тут в шляпе. Он был призван на две недели раньше Роберта и, уезжая, одолжил Роберту свою шляпу. Роберт прошелся по главной улице Парена, от кино до мельничной плотины и обратно, потом снова от кино до плотины и обратно, потом еще раз. Девчонки за ним не бежали, но, наверно, только потому, что шел дождь. Роберт промок до костей, а шляпа — до нитки. Пришлось положить ее для просушки на печь, и наутро она стала Роберту мала. Калли она бы тоже оказалась мала, но Калли так и не вернулся с войны.

А потом была еще одна шляпа — черная. С той было много возни и одни только неприятности. Шляпа эта вместе с сорока двумя такими же черными шляпами из того же магазина приняла в руках Квази Рика точно ту же форму, как и все другие, а потом разделила их общую судьбу. Открыл их Квази. Вернувшись из города в общежитие, он постучал в дверь каждой комнаты, где жили мальчики, и возвестил:

— Шляпы выбросили! Запасайся шляпами, ребята! Теперь их все носят!

Не то чтобы весь факультет, но не меньше пятидесяти студентов РКФ тут же ринулись в магазин за шляпами. Правда, все они были слегка разочарованы, так как шляпы оказались черными и бесформенными, кое у кого и вовсе пропала охота их приобретать, но сорок три черных шляпы тем не менее были куплены, ибо Квази разъяснил, что даже если черные шляпы пока еще и не модны, это положение может резко измениться благодаря дружным усилиям молодежи: ведь тайна моды — в хорошей организации.

Возвращаясь домой, каждый нес свою шляпу под мышкой; в общежитии все по призыву Квази окунули шляпы в воду, а затем уселись в мокрых колпаках возле печей, и, пока с колпаков капали мутные капли, Квази перебегал из комнаты в комнату и вдохновенным движением руки придавал им шик и современную форму. Часам к двум дня модели Рика еще не совсем просохли, а иные и несколько поблекли, но зато успели стать сенсацией.

Девчонки и те ребята, которые воздержались от покупки шляп, высыпали во двор, ожидая появления законодателей моды. Каждого из них окружили, каждому пришлось поворачиваться во все стороны. Во дворе стоял гомерический хохот. И это бы еще ничего — законодатели перенесли его стоически; они даже смеялись вместе со всеми, да и кто бы не рассмеялся при виде скопления сорока трех черных шляп. Но потом какая-то девчонка крикнула:

— Они решили стать пасторами!

И под общий хохот кто-то добавил:

— Ну, чем не школа иезуитов!

А другая девчонка, перекричав всех, возвестила:

— Нет, есть такая секта, «гернгутеры» *, очень благочестивая, это их форма!

Тогда Трулезанд вытащил из кармана газету, скомкал ее, сунул в свою шляпу и поджег. Сперва шел только дым, но потом шляпа вспыхнула, и Роберт положил свою шляпу на шляпу Трулезанда, а уж о том, чтобы и все остальные попали в костер, позаботился сам Квази Рик.

Гимназия представляла собой обыкновенное кирпичное строение в прусском стиле, с матовыми стеклами в нижней половине высоких окон, с темными коридорами и угрюмым привратником. Здесь стоял неприятный запах, и всякий, кто переступал порог этого здания, сразу терял мужество. И надпись над входом, что учатся здесь не ради школы, а ради жизни, тоже никому не прибавляла бодрости, потому что все хорошо знали, как давно уже это тут написано.

Рибенлам вошел в класс и сказал:

— Добрый день! Приветствую вас и так далее. Мы с вами уже знакомы, но кто не намерен, как говорится, жать вовсю, тот со мною еще не знаком. О-го-го, ну и придется же вам поработать! Первым делом составим список класса. Его, собственно, надо бы называть «списком рабочей группы», но это чересчур длинно. А у нас с вами в запасе всего три года. Итак, каждый называет фамилию и профессию, начинаем слева, с первого ряда — громко и отчетливо, а кого волнуют детали, пусть произносит свою фамилию по буквам. Прошу!

Когда список был готов, Рибенлам объявил:

— Теперь вы «Рабочая группа А-1», тридцать четыре человека. Класс великоват, но, надеюсь, он не уменьшится. Мальчики — без затей, девочки — не наживайте детей! Вам придется делать историю. А потому неплохо бы сперва узнать, что это такое — история. Шлюк, почтовый служащий, что такое история?

— История — ну, это то, что случилось на свете. Когда была война и когда кончилась, где, когда образовалось новое правительство и когда были сделаны какие-нибудь открытия — Америка, например, или почему яблоко падает на землю.

— Браво! — сказал Рибенлам.— Вот это называется брать быка за рога. А как давно, по-вашему, фрейлейн Бильферт, швея, существует история?

Когда эта девушка встала, Трулезанд шепнул:

— Спорим, ее зовут Юлия.

— Проиграли,— сказал Рибенлам,— ее зовут Вера. А вас зовут — минуточку — Герд, а не Ромео. Во время занятий у нас здесь нет ни одного Ромео, ясно? Итак, вернемся к истории, фрейлейн Бильферт!

Девушка покраснела и тихо сказала:

— Я думаю, она существовала всегда, с самого начала.

Рибенлам сел на стол и заговорил негромко, словно обращаясь к самому себе:

— Да, так вы думаете, а если я сейчас спрошу вас, когда оно было, это начало, вы сядете в лужу, потому что про Адама и Еву вы говорить не станете, а ничего другого не знаете. И так мы все, в большей или меньшей степени. А потому начало мы пока обойдем и обратимся к тем временам, когда уже появились первые люди, которых наверняка вовсе не звали Адамом и Евой, хотя бы уже потому, что прежде чем давать друг другу имена, надо, как минимум, научиться говорить. Как видите, все это

---

* Игра слов: «гернгутер» («Herrnhuter») звучит по-немецки почти как производное от «Herrenhüte» — мужские шляпы.

довольно сложно. Значит, придется нам пока отложить и этот разговор и возвратиться к тому, что предложил нам Шлюк, почтовый служащий. История, сказал он, это последовательность важнейших событий, в которых участвовало человечество,— например, войны, смена власти, самые значительные открытия, изменяющие жизнь. Неплохо, Шлюк, я поставлю вам отлично, если будете продолжать в том же духе, это не исключено.

Он поднялся и стал ходить по классу: задавал вопросы, комментировал ответы, подбадривал.

— Вас ожидает здесь не совсем то, что вы думаете,— сказал он.— Вы думаете, вы тут просто еще кое-чему подучитесь, и дело с концом, но смею вас уверить, вы глубоко заблуждаетесь. Дело обстоит куда хуже. Вам, молодые люди, придется разучиваться и даже переучиваться. Все мы ходили в среднюю школу, и тот образ мира, который нам там рисовали, стоит, можно так сказать, вверх ногами. А мы попробуем поставить его с головы на ноги. И если вы полагаете, что я в состоянии проделать такое один, то тут вы как раз и ошибаетесь. Только с вашей помощью. Не могу дать вам никаких готовых рецептов, разве что несколько правил, зато довольно надежных. Итак, правило номер один. Но прежде разрешите прочесть вам стихотворение. Я вижу, вы удивлены. Ну что ж, удивляйтесь! Для учителя нет ничего приятнее удивления его учеников. Удивление — фундамент, на котором можно выстроить целую пирамиду знаний. Так вот, стихотворение:

Кто возвел семивратные Фивы?
В книгах стоят имена царей.
Разве цари на плечах таскали обломки утесов?
А Вавилон, многократно разрушенный...
Кто его строил снова и снова? В каком из кварталов
Сверкающей золотом Лимы жили строители?
Куда побрели в тот вечер, достроив
Китайскую стену,
Каменотесы?

Рибенлам читал медленно и деловито, и в голосе его звучало такое раздумье, словно не стихотворение, а он сам задавал все эти вопросы. Кончив читать, он с напряженным вниманием оглядел класс, и на его широком лице отразилось удовлетворение.

— Ага,— сказал он,— мы движемся вперед. Выражение у вас как раз такое, какое должно быть. Словно вам кто-то глаза открыл. Вошел поэт, с портфелем в руке. Кстати, как его фамилия? Знает кто-нибудь?

Роберт поднял руку и сказал, что фамилия поэта Брехт, и, если можно, он хотел бы еще добавить, что стихотворение — просто блеск.

— Можно,— сказал Рибенлам и обратился к классу: — А не придерживается ли кто-нибудь иного мнения, чем... да, как вас зовут? Исваль, электромонтер? Есть другие мнения?

Он обвел взглядом класс и, заглянув в список, сказал:

— Фрейлейн Роза Пааль, птичница, я заметил протест в движении ваших бровей. А ну-ка, выскажите его вслух! Мы все полны нетерпения.

Роза Пааль поднялась, долго молчала, а потом вдруг выпалила:

— Но разве это стихотворение?

Она испуганно села и спряталась за спину сидевшего впереди Квази Рика.

— Фрейлейн Роза Пааль,— торжественно произнес Рибенлам и раскрыл записную книжку,— получает первую пятерку в истории рабоче-крестьянского факультета нашего уважаемого университета. За что? За то, что она сказала «но»; подумала «но» и высказала его вслух. Посмотрите на нее, берите с нее пример. Итак, записываю: «Фрейлейн Роза Пааль, птичница и студентка, получает пятерку за примерное поведение

на уроке». Что же касается ее вопроса по существу, то я ограничусь всего лишь кратким утвердительным ответом. Да, это стихотворение, хотя оно и без рифм. Почему? На этот вопрос вам ответят на уроке литературы, а мы с вами будем держаться поближе к истории. Она необъятно велика, а вот количество часов, отведенное на нее учебным планом, совсем невелико. А раз так, друзья, вернемся к вопросам Бертольта Брехта и к первому правилу нашего нового подхода к истории. «Кто возвел семивратные Фивы?» — вот что нас интересует, вот какой вопрос мы будем задавать отныне всегда. И, проанализировав полученные ответы, мы в один прекрасный день начнем понимать, что такое история.

Когда прозвенел звонок и Рибенлам вышел из класса, Трулезанд обернулся к Якобу Фильтеру и весело спросил:

— Ну как, лесник, все еще трусишь?

Якоб поднял глаза от тетради и осторожно ответил:

— Да, пожалуй, нет, истории не боюсь. Но вот сейчас математика...

Математик, доктор Лазарус Шика, никому не давал спуску, это сразу было видно. Он тут же встал в позу, которая, как вскоре выяснилось, была его излюбленной,— вытянулся по стойке «смирно», пятки вместе, носки врозь, живот подтянут, грудь колесом,— взял указку обеими руками и, держа ее под самым носом, произнес:

— Первое. Из всех предметов, которые вам с сегодняшнего дня придется изучать, важнейший — математика. Второе. То, чем вам предстоит пока заниматься, это еще не математика, а арифметика. И мне это в тягость. Третье. Я воздаю должное старанию и терпению, но принимаю в расчет только результаты. Понятно?

Послышался легкий гул одобрения, а Трулезанд сказал вслух:

— Ну, конечно, понятно!

Доктор Шика ткнул в него своей указкой и любезно спросил:

— Вы полагаете? Тогда разъясните, пожалуйста!

Трулезанд приступил к делу со всей обстоятельностью:

— Предположим, вы поручили мне построить дом — я плотник. Я из кожи вон лезу, пот катится с меня градом — кто ни приходит на стройку, скорей надевает резиновые сапоги. Вот это и есть старание и терпение. А теперь перейдем к результатам. Если в день переезда все это сооружение обрушится вам на голову, то результат вам не понравится и вы, позабыв о моем поте, потащите меня в суд, верно?

— Наглядное объяснение,— заметил Шика.

А Роберт сказал:

— Только что мы не дом вам строим, а хотели бы с вашей помощью уяснить, как нам добраться до математики.

Шика сделал легкий поклон в его сторону:

— Первое. Прежде, чем что-то сказать, полагается просить слова. Второе. Я не застройщик, а вы не представитель профсоюза строителей. Я знаю свои права и обязанности. Третье. Дискуссия окончена, начинается работа. Возьмите карандаш и бумагу, считайте...

Роберт ненавидел арифметику с такой наивной нелогичностью, что время от времени и сам чувствовал, насколько это комично и недостойно. В плену один человек, решивший заняться исправлением мира с помощью психоанализа, говорил ему, что все особенности индивидуума, его причуды и таланты коренятся в переживаниях детства, и Роберт, часами лежа на горячем песке аппельплаца, раздумывал о своей ранней юности и о причинах такой аллергии. Нет, он не мог вспомнить ни одного события, которое хоть в какой-то мере объясняло бы его страх перед числами. Был только один случай, когда арифметика сыграла в его жизни довольно большую роль, но случай этот, если верить теории того человека, должен был бы скорее приохотить Роберта к математике, чем от нее оттолкнуть.

Был у него — кажется, во втором классе — один враг; во врагах, впрочем, у него никогда не было недостатка, но Вальдемар был просто злейшим его врагом. Вот этого-то врага Роберту и удалось нейтрализовать благодаря арифметике, по крайней мере, на некоторое время. В один прекрасный день Вальдемар отколотил Роберта и с тех пор избивал его регулярно, как только кончались занятия. Причин к тому, собственно, не было никаких, и потому Роберт не мог придумать ничего лучшего, как отбиваться, пока хватало сил, плохо ли, хорошо ли работая кулаками, глотая кровь и слезы. Но победа всегда оставалась за Вальдемаром, и Вальдемар стал являться Роберту в ночных кошмарах.

И вдруг пришло неожиданное избавление. Оно исходило от учительницы, фрейлейн Бомеслейн. Три раза в неделю фрейлейн Бомеслейн занималась с ними на последнем уроке арифметикой. Однажды в среду она ввела новый метод: за пятнадцать минут до конца урока она объявила, что сейчас задаст длинный пример со сложением, вычитанием, умножением и делением; каждый будет считать в уме, а кто первый решит, подойдет к ней и скажет ответ на ухо — если правильно, можно уйти, только тихо и быстро.

Роберт никогда не проявлял особого тщеславия в арифметике, он был одним из средних, а на этот раз и вовсе считал кое-как, потому что предвкушал удары Вальдемара. Но, увидев, как Эльзхен Пиль, едва кончился длинный пример, подхватила свой ранец и с торжествующим видом выскользнула из класса, он вдруг прозрел — вечером и на следующий день его сестрам пришлось задавать ему бесконечные устные примеры, и, когда он находил верный ответ, в его голосе звучала надежда. В пятницу он ушел с урока фрейлейн Бомеслейн раньше многих других.

В дни, когда не было арифметики, Вальдемар колотил Роберта сильнее, чем раньше, но он и сам чувствовал, что в системе его образовалась брешь. Он складывал и вычитал теперь на последнем уроке со всей страстью преследователя, в то время как Роберт умножал и делил с лихорадочностью загнанного зверя. И все остальные ребята в классе считали с новым подъемом — ведь их ожидала награда: захватывающее зрелище, от которого жаль было отказаться. А фрейлейн Бомеслейн с восторгом рассказывала коллегам о преимуществах новой методики и однажды даже вступила в негромкий, но решительный диспут с самим директором, пришедшим на ее урок и усомнившимся в педагогичности такого педагогического приема, который, по его выражению, приводит к высоким показателям учебы, суля скорейшее избавление от учебы.

На самом деле, как вскоре заметил Роберт, он ничего не выиграл. Правда, костлявые кулаки Вальдемара не так часто, как раньше, молотили по его спине, но напрягать мозги для решения сложных цифровых загадок, которые с приветливой улыбкой, ничего не подозревая, предлагала их вниманию фрейлейн Бомеслейн, было едва ли не большей мукой.

Роберта не радовала победа, и он прибегнул к средству, воспоминание о котором еще и теперь, тридцать лет спустя, заставляло его краснеть от стыда. Он стал задабривать своего врага Вальдемара. Он приносил ему жертвы, откупался от его ударов оловянными солдатиками, мячиками и лимонадом. И Вальдемар повел себя как прирожденный владыка. Он принимал дары, ничего не обещая. Но оставлял своему рабу надежду. Он избивал его теперь не регулярно, а только так, время от времени, без всякого расписания, как бог на душу положит, хотя и чувствовалось, что до бога долетает фимиам жертвоприношений. Он принимал дары, но делал вид, что неподкупен. В конце концов он оставил в покое тело Роберта, но, увы, не его душу. Он терзал его угрозами телесных мук. И если до сих пор находил удовольствие в публичной пытке, то теперь его прельщало тайное издевательство. После нескольких дней, а иногда и недель сомнительного мира он говорил Роберту без свидетелей и как

бы невзначай, что завтра, пожалуй, пора. Для Роберта наступали часы мучительных раздумий — он рассматривал свои скудные богатства и определял их ценность с точки зрения врага. Враг стал разборчив; теннисный мячик уже не склонял его к миролюбию, пирожное «наполеон» давно не насыщало. Роберт был у него на том положении, на котором повелитель всегда стремится держать своего раба: он совершенно подавлен и все-таки еще в силах развлекать и кормить.

Но тот, кто совершенно подавлен, размышляет не только о том, как умилостивить повелителя, он мечтает о свободе, а потом, увидав, что мечты ни к чему не ведут, ищет путей, чтобы ее обрести.

Сперва Роберт мечтал о смерти Вальдемара — от скарлатины или дифтерита. Раз Эльзхен Пиль умерла от аппендицита, то почему бы не случиться такому и с Вальдемаром? Но надежда была так слаба — его враг отличался завидным здоровьем.

Потом Роберт стал мечтать об учителе, который бы сам обо всем догадался и положил конец этому безобразию. Роберт задавал себе вопрос, как помочь учителю сделать такое открытие; но и от этой мечты пришлось отказаться, он ничего не мог придумать, да и не знал ни одного учителя, от которого можно было бы ждать подобного чуда. Но шагом вперед было уже и то, что он начал раздумывать о своей роли в освобождении.

Он мечтал об ошеломляющих ударах и о страшном оружии, с помощью которого навсегда повергнет в прах своего врага. Но сколько бы раз он ни швырял Вальдемара на землю в своем воображении, кулаки Вальдемара не становились от этого менее тяжелыми. И дело всякий раз кончалось тем, что Роберт вновь решал расстаться то со своей губной гармошкой, то с пригоршней пфеннигов, добытых из дедушкиной копилки.

Но вот однажды после длительного перемирия, пахнущего порохом, Вальдемар подошел к нему, скрестив руки на груди, поглядел в упор, словно ведьма на Гансика, и отошел, не сказав ни слова. Тогда Роберт понял, что час его снова пробил, но он понял еще и другое — с этим пора кончать так или иначе.

Пока фрейлейн Бомеслейн распространялась о красотах родной природы и расхваливала Рейн, на берегу которого она родилась, Роберт не сводил глаз с затылка своего врага, твердого, загорелого затылка с курчавыми волосами. Он видел, что Вальдемар пригибается, прячась за спину сидящего впереди, как только флейлейн Бомеслейн задаст какой-нибудь вопрос.

Когда дверь за учительницей закрылась, поднялся обычный галдеж; все было как всегда. Но Роберт вдруг вышел вперед и встал у парты, за которой сидел Вальдемар; засунув руки в карманы, он долго, не произнося ни слова, глядел на своего врага, пока, наконец, тот не поднял глаз; в классе воцарилась тишина. Роберт сказал:

— Нам надо поговорить. К двум часам придешь на Зонненвег к кривой березе. А вам там толпиться нечего — мне надо много места. Смотри не увиливай!

Роберт вернулся к своей парте и сделал вид, что не слышит свирепого пыхтения Вальдемара и перебранки болельщиков, тут же разделившихся на две партии — одни требовали, чтобы Вальдемар, не откладывая, переломал кости Роберту, другие придерживались мнения, что надо соблюдать условия вызова.

Хотел того Роберт или не хотел, его распря с Вальдемаром снова стала публичной, она вышла из подполья; но что-то здесь в корне изменилось: несмотря на все прежние поражения Роберта, исход ее не был предрешен.

По пути из школы домой его осаждали ребята; они хотели дознаться, что он задумал против этого чурбана — узнал какой-нибудь полицейский прием? Выкопал волчью яму или, может, еще что? Нет, правда, ну что, скажи?

Роберт отвечал односложно, неопределенно; да и что ему было отвечать? У него не было ни плана, ни оружия; он просто сделал решительный шаг, необдуманный решительный шаг.

И хотя сто раз было доказано, что с Вальдемаром не сладишь, он больше не боялся. Он пообедал и сделал уроки, а потом пошел к Зонненвегу.

Многие мальчишки были уже там; они нехотя согласились отойти хоть на сто шагов от поля боя. Одни сидели по краям канавы, другие взобрались на деревья, и все вглядывались вдаль — вот-вот на том конце Зонненвега появится Вальдемар.

Роберт сел под кривой березой и прислонился спиной к ее стволу; он закрыл глаза и, казалось, спал. Прислушиваясь к отдаленным голосам зрителей, он задавал себе тот же вопрос, который задавали они: что будет?

Он знал, что ему не победить Вальдемара, но он знал и другое: на этот раз у него есть более мощное оружие, чем слабые руки, на этот раз его врагу придется повергнуть на землю нечто большее, чем тщедушное мальчишеское тело. И он знал также, что Вальдемару это не под силу — ни Вальдемару, ни кому-либо другому.

Они ждали целый час, и понемногу настроение ребят изменилось. Устав ждать, они начали играть в Виннету и Олдшетерхенд и совсем забыли про Вальдемара. Роберт был Виннету. А когда Вальдемар на другой день сказал, что его не отпустили из дому, ему никто не поверил, поверил только Роберт, он сказал это вслух и протянул Вальдемару руку. С этой минуты он и в самом деле стал Виннету, и Вальдемар никогда больше этого не забывал.

Зонненвег давно уже не похож на охотничью тропу; следы индейцев залиты асфальтом, на месте кострищ звероловов стоят небольшие домишки. Береза уступила место телефонной будке, но улица по-прежнему зовется Зонненвег.

Она находится на северо-западной окраине города, в поселке, расположенном вдали от заводских кварталов и от крутого северного берега Эльбы. Но когда ветер дует в сторону моря, над садами стоит запах дыма, когда он дует с юга, то доносит гудки пароходов, а когда пригоняет дожди и туманы с запада, в воздухе пахнет морем.

Роберт любил этот город, хотя и знал обо всем, что творилось когда-то в его стенах, и обо всем, что в них может еще произойти. Он любил его, и это была несчастная любовь, тайная, тревожная, почти запретная. Над этим городом простиралось небо его юности.

О наводнении и его последствиях в этом районе ничего нельзя было узнать, и все-таки Роберт раньше всего поехал сюда; здесь жила его мать. Когда он вошел в кухню, она сказала:

— Вот как хорошо! — и сняла с плиты кастрюлю, которую только что поставила на газ.— Надо добавить еще картошки, сейчас почищу. А может, сделать тебе пока бутерброд?

Она обрадовалась фотографиям внука, которого знала все еще только по карточкам, и спросила про Веру, как всегда, сухо, потому что родители Веры были католики.

Она жаловалась на дороговизну и ругала Аденауэра, тоже католика, и тех, кто распорядился провести над ее участком высоковольтную линию — теперь только и жди помех в телевизоре. Костюм и ботинки Роберта ей понравились, но сам он чересчур уж худ, правда, он и всегда был таким — в точности, как его отец. Потом она спросила о том, о чем спра-

шивала всякий раз, увидев Роберта,— защитил ли он, наконец, диплом, и, как всегда, огорчилась, когда он отрицательно покачал головой. Она просто отказывалась понимать, как это человек, который так поздно пошел учиться и так долго мучился, чтобы получить высшее образование, ограничился сдачей государственных экзаменов, и пеняла ему, что по его вине не может с триумфом заявить знакомым: «Мой сын получил диплом».

— Придется уж тебе довольствоваться снохой,— тоже, как всегда, ответил Роберт,— но я хочу тебе сделать одно предложение: в тот день, когда ты напишешь мне, что кто-нибудь из ребят с вашей улицы стал студентом и отцу его при этом не пришлось выбиваться из сил,— в тот самый день я еще разок подумаю о защите.

Мать отмахнулась, она слишком давно жила на этой улице.

Роберт пообедал с матерью и ее угрюмым третьим мужем, который наверняка был хорошим человеком, но больным и на редкость неразговорчивым. Кроме суждения о преимуществах табака «ХБ» перед «Урожаем-23», от него так ничего и не удалось добиться...

Вот шурин Роберта, Герман, был совсем другим человеком, во всяком случае по вечерам. До обеда он спал, и вместе с винными парами испарялась бóльшая часть его пугающе предприимчивого духа.

— Наводнение! — воскликнул он, сидя с Робертом в задней комнате своей пивной на Реепербане и уже пропустив для подкрепления стаканчик-другой.— Для тебя это все небось просто дерьмо. Прошу прощения, ты у нас человек образованный! А вот мы и в самом деле оказались в дерьме: три дня национального траура, ни пфеннига не заработаешь, а налоги дерут... Им-то что!

В газете были фото, как там этих бедолаг хоронили. Народищу! Конечно, тут бы в самый раз и залить свое горе, да ведь нельзя — национальный траур! А дождь! Я вообще сделал наблюдение — как кого хоронить, дождь уж обязательно тут как тут. Я и сам, помню, произнес как-то надгробную речь. Ну, брат, здорово получилось, вот бы тебе записать. Это когда наш председатель помер, Корс-бриллиантщик, он, понимаешь, был председателем нашего ферейна — продавцов случайных вещей. Ну, все это были, конечно, скупщики краденого, а что поделаешь, куда же им, горемыкам, деваться со всем награбленным добром? Наш ферейн был зарегистрирован, все по закону, и на похороны Корса-бриллиантщика явились все как один.

Я был вторым председателем, потом-то я стал первым, и тут вдова этого Корса меня спрашивает, не скажу ли я речь, ну, ясное дело, это ведь долг чести. А такую речугу толкнуть, сам понимаешь, штука непростая, все тебя слушают, знаешь ведь, как легко сказать что-нибудь не то.

Дождь целый день льет как из ведра, но все чин по чину, все в черных костюмах, только шпики выделяются — голодранцы голодранцами. Да мы-то их всех знаем, и кому не надо было тут быть, того тут и не было — почтение тоже имеет свои границы.

Тим-часовщик держал надо мной зонт: а то как станешь говорить с зонтом в руке? И я сказал, так это, знаешь, торжественно: «Вот ты лежишь здесь, Корс-бриллиантщик, оставив нас одних в борьбе с суровой жизнью...»

Тут я сделал паузу, и только слышно было, как идет дождь, и край зонта плясал передо мной так чудно, и когда я поворачиваюсь к Тиму-часовщику эдак вполоборота, то замечаю, что он еле на ногах держится — рыдает навзрыд. Ну, я и сам-то был хорош. Долго еще я молчал, а потом говорю: «Смерти никому не миновать, но для тебя, Корс-брил-

лиантщик, для тебя бы я сделал исключение, если б на свете была справедливость». Потом опять выдерживаю длинную паузу, и тут уж мне пришлось взять зонт в свои руки, потому что Тим-часовщик держал его где-то совсем не там, где была моя голова и мой черный костюм.

Даю тебе честное слово, сам инспектор Клукхон из пятого отделения достал из кармана носовой платок, когда я сказал — погоди-ка, как это, ах, да: «Если между Миллерntором и Нобистором билось когда-либо честное сердце, то это было твое сердце, Корс-бриллиантщик, и мы, стоя здесь, под этим дождем, перед этой мрачной прямоугольной ямой, в которую тебя сейчас опустили на наших глазах, затуманенных слезами, мы, стоя здесь, не хотим верить, что отныне все так изменилось. Это просто несправедливо!».

Ох, ну и плакали все, и притом еще этот дождь, я и сам, знаешь, стою, и прямо дрожь меня пробирает под этим зонтом. Да, говорить я всегда умел и иногда вот даже думаю: жаль, ты это все не записываешь, глядишь, и получился бы настоящий бестселлер.

Теперь-то я уж не на той высоте, а вот посмотрел бы ты на меня в молодости! Я с семьюдесятью четырьмя пфеннигами в кармане в Гамбург приехал; дело было в девятнадцатом, сразу после первой войны. Остановился я на постоялом дворе «Родина». В сочельник захотел там один проходимец пропустить стаканчик ради праздника, вот он и уступил мне за мои семьдесят четыре пфеннига свою рубашку, совсем новую, только один раз надеванную. Утром это было, а вот теперь слушай: отправляюсь я на улицу Сент-Георгштрассе, где-то на задворках звоню к какой-то старушке. Говорю: «Видите ли, бабуся, я мог бы сейчас получить работу, но туда надо явиться в чистом, не согласились бы вы привести в порядок мою единственную рубашку?» Она, конечно, все сделала — выстирала, выгладила, еще тарелку супу мне налила; знала ведь, что это значит — получить работу. Это, говорит, я делаю из солидарности. Ну, рубашка опять как новая, и я тут же выручил за нее три марки шестьдесят пфеннигов.

На три марки я накупил новогодних открыток — по два пфеннига за штуку. Шестьдесят пфеннигов оставляю в резерве. А под вечер, как стали повсюду украшать елки, я и двинул. Делаю надпись на конверте: «Безработный просит о помощи. Купите одну из прилагаемых открыток. В случае отказа прошу возвратить открытки тем же путем». Конверт сую в щелку для писем, а сам звоню. Успех невероятный! Новогодние открытки на рождество нужны всякому, ну, и почти все в это время года настроены очень приветливо. Цену я не называл, и кое-кто давал даже по десять пфеннигов за штуку. А вечером меня везде приглашали отведать рождественского пирога. Вскоре я стал говорить, что у меня болит живот, и класть куски пирога в портфель с открытками. Он тут же наполнился доверху, пришлось мне даже два раза бегать на постоялый двор его выгружать. Потом я прихватил с собой одного типа, он стоял у подъезда с двумя большими сумками. До того, как закрыли писчебумажный магазин, я успел еще прикупить открыток. Мне ведь, сам понимаешь, оба праздничных дня из квартиры в квартиру ходить, когда еще будет такой сезон! А вечером на постоялом дворе пожирали мои пироги, ну, парень, и наворачивали! Я велел составить столы, вывалил на них все это добро и давай продавать по пфеннигу за штуку. Задаром! Прямо из рук рвали! И все же кое-что, сам понимаешь, я на этом деле подзаработал.

В общем, за рождество я нажил тридцать одну марку сорок шесть пфеннигов. А если ты теперь вспомнишь, с чего я начинал, то поймешь, что я был за парень. Учти еще **гогдашний кризис** — никакой покупательной способности!

Роберту были уже известны почти все истории Германа, но он всякий раз выслушивал их заново с глубоким интересом. Это были небылицы, охотничьи рассказы, изложенные в сентиментальном духе и расцвеченные воспоминаниями о воскресной школе и сведениями о движении акций на бирже — извращенные вариации на тему о чистильщике, ставшем миллионером.

Герман Грипер не был миллионером, но для этого ему не хватало совсем немного. Его заведение было невелико, если судить по помещению, но зато удачно расположено — как раз посредине Реепербана, и тот, кто шел или ехал из гавани, почти неизбежно попадал прямо в его раскрытые двери. За сутки пивная Германа обслуживала примерно столько же клиентов, сколько проходит пассажиров по перрону железнодорожной станции. У него подавали только сосиски, картофельные оладьи и напитки, но его годовой оборот по одним лишь сосискам значительно превышал полмиллиона. Пивная называлась «Острый угол», но самым острым блюдом в этом «Углу», включая горчицу, ром и жующих сосиски завсегдатаев, был и оставался сам Герман.

Он не хвастал, говоря Роберту: «Ты просто болваном будешь, если не останешься и не напишешь мои мемуары! Ведь ты бы на этом деле дуриком кучу денег заработал, я тебе гарантирую! Тридцать лет уголовщины, и ни одного дня отсидки!».

Это было удивительное явление; Роберт не раз наблюдал его с изумлением, но так никогда и не сумел объяснить себе до конца. Человек мог достичь предела своих желаний, стать министром, маршалом, банкиром или гангстером на покое, но в один прекрасный день им непременно овладевало бешеное желание выйти на широкую арену со своими триумфами и прибавить ко всему достигнутому еще нечто, чрезвычайно для него ценное: книгу, написанную собственной рукой. И когда Герман Грипер, без пяти минут миллионер с тридцатилетним жульническим стажем, рассказывал шурину легенду своей жизни, он делал это не только ради того, чтобы прельстить его материалом, но и ради того, чтобы хотя бы таким путем избавиться от своего груза. Раз уж нельзя написать книгу, пусть хоть кто-нибудь выслушает.

Прошлое, к которому обращал свой взор Герман Грипер, трудно было назвать светлым, и рассказывал он о нем без всякого юмора. Он развертывал перед Робертом воспоминания разжиревшей и охромевшей канализационной крысы, но они были довольно занятны, особенно если учесть обстоятельства, при которых рассказывались.

Герман лежал на диване и всякий раз, приподымаясь, чтобы подлить в стаканы, чуть отодвигал занавеску на маленьком окошечке и, заглянув в зал, считал гостей у стойки и за столиками «Дела идут»,— говорил он обычно с удовлетворением и время от времени барабанил пальцем в стекло, напоминая своей жене, что пора «удить рыбку». Жена его, Лида, сестра Роберта, входила после этого в комнату и приносила часть выручки — вынутые из кассы крупные ассигнации. Герман разглаживал их ладонью и прятал в бумажник, лежавший у него под подушкой. При этом он давал Лиде указания, сколько горчицы должны раздатчицы класть на тарелки, и велел ей следить за тем, чтобы вчерашние позеленевшие сосиски подавали не кому попало, а тому, кому надо. Лида выслушивала его приказы холодно; она уже давно жила в этом вертепе и хорошо знала свое дело, а муж ее был на двадцать пять лет ближе к могиле, чем она сама. Выходя, она подмигивала Роберту, а как только оказывалась за дверью, Герман тоже ему подмигивал и принимался расхваливать усердие и деловые качества его сестры.

— А сколько она работает! — не унимался он.— Да это просто клад, золото. Я и сам когда-то работал вовсю, ух, и работал, скажу я тебе, с утра до ночи. Кто-то напел мне, что так зарабатывают деньги.

и я, как дурак, поверил. Нанялся я в порт на элеватор. У них был такой зернопровод, он зерно прямо с барж отсасывал. Труба шла прямо, а потом загибалась, и там была небольшая дверца, потому что в этом месте иногда получался затор. Вот к этой-то дверце меня и приставили. Я должен был смотреть, как скользит зерно, и помешивать его специальной палкой, если какая заминка. Ну, и зрелище, скажу я тебе, поток золотого зерна, миллионы, миллиарды эдаких малюсеньких штуковинок, но мне не нравилось, что они все норовят мимо меня да мимо меня, и тем быстрей, тем самоуверенней, чем чаще я шебуршу моей палкой. Этак, брат, сказал я себе, останешься с носом; вот тогда-то я и стал деловым человеком.

Сперва торговал золотыми часами. Их и впрямь, знаешь, не отличить от золотых, когда получаешь от реставратора. Тут главное не допустить проникновения воздуха; они, понимаешь, позолочены методом обжигания, так это называется, и выдерживают всего лишь сутки. Я покупал всякий раз по три пары, каждая обходилась мне по восемь марок и восемьдесят пфеннигов. Двое часов у меня были в коробочках, хорошо упакованы в вату, из-за воздуха, сам понимаешь, а одни в жилетном кармане. Вот я и прогуливаюсь воскресным утром по Реепербану, когда пижоны возвращаются с Фишмаркта. Всякая там деревенщина, парни, приехавшие из глухих мест, знаешь, решили стать людьми, пережить что-нибудь эдакое. По вечерам-то они обычно осторожны, ну а утром что может случиться?

Мой первенький был сыном мясника из Бремервёрде. Сперва я за ним понаблюдал, потом подхожу, снимаю шляпу, очень взволнован. «Простите,— говорю,— я не здешний, не знаете ли вы, где тут ломбард?» «Нет,— говорит,— я тоже приезжий, а разве ломбарды вообще-то по воскресеньям открыты?» Тут я побледнел, наверно, совсем стал зеленым с лица, потому что он говорит: «Что это с вами, вам плохо, а что вам вообще-то надо в ломбарде?»

Ну, я рассказываю ему, что наделал долгов, а мой кредитор грозится теперь все рассказать отцу, если я не заплачу до обеда, вот я и хотел заложить часы. Тогда этот голубчик глядит на меня эдак с хитрецой и говорит, что прекрасно все понимает, у него тоже строгий отец, мясник в Бремервёрде, но он, пожалуй, мог бы мне помочь: а ну-ка, посмотрим, что за часы такие.

Я поскорей достаю часы из жилета, а сам первым делом гляжу, золотые ли они еще, а он, увидев, что часы золотые, скорчил такую гримасу, как все равно в кинофильме, когда играют в покер. «И сколько же вы за них хотите?» — спрашивает, а я отмахиваюсь: «Да я не собираюсь их продавать! Это подарок отца на конфирмацию, он всякий раз про них спрашивает, они ведь такие дорогие! Потому-то я и хотел в ломбард, оттуда я их всегда могу назад взять, как буду опять при деньгах».

Ну, брат, дает мне этот осел тридцать марок под залог часов и записывает свой адрес, чтобы я мог их у него выкупить за тридцать пять, когда у меня будут деньги. Эмиль Шульц, говорит, это и есть я, в Бремервёрде спросишь любого, там меня каждая собака знает. Да что вы, говорит, не стоит благодарности, всегда рад помочь, и тут, гляжу, он пошел прочь — сперва потихоньку, не спеша, а потом все быстрей и быстрей, и если он очень поторопился, то часы еще были золотыми, когда он перешагнул порог своей мясной лавки.

Вошла Лида, взглянула на уровень в бутылке и молча подождала, пока Герман досмакует свой рассказ.

— Ты лучше его не слушай,— сказала она,— он говорит правду. После второй бутылки он всегда говорит правду. Ну, как, был ты в Парене?

Она всякий раз спрашивала про Парен, но Роберт знал, что спрашивает она совсем о другом. Она приехала в Парен тогда же, когда и он — во время войны, спасаясь от бомбежек, и уехала из него в тот же самый день, что и Роберт, но по другим причинам и в противоположном направлении. Роберту из-за этого чуть не пришлось распроститься с факультетом, и если бы не Рибенлам и Трулезанд, кто знает, чем бы все это кончилось.

На третий день после начала семестра Роберта вызвали к директору. Старый Фриц сидел выпрямившись за своим письменным столом, Ангельхоф — латинист и секретарь партбюро — стоял у окна. Они не предложили ему сесть и не ответили, когда он поздоровался.

Вёльшов, директор, рассматривал какую-то бумажку; потом он сказал:

— Мы получили тут сообщение.

Роберт взглянул на бумажку, но Вёльшов сунул ее под стекло письменного стола. Потом он сделал приглашающий жест рукой и сказал:

— Твое отношение! Высказывайся! И побыстрее!

Роберт беспомощно посмотрел на Ангельхофа, но тот и бровью не повел. Роберт перебрал в уме все темные пятна своей биографии, но не нашел ни одного, о котором бы не упомянул в автобиографии или в анкете. Разве что из партшколы сообщили про выговор, который он получил там за то, что поцеловал одну девчонку во время семинара по экономике? А может, стало известно про его споры с мужем матери, заслуженным антифашистом? Или про Ингу, пасторскую дочку? А может, он здесь, на факультете, сделал что-нибудь не так? Например, у Шика на уроке математики?

— Я хотел бы сперва узнать,— сказал он,— о чем идет речь.

— Судя по ответу,— сухо заметил Ангельхоф,— речь могла бы идти о многом.

Роберт молчал, наконец Вёльшов спросил:

— Как давно ты знаешь свою сестру?

— Что?.. Какую именно?

— Ту самую, о которой идет речь,— сказал Ангельхоф.

Роберт обернулся и стал говорить, чувствуя, как постепенно теряет самообладание:

— Я не знаю, о какой из них и о чем идет речь. У меня две сестры. Одну зовут Лида, она моложе меня на год, другую — Гертруда, она на год меня старше. Если можно кого-нибудь знать со дня рождения, то я знаю Гертруду двадцать три года, а Лиду — двадцать два; ей как раз исполнилось двадцать два.

Старый Фриц хлопнул по бумажке, которую снова вытащил из-под стекла, и разразился:

— Не вижу никаких причин для иронии. Так о какой из двоих, по-твоему, идет речь?

Прежде чем Роберт успел ответить, вмешался Ангельхоф:

— Да ведь он уже себя выдал. Он назвал Лиду первой, хотя она младшая. А ну-ка, Исваль, выкладывай, какую роль ты играешь в этом деле.

— Пусть сюда придут товарищи Рибенлам и Трулезанд,— сказал Роберт.— Товарищ Рибенлам — руководитель моей рабочей группы, а Трулезанд — мой друг. Без них я больше ничего не скажу.

— Интересно, интересно,— сказал Ангельхоф, но Вёльшов приоткрыл дверь в соседнюю комнату и дал какие-то указания секретарше.

Пока те не вошли в кабинет, никто не проронил ни слова; Ангельхоф тихонько насвистывал.

— Что случилось? — спросил Рибенлам, и Вёльшов потряс своей бумажкой:

— Его сестра убежала на Запад, а он не считает нужным высказаться по этому поводу.

Роберт не обратил внимания на эту подтасовку, он только подумал: «Лида, господи, да что же это? Что с тобой, что ты наделала?»

— Когда? — спросил он.

— В тот же день, вслед за тобой,— сказал Вёльшов.— Через несколько часов после твоего отъезда. Не станешь же ты утверждать, что это случайное совпадение.

— Ты знал об этом? — спросил Трулезанд.

— Ты спятил?

Ангельхоф отошел, наконец, от окна и стал ходить взад и вперед по комнате.

— Случайное совпадение! — произнес он.— Случайность — это точка пересечения двух необходимостей. Ни одна черепица не упадет с крыши, если она до того не расшаталась и если не подует ветер. А у вас с сестрой откуда ветер дует, Исваль?

— Даю честное слово,— сказал Роберт,— что я об этом ничего не знал и не знаю.

Ангельхоф перебил его:

— Честь — это вообще из другой оперы!

— Гм, Исваль,— заметил Рибенлам,— ты ведь взрослый человек и должен понимать, что такие вещи не случаются ни с того ни с сего. Так что же с ней стряслось?

— Стряслось с ней много чего,— сказал Роберт,— у нее несчастная любовь. Нечего смеяться, товарищ Ангельхоф, такое в самом деле бывает на свете. И ты наверняка перестанешь смеяться, если я тебе скажу, в чем дело. У нас жил советский капитан, гарнизонный врач...

— Русская...— сказал Ангельхоф и тут же смолк. Но Роберт договорил за него:

— «Русская любка», совершенно верно, так у нас говорили — и булочник по соседству, и солдатская вдова под нами. Скажу откровенно, мне тоже было не сладко, когда я про это узнал. Потом-то я подружился с Сашей, и мне их было здорово жалко — и сестру, и его. Под конец они только и делали, что пили и ревели. Слух о них дошел до комендатуры, а они знали, чем это пахнет. Я спал в комнате над ними и каждый вечер все слышал, а однажды слышу — плачет только Лида: Саша не пришел и никогда уже больше не приходил. Тут соседи осмелели и стали выговаривать вслух то, о чем раньше только шептались. Но если она отправилась на Запад, черт бы ее взял...

Черт ее не взял. Она стала женой Германа Грипера. До этого она много чего перепробовала — работала и в тире, и подавальщицей, чуть не вышла замуж за ювелира с острова Зильта, но свадьба эта расстроилась, потому что мать ювелира разнюхала о ее прошлом.

Писем она не писала, и Роберт ей не писал, но они встретились на каком-то семейном празднике в Гамбурге, и с тех пор он иногда к ней заходил. И всякий раз она спрашивала его с проблеском бессмысленной надежды в голосе: «Ну, как, был ты в Парене?»

Но Роберт давно уже не был в Парене. Да, пожалуй, теперь там и не осталось никого из тех, кого он близко знал. Сначала уехала Лида, потом мать. И Инги теперь уже в Парене не было. Инга знала, как все будет. Когда Роберт уезжал учиться, она проводила его на вокзал и долго-долго смотрела на него, словно стараясь стыскать что-то в его лице.

— Здесь? — спросил он и вытер лоб рукой. Но она все смотрела и смотрела, и только когда подошел поезд, сказала:

— Да нет, ничего, так.

Она стояла, опустив руки, рядом с тронувшимся поездом и плакала, и Роберт не понимал почему. «Из-за каких-то несчастных трехсот километров нечего реветь,— беспомощно думал он,— а на воскресенья я буду приезжать домой, ведь она это знает!»

Сначала он, и правда, почти каждую субботу приезжал в Парен, но это было долгое и дорогое путешествие, и на пребывание там оставался всего один коротгкий день, а когда случались неполадки с расписанием, то и вовсе полдня.

На этот раз Ангельхоф не хотел его отпускать.

— У нас митинг,— заявил он,— а ты намерен увильнуть? Хорош, нечего сказать! Ты, видно, плохо представляешь себе историческое значение такого дня! Мы празднуем рождение Германской Демократической Республики! Это историческое событие такой же важности, как канонада под Вальми, а ты лезешь со своими семейными делами.

— Про эту канонаду я не слыхал, но газеты читаю, и надо уж быть совсем чокнутым, чтобы не понимать постановлений.

— Вот и понимай,— сказал Ангельхоф.

— Я хочу выяснить, что там с моей сестрой,— сказал Роберт,— она всегда была молодцом, ей, видно, туго пришлось, уж поверь.

Ангельхоф сказал, что ждет в понедельник подробного отчета, и отпустил Роберта.

Но в Парене все знали только одно — Лида исчезла, оставив в своей комнате записку, что уезжает в Гамбург и никогда не вернется.

Мать Роберта тоже не смогла рассказать ему ничего другого, а Нусбанк, ее муж, был глубоко уязвлен. Разве не доказывал он постоянно, вопрошал он, что готов на все ради семьи, ради детей; разве не проявил он себя как настоящий отец, разве уклонялся от каких-либо обязанностей и давал им понять, что он только отчим? Но эта девчонка всегда была слишком упряма и не прислушивалась к его предупреждениям, что надо мыслить политически и знать границы братанью. И какова логика: раз она не может уехать со своим Сашей на Восток, она бежит на Запад и бросается в объятия преступников. И это теперь, когда основана Республика! Ведь это дело политическое, ведь это значит лить воду на мельницу тем, кто только и ждет случая подставить ножку товарищу Нусбанку.

— Нет, на меня вы больше не рассчитывайте, у меня и без того трудностей хватает, и вообще я теперь буду целые дни разъезжать по деревням, растолковывать крестьянам значение текущего момента. Ну, мне пора, надо еще обеспечить хор и гитаристов для сегодняшнего митинга. Лизхен, ты почистила мои ботинки?

Мать Роберта подала мужу ботинки и сказала:

— Тебе нельзя так волноваться, Эрнст; гитаристы — это хорошо, но с Лидой наверняка дело не политическое. Если подумать, то понятно, почему Лида убежала именно туда. Не только из-за того, что там родственники. А потому, что там она не будет встречать никого из русских.

Эрнст Нусбанк перестал шнуровать ботинки и посмотрел на жену с тяжелым недоумением.

— Не гляди на меня так,— сказала она,— ведь это вполне объяснимо. В последнее время с ней просто по городу ходить нельзя было — как завидит русскую военную форму, так и рванется вперед, а подойдет поближе и сникнет: не Саша. Этак долго не выдержишь. А в Гамбурге нет русских.

— К сожалению,— сказал Нусбанк.

— Пусть к сожалению, тем не менее это так,— возразила ему жена,— и значит то, что случилось с Лидой, не связано с политикой.

Нусбанк начал было ей объяснять, что все связано с политикой, но Роберт напомнил ему про гитаристов, и тот спохватился, что времени у него в обрез.

Когда Нусбанк ушел, мать Роберта сказала:

— Я тебя даже не спросила, как тебе нравится в университете. Не слишком утомительно? А кормят вас прилично? Я приготовила тебе еще смену постельного белья, возьмешь с собой. А учителя у вас симпатичные? Они уже заметили, как хорошо ты пишешь сочинения? Если бы твой отец дожил до того, что его мальчик стал студентом, он бы, наверно, заплакал от радости. Ах, твой отец...

Тут она расплакалась, и Роберту еле удалось ее успокоить, а потом он взял ее велосипед и поехал в Бардеков к Инге.

Под открытым окном чердачной комнаты, где жила Инга с матерью, он свистнул и стал ждать.

Инга вышла из дому и пошла по деревне в сторону пруда.

Сначала Роберт пробовал убедить ее не делать из их дружбы такой уж тайны, но ему ничего не удалось добиться.

Она была в черном костюме, и Роберт спросил:

— Собираешься в церковь?

— Я уже оттуда.

— А целоваться после этого можно?

— Попробуй.

— Гм, отлично. Надо тебе почаще ходить в церковь.

— Пастор сказал, что вы хотите стереть с лица земли Германию.

Роберт расстелил свой солдатский мундир на пне и сел.

— Ну, пойди сюда,— сказал он,— и признайся: веришь ты этому? Веришь, что я хочу стереть с лица земли Германию?

Она села рядом и сказала:

— Ты — нет,— но смотрела не на него, а куда-то в сторону.

Роберт повернул ее лицо к себе:

— Только не увиливай. Ты сама сказала «вы», а теперь хочешь сделать для меня исключение. Но ведь ты понимаешь, что исключить меня нельзя. «Вы» — это верно, а вот «стереть Германию» — это чушь. Ваш пастор или болван, или опасный человек.

— Теперь ты тоже сказал «ваш»,— заметила Инга.— Я говорю «вы», и ты — «вы», а для «ты» и «ты» у нас, кажется, не остается места. Что же будет дальше?

— Сядь поближе.

Но Инга не шевельнулась, и Роберт сказал:

— Когда пастор расправляется как попало с библейской историей, тут я ничего не могу сказать — он при сем не присутствовал. Но ведь здесь-то он присутствует, здесь-то он может глядеть во все глаза, и если он так сказал, значит просто лицемерит. Ты что же, не видишь этого?

— Давай больше об этом не говорить,— сказала Инга.

Они пошли обратно к шоссе, а потом брели без дороги, и Инга подобрала картофелину, забытую в поле, и тогда они стали искать еще и рассказывать друг другу про костры, которые жгли в детстве на полях под Кёнигсбергом и в саду в предместье Гамбурга, и расписывать, какие огромные были те печеные картофелины, и на вкус как марципаны, «а у нас — как шоколад, их можно было есть не с фасолью, а даже с ванильным соусом»; «ну, это еще что, вот у нас были такие, что подложишь их наседке, и цыпленок вылупится — правда, высиживать его надо немного подольше, ведь все-таки картошка, да и цыплята-то не простые, а фазанчики...» Но на поле за деревней Инги они не нашли больше ничего, да и было бы чудом что-нибудь там найти.

Роберт вывел свой велосипед из кустов у пруда и уже перекинул ногу через седло, когда Инга сказала:

— Нам раздали анкеты для экзамена на аттестат зрелости в будущем году. Там спрашивается, есть ли родственники за границей. Что ж мне теперь писать — да, брат в Гёттингене и две тетки в Баварии? С седьмого октября 1949 года, так, что ли?

Роберт прислонил велосипед к тополю и сказал:

— Что за чушь, это ведь только переход...

— От чего к чему? От Германии к России и Америке?

— Нет, от... ах, черт, ты на все смотришь не знаю чьими глазами. Да посмотри ты своими... много ли ты видела за свои двадцать лет от этой самой Германии, что сейчас так причитаешь? Что ты видела, кроме пушек, свастик и военных сводок да городов, где горели крыши, а не фонари? Я лично ничего больше не видел. А вот хочу посмотреть и на что-нибудь другое. Я прошел всю Польшу и часть России и видел не пейзажи, а только поля сражений. Я не бродил, а маршировал, и каска на голове заслоняла от меня небо. Неплохая была когда-то рекомендация: приходишь куда-нибудь, и люди знают, что ты немец. А я хочу, чтобы это и вправду было хорошей рекомендацией, и не хочу, чтобы все зарывались в землю, оттого что я пришел, и сам не хочу больше зарываться в землю ни как солдат, ни как пленный, ни в чужой стране, ни у себя дома. Почему ты никак не поймешь, что теперь все может пойти по-другому? Теперь мы не Германская империя и не Великая Германская империя, а Германская Демократическая Республика, ты, может, не так чувствуешь разницу: съездила на прошлой неделе из деревни в город, в школу, и завтра опять поедешь из деревни в школу... А вот я... вчера, когда было объявлено, что мы теперь Республика, Германская и Демократическая, так вот я уже четвертые сутки жил в доме, который называется «Общежитие рабоче-крестьянского факультета». Может, такое название кого с непривычки и раздражает, как и название «ГДР», но ничего, это пройдет! Главное, все здесь соответствует действительности, это так и есть, и тебе я могу сознаться: я горжусь всем этим, я чуть ли не лопаюсь от гордости.

— Оно и заметно,— сказала Инга,— вот-вот лопнешь. Но это еще не причина говорить такие длинные речи. Я растеряна, а ты произносишь речь. Да что речь! Проповедь читаешь. Уж в этом-то я кое-что понимаю. А еще неверующий. У человека нет времени, поезд уходит, причем не по расписанию германского рейха, а по расписанию Германской Демократической Республики, а он становится под мокрый тополь у пруда и читает проповедь о том, что отныне нельзя быть грешником, пора стать ангелом — германским, демократическим. Садись-ка на свой велосипед, проповедник, тебя ждут на небе, а меня — моя мать.

Она помахала ему вслед рукой, и на этот раз у него гора с плеч свалилась, когда поезд тронулся. Сообщение, которое он сделает Ангельхофу, наверно, покажется тому довольно скудным, но разузнать что-либо о Лиде оказалось просто невозможным. Теперь Роберту было все-таки досадно, что он не принял участия в митинге по случаю основания Республики, и еще ему было почему-то досадно, что он ничего тогда не знал о канонаде под Вальми. Впрочем, к его утешению, никто из соседей по комнате тоже ничего о ней не знал.

Было уже далеко за полночь, когда Роберт явился в общежитие, но здесь шла оживленная дискуссия. Квази Рик разведал, что ребята на верхнем этаже начали давать названия своим комнатам. Жаль, конечно, что идея эта родилась не в комнате тридцать второй, но лучше поздно, чем никогда. Квази предлагал назвать комнату «Германская Демократическая Республика», Трулезанд и слышать об этом не хотел.

— Да ты представляешь, что это значит,— кипятился он,— только и делай, что подметай да убирай. В тридцать второй грязь по колено —

еще кое-как звучит, а примерь-ка к твоему названию... А что, если «Седьмое октября»?

— «Седьмое октября», конечно, здорово,— сказал Квази,— только об этом и без нас догадались, одну комнату так уже назвали.

— Тогда, может быть, просто «Октябрь»,— предложил Якоб, но это предложение было единогласно отвергнуто.

— Еще скажут,— возразил Трулезанд,— что мы только о яблоках и думаем. Тут должна быть политическая ясность, а потому вношу предложение: назовем эту комнату «Красный Октябрь».

Принято единогласно.

Роберт оторвал обложку от блокнота для рисования. Трулезанд толстым карандашом написал на ней название, а Якоб сделал из проволоки четыре гвоздика. Но когда они начали прикреплять вывеску к двери, Квази Рик заявил, что получается слишком уж сухо.

— Надо бы сюда еще чего-нибудь добавить,— сказал он,— например, звезда была бы квази в самый раз.

Трулезанд нарисовал пятиконечную звезду, красный флажок и пулемет с ярким пламенем на конце дула, а в уголке еще книгу, по настоянию Якоба. Когда все легли и погасили свет, Трулезанд сказал:

— Попадет нам за эту вывеску.

Все ждали разъяснения, и Трулезанд продолжил:

— Роберт этого не знает, он не был на митинге, но вы-то все ведь знаете, какое сейчас положение. Слышишь, Роберт? Шагаем мы сегодня по городу и сперва поем «Восстанавливай, строй!», потом «Небо Испании», дальше поем «Вперед, вперед, рабочий народ!» и, наконец, естественно, «Интернационал». Каждый, конечно, заметил, что «Интернационал» лучше всего, и потому мы тут же затянули его во второй раз, а когда пришли на Марктплац, то давай опять его петь. Здорово звучало! Но потом Старый Фриц взял нас за бока — говорит, что это было вовсе неуместно; мол, Германская Демократическая Республика стоит на страже антифашистско-демократического порядка, а мы своим «Интернационалом» отпугиваем людей, так сказать, неподготовленное население. Я, по правде говоря, как-то не совсем понимаю, в чем тут дело, но отнестись к этому случаю надо критически и самокритически. Кого мы, собственно, отпугиваем? И не те ли это, кого стоит разок стукнуть?

— Помню,— сказал Роберт,— у нас в лагере тоже был случай с «Интернационалом», и тоже неуместный. Мы там организовали антифашистскую группу; тогда нас было еще немного, но пели мы здорово и приветствовали друг друга поднятым кулаком, по-ротфронтовски. Это ввел один портной, правда, его-то мы потом разоблачили. Когда была создана антифашистская школа, тут и католики зашевелились. Конечно, у них совсем другое дело: поют себе «Аве Мария» да четки перебирают, вот чем они действовали — народу у них собиралось побольше, чем у нас. Как-то в воскресенье утром устраивают они богослужение под самыми окнами нашей школы. У них был польский священник. И их пение врывалось прямо в наш семинар на тему: «Цена, прибыль и заработная плата». Тогда мы открыли окна и давай петь «Интернационал», пели до конца и снова начинали, пока они не сдались. А все остальные, не антифашисты и не католики, стоят вокруг и надрывают животы от смеха. Вот в этом-то и была наша ошибка.

— Ну, ладно,— пробормотал Квази Рик,— раз петь «Интернационал» и рисовать на дверях красные звезды — перегиб, так надо нам квази это учесть и придумать что-нибудь более подходящее. Вот хоть стихи:

Мы, немецкие демократы,
За Республику умрем,

Враг нас не посадит в печку на лопату,
Мы верную, примерную политику ведем.

— Отлично,— сказал Трулезанд,— только «за Республику умрем» звучит слишком уж фракционно, давайте заменим на «для Республики живем» — это будет получше, помирать никому не охота, каждому хочется жить.

Квази встал с постели и зажег свет. Взяв карандаш и листок бумаги, он скомандовал:

— А ну-ка, сочиняем «Октябрьский марш», каждый по одной строчке. Лесник, просыпайся, тебе начинать!

— Да я и не сплю вовсе,— сказал Якоб,— только не умею я сочинять в рифму. Я простой лесоруб, а не поэт. А вы начинайте с того, что сказал Трулезанд, здорово звучит: «Помирать никому не охота, каждому хочется жить».

Квази, покачав головой, заявил, что он с трудом представляет себе, как можно такое петь; он попробовал на один мотив, потом на другой, но его пение настроило и остальных весьма скептически. Тогда они решили предоставить заботу о мелодии специалисту, а самим заняться текстом.

Следующую строчку должен был предложить Трулезанд. Он бегал босиком взад и вперед по комнате, а потом, заметив, что подметает пол своей длинной ночной рубашкой, подхватил ее, словно балерина юбочку, и прошелся в ритме марша на цыпочках. При этом он без остановки повторял первую строчку, стараясь подогнать ее под марш.

— Еще подумают, что это балет, а не демонстрация,— пробормотал он,— зато содержание что надо! Итак, продолжаем. Записывай, Квази:

Помирать никому не охота,
Каждому хочется жить.
А значит — к черту все войны!

— Следующий, пожалуйста!

— А ничего, хитер,— буркнул Роберт,— рифму мне подсунул. А ну-ка, падай от изумления, я придумал:

Молот в руки!
Колеса крутить!

— Минутку, минутку,— крикнул Трулезанд,— «молот в руки, колеса крутить» — здесь неясность. Так можно нечаянно и по колесу трахнуть. Как бы не вышло недоразумения. А потом, мне кажется, что опять вкрался перегиб: молот, колеса — все это прекрасно, но где же интеллигенция, где работники пера, кисти, слова?

Работников слова из песни не выкинешь, пришлось их вставить — утром на митинге ораторы то и дело говорили об идеях и о роли интеллигенции, и Якоб оказался на высоте, посоветовав заменить «колеса крутить» на «и перья вострить». Наконец-то текст получился и в рифму, и политически выдержанный.

— Все,— сказал Якоб,— теперь можно спать спокойно.

Роберт больше не мог уснуть. Диван, на котором он лежал, был ему слишком короток, в комнате стоял какой-то незнакомый запах, было душно, в окна светили фонари и врывался шум Санкт-Паули.

Но не потому он не мог сомкнуть глаз. А из-за абсурдного ощущения отчужденности. Он чувствовал себя так, словно весь день ехал на сломанной машине времени по местности, которая была его прошлым

и не была им, была чужой и в то же время — его родиной. Он слушал рассказы и вспоминал истории, которые, казалось, не имели друг к другу никакого отношения и все же были как-то связаны между собой. Еще утром он встал с постели, отдаленной от этого дивана всего на четыре железнодорожных станции, и теперь ему казалось, что диван этот стоит там, в доме на Мильхштрассе.

Роберт Исваль, член партии, лежал на диване гангстера и думал об обитателях комнаты «Красный Октябрь» и о дочери проповедника, а под окном проститутка говорила озябшему человеку:

— Я еще получше Клеопатры.

— И чуть-чуть постарше,— ответил тот, и это помогло Роберту вернуться к действительности.

Он мысленно усмехнулся и представил себе этого человека — он мог бы его увидеть, если бы встал и подошел к окну,— но решил, что лучше себе его представить.

Человек этот был не слишком высокого роста и не так уж широк в плечах, но сильный и крепкий. Он озяб, потому что возвращался с ночной смены из гавани в четыре часа утра, а стоял февраль, трамваи ходили не чаще, чем через полчаса, и идти до предместья было еще далеко. Он вряд ли знал что-либо о Клеопатре и не больше того о Цезаре и Антонии, и тем более ничего о битве при Акциуме и об укусе змеи. Но он ответил на саморекламу потерявшей надежды проститутки с тем последним запасом юмора, какой у него еще оставался в четыре часа утра на таком холоде. Роберт нашел его ответ отличным. Он был словно нарочно найден для этого города, который кричал на всех углах, что он лучше, богаче, удачливее, ловчее, громче, пестрее, бурнее, моднее, чем все города вокруг.

Он хвастал, но нельзя сказать, чтобы врал: таким он и был, и еще разным другим, и уж во всяком случае по сравнению с теми городами, которые Роберт теперь считал родными,— куда искушеннее в обладании и удовольствиях, и из всех его недостатков только один заслуживал упоминания: он был чуть-чуть постарше.

Кроме Роберта в пивной никого не было. Лида и его шурин, гангстер, жили за несколько улиц отсюда на нижнем этаже бывшего госпиталя. Это был квартал, где старушки, выводя по вечерам прогуливать до ближайшего фонаря своих собачонок, для безопасности клали в сумочку опасную бритву. Заброшенный госпиталь не наводил на мысль о кладах, и это было на руку шурину Герману: он знал о внимании налоговых инспекторов к себе и своему заведению.

Конечно, Роберт мог бы спать в одной из уютных комнат нижнего этажа, но ему хотелось хоть на какое-то время выпутаться из паутины гангстерских рассказов Германа Грипера. А кроме того, здесь было веселее: если уж жить в Санкт-Паули, то в самом центре Реепербана.

Роберт встал и сварил кофе — того, что варили для домашних, а не для посетителей; оставив без внимания кастрюлю с сосисками, поджарил глазунью. За завтраком полистал «Констанцу» — здесь, в пивной, иллюстрации выглядели еще вульгарнее.

Дымный ветер дул над широкой площадью и, казалось, пронизывал до костей; даже швейцары немногих круглосуточно открытых веселых заведений не имели, видно, никакого желания вступать в разговор; всю ночь они зазывали приезжих, обещая им самые острые ощущения и времяпрепровождение пусть сомнительное, но зато поучительное; сейчас, в пять часов утра, на их рынке начинался застой, покупателей на эти ценности не находилось.

Сторож в гараже едва взглянул на Роберта, когда тот предъявил ему квитанцию, и Роберт отказался от мысли спросить у него, как пройти по этому лабиринту, образованному автомобилями. Он потерял много

времени, но в конце концов между двумя «опелями» нашел свой «борг-вард».

Уличное движение стало уже гораздо оживленнее; пока в автокроссе участвовали только грузовики и автофургоны, доставлявшие товары в магазины, в их поток и втиснулся Роберт, и поток этот понес его машину от Хольстенваля вниз через Ломбардский мост.

За мостами через Эльбу движение стало спокойнее, а в зеленом районе Гамбург-Вильгельмсбург было и вовсе пустынно и тихо. Дамба отсюда совсем близко, но она оказалась недостаточно высокой. Все давно привыкли к ней как к парапету, и никто не воспринимал ее как защитное сооружение. Да никто и не чувствовал угрозы от воды под нею. Ведь вода эта была Эльбой, а не морем; море было далеко — километров за сто отсюда, а здесь был Гамбург, современный и неприступный город.

Роберт оставил машину возле одного из установленных недавно временных фонарей и пошел пешком к поселку. Желтый щит предупреждал об опасности эпидемии, другой, тоже желтый,— о том, что по грабителям будет открыта стрельба без предупреждения.

В одном из опустошенных наводнением садов какой-то человек при свете ручного фонаря складывал кирпичи.

— Доброе утро,— сказал Роберт,— рано вы поднимаетесь.

Человек рукой прикрыл глаза от света и, прежде чем ответить, некоторое время рассматривал Роберта.

— Вы тоже,— ответил он.— Полиция, страхование или газета?

— Не полиция и не страхование.

— Значит, газета. Вам еще не надоело?

— Самое главное только начинается,— сказал Роберт.— Как пойдут дела дальше и что тут теперь будет?

— Ха-ха, что тут теперь будет! Не прикидывайся простачком, дружок. Что тут будет, ты знаешь получше меня. Все мы получим новенькие квартирки, а участки перейдут в собственность вон той фабрики маргарина. Они уже двадцать лет зарятся на эту землю, хотят здесь что-то строить, ну, теперь наконец-то им повезло. Давай записывай поскорее, а то забудешь.

— Я из Восточного Берлина.

— Тогда проваливай,— сказал человек,— да побыстрее, понял? Вас это не касается. Еще не хватало мне с вами связываться. Сматывайся, понятно?

Роберт подошел к фонарю и спросил:

— Можно прикурить? У меня спичек нет.

Тот отодвинул стекло, и Роберт прикурил от лампы.

Человек наблюдал за ним, потом, потянув носом воздух, сказал:

— Небось «Казацкая травка». Лучше бы Ульбрихт закупил вам вагончик-другой «Урожая-23», чем такую дрянь покупать.

— Это «ХБ».— Роберт подержал пачку перед светом.— А запах от меня. Мы на Востоке все так пахнем — степью, мазанками, черным хлебом, этого уже не вытравишь.

— Не болтай,— сказал человек,— что тебе здесь надо?

— Ничего особенного, посмотреть, как тут и что, да узнать, что будет дальше — будут ли снова насыпать дамбу и платить за убытки, сколько и кому, и только ли стихия здесь виновата или, может, еще что, и задает ли эти вопросы кто-нибудь, кроме меня, и какой ответ получает, и все ли тут верят, что это несчастный случай, и научит ли это происшествие кого-нибудь чему-нибудь; вот и все, что я хочу узнать.

— А какое дело до этого Ульбрихту?

— Вот тут вы правы. Какое дело до этого Ульбрихту, когда об этом заботится Аденауэр? Ведь он заботится — так, что ли?

— Еще бы не заботился! Нет, друг, с этим ты ко мне не подъедешь. Ничего я тебе не расскажу. Я лежал в постели, когда жена крикнула, вскочил, а вода уже по щиколотку... Потом мы влезли на крышу. Моя старуха до сих пор еще не оправилась от испуга...

— Вы тут жили вдвоем с женой?

— Да, а дочка с зятем — за квартал отсюда. Зять на этом деле просто свихнулся — все думает, что он сам во всем виноват. Бред собачий, конечно, он тут ни при чем, да поди втолкуй ему. Была его смена у «Лёсмана» — это такой пищевой комбинат, здесь, неподалеку, там консервированные супы делают, соуса, яичный порошок в пакетах, этого добра там навалом, а он у них на автопогрузке работает, подвозит ящики на пристань. В конторе, видно, уже кое о чем знали; зять рассказывает, они там жутко суетились, говорили, надо угонять машины со двора — скорей, скорей, без задержки. Да ведь у них всегда так, потому что они грузят тут в гавани и простой судов замеряют секундомером, а за каждую лишнюю минуту можно купить дом. Зять говорит, он должен бы заметить — что-то случилось, по ночному времени слишком уж много народу набежало, а перед Твитенским мостом он уже ехал по воде. На мосту — а мост узкий — получился затор, ни туда, ни сюда. С той стороны сплошь шли самосвалы с песком на строительство дамбы, и они не могли съехать с шоссе — оно выше лежит, чем сады, а зять мой не мог дать задний ход, потому что ведь не он один, много машин выехало со двора комбината. И так длилось без конца, пока самосвалы кое-как не перебрались на ту сторону. Но вода уже сильно поднялась, и мы сидели на крыше, а моя дочь, жена моего зятя, наверно, тогда и утонула вместе с малюткой. И мой зять вбил себе в голову, что это по его вине. Попробуй-ка разубеди его. Вот и все, что я знаю, а теперь оставь меня в покое.

Роберт оставил его в покое. От рассказа старика можно было взвыть, но репортеры не воют. Врачи ведь тоже не воют. Правда ли это, про врачей? Может быть, и правда. А репортеры слушают, смотрят и информируют — воют за них читатели.

И ты этому веришь? И ты хочешь кого-то в этом убедить? Только уж не ты, Роберт Исваль!

Иногда он тосковал по своей старой, по своей первой профессии.

Трехфазный ток, постоянный ток, переменный ток, низкое напряжение, высокое напряжение, цинк, алюминий, медь, выключатель, изолятор, розетки, тройник, скрытая проводка, наружная проводка, алебастр, подземный кабель, реле и всегда отвертка. Одно в голове, а другое в руке, тут свистнешь, там ругнешься, когда пот прошибет, а когда и нет, когда поскучаешь, а чаще любопытно, почти все зримо и измеримо, можно рассчитать, можно показать — вот это работа, полезная работа! В кухнях становилось светлее, на лестницах можно было чувствовать себя увереннее, мешки взлетали вверх на лифтах, и люди не гнули спин, пиво и летом оставалось холодным, гладя рубашку, легко было петь про прекрасную жену садовника и белого голубка, сажа не летела в открытые кастрюли, ночники светились в темноте в доме для престарелых, никто не стукался головой о балки в хлеву, и, нарезая репу, можно было стоять сложа руки, пилы крутились, холодильник замораживал, насос накачивал, и все оттого, что рано или поздно появлялся некто, кого приветствовали возгласами: «Наконец-то!» или «Слава богу!», а когда он уходил, хозяйка провожала его благодарным взглядом, а крестьянин — похлопыванием по плечу, и добавляли: «Да уж, пожалуйста, возьмите!»; счет приходил по почте позднее.

Вот это были времена, вот это можно назвать работой, на нее не стыдясь глядишь и потом, пусть даже получилось короткое замыкание, или снова сломался звонок, или пятно от гипса на потолке свидетельствует о грубой работе при скрытой проводке — все это ведь не страшно, можно спать спокойно. Но что, если ты заглянешь в свою статью, и она окажется гораздо глупее, чем был ты, когда ее писал, и она уже не имеет с тобой ничего общего, кроме имени; что, если ты стараешься уловить в ней эхо всего того, что было, но не слышишь ни звука и на листе, исписанном тобой, лежит желтизна трусости?

Что ты можешь ответить, если тебя об этом спросят? Когда еще была Инга, Роберт часто ездил с ней по деревням, и Инга начала постепенно понимать, почему электромонтеры не любят бетонных стен, и тем более — каменные и кирпичные. Она вместе с ним вздыхала о том, как растягивается алюминиевая проводка, и видела, как его радует твердый характер меди. Она слушала его сообщение о новых открытиях, сделанных в дебрях старого сарая, где произошло особенно хитрое короткое замыкание. Она видела тот легендарный столб, который когда-то раньше был еще гораздо выше, гораздо, гораздо выше, и совсем гладкий, и вот-вот готов был сломаться,— тот самый столб, у колодца, только тогда он был выше, гораздо выше, наверно, он за это время осел, вошел в землю, ведь тогда с него можно было глядеть поверх церкви, и тому, кто на нем висел, казалось, что он висит на верхушке мачты над огромным бурным океаном, и нельзя было себе представить, что есть еще какой-нибудь способ очутиться на земле, кроме как броситься вниз головой; так думалось между гудящими проводами, там, наверху, на этом столбе, который когда-то был еще выше, по крайней мере вдвое. Тогда, вместе с Ингой, все было интересно.

С Ингой легко было чувствовать себя знающим, и когда хотелось произвести на нее впечатление, это нетрудно было сделать.

— А если тебя током дернет, тогда что?

— Сперва покажется, что кто-то ткнул тебя проводом в руки и до самого сердца, а потом самое большее — чихнешь разок, и все.

— А что ты сказал той женщине, когда она хотела дать тебе свиного корма?

— Я не объедаю животных, сударыня! — сказал я.— Я ведь знаю, что такое голод!

Когда Роберт распрощался со своей старой профессией, Инга никак не могла этого понять.

— Разве это не ты, Роберт Исваль, говорил всегда: «Мы можем жить без собственников!» А теперь! Твой хозяин закрыл свою лавочку, и ты словно рыба, вытащенная из воды, и нанимаешься к первому попавшемуся актеришке, чтобы ехать с ним невесть куда.

— Никакой это не актеришка, он так читает Маяковского, что мурашки по спине бегают, и РКФ — это не невесть куда.

— А я тебе говорю — невесть куда. Если бы здесь вдруг проходил шарманщик, он наверняка заполучил бы ассистента по имени Роберт Исваль. И почему только ты не стал уборщицей? Вчера тут открыли новую лавку, и на окне висит объявление: «Требуется уборщица. А также ученицы». Почему бы тебе, дураку, не плести соломенные шляпки?

— Я хочу уехать отсюда,— сказал Роберт.

— Значит, вот оно что. Значит, из-за меня.

— Да не мели чепухи! Если бы не ты, я бы давно уже был за тридевять земель. Я хочу уехать из-за Нусбанка, и вообще у нас нет семьи. Мать боготворит этого типа, а ведь она была когда-то женой моего отца. Перед отцом даже самые злые тявки снимали шляпу. А теперь этот Нусбанк.

Вчера он мне говорит: «Ну-ка, изобрази мне крестьянина, такого, знаешь, совсем отсталого, которого я должен переубедить!» Хорошо, я ему изображаю крестьянина, и такого отсталого, что его даже сам Нусбанк никак не может переубедить. Тогда он жалуется матери и говорит, что это, мол, подозрительно, почему у меня реакционные лозунги всегда наготове — тут, говорит, причина глубже.

— И ты его не высмеял?

— Да нет, я больше не могу, я уж над ним столько смеялся, что и смеха не осталось, теперь совсем дело плохо. Когда я его высмеивал, он говорил, что я, видно, смеюсь над его седыми волосами, а они стали седыми в лагере, где он и за меня сидел, да, да, за меня, конечно, и пусть-ка моя мать посмотрит на меня и скажет, как этот сопливый нацист оказался в нашем доме.

— Твоя мать...

— Ах, господи, моя мать! Знаешь, что у нас вчера после этого было? Она взялась изображать крестьянина, которого Нусбанк должен переубеждать, и, клянусь богом, я сам слышал, как он ей говорил: «Да нет, ты не так спрашивай, эти крестьяне спрашивают глупее, ты глупей спрашивай!» И моя мать, вообще-то умная женщина, чтобы угодить своему Нусбанку, уж до того идиотские вопросы задавала, что он ей отвечал без запинки. Ну, кого тут не стошнит?

— Я только одного боюсь: если ты переменишь дом, и город, и профессию, не захочется ли тебе переменить и все остальное?..

— Ничего не понимаю!

— Это у Шторма, что ли, такой рассказ, где герой уезжает учиться в большой город, а когда возвращается домой, он уже слишком умен и не хочет больше знать ту девочку, с которой играл в детстве?

— Этот рассказ, по-моему, есть у кого хочешь, я уже раз десять, по крайней мере, его читал, и еще я читал про ведьм, которые летают на помеле, и про кисельные берега и молочные реки, и что миллионеры начинают свой путь чистильщиками сапог.

— Что ж, многие, и правда, начинали чистильщиками...

— Да, а некоторые из них, заметь, так и остались чистильщиками.

Инга много значила для Роберта, и он со страхом смотрел на то, как пропасть между ними все увеличивается и увеличивается. Они словно стояли на двух разных льдинах, и ветер гнал эти льдины в разном направлении. Нет, неточный образ, ветер гнал их в одном направлении, их разделяло что-то другое.

Их разделяла правда, чистая правда, и ничто, кроме нее. Роберту понадобилось много времени, чтобы понять это, и если бы не Трулезанд, понадобилось бы еще больше.

Однажды в воскресенье вечером Роберт увидел Трулезанда с какой-то пожилой женщиной на платформе в Рибнице. Сунув свой набитый, но очень легкий рюкзак в купе Роберта, он снова вернулся к сопровождавшей его женщине. Он прощался и целовался с ней долго и обстоятельно, не обращая ни на кого внимания, потом махал ей огромным носовым платком, пока она поспешно пробиралась к выходу.

— Нет, ну скажи,— обратился он к Роберту,— ну что это за человек!

— Я ее почти и не видел,— ответил Роберт,— она что тебе, полный рюкзак сена напихала?

— Это пух, старик, подлинный довоенный пух, собственноручно выщипанный тетей Мими, рассортированный по одной пушинке, высушенный и выглаженный.

— И ты целуешься с тетей Мими?

— Да это вовсе не тетя Мими, а тетя Лена, моя настоящая тетя; пуха у нее нет, и потому она его не раздаривает, зато сердце у нее, брат,— не сердце, а золото. А что у тебя? Как твоя любовь к дочурке того проповедника, ходили вы еще раз в цирк, а глаза у нее все такие же огромные?

— Наверно, такие же, не знаю.

— Итак, подытожим: вы опять поругались. А теперь в чем дело? Когда-нибудь, брат, хотелось бы и мне встретить такую, как твоя, такую, которая спорит о Наполеоне, когда хочешь положить ей руку на колено. Не знаю, что это со мной, но я все встречаю других — они только и хотят, чтобы их хватали за коленки, ну и все такое. Что же на этот раз с дочкой пастора?

Роберт немного побоксировал с рюкзаком и стал рассказывать:

— Она сказала, что ее хотят заставить вступить в СНМ, а я сказал, что никто ее заставить не может, но очень плохо, что она сама туда не вступает. Тогда она сказала, что лучше уж она, если так, вступит в партию, по крайней мере, будет считать, что она в социал-демократической партии.

— Что-о-о?

— Да. Мол, так же, как и я.

— Что-о-о?

— Да, так же, как и я считаю, говорит, что я член СДПГ, хотя формально я в СЕПГ,— по крайней мере, она думала, что я это считаю. Ах, да не смотри ты на меня так — уж я скорей соглашусь глотать пух тети Мими, чем считать себя членом СДПГ. Но ей я до сих пор этого не говорил, хотел сперва ее как-нибудь подготовить. Пойти с ней в цирк или на Фитингбарг, показать ей пещеру разбойника Фитинга, на Эльду хотел с ней сходить или, уж не знаю, в оперетту, что ли, но с ней, только с ней, все равно куда, только с ней, это было самое важное. А получалось всегда так, точно катаешься на коньках по первому льду. Вдруг оказывается, что ты весишь пять центнеров, а слой льда под тобой не толще пергаментной бумаги. Здесь трещит, там вот-вот провалится, и если ты не проскочишь побыстрее это место, то вдруг станет холодно, а вокруг все темно-зеленое, и тебя уже ищут с длинными баграми. Но ведь из-за этого ты не перестанешь кататься на коньках. Так и у меня с Ингой: «Гляди-ка, как солнце просвечивает сквозь листву!» — «Да, как в церкви через цветные стекла!» — «Гм... видишь, вон там водокачка? Рядом с особняком, я там чинил проводку».— «А окна в особняке тогда тоже были такие грязные?» — «Гм... Слушай-ка, вчера я чуть не достал материал на костюм».— «Чуть не достал? Мой брат пишет из Бремена, что он купил себе два костюма, они вместе весят столько же, сколько пара носков».— «Гм».— «Роберт, мама вчера спросила меня, в какой ты части СЕПГ, в СДПГ или в КПГ. Я ответила, что в СДПГ, это ведь правда?» — «Гм...» Все «гм» да «гм», и поскорее через тонкий лед, вот как у меня с Ингой.

— Гм,— сказал Трулезанд, потом он долго молчал и, наконец, заговорил снова:— Ну, и что же, лед от этого стал толще?

— Иногда мне казалось, что да. Иногда с Ингой было хорошо, иногда с ней можно было сидеть и глядеть далеко вперед, не открывая рта, и все равно это было словно самый лучший разговор. Но, наверно, мы и тут жульничали.

— Ты смотришь на вещи самокритично,— сказал Трулезанд.— Ну-ка, признайся, ты на этот вопрос про СЕПГ опять сказал «гм» или что другое? А каков результат?

— А результатом был спор, он начался с Маркса и «Готской программы» и закончился пожарной юбкой. Только не думай, пожалуйста, что мы друг на друга рычали или что-нибудь в этом роде, с ней такое

не выйдет — тут все с самыми лучшими манерами, со всякими там «нет, уж ты извини» и «позволь, позволь»! Сам себе кажешься дураком... Но хуже всего то, что я всякий раз в какой-то момент теряю мужество — вдруг подумаю, что она может встать и уйти, и никогда больше не вернуться. Мне кажется, я к ней привязан.

— Да, пожалуй, и мне так кажется,— сказал Трулезанд,— вот возьми-ка сигареты, дядя их для тебя дал. А с твоей Ингой, значит, вот что выходит: всякий раз, как ты скажешь ей правду, все трещит по швам — так, что ли? Ну, если ты меня спрашиваешь, могу тебе сказать: это не фундамент для отношений.

Некоторое время они молча смотрели на поток искр, потом Роберт глубоко вздохнул и сказал:

— Давай-ка поговорим о чем-нибудь другом. Но если ты когда-нибудь попадешь в такое положение, что ты слушаешь девчонку, а она говорит ерунду, я хочу сказать, настоящую ерунду, про политику, философию, или про господа бога, или про какие-нибудь там принципы, так вот, ты слушаешь ее и думаешь про себя: это чушь, дорогая, то что ты сейчас мелешь, но, думаешь ты, ладно, говори, что хочешь, любую чепуху, все равно факт остается фактом — говоришь ты прелестно, и рот у тебя прелестный, и нос прелестный, и глаза прелестные, и брови прелестные, и лоб самый прелестный на свете, а волосы такие прелестные, что когда на них смотришь, прямо в ушах звенит, так вот тогда, мой милый, не думай, что ты уже с этим справился, и что среда меняет людей, и что бытие определяет сознание, и что новое идет на смену старому с неудержимой силой, и что ты и есть это новое, и что ты ее сумеешь изменить, нет, не думай ты этого, а делай только то, что я тебе сейчас скажу: вставай и беги куда глаза глядят. Аминь.

— Аминь,— сказал Трулезанд,— но со мной такого не случится. Ведь я тебе сказал, что со мной всякий раз происходит. А еще со мной происходит — об этом я хотел бы поговорить со сведущим человеком — вот какая штука: иду я куда-нибудь, ну, скажем, на танцы в Рибнице, вижу у той коленки красивые и у этой неплохие, и погладить их ничего бы не стоило, но потом входит такая, в которой я вижу больше или, вернее сказать, меньше, потому что сперва я, например, даже и коленок не вижу, а вижу, выражаясь научно, явление в целом, как правило, прекрасное явление.

Но ведь плотники — народ осторожный, а Трулезанд, как известно, плотник. Трулезанд начинает примеривать, испытывать на прочность, тут постукает, то есть, конечно, мысленно, там просверлит и приходит к заключению: твердый орешек. Потом начинает набрасывать примерный план. Попробовать предложить пива? А вдруг ее мутит от одного запаха? Да, и как быть с кудрями? А вдруг она не выносит кудрей? Заговорить с ней во время танцев или лучше молчать? А если заговорить, то о чем? Погода: «Да, погода ничего».— «Скука тут в Рибнице».— «Что вы, здесь так весело».— «А вы хотели бы играть в оркестре, я нет».— «А я да».— «Я лично плотник».— Или, может, про это лучше помалкивать? И вообще что говорить — это зависит от музыки, под которую танцуешь.

И тут возникает вопрос: на какой танец ее пригласить? «С улыбкой проходи по жизни»? Тут надо подпевать, и, наверно, это будет неуместно: ты ее совсем не знаешь, а сам ведешь то вправо, то влево и еще поешь ей в лицо, что она «улыба-а-ясь проходит по жизни», а она, может, и не собирается проходить по жизни улыбаясь, да еще, чего доброго, у нее в семье туберкулез.

Теперь играют танго, без слов. Танго — это хорошо, можно делать всякие нежные наклоны и повороты, но это танго называется «Жалюзи», и еще совсем недавно я думал, что тут, наверно, речь идет о потушенном

свете и так далее, но у нас ведь, сам знаешь, был доклад под названием «Популярные песенки — опиум для народа», с чем я мог бы поспорить, но в этом докладе научно доказывалось, что «жалюзи» по-французски значит ревность, а ревность — понятие буржуазное, значит, для Трулезанда исключается.

Так проходит вечер. Я сижу и набрасываю план. Вокруг меня коленок — хоть мостовую мости, но меня эти коленки как-то не волнуют, меня интересует только явление в целом. А что делает она? Танцует, болтает, поет, и если бы от пива ее и вправду мутило, она бы давно уже валялась на полу без сознания. Ах так, думаю я, тогда давай скорее. Трулезанд, не откладывай, вот как начнут играть следующий танец, и будь это хоть «сосиски с капустой», что может вызывать у нее, чего доброго, аппетит, к чему ты экономически не подготовлен,— все равно, давай, давай, Трулезанд, с кудрями или без кудрей, с пивом или без пива, давай, Трулезанд, жми.

И тут как раз случается то, о чем мне хотелось бы посоветоваться со сведущим человеком: у меня внутри происходят какие-то катаклизмы, которые ставят меня перед научной загадкой. Конкретнее, у меня начинает болеть живот. Да так болеть, что я с места сдвинуться не могу. Сижу, сам трезвый, ноги резвые, в голове множество глубоких мыслей, а в животе словно камни перекатываются, как у волка в сказке про семерых козлят. Вот, братец ты мой!

Тут оркестр начинает играть «Доброй ночи, по домам, пусть приснится ангел вам!» И все спешат в гардероб, и коленки, и явление в целом. А в гардеробе явлению подает пальто эдакий хлыщ, и по роже его видно, что уже предвкушает, как он будет это пальто снимать, и так далее, в таком духе.

— Н-да,— сказал Роберт,— тебе и вправду надо посоветоваться с кем-нибудь сведущим. Случай чисто клинический. Надо думать, это у тебя временно, не то пришлось бы тебе навсегда распроститься с истинно прекрасным. Ну, а у нас на факультете? Перекатываются у тебя когда-нибудь камни в животе?

Трулезанд отрицательно покачал головой.

— Нет, это, знаешь, дело тонкое — только когда музыка играет. Но чтобы быть конкретнее, отвечу: одна у нас есть, Вера.

— Да ну? — сказал Роберт.

Поезд вяло тащился по редким холмам побережья; сноп искр перед окном взвивался только тогда, когда ветер сдувал его на другую сторону через крышу вагона; колеса стучали, пересчитывая шпалы, и в окна врывался запах влажных картофельных полей. Но к конечной станции поезд подъехал с таким шумом и скрежетом, словно он примчался с бешеной скоростью и без остановок от самого Гибралтара.

Тем же поездом, что Роберт и Трулезанд, возвратились и другие ребята; они шумно приветствовали друг друга и с песней прошли через вокзал, мимо складов и садовых участков до самого факультета. По дороге Трулезанда поддразнивали из-за его гигантского рюкзака, а когда выяснилось, что он привез в нем перину, шуточки стали еще более колкими. Все сошлись на одном: каждый студент рабоче-крестьянского факультета должен спать под периной, а зимой, пожалуй, и под двумя.

Они пели «По долинам и по взгорьям...». Трулезанд пел громче всех; правда, голос его звучал немного приглушенно — ему пришлось нагнуть голову, потому что на плечи он закинул свой огромный рюкзак.

В комнате «Красный Октябрь» еще никто не ложился спать. Квази Рик стоял возле печки и зубрил вслух климатические зоны, а Якоб, очевидно уже не в первый раз, вполголоса задавал сам себе один и тот же вопрос: «Если девяти женщинам для вязки восьмисот десяти напульсни-

ков требуется тысяча шестьсот двадцать часов, то сколько напульсников изготовят семьдесят семь женщин в течение ста двадцати шести часов?»

Трулезанд лег на свою постель и сказал:

— Ты, лесник, все не так делаешь, по глазам видно. Представляешь себе напульсники, перед тобой мелькают спицы и клубки, и семьдесят семь женщин бормочут: «Раз, два, три — петля». А так нельзя. Надо мыслить не конкретно, а абстрактно. Абстрактно мыслить — это знаешь, что значит? Это когда тебе все равно, что они там вяжут — рольмопсы, коврижки или подковы. Если ты будешь думать конкретно, то тебе никогда не сосчитать. Если мыслить конкретно, то среди этих семидесяти семи вяжущих женщин может вдруг оказаться и моя тетя Мими, а она тут же начнет рассказывать нравоучительные истории, сыпать притчи и напевать «Господь, наш спаситель!», и все твои расчеты полетят к черту. Надо мыслить абстрактно, мой мальчик.

— Условие точно такое же, как в задаче с пятнадцатью кузнецами и девяносто тремя жеребцами,— сказал Роберт.— Ее ты решил? Условия всегда одни и те же, только цифры другие, вот и все их уловки.

Якоб отложил тетрадь в сторону и растерянно слушал их.

— Тогда я не понимаю,— проговорил он наконец,— к чему все эти лошади и спицы, если все дело тут в числах.

Но Трулезанд понимал.

— Это прикладная математика,— сказал он,— а потом у нас будет высшая математика, и тогда, наверно, все то же самое будет происходить на потолке или на воздушном шаре, а то и у ангелов на облаках.

Квази Рик запротестовал.

— Ребята, я изучаю субтропический пояс; это интересно, но трудно, я устал, но доволен, мне здесь надо квази сосредоточиться, а все эти ваши напульсники уводят меня в сторону от субтропического пояса. На двери висит расписание, когда что учить. Предлагаю обозначить его как «организованное самообучение», сокращенно «оргобуч». Я посвятил составлению этого плана все утро и предлагаю квази утвердить его голосованием. Итак, голосуем? Или, может, кто желает сперва прочесть?

Все пожелали сперва прочесть и единодушно одобрили: Квази составил его как надо — можно принять в качестве руководства. Даже для «высказываний по личным вопросам» — сокращенно «личвопр» — было отведено порядочное количество часов. План утвердили.

— Прежде чем я предамся организованному ночному отдыху,— сказал Трулезанд,— охраняемому ангелами и осыпаемому розами, а ты вновь причалишь к субтропикам, Квази, мне хотелось бы задать один «личвопр»: у тебя какой-то странный кашель, коллега, и какое-то странное одеяло. Взаимосвязь между первым и вторым я считаю научно доказанной. Как следует поступить в этом случае? Следует укрыть тебя теплее. И вот теперь-то выявляется общественное значение моей тети Мими. Она посылает тебе эту перину, и не стесняйся, а не то нам придется голосовать.

Разумеется, Квази все равно стеснялся, и когда все трое принялись убеждать его, что, право же, стесняться тут нечего, он скрылся за печкой вместе со своим учебником географии.

Роберт и Трулезанд легли спать, и только некоторое время спустя, когда каждый уже подумал, что другой спит, Роберт тихо спросил:

— А почему именно Вера?

— Ох,— сказал Трулезанд,— девчонка что надо.

Он поглядел на потолок, потом начал тихонько напевать:

Разгромили атаманов, разогнали воевод...

Роберт и Якоб подхватили, и даже Квази запел за своей печкой:

И на Тихом океане свой закончили поход...

Роберт ничему не удивлялся.

Город, в который он приехал как задающий вопросы чужеземец, недавно потерпел поражение, возможно, самое горькое или по крайней мере одно из самых очевидных со времени своего основания.

На этот раз, правда, число человеческих жертв было невелико по сравнению с другими временами: оно было даже ничтожным, если вспомнить о тех годах, когда смерть не подымалась из воды, а падала с неба, вылетев из бомбовых люков или из орудий на борту самолета.

Но то было во время войны, а это — во время мира.

Если подсчитать убытки, то вода уничтожила даже меньше зданий, чем большой пожар в тысяча восемьсот сорок втором году, о котором писал еще Гейне в «Зимней сказке»:

Полусгоревший город наш
Отстраивают ныне.
Как недостриженный пудель, стоит
Мой Гамбург в тяжком сплине.

Но это было много десятилетий назад, когда выражение «железная дорога» звучало на берегах Эльбы более незнакомо, чем теперь слово «ракета» на африканских дорогах. Пожар произошел в старые, горестные времена, но наводнение случилось теперь, в течение одной зимней ночи.

Это было поражение, а побежденный не любит отвечать на вопросы.

Господин Виндсхуль, коммерсант, был одним из немногих, ответивших без замешательства на вопрос Роберта.

— Почему бы мне и не поговорить с вами,— сказал он.— Если я не сделаю этого сегодня, мне, быть может, придется сделать это завтра: завтра вы, возможно, обратитесь ко мне по делу, и как я буду выглядеть, если вы окажетесь достаточно бестактным, чтобы напомнить мне о сегодняшнем отказе? А это вполне вероятно, я и сам был бы на вашем месте достаточно бестактным. Так лучше уж поговорим сегодня. Вы упомянули про пожар сорок второго года и про Гейне; про Гейне, очевидно, считая, что я его не знаю и вы можете щегольнуть передо мной своей эрудицией, а мне придется почувствовать смущение.

Но если вы ничего не имеете против, я дам вам один совет: никогда не рассчитывайте на невежество других. Я сам не раз допускал подобную ошибку, и, как правило, за нее приходилось расплачиваться. Если бы вы пришли ко мне лет десять назад, я бы, независимо от того, захотел ли бы я вообще вас принять, очевидно, подумал бы: «Интересно! В мою дверь постучался журналист коммунистического толка, ну что ж, пусть войдет, ничего не случится, если я потрачу минут пятнадцать, чтобы выслушать его заклинания: империализм, загнивающий капитализм, будущее Востока, возрастающее обнищание, экспроприация, и прочее и прочее». Теперь я стал умнее, теперь я знаю: вы пришли сюда не для того, чтобы спасти мою душу, вы не собираетесь обратить меня в новую веру, вы хотите всего лишь узнать мое мнение и хотите этого потому, что вам приходится со мной считаться.

Ваши люди научились считать и считаться. В конечном счете, вы, разумеется, собираетесь столкнуть нас с того, на чем мы сидим, но вы уже раскумекали, что слова «вставай, подымайся» и «смыкай ряды» далеко не всегда помогают. Вы получше изучили закон рычагов. И теперь гораздо больше осведомлены о том, что мы думаем и что делаем. Похвально, весьма похвально! Но и мы хорошо знаем этот закон, да и вас тоже; все это вносит немножко оживления в наш мир, где рычаги и сила играют немалую роль.

А теперь давайте-ка выпьем по чашечке кофе. Такой кофе вы вряд ли вскоре отведаете. Этому вам тоже еще придется обучиться — как

обращаться с кофе; иначе не так-то легко вам будет убедить в чем-нибудь такого, например, человека, как я.

Очень мило, что вы одобряете мой кофе, вот у нас уже по двум пунктам полное взаимопонимание: кофе и Генрих Гейне. Надо вам сказать, что я начитанный коммерсант, господин Исваль, я читаю Бёля, читаю Грасса, читаю Бахман и Гейне, так что вот как обстоят дела!

Разрешите спросить, не относитесь ли вы к тем утонченным журналистам, что любят предварять свои статьи цитатами и афоризмами? Если так, то вы, конечно, не упустите случая процитировать:

Отстройте снова свои дома,
Утрите нос и губы.
Заведите получше законы себе,
Покрепче пожарные трубы.

Не правда ли, неплохо, отлично зарифмованный сарказм.

— Один из моих друзей,— ответил Роберт,— сказал бы на это: сплошное недоразумение. Под лучшими законами здесь, у вас, и там, у нас, понимают совершенно разные законы.

— Хоть я и интересуюсь политикой,— заметил господин Виндсхуль,— все же я не политик. Я коммерсант и, как коммерсант, намерен вступать в деловые отношения. Но именно поэтому я тоже нуждаюсь в законах. Большинство законов возникло как раз благодаря этой потребности, общественной потребности, как сказали бы вы.

— Потребности другого общества, чем то, в котором я живу, и потому я смотрю на эти законы другими глазами, чем вы.

— Осторожней, мой милый, будьте осторожней. Когда я сталкиваюсь с вашим братом, мне всегда доставляет мрачное удовольствие наблюдать, как хорошо вы помните правила игры, установленные нами. В случае надобности вы ведь умеете рассуждать как, деловые люди.

— Вполне возможно. Но вернемся, извините, к наводнению: не согласитесь ли вы со мной, что было бы куда важнее ограничить власть Северного моря, чем расширять власть полиции?

— Несомненно, дорогой мой господин Исваль, несомненно. Разумеется, необходимо построить более высокие дамбы, и, конечно, надо улучшить систему шлюзов и систему предупредительной сигнализации. Это общественная задача, которую я всячески поддерживаю, несмотря на то, что ее выполнение — я думаю, тут уж вы со мной согласитесь — потребует увеличения общественных расходов.

— Как раз с этим-то я и не соглашусь. Общественные расходы должны быть направлены на другое, прежде всего...

Виндсхуль качнул бутылку коньяка и заметил, смеясь:

— Ого, вот вы и превратились в агитатора. Еще минута, и вы сошлетесь на военный бюджет и потребуете денег у господина Штрауса. Это примерно то же самое, как если бы вы, видя, что нам не хватает одной балки на крышу, посоветовали взять ее из перекрытия погреба. Это исключено, господин Исваль, неужели надо еще что-нибудь объяснять?

Я коммерсант, а не политик, я читаю Бёля, читаю Энценсбергера и часто признаю весьма разумным то, что пишут эти господа; иногда, правда, чересчур резко, но они люди с головой, ничего не скажешь. Однако все это не заставит меня потерять голову! А ведь укреплять одно, ослабляя за его счет другое, и значило бы потерять голову.

Впрочем, я не выдам тайны, если напомню вам о наших, так сказать, национальных обязательствах. Эти обязательства в известном смысле являются платой за то, что нам дали возможность снова встать на ноги и чего-то достичь. Долги надо платить, господин Исваль, иначе какой же ты коммерсант, это, можно сказать, закон.

— Так,— сказал Роберт,— теперь уж придется мне процитировать Гейне: «Заведите получше законы себе». Потому что закон, который ставит менее обеспеченных людей перед выбором — бояться наводнения или налога на наводнение...

Господин Виндсхуль весело рассмеялся.

— Прекрасно сказано—наводнение или налог на наводнение: перед чем маленький человек будет дрожать сильнее? Пока что из-за налога на наводнение никто еще не помер от жажды.

Роберт покачал головой и прищелкнул языком.

— Снова недоразумение. Начитанный коммерсант, знаток Бёля и Грасса, должен воспринимать метафору как метафору.

— Вы, кажется, начинаете подтрунивать надо мной? — спросил Виндсхуль.— Нет, серьезно, не станете же вы утверждать, что людям здесь плохо живется. Никогда еще, я ручаюсь за это честью моей фирмы, никогда еще тут так хорошо не жилось, как теперь.

— В этом есть зерно истины, господин Виндсхуль, тут и Гансик откормлен, как на убой, и ведьме остается только включить электроплитку. Или, если разрешите, я снова обращусь к Гейне:

Кто был теленком, тот теперь
Гуляет быком здоровенным.
Гусенок гордые перья надел
И сделался гусем отменным.

— Вот это как раз то, что мне и не нравится у вас, коммунистов: вы всегда предполагаете у других только злые намерения. Когда бедняки едят вместо масла маргарин, да и то не каждый день, вы зовете свою Кете Кольвиц, и велите ей поскорее зарисовать эту картину, и вопите, что мы заставляем бедного пролетария помирать с голоду. Когда же мы честно с ним делимся и у него круглеет мордашка, вы тут же кричите: «Обратите внимание на дьявольские хитрости буржуазии, она откармливает его, чтобы посадить в печь, а потом, конечно, съесть». Но это же попросту некорректно.

Роберт протянул ему свою пустую рюмку.

— Разрешите мне еще немного. Нет, вы в самом деле сказали «честно делимся»? Нет, в самом деле? Тогда, пожалуйста, наливайте полнее. Уважаемый господин Виндсхуль, вы, право же, приятный человек, вы читаете поэтов и писателей, вы уделяете мне свое драгоценное время, нет, я не иронизирую, я ведь знаю, что вам приходится много работать, но когда вы касаетесь отношений работодателей и рабочих, вы начинаете говорить, ну, как... тот рыбак, который заявил, кладя рыбешку на горячую сковородку: «Я друг животных, наконец-то бедняжка спасена — вода-то в речке холодная...»

— А вы догматик,— сказал Виндсхуль.

— Ваше здоровье! — сказал Роберт.

И господин Виндсхуль тоже сказал:

— Ваше здоровье!

(Продолжение следует)

Витторио Серени

Представим себе на миг страну поэтов, куда случайно попал прозаик. Пожалуй, рано или поздно все жители этой страны признали бы единственным настоящим поэтом именно его. Таким прозаиком среди итальянских поэтов можно назвать пятидесятичетырехлетнего Витторио Серени.

Отсюда не следует, конечно, делать вывод, что Серени сформировался на пустом месте. Большим, своеобразным поэтом он стал уже перед самой второй мировой войной и принадлежал к школе герметиков. На его творчество большое влияние оказали поэты старшего поколения, прежде всего Монтале. В первые послевоенные годы, когда происходило становление неореализма как литературного течения, Серени вместе с Франко Фортини внес в него свой ощутимый вклад.

Если в ранний довоенный период в стихах Серени преобладали пессимистические мотивы, лирика его носила по преимуществу интимный характер, то теперь он все чаще обращается к темам широкого социального звучания. Таковы — «Алжирский дневник» (1947 г.), «Визит на завод» (1961 г.). Кстати, этот «визит» затянулся у поэта на долгих семь лет (с 1952 по 1958 год Серени работал консультантом на крупном заводе в Милане).

Как всякий подлинный поэт, Витторио Серени обладает своим собственным голосом. Его стихи нарочито прозаичны, порой даже неуклюжи. В них все держится на богатстве образов и необычном замедленном ритме. Сцепляют же, цементируют стих чаще всего две заключительные афористические строки.

Когда читаешь его поэтический сборник 1965 года «Человеческие инструменты», откуда взяты приводимые в подборке стихотворения, то сразу бросается в глаза их «двуязычность». Это сплав языка рафинированного интеллектуала и эстета (Серени не случайно переводил стихи Поля Валери и Рене Шара) с языком простого народа, миланских рабочих и служащих. Иногда кажется, что поэт нарочито обедняет себя; вместе с тем стихотворение «Виа Скарлатти» да и ряд других доказывают, что Серени отнюдь не чужд мягкий лиризм. Мне кажется, что у Серени это самоограничение идет от желания придать, вернее даже вернуть, слову его изначальный, точный смысл и наглядность.

Слово должно быть весомым, как впавший в немилость старый надежный кирпич, а не легковесным, словно пенопласт. И потом, у Витторио Серени для такой «неизящности» есть свои немаловажные причины: у поэта появился зримый и грозный противник. Это неокапиталистический город процветающих и самодовольных буржуа. Город этот имеет точное название — Милан. Капитаны итальянской индустрии, банкиры и многочисленная армия «коммендатори», «профессори», «доттори» считают его, а не Рим истинной столицей страны. Они любят повторять, что от Милана куда ближе до Парижа, чем до Палермо. Бороться с таким врагом тонким юмором, туманным намеком сравнений было бы нелепо. Витторио Серени предпочитает бить по нему в своей книге «Человеческие инструменты» молотом увесистых, горьких слов. Вместе с тем в его стихах по-прежнему живет и прорывается наружу интеллектуал и книжник, которого этот город пугает, заставляя вопрошать в растерянности:

Почему же не приходят плотники?
Почему опаздывают ремонтники?
. . . . . .
Мертвое время
надо убрать поскорей!

В обступившем его со всех сторон хаотическом сцеплении людей, вещей и событий поэт пытается отыскать внутреннюю гармонию. Он был бы рад сыграть «на флейте водосточных труб» ноктюрн, но его инструмент издает лишь тягучие, хриплые звуки.

Ну что ж, одним поэтам дано услаждать читателей музыкой своих стихов, другим суждено раздражать и... принуждать думать. Витторио Серени принадлежит к последним. В этом его необычность и в этом его сила.

Л. ВЕРШИНИН

■ ■ ■

Непостоянное время

Дерево желания прогнило насквозь,
но бессовестно распустилась
жажда;
любовь стала чумою
среди треснувших стен
бесконечных громад,
образовавших непрочный
города горизонт...
Почему ж не приходят плотники?
Почему опаздывают ремонтники?
Тут не поможет аварийная служба!
Мертвое время
надо убрать поскорей!
— А ты сам-то все это понял
когда?!
— Слишком поздно,
чтобы поверить в это!

Виа Скарлатти

Веду беседу
с тобой одной...
Пролегла меж двух заливов
улица в полкилометра длиной...
Она темна, но в нее врываются
мальчишки
и солнце весной.
А сейчас кажется,
что уже вечер,
когда идешь по ней.
Она темна от копоти,
от дыма...
Но людские лица здесь — как
подобья теней,
на которые еще легли
тени гнева.
Но надо всем смеется
стук каблучков
юных... и оперный дуэт!
В садике, слева
я жду тебя...
а тебя нет.

Ботанический сад

Сочная зеленая тень,
густая, живая и влажная тень —
в этой тени
годами бродят
тюльпаны и розы, вспоминая
о ярком времени,
о том времени,
которого не было.

Прерванная связь

Телефон
молчит,
как в рот набрал воды,
вот уж много дней...
Но на другом конце города
телефон захлебывается
вот уж несколько недель подряд —
и все впустую.
Умолкни же навсегда,
пустая ракушка,
подвешенная на стену!
Пусть черные ящики телефонов
отбрасывают слова назад,
пусть хоть они
отбрасывают горькие слова,
пусть хоть у них
будет эта власть!

Годы спустя

Дождь,
изумительный, бредовый дождь
прекратился,
как редкие поцелуи
посылая нам последние капли...

Я вышел на воздух
и вернул себе дружбу,
и вернул себе любовь...

Но то, о чем я умолял,
стоя в парадном,
под шум стремительного дождя,
катится на меня
грузовиками прошлого...

Лица, несущие
старость, приближаются ко мне.
Неужто
и мое лицо будет таким?...
Так не возвращайся назад, любовь!
Защити меня, дружба!

Переводчик

Из Голландии

Немцы возвращаются.
Какие они цветущие!
Какие они, однако, шумные!
У них карманы
трещат от денег.
Да, они отличные клиенты,
им в этом отказать нельзя никак!
Да, это так,— но ни слова больше!
Тут дело не в мщении,
а в неумолимой памяти...

Волендам

Из Голландии

— Сотню лет тому назад
здесь была вода,—
повторял без конца
гид Фредерик,—
а теперь здесь полдер *...

Вся жизнь
помещается между полдером
и дамбой...
Места здесь хватает только
на элементарное продолжение
жизни, на защиту ее
от смерти.

Об этом говорят
темно-красные от холода
лица крестьян,
выходящих после мессы
из церквей Волендама,
и песня ветра,
завывающего в низине, у откоса.
А любовь?
Она придет потом!
Придет лишь с сыновьями,
когда они поймут,
что любовь
шире пространства.

* Полдер — намытая земля.

Перевод ЕВГЕНИЯ ВИНОКУРОВА

■ ■ ■

КРИШАН ЧАНДАР

Три рассказа

Прекрасный принц

1

Судха была ни хороша, ни дурна собой — так, заурядная девица. Смугла, тонкорука, длинноногa, чересчур замкнута. Но в то же время домовита: вкусно готовила, ловко кроила и шила. Любила читать, писала хорошим слогом. А вот красотой не взяла, да и задором тоже. И богатого приданого у нее не было. Словом, не было ничего такого, что могло бы прельстить сердце, соблазнить разум. Ребенком она была молчалива, необщительна, лепила из глины кукол, рассаживала их на листьях и в одиночку вела с ними беседы. Однако стоило кому-нибудь из сверстниц подойти поближе, и Судха умолкала. Случалось, что озорник мальчишка разрушал ее кукольный дом, тогда девочка тихонько плакала, потом успокаивалась и принималась строить новый.

И в колледже Судха не обзавелась друзьями. Застенчивость не оставляла ее — скудный мир родительского дома словно затенял ее судьбу. Отец Судхи, Дживанрам, четвертый десяток лет торчал за прилавком часового магазина на Чандни-чаук *, учить дочь в колледже было ему не по карману, и если он все-таки пошел на такой расход, то лишь в надежде, что среди студентов для девушки сыщется жених. Ведь может же случиться, что в нее без памяти влюбится какой-нибудь состоятельный парень... Но при одном взгляде на фигуру девушки, на ее плоскую грудь и безучастное лицо радужные мечты отца тускнели и он лишь усерднее затягивался дымом и булькал водой в хукке **. «Видно, придется уж нам самим искать ей жениха»,— со вздохом думал он.

Неспроста вздыхал Дживанрам: молодые люди, которые женятся по сватовству, обычно гоняются за большими деньгами, а он не наскреб бы не то что солидного — куда там! — даже маленького приданого для старшей дочери...

Подчас, увлекаемый потоком мыслей, он подумывал, что, пожалуй, самые выгодные свадьбы — по любви. Взять хотя бы дочь Маликрама. Отец ее — третьеразрядный чиновник в министерстве здравоохранения, а девчонка подцепила в колледже сынка подрядчика-миллионера и теперь подкатывает к родительскому дому в собственной машине с конди-

---

* Торговый район в Дели.

** Курительный прибор, в котором дым проходит через сосуд с водой.

ционированным воздухом. Правда, Гопи — красавица, а Судха—увы!— вся в мать. Да, да, остается лишь одно—самим искать жениха, подобно тому, как в свое время мать матери Судхи и другие родственники нашли его, Дживанрама.

Жена сунулась было в два-три места, но дело так и не сладилось. Однако спустя какое-то время ей все же удалось завязать узелок: парень явился к ним в дом посмотреть невесту. Но Судха ему не понравилась. Может, он был больно хорош? Вот уж нет! Коротыш, лицо все в оспинах, будто терка, да к тому же заика. Сам желто-серый, как закваска для простокваши, а девушку подавай ему беленькую, да еще машину в приданое. А откуда отцу Судхи взять машину, когда ему и велосипед-то купить не на что?

Если бы родители знали, как обрадовал их дочь отказ этого рябого заморыша! Он, а за ним и два других парня пришли, поглядели и ушли. Как благодарна была им Судха! Никому и в голову не приходило, какая пылкая душа скрывалась за ее холодной внешностью, как свободно и высоко парила ее фантазия, как чуждо было ее прекрасному внутреннему миру убожество, царившее вокруг. Эта девушка, внешне такая обыкновенная, такая неказистая, жила в сказочной стране. Дживанрам и его жена Маггхи и понятия не имели об этом. Да и кому вздумается искать алмазы в груде тряпья? Все мы скроены на один лад: коли встретим оборванного торговца, то сочтем его за бедняка, и невдомек нам, что золота-то у него побольше, чем у нас. Судха была скрытная девушка. Могла ли она доверить кому-нибудь свою тайну? Отдать на посмеяние свои мечты, свои удивительные грезы? Красивые модницы из колледжа вытаращили бы глаза, доведись им узнать о волшебном мире Судхи. Молодых людей, важно, словно боги, восседавших на сиденьях шикарных лимузинов, несказанно поразил бы сказочный корабль фантазии, владычицей которого была эта незаметная девушка. Да, они не замечали ее. И хорошо! С чего бы им на нее заглядываться? Застиранные шальвары и черная рубашка не привлекут внимания щеголей, а душу свою Судха им ни за что не откроет.

— Что за дочь ты мне родила? — разворчался как-то вечером Дживанрам.— Все-то она молчит, все ходит потупившись, возится с какими-то делами. Не улыбнется, не засмеется... Погляди на дочек Капур-сахиба — они благоухают, как цветы, они превратили отцовский дом в сад. А эта Судха...— и Дживанрам с досадой отшвырнул газету.

Маггхи поставила перед ним блюдо дешевого вареного риса и миску с жидкой гороховой похлебкой.

— Ты бы лучше не поминал об этих девочках,— сказала она.— Их отец каждый месяц приносит в дом четыреста рупий. У нашей Судхи всего две рубашки, а дочери Капур-сахиба по два раза на дню меняют сари. Об этом ты никогда не думал?

Муж в ответ только скрипнул зубами. Вопросы, вопросы, вечные вопросы, бездна вопросов! Почему этот рис такой жесткий? Почему похлебка такая жидкая? Почему жена его похожа на ощипанную курицу? Почему молчит дочка? Почему женихи требуют в приданое машину? Вопросы болтались у него в голове, как горошины в похлебке. Ответа на них не было, пришлось молча глотать скудное варево.

Дживанрам забрал дочь из колледжа.

— Бюджет не позволяет,— объяснил он приятелю Тотараму, приказчику в магазине, торговавшем тканями. Пожалуй, Дживанрам выразился бы точнее, если б сказал: «Карман не позволяет». Но слово «карман» звучит как-то слишком обнаженно, как пощечина, а в слове «бюджет» есть свое обаяние. О, сила чужого слова! Как часто служит оно ширмой, как ловко прячем мы за ним печальную действительность! Точ-

но так же, как норовим набросить покров благополучия на семейные свары, едва лишь на пороге дома покажется гость.

— А твоя Белла, кажется, поступила в колледж? —осведомился Дживанрам.

— Да! — с тихим ликованием отозвался Тотарам.— А будущей зимой празднуем ее свадьбу.

— Нашли жениха? — упавшим голосом спросил Дживанрам.

— Нашли! — нежно прокуковал Тотарам.— Она сама с ним сговорилась, в колледже. Богатый парень!

Вскоре Тотарам ушел. Дживанрам мрачно поглядел ему вслед и, подражая тоненькому голоску приятеля, пропищал:

— «Она сама с ним сговорилась...» — Потом злобно плюнул и буркнул: — Подлец!

2

Прошо два года. Судха служила машинисткой в солидной фирме на Асаф Али-род. Она стала еще более молчаливой, положительной, работящей. Теперь родители относились к ней с большим уважением: ведь она приносила в дом сто рупий! По вечерам она готовилась к экзаменам на степень бакалавра искусств, занималась стенографией.

В семье наступил относительный достаток, и Дживанрам с Маггхи еще горячее принялись искать жениха. Домашние расходы урезали до предела: копили деньги на машину.

Прошло еще сколько-то времени — и охотник на машину нашелся. Когда было достигнуто соглашение по основным пунктам — о стоимости свадьбы, о приданом, наличных деньгах и золотых вещах, Моти, так звали жениха, вместе со своими сестрами явился, наконец, поглядеть на будущую супругу.

Пожалуй, никому не шло так имя, как этому парню *: светлолицый, красивый, веселый, он и в самом деле светился, как жемчужина. Коричневый костюм выгодно оттенял его чуть золотистую кожу и темные волосы. Руки в белоснежной оторочке манжет казались сильными и изящными. Он взглянул на принаряженную Судху, улыбнулся — и сердце простодушной девушки растаяло. Пиала зазвенела в ее руках. Как трудно было передать гостю чай, не расплескав его...

Моти и его сестрицы попили чаю, поблагодарили и учтиво распрощались. На другой день сестры передали: девушка не понравилась.

А Судха всю ночь не смыкала глаз. Всю ночь стоял перед ее взором красавец Моти. Она видела его милое лицо, его стройную фигуру, чувствовала прикосновение его рук, и душа ее замирала.

— Скажите пожалуйста, девушка ему не нравится! — бушевала Маггхи, мешая на шипящей сковороде овощи.— А он-то разве красавец Юсуф **? Думает, в белой коже вся красота, а того не видит, что у самого и нос лепешкой, и волосы в проволоку скручены, точь-в-точь как у эфиопа. А сестрички его? У одной глаза в разные стороны смотрят, другая размалевала рожу, а все на крысу смахивает. А младшая-то! На голове не волосы, а пакля! Уф! Девушка не нравится! — И она с такой яростью заскребла ложкой по сковороде, будто поджаривала не овощи, а самого Моти.

Все вокруг — и родные, и соседи, и сослуживцы — были убеждены, что это событие не произвело на Судху никакого впечатления. Ведь она так аккуратно работала, никогда не искала мужского расположения, не подавала поводов для ухаживания. От этой девушки исходил холод, буд-

---

* Моти — жемчуг.

** Иосиф Прекрасный.

то от ледника. Недаром клерки между собой посмеивались: «Парню, который женится на Судхе, не надо будет летом искать прохлады в горах».

Людям и невдомек было, какая буря поднялась в душе Судхи, когда Моти от нее отказался. Впервые в жизни она полюбила. Но кто мог об этом знать? Такое разве кому-нибудь скажешь? Тот, мол, кто был мне нужен, пришел, взглянул и ушел: я ему не нравлюсь. Сколько слез проливают обычно от несчастной любви, а эта девушка и слова не вымолвила.

Однажды Судха задержалась на сверхурочной работе. Из конторы вышла, когда уже совсем стемнело, пересекла улицу и оказалась в парке Асафа Али. Этот крошечный уголок покоя приютился возле самых Делийских ворот. Деревья, зеленеющие газоны, несколько скамеек — вот и все. Обычно в парке бывало шумно от сновавших по улицам машин, но теперь, в этот поздний час, там оказалось довольно тихо. Судха частенько туда заглядывала после работы: посидит полчаса на скамейке, увлеченная в дальние дали ветром мечтаний, и пойдет домой. Одиночества она не страшилась, оно было единственной ее отрадой. Не пугалась она и вечернего часа — этот час был ей другом. Не боялась темного люда — было в этой девушке что-то такое, что заставляло городское жулье обходить ее стороной.

Итак, в парке было темно и тихо. От каменной скамьи шел холод. Судха немного посидела на этой скамье, потом поднялась, подошла к большому дереву, села под ним, прислонившись спиной к стволу, и закрыла глаза.

— Почему ты здесь? И одна?

Судха подняла глаза. Перед ней стоял Моти. В том же коричневом костюме, с той же ослепительной белозубой улыбкой. И руки были те же — сильные и красивые...

Судха глядела молча, не в силах вымолвить ни слова. Моти опустился возле нее на землю, так близко, что задел край ее сари. Тихонько спросил:

— Ты на меня сердишься?

Судха медленно кивнула головой. Глаза ее налились слезами.

— Я поступил плохо?

Девушка снова кивнула. Слезы потекли ручьями. Моти вынул из кармана платок и принялся вытирать ей лицо.

— Разве можно из-за этого плакать? — с укоризной сказал он.— Человек волен любить или не любить, верно?

— Да разве ты меня узнал? Я тебе не понравилась... А ты пробовал лепешки, испеченные моими руками? Или горох и плов, которые я приготовила? Ощутил ли боль моего сердца? Угадал ли ребенка, который шевельнулся под ним, едва лишь я на тебя взглянула? Ты подметил только худобу моего лица, а мой сын — его прелести ты не увидел? Как мог ты не остановить взгляда на моих руках, которые всю жизнь омывали бы прохладной водой твои уставшие за день ноги, всю жизнь пришивали бы пуговицы к твоим рубашкам? Я показалась тебе чересчур смуглой, а как же свитер, тот белоснежный свитер, который я хотела для тебя связать? Ты не слышал моего смеха, Моти, не изведал вкуса моих слез, не почувствовал прикосновения моих пальцев к своим волосам, не знаешь, как дрожало бы в твоих объятиях мое девственное тело. Так как же ты мог решить, что я тебе не нравлюсь?

Ух, какая длинная речь! И как она все это выговорила? Говорила— и продолжала плакать. Потом голова ее склонилась на плечо Моти. А тот, смущенный и пристыженный, легонько поглаживал плечи девушки...

Домой она возвратилась поздно и на вопрос матери беспечно ответила:

— Сидела в конторе. Работы было много.

За ужином она вдруг стала привередничать: то ей не по вкусу, другого не хочет... Отец и мать недоуменно глядели на дочь. Глаза ее припухли от слез, но в них, впервые за долгие годы, вспыхивал тоненький луч счастья, подобно тому как в темных валунах туч загорается огненная стрела молнии.

Маггхи прикусила губу и метнула взгляд на мужа; казалось, она разгадала тайну дочери. Дживанрам тоже что-то понял: он радостно посмотрел на Судху и снова уставился глазами в тарелку. «Очевидно, что-то произошло»,— подумали оба. И поскольку Судха была особой женского пола, тут, как видно, не обошлось без мужчины.

Спустя неделю их предположение подтвердилось. В доме были гости: подруга детства Маггхи вместе со своим сыном явились посмотреть Судху. Сколько стараний приложила мать, чтобы залучить их к себе! Поэтому, когда от свадьбы отказался не парень, а ее собственная дочь, Маггхи сначала изумилась, а потом... Потом она вспомнила о своих подозрениях. Безусловно, что-то произошло!

И Маггхи возобновила хлопоты о приданом. а Дживанрам стал ждать, пока дочь откроет свой секрет матери. Тогда старый Дживанрам выкатит желтые, обрамленные красными веками глаза и прогремит: «Да как ты посмела? Тайком от родителей!.. Вон из моего дома! Опозорила семью!» А после, смягченный уговорами жены, вновь затянется дымом хукки и спросит: «Так кто же он?»

И кто бы ни оказался этот «он», как только имя его будет произнесено, отец поторопится со свадьбой, ибо не пристало держать в родительском доме двадцатипятилетнюю девушку.

Однако шли дни, проходили месяцы, год сменялся годом, а избранник Судхи продолжал оставаться тайной. Усталые и отчаявшиеся родители вновь кинулись подыскивать женихов — одного, другого, третьего, но Судха всем говорила «нет». Последнему из них, вдовцу-кондитеру, перевалило уже за сорок.

К концу дня, когда сгущаются тени и явственнее становится благоухание накрашенных ладоней, Судха говорила Моти:

— Теперь они привели ко мне старого кондитера.

— Ну и как? — улыбнулся Моти.

— Отказала.

— Почему, глупенькая? Подумай, какая судьба тебя ожидала: не работать, есть одни только сласти...

— И бросить тебя! — гневно и страстно воскликнула Судха.

— Но ведь я на тебе не женился,— заметил он, обнимая ее за талию и привлекая к себе.

— Ну и что? — Судха потерлась щекой о щеку любимого.— Разве люди бывают ближе, чем мы с тобой? При чем тут брак? Ведь ты весь— вот он.— Она повернула кверху раскрытую ладонь и сжала пальцы в кулак.

Моти засмеялся:

— Ты права, я весь в твоих руках. Стоит тебе только пожелать — и я с тобой.

— А вначале ты был вовсе не таким,— с кокетливой улыбкой сказала Судха.— О, как трудно было тебя залучить!

— Вначале... Чтобы понять, ощутить любовь, нужно время и время. Где мы завтра встретимся?

— Где хочешь.

— В Ко́тле выставка лошадей.

— Ты, кажется, думаешь, что я собираюсь завести скаковую лошадь? — рассмеялась Судха.

— В Олдхолле книжная выставка.

— О нет! — Судха зажала уши руками.

Моти умолк.

— Пойдем лучше в кино,— предложила Судха.— В «Басанте» идет хорошая картина. Я куплю билеты на шесть пятнадцать, приходи прямо туда.

— Билеты куплю я.

— Нет, эту картину покажу тебе я, а ты, если хочешь, сведи меня на другую. Разве я против? Так не забудь: завтра вечером в «Басанте».

...Около кинотеатра «Басант» было людно. Судха купила два билета и стала поджидать Моти. Запаслась также кедровыми шишками и пакетиком изюма: она любила в кино что-нибудь пожевать.

Время близилось к шести, из дверей повалила публика с предшествующего сеанса, затем толпа возле кинотеатра начала редеть, а Моти все не шел. На улице было светло, толкался народ, громко расхваливали свой товар лоточники, по мостовой катились коляски, мчались машины, сновали рикши. Моти не любил толпы, не любил шума. О, теперь-то Судха его знала! Моти влекло к тишине, сумраку, одиночеству. У него была сложная, тонкая душа.

В четверть седьмого Судха вошла в зал, отыскала свое место и села. На соседнее место положила носовой платок, орехи, пакетик с изюмом. Зал был уже почти полон, но Моти не появлялся. Только когда погас свет и на экране замелькали кадры, Судха ощутила на своей руке руку Моти.

— Ай-ай! Ты заставляешь себя ждать.

— Прости, дорогая,— нежно шепнул он.

— У меня тут изюм и шишки. Ешь.

Моти отправил в рот несколько изюмин. Судха счастливо вздохнула и с головой ушла в картину. Разговоры будут потом. А сейчас Судха чувствовала руку Моти в своей, знала, что пройдет сколько-то времени и она склонится на плечо друга.

— Ты положила голову мне на плечо. Разве ты так что-нибудь видишь? — тихо спросил Моти.

— Я вижу то, чего не увидеть никому в этом зале,— радостно отвечала Судха.

...Люди, с которыми каждый день сталкивалась Судха, начали подмечать в ней перемены. Глаза ее, прежде холодно прищуренные, вдруг широко открылись; чуть подведенные, с накрашенными ресницами, они излучали какое-то нестерпимое сияние счастья. Грудь ее развилась, стан приобрел удивительную гибкость, походка стала легкой, кокетливой. День ото дня девушка становилась все краше. А как она теперь одевалась! Материя обычно была недорогая, но зато какой покрой! И дело было вовсе не в хороших портнихах — Судха не имела возможности к ним обращаться. Просто девушке хотелось быть хорошо одетой, а вкуса и умения ей было не занимать. Но об этом тоже никто не знал. Когда сослуживицы принимались расхваливать ее туалеты, Судха называла имя какой-нибудь известной мастерицы, у которой шили самые богатые модницы, и девушки сгорали от зависти.

— Расскажи, какой он — твой? — с ревнивым любопытством спрашивали они.

— Ну, какой, какой... Белолицый. Волосы вьющиеся. Когда смеется — будто жемчуг сыплется...— отвечала Судха.

— Сколько же он получает?

— Двенадцать сотен.

— Двенадцать!..— ахали девушки.— Да ведь это жалованье нашего управляющего!

— А он и есть управляющий, только в другой фирме.

— Ты бы хоть показала нам его. Интересно все-таки...

— Пожалуйста. Как-нибудь попрошу его зайти в контору.

Закончив речь, сатана стал на колени, припал к стопам бога и зарыдал. Жалость смягчила сердце всемилостивого бога, и он обратился к своим ангелам и святым:

— А что вы скажете об этом?

Речь сатаны разжалобила всех ангелов, но ни у одного из них не хватило мужества выступить вперед и открыто сказать об этом. Наконец, заикаясь от страха, Гавриил вымолвил:

— Ты милосердный и справедливый. Сатана уже сполна получил за свою дерзость, и мне поистине жаль его.

— Ты возьмешься за его дело? — тут же спросил бог.

— Я же твой вестник, боже,— смиренно, скрестив на груди руки, ответил Гавриил.

— А я кормилец всех в мире сущих,— заявил Михаил.

— А я должен играть на трубе в Судный день,— поспешил вставить Исрафил.

— А я уношу из тел души,— добавил Азраил.

— С этого дня мы назначаем ведать делами ада того, кто уносит души умерших,— распорядился всевышний,— и освобождаем сатану. Верните ему крылья.

Когда сатана снова получил свои крылья, бог сказал ему:

— С этого дня ты снова ангел. Ты должен будешь учить людей добродетели. Немедленно отправляйся отсюда на землю. Там, в округе Лакшман Паттан сейчас продают Зохру — дочь крестьянина Карамдина. Ступай туда и расстрой эту сделку.

Сатана, приняв вид почтенного седобородого старца, пришел в дом крестьянина Карамдина из Лакшман Паттана и стал уговаривать его:

— Если ты продашь свою дочь, то гнев божий падет на тебя.

— А сейчас на меня уже пал гнев нашего ростовщика,— в отчаянии ответил Карамдин.— Если я не продам дочь, то вынужден буду продать землю, а если продам землю, то чем буду кормиться сам и как прокормлю жену, пятерых дочерей и двух сыновей? Ты видел нашу землю — сухой каменистый краснозем? На ней не родится ничего, кроме кукурузы и проса. Трудишься день и ночь, а еле сводишь концы с концами. Если продашь землю, то хоть сразу ложись и умирай. Ты готов взять на себя ответственность за убийство моих пяти дочерей, двух сыновей и жены? Вместо того чтобы уговаривать меня, лучше уговори лалу* Мисри Шаха, нашего деревенского ростовщика, которому я должен семьсот пятьдесят рупий, и мне незачем будет продавать Зохру.

Сатана поставил на лоб себе тилак**, надел белое дхоти, перебросил через плечо покрывало с написанным на нем именем Рамы, взял в руки четки и отправился в дом лалы Мисри Шаха. Ростовщик, совершив богослужение, сидел во дворе на топчане и отдыхал, когда перед ним предстал сатана в образе набожного брахмана.

Выслушав его, лала Мисри Шах ответил в своей обычной вежливо-слащавой манере:

— Пандит-джи, зачем вы все время пугаете меня именем божьим? Ведь не я продаю девушку, а Карамдин. Он получит деньги, на него и падут грехи, а при чем тут я? Мне только нужно получить от него семьсот пятьдесят рупий. Возвратит долг — и пусть поступает, как хочет.

---

* Обращение к лавочнику, купцу, ростовщику.

** Круглый значок, наносимый специальной краской на лоб, кастовый знак брахманов.

— Но если бы ты простил ему эти семьсот пятьдесят рупий, он не продавал бы дочь,— пояснил сатана.

— Чей долг нужно мне простить? — спросил ростовщик, доставая свою красную книгу.— Взгляните вот на эти записи. Сундардас должен возвратить две тысячи, Гамме — пятьсот шестьдесят рупий, Гурудаял должен восемьсот рупий, Мехтабрай взял три тысячи. Крестьяне этой деревни задолжали мне двадцать одну тысячу рупий, не считая процентов. Если я прощу всем долги, то что буду есть сам? Как я стану содержать семью?

— А ты не прощай долг никому, кроме тех, кто из-за твоего долга вынужден продавать своих дочерей.

— Ну а что же делать мне? Я подал прошение о предоставлении мне лицензий на две водяные мельницы. Чтобы получить лицензии, я должен внести в государственную казну в течение недели семьсот пятьдесят рупий. Закладная на землю Карамдина у меня. Если он в течение четырех дней не возвратит мне долг, то я продам его землю и получу деньги, нужные мне на лицензии.

Перебирая четки, сатана продолжал увещевать несговорчивого скрягу:

— И как гебе не стыдно, Мисри Шах. Из-за этих семисот пятидесяти рупий ты хочешь взять в дом мусульманскую девушку, осквернить свою религию.

— Рам-Рам! Что вы говорите, пандит-джи! — испуганно вскричал лала Мисри Шах, пальцами касаясь своих ушей*.— Да я не мог даже подумать о таких низких поступках. Я не приведу эту девушку к себе в дом. Ведь ее продают Ходже Бадруддину, что содержит магазин оптовой торговли за мостом в Лакшман Паттане. У того уже есть четыре жены, и все же он готов заплатить семьсот пятьдесят рупий за Зохру. Карамдин отдаст Бадруддину свою дочь, а Ходжа Бадруддин отдаст Карамдину за девушку семьсот пятьдесят рупий, а Карамдин в погашение долга отдаст эти деньги мне, а я за свои лицензии...

— Хватит, хватит,— нетерпеливо прервал сатана,— лучше скажи мне — неужели никак нельзя приостановить эту грязную сделку?

— Ее может приостановить, если захочет, Ходжа Бадруддин. Зачем ему жениться в пятый раз? Ведь есть же у него в доме четыре жены. Если он раздумает жениться, сделка может легко расстроиться.

— Кто это сказал, что я беру пятую жену? — удивился купец Ходжа Бадруддин.— Верно, у меня есть четыре жены, но самая первая совсем состарилась. Она даже не может управляться с домашними делами. Я выплачу ей ее долю, назначу содержание и дам развод и только тогда женюсь на Зохре.

— Но ведь тебе исполнилось шестьдесят пять. Зачем ты хочешь жениться на старости лет? — спросил сатана.

— До сих пор ни одна из четырех жен не подарила мне сына, все дочерей рожали,— удрученно ответил Ходжа Бадруддин.— А мне нужен сын, мой наследник, продолжатель рода.

— Может, и Зохра не родит сына,— заметил сатана.

— На все воля творца,— смиренно ответил Бадруддин, воздев руки к небу.— Я верю, что он исполнит это мое желание.

— Неужели нельзя расторгнуть эту подлую сделку? — снова в отчаянии спросил сатана.

---

* Жест, означающий полную покорность богу, безраздельное повиновение религиозным установлениям и нормам.

— Никто никого не принуждает заключать ее,— недовольно ответил Ходжа Бадруддин.— Девушка взрослая, совершеннолетняя, сама разбирается, что для нее хорошо и что плохо. Если бы она не соглашалась на этот брак, ни я, ни ее отец не смогли бы заставить ее.

Сатана превратился в красивого стройного юношу и отправился на свидание с Зохрой, которая в это время сидела в тени низкорослого кустарника на берегу ручья и набирала воду в кувшин. С первого же взгляда она влюбилась в стройного юношу. Ее золотистые щеки зарделись румянцем смущения, и ее пальцы растерянно забегали по стоявшему на берегу кувшину.

Сатана сделал ей предложение.

Зохра перестала водить рукой по кувшину, пристально посмотрела на юношу и чуть слышно спросила:

— А чем ты занимаешься?

— Ничем,— ответил сатана,— я лишь славлю имя божие.

— Все славят имя божие,— печально заметила Зохра.— Как же тогда ты прокормишь меня?

— Мы будем трудиться вместе с тобой.

— Я тружусь всю свою жизнь. До сегодняшнего дня я постоянно работаю в доме родителей и в поле, а зарабатываю лишь на то, чтобы прикрыть тело грубым тряпьем да раз в день не досыта поесть. Мне надоел такой труд.

Долго молчал сатана, потом медленно, задумчиво проговорил:

— Зохра, ты так молода и красива. Подумай, сможешь ли ты быть счастлива, выйдя замуж за этого шестидесятипятилетнего старика? Неужели ты можешь продаться за несколько серебряных монет?

— Он даст мне дом, одежду и по крайней мере дважды в день накормит,— и лицо Зохры расцвело от надежды.

— Но он же старый, противный, ему шестьдесят пять лет,— сказал сатана, взяв Зохру за руку.— Подумай, разве ты будешь счастлива с ним?

Длинные ресницы Зохры медленно поднялись вверх, она кокетливо посмотрела на юношу и сказала:

— А для собственного счастья я иногда буду встречаться с тобой. Будешь приходить на свидания? Тайком?

Тяжело вздохнув, Зохра хотела прижаться к его груди, но сатана резко вырвал руку и убежал.

Он пришел к тханедару* Гурудаял Сингху и, торопясь, стал рассказывать ему:

— Как добропорядочный гражданин, я прошу вас помешать этой мерзкой сделке. Не дайте сломать жизнь девушки. Господин тханедар, я вам сообщаю, что в округе Лакшман Паттан крестьянин Карамдин продает свою дочь Ходже Бадруддину за семьсот пятьдесят рупий. Карамдин же передаст эти семьсот пятьдесят рупий ростовщику Мисри Шаху и выручит свой клочок земли. Неужели за бигхи и акры должны продаваться человеческие души? В моральном отношении эта сделка — большая ошибка, в религиозном — она греховна, в юридическом — это преступление. Я ставлю вас в известность. Вы начальник полиции в этом районе, не дайте же свершиться этому противозаконному делу.

— И не подумаю помешать,— холодно ответил тханедар сатане.— Мне уже известна эта история, и я принял необходимые меры. Я узнал,

---

* Начальник полицейского участка.

что за несколько минут до бракосочетания Ходжа Бадруддин передаст из своих рук в руки будущей жены семьсот пятьдесят рупий. Зохра эту же сумму передаст своему отцу. Сразу же после бракосочетания Карамдин отправится к ростовщику Мисри Шаху, передаст ему деньги и погасит свой долг. Но мои люди будут присутствовать во время бракосочетания, а деньги, которые передаст Ходжа Бадруддин Карамдину, будут заранее тайно помечены. Как только закончится обряд и свершится сделка, я сразу же арестую всех и отдам под суд по обвинению в продаже девушки.

— Зачем же доводить до суда? — обеспокоенно спросил сатана.— Не лучше ли заранее предотвратить эту незаконную сделку?

— Какой же ты дурак! — вскричал тханедар Гурудаял Сингх.— Надо быть совершенным идиотом, чтобы упустить из рук такое дело. Я смогу сразу взять за горло Ходжу Бадруддина, ростовщика Мисри Шаха, Карамдина и Зохру. От Ходжи Бадруддина я получу взятку по крайней мере в две тысячи рупий. Такую же сумму преподнесет мне и Мисри Шах. А про Зохру мне говорили, что она очень недурна собой.

— Но это же грех! — воскликнул сатана.

— На эти четыре тысячи рупий я смогу выдать замуж свою дочь.

— Ради свадьбы одной девушки вы поломаете жизнь другой. Это ведь страшный грех!

— Кроме того, я еще заработаю на этом славу, дорогой господин,— продолжал просвещать сатану тханедар.— Такого громкого процесса у нас еще не было. Вполне возможно, что после успешно проведенного процесса меня из помощника инспектора произведут в инспекторы полиции.

— Но ведь это же преступление,— закричал Сатана.

— А ты кто такой, чтобы вмешиваться? — грозно вопросил тханедар.

— Раб божий,— смиренно склонив голову, ответил сатана.— Учу людей добру и разуму.

Тханедар приказал бросить его в камеру.

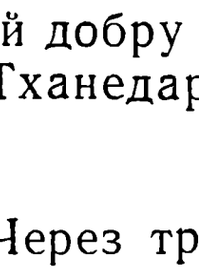
Через три дня, выйдя из камеры полицейского участка, сатана отправился прямо к богу и возвратил ему свои крылья.

— В чем дело? — спросил всевышний.

— Я думал, что мне досталось самое трудное дело,— ответил сатана,— а ангелам самое легкое. Теперь я убедился, что моя прежняя работа намного легче. Поэтому я прошу возвратить мое прошение об отставке и сразу же направить меня снова в ад.

Справедливость Викрамадитьи

1



Помещение четвертого участка суда было битком набито людьми. Уже было половина двенадцатого, а кресло судьи все еще пустовало.

Сегодня шофера такси Викрама вызвали в суд одиннадцатый раз. Десять раз за четыре месяца он являлся в суд, и каждый раз рассмотрение дела откладывалось — до него не доходила очередь. За эти четыре

месяца одиннадцатый день простаивало его такси, а если не работает такси, то стоят на месте дела, не ходят в школу ребятишки, замирает торговля у лавочника. Только язык жены начинает двигаться с большей скоростью.

И дело-то у него было пустяковое — он догнал стремительно мчавшуюся машину самого большого в их городе человека и даже обогнал ее. Сколько ни старался важный господин перегнать такси, Викрам не уступил. И хотя машина важного господина была такой же огромной, как живот ее хозяина, скромное такси Викрама опередило ее. И дело тут совсем не в машине, а в искусстве водителя. Ведь все машины приводятся в движение руками человека, а большие люди часто забывают об этом. Самый важный в городе господин был до глубины души возмущен дерзостью ничтожного таксиста и на первом же перекрестке пожаловался на него полицейскому. В суде Викрама могли оштрафовать самое большее на десять рупий. Но важный господин был очень занятым человеком и никак не мог найти время, чтобы прийти в суд. Вот почему Викрам вынужден был явиться сюда в одиннадцатый раз.

— Господин судья сегодня не придет? — спросил Викрам у своего адвоката.

— Кто знает? — раздраженно ответил тот. Викрам пообещал адвокату платить по три рупии при каждом вызове и подумал при этом, что недорого сторговался. Но разве мог Викрам предполагать, что дело так затянется и вместо трех рупий ему придется уплатить тридцать три? Адвокат же отвечал так недружелюбно потому, что как еще прикажете отвечать за три рупии? Вот если бы оно приносило пятьдесят, хотя бы двадцать рупий — то и адвокат улыбался бы своему клиенту. У адвокатов улыбка на губах появляется только в определенных обстоятельствах. И у каждого, как на счетчике такси, существуют свои особые расценки. У одного улыбка появляется при пяти рупиях, у другого — при пятидесяти, а некоторым надо не менее тысячи.

«Я уже отдал этому кровопийце тридцать три рупии,— подумал Викрам,— а он даже слова по-человечески не скажет. Оштрафуют, наверно, не больше чем на десять рупий, а адвокату отвалил уже тридцать три».

— Спросите, пожалуйста, у секретаря — придет сегодня судья или нет,— умоляюще попросил Викрам адвоката.— Машина стоит, а я несу на этом большой убыток.

Адвокат взглянул на часы и заторопился:

— Уже без четверти двенадцать, а у меня еще одно дело во втором участке. Побегу туда. А ты посиди или постой здесь, в помещении. Если вызовут тебя, немедленно дай мне знать.

Адвокат поправил протертый воротник пиджака, подтянул висевшие мешком брюки и направился во второй участок. Много лет назад он женился на уродливой дочке известного адвоката, надеясь, что тесть поможет продвинуться по службе и своему зятю. Но вскоре отец жены умер. А потом один за другим родилось семеро детей, а тут еще протерся и воротник пиджака. «Что сделаешь на три рупии? Если в жизни соприкасаешься только с горечью, откуда возьмутся сладкие речи?» — думал адвокат по пути во второй участок.

Викрам попытался было разузнать о судье у секретаря, но секретарь накричал на него, и Викрам испуганно отошел в сторону и долго в растерянности приглаживал свою бородку. У него была удивительно красивая бородка и большие выразительные глаза. У всех мужчин в их семье были красивые глаза, и все они носили огромные тюрбаны. Эти тюрбаны и толстый пучок волос были признаками древнего величия его религии и культуры. Из рода Викрама вышли известные ученые, знатоки священных

книг, пандиты. Ну а Викрама обстоятельства вынудили сесть за руль такси.

Викрам долго беспомощно оглядывался вокруг. Вдруг в самом дальнем уголке зала он увидел рассыльного господина судьи. Рассыльный всегда состоял лично при судье, и когда тот выходил из своего кабинета и направлялся в зал заседаний, рассыльный шел в двух шагах впереди и громко кричал, оповещая переполненный зал о появлении господина судьи. Когда появлялся господин судья в черных очках, черной мантии с белым воротничком, все присутствующие вставали в знак уважения к нему и стояли до тех пор, пока господин судья не садился на высокое судейское кресло.

— А когда придет судья-сахиб?

— Обычно он приходит ровно в двенадцать,— ответил рассыльный.— Не знаю, что с ним случилось сегодня.

— Может быть, заболел?

— Если заболел, то может совсем не прийти.

— Конечно. А может, придет какой другой судья?

— Бывает, что приходит и другой. Может быть, судья-сахиб позвонит по телефону.

Не успел он закончить фразу, как раздался телефонный звонок, и рассыльный пошел в кабинет судьи. Вслед за ним отправился и Викрам.

Рассыльный снял трубку и внимательно слушал, а Викрам стоял и осматривал кабинет. Чистая светлая комната. С одной стороны — стол судьи-сахиба, с другой — мягкое кресло, в котором отдыхал господин судья, несколько стульев и табуреток, несгораемый шкаф. На стене напротив прибита вешалка, на которой висит судейская мантия. Очки в черной оправе, воротничок и мадрасский тюрбан господина судьи лежали тут же на табуретке.

Рассыльный положил трубку, повернулся к Викраму и сообщил:

— Судья-сахиб не придет. У него грипп.— И вдруг, переменив тон, закричал: — Как ты посмел войти сюда? Разве не знаешь, что посторонним сюда не позволено входить! Ну-ка, убирайся отсюда!

И рассыльный с грозным видом двинулся на Викрама. В тот же миг крепкий кулак Викрама опустился на голову рассыльного.

2

Зал заседаний четвертого участка до отказа заполнили зрители и адвокаты. Сегодня в судейском кресле восседал новый судья, и все с нетерпением ждали, какие решения он будет выносить.

В первом деле истцом выступал Бала Чандран. Он возбудил дело против старухи, которая вот уже десять лет снимала в его доме комнату. Полгода назад во время уличной катастрофы у старухи погиб сын, и с тех пор она не могла платить за квартиру.

— Сколько комнат в твоем доме? — спросил судья у Балы Чандрана.

— Десять,— ответил тот.

— А сколько человек в твоей семье?

— Один я,— пробормотал Бала Чандран.

— А сколько тебе лет?

— Уже семьдесят, господин!

— К чему семидесятилетнему старцу десять комнат? — спросил судья.— Разве ты не можешь одну из них дать старухе, у которой полгода назад погиб сын?

— Господин судья,— вмешался адвокат Балы Чандрана,— в главе такой-то, статье такой-то, параграфе таком-то закон говорит...

— А что говорит человек? — повысил голос новый судья, и адвокат Балы Чандрана испуганно умолк.

Потом судья с улыбкой посмотрел на Балу Чандрана, тщедушного семидесятилетнего старикашку с явными следами многолетней скупости на лице.

— Сколько слуг у тебя в доме? — спросил новый судья.

— Ни одного,— ответил истец.

— И ты не чувствуешь себя одиноким?

Адвокат уже хотел было заявить судье протест — что за вопросы он задает, какое отношение они имеют к делу.

— Иногда чувствую,— ответил Бала Чандран.

— И не хочется тебе, чтобы кто-нибудь прибрал твою комнату, вовремя подал тебе белье, согрел воды, приготовил и подал завтрак, чтобы вечером, перед сном, кто-то помассировал ноги?

— Конечно хочется, господин!

— И если бы этот человек за все услуги не попросил у тебя ни пайсы, а только комнатушку да еду дважды в день, неужели ты отказал бы ему?

— Но, господин, разве найдешь сейчас такого человека в целом мире? — с болью в голосе ответил Бала Чандран.— Только из-за этого я и не держу слуг.

— Вы согласны? — спросил новый судья у старухи.

Лицо старой женщины просияло. Воздев руки, она стала молиться за здоровье судьи, а потом прикрикнула на Балу Чандрана:

— Пошли домой, старый. Тебе уже время обедать.

Старуха взяла старика за руку, и все присутствующие дружно рассмеялись.

3

Перед судьей стояла красивая молодая англо-индианка. Она была такая красивая, что казалось, будто в ложе для истцов кто-то поставил вазу с прекрасными цветами.

— Значит, вы хотите развестись со своим мужем? — спросил судья.

— Да.

— Ваш муж безработный?

— Нет, он машинист на железной дороге.

Машинист стоял рядом и все время вытирал платком лицо. Сегодняшний день оборачивался для него большим бесчестьем. Если бы этот зал суда оказался в одном из вагонов его поезда, он, не колеблясь, спустил бы под откос весь состав.

— Почему же вы хотите развестись с ним?

— У мужа дурно пахнет изо рта. Он каждый день на ночь ест чеснок.

— Почему же вы не заставляете его чистить зубы на ночь?

— Я говорила ему, но он не обращает внимания на мои слова.

— Так выдавите на щетку зубной пасты и суньте ему в рот.

Молодая женщина немного помолчала, а потом добавила:

— Господин судья, он ежедневно вечером забирается ко мне в постель прямо в ботинках.

— Тогда и вы не разувайтесь на ночь,— предложил судья.— Очень легкий способ в два дня отучить его от этой дурной привычки.

— Но,— вмешался адвокат,— по статье такой-то раздела такого-то главы такой-то уголовного кодекса Индии, если муж с женой...

— Помолчите вы,— прикрикнул судья на адвоката.— Кто вам позволил вмешиваться в отношения мужа с женой? — Потом судья продиктовал машинистке решение:

— Если муж и дальше будет пытаться лечь в постель в обуви, жена тоже имеет полное право ложиться спать, не разуваясь.

4

Теперь перед судьей стоял владелец текстильной фабрики «Чари текстайл милз» Кришнамачари. Он был очень высок и строен. В рубашке из белого шелка и таком же дхоти он был словно божество, только что вышедшее из храма. Его руки, казалось, всю жизнь только и делали, что считали деньги. Он стоял перед судьей совершенно спокойно и непринужденно.

— Так вы признаете,— спросил судья,— что ваш рабочий Редди потерял во время аварии на фабрике руку?

— Да, признаю.

— И тем не менее даже после этого признания вы отказываетесь выплатить Редди компенсацию за увечье?

— Да.

— Почему?

— Потому что руку Редди оторвало из-за его же небрежности. Кроме того, из-за его небрежности испорчена машина на моей фабрике.

— На вашей фабрике? Как она стала вашей?

— Господин, я ее хозяин.

— Как стали вы ее хозяином?

— Господин, я вложил в нее капитал. Я потратил на нее семь миллионов рупий.

— А сколько получили прибыли?

— Тридцать четыре миллиона четыреста тысяч.

— А если бы на фабрике не работало ни одного рабочего, какую прибыль получили бы вы?

— Как можно, господин? Откуда взяться прибыли, если на фабрике не будет рабочих?

— Значит, вы признаете, что ваши семь миллионов сами по себе ничего не значат, пока к ним не приложены рабочие руки?

— Выходит, что так, господин,— запинаясь, признал Кришнамачари.

— Почему же вы считаете, что руки, создающие эту прибыль, не владеют фабрикой? Почему не считаете хозяевами фабрики тех, кто приводит ее в действие? И если у кого-то из них по небрежности — их или вашей — оторвало руку, почему вы не назначаете ему пожизненную пенсию?

— Но ведь это социализм.

— Наше правительство признает социализм.

— Но по параграфу такому-то раздела такого-то главы такой-то хозяином считается...— возразил адвокат.

— Адвокат, лучше защищайте благородных людей,— одернул судья адвоката, а потом повернулся к машинистке и продиктовал:

— Пишите. Кришнамачари вложил в фабрику «Чари милз» семь миллионов рупий, а получил прибыль в тридцать четыре миллиона четыреста тысяч рупий. Следовательно, он вернул себе вложенные им деньги с большими процентами. Поэтому с сего дня эта фабрика принадлежит не ему, а тем людям, которые вкладывали и вкладывают в нее капитал в виде труда своих рук. Далее. Хотя Кришнамачари сам не вкладывал

в дело труд своих рук, тем не менее он стал единственным собственником этой прибыли. Поэтому суд постановляет — установить пожизненную пенсию Редди, а Кришнамачари отрубить обе руки, так как они не приносят никакой пользы, а нашей стране нужны только работающие руки.

— Что за вздор?

— Это судья или какой-то сумасшедший? — зашумели собравшиеся в зале адвокаты.

Новый судья хотел что-то еще добавить, но тут в помещение суда вбежал, поправляя на ходу протертый воротник пиджака, еще один адвокат и закричал:

— Держите его! Это не судья, а мой подзащитный, таксист Викрам... По какому праву уселся он в кресло судьи?!

5

Когда таксист Викрам явился в суд, судья спросил у него:

— Ваша фамилия?

— Викрамадитья *.

— Возраст?

— Две тысячи лет.

— Профессия?

— Водитель такси.

— Признаете себя виновным в том, что в отсутствие уважаемого судьи вы сели в судейское кресло и тем оскорбили уважаемый суд?

Все присутствующие внимательно смотрели на таксиста Викрама. Долго стоял он молча, низко опустив голову, потом медленно поднял ее и ответил:

— Господин судья, жизнь бежит, как такси, а закон ползет не быстрее старой арбы. Я не виноват, господин. Считайте, что я не садился в судейское кресло. Я лишь немножко нажал на педаль акселератора.

— Шесть месяцев тюрьмы,— объявил судья.

Двое дюжих полицейских схватили Викрама и потащили из зала суда.

Перевод с урду А. СУХОЧЕВА

---

* Буквально — «солнце доблести»; индийский царь, живший, предположительно, в I в. до нашей эры и прославившийся щедростью, великодушием, справедливостью и мужеством.

АМРИТА ПРИТАМ

Лирические стихи

(Из книги «Черная роза»)

Перевод с английского
НАТЭЛЛЫ ГОРСКОЙ

Узел

Наших губ ткань протерлась насквозь,
но дыханье — узлом — не дышать врозь!

Но узлом — двух жизней суть,
но узлом — твой и мой дух,
но узлом — твой и мой путь,
но узлом — вздох двух.

Но узлом — наших тел ночь,
но узлом — наших тел заря,
но узлом — мольба двух,
но узлом — два алтаря.

Если доведется нам рядом сесть,
говори: океан любви есть,
говори: наша жизнь — ладья,
говори: поплывем, моряки, ты и я.

Знаем мы тайну слов,
знаем мы, о чем речь:
это неба наказ,
это всей земли зов.

Если доведется нам рядом быть,
говори: красота лиц нежна.
говори: легких ног жива прыть,
говори: с лаской рука дружна.

Говори: не поблекнет красок разлив,
говори: не иссякнет души родник,
говори: отряхнем, как пыль,
все, что с болью любовь роднит!

Капли света

Из небесной реки звезда
зачерпнула света в кувшин.

И сквозь ночь закапал свет на меня.
Снова в памяти — ты:
больше жизни памяти власть.

Небо раскинуло синий плащ,
и корявые руки земли
разорвали края.

Мимолетная ночь,
я не знаю, кому довелось
разгадать загадку твою.

Бивни месяца были остры —
прокололи насквозь
нежного сердца ладонь.

Память ярче костра,
я в огне, я хочу убежать,
но одежда пылает на мне.

Эдип

По эту сторону черты положен грех,
а по другую сторону — расплата.
Я знаю, в материнском молоке
была святая чистота,
но я — младенец — выпачкала губы.
И первый лепет,
с неумелых губ слетевший,
обернулся ложью.
Как в темной шахте, тьма
в глубинах лона моего дремала.
Потом пролился свет,
дневной и яростный, который жалит,
как черная змея,
и горьким ядом наполняет вены.
Гляжу в себя и взглядом отчужденным
пытаюсь собственный, привычный взгляд поймать,
и стыдно мне себя самой.
Глаза боятся видеть сны,
глаза боятся спать без сновидений.
Лицо мое... ищу его и не найду.
Быть может, суждено рукам
всю жизнь тянуться к плотской страсти,
вошедшей в тело на заре.
В плоде запретном нет запрета —
в нем все величие земной любви
и мерзость тяжкого грехопаденья.
Проклятый рок! Когда ж наступит избавленье?..
По эту сторону черты положен грех,
а по другую сторону — расплата.

Ком глины

Женское естество
с мужским естеством,
вымешанные, словно тесто,—
тельца слабенький ком
и лицо, отлитое в форму.

И вроде бы нет ничего,
только запах молочный
от глины комочка
да крика тишайший всплеск,
без единого слова пока —
не знакома ему игра языка.

Он — как розовый первоцвет,
ни единой тенью земли
не запятнан.
И пылища дорог
не покрыла корой
нежные пятки.

Над его головой людские моря
горечь и соль несут,
а ему невдомек:
двух понятий «твое» и «мое»
он не вычерпал суть.

Но близится обжига час:
в печи всех моралей и вер
его обожгут,
и клеймо поставит гончар,
и условностей груз
ляжет, словно глазурь,
на свежесть чувств.

Родина, нация, дом
в сердце болью засядут прочно.
Он привыкнет любить своих
и порочить прочих.

Глины бесформенный ком,
твердеющий под руками,
он поймет — твердым бывает
камень

И, постигая секрет камней,
он прикажет себе: — Каменей! —
чтобы позже рухнуть глыбой
тяжелой
на чужого черепа желудь.

Пир

Молодая пирует ночь
и звезды — сияющий рис —
сыплет с улыбкой в котел.

Лунная чаша светом полна,
допьяна небеса напились.

Сердце земли все сильней стучит.
На ветвях — как в домах — загостились цветы.

Что случится сегодня в ночи?
Я спешу, я судьбу не спрошу.

Жизни страница была бела,
на нее ты поставил любви печать.
Эта жизнь не моя, а твоя.

Прозвучала песня судьбы,
и я затвердила слова.

Кто заветное древо нашел?
Плод желанный держал в горсти?
Я сегодня губами его коснусь.

Ветер, ты не томись, не вздыхай,
не держи меня — отпусти:
мне сегодня с судьбой пировать!

Новогоднее

Словно зуб вон из частого гребешка —
в мыслях моих провал,
словно теряет душа
последнее из покрывал,
словно соринка в глаз
всех доверий и вер,
словно под пальцами сна
уголек сновидений погас —
так в жизнь мою новый год.

Словно в имени кровно моем
какая-то буква прочь,
словно замарана чернильным пятном
сокровеннейшей тайны суть,
словно все века и последний век
тщатся вздохнуть из предельных сил,
словно слезища с век
всех, кто жив и жил,—
так в жизнь мою новый год.

Словно незаживающий рубец
на чистейшей коже любви,
словно дрогнул мудрец —
и запястий хрусталь в черепки,
словно история в набат
над своим ристалищем бьет,
словно земле судьба
горчайшую весть подает —
так в жизнь мою новый год!

В полночь

Стукнула в дверь память о вас.

Это не песни слова,
а соленый пот на челе любви.

Это не песни слова,
а слеза на бумагу с пера.

Это не песни слова,
а стон истерзанной тишины.

Я долги плачу монетой любви,
плачу́ — не хочу множить долги.
Почему же они растут?...

Память, ты и во сне — часовой на посту.
Этой ночью мне — мне, живой! —
говоришь: иди на последний суд.

Память, память стукнула в дверь...

А. ЗВЕРЕВ

«МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК» И БЕЗУМНЫЙ МИР

Есть темы и сюжеты, которые передаются от эпохи к эпохе и оживают в самых неожиданных подчас исторических ситуациях. Четвертый век возрождается под все новыми именами созданный народной фантазией доктор Фауст. Под пером Яна Отченашека во тьме оккупированной Праги разыгрывается трагедия Ромео и Джульетты. Орест зовет парижан к сопротивлению в «Мухах» Сартра. У Теннесси Уильямса Орфей становится гитаристом в маленьком городке на юге Америки.

Дело здесь не только в притягательной силе, которой обладают великие образы прошлого. Случайно ли, что перед самой войной Камю обращается к образу Калигулы, правителя-маньяка, через века протягивающего длань Гитлеру? Фашизм — апофеоз мракобесия, и он враждебен всякому проявлению человечности, как враждебен дух средневековья любви юных шекспировских героев. Не раз отмечалось, что давно живущие в искусстве темы делаются особенно актуальными в годы грандиозных общественных потрясений.

И все-таки исторические и социальные аналогии не всегда очевидны и ощутимы. Шиллер создавал «Орлеанскую деву» в трагическую для его родины эпоху наполеоновских войн; Твен писал о Жанне д'Арк в глубоко провинциальном Нью-Йорке конца прошлого века. Много ли общего между николаевской Россией, породившей тип Акакия Акакиевича, и Америкой «джазового века», когда появился на экране человек с усиками и тросточкой, известный всему миру под именем Чарли? А ведь герой Чаплина и герой Гоголя — образы, несомненно, очень близкие друг другу, типичные «маленькие люди».

Мы узнаем этот давно знакомый персонаж и сегодня — во множестве фильмов, спектаклей, книг. А ведь само существование «маленького человека» в таком большом и сложном мире, каким стал современный мир, выглядит почти парадоксом. Радикально изменились и времена и нравы. Была война — самая большая и самая жестокая из войн. Произошла техническая революция, перевернувшая быт. Был запущен космический корабль, сброшена атомная бомба, побежден полиомиелит, придуманы «народный капитализм» и «поп-арт». На главных улицах, где когда-то скучали герои Синклера Льюиса, появились неоновые рекламы и ночные клубы. Рядовой американец получил свой шанс предаться более или менее сносному, бестревожному, «культурному» времяпрепровождению.

Однако «маленький человек» не исчез и едва ли исчезнет из литературы в близком будущем. Пусть изменились объективные условия его жизни, осталась неизменной его специфическая реакция на эти условия. И разве суть этого типа укладывается в ходкое определение «беден, да честен»? Разве бедность и униженность — атрибуты одних только «маленьких» людей? Судьба изменчива: в пьесе Мих. Булгакова «Бег» недавний генерал Чарнота за неимением верхнего платья шествует по парижским улицам в кальсонах лимонного цвета. Такой бедности и такого унижения не выпадало на долю даже самого маленького из маленьких людей. При всем том Чарнота отнюдь не из их числа: оглушительную оплеуху он принял так, как подобает человеку сильному и «большому». А кто назовет «маленьким» фолкнеровского Минка, хотя он изведал и нищету, и жестокую несправедливость?

Нет, не одним страданием жив в искусстве «маленький человек», воссозданный гением Гоголя, Достоевского, Чаплина. В каждом таком произведении перед нами особый комплекс представлений о жизни, особое мировосприятие, специфический феномен действительности.

Каким же предстает этот персонаж у современных романистов США? Он теперь мало чем напоминает бездомных стекольщиков и пассажиров третьего класса из ранних фильмов Чаплина или чувствительных обитателей подвалов и чердаков из новелл О'Генри. «Холодная война» и «охота за ведьмами», придавливающая атмосфера насильственной стандартизации и тотального запугивания породили в Америке последнего двадцатилетия целую социальную категорию, которая получила в 50-е годы прозвище «молчаливого поколения». Духовные отпрыски этого поколения — питомцы университетов, научившиеся лишь специальным навыкам, но не умению мыслить самостоятельно, благоденствующие чиновники с претензией на интеллигентность, заметно изменившиеся в новых условиях вчерашние пролетарии — и составили ту в высшей степени инертную массу заурядных американцев, для которых все, что имеет пусть и самое прямое отношение к судьбе страны, но не имеет прямого отношения к их собственному существованию, решительно безразлично. Существует периферия жизни, бесчисленные обитатели которой словно наделены иммунитетом к любым общественным пертурбациям. Существует поколениями воспитанное сознание безобидного небокоптителя, глазеющего прохожего, профессионального обывателя — человека, позволяющего производить над собой какие угодно социальные эксперименты, пока они не отнимают у него чувства «спокойной» жизни.

Все потрясения и тревоги большого мира для этой категории людей — не более чем безумие, угрожающее их непрочному благополучию. Пока их положение устойчиво, они меньше всего заинтересованы в том, чтобы что-нибудь менялось. Однако все меняется. Большой мир отказывает «маленькому человеку» в его скромных просьбах о спокойствии и заставляет вести тягостную борьбу за жизнь. Но он по-прежнему мечтает только об одном — вернуть себе ощущение покоя. Ему органически чуждо активное общественное сознание. И в век крепостнический, и в век джазовый, и в век космических полетов и водородных бомб он остается социальным парадоксом — жертвой общественного устройства и одновременно его опорой.

Трудно приписать простой случайности то обстоятельство, что этот тип появляется в литературе как раз тогда, когда общество переживает глубокий, затяжной кризис. «Шинель» и «Бедные люди» пришлись на эпоху Николая Палкина; роман Ганса Фаллады «Маленький человек, что же дальше?» вышел за год до сожжения рейхстага. Поэтому выдвижение темы «маленького человека» в американской литературе последних лет по-своему знаменательно. Тем более что в книгах Флэннери О'Коннор, Дональда Бартельма, Джеймса Донливи знакомый герой почти лишился черт обездоленности.

Это закономерно: сегодня он все-таки не тот, что раньше. Иронизирующие, чуточку сентиментальные герои Чаплина для него разве что двоюродные братья. У него теперь собственный дом, автомобиль, неплохая работа. Фотографии его родителей, познакомившихся лет сорок назад в толпе безработных где-нибудь в Детройте или Чикаго, висят сегодня в аккуратной рамочке над семейным очагом.

И в американском романе о «маленьком человеке» тоже произошла заметная перемена интонаций: сентиментальная ирония в отношении героя уступила место сарказму и скепсису.

Но не сатире, во всяком случае не сатире в традиционном толковании этого жанра. При всех переменах к «лучшему», «маленький человек» остался социальным парадоксом и в условиях стабилизации. Действительно, стабилизация дала ему иллюзию счастья, но оставила тысячи причин для того, чтобы иллюзия рано или поздно развеялась. Она не избавила его ни от ужасающей однотонности существования, ни от тревог о завтрашнем дне. Она не вытравила в нем ощущения непрочности всего достигнутого и уверенности, что мир, в котором он обитает, давно сошел с ума и чреват бедой. Он стремится отыскать себе местечко где-нибудь подальше от безумного и грозного большого мира; тщетные попытки — беда настигает его и там; а когда она приходит, он не понимает, что в большой мере сам виноват в своем несчастье. И расовые беспорядки, и вьетнамская война, конечно же, только мешают «маленьким людям» жить; но их молчаливое пособничество способствует и тому и другому. Это трагедия для всей Америки, но — и для них самих.

Вот почему судьба современного «маленького человека» с его вечными страхами и душевной неуравновешенностью, с его кредо социальной пассивности и настойчивой потребностью что-то предпринять для собственной защиты, с его трагикомическими попытками рационально распорядиться своей судьбой, духовно не порвав с взрастившим его маленьким миром, породила литературу совсем особого рода.

■

...Он занимает небольшую квартиру в хорошем районе города. Ему удалось скопить немного денег, и теперь уже вроде бы не нужно тревожиться о будущем. Когда-то, еще в дни бедности у него была жена, но ей прискучили каждодневные заботы о хлебе насущном. «Маленький человек» благоустроен и одинок. Жизнь проходит, не оставляя по себе никаких воспоминаний, и хотя его скромный идеал осуществился, ему тоскливо. Как напомнить другим о себе? Как избавиться от того, что томит его, лишая «спокойную» жизнь ее сокровенной прелести?

И вот он покупает радиопередатчик, и жизнь его коренным образом меняется. Теперь голос «маленького человека» слушает весь мир. С утра до ночи оповещает он всех желающих о том, как познакомился со своей будущей супругой, как вкусно они

позавтракали в тот день тостами и кремом, как пикировались по вопросу о «значении роста для мужчины». А в перерывах запускает в эфир государственный гимн США: 60 исполнений с 6 до 10 утра, 120 — с 12 до 7 вечера и столько же от восьми до полуночи. Он делает это вовсе не из какой-то восторженной официозности; но раз Америка лучшая страна на свете, то и гимн ее — венец музыки Так ищет он путь за пределы «горизонта одного»...

В другом рассказе Дональда Бартельма «маленький человек» рискует сделать вылазку в безумный большой мир. Волей автора в руках героя оказывается чековая книжка на предъявителя, и он начинает покупать. Швейную машинку с петлеметателем. Жеребца, особо отличившегося на скачках. Трехэтажную конюшню в лучшем пригороде Милуоки. Жокея с окладом 12 тысяч долларов в год. Самолет, чтобы посмотреть римский акведук. Котлеты с гречневой подливкой в ближайшей закусочной. Другой самолет, чтобы побывать в Лондоне. А для жеребца — лечебницу со всем штатом стоимостью в полтора миллиона.

Он успевает еще дать рассыльному на чай чек достоинством 90 центов и отправить 500 несуществующих тысяч долларов в фонд музея современного искусства. Вслед за этим появятся его необеспеченные чеки и полицейский инспектор Прозаическое разбитое корыто — неизбежный конец головокружительной карьеры «маленького человека».

Создавая маску своего прославленного персонажа, Чаплин писал: «Я хочу изобразить, все равно какого, среднего человека в возрасте от двадцати пяти до пятидесяти лет, все равно в какой стране, человека, который рвется к человеческому достоинству». Нечего и говорить, что у героя Бартельма человеческое достоинство — далеко не главный предмет забот. Исходный момент рассказа, по сути дела, чаплинский: комизм положения человека, принужденного или добровольно пытающегося исполнять несвойственную ему роль. Но истолкование ситуации совершенно иное. Чаплин всюду и везде относится к своему Чарли иронически-сочувственно; Бартельм взирает на перипетии судьбы изображенных им «маленьких людей» как бы со стороны. Чаплин подчеркивает духовное превосходство Чарли над претенциозным миром сытых и богатых; Бартельм демонстрирует абсурдность представлений героя своих рассказов о настоящей жизни. Чаплин вторгается в социальную действительность, обличая, утверждая, негодуя, смеясь; Бартельм отвергает *всю* действительность, которая низводит даже людей хороших, отнюдь не злодеев, до почти биологического существования.

Чаплин проделывает в своем творчестве путь от неистощимого юмора ранних фильмов к четкой социальной сатире в таких произведениях, как «Диктатор» или «Король в Нью-Йорке». Бартельм, пока что автор всего двух книг, начинает свой путь с темы «маленького человека», предстающей у него в юмористическом освещении. Но никак нельзя сказать, что он повторяет раннего Чаплина; это не юмор ситуаций и поступков, заведомых нелепостей и намеренного оглупления, переворачивания с ног на голову. Книги Бартельма, О'Коннор, Донливи, Хеллера дают пример юмора философского, всеобъемлющего, универсального. Того юмора, о котором один старый немецкий теоретик говорил: «Для него нет единичных глупостей и единичных глупцов — для него существует только тотальная глупость и целый мир бессмыслицы».

Конечно, такое переосмысление старой темы прямо связано с новой общественной ситуацией. Но дело к этому не сводится. Идея тотальной глупости, какой предстает у этих писателей современная жизнь,— это своеобразная реакция литературы на дегуманизацию жизни и общественное вырождение, о котором с тревогой пишут наиболее вдумчивые американские социологи, философы, публицисты в последние годы.

В условиях идеологического похолодания гаснут надежды, зародившиеся несколько лет назад, в период президентства Джона Кеннеди. Перемена явилась слишком резкой; пропасть, отделяющая ныне реальное от идеального, выглядит непреодолимой; сопоставляя мир, как он есть, с миром, каким он — не с официальной, а с человеческой точки зрения — должен быть, писатель обнаруживает, что жизнь, вся американская жизнь находится в вопиющем противоречии с представлением о разумности. На таком фоне утрачиваются различия между случайным и основным, временным и конечным, второстепенным и главным. Кораблем дураков, плывущим навстречу собственной гибели, оказывается изображенная многими американскими писателями реальность.

Так в 60-е годы в США возникли не только острый интерес к индифферентному «маленькому человеку», как типичнейшей для Америки и во многом определяющей ее современное состояние фигуре, но и в связи с ним — особая литература безнадежного, подчас оказывающегося на грани нигилизма «черного» юмора.

Отказавшись от разграничения явлений по их важности, эта литература обрушивается на всю бюрократически-механизированную систему современного общества. Космический пессимизм и универсальный, отрицающий любое проявление официальной жизни юмор Бартельма, О'Коннор, Хеллера, Донливи имеют вполне объяснимые причины в американской действительности.

Каждая литературная школа, каждая крупная художественная индивидуальность — продукт своего времени и своей страны. «Черный» юмор объединил в 60-е годы несколько одаренных писателей, необыкновенно остро почувствовавших жестокую бессмыслицу американского маскарада. Искусство гротеска развивается в обществе, которое само является лишь гротескной пародией на подлинный человеческий коллектив. Чем более велика и непреодолима несостоятельность общества, которую не прикрыть никакими словесными декларациями, тем более всесторонним и всеобъемлющим делается гротеск. Общество порождает та-

кую литературу тогда, когда в нем делаются явными признаки социальной дегенерации, порочности всей общественной системы, ее изжитости. В произведениях «черных» юмористов с особой, болезненной обостренностью выразилась опустошенность американской жизни, зажатой в тиски стандартизации и усиливающегося тоталитаризма; изображенный ими мир «маленького человека» особенно красноречиво выразил глубокое заболевание общества, ограничившего свободное развитие людей тесными пределами изживших себя стандартов и оставившего им только одно утешение — невеселую иронию над всем и вся. Не знаменательно ли, что «черный» юмор нашел больше всего приверженцев в таких странах, как США, ФРГ (Гюнтер Грасс), Испания (Камило Хосе Села)?

В 30-е годы Чаплин мог сказать своим героям: «Сказано — «Царство божие внутри вас» (Лука, гл. 17). Не внутри одного человека или группы людей, а внутри всего человечества. Вы — Народ, вы обладаете властью. Властью создавать машины. Властью создавать счастье». Прошло два десятилетия, и место «всего человечества» заняла, по удачному выражению американского социолога Рисмена, «толпа одиноких». Стабилизация лишила опоэтизированных Чаплином героев «только» одного — власти создавать счастье. Когда весь мир отождествляется с судьбами «маленьких людей», нужна громадная вера в человека, чтобы нигилистические тенденции не поглотили самого ценного качества юмора — его универсальности, предполагающей не только осмеяние и отрицание, но и непрерывное движение и обновление.

■

Меньше всего нигилистские тенденции затронули творчество Флэннери О'Коннор — писательницы, которая несколько специфически, но вполне четко представляла себе, каким должен быть мир.

Ранняя смерть Флэннери О'Коннор — она умерла осенью 1964 года, не достигнув и сорока лет,— была большой потерей для американской литературы. Писательница успела создать только четыре книги, но и они достаточно полно свидетельствуют о ее крупном и на редкость своеобразном таланте. Умение строить в каждом рассказе насыщенный психологическим и общественным содержанием, напряженный в своих неожиданных художественных связях, заряженный динамикой микрокосм отличало Флэннери О'Коннор с первых ее произведений. И всякий раз ей удавалось выявить глубокую, чаще всего не ощущаемую самими персонажами ее книг пустоту их жизни; всюду и везде их судьба предстает у О'Коннор преломлением действительности — этой, в ее глазах, мучительной нелепости, которую невозможно, противоестественно оправдывать как логическую необходимость.

Бартельм, дебютировавший в год смерти Флэннери О'Коннор, в сущности, подхватил ее тему; но если у Бартельма герои пытаются выйти в большой мир, то у О'Коннор они, наоборот, всеми силами стремятся удержаться на привычной им жизненной периферии — и все же стать выше ее. Явление в обоих случаях одно и то же. отчаянная, почти безнадежная попытка благоустроенного «маленького человека» вернуть себе неведомо где и когда потерянное чувство душевного равновесия. Можно по-разному воплотить идею всеобщей глупости: у Бартельма она облекается в абсурдную логику поступков героя, прямо отражающих абсурдный, с авторской точки зрения, характер действительности. У Флэннери О'Коннор та же тема получает психологическое решение, ей важно показать внутреннюю порабощенность героя, его несвободу даже в том, что, казалось бы, касается только его одного. И этот надлом в душах людей, таких далеких от безумств большого мира,— особое и, быть может, наиболее очевидное выражение извращенности американской жизни.

Вот почему юмор О'Коннор так часто насыщался «черными», трагическими тонами. Поэтому на ее долю выпало больше всего упреков в намеренном сгущении красок и шаржировании, в пристрастии к «грязи» и отсутствии оптимизма. В одном из писем она жаловалась, что после каждой новой публикации ее заваливают письмами, призывающими «поведать наконец, о более приятных вещах и более достойных людях». Ревностная католичка она встретила прохладное отношение со стороны американской католической церкви, которая нашла ее книги недостаточно ортодоксальными и даже враждебными духу католицизма.

И нужно сказать, что к такой критике были основания. Идеал отстаиваемый Флэннери О'Коннор, лишь по внешности своей выглядел сугубо религиозным: «Либо отбрось все и следуй за Господом, либо упивайся гадостями, которые делаешь другим; в конце концов поймешь, что на земле нет настоящей радости, даже той радости, какую дает законченная подлость». В действительности дилемма, поставленная в книгах О'Коннор, шире: человек должен гуманизироваться или погибнуть.

Эта дилемма оказалась центральной уже в ранней книге О'Коннор, сборнике рассказов «Хорошего человека не часто встретишь» (1956). Десять новелл сборника вновь вывели на сцену «маленького человека» — сильно изменившегося, ослепленного материальным благополучием, но еще чувствующего необходимость духовно расти, чтобы не погибнуть в окружающем его безумном мире. Это бродячий подмастерье, который женится из жалости на глухонемой девушке, почти олигофрене, чтобы бросить ее потом на произвол судьбы во время свадебного путешествия. Торговец библиями, дающий иллюзию любви уродливой старой деве и жестоко разрушающий зародившуюся у нее надежду. Другой бродяга, мечтающий о

семье и любви и хладнокровно расстреливающий семейство туристов, повстречавшееся ему на дороге.

Так в год Порт-Саида, вторичного избрания Эйзенхауэра, шумных манифестаций битников и знаменитой передовицы «Лайфа», демагогически озаглавленной «Где певцы сегодняшней Америки?» и упрекавшей писателей за нежелание воспевать «страну небывалого благоденствия и почти бесклассового общества», вошла в американскую литературу писательница, для которой действительность была нелепой и бесчеловечной, а сами американцы — несчастными, духовно пришибленным людьми. Юмор О'Коннор в резких, бросающихся в глаза формах выразил идею «всеобщей глупости», гибельной и для общества в целом, и для каждого человека. Чудовищное расхождение реального и идеального определило беспомощность порывов героя О'Коннор к чему-то более высокому, нежели его сегодняшнее состояние. Могло создаться впечатление, что большой мир остался за пределами этих рассказов. Однако он играл в них определяющую роль, и, показывая, до какой степени извращены все мысли и устремления «маленького человека» жестокой, свихнувшейся действительностью, О'Коннор свидетельствовала своим гротеском не об убожестве героя только, а в первую очередь о гнетущих условиях его существования. Ложной оказывалась действительность, а страшная деградация «маленьких» людей—только производным от нее.

Разумеется, особенности творческого почерка О'Коннор были целиком обусловлены временем и местом действия ее рассказов. Слишком полным было растворение человека в ненастоящей жизни. если писательнице приходилось даже «выражать мысль, добиваясь шока,— кричать в уши тем, кто уже оглох, и рисовать огромные причудливые фигуры для тех, кто лишился зрения». Юмор Флэннери О'Коннор имел четкую социальную основу, которую лучше всего определила она сама в своем ответе «Лайфу»: «Писатель, разделяющий идеи христианства, а возможно, и всякий другой писатель, не может не заметить уродливого несоответствия между нашим невиданным благополучием, с одной стороны, и настойчивостью требований изображать в литературе радостную жизнь — с другой. Ему не возбраняется хотя бы спросить, так ли уж настойчивы были бы эти требования, если бы радость и вправду била через край в нашем процветающем обществе».

Видимо, не один лишь маленький мир был предметом забот Флэннери О'Коннор. Трагикомизм устремлений персонажей ее книг к «возвышенному» послужил писательнице ключом для создания образа безрадостной, уродливой жизни в условиях «невиданного благополучия». Ужасающая огрубленность совсем неплохих, но давно сбившихся с дороги в безумном мире людей была для О'Коннор знаменательным проявлением этической беспринципности, о которой идет речь в ее книгах. Ей казалось, что только верой можно преодолеть нравственный нигилизм, в котором захлебывается современное американское общество. Но хотя О'Коннор прибегала к универсальности юмора, чтобы отвергнуть мир светский ради религиозного, очищенного мира, объективный смысл каждого ее рассказа — это протест против действительности, порождающей «маленьких, ничтожных плотью и духом людей, имеющих скудное и в лучшем случае извращенное понятие о высоком назначении человека».

Главная тема О'Коннор — чреватая зловещими последствиями духовная истощенность современной жизни — выступила особенно конкретно в ее последних произведениях. Роман с евангельским названием «...И употребившие усилия восхищают его» (1960), а также новеллы, составившие посмертный сборник 1965 года «Все, что поднимается, должно сойтись», построены на конфликте между идеальными порывами «маленького человека» и его отталкивающим социальным бытием или, говоря словами самой писательницы, «между стремлением к богу и неверием, которым насыщен воздух нашей эпохи».

И в 60-е годы Флэннери О'Коннор оказалась достаточно восприимчивой ко всем переменам в социальной атмосфере страны и связанным с ними перерождениям ее героев. Все чаще прорывается в ее последних произведениях мысль о серьезной ответственности каждого за все, что происходит с другими, о необходимости самостоятельно постигать жизнь и находить в ней свое назначение. Если раньше О'Коннор в характеристике персонажей своих рассказов полагалась только на гротеск и всячески воздерживалась от прямой оценки их поступков, то в произведениях последних лет момент субъективной, авторской квалификации событий значительно усиливается.

В романе О'Коннор глубоко и верно изображены колебания «маленького человека» между искусом «спокойной» жизни и позывом «оставить все и следовать за Господом». Когда писательница рассказывает, как ее герой хоронит своего умершего родственника под финиковым деревом, чтобы не тратиться на удобрения, когда она вызывает у героя в ответ на попытки приобщить его к «интеллектуальной свободе» взрыв ненависти, сменяющийся титаническим усилием «восхитить», обрести небо, даже когда в роман прямо вводится дьявол, излагающий программу «сиюминутного» счастья,— все это соответствует избранной О'Коннор поэтике юмора. Иное дело финал, где «маленький человек», преодолев себя, становится провозвестником опасности, к которой глухи «спящие в темных городах дети божии». Несомненно, такой финал диктовался верой О'Коннор в человека, как бы низко тот ни пал. И все же католик здесь взял верх над художником.

Об этом говорит одна из лучших новелл Флэннери О' Коннор «Откровение». И в ней перед нами «маленький человек»—почтенная, работящая, набожная женщина, чрезвычайно довольная своим местом под солнцем,

своим домом, своей фермой, своим свинарником, своими туфлями, ибо она привыкла разделять людей на классы соответственно обуви, которую они носят. Не покладая рук трудилась она всю жизнь и, кажется, заработала себе право на будущее блаженство. И она все думает, как будут они входить в рай,— сначала крупные землевладельцы и богачи, потом крепкие хозяева вроде нее, за ними домовладельцы без земли, белые бедняки и последними, конечно, негры. Случай помогает ей прозреть; с ужасом видит она, что все совсем не так просто. А жизнь прошла.

Нет, «маленький человек» не довольствуется тем, что он есть. Он идет к татуировщику и выкалывает на спине изображение сына божьего. Он с гордостью показывает его жене, но та не прощает истраченных впустую денег. Она бьет его палкой, и красные рубцы остаются на спине «маленького человека». Красные рубцы остаются на лице вытатуированного, духовно вновь распятого Христа.

Так завершается рассказ О'Коннор «У Паркера на спине». Так завершает свой путь к высокому «маленький человек» в ее книгах.

■

Но, быть может, этот путь все-таки мог бы завершиться по-иному, если бы «маленький человек» оторвался от периферии и окунулся в суету большого мира? Этот вопрос все время возникает в книгах Джеймса Донливи, писателя, который раньше других привлек внимание к «черной» юмористике.

Тезисом одного из персонажей Флэннери О'Коннор было: «Место, откуда ты вышел, навсегда осталось позади, место, в которое ты стремишься, никогда не существовало, место, в котором ты находишься, отвратительно, и его хочется поскорее покинуть». Хотя как художник Донливи значительно отличается от О'Коннор, эти слова вполне подходят для характеристики его персонажей.

Один американский критик Донливи назвал главной темой писателя материализм в его враждебности человеку. Речь идет, конечно, не о направлении в философии. Под «материализмом» подразумевается утрата в условиях сугубо материального бытия самого ценного человеческого качества — неповторимости.

На жизненной периферии это заурядное явление, но «маленький человек» еще не разучился чувствовать таящуюся в нем угрозу. Ведь самому себе он всегда кажется чем-то значительным и важным; обнаружив, что его индивидуальность — не более чем прекрасная иллюзия, он инстинктивно догадывается, что необходимо коренным образом перестроить жизнь и прежде всего сбросить ярмо меркантилизма. История бегства «маленьких людей» от уже не внушающего им доверия «грошевого уюта» рассказана в первом романе Донливи «Специфический человек» (1958).

Знакомая тема предстает у Донливи в весьма современном ракурсе Призраки великих возможностей, так горько обманывавшие героев Чаплина и О'Генри, начали становиться явью. Но вместо того, чтобы ухватиться за свой шанс, два весьма заурядных американца бегут на самую нищую окраину Европы, в Ирландию, и решают «до конца дней своих остаться бедными, как церковные мыши». Благотворным оказывается не преуспевание, а обнищание. Попав в безумную систему большого мира, «маленький человек» всеми способами пытается уберечь свое скудное духовное достояние и ради высвобождения готов пожертвовать любыми благами стабилизации. И у Донливи большой мир как бы за сценой, а на сцене — дублинские холода и туманы, нескончаемое безденежье, неустройство, натужные усилия приноровиться к вожделенной нищете. И все усиливающийся порыв назад, к тишине и спокойствию периферии. И закономерный финал — на прощание один из героев бросает другому: «Можешь подыхать под забором, если тебе это нравится, но мне нужны деньги, и только деньги».

«Специфический человек» прочно закрепил за Донливи характеристику самого «черного», самого «висельного» из юмористов. Бесперспективность и горький скепсис сразу же провели черту, отделяющую Донливи и от Бартельма, и от Флэннери О'Коннор. Однако первая книга еще не давала оснований сказать, что мировосприятие Донливи сугубо нигилистическое. Меркантильная горячка выступала у него кричащим свидетельством общественного идиотизма, но когда «всеобщая глупость» прямо и грубо прикасалась к судьбе его героев, у Донливи чувствовалась невыдуманная симпатия к ним. Правда, уже в «Специфическом человеке» условия социального бытия героев были для Донливи чем-то завершившимся и неподвижным, и это придало роману достаточно пессимистический колорит. Но сами попытки героев романа «подняться над собой» истолковывались не просто юмористически, а с заметным авторским участием.

Иные ноты зазвучали у Донливи в 60-е годы, когда «маленький человек» стал типичным образчиком вида homo faber и личность его начала быстро стандартизироваться в мире акций, подрядов и биржевых ставок. Мотив грандиозной бессмыслицы существования сделался у Донливи ведущим.

Через шесть лет после первой книги один из ее героев в сильно изменившемся виде предстал перед читателями следующего романа Донливи — «Исключительный человек». Само заглавие звучит пародийно: Джордж Смит — это заурядненший психологический тип, лишенный какой бы то ни было исключительности. Причем это человек вполне стабилизированный; он уже не помышляет о душеспасительной бедности, а наоборот, активно пробивается наверх.

Однако поглощенность «материальным»

не мешает Смиту все время ощущать серость своего существования, его бессмысленный круговорот. Куда бы ни бросила «маленького человека» судьба, рано или поздно он проявит все свои родовые черты: полнейшее безразличие к безумствам большого мира, в котором он вынужден обитать, а раз так, не прочь взять от него побольше, и какую-то болезненную сосредоточенность на мыслях о своем завтра, боязнь чего-то недобрать в жизни, инстинктивную потребность как-то заявить о том, что он живет на земле, оставить по себе хоть какой-нибудь след.

В ранней книге Донливи его герой Кеннет О'Киф кратко суммировал горести «маленького человека»: «Когда нет денег, нужно думать о том, где бы поесть. Когда сыт, возникает проблема секса. Когда и это решено, трясешься за свое здоровье. Ну, а когда совсем все хорошо, мучаешься мыслями о смерти». Положение О'Кифа настолько безысходно, что он даже собирается (время действия — осень 1956 года) поехать на Восток, чтобы «бить арабов вместе с евреями или евреев вместе с арабами — какого черта, меня от всего этого тошнит».

Точно так же «от всего этого» тошнит и Джорджа Смита. Но в новой книге Донливи намечается существенная перемена интонации. Если совершенное равнодушие О'Кифа ко «всему этому» не было еще авторской позицией, то в «Исключительном человеке» Донливи словно солидаризируется со своим героем в его полной невосприимчивости к социальным условиям своего существования. Если у Флэннери О'Коннор движение героев к «высокому» было попыткой обрести более достойную реальность, то Донливи отвергает саму принципиальную возможность изменения «маленького человека». Джордж Смит то комичен, то жалок, но в трактовке Донливи он никогда уже не может стать другим.

Счастливая жизнь преуспевшего Джорджа Смита — как раз тот случай, когда у героя Донливи «совсем все хорошо», и поэтому его неотступно преследуют мысли о смерти. И Смит, раб «материализма», решает утвердить неповторимое значение своей жизни исключительно наглядным способом — выстроить для себя невиданный доселе мавзолей. С эскалатором. С камином. С декоративными панно на стенах. С ванной в кафельной облицовке.

Как бы ни измывалась над Джорджем судьба, какие бы невзгоды или удачи ни выпадали ему на пути, он сохраняет свою индивидуальность, покуда умеет различать не видимость, а смысл происходящего и смеяться над всем на свете. Став «материалистом», надо оставаться им до конца; посмеявшись над жизнью, сумей посмеяться и над смертью, ибо в мире Джорджа и кладбище — всего лишь скульптурный вариант материальной иерархии. Джордж был выше своих соотечественников при жизни: пусть он делал то же, что и они, но он иронизировал, а они верили. Точно так же он останется выше их и перейдя в мир иной.

В последней книге Донливи «Самое грустное лето Сэмюеля С.» (1966), где на сцену является второй «беглец» из «Специфического человека», герой выглядит уже несколько уставшим от подобной «юмористической» интерпретации жизни. Не в пример своему бывшему товарищу по дублинским временам, он ничего не добился и по-прежнему прозябает анахоретом, чураясь и бездумных оптимистов, и недалеких радикалов и стремясь только своим всеобъемлющим юмором преодолеть все трагические несуразности жизни. К удивлению Сэма, восторженные американские туристки, разыскавшие его в Вене, рассказывают, что за океаном он прослыл «самой колоритной фигурой во всей Европе». А Сэм думает о том, как после его смерти на каком-нибудь болоте под Нью-Йорком воздвигнут храм неудачников, куда придут люди, его знавшие, и сядут в ногах его могилы, и будут просить у него прощения за свое мирское преуспевание. И на фоне этих унылых размышлений доигравшего свою «юмористическую» роль до конца и пришедшего к полной капитуляции Сэмюеля С. даже «висельный» жест Джорджа Смита выглядит более активным и последовательным действием.

Бесспорно, гротеск Донливи заострен не только против «маленького» мира, но и против всего «материалистического» общества. В обставленной по последним требованиям комфорта гробнице находит завершение не только эпопея перерождения «маленького человека», но и весь общественный прогресс, который, по мнению Донливи, гораздо уместнее было бы назвать упадком. Подспудно у Донливи все время ощущается знакомая мысль: пока мы способны постигать мир юмористически, для нас еще ничто не потеряно. Крушение Сэмюеля С. тем и вызвано, что эта способность у него притупилась.

Но на деле у Донливи потеряно уже многое, и прежде всего — художественная обоснованность основной его мысли. Когда «маленький человек» становится обывателем, художник вправе воспринимать такое превращение саркастически, но это еще далеко не причина распространять частное на общее и делать нигилистические заключения относительно всей многообразной реальности, современниками которой являются и Донливи, и его персонажи. И прозе Донливи — тонкой, насыщенной остроумием, неподдельно своеобразной — потому и не хватает законченности, что она покоится на слишком непрочном основании, и ни экстравагантность героев, ни едкая ирония автора не избавляют книги Донливи от камерности, недоговоренности, ограниченности, которая мешает Донливи воплотить и свое время, и даже своего излюбленного персонажа во всей их сложности. Вслед за своими героями Донливи в последних произведениях сам поставил себе жесткие рамки: либо полное неверие и юмор, от которого никому не становится легче, либо космический пессимизм. И читателя этих произведений не оставляет чувство, что автор все время подвергает себя самоцензуре, боясь переступить пределы однажды выработанной схемы. А между тем, не говоря уже о всей современной жизни,

судьба героев Донливи могла бы дать основания отнюдь не исключительно для тех выводов, к которым он приходит.

■

Об этом свидетельствует хотя бы книга Джозефа Хеллера «Пункт 22», несмотря на то, что ее героям приходится искать не столько духовного спасения, сколько шанса выжить в самом прямом смысле слова. Для персонажей Хеллера особенно характерно восприятие большого мира как полностью и непоправимо свихнувшегося. Им это тем более ясно, что сам-то мир упорно пытается выдать себя за умело организованную и нормально работающую систему. Дело в том, что Хеллер поставил своих героев в необычайные условия: переместил действие на двадцать с лишним лет назад и отправил их воевать в Италию.

В последние годы появляется немало произведений, где война изображена юмористически, комедийно. Однако к Баббеттам, Питкинам и «итальянцам в Варшаве» книга Хеллера не имеет никакого отношения. Юмор у Хеллера поистине безграничен: его мир — это царство «всеобщей глупости» и космические нагромождения бессмыслицы. Только «всеобщая глупость» для Хеллера — отнюдь не безвинное шутовство жизни. Если люди на строгих логических основаниях возводят общественную систему, которая принуждает человека охотиться на других людей,— в философском смысле получается чудовищная нелепость, заключающая в себе явно гротескные черты. Когда нелепость объявляется необходимостью, а противоестественная организация общества — разумным порядком, парадоксальность самой исходной ситуации удваивается.

Но «Пункт 22» никогда не стал бы заметным событием в американской литературе, если бы в книге Хеллера не отразилась еще и сугубо трагическая сторона этого парадокса. Охота на человека гротескно нелепа как логически обоснованный, «разумный» принцип, но это не снимает трагизма ее непосредственных проявлений. Разрушение Рима в силу «стратегической» необходимости являет пример грандиозной бессмыслицы, но развалины не вызывают улыбок — они кричат о боли. Бомбардировка американскими пилотами собственной авиабазы как вполне логичное и правильное, с точки зрения их начальства, мероприятие — это предельное выражение нелепости большого мира, чьи «продуманные» и «обоснованные» законы продолжают действовать и на войне; но погибших при налете уже не вернуть.

Чередование юмористических, заставляющих вспомнить о Твене эпизодов и полных пронзительной тоски страниц в книге Хеллера бросается в глаза. Критики поспешили обвинить автора в том, что он беспрерывно меняет шутовской колпак на шапочку епископа и тем самым лишает себя исключительного права шута нести многозначительную чепуху. Это неверно: трагикомизм каждой ситуации «Пункта 22» действительно обоснован и художественно необходим. Но обоснован ли сам такой метод, когда речь идет о войне? Не забыл ли автор, создавая свою весьма необычную книгу, о том, что американские солдаты воюют против конкретного врага и имя этого врага — фашизм?

Американские писатели создали много хороших произведений о минувшей войне. Достаточно вспомнить имена Джона Херси, Нормана Мейлера, Джеймса Джонса. При таком сопоставлении роман Хеллера может показаться неуместно легкомысленным.

Ведь у него те же американские летчики не только обходятся без громких слов, но и правда не понимают, к чему вся эта мучительная канитель,— идет 1944 год, и судьба войны решена. Ведь у Хеллера действительно нет антифашистских деклараций, хотя при чтении его книги не остается сомнений, что фашизм ему ненавистен не меньше, чем Джонсу или Херси. Ведь сама мысль о том, что при всех далеко рассчитанных планах Трумэна и Ачесона американская армия несла Европе освобождение, нигде не высказывается в романе «Пункт 22».

И все-таки метод Хеллера художественно оправдан. Социальное чувство возможно у человека лишь при том условии, что он является живым участником общественного действия. У Хеллера война отказывает в этом чувстве своим рядовым. Да и как оно может появиться, если сегодня пилот бомбит немецкие объекты, а завтра свою же базу, если сегодня он совершает боевой вылет, а завтра отправляется грузить хлопок в Египте и свежие фрукты на Мальте, чтобы начальство с выгодой перепродало этот хлопок и эти фрукты соседнему подразделению? Как возникнет у «маленького человека» ощущение своей причастности к делу борьбы с фашизмом, когда на его глазах сообразительный прохвост проворачивает виртуозные торговые операции с такими же прохвостами по ту сторону фронта, а два генерала, смертельно ненавидящие друг друга, тасуют судьбы рядовых пилотов, словно карты за ломберным столом?

Откуда возьмется у героя Хеллера желание сражаться до победного конца, если всюду и везде его встречает пункт 22 армейской инструкции, этот блестящий образец «демократической» демагогии: «Военнослужащие не обязаны подписывать присягу на лояльность (совершать ненормированные вылеты, поносить Маркса и негров, жить в неотапливаемых палатках и т. п. и т. п.), но в случае отказа они должны быть умерщвлены голодом»?

«Маленький человек» попал не просто на войну, он очутился в системе, где все абсолютно логически необходимо и все совершенно абсурдно, гибельно для него. Как же он должен себя вести? Спасаться любой ценой, как герой Хеллера, вчера еще безликий прохожий в толпе, а ныне капитан ВВС

США Есарьян? Но сбрасывая бомбы куда попало, лишь бы поскорее их сбросить и выйти из огневой полосы, он усугубляет опасность для таких же «маленьких» людей, только сражающихся на земле. Или, как капитан Нейтли, закрыть на все глаза и делать, что прикажут, ибо в конце концов американцы несут на крыльях своих самолетов свободу? Но это значит отдать себя в руки таких «больших» людей, как генерал Шейскопф, все мечтающий приделать своим подчиненным пониже спины никелевые шурупы и накрепко привинтить весь личный состав к длинным планкам, чтобы на парадах был действительно безупречный строй. Как полковник Кэтхарт, который, не задумываясь, отправит к праотцам хоть все население Соединенных Штатов, только бы скорее получить на погон еще одну звезду. Как уполномоченный ФБР Блэк, обвинивший одного капрала в измене на том основании, что тот «носил очки, употреблял в речи такие слова, как панацея и утопия, и ругал Адольфа Гитлера, человека, который сделал так много для искоренения антиамериканской деятельности в Германии».

Действительно, персонажам Хеллера трудно отыскать выход из такой ситуации. Система «разумного» мира работает безотказно. Она способна не просто подмять и искалечить «маленького человека»; она может вычеркнуть его из жизни, даже если тот еще не погиб. Достаточно было врачу авиабазы исчезнуть во время налета, как он уже не смог доказать системе, что он жив, хотя и стоял перед ней собственной персоной. Система сработала: извещение было послано, семья получила от казны единовременное пособие, машина переложила формуляр, и человек перестал существовать.

И разве удивительно, что многие персонажи Хеллера похожи на «человека, который застыл в ужасе да так и не оттаял»? Большой мир, который способен превращать в массовое надувательство даже желание людей на деле бороться с фашизмом,— такой мир, по мысли Хеллера, уже не может измениться к лучшему. Он внушает лишь отвращение и ужас, но не надежду. Это мир остановившийся и оцепеневший; поэтому и в романе Хеллера ничего не происходит: действие стоит на месте, время условно и неподвижно, события повторяются вновь и вновь. Изображенная в романе эскадрилья — это не модель коллектива, как у Экзюпери, а клеточка «упорядоченного» общества, миниатюра организованной и безжалостной машины бытия. И война у Хеллера — не эпос трагедии и мужества, а ужасающий фарс, который вырастает из ничуть не менее трагической, но еще и грандиозно нелепой общественной претензии на «разумность». Но хотя Хеллер не щадит своих «маленьких» людей, хотя Есарьян при всем своем умении воспринимать бессмыслицу как бессмыслицу и юмором защищаться от ее последствий—заурядный трус, «маленький человек» в «Пункте 22» не чета персонажам Донливи. Хотя бы потому, что жестокая нелепость и обветшалость общественной системы Есарьяну вполне очевидна. И не случайно в конце книги он с ужасом думает: «Сколько нуждающихся даже в его собственной процветающей стране, сколько в ней лачуг, сколько спившихся мужчин и опустившихся женщин, сколько запуганных, оплеванных, брошенных детей! Сколько семей, мечтающих о хлебе, которого они не могут купить! Сколько надломленных душ! Сколько в этот вечер будет самоубийств, сколько людей впадет в безумие! Сколько везучих — в действительности банкроты, сколько преуспевающих — неудачники, сколько богачей—бедняки! Сколько ловких парней на деле беспомощны, сколько счастливых концов — несчастны, сколько правдолюбов — лжецы, храбрецов— трусы, верноподданных — предатели, сколько святош — продажные шкуры, сколько ответственных чиновников за медяки отдало душу мерзавцам, сколько таких, которые вообще не знают, что такое душа! Сколько прямых путей — окольные тропки! Сколько лучших семей — худшие семьи, сколько хороших людей — негодяи! Произведи сложение и вычитание, и останутся только дети, и может быть, еще Альберт Эйнштейн да какой-нибудь старый скрипач или скульптор...».

Да, Хеллеру удалось с убийственной силой высмеять «разумный», логично организованный миропорядок и все его неотъемлемые атрибуты — бренчание опасными игрушками, антикоммунизм, негрофобство, свободное предпринимательство, кичливый патриотизм, принудительную верность давно опошленному знамени и многое, многое другое. Но «Пункт 22» — не сатира на отдельные явления, а саркастический, яростный протест против всего расписанного по параграфам и клеточкам, «рационального» и обанкротившегося мира. И сокрушая этот мир, Хеллер, быть может, сам не заметил, что и в его книге появился привкус всеобщего нигилистического отрицания, не такой сильный, как в «Исключительном человеке», но все же заметный внимательному читателю. Несложно отвергнуть с порога весь мир как сплошное безумие. Сложнее отыскать силу, которая способна это безумие преодолеть.

Конечно, в какой-то мере преодолением безумия является сам юмор. Способность писателя постигать основы бытующего миропорядка как изжившие себя и достойные осмеяния — великая способность. Но для того, чтобы двигаться к иной, более совершенной реальности, недостаточно юмористически воспринимать действительность, *всю* действительность, пусть это даже и помогает «маленькому человеку», тому же Есарьяну, выжить и не превратиться в бездушный автомат. Нужна еще ясность позиций и четкость разграничений. Одного из писателей, о которых шла речь в этой статье, уже нет на свете, но именно Флэннери О'Коннор принадлежат слова, к которым следовало бы прислушаться: «Писатель утратит ценность и для себя и для своей страны, если перестанет чувствовать, что его страна — это часть его самого; а познание себя — это прежде всего познание своих недостатков».

А. СНИГИРЦЕВ

ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ КИТАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

«Культурная революция» в Китае, развязанная Мао Цзэ-дуном и его приближенными, стала трагедией великого народа. Среди тех, кто погиб или подвергся неслыханному доселе шельмованию, немало писателей, художников, музыкантов. Прекратилась публикация художественных произведений, не производятся художественные фильмы, нет новых постановок в театрах. Вся бумага поглощается выпуском произведений Мао Цзэ-дуна, которых за 1967 год отпечатано свыше 80 миллионов экземпляров.

Истоком трагедии послужил пагубный, авантюристический курс, навязанный Коммунистической партии Китая маоцзэдуновской группой. «Новая генеральная линия партии» и «большой скачок» еще в 1958 году увели страну с общего для всего социалистического лагеря пути развития. В этих условиях китайская литература шестидесятых годов не могла развиваться естественно и здорово, не могла создать что-либо значительное и выражающее подлинные требования времени. Но в ней отразились перипетии столкновения маоизма с его противниками.

Для китайской литературы освобождение от тисков маоцзэдуновской догмы стало вопросом жизни — быть или не быть. Борьба за само существование литературы носила поэтому политический характер. Маоистский догматизм временно восторжествовал среди погромов редакций, издательств и творческих организаций, учиненных хунвэйбинами в ходе «культурной революции». Черная ночь спустилась на всю культурную жизнь. В 1958 году Мао Цзэ-дун, чтобы отмежеваться от СССР и в культурных вопросах выдвинул в беседе с Чжоу Яном, в то время заместителем заведующего отделом пропаганды ЦК КПК, тезис о новом творческом методе китайской литературы, методе «сочетания революционного реализма и революционного романтизма». Его «основополагающие высказывания» на этот счет нигде не были официально опубликованы, их только излагали своими словами руководители КПК.

В КНР была немедленно организована дискуссия о взаимоотношении маоцзэдуновской формулы с понятием социалистического реализма. Го Мо-жо, например, ничтоже сумняшеся заявил, что новый метод — шаг вперед и дальнейшее развитие социалистического реализма. Но многие участники говорили о тождестве нового метода с методом социалистического реализма. Противопоставление двух методов, ради чего и была затеяна дискуссия, не собрало уверенного большинства.

Жестокий экономический кризис, вызванный авантюристической политикой «большого скачка» и «народных коммун», усугубился стихийными бедствиями. 1960—1962 годы были годами голодными, годами хозяйственной разрухи, годами суровых лишений. Нежелание руководства КПК открыто признать свои ошибки, лицемерное оправдание лозунгов, которые были опровергнуты самой жизнью, вызвали моральный кризис китайской творческой интеллигенции. Авторитет КПК и «новой ее генеральной линии» был серьезно подорван в стране.

В сложившихся условиях обострилась борьба мнений. Первые годы наиболее экстремистские элементы из группы Мао Цзэ-дуна не выступали открыто, но пытались изолировать здоровые силы страны, рассевая националистические настроения и спекулируя на антисоветизме. Перемены все же совершались постепенно. Хороший пример — поэзия тех лет. В 1962 году поэт Ли Ин написал стихи о Юрии Гагарине, а

другой поэт, Ли Цзи, напечатал после посещения СССР стихи о китайско-советской дружбе.

Но все поэтические темы тонули в песнопениях культу личности Мао Цзэ-дуна.

Стихи писали уже не только о вожде, но и о его сочинениях. Стихи самого Мао Цзэ-дуна быстро обрастали панегирическими статьями. И все же кроме стихов Мао Цзэ-дуна и стихов о Мао Цзэ-дуне рядом еще существовала китайская поэзия.

На Третьем Всекитайском съезде работников литературы и искусства Китая в июле—августе 1960 года с большим докладом «О путях развития социалистической литературы и искусства Китая» выступил Чжоу Ян. Он призвал: «Еще выше держать революционное знамя марксизма-ленинизма против реакционных течений современного ревизионизма». Поясняя, Чжоу Ян заявил, что идеи Мао Цзэ-дуна «стали основными марксистско-ленинскими принципами литературы и искусства нашей страны».

Солидаризируясь с антисоветской направленностью курса Мао Цзэ-дуна, докладчик одновременно пытался сохранить «направления», как он выразился, которые позволили бы уберечь хоть что-нибудь из наследия отечественной культуры. В литературе и культуре Китая существовала тенденция пойти не в сторону культа личности Мао Цзэ-дуна, а сберечь национальную традицию и самое литературу. Экстремистов даже и это уже не устраивало.

В условиях экономической разрухи и нарастания антисоветизма в Пекине блюли видимость единства китайского общества, даже ценой временной терпимости. Поэтому в 1960—1962 годы китайскую культурную жизнь не сотрясали проработочные кампании. Тем сильнее грянула волна проработок в 1963—1965 годах, увенчавшаяся движением «культурной революции» 1966—1967 годов.

Началом перелома следует считать выступление Мао Цзэ-дуна на седьмом пленуме ЦК КПК о классовой борьбе в социалистическом обществе. Затем последовала в мае 1963 года сессия Всекитайской ассоциации деятелей литературы и искусства с докладом Чжоу Энь-лая и бесконечные статьи в периодической печати, повторяющие призыв Мао Цзэ-дуна «никогда не забывать о классовой борьбе». В ином словесном обличье усугублялось известное положение об обострении классовой борьбы при социализме. Мао Цзэ-дун прямо утверждал, что классовая борьба происходит и «внутри партии». Так теоретически подготавливалось предстоящее наступление на партийный аппарат КПК и на руководителей культурной жизни в КНР.

Остановимся подробнее на литературе начала шестидесятых годов. Наибольший успех в эти годы снискало произведение Ло Гуан-бина и Ян И-яня на историко-революционную тему «Красный утес». Это рассказ о борьбе коммунистов, заключенных в гоминьдановском концлагере. Идеи жертвенности, растворения личности, беспрекословного повиновения руководству совпадали с общей направленностью китайской пропаганды, но были лишены конкретного указания на «вождя» Мао Цзэ-дуна.

Впечатление правдивости большинства сцен и образов книги усиливается тем, что авторы сами были участниками этой борьбы. К достоинствам романа можно отнести живость изложения и напряженность действия. Зато у положительных героев авторы выпячивают привычку к слепому повиновению, выдаваемую за политическую зрелость. Герои сами не рассуждают, они лишь повторяют спущенные свыше указания. И все же, из-за отсутствия должного пиетета к Мао Цзэ-дуну, роман с 1964 года начали замалчивать. По сообщению японской прессы, один из авторов романа погиб в Тяньцзине во время «культурной революции».

Неблагополучие в стране побуждало обращаться к исторической теме в искусстве. Да и сама китайская пропаганда в тяжелые годы ориентировалась на воспоминания о прошлом, «семейные истории», истории заводов и коммун за неимением осязаемых успехов в настоящем.

Историко-революционные романы Оуян Шаня «Переулок грех семей» и «Жестокая борьба», получившие большую прессу в те годы, позднее были осуждены. Судьба книг Оуян Шаня наиболее показательна. В книгах дана картина жизни китайского общества в предреволюционный период и показано, как вырастали и складывались в Китае коммунисты-революционеры. Главный герой Чжоу Бин не является с начала до конца образцовым, готовым революционером. Более того — хоть он и человек из народа, но не жалеет труда на самообразование и становится самоучкой-интеллигентом. Путь этот, безусловно, весьма типичен для китайской действительности, но никак не согласуется с маоцзэдуновским псевдогероическим идеалом.

Критика обвинила Оуян Шаня в подмене «пролетарской» идеологии «буржуазной» и в злостной попытке исказить образ «пролетарского революционера». Никто не задумывался над тем, что же было в исторической действительности, кем же были китайские революционеры. Догматическая критика сравнила взгляды героя романа с идеями Мао Цзэ-дуна, обнаружила расхождения — и достаточно. К тому же в первом романе Мао Цзэ-дун упоминается мало, а введение его изречений во второй роман показалось эпизодичным. За начальный успех писатель поплатился двухлетней проработочной кампанией и репрессиями в период «культурной революции».

Одновременно в КНР выходило немало книг-однодневок, вся реакция на которые ограничивалась одной-двумя краткими рецензиями. Все же в эти годы еще активно участвовали в литературно-творческой жизни виднейшие писатели старшего поколения: Тянь Хань, Оуян Шань, Чжао Шу-ли, Лао Шэ и др.

Рассказы Чжао Шу-ли, написанные в конце пятидесятых — начале шестидесятых

годов, украшали литературу. В деревенских рассказах он сохранил сочный народный язык и вывел простого трудящегося человека. Любопытен сатирический рассказ «Взаимопроверка». Главный герой — парнишка, окончивший неполную среднюю школу. Ему приходится вернуться в деревню и работать наравне с другими, но черная работа не по душе возомнившему о себе недоучке. Он пишет письмо в партийные органы с жалобами на свое положение, но проверка быстро выявляет вранье: виноват сам парень, его эгоизм и лень. Собственно, значение сатиры этого рассказа в полной мере можно оценить только сегодня, когда подобные пареньки уже не пишут жалоб, а становятся хунвэйбинами и расправляются с людьми постарше, прикрывшись красной повязкой. Чжао Шу-ли вскрыл широко распространенное страшное явление, но вряд ли и он сам предвидел тогда масштабы социальной опасности.

Положительно можно оценить исторический роман Яо Сюэ-иня «Ли Цзы-чэн» — о вожде крестьянского восстания XVII века; интересен роман Ай Мин-чжи «Ростки пламени»—о жизни шанхайской рабочей семьи в 1917—1927 годах; роман молодого писателя Ван Ин-сяня «Роща» — о земельной реформе и борьбе с бандитизмом в первые годы КНР. Характерная черта этих произведений — бросавшееся в глаза отсутствие славословий в адрес Мао Цзэ-дуна. Китайская критика встретила романы «без Мао Цзэ-дуна» выразительным молчанием, причем даже в ходе «культурной революции» упоминаний о них в печати сначала не было, а проработке подвергались только те произведения и авторы, которые в начале шестидесятых годов имели благоприятную прессу.

Уровень китайской литературы начала шестидесятых годов, если брать в целом, был, как никогда, низок. Но смотря с чем сравнивать — все же литература была, романы издавались, регулярно выходили литературно-публицистические журналы. Отсутствие достижений легко понять: образовалась пропасть между демагогией в официальных лозунгах и прессе и действительным положением в стране. Литература увязла в трясине обязательной лжи, лишилась гражданского пафоса и идейной одушевленности.

Экстремистские силы, связанные непосредственно с группой Мао Цзэ-дуна, вели на культурно-духовную жизнь страны наступление сразу по нескольким линиям. Во все больших масштабах привлекались непрофессиональные писатели «из масс». Непосредственное творчество масс, вследствие искусственно суженного кругозора и низкого уровня культуры, объявлялось китайским руководством более боевитым, революционным и идейным, чем произведения профессиональных писателей. В нем грубее и прямолинейнее выражался культ личности Мао Цзэ-дуна.

Подверглось поношению отечественное и зарубежное классическое наследие, начались открытые нападки на советскую литературу и культуру в китайской прессе*. Для первого периода антисоветской кампании в КНР особенно характерным было стремление присвоить себе революционные традиции, а современную советскую литературу изобразить ревизионистской, перерожденческой, отрекающейся от своего собственного наследия. Свою же китайскую литературу объявили образцовой по боевитости и революционности.

Примеров этому несть числа. В 1963 году 95-я годовщина со дня рождения А. М. Горького и юбилей Маяковского были использованы для нападок на политику КПСС. Во второй половине года китайская печать перешла к прямым клеветническим выпадам против творчества ряда советских поэтов и деятелей кино, к грубой фальсификации политики КПСС по идеологическим вопросам. Первой была статья Ли Чжи («Вэньибао» № 9, 1963) о творчестве молодых советских поэтов «Только ли в Америке есть битники». Истоки творчества молодых поэтов Ли Чжи видит в деятельности Б. Пастернака, М. Цветаевой, А. Ахматовой, которых он объявляет врагами революции. Осуждаются в статье и те, кто писал предисловия или выступал в печати об этих поэтах (А. Сурков, Вл. Орлов, А. Твардовский). Он осуждает творчество Казаковой, Евсеевой, Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулиной.

Затем в № 11 «Вэньибао» появилась статья Чжан Гуан-няня «Образец искусства современного ревизионизма» о фильмах Г. Чухрая «Сорок первый», «Баллада о солдате», «Чистое небо». Собственно, это не критика фильмов как таковых, а нападки на политику КПСС по вопросам войны и мира, войн справедливых и несправедливых, борьбы с культом личности и по проблеме гуманизма.

В 1964 и 1965 годах прямые выступления против советской литературы в КНР продолжались. Например, в статье «Революционная человечность и контрреволюционная человечность» («Вэньибао» № 5, 1964) открыто, с националистическим душком, противопоставлялся кинофильм «Маленький солдат Чжан Га» советскому фильму «Иваново детство».

Противовесом советской литературе должны были стать «новые герои».

Армейская пропаганда, занимавшая крайние маоистские позиции, навязала их китайскому обществу. Герой-маоцзэдуновец был найден в жизни и директивно переселен в литературу, театр, кинематограф. За первым последовали другие целой фа-

---

* См. статьи: «Против догматизма и вульгаризации в литературе и искусстве», «Коммунист» № 9, 1964. Б. С. Рюриков «Какое знамя они хотят водрузить?», «Иностранная литература» № 9, 1964 г., а также статью Б. Бялика, «Иностранная литература» № 12, 1967 г.

лангой. Но не думайте, что героем объявляли рядового человека, человека из масс. Нет. Маоисты никому из живущих не доверяют. Героизировали только посмертно. Лишь один матрос был канонизирован при жизни, да и тот после ранения в голову утратил рассудок.

Началось же, пожалуй, с Лэй Фэна. Лэй Фэн был солдатом, служил шофером и погиб под собственным грузовиком. Гибель Лэй Фэна была отнюдь не героической.

Известный Китаю Лэй Фэн — это герой дневника, это герой литературных произведений — стихов, песен, поэм, очерков и пьес, это герой кино и театра.

Лэй Фэн за всю жизнь не совершил ничего дурного. Он ущемлял во всем самого себя. Аскетизм — в еде и одежде, в отказе от любви и личного счастья. И — полное повиновение Мао Цзэ-дуну, для которого он хочет, готов и счастлив быть простым винтиком. Он — солдат, готовый сражаться по первому слову своего идеала-повелителя.

Лэй Фэн смертоносен, и альтруизм его убийствен. Первым, кого он умертвил,— самого себя. Умертвил себя как человека, как личность. Убивая человека в себе, Лэй Фэн отрицает человеческое и в других. Сколь опасны такие «люди-винтики», как Лэй Фэн, показала всему миру китайская «культурная революция».

Героев типа Лэй Фэна было множество, и вокруг их имен возникла новая житийная литература, официальная литература маоизма. Весной 1966 года появился толстый роман армейского политработника Цзинь Цзин-мая «Песня про Оуян Хая». Ныне автор романа — активист «культурной революции».

Оуян Хай, рядовой боец НОА, погиб на железной дороге, спасая армейских лошадей. Издавна всем в Китае были известны исполненные гуманизма слова Конфуция: «Человек дороже лощади». Маоисты утверждают обратное.

Роман Цзинь Цзин-мая усиленно насаждался сверху 27 февраля 1966 года Чэнь И, заместитель премьера Государственного совета, заявил, что «это произведение эпохального значения».

«Эпохальное произведение» Цзинь Цзин-мая, конечно, никакая не литература. Славословящие маоисты, например, так похвалили его: «Появление «Песни про Оуян Хая» — это результат того, что народно-освободительная армия под руководством ЦК партии и т. Мао Цзэ-дуна, под непосредственным руководством т. Линь Бяо упорно изучала сочинения председателя Мао и выдвинула политику на первый план... Если мы искренне вооружимся идеями Мао Цзэ-дуна, глубоко погрузимся в практическую борьбу, то, и не будучи писателями, и не имея никакого творческого опыта, сможем создать хорошие произведения».

Сказано — всерьез. Эдак каждый хунвэйбин, «не будучи писателем», создаст «хорошее произведение»!

О таком, с позволения сказать, романе маоисты, изыскивая похвалы, не знают, что сказать. Го Мо-жо говорил:

«Это эпохальный роман. Автор действительно живо показал Оуян Хая, живо отразил идеи Председателя Мао. Товарищ Оуян Хай погиб в 1962 году. Автор вместил в роман почти все курсы и политические установки до 1962 года и почти все идеи Председателя».

Действительно, Го Мо-жо сказал правду. Но не подумайте, что начетничество спасает. Через несколько месяцев «культурной революции» автор почел за благо объявить о переработке романа в «духе эпохи».

Но вернемся к началу шестидесятых годов, когда еще сохранялись иные тенденции.

Несмотря на обострение антисоветизма, насаждаемого сверху, и жестокое политическое давление, китайская творческая интеллигенция еще сохраняла способность к общественной деятельности. В 1961 г. на страницах журнала «Вэньибао» прошла дискуссия о многообразии жанров, стилей, форм в литературе. Виднейшие драматурги Китая Тянь Хань, Ся Янь, Лао Шэ, говоря о значении таланта писателя, осудили вульгаризаторское мнение об определяющем значении тематики. Писатели ратовали за ее расширение. Даже столь невинные высказывания в атмосфере КНР прозвучали как смелые и новаторские.

Крупнейшие драматурги КНР в конце пятидесятых и начале шестидесятых годов выступили с историческими пьесами из прошлого китайского народа. Наибольший резонанс получили пьесы У Ханя, Тянь Ханя, Хоу Вай-лу. Националисты в руководстве надеялись с помощью исторической драматургии подогревать националистические настроения, разбуженные антисоветской кампанией. Разруха и бедствия в стране побуждали обращаться в прошлое, так как действительность была уж очень неприглядна, и вообще писать о ней не полагалось. Писатели же энергично взялись за историю, традиционную тему китайской литературы, в которой можно было, хотя бы косвенно, высказать, что думаешь, со значительно меньшим риском.

Пьесы поэтому получились сложные, небезынтересные. В них идеализировалась китайская старина, прославлялся патриотизм и свободолюбие китайского народа, дружба между народами Китая. У читателя и у зрителя пробуждалась гордость за родную культуру и национальные традиции. Вместе с тем в этих пьесах с чрезмерной настойчивостью подчеркивались достоинства древних правителей Китая, их тесная связь с народом, отеческое отношение к подданным. Впоследствии такая тенденция была расценена в качестве косвенной критики маоцзэдуновского руководства, и большинство авторов подверглись репрессиям.

Хотя превознесение национальной традиции легко вело на скользкий путь националистических настроений, тем не менее появление таких пьес было равнозначно отходу авторов от прямой пропаганды идей Мао Цзэ-дуна в своем творчестве.

После десятого пленума ЦК КПК Мао Цзэ-дун организовал наступление на культу-

ру. Он опирался на активные выступления Цзян Цин, своей супруги, и немногочисленных лиц из ближайшего окружения. Задачей его стала компрометация и смена всех руководителей прежней культурной политики, что, несомненно, подрывало авторитет и политическое руководство КПК. Последовала серия проработочных кампаний, но поставленная цель была достигнута далеко не сразу из-за упорного сопротивления противников этой политической линии.

В 1963 году Цзян Цин взялась за «революционизацию» китайского национального театра. Сначала удар был нанесен по традиционному репертуару, прежде всего по пьесам «гуйси» Так называют в КНР пьесы, в числе персонажей которых на сцене появлялись духи, черти, оборотни и небожители. Борьба со сверхъестественными персонажами прикрывалась фразами об уничтожении суеверий и предрассудков. Ревнители реального мира договорились до поношения шекспировского «Макбета» за то, что в нем выведены три ведьмы. В декабре 1963 года Мао Цзэ-дун лично начертал резолюцию о работе творческих организаций. В частности, он писал: «Во многих организациях результаты социалистического перевоспитания до сих пор очень незначительны... Во многих организациях до сих пор господствуют «покойники» *. Многие коммунисты горячо поощряют феодальное и буржуазное искусство, но у них не находится желания поощрять искусство социалистическое».

Мао Цзэ-дун намечал сломить независимость и достоинство китайской творческой интеллигенции. Трудность была в том, что тогда из-за сопротивления партийных органов нелегко было мобилизовать ревностных исполнителей, которые бы подхватили его слова и провели их в жизнь.

В 1963 году только супруга Мао Цзэ-дуна воспользовалась этой резолюцией для окончательного сокрушения национального театра. В подобострастной статье о ее деятельности между прочим сообщается: «Тов. Цзян Цин решительно проводила революционный курс Председателя Мао, непреклонно боролась с контрреволюционными ревизионистскими элементами. В конце 1963 года она лично побывала в Первом пекинском театре цзинцзюй и других важнейших организациях, руководила работой по реформе театра цзинцзюй и внесла особо крупный вклад в культурную революцию» («Гуанмин жибао», 7 января 1967 г.).

В конечном счете старые пьесы были полностью отвергнуты, а реформа театра превратилась в политическую схватку. Цзян Цин удалось выйти победительницей.

Противники реформы поступали по-разному. Сначала Ляо Мо-ша, работник пекинского горкома КПК, выступил со статьей в защиту национального театра, но сила политического давления, оказываемого группой Мао Цзэ-дуна, взяла верх. Тогда второй секретарь пекинского горкома КПК Дэн То попытался сохранить личное положение, вступив в конкуренцию с Цзян Цин. По команде Дэн То в столице и провинции Хэбэй новые, «революционные» пьесы создавались бригадным методом и в ударные сроки. Качеством пьес абсолютно пренебрегали, так как Дэн То пошел на такой шаг только из стремления уцелеть.

Показательна судьба пьесы «Шацзябан». Она вошла в число восьми «революционных» пьес, которые сохранились на китайской сцене до сего дня, пережив «культурную революцию». К ней приложило руку множество людей. Автором считается вся труппа Первого пекинского театра цзинцзюй. Цзян Цин лично правила текст. Затем последовало вмешательство Дэн То, а за ним — третья переработка. Четвертый раз текст исправляли уже во время «культурной революции». Словом, в пьесе нет живого места.

«Шацзябан» рассказывает о событиях в захолустной деревушке в годы антияпонской войны. Партизаны и подпольщики выдерживают японское «прочесывание», ловко обманывают марионеточные войска, без потерь одерживают победу. Оглупленные враги способны только убивать вслепую кого-нибудь из «масс». Герои же пьесы неуязвимы и, благодаря особым стараниям авторов, никогда не попадают в такое положение, где что-либо могло бы поколебать их позиции.

Жизнь в старом обществе была тяжела — героиня рассказывает, что из семерых ее сыновей пятеро умерли с голоду, а шестой был замучен помещиком. Но стоило начать вооруженную борьбу — и никто уже не погибает. Пафос пьесы на поверку оказывается псевдогероическим. Разумеется, она уснащена цитатами из Мао Цзэ-дуна, разрешающими все сомнения героев.

Особенно болезненным было навязывание подобной пьесы театру цзинцзюй, традиционному народному театру Китая. Можно, конечно, силой власти заставить оперную труппу сыграть скверную драматическую пьесу. Но настоящий репертуар попал под запрет, и традиционного театра не стало в Китае.

В пьесе «Красный фонарь», тоже одной из восьми «революционных», я видел талантливую актрису Ду Цзинь-фан. В прежние годы ученица прославленного Мэй Ланьфана блистала в традиционном, любимом народом репертуаре. Здесь же, в новой роли, не было места ни для ее чудесного вокального дарования, ни для сложнейшей игры жестов ни для искусства движения по сцене Все чем овладела актриса за долгую сценическую жизнь, отпало за ненадобностью. «Революционные» поделки, насаждаемые Цзян Цин, не нуждались в ее искусстве. Один только раз в патетической сцене артистка позволила себе изящный, традиционный жест. И когда ее рука взметнулась вверх с привычно сложенными пальцами, по залу прошло движение — зрители узнали

---

* «Покойниками» Мао Цзэ-дун здесь называет авторов классических произведений литературы и искусства.

последний оставшийся штрих запрещенного народного искусства.

В декабре 1963 года под эгидой Цзян Цин в Шанхае проводился театральный фестиваль Восточного Китая, исключительно из «революционных» пьес. Он встретил решительное сопротивление шанхайской интеллигенции. Присланный из отдела пропаганды ЦК КПК крупнейший драматург и руководитель Союза китайских театральных деятелей Тянь Хань поддержал выступления ведущих деятелей культуры Шанхая — таких, как Чжоу Синь-фан, знаменитейший из китайских актеров, или ведущий кинодеятель Цюй Бай-инь — против Шанхайского театрального фестиваля. Тянь Хань стремился скомпрометировать саму идею «революционизации» театра.

В Пекине же Дэн То при поддержке члена Политбюро ЦК КПК Пэн Чжэня в противовес Шанхайскому провел фестиваль Северного Китая. Они решили перехватить инициативу у Цзян Цин, действуя ее же методами. Поэтому были показаны «революционные» пьесы, но уже организованные группой Дэн То — Пэн Чжэня. Сам Пэн Чжэнь выступил перед деятелями театра с грубыми требованиями «революционизации». Он нагло грозил, что «могут полететь головы» Так, в отличие от Тянь Ханя, выражавшего мнение общественности, пекинские круги боролись только за «приоритет» в недостойной кампании, стараясь обезопасить самих себя и не заботясь о национальной культуре.

После отъезда Цзян Цин из Пекина Дэн То объявил пьесы, созданные под его эгидой, «образцовыми», чтобы поставить себе в заслугу «революционизацию» национального театра. Цзян Цин нанесла ему контрудар, выступив с новым вариантом пьесы «Шацзябан», который, по выражению хунвэйбиновской критики, был «еще лучше и еще революционнее». Противникам Цзян Цин из пекинского горкома КПК ничего не оставалось, как объявить деятельность Цзян Цин «чрезмерным вмешательством», но в КНР это не аргумент. Жертвой политического соперничества при всем том оставалась китайская культура. Запрет традиционного репертуара и засилье «ультрареволюционных» пьес вели к гибели национального театра, а над жертвой продолжалась яростная групповая борьба.

Резолюция Мао Цзэ-дуна все же была только предвестником бури. Руководители отдела пропаганды ЦК КПК, министерства культуры КНР и творческих союзов, встретившись с осуждением всей своей деятельности, в ответ на директиву проводили собрания, смотры, театральные фестивали, выступали с самокритикой, но всемерно тормозили радикальные перемены в надежде сохранить свое положение.

В июне 1964 года стало ясно, что выполнение декабрьской резолюции не привело к решающим изменениям, и Мао Цзэ-дун дал вторично директивные указания о творческих организациях КНР:

«Творческие союзы и большинство руководимых ими периодических изданий (говорят, насчитывается несколько хороших) в течение пятнадцати лет в основном (но не все) не проводят политику партии, их деятели стали чиновниками и господами, не идут смыкаться с массами рабочих, крестьян и солдат, не идут на отображение социалистической революции и строительства. За последние несколько лет они вплотную докатились до грани ревизионизма».

Указания Мао Цзэ-дуна сулили скорую грозу. Ответственные партийные работники и руководители творческих союзов вторично попытались спустить дело на тормозах, ограничиваясь единичными выступлениями с самокритикой. Руководитель союза китайских театральных деятелей Тянь Хань, например, открыто отвергал обвинения Мао Цзэ-дуна: «Я чувствую, что десять с лишним лет я всегда работал в соответствии с политикой партии... Я вовсе не абсолютно отрицательный пример» («Гуанмин жибао», 6 декабря 1966 года).

В октябре 1964 года в Китае появились статьи против Шао Цюань-линя. Старый коммунист, видный критик Шао Цюань-линь возглавлял партийную организацию Союза китайских писателей и был заместителем председателя Союза. Тезисы Шао Цюань-линя находили сочувствие и поддержку у видных китайских писателей Чжао Шу-ли, Кан Чжо и др.

Шао Цюань-линь в своих взглядах исходил из заботы о будущем китайской литературы, стремился оживить литературное творчество. Его теория могла служить оправданием и уже созданным произведениям.

Шао Цюань-линь открыто заявил о праве литературы изображать «среднего человека», то есть обыкновенного человека в его будничной жизни, как она есть, со всеми ее тяготами, а не ходульного героя. Он говорил об «углубленном реализме».

Его противники усмотрели в этом, во-первых, посягательство на выдвинутый Мао Цзэ-дуном новый творческий метод китайской литературы — метод сочетания революционного реализма и революционного романтизма, а во-вторых, отрицание «революционного героя», под которым понимался герой-маоцзэдуновец типа Лэй Фэна или Оуян Хая. Разумеется, взгляды Шао Цюань-линя были названы «ревизионистскими». Критика исходила из высших сфер, о ней в директивном тоне говорил Чжоу Энь-лай, выступая в декабре 1964 года на сессии Всекитайского собрания народных представителей, но руководство творческих организаций, за исключением самого Шао Цюань-линя, не подверглось гонениям. Весьма вероятно, что кампанию проработки Шао Цюань-линя проводили скрепя сердце, в качестве последнего средства спасения, его же единомышленники, но занимавшие более высокое положение. В самом деле, директивы Мао Цзэ-дуна требовали действенных мер, и кого-то нужно было отдать на заклание, если не хотели погибнуть все.

Утверждение Мао Цзэ-дуна об антипар-

гийности китайских творческих союзов за все годы существования КНР нельзя назвать иначе, как напраслиной. Под этим клеветническим обвинением скрывалось нечто совсем иное: недовольство скептическим, холодным отношением партийной интеллигенции к насаждению культа личности. Директива 1964 года, несмотря на развернутые в печати проработочные кампании, встретила молчаливое сопротивление, которое не осталось незамеченным. Проработка Шао Цюань-линя не привела к массовым репрессиям. «Революционизация» театра хотя и поразила репертуар, но не затронула творческих работников. Большинство актеров и режиссеров, склонившись перед политическим давлением, тем не менее сохранили свое положение. Трудно было поверить в искренность их скоропалительного перевоспитания, скорее речь шла о подавленном недовольстве. Но, несмотря на критику, работники культуры продолжали общественную деятельность: преподавали, печатались, писали.

Культурная политика Мао Цзэ-дуна достигла той стадии, когда она явно не могла быть осуществлена теми, кто руководил китайской культурной жизнью на протяжении шестнадцати лет после победы революции. Партийные руководители отчетливо осознавали, что очернение творческой деятельности в целом неизбежно подорвет их политическое положение и они сами окажутся следующей жертвой. Поэтому те, кто возглавлял культурную жизнь, отказались слепо следовать к собственной гибели за политикой Мао Цзэ-дуна. Чтобы добиться ее осуществления, потребовалась «культурная революция» и разгром партийных органов в КНР, что и было предпринято летом 1966 года руками «революционной» незрелой молодежи. Движению «культурной революции» предшествовала проработочная кампания.

Базой для развертывания критики послужил Шанхай, откуда был нанесен удар по руководству столичной партийной организации. Когда партийные органы оказались обезглавлены и обессилены, в Пекине приступили независимо от партии к формированию массового молодежного движения в «защиту идей Председателя Мао», быстро приведшего к насилиям хунвэйбинов, распространивших пагубное воздействие «культурной революции» на всю страну, в том числе и на тот самый Шанхай, где первоначально начиналась кампания.

Поводом для нападения послужила деятельность группы Дэн То — У Ханя, восходившая еще к концу пятидесятых — началу шестидесятых годов.

К 1961—1962 годам относится активный период деятельности Дэн То и его единомышленников. Дэн То был вторым секретарем пекинского горкома КПК. В его группу входили У Хань — заместитель мэра Пекина, видный историк, драматург и публицист; руководящий работник пекинского горкома Ляо Мо-ша и др.

Выступление У Ханя с историческими пьесами о Хай Жуе («Хай Жуй ругает императора», «Разжалование Хай Жуя»), императорском чиновнике, который пытался заботиться о народе, за что и пострадал, были поняты в КНР как сатирическая аналогия современным порядкам. Маоисты утверждают, что в сентябре 1961 года Дэн То пригласил на обед в ресторан У Ханя и Ляо Мо-ша, где и возникла литературная группировка «Село Трех», которая теперь называется не иначе, как «черным притоном», а ее участники — «черной бандой». Располагая прессой пекинского горкома КПК, Дэн То своей властью добился опубликования многочисленных эссе, статей и фельетонов, как собственных — свыше 150,— так и своих единомышленников. Они помещались на страницах городской ежедневной газеты «Бэйцзин жибао», вечерней газеты «Бэйцзин ваньбао» и литературно-политического журнала «Цяньсянь». Статьи группы выходили в 1961—1963 годах вплоть до того, как нажим сторонников Мао Цзэ-дуна не заставил начать отступление

Сам Дэн То писал литературные эссе и фельетоны. Это жанр, в котором в недавнем прошлом блистал Лу Синь и который традиционен в китайской литературе. Эти произведения Дэн То весьма знаменательны. Ему свойственно пристрастие к внешне архаизированному слогу. По политическим обстоятельствам автор избегает прямого осуждения, и объект его сатиры, как правило, не назван прямо. Иногда исторические реминисценции перегружают статью, уводя смысл в подтекст, не всем доступный Такие вещи не лишены гелертерского тона, но следует помнить условия, в которых они написаны.

Большую часть своих эссе и фельетонов Дэн То объединил в две книги: «Записки из Села Трех» и «Вечерние беседы у подножия Яньшань». Книги эти теперь запрещены в КНР, и хранение их служит поводом для осуждения и расправы над владельцем. А самому автору неоднократно приходилось идти против голоса своей совести.

Взгляды Дэн То сильно окрашены националистическими настроениями. Но это был не тот великодержавный национализм, отличающийся склонностью к авантюрам в политике, который присущ каждому шагу группы Мао Цзэ-дуна. Дэн То писал, что следует «учиться у государства, которое сильнее нас», объединяться с ним и «радоваться, когда друг сильнее тебя» («Законы дружбы и гостеприимства»). Он прозрачно намекал: «Кто высоко мнит о себе и после первых успехов пинком отпихивает от себя учителя, тот ничему не научится» Подобные высказывания были поняты в КНР как осуждение разрыва с Советским Союзом и вызвали крайнее озлобление сторонников Мао Цзэ-дуна.

Обращает на себя внимание фельетон Дэн То «Великое пустозвонство», в котором он

А. СНИГИРЦЕВ
ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ КИТАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

высмеял не вообще бахвальство, а конкретно известный тезис Мао Цзэ-дуна «Ветер с Востока довлеет над ветром с Запада». В заключение язвительного разбора Дэн То публично советовал Мао Цзэ-дуну уйти на покой: «Делу не поможет даже употребление самых великих слов и фраз, наоборот, чем больше будешь их говорить, тем хуже. Поэтому я бы хотел посоветовать любителям великого пустозвонства: лучше бы вы, друзья, больше читали, больше думали и меньше говорили, а когда захочется говорить, то немедля шли на покой и не тратили бы напрасно своего и чужого времени и сил!»

Антисоветский, антисоциалистический курс Мао Цзэ-дуна подвергся осмеянию в фельетоне «Специфические средства против амнезии», то есть провала памяти. Интересны его рассуждения: «Страдающие этой болезнью... часто не выполняют обещанного и не держат своего слова. Трудно сказать, что бывает, когда болезнь достигает самой последней стадии. Должно быть, человек сходит с ума либо становится идиотом». Больному амнезией, по Дэн То, предписывается «немедленный и полный покой, нельзя ничего говорить и делать. В противном случае быть беде». Завершается фельетон дерзким вызовом: «Согласно современной европейской медицине, во время приступа больного бьют по голове особой палкой, чтобы вызвать шок, а затем приводят в сознание». Хунвэйбины оценили фельетон как проявление «лютой ненависти». Действительно, хотя имя Мао Цзэ-дуна не названо прямо, общественность поняла, что именно ему пора удалиться на покой, а не то «больной превратится в идиота».

В сентябре—октябре 1965 года Мао Цзэ-дун дал указание подвергнуть критике У Ханя за выступление «против социализма». Через месяц, 10 ноября 1965 года, первая проработочная статья, написанная Яо Вэньюанем, которого «непосредственно направляла» Цзян Цин, была опубликована в Шанхае. Маоисты уверяют, что пекинский горком КПК запросил шанхайские организации: «Какова подоплека опубликования вами статьи Яо Вэнь-юаня? Почему вы не предупредили нас? Где ваша партийность?»

29 ноября статья Яо Вэнь-юаня была перепечатана и в Пекине. Дэн То стремится умерить натиск группы Мао Цзэ-дуна. Под псевдонимом Сян Ян-шэна он сам написал статью о пьесах У Ханя и дал последнему возможность выступить с самокритикой. Еще в декабре 1965 года Дэн То надеялся перевести проработки в рамки «научной» дискуссии. Он чувствовал за собой сильную поддержку в ЦК КПК и даже заявил, что «в статье тов. Яо Вэнь-юаня тоже имеются ошибки». Подобное заявление — большая редкость в китайской политической жизни.

21 декабря 1965 года Мао Цзэ-дун дал повторно ясные указания, что в пьесе «Разжалование Хай Жуя» самое главное — разжалование, то есть намек на судьбу его противников, «правых оппортунистов», разжалованных на Лушаньском пленуме ЦК КПК 1959 года. Следовательно, необходима политическая борьба. Новое указание Мао Цзэ-дуна покровители У Ханя опять-таки постарались оставить без последствий.

Член политбюро ЦК КПК и первый секретарь пекинского горкома Пэн Чжэнь взял на себя инициативу и от имени ЦК КПК разослал «тезисы доклада», в которых кампания против У Ханя практически сводилась на нет. Он старался выгородить «своего» человека и уйти от политических выводов, на которых всего более настаивал Мао Цзэ-дун. Но и группа Мао Цзэ-дуна не бездействовала. Одновременно в начале февраля по указанию Линь Бяо в Шанхае было созвано совещание по работе в области литературы и искусства в армии. Линь Бяо там не присутствовал, передоверив руководство совещанием Цзян Цин, что само по себе весьма характерно. Длилось совещание около двадцати дней и подготовило серьезный документ, названный «протоколом совещания». В протоколе констатировалось, что в литературе и искусстве идет «классовая борьба против черной линии» и что после провозглашения КНР «мы находились под диктатом антипартийной, антисоциалистической черной линии, противостоящей идеям Мао Цзэ-дуна». Это документ воинствующего великодержавного шовинизма, стремящегося насильственно насадить идеи Мао Цзэ-дуна во всех сферах жизни Китая, а в далекой перспективе — и во всем мире. Зачеркнув все достижения за 16 лет, протокол провозглашал необходимость «великой социалистической культурной революции». В качестве метода ее проведения называлось «массовое движение», которое надо было подготовить и направить против «черной линии», в первую голову против партийных органов КПК, занимавшихся вопросами культуры.

Так была отчетливо сформулирована платформа маоцзэдуновского экстремизма, на основе которой и развернулось движение «культурной революции». Частично содержание «протокола» февральского совещания было опубликовано в апрельской передовой «Цзефанцзюнь бао». Одновременно с критикой китайской культурной жизни статья знаменовала усиление нападок на советскую культуру. В «Протоколе» прежняя критика фильмов Г. Чухрая была признана недостаточной и мелкой. Цзян Цин потребовала очернить крупнейших деятелей советской культуры и назвала имя Шолохова. По ее указанию грязные пасквильные статьи появились уже летом 1966 года.

В апрельской статье «Цзефанцзюнь бао» вредными, «буржуазными» объявлены идеи Белинского, Чернышевского и Добролюбова, «вредным» было названо и их влияние в Китае. Статья требовала к советской литературе ранних лет «относиться критически», а современную советскую литературу отвергала с порога. «Культурная революция» принимала крикливые антисоветские формы. Наступление на творческую интеллигенцию и партию в самом Китае шло в ногу с оголтелым, истеричным антисоветизмом во всех сферах деятельности.

Методом «культурной революции» стала площадная брань.

16 мая 1966 года было составлено «Сообщение» ЦК КПК, разработанное самим Мао Цзэ-дуном, в котором тезисы доклада Пэн Чжэня подверглись прямому осуждению, как выражение «антипартийной черной линии».

25 мая в Пекинском университете появилось первое дацзыбао, написанное преподавательницей Не Юань-цзы в духе «культурной революции». Первого июня, по личному указанию Мао Цзэ-дуна, оно было передано по центральному радиовещанию. День 25 мая 1966 года можно считать началом массового движения «великой пролетарской культурной революции». В ход пошло физическое насилие и расправы, чинимые толпами распропагандированной молодежи, обманутой лестью и распустившейся в атмосфере поощрения и безнаказанности. Разгулялись дикие инстинкты, издевательства, побои и пытки вошли в быт «культурной революции».

Поскольку группа Дэн То представляла пекинский горком КПК, все столичные партийные организации оказались под ударом, направленным группой Мао Цзэ-дуна. Затем «черными элементами» были объявлены руководители отдела пропаганды ЦК КПК Лу Дин-и и Чжоу Ян, ярлык «черных» получили руководители творческих союзов: Союза китайских писателей, Союза китайских театральных деятелей, Союза музыкантов, Союза художников.

Сторонники «культурной революции» по наущению группы Мао Цзэ-дуна с полной безнаказанностью расправлялись с творческой интеллигенцией и партийным активом. Нельзя сказать, что не было попыток переманить людей на свою сторону. Так, Го Можо выступил с унизительной речью, в которой заявил о готовности сжечь все им созданное за всю жизнь и начать сначала — с изучения «идей Председателя Мао»*. Нет такого цинизма и лести, до которых бы он ни унизился в угодничестве перед Мао Цзэ-дуном. «Если мне нужно вываляться в грязи, я охотно поступлю так»,— заявил он всерьез. Но его выступление осталось единичным, ему никто не вторил даже перед лицом смертельной опасности. Китайская интеллигенция не пошла в Каноссу.

В условиях «культурной революции» — террора, насилия, ожесточенной борьбы за власть и анархо-группового соперничества среди хунвэйбинов—культурная жизнь КНР сошла на нет. Прекратился выход литературных журналов и новых книг — бумага пошла на издание многомиллионными тиражами сочинений Мао Цзэ-дуна. Были разгромлены книжные магазины, сняты из проката кинофильмы прошлых лет, репертуар театров сократился до восьми «революционных» пьес, уцелевших благодаря причастности Цзян Цин к их созданию.

Зимой 1966—1967 годов центральная пресса, полностью поставленная под контроль сторонников Мао Цзэ-дуна, перешла к публикации хунвэйбиновских материалов об осужденных деятелях китайской культуры. Так стали известны обвинения, предъявленные Тянь Ханю, Ся Яню, Оуян Шаню, Ша Тину, Чжао Шу-ли, Хуа Цзюнь-у и многим другим.

Осуждения выдержаны в стандартной манере. Вся деятельность человека очерняется с начала до конца, о нем не говорится ни единого доброго слова. Обвинения тоже стандартны: антипартийная, антисоциалистическая деятельность, буржуазная идеология, ревизионизм. За ними стоит единственная реальная причина: сопротивление, в той или иной форме, насаждению культа личности Мао Цзэ-дуна и его политическому курсу.

Поругание Чжао Шу-ли может служить типичным примером губительного воздействия «культурной революции». Чжао Шу-ли, бесспорно, крупнейший китайский писатель. Его первые рассказы и повести появились в сороковых годах в Освобожденных районах Китая. После выступления Мао Цзэ-дуна на совещании деятелей литературы и искусства в Яньани в 1942 году произведения Чжао Шу-ли, с живой народной речью и в приятной для начинающего читателя сказовой манере изложения, явились прекрасным примером для руководителей культурной политики. Материалы об осуждении Чжао Шу-ли помещены в «Гуанмин жибао» от 8 января 1967 года

Редакторы клевещут, что до освобождения Чжао Шу-ли был только «попутчиком» партии. Он-де выпустил «ядовитые произведения», чернящие «политику трех знамен», то есть народные коммуны, «большой скачок» и генеральную линию, и «был против целой серии указаний Председателя Мао о социалистических преобразованиях в деревне». Что ж, «преобразования» на поверку обернулись авантюрой, народ голодал... Но дальше — больше. «Чжао Шу-ли дошел до того, что крайне принижал великое значение стихов Председателя Мао, препятствовал широким массам развернуть движение за живое изучение и применение сочинений Председателя Мао, до конца обнажил свое контрреволюционное подлинное лицо. Теперь Чжао Шу-ли, этот погрязший в преступлениях контрреволюционный ревизионистский элемент, выволочен революционными массами — это победа великой пролетарской культурной революции!» Так режим культа личности карает неугодных, а затем демагогически объявляет: «Чжао Шу-ли — реакционный буржуазный писатель». В качестве улик цитируются заявления Чжоу Яна, бывшего заместителя заведующего отделом пропаганды ЦК КПК, в которых он называл Чжао Шу-ли «народным художником», «мастером», «железной кистью»... Не менее «преступно» и обращение Чжао Шу-ли к молодым писа-

* См. текст его речи в «Литературной газете» от 5 мая 1966 г.

телям с призывом писать «проблемные рассказы». Чжао Шу-ли мечтал, чтобы в каждом рассказе был поставлен какой-либо вопрос общественного, гражданского звучания, чтобы литература была активна. Теперь это объявляется «очередным подстрекательством молодых писателей разоблачать «несправедливости» сегодняшнего общества».

Писатель хорошо знал жизнь китайской деревни, недаром «под его пером совершенно неразличим духовный облик революционных крестьян сегодняшнего дня, которые полны силы духа и воли к борьбе и вооружены идеями Мао Цзэ-дуна...» Действительно, в творчестве Чжао Шу-ли нет упоминаний о Мао Цзэ-дуне и его идеях, нет культа личности, отсутствуют «пролетарские герои». Под этим термином маоцзэдуновцы понимают героев типа Лэй Фэна, вечно изучающих «сочинения Председателя Мао».

Чжао Шу-ли говорил, что «литература должна просвещать людей». Хунвэйбиновский критик поэтому завершает статью следующим заявлением: «Когда Чжао Шу-ли в условиях 1963 года поднял знамя литературы, «просвещающей людей», то откровенно обнажил подлинное лицо ревизионистского курса в литературе и искусстве. Своим черным пером он изготовил большие ядовитые сорняки, направленные против идей Мао Цзэ-дуна. Теперь настало время последовательного, досконального разоблачения и критики «образцов» контрреволюционного ревизионистского курса в литературе и искусстве».

Вдобавок Чжао Шу-ли насмеялся над дацзыбао, расцветшими в дни «культурной революции». В рассказе «Закаляться, закаляться надо» партсекретарь простодушно объявляет: «Председатель Мао велел расклеивать дацзыбао»,— и сразу становилось ясно, что их пишут по указке сверху... Широкая кампания против Чжао Шу-ли означает, что нет известных писателей в числе участников «культурной революции» — они ее жертвы.

8 декабря 1966 года захваченная пекинскими хунвэйбинами радиостанция сообщила о произведенных ими арестах. В числе видных деятелей КНР было названо имя председателя Союза китайских театральных деятелей Тянь Ханя.

Старый коммунист, вступивший в партию еще в 1932 году, автор государственного гимна КНР, Тянь Хань долгие годы был другом Советского Союза. Последнее время он по мере сил боролся с насаждением культа личности Мао Цзэ-дуна в стране. Его исторические пьесы конца пятидесятых — начала шестидесятых годов отнесены к числу «ядовитых трав». Тянь Хань открыто иронизировал, что идеями Мао Цзэ-дуна можно «кормиться до конца», насмехаясь над карьеристами и проходимцами, которые видят в культе личности основу собственного благополучия. Он, не стесняясь, называл «революционные» пьесы, насаждаемые Цзян Цин, пьесами «прокипяченной воды». Гонения на классику в КНР он во всеуслышание заклеймил как «национальный позор».

За это ветеран китайской культуры схвачен насильниками и подвергнут бесчеловечному обращению. Тянь Хань был одним из тех, против кого еще в июле 1964 года была развязана проработочная кампания. Тогда партийное руководство сумело защитить его от политических репрессий, сведя проработку к вопросам «самовоспитания». Только во время «культурной революции» 1966 года экстремистам удалось добиться своего.

Со второй половины 1966 года в КНР уже не печатались литературные произведения. Китайское киноискусство перешло к выпуску прославляющих Мао Цзэ-дуна рекламных фильмов о его встречах с хунвэйбинами, о китайско-албанской дружбе, об испытаниях атомного оружия.

Современное состояние китайской культурной жизни беспрецедентно. Ущерб, нанесенный народу и его культурным ценностям, не поддается измерению. Охота на деятелей культуры во время «культурной революции» продолжается под торжествующее улюлюканье захваченной группой Мао Цзэ-дуна китайской печати.

Творческие союзы отданы на расправу хунвэйбинам, которые «рассчитываются начистоту» с инакомыслящими. В стране вводится военный контроль, равносильный оккупационному режиму, потому что казарменные порядки — идеал Мао Цзэ-дуна. Армия торжественно, с помпой подчинила себе ведущие театры Китая, армейские ансамбли поют песни о Мао и пляшут перед его портретом, в апофеозе преклоняя колена. Ничего, кроме культовых песнопений.

Воинствующий нигилизм Мао Цзэ-дуна замедлил и исказил развитие китайского общества и его культуры. Ее будущее под вопросом. Сколько времени потребуется на духовное возрождение? Сейчас еще невозможно сказать. Ущерб велик, но и творческие силы народа неистощимы, навечно их похоронить нельзя.

АНДРЕЙ
ВОЗНЕСЕНСКИЙ

НЕБО БОРИСА ПАСТЕРНАКА

Одно слово его вернее, чем вереницы слов о нем. Хотите знать о Пастернаке — читайте Пастернака. Зачем вместо единственного выбранного поэтом нагромождать сотни околичностей? Словно крупные купюры алгебры разменивать на медь арифметики. Наверно, статьи о поэзии пишутся с подсознательным физическим наслаждением процитировать. Поэтому лучше начну с цитаты:

Когда время мое миновало
И звезда закатилась моя,
Недочетов лишь ты не искала
И ошибкам моим не судья...

И хоть рухнула счастья твердыня,
И обломки надежды на дне,
Все равно, и в тоске и в унынье
Не бывать их невольником мне.
Сколько б бед ни нашло отовсюду,
Растеряюсь — найдусь через миг,
Истомлюсь — но себя не забуду,
Потому что я твой, а не их.

Ты из смертных, и ты не лукава.
Ты из женщин, но им не чета,
Ты любви не считаешь забавой,
И тебя не страшит клевета...

Байрон или что иное было поводом для этих чудом выдохнутых строк? Такая грусть, печаль такая. Какое нам дело?

«Звездное небо» * — называется последний сборник Бориса Пастернака. Подзаголовок, что это переводы, вряд ли что добавляет.

Собственно, поэт всегда трансформатор. Поэзия всегда лишь перевод, способ переключения одного вида энергии, — скажем, лиственной энергии лип, омутов, муравьиных дорожек — в другую, в звуковой ряд, зрительного — в звуковой. Чтобы дошло до адресата, нужно лишь запаковать, заколотить в ящики четверостишия!

Дай запру я твою красоту
В темном тереме стихотворенья.

Поэзия — лишь мучительное разгадывание невнятного подстрочника, называемого небом, историей, плотью, темного, как начертания майи, и попытка расположить строки приблизительным подобием его, но внятным нашему разумению и способу общаться.

Я б разбивал стихи, как сад,
Всей дрожью жилок,
Цвели бы липы в них подряд,
Гуськом, в затылок.

В этой книге таким источником для трансформации служат не существа — лось, война, липы, — но Китс, Рильке, Петефи.

Избранничество человека в ряду других предметов природы — в способности создавать природу новую, небывалую доселе. Скажем, «Фауст», Кижи или «Соловьиный сад», однажды сотворенные, существуют уже автономно, со своей судьбой, развитием. Однажды изображенные, они становятся сами объектом для отображения.

«Звездное небо» — ряд пленеров, этюдов в дебрях культуры, и встреча поэта с Лютером, Незвалом не менее ошеломительна, чем с вепрем, лешим или полевы-

* «Звездное небо». Стихи зарубежных поэтов в переводе Б. Пастернака. Составитель Е. Левитин Предисловие Н. Любимова. Редактор Б. Шуплецов. Москва, «Прогресс», 1967.

ми планами, в которые внезапно оступаешься с лесного обрыва.

Моя любовь — дремучий темный лес,
Где проходимцем ревность залегла
И безнадежность, как головорез,
С кинжалом караулит у ствола.

И, конечно, пастернаковский Гете к «Фаусту» Холодковского имеет лишь косвенное отношение, как пикассовский «Дон-Кихот» — к «Дон-Кихоту» Доре.

Леонардо да Винчи сетовал в трактате о живописи, что художники пишут, изображая в персонаже себя самих, «ибо это вечный порок живописцев, что им нравится и что они делают вещи, похожие на себя».

Переводчик, если он подлинный поэт,— такой портретист. Это присутствие судьбы, характера, воли поэта и притягивает нас к стихам.

Ты спала непробудно в гробу
В стороне от вседневности плоской.
Я смотрел на твою худобу,
Как на легкую куклу из воска.

Как проступает сквозь строки эти «Недотрога, тихоня в быту». А дальше:

Я укрыться убийцам не дам,
Я их всех, я их всех обнаружу.
Я найду, я найду их. Но сам,
Сам я всех их, наверное, хуже.

Читать эту книгу — скулы сводит. Вся книга — дактилоскопический отиск мастера его судьбы. Даже когда натыкаешься на вещи, написанные скованно, через силу — для хлеба насущного,— даже, может, особенно тогда это самые горестные, берущие за сердце строки. Сердце сжимается от горестной ноты художника, заложника вечности в плену у времени. Так и видишь мастера в рубашке, закатанной по локоть, так и знаешь все о нем — и как в дачные окна тянет ночным июнем и яблоней, и как тянет писать свое, и квадрат бумаги так вкусно разложен, холка светится, под ложечкой уже посасывает, и вот-вот это начнется — а тут этот чертов подстрочник, и надо как-то жить, и он досадует, и лицо его отчужденно, и он отпугивает, отмахивает бабочек, залетающих на свет, на рубашку, в четверостишия, он отгоняет их и отряхивает холку, и первая строка идет как-то с трудом, через силу будто («радостнее, чем в отпуск с позиции»). Но ритм забирает, и уже понесло, понесло:

Редкому спится. Встречные с нами.
Кто б ни попался, тот в хороводе.
Над ездоками факелов пламя.
Кони что птицы. В мыле поводья.

И пошло, пошло, пошло, в праздничном махе сердечной мышцы летят фольварки, и дьявольщина погони, и Шопен, и такая Польша, Польша,— как там? — «Простите, мне надо видеть графа. О нем есть баллада, он предупрежден...»

Молча проходим мы по аллеям.
Дом. Занавески черного штофа.
Мы соболезнуем и сожалеем.
В доме какая-то катастрофа.
. . . . . .
Едемте с нами в чем вас застали.
К дьяволу карты! Кони что птицы.
Это гулянье на карнавале.
Мимо и мимо, к самой границе.

Сердцевина книги, ее центр — два мощно сросшихся ствола, два рильковских реквиема, их разметавшиеся кроны и корни выходят за пределы книжного формата, лишь угадываются и шумят в иных измерениях. Наверно, и издавать их надо было отдельно, как берлинцы издают — долгим вертикальным форматом, как колодезная шахта.

Впрочем, и вся книга — в чем-то праздничный реквием по тому, что могло бы быть на месте этих переводов. Поразительно, сколько сотворил он: Шекспир, весь; «Фауст», любому бы хватило на жизнь — и сколько бы он создал, не занимаясь этим. Горестно, какой ценой, какой кровью давалось это донорство, писались эти строки. Строки этой книги бесценной — какой ценой они оплачены. Переводил других — себя, свой дар переводил. И какой дар!

Но вернемся к созданному. Сквозь решетку строчек видны лица и места пережитого и виденного.

Вот Венеция:

Как будто кот за мышкой малой
Бросается из темноты,
Над тихою водой канала
Подскакивают вверх мосты.

Сквозь рынки, готику, бородачей «Лютера» просвечивает Марбург.

Однажды мне довелось проникнуть в его кладовую, к истокам мастерства, в роддом его, что ли. Это был Марбург. Везти меня туда не хотели. Меня отговаривали. Мол, зачем давать крюка, не запланировано, завтра вечер в Ганновере. Я отмалчивался. Я-то знал, что, может, все эти запрограммированные телестудии, месячные вечера, пресса — были лишь даванием кругаля ради Марбурга, ради нескольких часов в нем. И даже встреча с Хайдеггером, часовые колдовские речи с ним о слове и сущности слова имели подсознательную параллель с Когеном. Это был мостик **туда**. Сознание инстинктивно расставляло шахматную ситуацию, где марбургские колокольни, где ночи играть садятся в шахматы.

«Охранная грамота» была библией моего детства. Я страницами шпарил текст наизусть без передыха. В Марбург я ехал тайком, не оповестив никого, ехал соглядатаем, на цыпочках поглядеть, подслушать.

Марбуржцы встретили на перроне, как снег на голову, без шпаг и самострелов, в лыжных нейлоновых молниях, с велосипедами, поволокли в «мерседес». Мимо окон удлинялись параллелепипеды новых зданий.

Марбург двухэтажен, как дом с каменным низом. Подножие — современные строения, новый университет. В нем мы. Дымом встает над ним старый город с когтистой готикой. Он будто горб на горе или, вернее, будто рюкзак, в котором угадывается и вот-вот выхлестнет скрытый пар парашюта. Он полон обычаев, обрядов, охранной грамоты.

До утра шел студенческий сыр-бор, как водится, с водкой, свечами, вакханалией, политическими спорами. Марбуржцы угощали меня пивом и записями Окуджавы. Ковер был мохнат, и на нем можно было валяться. Переводчик мой Саша Кемпфе, милый увалень, не выдержав режима, удалился спать.

Я ускользнул в старый город. Был рассвет. В уличном автомате за стеклом ждали пфеннигов сигареты и завернутые в целлофан живые тюльпаны. Я искал его адрес. Старый город был инсценировкой по «Охранной грамоте». Дома сребетированно повторяли позы и жестикуляцию текста. Я кивал, когда это им особенно удавалось. Вот здесь жил Мартин Лютер. Здесь — братья Гримм. Когтистые плиты. Мы думали, Пастернак — фантаст, Клее, а он — нате вам! — скрупулезнейший документалист. Так же ошарашивают пейзажи Михайловского — сосны, дуб. Гении точны, как путеводители. И тот же дом, где он жил, — седой, аляповатый.

Дом напротив бензозаправки «ЭССО».

Фрау, отворившая дверь, конечно, знает о Пастернаке. Она новенькая и элегантная. Вот только в какой комнате — в этой, в той ли, — не знает. А в окнах стояли туманные матрицы текста. Алые бензоколонки, как бубновки и черви, были перетасованы с черной решеткой готики.

На поезд я, понятно, опоздал.

Владелец местной картинной галереи еле домчал нас на запыхавшемся «БМВ» к началу вечера в Ганновере.

Переводы Пастернака — это доминионы его державы. Это прочтение средневековья глóтками актеров нашего века. Переводя Шекспира, он вдруг наталкивался на цитаты из Маяковского. Например, Ромео говорит там о любовной лодке, разбившейся о быт. Это не влияние, а совпадение судеб. Это заклепки, соединяющие времена, нации, судьбы. Иначе к чему бы читать все это, если все замкнуто исторически.

А какого он написал Гамлета!

Гул затих, я вышел на подмостки,
Прислонясь к дверному косяку.
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.
На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можешь, аве отче,
Чашу эту мимо пронеси.
Я люблю твой замысел упрямый,
И играть согласен эту роль,
Но сейчас идет иная драма,
И на этот раз меня уволь...
Но намечен распорядок действий.
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.

В память врезалась премьера «Ромео» у вахтанговцев. Я — школьник. Меня пригласил с собой Пастернак. Обмирая, я касаюсь его локтя в соседнем кресле. Правое ухо мое, щека, плечо, коленка — как обморожены, немеют от соседства. Вернее, лицом, глазами стала эта онемевшая правая часть лица, головы, щек. Они видят справа удивленно восторженный профиль и светящуюся холку на лбу. Так странны на нем пиджак и галстук. Иногда он пробормативает текст.

На сцене, тесной от декораций, башенок, муляжей, блещет поединок Ромео и Тибальда. Ромео — Ю. Любимов, стройный, легкий, тогда еще актер театра Вахтангова. Он и сам не догадывается о своем будущем театре, о первой поэтической сцене в стране, что он будет ставить когда-то и гамлетовские строки, и куски военной прозы. Это еще так впереди.

Поэзия — неотвратимая случайность. Вдруг шпага ломается, и конец ее, описав немыслимую какую-то параболу, вифлеемски блеснув, пролетает над четырьмя рядами и, как нарочно отыскав, шмякается о ручку между нашими креслами. Я нагибаюсь, подымаю. Голова моя полна символов, предопределений и прочей чепухи. Я так и не разжимал этого обломка до занавеса. Пастернак смеется. Но уже кричат «автора» и вне всяких каламбуров вытаскивают на сцену. Зал аплодирует его смущению, недоумению, магнетизму, подлинности. Какой укор бытующему еще у некоторых наших стихотворцев опереточно-купеческому ломанию на эстраде, безвкусице, искусственности в жизни и в искусстве.

Но здесь разговор о книге.

Тема женщины — сквозная тема поэта.

...Я ранен женской долей,
И след поэта — только след
Ее путей, не боле...

«Звездное небо» — еще раз подтверждение тому. Он и «Фауста» где-то перевернул. У Гете второстепенная героиня — Гете не умел и не знал этого, — Маргарита у Пастернака овладевает вещью, вдыхает в нее жизнь, боль.

Как прерывисто дыхание песенки Гретхен.

Его походкой,
Высоким лбом,
Улыбкой кроткой,
Глазами, ртом,
Уменьем чаруя
Вести разговор,
Огнем поцелуя
И взглядом в упор.

Нет покоя, и смутно,
И сил ни следа,
Мне их не вернуть,
Не вернуть никогда.

У меня сохранилась пастернаковская рукопись перевода «Фауста», где этот первоначальный текст песенки Гретхен просвечивает, как сквозь лапчатую хвою, сквозь игольчатые летящие строки новых четверостиший.

Обычно он не любил оставлять видимыми черновые тексты. Их либо уничтожал ластик, либо они заклеивались полосками бумаги, по которым сверху вписывались новые фразы, чтобы даже машинистку не смущали эскизные варианты. Этому экземпляру рукописи повезло. Тьма страниц перекрыта размашисто горизонтальным карандашным письмом.

Дивишься неудовлетворенности мастера. Теряешься, какой вариант лучше. Порой автор прощается с шедеврами, щедро заменяя их новыми. Смущенно вглядываешься в просвечивающие тексты, как реставратор открывает под средневековым письмом прописанные сады Возрождения. Будто Рублев пишет поверх Дионисия.

Вот пейзаж Вальпургиевой ночи:

Как облик этих гор громаден.
Как он окутан до вершин
Ненастной тьмой отвесных впадин
И мглой лесистых котловин.
Всю ширь угаром черномазым
Обволокли его пары,
Как бы обдав подземным газом
Из огнедышащей горы.

Великолепно. Но мастер переписывает заново — лесистые котловины уходят в подмалевок. Дух захватывает от нового варианта:

И гарь с оттенком красноватым,
Воспламеняясь там и сям,
Ползет по этим горным скатам
И прячется по пропастям.
Как угольщики, черномазы
скопившиеся в них пары,
как будто это клубы газа
из огнедышащей горы.

А под этим еще и еще слои. («Когда мы по Кавказу лазаем...») И так повсеместно. Исследование рукописных текстов Пастернака — особая тема. Размеры статьи позволяют ее коснуться лишь мельком. Особенно повезло Мефистофелю. Писать его вкусно, упиваясь всеми этими речевыми «хахалями», «белендрясами» и пр. Вот хотя бы прежний вариант:

Она знаток физиономий
И нюхом поняла меня,

С наслаждением заменяется на:

Она, заметь, физьономистка,
и раскумекала меня.

Или злой дух нашептывал Маргарите в соборе:

Гретхен, прежде по-другому,
В чистоте души невинной
К алтарю ты подходила,
По растрепанным страницам
Робко лепеча молитвы,
Детской мыслью в детских играх
И наполовину с богом —
И какая перемена...

И так дальше, вся страница этим шепотком — та-та-та...

В новом варианте злой дух гудит, и в его ритме, во внутреннем жесте звуковой спаянности, которая крепче рифмовки и мелодичности, слышатся загудевшие своды собора:

Иначе, Гретхен, бывало,
Невинно
Ты к алтарю подходила,
Читая молитвы
По растрепанной книжке,
С головкою, полной
Наполовину богом,
Наполовину
Забавами детства...

Маргарита отвечает:

Опять, опять они,
Все те же думы...

И в слове «думы» слышится «духи». Верхогляд даже зарифмовал бы их. Мастер оставил одно. Думы обертываются духами. И наоборот. Или еще:

Нет, я не мог бы никогда
Усвоить сельские привычки,
Забравшись в черту на кулички.

Крепко? Другой бы так и оставил. Но летящий карандаш вдыхает божество в эти строки:

Безвестность мне была чужда,
Глушь не развеяла бы грусти.
Не ужился б я в захолустье.

Ах, эти щемящие «глушь» и «грусть»... Глушь грусти и грусть глуши...

Искусство парадоксально. Чем больше приближаешься к натуре, к подлинности, к сути изображаемого, тем больше выражаешь себя, свою индивидуальность. И наоборот. Наиболее яркие индивидуальности, наиболее субъективный взгляд и дают нам объективный образ предмета.

Такого гетевского Гете мы не имели на русском до Пастернака. Поразителен масштаб Пастернака-переводчика. Такого ни русская, ни мировая поэзия не знали,— тома, тома...

Просветительная роль его велика. После себя он оставил школу перевода-подвига. Судьба его сводит на нет миф о поэте с пастушеским интеллектом. Поэт денно и нощно, как в саду, работал, на своем горбу нес нам человеческую культуру, как нашу культуру — человечеству.

Причем это было на такой высоте и самоотдаче! Не знаю строки более высокой в мировой поэзии, чем этот поверх машинописи парящий карандашный почерк во вступлении к «Фаусту»:

Им не услышать следующих песен,
Кому я предыдущие читал.
Непосвященных голос легковесен,
И признаюсь, мне страшно их похвал...

Заканчивая, скажу о досадностях, оговорках издания. Например, автором «Оды к осени» назван не Китс, а Шелли. В «Лютере» почему-то «монах» рифмуется

со «шпор» — когда явно надо «шпаг». Пишу это не в укор издателям, их труду можно только поклониться, книга составлена с завидным тщанием и вкусом.

Это надо сказать в целях информации, чтобы будущий исследователь или мальчик не воспринял эту «шпору» как новаторство гения. Как на доме на Смоленской строители соорудили два карниза, каменный и деревянный, приняв начертанные на эскизе Жолтовского два варианта за открытие новых путей.

Цель этих заметок ограниченная — оповещение и поздравление читателей с книгой «Звездное небо».

Один у книги недостаток — мал тираж. Да и любой тираж был бы недостаточен. Это — чудо, создание человеческого гения, и сколько бы утеряла природа, если бы свои творения (скажем, тополя, или журавлей, или косуль) заселяла бы тиражом всего в несколько тысяч экземпляров.

«Звездное небо» — создание того же ряда.

Да, еще. Просто не могу оторваться от обаяния этих строк:

Но суть не во вкусе,
Не в блеске работы,
Стихи мои — гуси
Порой перелета

На этом кончим.

МАРТТИ ЛАРНИ

РАЗДУМЬЯ О РЕАЛИЗМЕ

Не так давно я нашел в трудах одного литературоведа следующую «умную» мысль, озадачившую меня: «Максим Горький был страстным борцом и писателем, создавшим глубокореалистические картины жизни, но он был слабым художником».

По-моему, в приведенной цитате понятие реализма совершило некий вольт. Если о писателе можно сказать, что он создал «глубокореалистические картины жизни», то это значит, насколько я понимаю, что он хороший художник. Плохой художник не может создать глубокореалистической картины жизни. Зато о каком-нибудь набившем руку газетном репортере можно сказать, что он изобразил недавнее землетрясение в Турции очень реалистично, хотя он вовсе не художник. Речь идет, как видно, о двух разных формах письма: одно — правдивое искусство художественного изображения действительности, другое — фотографически точный репортаж. Ни в коей мере не желая принизить работу журналиста, я все же хочу заметить, что между реалистическим газетным сообщением и реалистическим описанием писателя-художника существует значительная разница, они находятся на разных уровнях.

Как научное понятие реализм охватывает целый ряд различных значений. Если оставить в стороне философию и метафизику и рассмотреть реализм лишь в смысле эстетическом, как литературное направление, ставящее перед собой цель вызвать у читателя сильное впечатление подлинной жизни, тогда мы, несомненно, признаем, что Максим Горький был одним из великих мастеров реализма. Точно так же как и его соотечественник Михаил Шолохов, который в своем творчестве выступает как достойный продолжатель замечательных традиций великих русских реалистов.

В финской литературе решающее влияние реализма начало сказываться с конца девятнадцатого века. Это здоровое и могучее течение глубоко перепахало нашу литературную ниву, покончив с субъективной сентиментальностью и фальшивой красивостью так называемого позднего романтизма. Очень значительным было влияние русской литературы. Гоголь и Тургенев явились идейными вдохновителями нашего раннего реализма, но особенно содействовал его становлению Лев Толстой — своими идеями и своими гениальными творениями. Реализм принес с собой дух прогресса и освобождения. Он вскрывал общественные противоречия, отметал всяческие табу и ложные представления, боролся за социальную справедливость и расчищал авгиевы конюшни предрассудков. Реалистов обвиняли в пессимизме, грубом материализме и душевной черствости, хотя они на самом деле были в высшей степени светлыми оптимистами, для которых изображение правды жизни было подлинной художественной страстью.

В самом конце прошлого столетия это направление начало меняться, и здоровый от рождения реализм заболел временной анемией. Социальные проблемы отодвинулись в сторону (за исключением одной-двух книг тех времен), а им на смену явился некий импрессионизм настроений и бегство от современности. Но это неоромантическое течение просуществовало примерно с десяток лет. В начале двадцатого века вошли в литера-

туру молодые радикалы, которые дали реализму новые силы и новый размах, в результате чего реализм победил окончательно.

Я здесь попытался кратко обрисовать историю возникновения и влияния реализма в финской литературе, так как это по-своему отражает процессы, происходившие в литературе всей Европы. Как в скандинавских странах, так и в Финляндии писатели, видевшие свою миссию в изображении реальной действительности и критике современного им общества, создали в литературе непреходящие ценности. Произведения повествовательного искусства, которые и ныне живут в нашей национальной литературе, представляют собой именно реалистическое отражение жизни народа; в них, правда, встречаются иногда и натуралистические черты — этот натурализм и реализм зачастую бывает трудно разграничить. Наши крупнейшие писатели Киви, Лехтонен, Силланпяя, Кианто, Кант, Лассила, Пекканен и Хаанпяя были реалистами, которым нынешнее наше литературное поколение очень многим обязано, хотя и не считает их своими непосредственными учителями.

Мое отношение к реализму безусловно положительное. Реализм обращает внимание на такие явления жизни, которые старая идеалистическая и далекая от действительности литература старательно обходила как «грубо материальные» и «несущественные». Национальные романтики смотрели на жизнь как бы с крыльца пастората, любуясь садом и видом на озеро и не замечая того, как живет собственно народ. Реалисты принесли в литературу новое, обширное содержание: жизнь трудового народа, больших городов, сплетение социальных несправедливостей и сознание того, что человек не будет счастлив одними красивыми обещаниями мнимых радостей загробной жизни. Чтобы сделать жизнь по-настоящему счастливой, требовались реальные факторы: организация рабочего класса, профсоюзы и политическая деятельность и так далее и так далее.

Писатель призван быть живописцем жизни человеческой в постоянно меняющемся и развивающемся мире. Нарциссово самолюбование не может удовлетворить тех, кто хочет разобраться в действительности и показать облик века по возможности правдиво и художественно. «Страстный борец и писатель, создавший глубокореалистические картины жизни» это и есть, по-моему, подлинный художник, для которого дело его жизни неотделимо от жизни его народа.

Что же тогда означает так называемый «современный реализм»? В широком значении реализмом называют не какое-то направление, связанное с определенным временем и местом, а все бесконечно разнообразное по формам искусство, стремящееся к правдивому раскрытию реальности. Я бы не хотел делить реализм на «классический» и «современный», скорее уж — на хороший и плохой реализм. Читатель может без труда найти хорошие и плохие реалистические произведения как в 80-х годах прошлого столетия, так и в 60-х нашего века. Всякий писатель-реалист обычно связан с современностью. Но объект у него всегда один и тот же: человек, с его слабостями и добродетелями. Меняются лишь обстоятельства жизни и обычаи. У Толстого крестьяне пахали землю деревянной сохой. На помощь современному земледельцу пришли трактор, автомобиль и жнейка-молотилка. Гигантский технический прогресс и огромные общественные перемены перевели жизнь людей в новое русло, но человек-то все же остался человеком, в самом существе своем он все тот же. Литературное направление, стремящееся правдиво показать сегодняшнюю, сиюминутную реальность,— это опять-таки просто реализм, то ли удачный, то ли неудачный.

Если же под «современным реализмом» подразумевается, в частности, так называемое реалистическое изображение половой жизни, то тут я могу сказать: поистине, ничто не ново под луною! У греков, у этрусков и у ассирийцев на глиняных таблицах археологи находили весьма реалистические описания, подобные тем, что предлагаются теперь европейскому читателю. Да, некоторые «сердитые молодые люди» понимают под «современным реализмом» именно неприкрытое и беспрепятственное изображение сексуальной жизни. Иные «смелые» критики ничтоже сумняшеся превозносят как реалистический шедевр первую книжку девятнадцатилетнего автора, особую силу которой составляет широкое использование народных слов и выражений, относящихся к «подбрюшной области». Я не берусь доказывать, что подобные вещи вовсе не имеют отношения к реализму, только я бы все же порекомендовал — особенно юным читателям — прочесть лучше специальные книжки и руководства по этому вопросу, написанные спокойно и объективно знающими дело врачами. Меня здесь могут обвинить, чего доброго, в ханжестве и напомнить изречение древнегреческих киников «все, что естественно — не стыдно». Я того же мнения: не нужно стыдиться естественности. Но каждая цивилизация имеет известные нормы, которых люди должны придерживаться. Если во всем следовать программе киников, то почему бы и естественные надобности не справлять посреди улицы.

Года два назад мы беседовали с Шолоховым, и я рассказывал ему о романах, построенных в основном на подробнейшем описании половой жизни. Он

тогда сказал: «Интимные отношения мужчины и женщины слишком деликатны, чтобы выставлять их вот так, для всеобщего тыкания пальцем. С эротикой нужно обращаться осторожно, как с острием ножа, чтобы по небрежности или легкомыслию не ранить читателя».

Итак, реализм в литературе это такой творческий метод, целью которого является правдивое отображение и глубокое художественное осмысление подлинной, реальной жизни. При всем бесконечном разнообразии форм, жанров, стилей, вкусов, исторических, национальных и местных условий, традиций, индивидуальных манер и капризов фантазии — произведения реалистов отличает одна общая существенная черта: верность действительной, реальной жизни. Еще для реализма характерно серьезное отношение к своим художественным и нравственным задачам, сознание своей общественной миссии. Искусство не должно унижаться до услужения безвкусице. Но, разумеется, эта серьезность принципов не исключает юмора и шутки, без которых ни один народ не может обойтись ни в реальной жизни ни в искусстве. Знаменитый философ-просветитель призывал некогда людей вернуться назад, к природе. Я бы сказал, что нужно лишь не уходить от природы.

г. Хельсинки

ИРЕНА ДУБСКАЯ

АМЕРИКАНСКИЙ ГОД

(Отрывки из книги)

НЬЮ-ЙОРК ГЛАЗАМИ ПЕШЕХОДА

ГОРОД, КАКОГО НЕТ В ЕВРОПЕ

С Нью-Йорком можно знакомиться по-разному. Если вы не архитектор, не кинокритик и не врач или если вы, даже будучи архитектором, кинокритиком или врачом, отдаете предпочтение городу как таковому, то можете обозревать его с самолета или геликоптера, можете предпринять классическое путешествие по воде от статуи Свободы, где некогда европейские эмигранты месяцами томились в лагерях на Эллис-Айленд, ожидая официального разрешения вступить на желанный противоположный берег. Вы можете также приблизиться на пароходике к небоскребам нижнего Манхеттена, этой прославленной sky line *. Наконец, можете обогнуть весь этот фантастический остров, размышляя о том, почему закаты здесь такие оранжево-золотые. Вы можете проехать на машине по набережным Гудзона и Ист-ривер, образующим два гигантских овала, можете осматривать Нью-Йорк из экскурсионных автокаров, пересечь его из конца в конец на городских автобусах, возвратиться в центр его по одному из множества мостов, где вечерами светящиеся гирлянды висячих автострад, вызывая ваше изумление, возносятся в пустоту. И если вы не намерены полностью игнорировать советы путеводителей, можете, воспользовавшись лифтом, подняться на высочайший небоскреб Эмпайр стейт билдинг, «восьмое чудо света», или на смотровую террасу рокфеллеровского центра и попытаться с этой неподвижной точки отгадать загадку специфического строения Города.

На первые дни рекомендую каждому именно этот тривиальный образ действий. Правда, он требует известного самоотречения; когда я в Бостоне впервые поднялась на смотровую площадку одного из высотных зданий, во мне взбунтовалась вся моя натура прирожденной европейки, о которой на родине я даже не подозревала,— панораму создавала не взаимосвязь Кривань и Герлаховки * или Тына и Святого Якуба **, а исключительно взаиморасположение зданий Сэлэд ти компани, Джилет сейфти рейзер компани и Домино шугар рифайнинг компани. Перспектива, открывающаяся со 102-го этажа, позволяет пришельцу постичь структуру города, которая давно уже вырвалась из поля зрения человека, находящегося на тротуаре или на мостовой.

Тот факт, что в такой огромной стране, как США, примерно каждый десятый человек живет в Нью-Йорке, удивляет меня до сих пор в неменьшей степени, чем то, что весь Манхеттен, ядро Нью-Йорка, занимает всего 57 квадратных километров. Оба эти обстоятельства объясняют, почему старый индейский остров, где люди когда-то опознавали местность по природным ориентирам: по воде, по солнцу и по деревьям,— превратился в массив из камня и искусственных материалов,— они вторгаются во все стороны, в высоту и глубину, загромождают всю поверхность земли, разрезают все пространство под землей и под водой, образуя лабиринт, где человек чувствует себя затерянным. Комплекс, возведенный человеческими руками, уже лишен естественных ориентиров, и когда люди двигаются не по своему заученному ежедневному маршруту, им трудно найти нужное направление в хаосе подземных магистралей и жилых

Irena Dubská. Americky Rok. Praha, 1966.

* Линия горизонта *(англ.)*.

* Кривань, Герлаховка — горы в Чехословакии.

** Тын, Святой Якуб — пражские храмы.

массивов, нескончаемые стены которых почти закрывают небо.

Только взгляд на все это с высоты как-то сразу объединяет расчлененное и загроможденное пространство в обозримую форму, позволяет опознать сеть ориентиров нового типа.

Архитектурный облик древних европейских городов, к которым мы на всю жизнь прониклись родственным чувством, потому что сами живем в удивительной стране с многовековой историей, органичен, строго обоснован и неповторим. Эти города с взаимосвязанными частями, выросшие в соответствии с природными условиями и средой, складывались медленно под воздействием насущных жизненных потребностей, формируясь в четко расчлененные комплексы с естественными доминантами рынков, ратуш и храмов, городских валов и крепостей, гаваней и ворот. Очертания их исполнены неповторимого архитектурного своеобразия и обаяния. Американские же города возводились спешно, без внимания к природным особенностям. Их лихорадочная застройка отвечала множеству разнородных, изменчивых и противоречивых требований, часто весьма далеких от насущных потребностей человека,— шла ли речь о финансовом расчете, искусственно вызванном спросе или о всевластии требований, продиктованных логикой механизации (таковы, например, «претензии» автомобиля). До сих пор на основании тех же критериев города сносятся и перестраиваются. Ощущение хаоса, нестройности, бессистемности и бесформенности, отсутствия какой бы то ни было оригинальности при первом знакомстве с ними поражает европейца.

Правда, этот непорядок имеет свое обоснование. Он как бы материализует динамичную историю страны и ее своеобразные традиции. Более того, сейчас он уже содержит зримые элементы чего-то такого, что является не только выражением, но и адекватным стилем этой высокоразвитой технической цивилизации. Как только в соцветиях высотных зданий мы научимся различать отдельные небоскребы, скажется заметное и непрофессиональному глазу различие строений, в которых без всякого складу и ладу использовались мотивы предшествующих стилей, когда, например, готическая башенка прилеплялась к железобетонной конструкции.

Хотя нью-йоркские небоскребы как бы пунктиром намечают скелет города и придают определяющие черты его облику, даже сейчас одни они полностью не представляют Город. Для знакомства со всем остальным не только выгоднее, но, как ни странно, и быстрее ходить пешком.

Здешнее представление о расстояниях существенно отличается от нашего: пролететь или проехать тысячи километров — тут нечто столь же само собой разумеющееся, как и то, что пешком нельзя дойти даже до угла следующего квартала. Я долго буду хранить в памяти беседы с полицейскими, останавливавшими меня в самых оживленных местах только потому, что там никто никогда не ходил пешком.

Нью-Йорк официальных справочников — это, в сущности, небольшой прямоугольник среднего Манхеттена на севере от 34-й улицы до южной оконечности Сентрал-парка и на востоке от Бродвея по Четвертую авеню, обычно именуемую Парк-авеню. Здесь — особенно на Пятой авеню — сосредоточены самые современные (и самые дорогие) магазины, ничем не уступающие парижским, самые роскошные рестораны, бары, кафе и ночные клубы; здесь над всем доминируют Эмпайр стейт билдинг и могучий комплекс рокфеллеровского центра, сорока тысячам служащих которого нет нужды покидать свое здание, даже когда они идут в театр — внутренняя сеть всевозможных служб быта настолько совершенна, что не хватает лишь похоронного бюро. Здесь вы можете в уникальных маленьких галереях Мэдисон-авеню, наряду с разного рода предметами искусства, приобрести оригиналы Брака или в специальных лавочках 42-й улицы обзавестись порнографическими изданиями. Здесь всемирно известный «театральный центр Америки» Бродвей переходит в Таймс-сквер, который называют «The Great White Way»* и который ежевечерне привлекает десятки тысяч посетителей своим широким ассортиментом удовольствий, развлечений и зрелищ, рассчитанных на самые различные уровни и вкусы.

И все же своеобразие Нью-Йорка связано совсем не с этими местами и лишь постепенно начинает раскрываться глазам неутомимого пешехода. В отличие от всех крупнейших европейских городов, Нью-Йорк — международный иммигрантский центр. Вплоть до резкого ограничения въезда в США (примерно в 1930 году) город представлял собой совокупность самостоятельных национальных поселений. Первое поколение иммигрантов, насколько позволяли новые условия, стремилось сохранить прежний образ жизни: люди заселяли районы, уже освоенные земляками, готовили национальные блюда, придерживались традиционных обычаев, создавали земляческие общества и журналы, завязывали знакомства лишь в своем языковом и культурном кругу. Второе поколение уже значительно больше американизировалось, но и оно постоянно пополнялось новыми пришельцами. В те времена главными пунктами «переплавки» служили прежде всего крупные предприятия и транспортные трассы; только к концу 30-х годов сложилась единая атмосфера Города.

Именно с той поры, когда отдельные национальные колонии сами представляли собой маленькие городки, Городу достались в наследство самые своеобразные районы и уголки. Ныне же их зачастую без особых церемоний перестраивают в санитарно-гигиенических целях. На месте своеобразных домиков появились кварталы безликих зданий, где, по словам одной американской писательницы, «школа выглядит как магазин

* Большая белая дорога *(англ.)*.

самообслуживания, а тот чем-то напоминает гараж, гараж же походит на стандартный дом, который в свою очередь не отличишь от церкви». Городу достались в наследство не только уголки китайского квартала, но и поразительно сохранившийся старый еврейский квартал и остатки немецкого, венгерского, чешского округов, польский квартал с народным домом, костелом и все еще действующим медицинским центром, украинские улицы с собственной книжной лавкой, аптекой и церквами (еще и сегодня афиши, приглашающие на бал, печатаются здесь по-украински); осталось несколько типичных итальянских районов с рынками и ларьками, где продается пицца*, с бесчисленными маленькими лавчонками, торгующими овощами, фруктами, «дарами моря», со множеством «неаполитанских ресторанов» и тратторий, внешне не слишком-то отличных от тратторий Рима или Флоренции. Осталось несколько районов, опознаваемых преимущественно по продаваемым здесь товарам; таков, например, район Фултонского рыбного рынка на южной оконечности Манхеттена. где продаются, покупаются, обрабатываются драгоценные камни, или 38-я улица между Пятой и Шестой авеню, или Четвертая авеню между 14-й и 9-й улицами, славящаяся антикварными магазинами. Остались отдельные уникальные магазинчики вроде «Коннуассер Тобэконист», в сумрачные старые помещения которого иностранец осмеливается лишь почтительно заглянуть через стекло, чтобы не нарушить магического обряда ручного приготовления табачных изделий из выставленного для обозрения сырья; остались магазинчики вроде живописной «Ботаники», предлагающие покупателю редкий товар — от гипсовых святых вплоть до средств для ращения волос, не говоря уже о сонниках, лекарственных травах, кадилах и волшебных напитках; или вроде «Пиньята парти» с широким ассортиментом скальпов, черепов, зубов, копий, старинных изделий из кожи и мехов; или «Фредерикс ковбой шоп», полки которого в полном соответствии с духом фирмы могли бы успешно послужить костюмерной и бутафорской для голливудских киноателье. Бродя здесь — я говорю только о Манхеттене, пусть центральной, но все же только одной части Нью-Йорка,— пришелец из-за океана наглядно убеждается в простом историческом факте: родословная Соединенных Штатов начинается в Европе...

И Я — АМЕРИКА

Если для западного европейца представление о Гарлеме связано с ночными клубами, джазом, алкоголем и сексом, то у нас этот район вызывает иные ассоциации: негритянская проблема и вопросы социального и расового равноправия. Прежде всего поражает существование трех Гарлемов: негритянского, испанского и итальянского, причем последний явственно и быстро утрачивает характер замкнутого целого.

Испанский — пуэрториканский — Гарлем сосредоточен между 96-й и 118-й улицами и между Пятой авеню и Парк-авеню И хотя стены его невидимы, их наличие не вызывает сомнения: они существуют как для тех, кто живет за его пределами, так и для тех, кто живет внутри; одним они мешают вступить в этот район, другим — выйти из него.

Пуэрториканская иммиграция началась в первой половине тридцатых годов, самый мощный ее прилив падает на 1942—1955 годы; сейчас на территории США живет 850 000 пуэрториканцев, из них примерно 650 000 непосредственно в Нью-Йорке. Они приходят сюда с бедных перенаселенных островов, не зная английского языка, не имея профессии и достаточного образования, а подчас и вовсе неграмотные; в большинстве своем они занимались ранее земледелием. У них свои привычки и запросы, одежда и поведение, свои представления о жизненных ценностях и свои верования. Они приходят из тропического климата в совсем другие природные условия большими патриархальными семьями, которые под воздействием новых обстоятельств быстро разрушаются и распадаются. Работу им найти нелегко. Заработок их чрезвычайно низок, увольнению они подвергаются в первую очередь, прежде даже, чем негры.

Безработица, недопустимые и недостойные человека санитарные жилищные условия — это еще не все главные проблемы пуэрториканского Гарлема: жизненные невзгоды порождают массовый алкоголизм, наркоманию, проституцию, «ганги». Специалисты утверждают, что к двадцатилетнему возрасту 95% юношей уже испытало на себе какой-либо наркотик, а 40% из них становятся наркоманами. 85% проституток выходит на панель для того, чтобы иметь возможность купить себе ежедневную дозу марихуаны или героина...

Положение в пуэрториканском Гарлеме пытаются улучшить некоторые общественные и благотворительные организации и городской муниципалитет; однако их вмешательство приводит зачастую к неожиданным последствиям. Так же, как в других районах трущоб, наиболее страшные кварталы постепенно сносятся; но их обитатели, как правило. не в состоянии платить за жилье в новых домах и вынуждены заселять и без того уже перенаселенные кварталы или искать прибежище в другом месте. За последнее время некоторые пуэрториканцы начали переселяться в Бронкс, в результате чего жилищная плата в Бронксе возросла, а если принять во внимание распоряжение, ограничивающее в новых домах количество жильцов в одной комнате, то можно сказать, что порочный круг замыкается. Возникает такое положение, при котором обитатели гетто, подавленные чув-

---

* Вид пирога *(итал.)*.

ством безысходности, страшатся оздоровительных мероприятий, направленных на то, чтобы помочь им, и притом не только в силу экономических причин. «Я боюсь,— сказал репортеру 18-летний юноша, живший в квартале, предназначенном в ближайшие недели на снос,— боюсь, потому что всюду, где существует нищета и где живут люди, подобные нам, дома такие же, как и у нас. У этих людей те же проблемы, и вы найдете там те же кошмары. Забудьте про нас, оставьте меня жить в моей дыре, которую я знаю, и не заставляйте перебираться в новую, которая мне еще неведома».

В испанском Гарлеме я посетила удивительную группу молодых людей 20—30-летнего возраста, которые живут поблизости друг от друга в одном из самых старых и мрачных кварталов, носящем название Эль Баррио. Возникновению этой группы положили начало семеро молодых белых, поселившихся здесь в конце 1958 года; сейчас их больше двадцати, у всех, кроме их вожака,— обычные гражданские профессии (служащие, студенты, работники общественных, медицинских и религиозных организаций), и большую часть своего свободного времени они тратят на помощь окрестному населению, разделяя его насущные заботы. Все они умеют или учатся говорить по-испански. Условие членства в группе — найти себе жилье вблизи квартала и выдержать годичный испытательный срок. Они встретили меня весьма радушно в домике, который давно уже должен был пойти на слом и в котором они сами оборудовали несколько помещений. В течение всей второй половины дня и вечера, пока я находилась с ними, сюда заходили пуэрториканцы — маленькие детишки со сломанными игрушками и школьными заданиями, молодые и пожилые люди; заходили поделиться личными проблемами или просто поговорить; и видно было, что они приходят сюда, как к себе домой. Когда я дважды повторила, откуда я, Тони Уорд, вожак группы, попросил меня об одном: чтобы я — где бы мне ни пришлось писать или говорить об их деятельности — обязательно сказала, что свою работу они не считают политической. И ведут ее с убеждением, что Соединенные Штаты способны решить свои внутренние проблемы на ныне существующей общественной основе. Это я в точности и выполняю.

Листовка группы начинается с вопросов: Как вы поступите с семьей, ухаживающей за больным ребенком, подвергая опасности его жизнь, если вы знаете, что подобный способ ухода за больным составляет важный элемент религиозного или культурного уклада данной семьи? Как вы поможете семьям, лишившимся в результате пожара своего единственного жилища? Что вы сделаете, когда вдруг увидите в коридоре наркомана в состоянии беспамятства, а стоящие рядом люди не осмеливаются вызвать медицинскую помощь, опасаясь обвинения в том, будто бы они выдали его полиции?

Группа принципиально не хочет заниматься благотворительностью; члены ее исходят из того, что множество существующих общественных институтов и организаций этого типа не могут добиться успеха. Поэтому члены группы отдают предпочтение непосредственным дружественным контактам с окружающими их людьми и пытаются решать назревающие проблемы всеми доступными им средствами. Они завязывают контакты с владельцами домов и работодателями, с агентами по трудоустройству, с врачами и больницами, со школами, организуют комитеты съемщиков в домах и кварталах, устраивают субботники, загородные лагеря и поездки. Эти молодые люди стремятся отвлечь обитателей квартала от свойственного им настроения обреченности и депрессии. вселить в них уверенность, показать, что они не одиноки и проблемы их разрешимы. Особое внимание они уделяют работе с детьми. По их мнению, школа не принимает никаких мер по отношению к учащимся, не имеющим возможности заниматься дома, что приводит, особенно с третьего класса, к постепенному отставанию. В испанском Гарлеме 80% детей не завершает обязательного школьного обучения. Группа старается бороться с этим явлением: ее члены ведут систематические занятия в кружках подготовки к школе, гуляют с детьми, организуют вечера, концерты, поездки в гости к семьям, живущим вне Гарлема и даже за пределами Нью-Йорка. Когда я представила себе Большой Гарлем и эту горсточку молодых людей — среди них была и милая супружеская пара,— на меня напала тоска...

Пришел Билл. Он заканчивает педагогический факультет, учится русскому языку и уже побывал в Советском Союзе. Он снимает короткометражный фильм об испанском Гарлеме и привел своего оператора, пуэрториканского юношу (как мне сказали, ему девятнадцать лет), три года назад считавшегося безнадежным наркоманом. Юноша был хрупкий, робкий и выглядел значительно моложе своего возраста, но от его взгляда кружилась голова: встретить его глаза — все равно что заглянуть в настоящий кладезь веков. Я спросила, чего он ожидает для себя от окончания работы над фильмом. «Хочу, чтобы большинство людей в этой стране поняло, что Эль Баррио — это Америка,— сказал он медленно, как бы подчеркивая свои слова, на нарочито литературном английском языке.— Чтоб они поняли, что и я — Америка».

Бывают ситуации, когда слова, ставшие пустой громкой фразой, на какой-то миг обретают все первоначальное человеческое содержание; и я, не в состоянии о чем-либо спрашивать, стала отвечать на вопросы о Чехословакии.

В НЕГРИТЯНСКОМ ГЕТТО

Я не видела испанских и португальских районов нищеты, по мнению западных авторов, самых ужасных в Европе. Но я видела кварталы бедноты в Генуе и Неаполе,

в Палермо и других городах Сицилии, и мне кажется, что внешний вид негритянского Гарлема не столь убог. Зато он гораздо безнадежнее: дома замшелые, облупившиеся, бесцветные, зловонные, им нет конца, и из их окружения нет выхода; магазины, в отличие от магазинов остальных частей города, снабжены решетками, а полицейские, в отличие от прочих нью-йоркских полицейских, вооружены карабинами.

Плохо уже то, что перед вами гетто. Я пользуюсь исторически неточным термином (поскольку им пользуются сами американские авторы) для обозначения почти герметической замкнутости этого чужеродного тела в организме города. За первые полдня я встретила в негритянском Гарлеме одну молодую белую супружескую пару — западногерманских туристов — и одну пожилую белую супружескую пару — кажется, они принесли сюда рождественские благотворительные подарки. Если вы зайдете в бар, все испытующе уставятся на вас. Невольно возникает ощущение, будто вас в чем-то подозревают; виной тому — цвет кожи, который здесь не в моде, который явно тут не к месту.

В витринах хмурых домов, жители которых, по свидетельству известного негритянского писателя Джеймса Болдуина, потребляют, в сравнении с белыми, в несколько раз больше масла, чтобы выпрямить волосы, и в несколько раз больше крема, чтобы сделать светлее кожу, торчат белокожие куклы-манекены с крашеными волосами. Тщетное стремление индивидуально приспособиться к миру белых настолько велико, что на него уже обратили внимание и торговля и промышленность: так, группа гарвардских психологов приняла участие в изучении потребительского спроса негритянского населения (исследование заказал и финансировал крупный концерн) и подтвердила, что спрос на некоторые предметы, способные придать человеку внешнюю респектабельность, особенно велик среди цветных. Даже негр, в течение часа толково разъяснявший мне социальную подоплеку расовой проблемы, под конец не преминул гордо перечислить все белые семьи, в которых он когда-либо был принят, и напомнил, что уже его дедушка был «большим человеком», так как на склоне лет получил в одном из южных городов концессию на продажу виски не только неграм, но и белым.

Кучки черных безработных, околачивающихся на перекрестках, вежливо уступают дорогу мчащимся на полной скорости автомобилям с черными преуспевающими владельцами и спутникам расфуфыренных и размалеванных черных девиц, а черный чистильщик ботинок покорно поднимает из грязной лужи полудолларовую монету, которую без всяких извинений швырнул черный клиент, хотя и тот и другой прикованы к Гарлему. Помимо социального расслоения, нужно учесть и то, что Гарлем, как особый мир с особым отношением к жизни, становится благодатной почвой для самых странных вер и поверий, порой препятствующих единству борцов за гражданские права, причем глашатаи этих поверий не сознают, что к этому их вынудил белый хозяин. За последние годы в черном Гарлеме значительное распространение получил ислам; в мечети на Ленокс-авеню, 102, скрещены два развернутых флага: зеленый — со словами Свобода, Справедливость, Равенство, и американский — с надписью: Рабство, Боль, Смерть. Сторонники этого движения, во главе которого стоит некий Элия Мухаммед, молятся, между прочим, так: «Верую, что предложение интеграции — лицемерие и что с этим предложением выступают те, кто пытается обмануть негров, утверждая, будто люди, в течение четырех столетий бывшие врагами свободы, справедливости и равенства, вдруг стали их «друзьями». Верую, что с помощью этого обмана хотят отвлечь негров от понимания ими факта, что пробил исторический час отделения черных от белых в американском народе. Не верю, что Америка сможет когда-нибудь найти работу для миллионов своих безработных и сверх того еще работу для 20 миллионов черных».

Негритянский Гарлем — анахронизм двадцатого столетия. Для любого театрального представления на местный сюжет было бы достаточно отметить контрасты, выставляемые напоказ самой действительностью: почти из каждой улочки открывается вид на чудеса техники нашего века, на такие, как Эмпайр стейт билдинг или четырехкратная скоба Трайборо бридж, здали то и дело возникают, будто в кадрах кинофильма, виды реки или Сентрал-парка — естественные мотивы природы и неестественные условия существования, на которые люди обрекли людей.

Я прочла ряд официальных и полуофициальных докладов, большей частью составленных комиссиями белых и убедительно доказывающих, что жилища негров значительно хуже жилищ белых, хотя платят за них негры дороже, что зарабатывают они в среднем наполовину меньше, что процент безработных среди них несравнимо выше и в ближайшие годы этот процент сильно возрастет, что уровень образования у негров значительно ниже, а доступ к нему для них намного труднее, что медицинское обслуживание негров менее налажено (так, детская смертность в Гарлеме в три раза выше) и т. д. Я ознакомилась с брошюрами известного негритянского лидера Мартина Лютера Кинга, разговаривала со студентами-неграми и с несколькими неграми-активистами движения за гражданские права, встречалась с мулаткой, преподававшей в негритянской вечерней школе. Но никогда я так остро не ощущала положения черных среди белых, как в те два нью-йоркских вечера, когда безработный негр-музыкант Уолтер сопровождал меня в странствии по юго-восточным кварталам бедноты и по негритянским ночным заведениям.

Исключая Гринвич-виллидж, университе-

ИРЕНА ДУБСКАЯ
АМЕРИКАНСКИЙ ГОД

ты и нескольк прогрессивных организаций, даже в Нью-Йорке, этом многонациональном космополитическом городе, этом гигантском «melting pot» (плавильном котле), который стер больше национальных и культурных преград, чем какой-либо другой город на свете, любая самая обыденная ситуация выглядит совершенно иначе, если ваш спутник темнокожий. И это, как ни странно, проявляется не только среди белых, но и в негритянской среде. В ресторанах и барах с вами будут подчеркнуто вежливы и внимательны, относясь к вам с чрезмерной любезностью. Если вы женщина и вас сопровождает негр, кельнер примет заказ только от вас и вам же потом принесет счет. Если же вы прогуливаетесь по улице и к вам приближается полицейский патруль, ваш спутник инстинктивно перейдет на другую сторону; если это повторится, и вы попытаетесь убедить его, что в присутствии вас с ним ничего не может случиться, потому что вы иностранка, вам тут же, без раздумий ответят, что никогда нельзя знать, что может произойти.

История Уолтера проста, если вообще можно назвать простой какую-нибудь человеческую историю. Он из бедной фермерской семьи, проживающей в Джорджии, один из семнадцати детей, большую часть жизни оставался неграмотным. На собственный страх и риск отправился в Нью-Йорк и долгое время кормился поденной работой; затем на него обратило внимание руководство негритянской общины и назначило ему стипендию, чтобы он мог окончить музыкальную школу. Там он научился играть на трубе, читать и писать. Потом пришли годы удачи: он играл в джазе, зарабатывал, мог позволить себе то, что его близким в Джорджии и не снилось. Начал пить, менять девушек, манкировать работой — у него было ощущение, что мир принадлежит ему и он все может. Так он лишился места. А протрезвев, снова очутился в положении обыкновенного негра в самой богатой стране мира. Сейчас ему сорок, и единственная цель его жизни — вернуться в джаз. Он прочел мне несколько страстных лекций об истории и разновидностях джаза — эрудицию его в этой области я не могу оценить, во всяком случае, он был от природы наделен поэтическим чувством, почти невероятным при столь абсолютном недостатке формального образования, однако его объяснения помогли мне ощутить колорит отдельных мест и уголков города гораздо ярче, чем рассказы многих нью-йоркских старожилов...

ПРИРОДА, ИСТОРИЯ И СЕНТРАЛ-ПАРК

Современная цивилизация в Соединенных Штатах в гехническом отношении стоит на очень высоком уровне, во многом — значительно выше, чем наша; с этим связана немалая доля противоречий, от которых она страдает, и, если можно так выразиться, «перетехнизация» нередко приводит не только к непрактичности, но иной раз представляет собой серьезную угрозу естественным основам жизни. Автомашина — прекрасная, необходимая вещь в такой обширной стране; но, помимо своеобразного массового культа этого средства передвижения, здесь с помощью автомашины сумели создать такие транспортные затруднения, что в центрах больших городов вам почти всюду быстрее и удобнее добраться пешком. Искусственный климат — остроумное решение проблемы как при колебаниях температуры, влажности и давления сохранить наиболее подходящие для здоровья человека условия; но если в благословенные дни ранней осени я должна наглухо закупориться в помещении, где под чуть приметное равномерное гудение для меня приготовляют соответствующую атмосферу, мне это представляется не только неэкономичным — тут же я начинаю размышлять о непреходящем значении древнегреческих первооснов мира, и слабый запах опавшей листвы в лужах за окном становится для меня потерянным раем. Меня почему-то нисколько не воодушевляет, что «в то время как Джейн обычной зубной щеткой тщательно вычистит себе зубы за три минуты, Стив с помощью «Броксидента» — автоматической электрической зубной щетки — сделает это за 45 секунд». Да и сама операция отнюдь не кажется мне ни приятнее, ни удобнее.

Я не сомневаюсь, что переход к чековому обращению был исторически необходим и полезен; когда я отправляюсь в университетский кооператив купить себе две пары чулок, мне, разумеется, приятнее сделать это без денег, но я не вижу особой выгоды в том, что после этого кто-то должен направить мне счет, кто-то — вручить его мне дома, а я должна куда-то послать чек, который кто-то кому-то должен вручить, чтобы кто-то куда-то отправился с ним еще к кому-то, кто должен оплатить его с моего личного счета.

Чрезмерная технизация американской жизни — одна из причин того, что тут (уже довольно давно) начала ощущаться тоска по прошлому и не так давно — тоска по природе и всему естественному. Впрочем, общение с природой в этой части континента становится проблемой. Уже Генри Миллер некогда отметил, что его страна прекрасна и вместе с тем внушает ужас; современные американские архитекторы утверждают, что природа тут быстро и неотвратимо перестает существовать. В первые недели пребывания на северо-востоке США я тосковала по обыкновенной южночешской дороге, от которой отходят в стороны полевые тропки, окаймленные кустами диких роз и убегающие к горизонту с белыми облаками, по обсаженным липами дорогам, разбегающимся от моего городка во все стороны света, дорогам, где мамаши прогуливают в колясках детишек, куда выходят поболтать соседи, а под вечер, взявшись за руки, гуляют влюбленные, желая подальше уйти от города. Американская дорога принадлежит исключительно машинам;

на сколько-нибудь значительной автостраде вы не можете не только остановить автомобиль, но даже замедлить его ход, а если вы не знаете точно своего маршрута — вы пропали: взглянуть на карту вам некогда, спросить некого. В интересах собственной безопасности и безостановочности движения вам нельзя выйти из машины, даже когда ваш автомобиль сломался; вы должны размахивать белым платком и терпеливо ждать, пока вас не заметит и не возьмет на буксир разъездная бригада автослужбы. Понятно, что американские шоссе не знают автостопа.

Вы можете проехать по такой автостраде сотни километров, но так и не полюбуетесь природой: ее заслонят от вас непрерывные шпалеры реклам, обладающих удивительным свойством превращать в копию Бродвея даже такие участки дороги, где до самого горизонта вы не увидите ни единого жилища. Когда вам посчастливится добраться до мотеля, где вы не только можете выйти из машины, но обязаны это сделать, так как вас всеми средствами к этому побуждают и призывают, не радуйтесь, увидев вокруг чуть ли не первозданный лес: в одну сторону идти нельзя — там находится стоянка машин, другая — огорожена, поскольку эта территория относится к дачного типа домикам для приезжих, третья огорожена потому, что это «частная собственность», а четвертая просто так огорожена. Таким образом, к выводу американских социологов о том, что непосредственные встречи между людьми стремительно сокращаются в результате гегемонии автомашин и связей, осуществляющихся при помощи экранов телевизоров, громкоговорителей, телефонов и магнитофонов, уместно будет добавить, что так же быстро утрачивается и возможность ощутить под ногами мох или дотронуться до коры дерева.

Америка смутно чувствует, что ее машинизация и спешка, чрезмерная практичность, господство целесообразности и мертвых предметов — явление нездоровое, что она забежала куда-то далеко вперед, где чувствует себя скованно. Поэтому она и тоскует по тишине и гармонии былых времен, когда не было еще так нарушено равновесие человеческого существования и люди могли жить в единении со всем тем, что их окружало. Стареющий Генри Форд, заставлявший раскапывать шоссе и снова превращать их в плохие дороги, какими они были в пору его молодости, когда по ним ездили на лошадях и в колясках,— уже довольно давно выразительно облек эту тенденцию в вещественную форму. И именно потому, что Америке не хватает собственного прошлого, она в самых разных проявлениях обращается к прошлому других стран. Американские искусственные привидения, которые покупаются для того, чтобы придать подлинный вид средневековым замкам, приобретенным в Англии и возведенным на американской почве, не всегда были лишь претенциозной прихотью снобов-миллионеров, в равной мере как и американская погоня за европейскими художественными шедеврами всех времен, которые после первой мировой войны в немалом количестве перекочевали за океан, не всегда преследовала чисто коммерческие цели.

Тоска по тишине и покою, тоска по естественному и давно минувшему тянет нью-йоркцев в любую погоду и в любое время дня или года в Сентрал-парк. Трудно поверить, что в этой точке, бесконечно отдаленной от нью-йоркских небоскребов, зеленеет настоящая трава, растут настоящие деревья и по ним прыгают живые серые белочки, а машины, да-да, машины имеют право двигаться только по особым проездным трассам. Сентрал-парк — это убежище от всего того, что именуется Городом, это бегство к чему-то, что, вероятно, когда-то существовало; и потому вполне естественно, что в Сентрал-парке вы можете нанять старинный кабриолет, в который запряжена настоящая лошадь, и прокатиться по аллее с сидящим на козлах стилизованным кучером в цилиндре.

Но — внимание!—даже убежище Сентрал-парка не вполне надежно: на новейшем катке Вуллмэн мемориел в юго-восточном углу парка катаются на коньках и катаются по законам Города: безликое всевидящее око микрофона неутомимо следит за каждым движением каждого конькобежца. Вы можете ехать только в определенном направлении и в определенном темпе, не имеете права останавливаться, особенно возле бортика, а потом по приказу обязаны остановиться все, и тот черноволосый парень в коричневой куртке, который ослушался, моментально будет удален со льда.

Какое счастье, что мы — в привинченных к ботинкам детских коньках — играли в пятнашки на замерзшем панском пруду задолго до того, как судьба могла одарить нас удачей родиться в современном Городе!

КАКОЕ ВАМ, СОБСТВЕННО, ДО ЭТОГО ДЕЛО?

Меня поразило обширное газетное сообщение о результатах обследования более чем двух тысяч отелей и мотелей, целью которого было выяснение проблемы дискриминации клиентов еврейского происхождения. В сообщении с удовлетворением констатировался значительный прогресс: если в 1957 году евреев отказывались принимать 22,9% обследованных заведений, то в прошлом году — только 9,8%. Организаторы обследования связывали эти изменения с проведением воспитательных кампаний, принятием некоторых государственных и местных законов и, наконец, с простой экономической заинтересованностью. Я тщетно припоминала, в какой из европейских стран и на основании каких неписаных законов в 1963 году каждое десятое заведение подвергало бы дискриминации евреев.

ИРЕНА ДУБСКАЯ
АМЕРИКАНСКИЙ ГОД

Один из известных американских журналистов либерального толка Вэнс Пакард в своей книжке «The Status Seekers»* целую главу посвятил проблеме положения евреев в американском обществе. Ни для кого не тайна, что среди белых евреи занимают здесь первое место в иерархии наименее желательных элементов и что в ряде областей общественной жизни им по-прежнему ставятся невидимые, но весьма реальные преграды. Реплика хозяйки гостиницы, предпосланная Пакардом главе в качестве эпиграфа: «Вы знаете Левинсонов? Мы их очень любим. Очаровательные люди, но евреи...» — полностью совпадает с выводами специалистов-социологов. Корнелл, занимавшийся изучением проблем общественной дискриминации в 248 американских городах, установил, например, что в большинстве средних городов евреи подвергались дискриминации по всем трем тестам «общественной приемлемости», упомянутым социологами (речь шла о приеме в городской клуб, о возможности жить в привилегированном квартале и о членстве в Юниор Лиг), в 49 из 50 городов этого типа дискриминация проявлялась по крайней мере на основе одного из трех этих критериев. Некоторые специалисты считают, что общественное положение евреев в США в известном смысле сложнее, чем положение негров: общаясь с неевреями — представителями разных социальных слоев,— они никогда не могут устранить напряженности, каких бы норм поведения они ни придерживались.

В «Ratner's», старинном кабачке, «открытом ежедневно круглосуточно, кроме еврейских праздников», ко мне подсел молодой мужчина с выразительными приметами своей национальности. На лацкане пиджака у него был значок Комитета борьбы за гражданские права. Ральф был одним из девяти детей в семье, жил с родителями в еврейском квартале Нью-Йорка, работал корректором и, поскольку всю жизнь мечтал об образовании, вот уже второй год посещал социал-демократическую вечернюю школу. Большую часть свободного времени он отдавал (пока еще в США довольно редкая ориентация) добровольной деятельности в поддержку комитета и участвовал в знаменитом прошлогоднем походе** в Вашингтон.

Мы долго и откровенно говорили о расовых проблемах в современных Соединенных Штатах; он подтверждал, что проблемы трудоустройства или продвижения по работе не касаются евреев, а если и касаются, то в незначительной степени. Но проблемы жилья и общественного положения очень ощутимы даже в Нью-Йорке. Он дельно анализировал фактически неравные условия воспитания и образования. Я и ранее встречала нескольких темнокожих и евреев—студентов, вынужденных сначала заработать деньги на полный курс образования. Следует помнить, что все виды образования в США необыкновенно дороги: если обучение в частных средних школах, большинство которых дают значительно более глубокие знания, чем государственные, стоит 800—900 долларов, то в университетах плата достигает почти астрономических цифр. Так, ежегодная плата за обучение в Массачусетсском технологическом институте составляет 1700 долларов; стоимость одного учебного года для студента вместе с расходами на общежитие, питание, необходимые учебные пособия, а также на удовлетворение хотя бы минимальных личных потребностей, по сведениям официальной брошюры, равна не менее 3500—4000 долларов, то есть 16 000 долларов за весь курс при кратчайшем, четырехгодичном, обучении.

И все же в конце концов мы столкнулись с тем, с чем сталкиваешься в разговорах каждый раз, даже — и это особенно трудно понять — когда говоришь с людьми, подвергающимися дискриминации.

Когда уже никак нельзя было избежать вопроса «откуда я приехала», мой собеседник, порядком испугавшись, счел нужным заверить меня в том, что я слышала уже неоднократно: что США — страна демократическая, что она всегда будет придерживаться демократических традиций и в соответствии с ними непременно разрешит нынешние свои проблемы; что сам он сделает все для ликвидации гражданской дискриминации, но не желает иметь ничего общего с какими-либо программами коренного изменения общественного строя, чем, впрочем, должны заниматься политики.

За свою жизнь я не отвечала на такое множество бессмысленных вопросов о положении в Чехословакии (задаваемых обычно без всякого злого умысла), как за несколько месяцев моего пребывания в США: как мы ладим с Советской Армией, каковы размеры пайков по карточкам, знакомы ли мы с телевидением, разрешено ли у нас исполнять Моцарта, живет ли со мной мой ребенок... Я уже не говорю о неосведомленности, какая была свойственна многим моим собеседникам, относительно географического местонахождения Чехословакии. С некоторым преувеличением можно было бы сказать, что в масштабах обыденной жизни для преобладающей массы населения наш гражданин подчас действует пропагандистски уже тем, что он мало чем отличается от окружающих. Такое восприятие свойственно, разумеется, не интеллигенции, а средним слоям и, к сожалению, некоторой части подвергающихся дискриминации групп трудящихся, которые, казалось бы, должны понимать нас лучше.

Знания и представления нашего рядового гражданина о жизни в США, его осведомленность об американском образе жизни неизмеримо более точны, чем представления рядового американца о нас. В конце концов такое положение констатировал в своей реалистической, вызвавшей живую дискуссию речи и сенатор Фулбрайт, отметив, что «в послевоенный период одной из «очевидных истин» стало следующее убеждение: точно так же, как президент нахо-

---

* «Ищущие уверенности» *(англ.)*.

** Имеется в виду поход борцов за гражданские права в 1963 г.

дится в Белом доме, а папа в Риме, неизменное местопребывание дьявола — в Москве».

За последние десять лет Соединенные Штаты непрерывно реформируют школу: после успешных полетов первых советских спутников в стране было введено более основательное и сисгематическое изучение естественно-научных дисциплин, под влиянием растущего международного общения появилась настоятельная потребность в изучении иностранных языков, сейчас ведутся споры о необходимости гуманитарной ориентации воспитания. Все это, разумеется, хорошо. Однако при высоких формальных требованиях к учащимся (студент пользуется здесь ченамного большей академической свободой, чем теперь у нас, а в Гарвардском университеге, куда принимается строго ограниченное количество желающих, после первого года обучения отсев составляет 40% слушателей) в США наблюдаются поразительные внутренние диспропорции. Я видела несколько весьма разительно отличающихся друг от друга школ; в Берлингтоне я посетила выстроенную в прошлом году среднюю школу, современную, полную воздуха, светлую, с таким великолепным оборудованием отдельных кабинетов и мастерских, что всему этому можно было только позавидовать. Фонетическую лабораторию, о которой у нас писали как о новинке зарубежной выставки, здесь уже целый год используют для обучения немецкому и французскому языкам. Но когда я случайно открыла учебник географии (учебники здесь, как и все прочее, не идентичны; в каждом штате и городе и чуть ли не в каждой школе свои учебники), то словно очутилась в другом столетии. Там можно было найти сведения и о Советском Союзе, но какие? Под картинкой, изображавшей оборванных мужиков и невольно напоминавшей нашу знаменитую довоенную серию «Это твои братья», стояла подпись «Улица в Ленинграде», а относительно советской системы образования было сказано, что хотя там действительно все дети учатся в школе бесплатно, но государство вменяет учителям в обязанность учить их лжи и обману. На этом фоне личная пропаганда советской науки и системы образования, проводившаяся покойным Кеннеди, выглядит как своего рода революция.

Своеобразная система взглядов в практической жизни рядового современного американца тесно связана с весьма отчетливой доминантой: с самым глубоким в истории человечества уходом в личную жизнь. Это обстоятельство затрудняет, раздробляет и ослабляет прогрессивные устремления либеральной интеллигенции, не имеющей в обществе достаточного веса и авторитета. Большинство американцев до сих пор еще по-настоящему не интересуется тем, что происходит у нас, или во Вьетнаме, или в Конго, потому что их по-настоящему не интересует даже то, что происходит в Алабаме или Гарлеме, в их собственном городе и даже в соседней квартире. Безразличие ко всему, что выходит за рамки личных интересов или интересов семьи, сказывается везде и во всем Убийство Кеннеди, поразившее весь мир как почти невероятное для развитой цивилизованной страны и достойное всяческого сожаления событие, обратило в шоковое состояние и американцев, но, как оказалось, потому только, что лишний раз убеждало: даже самое высокое официальное лицо в стране подвержено действию статистических законов. И действительно, убийства в США, как и грабежи, нападения, кражи и другие акты насилия, в большом количестве происходят ежедневно, и хотя вся печать ежедневно дает о них подробную информацию, они никого не волнуют, если только не затрагивают лично.

Любопытство и жажда сенсации здесь существенно отличаются от подлинного человеческого интереса и участия. Недавно в нью-йоркском районе Куинз тремя ножевыми ранами была убита 28-летняя девушка. Злодей последовательно в течение 25 минут наносил ей удары на более чем тридцатиметровом участке пути. Сначала девушка звала на помощь и пыталась спастись, но после того как ей было нанесено второе ранение, она могла только ползти. Между вторым и последним, смертельным, ударом ножа прошло 15 минут. За убийством наблюдало 38 уважаемых граждан из «семейных коттеджей стоимостью от 25 000 до 60 000 долларов», как было сказано в полицейском донесении. Тридцать семь, включая людей, живших вместе с жертвой, не вмешалось вообще, тридцать восьмой, предварительно посоветовавшись по телефону с соседом, вызвал полицию, когда девушка была уже мертва. На вопрос следователя, почему они только смотрели, свидетели отвечали: «Я был тогда очень утомлен и снова лег в постель». «Мы боялись», «Я не хотела, чтобы муж попал в какую-нибудь историю».

Печать лишь детально и пространно информировала читателя об этом событии...

В первые дни своего пребывания в США, придя в библиотеку, я не смогла скрыть удивления, когда прочла только что опубликованную главу из воспоминаний Эйзенхауэра, в которой шла речь о судьбе супругов Розенбергов. Из этой главы явствовало, что обвинительный приговор был обоснован весьма слабо, но что, несмотря на это, бывший президент категорически защищал свое решение отклонить просьбу о помиловании Этель Розенберг, ссылаясь на то, что в противном случае Советский Союз специализировался бы на засылке в США женщин-шпионок и все советские агенты, так же как она, отказывались бы признать себя виновными. Воспоминания были написаны в минувшем году, публиковались в ежедневной прессе с продолжением, и никто в ноябре 1963 года не замечал в этом ничего странного. «Почему это не дает вам покоя? — спросил мой американский коллега,

сидевший рядом.— Вы ее знали? Или, может быть, вы еврейка?» А когда на оба вопроса я ответила отрицательно, он совершенно искренне удивился: «Так скажите, ради бога, какое вам, собственно, до этого дело?..»

НА БАУЭРИ

Французская писательница Симона де Бовуар и американский писатель Генри Миллер единодушно утверждают, что американская нищета страшнее европейской. Симона де Бовуар видит суть различия в одиночестве, отверженности, заброшенности и бездомности американских бедняков. Все это в первую очередь относится к Бауэри.

Минувшие годы столь существенно нарушили и ослабили в целом наше понимание общественной реальности, что нынешняя действительность зачастую оборачивается оптическим обманом. Ряд лет мы так старательно изображали капиталистическую действительность только как синоним нищеты, что сейчас массовый читатель требует объективных свидетельств. Только тогда он поверит, что бедняцкие кварталы на юге Италии действительно самое ужасное, что существует на свете. Мы так часто ограничивали проблематику Соединенных Штатов преимущественно вопросами безработицы, что теперь, когда у нас появилась возможность знакомиться с другими важными сторонами американской действительности, положение в США порой рисуется нам таким образом, будто проблемы безработицы там вообще уже не существует. Поэтому мне кажется уместным напомнить, что Бауэри— это, разумеется, не вся Америка и даже не Нью-Йорк, как не представляет собой Нью-Йорка и рокфеллеровский центр, и что, более того, Бауэри далеко не исчерпывает проблемы нью-йоркской нищеты.

Генри Миллер некогда определил ненормальность социального развития Соединенных Штатов словами: «Мы — самый производительный народ на свете, но, несмотря на это, мы не способны надлежащим образом прокормить, одеть и обеспечить жильем более трети своего населения». Экономисты, социологи и представители разных политических групп несколько расходятся во мнениях, насколько велик этот процент сегодня. Но будь это одна четвертая или одна пятая всего населения, остается непреложным фактом, что в государстве с необыкновенно высоким жизненным уровнем немалая часть граждан влачит жалкое существование, имея доход значительно ниже, чем предусматривается официальным прожиточным минимумом, и что достаточно этого обстоятельства, чтобы известный писатель с негодованием отвернулся от господствующих в его стране порядков. Нью-Йорк вобрал в себя высокий процент бедноты: на территории Города живет не менее 360 000 лиц, полностью зависящих от социального обеспечения. Бауэри отличается от остальных американских средоточий нищеты: те, кто тут проживает, относятся к самым различным социальным слоям с самым различным уровнем образования...

Название это носит южная часть Третьей авеню — от 4-й улицы до Чэтхем-сквер. Даже в лучшем путеводителе вы почти не найдете никаких упоминаний о Бауэри: экскурсионные автокары проезжают этот район рано утром, когда серая, облупившаяся, не слишком оживленная и не слишком интересная улица совсем не похожа на ту, что стала широко известна в Европе по фильму Рогозина «На Бауэри». Только в сумерках Бауэри обретает свой подлинный вид, становится скопищем пожилых безработных мужчин, которые время от времени находят какую-нибудь черную работу, но в основном из года в год живут за счет пособий и подаяний, в одиночестве, замкнувшись в себе, часто уже неспособные к работе и не желающие работать, даже если представляется такая возможность, нередко пропивающие пособие или милостыню, едва получив их, в привычной уверенности, что все равно смогут переспать в какой-нибудь ночлежке, а утром все равно получат от какой-нибудь благотворительной миссии тарелку супа.

Только вечером можно увидеть, что Бауэри, собственно, представляет необычное чередование двух основных элементов: харчевен, кабачков, таверн, кафе-автоматов, с одной стороны, и ночлежек, приютов, «гостиниц для мужчин», помещений благотворительных организаций и сети социального обеспечения — с другой. Только вечером окрестные улочки и сама Бауэри извергают на тротуар из своих нор и логовищ сотни людей, извращенных, огрубевших, исковерканных и помятых, искалеченных непосильным трудом, страданиями и болезнями, а также и праздностью, пьянством и драками. Ночная Бауэри темнее остального Города. Здесь темнее убогие забегаловки, темнее углы и закоулки, где опираются о стены и ползут на четвереньках, корчатся и валяются, мочатся и выворачивают наизнанку внутренности, икают и бессмысленно бормочут алкоголики... Здесь темнее лохмотья, прикрывающие обезображенные и закоченевшие тела, и темнее человеческие лица; но они все же не настолько темны, чтобы скрыть от света самое страшное: одно и то же, отличающееся лишь оттенками выражение абсолютной тупости и пустоты на лицах, абсолютного безразличия и равнодушия, абсолютной неподвижности и механической привычки к чередованию простейших жизненных отправлений. Переходя все поспешнее из кабачка в кабачок, где нет молодых лиц, нет женщин, нет посетителей иного типа, повсюду в хмуром полумраке мы находим одно и то же: кричащее современное Ecce homo * Города.

Просыпается Бауэри лишь около полудня и в свете слабого зимнего солнца выглядит гораздо веселее и добрее: кучки бедолаг, еще благодушных и сонных, стоят перед своими прибежищами, переступая с ноги на ногу, потирая руки, излучая тепло; кажет-

* Се человек (*лат.*).

ся, для такой жизни на последних ступенях деградации сон — единственная наиболее человечная форма бытия. Hotels for men выбрасывают из своих недр все новые и новые группки людей, они толпятся, толкутся на одном месте, иногда даже улыбаются, а заметив мое появление, бросаются ко мне, уговаривая меня купить у них апельсины, полученные на завтрак в католической миссии (в лавке они стоят вдвое дороже). Таверны уже открыты, и жизнь, знающая лишь данную минуту, потому что прошлое давно развеялось и забыто, а будущего не существует и никто его не ждет,— такая жизнь имеет только одну настоятельную потребность: по возможности заглушить эту минуту, задавить ее, притушить, сократить, избавиться от сознания, что она есть. Даже человеку, почти утратившему человеческий облик, не удается жить только настоящим.

В районе Бауэри есть единственное варьете, третьеразрядное и низкопробное, но чрезвычайно популярное среди местных обитателей. Называется оно «Сэмиз фолиз»* — обещает «песенки и атмосферу 90-х годов прошлого века». Перед входом в него вам напоминают, что револьверы сдаются на хранение внутри. Программа «Сэмиз фолиз» — слабое подражание европейскому варьете голувековой давности в столь убогом исполнении, что возбуждает чисто социологический интерес. В форме полицейского 90-х годов по сцене бегает самый крошечный карлик, какого мне приходилось видеть. Певицам не менее пятидесяти, а то и шестидесяти лет. Они все время откуда-то и куда-то семенят, не зная, где приткнуться; очевидно, у них нет денег даже на то, чтобы прикрыть фальшивыми буклями свои порядком поредевшие макушки. По женской линии программу спасает рыхлая блондинка лет тридцати, которая подает себя в платье из цветного газа и может похвастать вполне приличным нижним бельем, купленным в дешевой распродаже. Есть тут еще старичок в шотландской юбочке, почти совсем беззубый. Ходит он только с палочкой и без конца тщетно подтягивает гольфы, которые спадают с его тощих старческих ног. С отсутствующими ввалившимися глазами, дребезжащим голосом он едва внятно выводит подделки под шотландские народные песни. Ковыляя мимо нашего стола, старик явно напрашивался на стаканчик. Я не отказала бедняге, а потом спросила, сколько ему лет. «75»,— ответил он и добавил, что совершенно одинок и что это для него единственная возможность заработка. Прежде чем я успела спросить, сколько ему платят, старика увел дежурный полицейский, чтобы тот не приставал к посетителям.

Пока человек, обитающий в Бауэри, еще не совсем отупел, он ходит в «Сэмиз фолиз». Заработав кое-какую мелочишку, он усаживается возле стойки и заказывает себе нечто вроде местной ржаной водки; а если карман его пуст — остается стоять перед входом и, прижав нос к стеклу, смотрит программу.

Потом происходит невероятное: на сцене появляется матрона с резкими провалами вместо щек, в темно-коричневых шелках с воланами, пропахшими нафталином,— возможно, это еще ее свадебное платье, а может, она носила в нем крестить своих детей или внучат — в огромной, украшенной страусовым пером шляпе на полуголой голове и срывающимся голосом с невероятной сентиментальностью начинает петь «Саннибой».

И обитатель Бауэри, это полуживотное, плачет за окном.

Затем под нескончаемые аплодисменты выходит смазливый молодчик в ковбойском наряде, явно гвоздь программы, и в абсолютной тишине исполняет в джазовом ритме на джипси-гитаре нашу чешскую мелодию «У нас обвалилась печь», очевидно даже не догадываясь о том удивительном пути, каким — в наш век широкого слияния национальных культурных традиций — она до него дошла. Ему приходится повторить. Потом еще раз.

А обитатель Бауэри, этот никому не нужный отщепенец, выброшенный Городом, плачет за окном и затуманивает мокрым носом прозрачное стекло.

Может быть, сквозь еще не совсем затвердевшую кору прорывается наружу тоска по загубленной жизни, тоска, которую он уже совсем разучился ощущать; может быть, ему на миг померещится что-то приятное и хорошее или хотя бы кажущееся таким; может, что-то напомнит ему легенду о давно потерянном рае родного дома, давно им забытого, но ставшего для него раем уже просто потому, что он давно утрачен.

Кто знает. Может, он плачет только оттого, что пьян и глаза у него на мокром месте.

ВИТРИНА АМЕРИКАНСКОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Скэрсдейл — самый состоятельный, благоустроенный и до сих пор модный пригород Нью-Йорка. Если понятие «пригород» перевести на наш язык, то это не район в Городе, рядом с Городом или на его окраине, а один из многочисленных населенных пунктов, расположенных в десятках километров от Города и относящихся к нему лишь по той причине, что отцы семейств ездят оттуда в Город на работу. В местных условиях это распространенное явление, свидетельствующее о превращении метрополиса в мегаполис.

Вступая в Скэрсдейл, мы должны коснуться вопроса о том, что представляют собой американские высшие средние слои, а частично низшие средние слои и низшая прослойка высших слоев, если желаем

---

* «Причуды Сэми» *(англ.)*.

оставаться в рамках здешней социологической классификации. Причем делаем мы это с единственной целью, чтобы ненароком не создалось впечатление, будто все те три четверти или четыре пятых городского населения, уровень жизни которых выше прожиточного минимума, обитают в пригородах.

В пригородах живет сейчас примерно 40 миллионов человек, то есть около четверти неземледельческого населения США, и между разными пригородами есть существенные социальные различия. Прежде всего пригороды — место жительства «белых воротничков» разного типа; людей физического труда, особенно в наиболее благоустроенных поселениях, мало. Жить в пригороде — дело весьма накладное, даже по сравнению с обычной квартирной платой, которая здесь в несколько раз выше, чем у нас. Дорого это не столько из-за транспортных расходов, сколько прежде всего из-за цен земельных участков и зданий, а также из-за налогов. Вообще самые дешевые домики, которые я видела в местах с не слишком высоким общественным престижем, стоили 20 000—30 000 долларов и за них платилось 60—70 долларов налога в месяц. Импозантные виллы, расположенные в «респектабельных и популярных районах», где я тоже бывала, стоили от 100 000 до 150 000 долларов; о размере налогов я там уже не спрашивала. О следующей категории я знаю уже только по фотографиям: стоимость этих зданий колеблется между 150 000 и 250 000 долларов, и называются они резиденциями колониального, староанглийского или старофранцузского стиля — на юге часто с элементами ранчо,— и живут в них прежде всего главные деятели крупных концернов и корпораций. На основе проспекта могу добавить, что в такой резиденции в «Президентс роу», помимо прочего, имеется: Ее и Его ванная, цветной телевизор в потолке спальни, шторы, закрывающиеся нажатием кнопки, фонтаны в залах, искусственный климат в домиках для собак. Все, что дороже этого, к сожалению, недостижимо для ознакомления...

Скэрсдейл мало чем отличается от других фешенебельных пригородов. В нем есть центр с собственными «супермаркетами», церквами, библиотекой, спортивными площадками, школами; виллы, окруженные большими садами, красивые парки, где растут старые развесистые деревья и зеленеют великолепные газоны, внутреннее шоссе, проложенное в виде круга или по касательной, чтобы транзитное движение не проходило через поселок. В виллах вместительные гаражи, архитектурно оформленные и украшенные главные входы. Виллы превосходно технически оборудованы. Об американских кухнях у нас писалось достаточно, и о том, как с помощью отличных выдумок они служат человеку, и о том, что иногда приборы и механизмы изменяют своему назначению и только усложняют человеческую жизнь. Поэтому для нас, вероятно, будет интереснее спуститься в подвал такого здания, всегда и вполне определенно производящий впечатление фабрики. Здесь размещена батарея устройств, внушающих уважение своими размерами, из которых мы еще способны узнать стиральную машину и сушилку, установку центрального отопления, действующую обычно на жидком топливе, такую же установку для подогрева воды, климатизационное устройство; все же остальное — по крайней мере на мой взгляд — только выдает себя за что-то важное. Другая половина подвала — оборудованная по последнему слову техники мастерская, большей частью с электрическими инструментами, которая позволяет производить необходимый ремонт дома, поскольку ручной труд здесь повсеместно так дорог и редок, что, как правило, во всем приходится обходиться самому.

Вымерли тут, например, как особая профессия, маляры, так что каждая даже семидесятилетняя хозяйка виллы без больших затруднений самостоятельно освежает стены своей квартиры.

Статистические данные о том, сколько времени затрачивается здесь на домашний ремонт и благоустройство, отсутствуют; некоторые социологи считают, что оно приближается к средней продолжительности рабочей недели.

Пригород — одно из самых сложных явлений современной американской жизни. Я говорила о нем со многими зарубежными студентами — в Кембридже наибольшее в Соединенных Штатах количество иностранных студентов, целых 18%, главным образом из слаборазвитых стран. Проблема американского образа жизни в их среде дискутируется чаще всех прочих. Отношение к этому вопросу даже при различных или противоположных политических позициях удивительно сходное. Когда человек заходит в какую-нибудь красивую виллу, видит детей в саду, внемлет тишине, когда садится в просторных комнатах у камина и через огромные окна любуется птицами на старых ветвях или силуэтами кораблей на Атлантическом океане, первая импульсивная и неизменно повторяющаяся реакция— желание пожить здесь. Когда через три-четыре часа он уходит, то в подавляющем большинстве случаев в нем рождается твердое убеждение: только не жить так.

Современные американские загородные поселения представляются мне весьма точным отражением господствующего здесь подчеркнутого ухода в частную жизнь, крайней общественной атомизированности, засилья мещанства. Внешне это привносит в человеческие отношения массу формальностей, поверхностности и пустоты, массу лицемерия и позерства, понуждает к поступкам и высказываниям, которые, по общепринятому мнению, будут восприниматься другими как желательные. Это проглядывает во всем, вызывая прежде всего скуку, а порой граничит со смешным: в каждой вилле вы найдете по крайней мере одну собаку и по крайней мере одну кошку. Не потому, что здесь все любят собак. Собака — неотъем-

лемая часть виллы, так же как вилла — неотъемлемая часть вас, собака — признак определенного общественного положения: в Америке собаку кормят специальными витаминизированными консервами, и это обходится дороже, чем кормить человека. В первые дни я однажды по неведению вызвала панику, когда, убирая со стола, дала французскому пуделю остатки мяса — он давно потребляет пищу, изготовленную исключительно на фабрике, что позволяет ему сохранять соответствующие физические пропорции, а съев что-нибудь другое, заболеет катаром желудка. Более существенны те масштабы, которые приобретает поверхностное общение людей, собирающихся для игры в бридж или ради других совместных развлечений. Моя американская приятельница, покинувшая родину из-за этих распространенных черт повседневного быта, рассказывала мне, что ее мать, в течение многих лет ведущая такой образ жизни, встречаясь в основном с одними и теми же людьми по 20—30 часов в неделю, звонила ей по телефону на другой конец материка, когда понадобилось принять серьезное жизненное решение, ибо ежедневные компаньоны на деле были совершенно чужими для нее людьми и разговор с ними никогда не касался насущных проблем.

Но, как мне кажется, наибольшее значение имеет то, что концентрация всей жизни в сфере частного существования и семьи превращает все остальные человеческие отношения в средство, результат расчета.

Думается, американские демографы и социологи, застигнутые буквально врасплох началом «baby-boom», но все еще пытающиеся найти для него удовлетворительное объяснение, оглядываясь назад, напрасно упускают из виду простое давление внутренней душевной неуверенности, ибо большое количество детей создает частью истинное, частью иллюзорное ощущение более прочной и надежной опоры в жизни.

Тот образ жизни, который ведут люди в пригородах, раскрыл нескольким вдумчивым американским социологам секрет, который в Европе все еще не раскрыт: секрет реального положения американской женщины. В период между двумя мировыми войнами степень эмансипации слабого пола в Соединенных Штатах была, вероятно, выше, чем в Европе. Отзвуки этого еще живут в литературе, и многие наблюдения в этом плане оказались для меня такой же неожиданностью, как для студенток из Франции и Западной Германии. Причем технические и материальные предпосылки освобождения женщины, особенно от ее домашних обязанностей, здесь значительно более благоприятны, чем у нас, и, видимо, вообще самые благоприятные в мире... Покупки производятся быстро и удобно один или самое большее два раза в неделю, продукты обычно хранятся в просторных холодильниках, которые не нуждаются в размораживании и чистке, выбор всевозможных полуфабрикатов, приправ и специй так богат, что приготовить даже праздничный обед с несколькими овощными блюдами можно не больше чем за час, посуда обычно моется и сушится в соответствующих машинах; если вы не хотите стирать дома, прачечные и мастерские чистки выполнят работу доброкачественно, а главное — быстро. И несмотря на все эти объективные возможности, американская женщина, особенно из средних слоев, не только не работает, но большую часть времени отдает малоплодотворной, в лучшем случае благотворительной, общественной деятельности и завоевывает и сохраняет свое место в обществе исключительно благодаря положению мужа и только благодаря ему связана с жизнью. Формальная американская особенность, имеющая глубокое символическое значение,— это то, что супруга Генри Ф. Робертса является миссис Генри Ф. Робертс.

В послевоенном «обществе благосостояния» постоянным явлением американской жизни стали определенные черты, которых мы пока не учитывали, хотя здешние отличия даже от развитых европейских стран ставят на повестку дня весьма значительные вопросы. Соединенные Штаты, вероятно, единственная страна на свете, где за последние двадцать лет упал процент женщин с высшим образованием и еще резче — процент женщин, имеющих академические профессии; вероятно, это единственная развитая в промышленном отношении страна, где за это время браки teenagers, подростков, настолько превратились в преобладающий общественный фактор, что сейчас примерно 50% двадцатилетних и 25% восемнадцатилетних девушек уже замужем. Лишь одна треть взрослых американских женщин работает; зато годовой прирост населения в США в 1955—1959 годах превзошел не только рост населения европейских стран, но и рост населения в Индии, Японии, Бирме и Пакистане, к 1980 году американские демографы ожидают увеличения населения до 240 миллионов, а цифры прогнозов на 2050 год колеблются между 300 миллионами и миллиардом. В эру «изобилия» большинство американских женщин рассталось с освободительными традициями предшествующих десятилетий, и социологи с удивлением обнаруживают формы «féminine mystique», каких до сих пор, видимо, не знала история: в технически прекрасно оборудованных домашних хозяйствах пригородов, в самом развитом потребительском обществе опять дома шьют платья, разрисовывают обои, иногда даже пекут хлеб...

Определенный круг основных гуманистических идеалов нашего общества трудно доступен людям с иным пониманием жизни, которые по какой-либо причине живут здесь. Когда они слышат или читают о том, что принято называть общечеловеческими отношениями, то недоуменно спрашивают: а где же в таком случае люди обретут свой дом?

Но еще на заре нового европейского об-

ИРЕНА ДУБСКАЯ
АМЕРИКАНСКИЙ ГОД

щества была произнесена фраза Данте обо всем мире как родном доме.

Если двери Скэрсдейла нельзя будет раскрыть для всех в ближайшее время, я не теряю надежды, что когда-нибудь это все же можно будет сделать.

И, определенно, при этом не будут играть никакой роли телевизоры в потолках спален и искусственный климат в домиках для собак.

СОВЕРШЕННО ИНАЯ СТОЛИЦА

...Одиночество человека в американских барах настолько бросается в глаза, что вы найдете упоминание о нем в любой более или менее серьезной книге путевых очерков и любом социологическом исследовании о Соединенных Штатах. «У иностранца возникает впечатление, что Данте в своем чистилище напрасно опустил, например, послеобеденный coctail-lounge или вечерний бар»,— говорит один западногерманский автор, подводя итоги анализа чувства одиночества, меланхолии и депрессии, с которыми он сталкивался у американцев повсюду, где он хотя бы на минуту оказывался вне деятельности и наедине с собой. Абсолютная отчужденность людей, сидящих друг возле друга за стойкой, строгие рамки, разделяющие посетителя и обслуживающий персонал, маскируются по-разному и прежде всего той видимостью коллективизма, которая возникает, когда люди совместно смотрят телевизионную программу. Европейца, привыкшего к тратториям, бистро, винным погребкам, в конце концов даже к нашим пивным, в американском баре охватывает нервозное и гнетущее состояние от соседства с молчаливыми индивидуумами, часами глазеющими на экран, сидя за рюмкой; телевизоры непрерывно включены даже в матросских кабачках побережья Новой Англии, разве только с тем отличием, что иногда выключается звук, так что бессмысленные движения черно-белых теней на экране еще более соответствуют абсурдному обществу посетителей бара, еще более напоминают его. Не так давно обратила на себя внимание работа молодой западногерманской стипендиатки. Занимаясь социологическим исследованием связи между алкоголизмом и одиночеством, она несколько месяцев проработала инкогнито в «баре на нашей улице», посещаемом окрестным населением. Она установила, что постоянные посетители приходят сюда не для того, чтобы выпить или убить время, а в первую очередь «из безнадежной потребности с кем-то общаться и настойчивого желания, чтобы их кто-нибудь выслушал». Эту основную потребность «быть услышанным» (в системе американского образа жизни такому желанию идут навстречу священник и психиатр, заводской психолог и социолог) может успешно удовлетворить барменша или бармен. И если сейчас ни у кого уже нет времени и охоты выслушать другого, американцам следовало бы основать профессию слушателей и платить им за это деньги. Характерным для Америки является поразительный факт, что даже заведомо мнимая коллективность, впечатление которой возникает, когда люди вместе смотрят в баре на экран телевизора, возбуждает в личности известное ощущение человеческой близости. Если задуматься всерьез над этим симптомом, то можно сделать вывод о невероятной пустоте остальных областей американской жизни...

НА ЛИНИИ ГЭЛЛАП — ГРЭНД КЕНЬОН

Не помню точно, между какими двумя остановками это случилось, но определенно на автобусной линии Гэллап—Грэнд Кеньон; в конце концов это не так важно, потому что то же самое могло произойти в любом другом месте.

Если вы путешествуете по Соединенным Штатам одни, у вас вскоре создается впечатление, что по этой части света путешествуют толпы чудаков и скитальцев. А если бы ваш кружной путь не был ограничен временем и иными обстоятельствами и вы могли бы пользоваться еще более примитивными средствами сообщения, тогда бы их число наверняка резко возросло. Такое представление, разумеется, преувеличено и подсказано несколько односторонним восприятием; но если не говорить о масштабах явления, то по существу этот вывод не требует коррективов. А существо дела заключается в крайнем одиночестве подобного типа людей, одиночестве, усугубленном огромными пространствами, разнообразием и расчлененностью страны, а также характером господствующих в ней жизненных представлений, одиночестве, которое уже не ищет ни понимания, ни взаимного общения и только хочет быть услышанным кем угодно и где угодно.

Стремление излить свою душу достигло в Америке уровня настолько осознанной общественной потребности, что для удовлетворения ее возникли специальные общественные институты, и роль слушателей берут на себя многие: психиатры, специалисты в области human relations *, служащие «бара на нашей улице». Я готова побиться об заклад, что на умении слушать в этой стране за короткое время можно построить любую карьеру — как в деловом мире, так и путем выгодного брака...

В Денвере уже под вечер, ожидая в гостинице, я стояла в приемной рядом с мужчиной, который тоже хотел здесь остановиться. Было жарко, он шутил, уверяя, что ему это по душе, так как он слишком долго жил на Аляске. Примерно через час я спускалась на лифте вниз, он случайно получил комнату на том же этаже и тоже хотел посмотреть город. Наш разговор начался, как всякий иной: родился в Айове, отец

---

* Человеческие отношения *(англ.)*.

развозил лед, а потом работал в холодильнике. У моего собеседника были две старшие сестры, семья мало с кем встречалась, он был книголюбом, и остальные смеялись над ним. Во время войны начал служить в Air Force, это был полный переворот в его жизни, там встретил нескольких людей, которые только и раскрыли ему, что существует мир и помимо Айовы. Обе сестры тем временем вышли замуж, он с ужасом говорил об их жизни — домашнее хозяйство, муж, дети, телевизор, постоянно одно и то же, и нужно улыбаться, хорошо выглядеть; выражения just get along, rules of game, well ajusted, well liked, fitness, smartness* получали в его устах апокалипсический оттенок; от него все время хотели, чтобы он женился и прочно обосновался, чтобы чего-то достиг, не понимали, что люди могут жить и в других местах и иметь другие представления о жизненных ценностях, и потому он предпочел подписать контракт и уехать на Аляску. Там он провел больше десяти лет, проверял билеты в аэропорту, только для того чтобы иметь возможность жить самостоятельно, накопить денег и потом путешествовать. Разговор с этим человеком настолько поглотил мое внимание, что в моей памяти мало что осталось от центра Денвера, современного и не слишком интересного; в одной витрине висела картина, изображавшая клоуна, она взволновала его, и он не мог от нее оторваться; по-настоящему хороший клоун обязательно должен быть грустным, вы заметили? Я заметила, что мы в который уже раз возвращаемся к одному и тому же перекрестку, кружимся, вероятно, на одном месте, но в конце концов мне было все равно. Я спросила, чего он ждет от жизни? Он изливал душу как бы порывами, волнами; ему хотелось узнать, как живут другие люди в его стране и вообще на свете; в порыве словоизлияния он мешал слышанное им когда-то от кого-то и читанное с тем, что видел сам. Он переходил с отношений между людьми на особенности профессий и национального характера; ему тоже хотелось бы когда-нибудь завести семью, но до этого он должен все узнать; ему нужна такая жена, которая все это поймет; сейчас он прежде всего закончит путешествие по своей стране, а потом поедет в Европу и по всему свету. Его намерения при этом не были лишены известной трезвости, по Америке он путешествовал уже четвертый месяц. В составлении планов путешествия вокруг света ему, очевидно, кто-то помог; все это было в рамках его сил и средств, кое-что еще могло бы даже и остаться; а в Латинскую Америку он на несколько лет отправится с Peace Corps**, уже подал заявление. Вероятно, все это не могло ему помочь. Трудно человеку избавиться от ощущения бессмысленности существования. Но он искал, больше десяти лет по восемь часов в день в сумраке и холоде прокалывал билеты, мечтал о чем-то и с надеждой обращал взор к англичанам, французам, японцам — коммивояжерам, студентам и стюардессам, надеясь получить от них ответ, что такое человеческая жизнь,— хороший клоун обязан быть грустным. Я ничего иного не хочу — только жить по-своему, никогда ничего другого не хотел, почему же это так трудно? — спрашивал он.

Однажды вечером на автобусной линии Гэллап—Грэнд Кеньон я села в «Грейхаунд»; было только два свободных места, я положила свой багаж и решила этой ночью хорошенько поспать. У окна рядом со мной сидел мужчина неопределенного возраста (ему могло быть тридцать пять так же, как сорок пять и более), с тронутыми сединой волосами, с поблекшим, немного плоским, но не лишенным приятности лицом и голубыми глазами; между ногами он держал дорожный мешок, поминутно вытаскивал из него бутылку и отпивал глоток.

В американских автобусах, где пассажирам строго запрещается пить под угрозой довольно высокого штрафа, с этим встречаешься не слишком часто. Я откинула спинку сиденья, собираясь вздремнуть, когда мой сосед взял меня за руку и предложил бутылку, потом осведомился, не стану ли я возражать, если будет пить он. Потом я задремала, а когда проснулась на какой-то следующей остановке, он уже открывал новую бутылку, растрепанный, с помутневшим, но отнюдь не тупым, а бегающим и чуть сумасшедшим взглядом. Он вновь и вновь предлагал мне вина, в конце концов я немного отпила и стала слушать. Он родился в том же году, что и я, даже в том же месяце; вот уже четырнадцатый год он работает шофером на скоростных грузовиках дальнего следования; во время войны четыре года провел на фронте и после этого еще пять лет оставался в армии, был несколько раз ранен, в том числе в Европе; раскрыв рубашку, он показал мне какой-то шрам. Звали его Биллом. Он прикладывался к бутылке и рассказывал о жизни шофера; когда сидишь за одним и тем же рулем на тех же дорогах — большей частью он ездил по одним и тем же трассам,— не имеешь времени поесть, не имеешь времени умыться, ибо платят тебе прежде всего за экономию времени, борешься со слабеющим вниманием и со сном, принимаешь все большие дозы драмамина, приезжаешь на место, валишься с ног и спишь, а когда проснешься — тебя ждет то же самое: поездка назад, но уже с другим грузом. У него было подчеркнуто двойственное отношение к своей Company: с одной стороны, он гордился тем, что работает на нее уже четырнадцать лет, что выдержит до пенсии и что еще ни разу не попадал в аварию, с другой — стараясь вознаградить себя за это, всю свою злобу за безрадостность собственного существования обрушивал на хо-

* Приспособиться, правила игры, вполне покладистый, очень милый, удобство, шик *(англ.)*.
** Корпус мира *(англ.)*.

зяев, грозился высказать все это им, когда будет уходить, и неприязненно отзывался о солнце и песке аризонских пустынь, где жил в Тусоне Рассказ его был немного путаным, но становился все живее и живее; он вспоминал о своих военных годах и переживаниях, а главное, жаловался, что теперь он совершенно одинок; ему хотелось бы обо всем этом забыть, ведь сейчас уже никого не интересует. что в самом деле была война; мир теперь стал совсем другим — повторил он несколько раз и вновь отпил из бутылки. Я спросила, когда он начал так пить; года три назад, ответил он, этого нельзя выдержать, нельзя, если бы не семья. его давно бы уже здесь не было. Меня заинтересовала его семья, и он ожил, стал описывать сад и домик, даже ограду и комнаты и их обстановку, потом говорил с жене, она не очень красивая, но верит ему, а он верит ей; она ждет, всегда ждет его возвращения, для него она скорее как сестра, у них трехлетняя дочка, вся в жену, живут они очень хорошо, девочка гордится, что папа ездит так далеко.

Я слушала, а он снова пил. Когда все время мотаешься по свету, нужно, чтобы у тебя была жена, которая ждет, а он много зарабатывает, мало кто мог бы столько для нее заработать. Этого ему не следовало говорить; не знаю, почему я это сделала, быть может, потому, что мне очень хотелось спать или оттого, что слова его чем-то слишком уж резали слух, только с какой-то бессознательной уверенностью я сказала — и при этом услыхала себя как бы со стороны: «Зачем вы мне все это говорите? Ведь у вас нет ни жены, ни ребенка». Билл не рассердился, но ушел в себя, стал как-то меньше, осунулся, и, если это вообще было возможно, протрезвел, глаза у него теперь были совсем ясные, но совершенно безумные. «Как вы могли догадаться? — спросил он, говоря отчетливыми, расчлененными фразами.— Как вы могли догадаться? У меня в самом деле нет и никогда не было жены. Я вернулся только в пятидесятом, все вокруг было уже совсем другое. Не мог я к этому привыкнуть, старался, но не мог. Так уж лучше было пойти работать шофером, чтобы по крайней мере быть одному, раз я никуда не годился. Но езжу все время один и не могу смириться с тем, что ни на том, ни на другом конце пути меня никто не ждет. Вот я их и выдумал; когда еду, думаю о них; разговариваю с ними, а приеду — и начинаю пить. Она похожа на одну сестру в лазарете, во Франции, в конце войны»,— добавил он неожиданно и не совсем логично, может быть, только потому, что автобус остановился.

Я не выясняла, где мы, схватила свою дорожную сумку и, почти не прощаясь, выскочила. Я почти бежала; станции «Грейхаунда» похожи одна на другую, была ночь, всюду пусто, кафе, зал ожидания, лестница, rest rooms women *, я прикрыла за собой дверь и пошла мыться. Irene, Irene where are you **,— разносилось внизу по залу, и это действительно была тоска одиночества, от этого зова я уже не избавлюсь. Толстая негритянка, дремавшая в кресле, проснулась. К этому времени я приобрела уже немало навыков, включая стирку белья в станционных умывальниках и сушку его в автоматических камерах хранения. В Америке всюду можно чему-нибудь научиться. А уснуть я могла где угодно и в какой угодно позе, к тому же без порошков, которые принимаю дома. «Куда вы едете?» — спросила, позевывая, негритянка, она имела право на разговор, раз я ее разбудила. «Куда угодно в направлении Грэнд Кеньона»,— ответила я и свернулась клубком в одном из кресел, стоявших в курительной комнате стандартной «грейхаундовской» уборной для женщин. Вероятно, я уснула раньше, чем этот автобус тронулся; потом меня кто-то тряс за плечо, я испугалась, но это была все та же негритянка: «Скоро едет утренний автобус на Флэгстаф, а оттуда вы попадете на Грэнд Кеньон, honney *, ведь вам нужно в Грэнд Кеньон, не так ли?»

За несколько минут я собралась и в спешке даже не взглянула, что это была за станция, вероятно, где-то уже в Аризоне. Песок освещало высокое сухое солнце, враждебное всяким снам наяву, которые на грани миража и фантазии, вымысла и томительного желания, реальности личной и реальности мира тоже могут спасать тех, кто не в состоянии вынести свой удел одиночества.

* Комнаты отдыха для женщин *(англ.)*.
** Ирен, Ирен, где ты *(англ.)*.

ЛЕТО СВОБОДЫ

ЧЕРНЫЕ И БЕЛЫЕ

До сих пор мне вспоминается первое столкновение с сегрегацией, оставившее в душе ощущение травмы. Это было в незабываемые дни 1945 года в маленьком южночешском городке, освобожденном американской армией. Одним из первых неожиданных факторов, который пришлось нам осознать (и это после того как мы столько лет жили надеждой, что будет положен конец всякой дискриминации, особенно расовой), оказался факт существования в победоносной и демократической армии отдельных для белых и черных военных лагерей, трактиров. кинозалов и дансингов.

Поездка по современному американскому Югу воскрешает это воспоминание, но в несколько ином свете; сегрегация, воспринимаемая в широком общественном и историческом аспекте, с одной стороны, иностранцу вполне понятна как сложное и трудноустранимое явление, но вместе с тем на фоне развитой в техническом отношении страны представляется ему чем-то давно отжившим свой век и абсурдным...

В стране, которая в своей «Декларации независимости» требовала равенства и свободы для всех без различия, неравенство негритянского населения — не только по-

* Душенька *(англ.)*.

стоянный факт повседневной жизни, но и традиционная и непоколебимая идеологическая установка правительства южных штатов. «Заверяю вас, черная раса неполноценна. Только учение о превосходстве белой расы, если мы будем его придерживаться, спасет Америку»,— заявил вскоре после окончания второй мировой войны представитель штата Миссисипи в американском сенате Джеймс О. Истлент, и эта позиция до сих пор осталась без каких бы то ни было значительных изменений. В 1960 году в официальном меморандуме демократической партии, которая на Юге абсолютно преобладает, совершенно категорически и со всей решительностью подтверждалась необходимость программной защиты существующего положения: «Мы верим в сегрегацию рас и неуклонно выступаем против отмены или изменения сегрегационного закона этой страны, мы осуждаем интеграцию и всякую деятельность, направленную против сегрегации. Мы неуклонно выступаем против каких-либо намерений отменить закон, запрещающий смешение рас». А губернатор Росс Барнет еще на первоначальной стадии подготовки закона о гражданских правах в одном из публичных выступлений раз и навсегда отверг все попытки реформ, выдвинув следующий аргумент: «Если мы исходим из очевидной предпосылки, что белые отличаются от черных, то без труда придем к выводу, что они не равны и никогда не смогут быть равными». Только изучая подобные материалы, понимаешь, почему после принятия закона о гражданских правах некоторые южные штаты, и прежде всего правительство штата Миссисипи, оказались в конфликте с законодательством федерации.

В период, когда расовые отношения в южных штатах превратились в благодатную почву для газетных сенсаций и вместе с тем послужили серьезным толчком для пробуждения совести целой нации, настойчивее, чем когда-нибудь, возникает вопрос, в чем заключается специфика Юга, почему и в чем он отличается от других областей, каковы люди, живущие здесь, можно ли от белых южан вообще ожидать каких-либо попыток мирного разрешения проблем, вызванных ненавистным для них законом о гражданских правах. Уильям Фолкнер — вот тот человек, который как художник знал многое по крайней мере о специфической психологии, о внутренних противоречиях, о безднах и изгибах души бывших южных аристократов. Фолкнер понимал своеобразную ностальгию жизни, вращающейся вокруг рассказов и воспоминаний о славном прошлом, о прошлом, неразрывно связанном с традициями конфедерации и расцветом южных штатов в канун гражданской войны. Он понимал тревогу немногочисленного меньшинства, внушавшего себе страх перед угрозой количественного преобладания черных и утверждавшего себя в этом страхе целым комплексом истерических мифов о превосходстве белой расы, о необходимости расовой чистоты, защиты белой женщины, которой грозит постоянная опасность со стороны представителей черной расы. Он понимал и то упорство, с каким его аристократы убеждали себя в правдивости этих мифов, и ожесточение, с каким они нападали на все, в чем им чудился хотя бы намек на противодействие,— полные страха, что иначе рухнет не только их современный мир, но будет осуждено и их прошлое...

Хотя Фолкнер до конца жизни оставался в стороне от актуальных политических конфликтов, сотрясавших Юг, он распознавал и художественно отображал факты, может быть, наиболее важные для будущего: он был убежден, что для сознания и чувств его героев характерно кризисное состояние, что они отягощены пониманием собственной вины, от которой нет избавления, и что за этим ощущением вины, за болезненной извращенностью южных мифов маячит черная тень — многовековое порабощение негров и низведение их на уровень животных и неодушевленных предметов. Это ощущение вины стоит выше отдельных лиц, оно в какой-то мере носит мистический оттенок и свойственно всей белой расе на Юге, определяя с роковой неизбежностью жизнь индивидуума от колыбели до могилы,— это «проклятие каждого белого ребенка, который когда-либо был здесь рожден и когда-либо родится».

За этот взгляд на местные проблемы, обнимавший и личные, и жизненные столкновения, события и отношения и главные экономические конфликты Юга, Фолкнера до сих пор ненавидят и порочат в родных краях, где его презирали как «поклонника негров» и нередко даже отказывались обслуживать в магазинах для белых. Критиковали его и представители прогрессивных течений и организаций — и нередко справедливо — за убеждение, будто можно и даже должно дальнейшие шаги эмансипации негров отложить до тех пор, пока белый Юг сам соберет силы, поймет собственную болезнь и ликвидирует сегрегацию. Раздавалась в его адрес и несправедливая критика, ибо проблемы взаимоотношения белых и черных на американском Юге значительно сложнее, чем сфера действия законов, и подлинное равенство обеих рас невозможно не только без резкого вмешательства в область определяющих объективных условий, но и предполагает коренное изменение сознания и мировоззрения, идеологии и психологии людей. Необходимость такой ломки — прежде всего для белых — и чувствовал Фолкнер.

«ИЗОЛИРОВАННОЕ ОБЩЕСТВО» НА СТАРОЙ РЕКЕ

Сто лет назад «отец вод» практически являлся единственной соединительной артерией между Севером и Югом Соединенных

Штатов, поверхность реки пестрела всевозможными судами, а плавание по Миссисипи считалось чуть ли не отважным предприятием, сулившим множество приключений. Марк Твен мог по праву гордиться своей молодостью, которую он провел здесь лоцманом, ибо Миссисипи, помимо всего прочего,— река злокозненная, полная мелей, подводных течений и водоворотов. Сейчас старинные пароходики сохранились лишь для развлечения туристов, а поскольку туризм — прежде всего отрасль бизнеса. за возможность приобщиться к былой славе приходится платить около 20 долларов в день на человека. С международных автострад, ведущих с севера на юг, вы едва увидите спокойную гладь реки: для защиты от наводнений и паводков, помимо плотин на ее притоках, вдоль всего течения сооружены заросшие травой земляные валы, скрывающие от глаз водную поверхность.

Но Миссисипи не только прославленная река американской истории и родина Твена, Миссисипи — это также «магнолиевый штат», родина Фолкнера, а в настоящее время — арена упорнейшей борьбы за гражданское равноправие бывших рабов. На примере штата Миссисипи социологи и историки демонстрируют специфическую модель «изолированного общества».

«Изолированное общество» отказывается подчиняться широкой общественности, в данном случае — федерации, но внутри собственных границ оно требует максимального и безоговорочного подчинения, добиваясь его путем гнета, насилия и дискриминации. Все государственные органы — полиция, суды, школы — служат послушным орудием группы, занимающей в «изолированном обществе» главенствующее положение в общественной иерархии и удерживающей свое положение не только вследствие неизменности экономических и политических предпосылок, но и благодаря ловкому манипулированию остальными составными частями общества, а также благодаря тому, что порабощенные и подчиненные группы пассивно относятся к существующему порядку как к вечному, естественному и неустранимому. Непокорные элементы ликвидированы или, убедившись на собственном печальном опыте в тщетности всяких усилий, сами предпочитают уйти, так что их судьба лишь подтверждает мнение, будто ничего нельзя сделать. «Изолированное общество» спаяно общностью взглядов, по крайней мере высказываемых: оно не может допустить и тем более принять точку зрения, не соответствующую его собственной, считает своих представителей и лидеров непогрешимыми и при любых конфликтах и любой критике извне априори оно признает их правоту. Фанатизм герметически замкнутого мышления лишает «изолированное общество» способности относиться к себе самокритично. Общепринятые взгляды носят преимущественно негативный и оборонительный характер, лицемерие распространилось настолько, что подлинный смысл слов в устах их выразителей теряет свое значение, объективные факты и события совершенно искажаются в результате перевода их на язык собственных догматов. Чем больше критикуют «изолированное общество», тем более монолитным оно становится, тем большую власть обретает в нем коррупция, тем больше фальши в его идейном багаже и речи. Кажется, изменить тут что-либо возможно лишь с помощью удара извне...

Значительную роль в осуществлении контроля над отдельными сферами общественной жизни играет Комитет белых граждан, организация, преследующая цель сохранить статус кво белого владычества и расовой сегрегации.

Идеологию статус кво принимает и подавляющая часть менее преуспевающего и бедного белого населения; объясняется это не только многолетним всесторонним давлением существующей надстройки, но и объективными факторами — такими, например, как преимущества, которыми пользуются все белые в ряде жизненных областей, особенно же в образовании, а до известной степени и в трудоустройстве и возможностях заработка. По статистическим данным 1960 года негры старше 25 лет имели в среднем шестилетнее образование, тогда как белые — одиннадцатилетнее, школьные расходы на одного белого ребенка составляли 81,86 доллара в год, тогда как на одного черного ребенка приходилось 21,77 доллара. Средний процент безработных среди черного населения был более чем наполовину выше, чем среди белого (с тех пор это несоответствие непрерывно росло). Средний годовой доход черных трудящихся составлял 606 долларов, что равняется 29% среднего годового дохода белых тружеников, составлявшего тогда 2033 доллара (по тем же данным, во всей Унии черные зарабатывали примерно в два раза меньше, чем белые). При этом некоторые виды работы— хуже всего оплачиваемые, тяжелые и презираемые — неизменно остаются традиционным уделом черных. Так, например, даже бедный или безработный белый все еще считает ниже своего достоинства трудиться на плантациях хлопчатника, куда с незапамятных времен нанимаются черные рабочие, которым при десятичасовом рабочем дне платят по 25—30 центов в час. Последствия этих основных различий в положении двух рас можно наблюдать и в других жизненных сферах: черный новорожденный, например, в течение первого года жизни подвергается вдвое большей опасности умереть, чем белый ребенок. Потрясающе ужасны жилищные условия, в которых влачат свое существование негры. Лишь третью часть жилищ негритянского населения можно было бы отнести к категории удовлетворительных в медико-гигиеническом отношении. Из почти миллиона миссисипских негров более чем две трети живут в деревне, а здесь бытовые условия еще хуже.

ЭТИМ ЛЕТОМ БУДУТ СТРЕЛЯТЬ НА МИССИСИПИ

С начала шестьдесят четвертого года я особенно часто вновь и вновь слышала эту фразу и в частных разговорах и на разных публичных собраниях от активистов, от людей, принимавших какое-то участие в борьбе за гражданские права, и от обычных наблюдателей, слышала ее и как совет и предупреждение в связи с различными обстоятельствами. В особенности настойчиво друзья и знакомые повторяли, что нынешним летом рекомендуют каждому — а мне, разумеется, вдвойне — не вступать на территорию Миссисипи.

Именно потому, что Миссисипи является средоточием экономического, политического и культурного гнета, что здесь правящая белая элита попирает основные гражданские права половины населения, именно потому, что в данном случае речь шла об «изолированном обществе», которое само не способно развиваться; в тот год все организации, борющиеся за расовое равноправие, избрали «магнолиевый штат» центральной и ключевой областью своей деятельности. Названия «Миссисипское лето свободы» и «Миссисипская летняя акция» облетели всю страну. Инициаторы этой кампании, выступая перед американской общественностью, подчеркивали, что только широкое вмешательство других штатов, наряду с местными акциями, может способствовать завоеваниям свободы в Миссисипи, и, прося оказать движению материальную помощь, обращались к опытным активистам с призывом принять во всем непосредственно личное участие.

Приготовления к Лету свободы на несколько месяцев стали главным делом всех прогрессивных организаций. Специалисты утверждают, что именно это мероприятие всколыхнуло общественное мнение и вторично со времени великого кризиса начала тридцатых годов вызвало определенную политическую активность, особенно среди студентов высших учебных заведений, чья вошедшая в поговорку аполитичность представляла собой в США лишь одно из наиболее заметных проявлений всеобщей чрезвычайно низкой заинтересованности общественными проблемами и всеобщего низкого уровня участия в политической жизни. Лица, желающие принять участие в Лете свободы, прошли через строгие отборочные комиссии, включая и обследования психиатров, и прослушали специальный недельный курс. Их ознакомили с положением в Миссисипи, с историей, структурой, обычаями и проблемами штата, с расхождениями между федеральным гражданским правом и сегрегационными законами, действующими в Миссисипи, с характером и требованиями негритянской среды, в которой они скажутся. Поскольку у студентов сплошь и рядом не было опыта конфликтов с полицией, им преподали наглядные уроки, как лучше защищаться при нападении, побоях, стрельбе, взрывах бомб, как действенней обороняться, как держаться во время ареста и в тюрьме.

Столь же основательно готовилась и противная сторона. В отличие от остальных южных штатов, нынешнее правительство Миссисипи, представляющее собой монолитное реакционное единство, решило, что, хотя окружающие штаты — пусть с большим сопротивлением, проволочками, отдельными случаями насилия в той или иной степени там, где это было хоть как-то возможно,— приняли закон о гражданских правах, в Миссисипи атмосфера мало изменилась, и новый закон повсеместно считался «бесспорно неконституционным». Ку-клукс-клан и другие подобные организации стали действовать активнее, чем до этого, и буквально наводнили весь штат листовками, объектом нападок которых было центральное правительство. «Граждане штата Миссисипи, будьте начеку,— призывает одна из них,— самое ценное ваше достояние, купленная кровью личная свобода — свобода выборов, свобода собраний и право на личную независимость, свобода слова и печати, свобода распоряжаться судьбой ваших детей, неприкосновенность вашего домашнего очага и вашей частной собственности, свобода быть оставленными правительством в покое и право свободного выбора профессии — все эти ваши неотъемлемые привилегии коварно узурпированы государственными властями, существующими на ваши же деньги, и всемогущим центральным правительством, и чем дальше, тем больше вы становитесь регламентированной частицей социалистически-коммунистической диктатуры». Губернатор Миссисипи вообще отказался встречаться с представителями организаций, готовящих летнюю акцию, и фактически объявил войну всем приходящим в его штат активистам. Численность полиции штата в отдельных городах увеличилась более чем вдвое, наскоро обновлялось и пополнялось ее снаряжение, спешно пристраивали новые запасные тюремные помещения.

Незадолго до того, как Лето свободы вступило в свою кульминационную фазу, планируемую на каникулярные месяцы, напряжение достигло такой степени, что ряд общенациональных организаций обратились к президенту Джонсону с требованием, чтобы закон о гражданских правах был проведен в жизнь с помощью федеральных вооруженных сил и чтобы была обеспечена систематическая практическая охрана добровольных активистов. Однако такое вмешательство существенно сказалось бы на ходе и результатах приближавшихся президентских выборов, причем отрицательно для нынешнего президента; нельзя забывать и то, что из-за близорукого страха перед дальнейшим ростом негритянского движения значительной части американской общественности даже позиция Джонсона казалась слишком радикальной; а по дан-

---

ИРЕНА ДУБСКАЯ
АМЕРИКАНСКИЙ ГОД

ным довольно точного опроса общественного мнения, проведенного институтом Гэллапа, как раз летом наблюдался наибольший процент сочувствующих (38%) будущему сопернику Джонсона на выборах — Голдуотеру. Еще большее количество опрошенных (40%) решительно не соглашалось с позицией и действиями президента в расовом вопросе. Таким образом, активисты, направлявшиеся в Миссисипи, могли рассчитывать только на собственные силы. В июне я была свидетельницей демонстрации кембриджских студентов, уже не в первый раз требовавших от руководства своих учебных заведений одного: легальной помощи активистам, которые, добиваясь проведения в жизнь в Миссисипи федерального закона, неизбежно окажутся в конфликте с местными законами, с полицией и юстицией. А поскольку у них нет достаточных материальных средств, им трудно будет сократить свое пребывание в заключении и ускорить судопроизводство. Требование это было вновь отвергнуто со ссылкой на то, что американская высшая школа вне политики.

21 июня, как раз перед самым вступлением на территорию Миссисипи главной волны активистов, там исчезли три добровольца борьбы за гражданские права. Осталась только их сгоревшая автомашина. Нескольким сотням агентов полиции, посланных федеральным правительством, не удалось найти никаких следов. Лишь более семи недель спустя, когда популярный писатель-негр Дик Грегори лично назначил высокую денежную награду, были обнаружены, благодаря сообщению платного информатора, три зверски изуродованных тела. Это были негр Джеймс Чэни из Меридиана 21 года и два нью-йоркца — оба белые — Эндрью Гудман 20 лет и Микки Швермер 24 лет. Их сначала мучили, а потом застрелили. Патологоанатом д-р Дэвид М. Спейн, производивший 8 августа вскрытие останков Чэни, в официальном заключении писал: «За 25 лет своей обширной практики патологоанатома и судебного эксперта я не давал свидетельских показаний о столь тяжко поврежденном скелете, если не считать случаев, которые имели место при катастрофах в результате движения на особо высокой скорости, например, при авиационных авариях».

Конечно, это убийство, преследовавшее цель устрашить ненавистных активистов и заставить их отказаться от своих намерений, было далеко не обычным звеном в цепи убийств, преступлений и насилий: впервые в истории Юга жертвами линча стали представители *обеих рас;* память о трех замученных послужила призывом для борцов за гражданские права без различия цвета кожи. Несмотря на уговоры родителей, родственников, друзей и учителей, ни один из студентов-активистов не взял назад заявления о желании участвовать в Лете свободы, ни один из них не вернулся, даже когда стало ясно, что трое исчезнувших убиты, ни один не покинул своего места после того, как была вскрыта ужасная могила.

В начале лета, как предвидели многие, на Миссисипи в самом деле стреляли.

ПУТЬ ДАЛЕКИЙ ДО МИССИСИПИ

Я уже проехала Вирджинию, обе Каролины, Теннесси и Джорджию и начала склоняться к мнению, что страхи моих американских друзей, единодушно уговаривавших меня не ездить этим летом на Юг и особенно в Миссисипи, были, очевидно, преувеличенными. Несмотря на немалое количество следов, свидетельствовавших об имевшей здесь место борьбе за интеграцию, атмосфера не казалась столь уж напряженной; о кровавых столкновениях я узнавала лишь из газет. Во время случайных разговоров и встреч как белые, так и черные были вежливы и приветливы, те, к кому я могла обратиться с рекомендациями от знакомых, повсюду охотно принимали меня и свободно обсуждали сложившуюся ситуацию, не было чрезвычайных происшествий и неразрешимых трудностей. Только в Алабаме все изменилось. Массачусетсский номер на одолженном мною «форде» стал предметом постоянного внимания, черные владельцы красивых киосков с напитками и закуской, расположенных у шоссе, отвечали отрывисто и неохотно; когда я размышляла над картой, никто из белых шоферов уже не спрашивал, не нуждаюсь ли я в помощи.

Я старалась выбирать второстепенные дороги с редким движением, где вы еще можете ехать с той скоростью, какая вам заблагорассудится, любоваться открывающимися видами и останавливаться у лавочек, торгующих всякой всячиной. Время клонилось к полудню, высокая луговая трава под одинокими развесистыми деревьями отливала золотом, на ней спокойно паслись черные коровы. Я остановила машину в отведенном для этого месте и раздумывала, каким путем ехать дальше. Вдруг на безлюдном шоссе появилась группа четырнадцати-восемнадцатилетних парней, шагавших быстро и организованно и на первый взгляд походивших на скаутов, только без формы. Они подошли вплотную к моей машине, обступили ее полукругом и стали рассматривать номер. Очевидно, Массачусетс — традиционно либеральный и антирасистский штат, университетский центр — послал на Юг немало добровольцев. Наконец их вожак в абсолютной тишине иронически заметил, что я оказалась довольно-таки далеко от своего дома. Вступать в дискуссию не имело никакого смысла, все преимущества были на их стороне. Я мирно ответила, что выехала из Массачусетса почти три недели назад. «Еще одна из тех, кто добивается проведения закона о гражданских правах, не так ли?» — любопытствовал он уже напрямик и наклонился к окну. Я вежливо объяснила, что приехала на Юг как иностранная туристка. «Никакие туристы нам здесь сейчас не нужны, ни свои, ни иностранные,— буркнул он,— мы тут, на Юге, во всем разберемся сами, а прочие оставались бы лучше дома, чтобы

тут с ними чего не случилось». Выбора у меня не оставалось, пришлось добавить, что я заграничная стипендиатка, для меня это единственная возможность познакомиться с Америкой и, конечно, я не могу миновать Юг. «Откуда вы?» — вдруг догадался он спросить, отпустил ключ от зажигания, которым до сих пор играл, и, приблизив лицо к стеклу, напряженно ждал. Я видела одиннадцать пар фанатичных юношеских глаз — это могла быть молодая смена общества Джона Берча, или ку-клукс-клана, или Американского объединения в защиту чистоты белой расы, или еще чего-нибудь в том же роде, и, вспомнив различные инструкции, которые мне в свое время давали, без всяких колебаний и угрызений совести сказала, что я из Австрии, из Вены. На Юге плохо отличают немецкий акцент от славянского. Парни несколько растерялись, стали советоваться. Потом их вожак еще раз склонился к стеклу и сказал: «Все равно поскорей уматывайте отсюда — Юг наш». Он махнул рукой, и они двинулись дальше.

Я вышла из машины, даже не закрыв ее на ключ; справа от шоссе был небольшой хвойный лес, и я бездумно углубилась в тень пиний, где росли грибы, настоящие маслята, мои первые грибы в Америке, от едва приметных с темными шляпками до перезрелых и мягких с раскрывшимися спорами: я размяла маленький грибок в ладони — пахнуло родиной. И только тогда я поняла, что боялась, мучительно боялась одиннадцати мальчишек, которые были немногим старше моего сына, боялась за себя и боялась того, что дам глупый и совершенно ненужный повод к инциденту, которого искали все: полиция, политические организации, расистские группы. Я вернулась к машине и, найдя в списке людей, рекомендованных мне, выбрала ближайший адрес, и поздно вечером уже была в одном из крупнейших алабамских центров.

Я позвонила из отеля, было почти десять часов. О голосе на другом конце провода я не знала почти ничего, известна была только должность, которую занимал его владелец. Сославшись на общего знакомого в Кембридже, я высказала желание встретиться; он был очень вежлив, но, к сожалению, освободиться сможет только завтра к вечеру, завтра целый день у него совещание, он пишет доклад, не могу ли я задержаться еще на день. «Хорошо, если иначе нельзя,— сказала я немного разочарованно (у меня был только этот адрес — единственная точка опоры в пространстве),— но, наверное, было бы лучше, если бы завтра не я к вам пришла, а вы ко мне, я из Чехословакии, так, вероятно, будет для вас удобней». На другом конце провода воцарилось молчание, потом незнакомый голос, который тогда был для меня единственной возможностью выйти из одиночества, сказал успокоительно и приветливо: «Оставайтесь в своем номере; правда, я не смогу задержаться надолго, но через несколько минут буду у вас».

Он появился через три четверти часа, приехал из далекого предместья. Ему за шестьдесят. Усталый взгляд мягких серых глаз. «По вашему голосу я понял, что с вами что-то случилось, рассказывайте». Я с извинениями, в двух словах описала весь эпизод. Он не прерывал меня, а когда я кончила, вынул из кармана вечернее издание местной газеты. «Вот прочтите. Примерно в двадцати милях от города этой ночью неизвестные лица обстреляли машину с тремя негритянскими активистами, и один из них был убит на месте. Видите, то, что было с вами, пустяк, но в то же время это не случайность, сейчас здесь в самом деле небезопасно, во всяком случае вам нельзя ехать дальше одной, особенно раз вы оттуда»,— пояснил он, не называя моей страны.

Уже по первым его фразам было видно, что он один из тех профессиональных функционеров на Юге, которые неизменно поражали меня высоким интеллектуальным уровнем, культурой, глубиной проникновения в занимавшие их проблемы, умением подняться выше повседневных задач, казалось бы, лишь сугубо политических и социальных. Он жил на Юге уже несколько лет, это уже кое-что для него значило. Мне была знакома эта внутренняя готовность отдать всего себя делу, и все же для меня оказалось неожиданностью, когда свое объяснение негритянской проблемы он начал с Кьеркегора. Он говорил о западной цивилизации и ее односторонием рационалистическом характере, возникшем еще в эпоху Ренессанса, о необходимости интеграции мировой культуры, способной преодолеть эту односторонность, о Соединенных Штатах, где такая возможность скрыта в самой стране благодаря существованию и характеру негритянского элемента, об объективных предпосылках такого творческого решения, которое затрагивало бы наиболее глубокие аспекты расового вопроса и способно было бы принести нечто новое не только черным и белым Америки, но и всей западной культуре. Только после этого перешел он к более конкретным вопросам и, объясняя различие между негритянской проблемой на Севере и на Юге, сказал, что считает современную ситуацию началом отступления сегрегационистов, хотя внешне оно и проявляется в бешенстве и агрессивности. Он был глубоко убежден в конечном успехе легальных перемен, считая самым неразумным насильственный метод и перспективу вооруженного вмешательства в дела Миссисипи. Это, по его словам, лишило бы движение морального пафоса, высоко поднятого последними жертвами. Разумеется, недавно принятый закон о гражданских правах временно еще больше обострил и так уже напряженное положение, и ближайшие дни решат, будет ли закон проведен в жизнь и каким образом. А сейчас можно ожидать какого угодно взрыва и следует действительно серьезно подумать, как по-

---

ИРЕНА ДУБСКАЯ
АМЕРИКАНСКИЙ ГОД

ступать дальше. Утром вам обязательно нужно встретиться с Павлом.

Было уже два часа ночи, когда он уходил — ехал дописывать свой доклад, а я ложилась спать в чужом городе чужой страны с весьма редким ощущением, что жизнь очень простая штука и мир хорошее место для людей.

Утром зазвонил телефон, со мной говорил секретарь большой организации, охватывающей весь Юг. «Не сердитесь, у меня до одиннадцати совещание, не могли бы вы прийти после одиннадцати?» — спросил он коротко и деловито; собственно, меня лишь ставили в известность, и я должна была ответить утвердительно. Без пяти одиннадцать я вошла в огромное современное здание, где находились, вероятно, все местные прогрессивные организации; помещения были почти голыми и казались чрезмерно большими. Минуту я разыскивала нужные двери, спросить было некого, потому что все в зале напряженно слушали выступление Голдуотера на республиканском съезде. В конце концов мною занялась секретарша-негритянка. Он пришел минута в минуту, светловолосый и голубоглазый, и мне сразу с ним стало легко, так он был похож на одного из моих близких друзей. Прежде чем предложить мне сигарету, он отключил все телефоны с лаконичным объяснением: от вас тут еще никого не было. Он сказал это просто, опять избежав точного обозначения, сказал без любопытства и без иронии, не стремясь произвести эффект, без подчеркнутой любезности; он был занят серьезным делом и приветствовал серьезный интерес оттуда, где о его проблемах не могли знать много. Он говорил о неясной и крайне обострившейся ситуации в Миссисипи, возникшей в результате негативного отношения правительства штата к регистрации негритянских избирателей, о напряженности, распространяющейся через границу Миссисипи в Алабаму, о тенденции к объединению различных негритянских группировок под влиянием атак, предпринимаемых Голдуотером; он не исключал возможности того, что события в Миссисипи в ближайшие дни могут развернуться так, что не останется ничего иного, как призвать федеральные войска, но больше склонялся к тому, что интеграционные законы медленно, встречая много трудностей, найдут признание и здесь, исключая насильственный путь. Его буквально воодушевляло развитие событий за последние несколько недель, так как впервые в истории «черные действуют, а белые должны реагировать»; он живо рисовал поразительно быстрый процесс роста политической сознательности негров в промышленных областях Алабамы и Джорджии и радовался тому, что негритянский вопрос стал теперь в большей степени, чем когда-либо, делом всей нации. Говорил он и об ошибках и недостатках в его собственной работе и о том, что радикальное движение черных мусульман и Малькольма Икс — неизбежное наказание за все эти неудачи и затяжки.

Не было сомнений в том, что этот умный и прямой человек, мой сверстник, родившийся на Юге, но большую часть жизни проведший на Севере, вернулся сюда в силу глубокой внутренней потребности, что Юг был для него не просто местом, где протекала его деятельность, или проблемой, которой он занимался, а прежде всего делом всей его жизни. Вот почему после десяти лет работы этот профессиональный общественный деятель не был ни чиновником, ни краснобаем. Во всяком случае он верил в высокий смысл своей деятельности и имел собственное представление о ее значении. «Вы, разумеется, видите, что мы пытаемся разрешить проблемы сегрегации, безработицы, расового неравноправия и заняты еще бог знает чем,— говорил он,— но, поверьте мне, здесь, на Юге, речь идет и пойдет о вещах, гораздо более значительных не только для Юга, но и для всей нашей страны, а быть может, и для других стран: подлинная интеграция открывает и затрагивает настолько глубокие пласты в людях и в самой жизни, что сейчас мы даже не в силах осознать ее возможных последствий».

Через день я позвонила ему из первого автомата в Теннесси. «К сожалению, его здесь нет,— сообщила секретарша,— ему пришлось срочно вылететь в Джексон в штате Миссисипи, там начался суд над двумя нашими студентами».

В ШТАБЕ COFO

Сейчас COFO, вероятно, самое известное сокращение в Миссисипи, хотя у разных людей и групп оно вызывает часто прямопротивоположные эмоции. Я не нашла более точной расшифровки его, чем та, что дается в тексте вводной лекции для школ свободы: COFO — совет объединенных организаций, сообщество всех, кто хочет свободы. Точнее, речь идет об организации, которая сплотила все элементы, борющиеся за расовое равноправие, и всевозможные группы граждан, решивших, что для улучшения положения в Миссисипи необходимо единство действий. «COFO — ваша организация,— объясняет листовка, обращенная к негритянскому населению.— То, к чему мы стремимся, должно было бы делать государство. Но люди, которые были избраны, чтобы руководить государством, не хотят этого делать для негров. По вине государства вы не можете найти работу, не умеете читать и писать, не имеете возможности посылать своих детей в хорошую школу. Если вы станете сотрудничать с COFO, вы будете содействовать достижению лучших жизненных условий, вами заслуженных». Главная и постоянная цель COFO — создание сильного негритянского движения, которое смогло бы обрести соответствующее влияние в миссисипских правящих органах и соответствующее представительство в сенате и конгрессе; главные средства для этого — политическое воспитание, помощь в регистрации избирателей, подготовка к самостоятельной общественной деятельности, создание новой интегрированной демокра-

тической партии на территории Миссисипи и проведение некоторых прямых акций. Штабы COFO являются центрами всего, что сейчас происходит в Миссисипи; разумеется, они были и организационными центрами миссисипского Лета свободы в 1964 году.

Я приехала в Джексон, где хотела посетить один из главных штабов COFO, в воскресенье к вечеру. Памятуя данные мне наставления, я, ни о чем не спрашивая, поселилась в первом попавшемся дешевом отеле и, ориентируясь по наглядному чертежику на обрывке бумаги, отправилась пешком на поиски нужного адреса. По мере приближения к цели все заметнее становилась реакция жителей; большинство семей, сидевших на ступеньках перед домиками, еще издали приветливо здоровалось со мной — явление в других местах Юга небывалое и безошибочно свидетельствующее о том, что теперь здесь не каждый белый внушает страх. Дом, который я искала, оказался неприметным облупившимся зданием; перед входом стояла обыкновенная черная школьная доска. На ней, видимо, ежедневно отмечались главные события в округе. Сегодняшняя запись начиналась так: Лаурел. Белые избили работника COFO цепями и дубинками, в двух других стреляли...

Я вошла. В узком коридоре теснилось несколько оживленно дискутировавших группок белых и негров; я так и предполагала, что кого-нибудь здесь обязательно застану днем и ночью, в будни и в праздник. У дверей помещения штаба стоял молодой, необыкновенно высокий негр того типа — с совершенно темной, серовато-черной кожей, узкими скулами и довольно резкими чертами лица,— какой обычно мы не связываем с представлением о черной расе. Я подошла к нему, у меня были рекомендации к четырем местным функционерам. К сожалению, никого из них не было в городе. Мне не хотелось снова ждать, и я, назвав штат и учебное заведение, в котором работала в США, попросила, чтобы кто-нибудь из штаба дал мне необходимую информацию и познакомил с тем, что они делают. Парень улыбался и кивал головой, в этой обстановке слова «Массачусетс» и «Бостон» производили хорошее впечатление. Он хотел уже было отойти от меня, но я его остановила. «Подождите, это еще не все,— сказала я.— Чтобы вы не испытывали ни малейших затруднений, я должна заранее предупредить вас, что через несколько недель покину Соединенные Штаты, так как возвращаюсь домой, а домой — это значит в Чехословакию». Он вполоборота повернулся ко мне, недоверчиво осмотрел меня с ног до головы: «У вас есть документы?» Кажется, это было впервые, когда я по собственной инициативе вынула и показала свой чехословацкий паспорт. Парень осторожно взял его, длинные худые пальцы — мне бросились в глаза их розоватые подушечки — листали испещренные печатями страницы. Я глядела в сторону, давая ему время на размышление; теперь решение зависело от него — в конце концов было даже забавно полностью оказаться в руках этого юноши, все равно я должна попасть в штаб. А потом вдруг раздался смех, каким редко смеются белые. Да, он действительно смеялся и, протягивая мне паспорт, говорил мягким, напевным, трудно воспроизводимым южным диалектом: «Так вы и правда из Чехословакии, только вас нам тут и не хватало! Подождите минутку, что-нибудь мы придумаем».

Минутка оказалась довольно-таки продолжительной, белые и негры входили и выходили, не обращая на меня внимания. Наконец, в дверях появился негр лет двадцати двух, в джинсах и цветной рубахе, коротко остриженный, с живыми умными глазами, и с ним полнотелая черная девушка еще моложе его, со строгим и немного замкнутым видом, в сером шелковом платье с круглым воротником и белой мантилье, накинутой на высокую прическу. Они подошли ко мне, девушка осталась безучастной, парень улыбнулся с несколько озорной самоуверенностью: «Так вот, я — Джимми, а это Маргерэт, если вы согласны, завтра утром пойдете вместе с нами в Школу свободы, а там уж будет видно. Сейчас у нас заседание штаба, но, если вы хотите, можете сесть у меня, мы вам туда притащили кое-какие материалы, которые вам стоило бы прочесть». Я со всем была согласна и очутилась в каморке, меньше чем два на два, там стояли стол и стул и висело несколько полок, на стенах — интеграционные лозунги вперемешку с фотографиями кинозвезд, полки набиты материалами, отпечатанными на ротаторе. На столе — груда всякого рода изданий, а рядом две бутылки с кока-колой или пивом, нет, оказалось это не кока-кола и не пиво, а специальный напиток, который можно достать только в США и только во время предвыборной кампании. На обеих бутылках были крикливые наклейки: «Goldwater—A right Drink for the Conservative Taste»*.

Я вынула ручку, блокнот и принялась читать. Там были брошюры, листовки, материалы о положении в штате с массой статистических данных. Был там и скоросшиватель с отпечатанными на ротаторе номерами обзора событий, ежедневно выпускаемыми штабами COFO,— все номера за несколько месяцев. Я получила возможность проследить в обратном порядке все развитие событий день за днем. Обзор, в отличие от всех американских изданий этого типа, неукоснительно придерживался строгого, бесстрастного стиля, не пускался ни в какие комментарии и объяснения, его язык был языком фактов, цифр и сухой деловой информации. Это был самый потрясающий материал, который я читала за все время своего пребывания в США, чему способство-

* Голдуотер — подходящий напиток для консерватора *(англ.)*. (Здесь игра слов gold water — золотая вода.)

вало и своеобразное противоречие между содержанием и формой. Голые факты свидетельствовали о не прекращающейся ни на минуту дискриминации всевозможного рода. о штрафах, арестах, тюремных заключениях, угрозах, оскорблениях, нападениях, побоях, выстрелах, взрывах бомб. Всему этому беззащитные активисты подвергались изо дня в день, неделя за неделей, и таких событий за 24 часа совершалось от десяти до двадцати пяти. Например, 15 августа только в одном месте — в Джексоне—в течение двух часов, между 10.30 и 12.30, произошли следующие события: активиста предвыборной кампании перед зданием COFO ударили по голове бейсбольной битой; в машину с одним белым и четырьмя неграми — местными активистами примерно раз восемь или десять стреляли; одновременно было зажжено четыре креста, а одного местного студента ранил выстрелом белый. Спустя несколько дней в Гринвуде молодой негр, уже неоднократно подвергавшийся нападениям, был ранен выстрелом в лицо (он сидел в машине, стоявшей у тротуара) и в критическом состоянии доставлен в больницу. Работников COFO, которые его привезли, отказались впустить в больницу, так как они были без рубашек. А рубашек на них не было потому, заканчивает автор обзора, что их сняли и разорвали на бинты, чтобы остановить кровотечение.

Существуют выражения и обороты, достойные действительности, великой уже самой по себе.

А в это же время Голдуотер сам себя рекламирует напитком, изготовленным в угоду консервативному вкусу.

«СИСТЕМА ИЗОЛЯЦИИ» ПРОТИВ ВТОРЖЕНИЯ

Миссисипское Лето свободы было необычным проектом для истории негритянского движения на Юге. Каким бы ни оказалось его окончательное воплощение, проект этот не мог не быть необычным уже потому, что сам штат Миссисипи — штат исключительный и движение за гражданские права ранее развивалось здесь в иных формах, чем в остальных штатах. Там за последние годы приобрели распространение и считаются наиболее действенными некоторые виды прямых акций, таких как рейды свободы и сидячие демонстрации. Рейды свободы ставили своей целью устранение сегрегации на транспорте, первую из них осуществили в мае 1961 года студенты вашингтонского CORE. Автобус компании «Грейхаунд», которым воспользовалась для поездки на Юг первая группа, подвергся нападению в Алабаме, был разгромлен и затем сожжен, ряд пассажиров получили серьезные ранения. Вторая интегрированная группа ехала на автобусе компании «Трейлвейс». Автобус подвергся нападению в Бирмингеме, активистов избили, после чего алабамская полиция, как только смешанная группа вошла в зал ожидания для белых, арестовала участников рейда, сопроводила их в тюрьму, а затем отправила в исправительный лагерь. Сидячие демонстрации служили и служат способом выражения протеста против расовых преград прежде всего в ресторанах, столовых, кафе и буфетах. Хотя непосредственной реакцией часто бывает арест демонстрантов или закрытие всего заведения, этим методом удалось отменить расовые ограничения в довольно большом количестве столовых: в 1960 году, первом году проведения сидячих демонстраций, в них приняло участие 70 000 человек, 3 600 из них были подвергнуты заключению, но не менее чем в 108 южных городах удалось добиться интеграции по крайней мере в одной столовой на город.

Однако эти формы почти не применялись в Миссисипи, причем принципиально. Первые опыты показали, что Миссисипи — резко отличающийся от других по своему характеру штат, целиком проникшийся идеей насилия, и что здесь использование этих широко применяемых методов лишь привело бы к ненужным жертвам. «В Миссисипи применяются другие методы, потому что сам штат Миссисипи не походит на другие штаты,— дается по этому поводу объяснение в одном из учебных материалов Школ свободы.— Из всех штатов Юга в Миссисипи хуже всего обращаются с черными. Положение в этом штате обстоит хуже всего, потому что здесь все средства, какие есть у государства, направлены на то, чтобы держать негров в узде... Если в Алабаме студентов за сидячую демонстрацию избили, весьма вероятно, что в Миссисипи их бы за это же убили». Поэтому в Миссисипи участники движения пока не прибегали к прямым акциям, полагая, что регистрация избирателей может принести более серьезные и решающие результаты, чем рейды свободы и сидячие демонстрации. Зарождение этой идеи можно проследить уже с первых шагов интеграционного движения в Миссисипи, неразрывно связанного с личностью тогдашнего председателя COFO Роберта Мозеса. Роберт Мозес—негр-учитель, он провел свое детство в Гарлеме и закончил Гарвардский университет. Впервые Мозес пришел на Юг в качестве активиста-одиночки летом 1960 года, а год спустя попробовал в одном из округов штата Миссисипи содействовать регистрации избирателей. «Несколько человек было зарегистрировано, других избили, а некоторых убили»,— сухо сообщает учебник истории негритянского движения. Затем в центре деятельности Мозеса, городке Маккомб, были проведены две первые сидячие демонстрации. Участвовали в них школьники, которых арестовали и приговорили к месячному тюремному заключению. Вскоре после этого один из местных негритянских активистов был убит. Руководство негритянской средней школы приняло постановление исключить арестованных учеников и поступать так же и впредь. На другой день впервые в истории Миссисипи 120 учеников школы устроили демонстрацию, требуя от-

мены этого постановления. Все они были арестованы и, кроме самых младших, приговорены к годичному пребыванию в исправительной колонии. Следующим летом Роберт Мозес навсегда поселился в Миссисипи, чтобы попытаться продолжить начатое дело. Из года в год его били, истязали, в него стреляли, спускали на него полицейских собак, вновь и вновь арестовывали, но Роберт Мозес выдержал — и подготавливал Лето свободы.

Господствовало мнение, будто самым большим испытанием, которое ждет студентов-активистов в Миссисипи, будет постоянное сознание угрозы насилия и, возможно, смерти. Хотя произошло несколько убийств, а насилие здесь, можно сказать, хлеб насущный, все это оказалось не самым важным; сознание, что в любой момент откуда угодно следует ожидать нападения, сознание, с которым добровольцы сюда пришли, не только придавало всей акции максимальную привлекательность в наилучшем смысле этого слова, но и помогало выдержать все остальные испытания. «Если вы понимаете, что вас могут убить — а меня могут убить! — сказал один из студентов журналистам,— то перспектива оказаться в тюрьме не столь уж страшна, и тем более невелика беда, если тебе придется выслушать на улице оскорбления».

В то время как все окружающие усердно дебатировали вопрос о страшной угрозе, нависшей над добровольцами, в их собственной среде эта тема была под запретом. Вопреки всем ожиданиям, здесь не возникло ни малейшего культа самопожертвования, даже наоборот: нигде не было видно портретов трех студентов, провокационно убитых в первые дни. Образцом для подражания, как это проскальзывало в разговорах, служили те, кто остался в живых. Быть может, в этом бросающемся в глаза факте сказывается молодость добровольцев, или особенность оптимистической и коллективистской идеологии нарождающегося прогрессивного движения, или, наконец, характерная для большинства американцев привычка не думать о смерти.

«Система изоляции» — это система, заключающая в себе, без каких бы то ни было особых указаний, все необходимое для обезвреживания того, что встает на пути статус кво; однако против «вторжения» добровольцев движения за интеграцию, движения, пробуждавшего определенные надежды на прогресс свободы в Миссисипи, с самого начала применялись специальные репрессивные меры. Еще до начала летней кампании были спешно приняты шесть новых законов, которые официальная печать охарактеризовала как «бесшумное вооружение штата против ожидаемого вторжения», а руководство COFO — как попытку «легально сократить программу Лета свободы, насколько это максимально возможно». Все органы штата, разумеется, получили также дополнительные инструкции, как поступать в рамках этих законов. Так, например, закон, согласно которому почти вдвое увеличивался штат дорожной полиции, значительно расширялись ее полномочия и сама она ставилась под непосредственный контроль губернатора, в течение всего лета был в руках полиции решающим оружием против добровольцев: он позволял активно вмешиваться во все уличные мероприятия, контролировать передвижение активистов и даже регистрировать их, мешать любой их деятельности, требуя неукоснительного выполнения всех предписаний, на которые обычно смотрят сквозь пальцы, и за малейшие проступки, а часто и без всяких оснований, облагал самыми высокими штрафами или наказывал. Миссисипская полиция на законной основе сумела сделать все, чтобы работники COFO буквально не могли шевельнуться. А когда под рукой не было закона, дискриминация осуществлялась путем закулисного сговора: так, банки в Джексоне в первые дни отказывались оплачивать активистам дорожные чеки, обязательные к приему во всей стране. Избивали, истязали и калечили арестованных активистов—красноречивую регистрацию всех подобных случаев, включая фотографии, ведут в штабе COFO — обычно так: случайные соседи по камере «нападали» на заключенного добровольца и заканчивали свою работу раньше, чем появлялась стража, оказавшаяся лишь чуточку нерасторопной.

Одновременно эти же органы власти и безопасности более чем снисходительно наблюдали за сживавшейся и ставшей более агрессивной деятельностью экстремистских и расистских организаций и сообществ. Во всех южных штатах можно было тогда изучать бесчисленные и остроумные способы, используемые для того, чтобы, в известных рамках все же приняв закон о гражданских правах, сделать это лишь формально. Владельцы интегрированных отелей или мотелей примут одного-двух негров за квартал, а остальным откажут, ссылаясь на отсутствие свободных номеров; но тот факт, что некогда в таком отеле жил черный клиент, в случае надобности послужит доказательством внедрения интеграции. Хотя в столовых, хозяева которых подчинились федеральному закону, обеды подаются и белым и черным, но зато ликвидированы столы и стулья, так что негры, как и прежде, не могут здесь сидеть; правда, теперь они могут утешать себя тем, что и белые посетители едят стоя. Когда Голдуотер начал свою предвыборную кампанию, по всему Югу над стойками dragstores, на стенах кафе и у входа в рестораны появились большие печатные плакаты, оповещающие: «Каждый цент, истраченный в этом заведении негром, будет внесен в предвыборный фонд Голдуотера». Другими словами: мы не против интеграционных законов, но практически — если ты черный — у тебя только один выбор: или поступай в соответствии с правилами сегрегации, или поддерживай Голдуотера, разумеется, если ты не предпочтешь голодать или изнывать

от жажды. Но все это происходило за границами Миссисипи. В изолированном же «магнолиевом штате» всякого рода давление отличалось гораздо большей систематичностью и суровостью, было в большей степени связано с различными репрессиями, поскольку его организованно осуществляли как легальные, так и более или менее нелегальные общественные силы. Насильственную сегрегацию белых и черных детей в школах Верховный федеральный суд провозгласил неконституционной еще в 1954 году; к концу 1960 года интеграция была проведена менее чем в четверти школ, причем во многих из них лишь формально. Особенно в Миссисипи этому не приходится удивляться: так, в Карфагене 2 сентября 1963 года в первый класс интегрированной начальной школы явился один негритянский ребенок из девяти записавшихся; за два дня до начала занятий члены сегрегационных организаций посетили черных родителей и так их запугали, что те не нашли иного выхода, как взять заявления о приеме детей назад. Расисты проявляли большую активность и в других жизненных сферах. «Маленький приземистый человечек с седоватыми прилизанными волосами размахивает перед носом владельца торгового предприятия измятым и замусоленным листком: «Этих людей вы должны уволить,— говорит он.— У организации против них есть возражения». Коммерсант смотрит на листок и записывает фамилии двух своих служащих. Он знает их уже двадцать лет, но ему приходится подчиниться. Германия 1939 года? Нет, округ Эмайт, Миссисипи, 1964 год.» Так начинался в «The Delta-Democrat-Times» «подробный репортаж о действиях новой расистской организации Society for the Preservation of the White Race *, возникшей в Миссисипи в начале 1963 года и за короткий срок развившей широкую и успешную деятельность. Хотя ей приписывают не менее пяти таинственных убийств, совершенных за один год на юго-западе Миссисипи, эти методы она перекладывает в основном на плечи ку-клукс-клана и специализируется на защите сегрегации путем экономического давления, общественного бойкота и угроз. Случилось так, что владелец магазина, потомок одной из старейших иммигрантских фамилий, отказался уволить своего служащего, подозреваемого в интеграционных наклонностях. На другой день утром у дверей его магазина стояли члены общества и записывали имя каждого входящего. Через несколько недель торговец очутился на краю банкротства, так как потерял всех своих покупателей и был, кроме того, отстранен от всякой общественной жизни города. Он капитулировал, а общество на всякий случай продолжало его бойкотировать еще две недели, чтобы удостовериться, что он сдался полностью и бесповоротно.

Против особо неуступчивых элементов действуют угрозами, затрагивающими их семейные и личные отношения; весьма эффективными оказались неоднократные ночные телефонные звонки, когда такому неуступчивому сообщалось, что завтра с его ребенком по пути в школу или из школы произойдет несчастье. Не удивительно, что в Миссисипи ку-клукс-клан и сейчас еще способен в течение одной ночи зажечь более трехсот крестов в разных местах, и при этом вы не найдете ни одного человека, который осмелился бы засвидетельствовать, что видел хотя бы одну фигуру в капюшоне. Точно так же не трудно понять, что государственные органы безопасности не могут уделять слишком большого внимания этим проблемам уже потому только, что во всех инстанциях всеми средствами днем и ночью добиваются совсем другого: найти какое-нибудь действие или хоть какой-нибудь намек на действие, которое удалось бы квалифицировать как коммунистическое. Да и может ли быть иначе, если сам губернатор штата в официальной речи заявил, что «каждый пункт закона о гражданских правах был предварительно одобрен коммунистической партией», что федеральное правительство прибегает к «страшному и коварному словесному давлению», что Верховный суд «извращает конституцию для оправдания анархии». И когда на другой день после этого — в результате упорной борьбы, полной драматического напряжения и неожиданностей, которая больше чем что-либо другое сама по себе заслуживает научного исследования,— в Миссисипский университет вступил первый за всю его историю студент-негр Джеймс Говард Мередит, сопровождаемый федеральной полицией, защищавшей его от нападения толпы, тот же губернатор отдал распоряжение приспустить наполовину флаг штата, ибо «в суверенное государство было осуществлено вторжение, ведущее к кровопролитию».

В ШКОЛЕ СВОБОДЫ

Негритянские школы на Севере до сих пор во многом уступают такого же рода школам для белых детей. Негритянские школы на Юге во всех отношениях невероятно убоги. Поначалу Школы свободы ставили перед собой следующую цель: с помощью бесплатных шестинедельных курсов при условии ежедневного их посещения восполнить учащимся хотя бы частично то, чего негритянские школьники не получают при обычном обучении. Таким образом, предполагалось ориентироваться на старших школьников, но, наряду с уроками в первую половину дня, планировались общественные мероприятия и развлечения, занятия спортом, танцы, игры, концерты. Программа должна была включать прежде всего основы политического и гражданского воспитания, но вместе с тем и помощь в освоении школьного материала, а также дополнительные общеобразовательные лекции. Практика внесла коррективы в первоначальную установку: желающие посещать Школы свободы оказались людьми разных возрастов, в результате чего учащихся при-

* «Общество борьбы за сохранение белой расы» *(англ.)*.

шлось разделить на несколько возрастных групп, для самых младших изменить соотношение между учебой и игрой, а для взрослых открыть вечерние курсы. «Что мы могли сделать, раз они пришли? Ведь не отправлять же их домой»,— объяснила мне улыбчивая активистка, учительница по профессии. Она приехала сюда за неделю до начала занятий, чтобы сделать все необходимые приготовления. Поселилась в семье, где было трое мальчиков от пяти до восьми лет. В день, когда открывалась школа, она с удивлением заметила, что дети старательно моются и надевают чистые майки. «Куда это вы собрались?» — спросила она и получила ответ, что, разумеется, в школу. Так и остались в этой школе все, кто туда пришел.

Школы свободы — нелегальные с точки зрения миссисипских законов — повсеместно функционируют в церквах, молельнях и помещениях различных религиозных организаций. Церковь впервые приняла столь решительное участие в негритянском движении; только благодаря тому, что Национальный совет церквей принял патронат над Школами свободы, стало возможным их практическое существование. Вот почему так многочисленны случаи сожжения церквей, стрельбы по ним, нападений на церковные здания и их разрушения; в дни моего пребывания в Миссисипи здесь до основания сгорела семнадцатая по счету негритянская церковь с начала миссисипского Лета свободы.

Руководительницей Школы свободы, которую я посетила, была маленькая черноволосая белая северянка лет тридцати, тщательно причесанная, в безукоризненно белой блузке с воланами. У нее не было диплома об окончании высшего учебного заведения, но зато был большой опыт работы в негритянском движении и среди молодежи. Сама она занималась с группой самых младших детей, примерно до восьми лет. В то утро тема урока была такова: «Как черные и белые станут жить в будущем обществе». Дети получили цветные мелки, через все помещение расстелили широкое полотнище белой бумаги, расселись вдоль него, и учительница начала им объяснять, что в будущем черные и белые станут равноправными, будут жить рядом, посещать одни и те же школы, вместе купаться, ходить в кино и рестораны. Потом крупными штрихами нарисовала в середине темного и светлого человечков, держащихся за руки, и предложила детям: нарисуйте — каким вы бы хотели увидеть союз черных и белых. Черные фигурки ерзали, склонялись над бумагой, выставив кверху попки, курчавые головы чуть не водили носами по полу, дети размышляли, высовывали язычки и покрикивали друг на друга, а учительница расхаживала среди них и давала советы.

«Не слишком ли это идеологично,— заметила приехавшая сюда на несколько дней ирландская студентка педагогического института.— Раз уж это Школы свободы, не следовало бы предоставлять детям возможность естественного самопроявления. Как вы думаете?» Право, я об этом не думала, но напомнила, что в учебниках, которые белые организации рекомендуют для черных учеников примерно этого же возраста, было написано: «Господь бог хотел, чтобы белые люди жили отдельно. Белые люди создали для вас Америку. Белые люди создали Америку и поэтому могли составлять законы... Мы не верим, что Господь хочет, чтобы черные и белые жили вместе. Пусть лучше негры живут отдельно. У негров собственные купальни. И они не купаются в купальнях для белых. Негр живет в собственной части города. Таков наш образ жизни на Юге».

Да, несомненно, это была идеология, идеология против идеологии. «Что ты делаешь?» — спросила я вспотевшего от усердия мальчугана в красной майке, который в буквальном смысле слова лежал на бумаге, подперев голову левой рукой, и старательно марал что-то, совершенно для меня непонятное. Он ответил, даже не затруднив себя поднять голову. Я попала впросак, недооценила сложность комбинации южного диалекта с детским произношением. «Он говорит вам, что черные и белые будут вместе ходить в уборную»,— без улыбки перевела учительница, и в моей памяти сразу возникли раздельные туалеты для белых и черных. Не в состоянии ничего сказать, я только таращила глаза на черного мальчугана, а он продолжал свое занятие, не обращая на меня никакого внимания. «Может быть, это не такая уж плохая идея, надо еще об этом подумать»,— сказала ирландка, и мы молча пошли дальше.

Группа детей постарше, от восьми до двенадцати лет, заканчивала беседу по поводу сегодняшнего рассказа учителя, посвященного рабству на Юге и его последствиям для отношений черных и белых. Учитель как раз говорил о том, что во многих других странах, где тоже живут разные расы, не знают сегрегации и относятся к черным так же, как к белым. Он упомянул о Франции, хотел, чтобы я подтвердила, что в Париже и Марселе черные чувствуют себя как обычные граждане. Это было просто, я сказала несколько фраз, дети слушали почти набожно, для них это было свидетельство, что действительно существует иной мир, чем тот, в котором они жили. А потом они хотели еще и еще раз удостовериться: негры могут пойти в ресторан, их пускают на тот же пляж, им разрешают в автобусе сесть, где захочется? После этого ждали фильма, фильм запаздывал, и девочка с косичками в мальчишечьих штанах предложила спеть. Учитель был совсем молодой, лет двадцати, позднее я узнала, что он учится в Чикаго на втором курсе, когда-нибудь из него в самом деле выйдет настоящий учитель. Чувствовалось, что детям с Биллом хорошо, он шутил, взял гитару. Дети пели чисто и с увлечением: сперва звучала груст-

ная тягучая мелодия, сменившаяся резким радостным ритмом. Я смотрела на вытянутые худые тела; в этом возрасте негритянские дети так красивы, что когда посмотришь на них, щемит сердце; их непропорциональные формы и черты чрезвычайно близки современному эстетическому чувству,— как странно, сейчас никто на улице не оглянулся бы вслед Афродите,— и неужели когда-нибудь все это кончится типичными силуэтами черного Юга — тощими стариками, согнувшимися в дугу, в синих штанах с лямками и соломенных шляпах, и невероятно толстыми негритянками, едва способными двигаться, в пестрых юбках и крикливых цветных шляпках со множеством дешевых украшений и искусственных цветов?

«Нужно спеть им нашу песню»,— выкрикнул кто-то. И я впервые услышала, как поют дети Марсельезу интеграционного движения. Первоначально она была народной религиозной песней, потом стала баптистским гимном, и, наконец, изменив текст, этот гимн позаимствовало движение за гражданские права.

We shall overcome, we shall overcome,
We shall overcome some day,
Oh, deep in my heart I do believe,
We shall overcome some day.*

Они пели все семь строф, поглядывая на нас и явно гордясь тем, что умеют петь свой гимн. Было видно, как они любят школу, где их научили этому гимну и куда они ходят добровольно во время каникул. Неужели все изменится, когда они станут разучивать эту песню на обязательных занятиях и им за это на следующем уроке будут ставить отметки?

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Многие годы мы с добрыми намерениями так часто и столь обильно приводили доказательства формального характера буржуазных гражданских прав, что немного забывалось не только то, каким важным историческим завоеванием были эти права в прошлом, но и то, какое серьезное значение в определенных условиях они могут иметь и сейчас. В известной мере было утрачено ощущение весьма многообразной градации, какую они конкретно приобретают на почве буржуазной действительности. Крайняя диспропорция между легальными правовыми возможностями и жизненной практикой, существующая в Миссисипи, возвращает всем этим аспектам заслуженную значимость. Из 915 722 человек негритянского населения штата почти половина, около 450 000, имеет право голоса, но примерно через сто лет после отмены рабства и введения буржуазных свобод только 25 000 из них были официально зарегистрированными избирателями. Тем самым закрепляется существование порочного круга «изолированного общества»: сегрегационные порядки нельзя ненасильственным образом изменить изнутри до тех пор, пока негры не добьются надлежащего представительства в органах правления штата; достичь этого не удастся, пока негры не примут достаточно широкого участия в выборах; негры остаются пассивными в гражданском отношении, пока господствуют сегрегационные порядки. Поэтому активисты сосредоточили свою деятельность прежде всего на работе с избирателями. «Регистрация свободы» была главной практической акцией COFO в Миссисипи летом 1964 года; она должна была доказать, что негры *захотят* участвовать в выборах, если будут созданы условия, которые позволят им воспользоваться своими правами.

Но кампания «Регистрации свободы» с самого начала наталкивалась на действующие в Миссисипи законы: здесь запрещена агитация, запрещено раздавать брошюры или листовки, запрещено «нарушать общественный порядок» — а под эту статью можно подвести все, чем занимается COFO. Активисты «Регистрации свободы» отыскивали избирателя, индивидуально готовили его к регистрации, и когда находили, что кандидат в достаточной мере исполнен решимости и подготовлен к участию в выборах, выдавали ему особое свидетельство, аналогичное обычным документам официально зарегистрированных избирателей. Они также сопровождали будущего избирателя, когда он шел в пункт регистрации, и, если удавалось включить его в списки избирателей, не упускали своего подопечного из виду и потом, следя за его первыми самостоятельными шагами на общественном поприще.

На бумаге все это выглядит весьма просто, но в действительности речь идет о невероятно трудном, изматывающем и довольно тягостном занятии. Чтобы черный гражданин в существующих условиях захотел стать избирателем, он прежде всего должен прийти к убеждению, что это принесет пользу; даже внушить ему подобное убеждение вещь нелегкая, учитывая недостатки общего образования и узость политического кругозора, да еще традиционный взгляд, что белые все равно сделают все по-своему. Если бы все принимали участие в выборах, положение в Миссисипи было бы лучше, объясняет листовка. У вас было бы достаточно еды, больше возможностей устроиться на работу, лучше стали бы ваши школы, жилища, появились бы мощеные тротуары. Еще более подрывает решимость негра принять участие в выборах страх, почти животный страх, для которого с избытком дает основания вся история негритянского Юга, память отцов и дедов, судьбы близких и личный опыт, страх, непрестанно поддерживаемый различными формами запугивания и преследования, включая физическое насилие. Господствующие белые круги невероятно боятся допустить негров к избирательным урнам, и почти все подобные попытки со стороны черных становились поводом для бешенства, истерии и жесто-

* Мы победим, мы победим,
Мы победим когда-нибудь.
Ах, глубока в моем сердце вера:
А все-таки мы победим когда-нибудь.

ких ответных мер; неудивительно, что «Регистрация свободы» вылилась в непрерывную цепь угроз, нападений, избиений, выстрелов из-за угла, арестов и тюремных заключений. Причем речь идет не об отдельных случаях — в Гринвуде, например, 16 июля было арестовано сразу 111 активистов и местных негров — и касается не только лиц, непосредственно причастных к «Регистрации свободы», но также их семей, родственников, знакомых. На Сайласа Макги, двадцати одного года, черного добровольца «Регистрации свободы» из Гринвуда, в течение нескольких месяцев неоднократно совершались нападения, причем в последний раз он пострадал очень серьезно; в те же самые дни дважды стреляли и в его младшего брата и, наконец, бросили бомбу в квартиру его матери.

Наряду с прямым физическим насилием не менее действенно и экономическое давление, против которого почти бессильны как работники COFO — редко когда удается доказать его незаконный характер,— так и сами потерпевшие, ибо на Юге возможностей для устройства на работу недостаточно, а кроме того, белые работодатели настолько тесно сплочены, что могут любое неугодное им лицо полностью лишить источников заработка. Когда я посетила штаб COFO, там как раз обсуждался один из таких типичных случаев, изложение которого — в нотариально заверенном оригинале — звучит так:

«Уильямс Адамс свидетельствует и заявляет под присягой: мой адрес Чарльстон, Миссисипи, округ 2, почтовый ящик 118, я являюсь гражданином США негритянского происхождения. Я живу с семьей на плантации Рэббит Ридж в округе Таллахаси. Все мы — я и мои трудоспособные сыновья — работаем на этой плантации.

11 августа 1964 года мой сын Уильям Эд Адамс пришел в окружной суд, чтобы зарегистрироваться для участия в выборах. Его видела кучка белых, собравшихся на площади перед судом. В тот же день мистер Нельсон Дуглас, управляющий плантации Рэббит Ридж, сказал нескольким людям в лавке плантации, что прикажет арестовать моего сына за то, что тот решил зарегистрироваться.

Мистер Райлей Макги остановился у моего дома и сообщил мне, что мистер Дуглас намеревается арестовать моего сына. Я пошел в лавку к мистеру Дугласу. Я спросил его: «За что вы хотите его арестовать? Ведь он ничего не сделал».

Мистер Дуглас ответил: «А что ему понадобилось в здании суда? Для него здесь больше не найдется никакой работы. Такой парень нам не нужен». Я сказал ему, что пойду в Гринвуд и попытаюсь поговорить там с людьми из SNCC* и найти адвоката.

Я отправился в Гринвуд. Сначала нашел там мистера Дж. Нолана Рида, владельца плантации Рэббит Ридж. Тот сообщил мне, что ничего нельзя сделать, разве только снова отправиться моему сыну в суд и вычеркнуть свое имя из списков избирателей. Сказал, что если его имя не будет вычеркнуто из списка, он больше не сможет работать на этой плантации. До завтра у меня есть время на размышления».

Если, несмотря на это, подопечный, преодолев сомнения, колебания и страх, не откажется от своего намерения голосовать, для него и попечительствующего над ним добровольца наступает период новых забот: нужно как можно лучше подготовиться, чтобы успешно пройти через трудную, длительную и запутанную процедуру регистрации. Быть зарегистрированным в качестве избирателя в Миссисипи — вещь для негра весьма сложная, даже если соответствующий чиновник строго придерживается законных рамок и не злоупотребляет скрытыми ловушками, как это, разумеется, зачастую происходит: в штате Миссисипи действует целая система законов и распоряжений (последние дополнения приняты в 1955 и 1962 годах), затрудняющих регистрацию и обеспечивающих тем самым сохранение сегрегации. Желающий зарегистрироваться, которого никто не может сопровождать в помещение регистрационного пункта, первым делом должен заполнить на месте довольно загадочную анкету из двадцати основных вопросов, целые исследования о содержащихся в них «заковыках» убедительно доказывают, что такой формуляр уже сам по себе может запутать даже многих относительно интеллигентных и опытных людей. Причем все ответы даются под присягой. В процедуру входит затем интерпретация и разбор смысла любой статьи миссисипской конституции; кроме того, регистрирующийся должен доказать, что понимает значение «обязанностей и задач гражданина при конституционной форме правления», и должен продемонстрировать свою нравственную благопристойность. Как видно из всего сказанного, требования сформулированы настолько расплывчато, что позволяют по-разному действовать в отношении разных людей и по-разному их оценивать; вопрос о том, насколько соответствует избиратель всем требованиям, единолично и окончательно решает один человек—служащий регистрационного пункта. Если желающий зарегистрироваться пройдет все эти крестные муки, имя его появится в местной печати и в течение двух недель будет фигурировать в специально вывешенных списках, чтобы каждый мог указать на его моральные недостатки и тем самым выступить против его регистрации; последняя мера одновременно максимально увеличивает возможности запугивания и экономического давления.

Вот в этих-то условиях активисты «Регистрации свободы» менее чем за два месяца зарегистрировали 56 449 человек и добились того, что зарегистрированные избиратели впервые со времен гражданской войны по-

* Студенческий координационный комитет ненасильственных действий — организация борцов за гражданские права.

пытались принять участие в предвыборных собраниях официальной и включающей только белых Демократической партии Миссисипи, а после того как им либо прямо было в этом отказано, либо не предоставлялось равное право голоса, они решили основать новую Свободную демократическую партию Миссисипи, которая в июле провела организационные собрания на всех четырех уровнях, предписанных конституцией, и в начале августа послала интегрированную делегацию из шестидесяти восьми членов на общенациональный съезд демократической партии.

Занятые на этом участке работы активисты COFO, с которыми мне пришлось соприкасаться, были славные ребята, принципиально сохраняли хорошее настроение, непрерывно шутили, наперебой рассказывали анекдоты и — явление весьма редкое в США — столь иронически говорили о проблемах своей работы, что со стороны это могло бы показаться цинизмом; однако здесь, на месте, было совершенно ясно, что это лишь один из немногих возможных способов выстоять.

«Что вы делали до того, как пришли в Миссисипи, Джеймс?» — спросила я приземистого белого активиста лет двадцати, который, как я слышала от других, уже успел переменить несколько профессий. «Если вы хотите знать, почему я тут, так спросите прямо,— отрезал он.— И в конце концов мне совершенно безразлично, где я. Папа нашел другую, у мамы еще двое, так я предпочел уйти из дому. Все равно для школы я не подхожу. Разумеется, это бессмыслица, но и все остальное по меньшей мере такая же бессмыслица, а здесь мне хотя бы забавно. Хотите еще о чем-нибудь спросить?» Я смотрела в его выразительные, почти круглые серо-зеленые глаза, совсем, казалось бы, не соответствовавшие грубому, угловатому, довольно некрасивому лицу с выступающим вперед подбородком; внешне — самоуверенность, чувство собственного превосходства и презрение, а в глазах можно было безошибочно угадать одиночество и боль.

Ситуации всегда ищут людей по своему подобию; проблемы, которые человек решает, приняв их вызов, как правило, затрагивают его лично в значительно большей степени, чем он предполагает.

И несомненно, здесь, где требование «что ни избиратель — то голос», этот официальный лозунг «Регистрации свободы» все еще остается революционным. А ситуация сложилась чертовски трудная.

ТЕ, КТО ОСТАЕТСЯ

Одной из главных причин моей поездки в Миссисипи было желание собственными глазами увидеть студентов-добровольцев. Ведь миссисипское Лето свободы не только представляло собой значительный и, в известной мере, чрезвычайный этап как в развитии негритянского движения, так и в истории освободительной борьбы в США, но и особую и весьма значительную веху в истории американского студенчества. После многолетней традиционной аполитичности первые симптомы перемен проявились как раз в связи с борьбой за гражданские права, а миссисипское Лето свободы было первой общенациональной акцией этого рода. Я говорила с рядом студентов-активистов из бостонских учебных заведений перед их отъездом и следила за яростной полемикой, которая велась вокруг этого проекта в печати и на собраниях: те, кто выступал против, повторяли известные аргументы о злоупотреблении доверием студентов в политических целях, говорили также о возможных излишних жертвах и высказывали обоснованные опасения, что активисты в трудных условиях Юга не справятся со своей задачей и не только сами окажутся в опасности, но и надолго повредят делу. Если представить себе примерно двадцатилетних юношей и девушек, выпестованных в состоятельных семьях и привыкших к всевозможному комфорту, не знавших иной среды, кроме домашней и университетской, не имевших никакого другого опыта, кроме обмена мнениями в учебной аудитории или клубе, отправившихся на собственный страх и риск туда, где даже за успех опытных, сжившихся со средой политических практиков ни в коей мере нельзя поручиться,— то, несомненно, предприятие это со многих точек зрения покажется неприемлемым, несерьезным, невероятно рискованным. Было бы чрезвычайно интересно детально исследовать, какие факторы способствовали тому, что на удивление многим американские студенты в столь трудных условиях Миссисипи безусловно проявили себя наилучшим образом и с успехом прошли проверку... Но меня занимал не столько тот факт, что они это испытание достойно выдержали, сколько вопрос, какова их дальнейшая судьба.

Вскоре после того как я пришла в штаб COFO, я столкнулась с поразительным обстоятельством, о котором, помимо всего, узнала в довольно случайном разговоре: из восьмисот активистов, отобранных для миссисипского Лета свободы, более пятисот без какой бы то ни было предварительной кампании изъявили желание остаться еще на полгода или на год...

Впечатления от Лета свободы и решение остаться у всех, с кем я говорила, как мне кажется, затрагивали нечто весьма глубокое в их личности. «Верьте или нет, но за двадцать три года своей жизни я впервые нашел дело, которому, по-моему, стоит отдать свои силы, и я их ему отдаю»,— ответил мне химик из Калифорнии. «Здесь я впервые почувствовал, что и в самом деле живу, а это все»,— подытожил студент педагогического института из Чикаго. «Думаю, что только теперь я научился немного понимать людей, тогда как раньше интересовался только статистикой» — поделился мыслями о себе будущий социолог из Нью-Йорка «Даже если реальные результаты нашей деятельности здесь будут незначительны, для меня она имеет огромное

значение: теперь я лучше знаю, кто я сам»,— объяснял учитель из Бостона, только что получивший диплом. «Быть может, все решает чувство уверенности в том, что ты можешь принести пользу чему-то стоящему»,— размышлял историк из Йела.

В последний вечер я снова забежала в Школу свободы на курсы для взрослых. Стояла жара, наверное, перед грозой, помещение не проветривалось, и в нем почти нельзя было дышать, люди расположились в кружок при плохом желтоватом свете, примерно пятнадцать исхудалых негров и морщинистых, огрубевших толстых негритят, все внимательно слушали. Немного поодаль сидела белая девушка в розовом платье с глубоким вырезом и с восхищением и преданностью смотрела на учителя; всего остального для нее не существовало. Это могла быть только жена. Боже мой, она, наверное, так же смотрела бы на него, даже если бы он выступал в Обществе Джона Берча; интересно, такой ли взгляд у жены замученного Микки Швермера, которая тоже сопровождала его в Миссисипи, а после его смерти осталась здесь в качестве активистки? Учитель был светловолосый, полный, с мягким, бледным лицом; он потел, на груди и на спине пот проступал через белую ткань рубашки, время от времени он отмахивался от мух, садившихся на очки, закидывал ногу на ногу, и было видно, как на полосатые носки по голени стекает пот. Он объяснял, что такое сидячие демонстрации, что они дали в новейшей истории негритянского движения, каковы их возможности. Он говорил свободно, выразительно, с северным акцентом, и каждое менее обычное слово пояснял; ему приходилось употреблять очень простые фразы, чтобы разъяснения частностей не затемняли общего смысла. Говорил он спокойно и бесстрастно, и все же сразу и все время было ощутимо, что его собственная жизнь сейчас зависит от того, удастся ли ему именно теперь, за эти два часа, проломить столетнюю преграду страха, неграмотности, неопытности, покорности и недоверия. А потом они спрашивали, спрашивали без стеснения, не по существу и наивно, дельно и умно, рабы, которые вдруг должны были понять даже господское чувство вины; учитель подробно и увлеченно объяснял и уже не замечал мух, и тогда старый, седой, сгорбленный негр встал и сложенной вчетверо газетой стал отгонять мух от лица потеющего белого учителя, продолжавшего, не отвлекаясь, говорить.

В технически самой богатой и развитой капиталистической стране, в середине двадцатого века снова происходит своего рода соединение теории с массовым движением, и, вопреки всем ожиданиям, процесс этот сводит цвет будущей интеллигенции самого процветающего буржуазного государства с наиболее забитой и отсталой частью рабочего класса. Лишь изредка возникают ситуации, когда тебя безоговорочно охватывает чувство благодарности за то, что ты просто присутствовал и был свидетелем; если бы я ехала в Миссисипи только ради этих двух часов, я бы ехала не напрасно.

Потом Джимми, я и двое молодых супругов долго шли жаркой, влажной, полной звуков ночью, они провожали меня до моего отеля, и я спросила немного тучного активиста, нравится ли ему здесь. «Я останусь тут до будущего лета, и она тоже,— ответил он и обнял жену за плечи,— и что бы ни случилось, для нас это на всю жизнь. Вы меня понимаете?..»

АППАЛАЧСКИЕ ГОРЫ

Проблема нищеты не тождественна проблеме безработицы. Правда, из девяти миллионов бедных семей примерно семь миллионов лишено кормильца, который, получив работу, мог бы обеспечить остальным членам семьи минимальный прожиточный уровень. Правда, трудящиеся, способные и желающие работать, не могут найти работу, потому что в области, где они живут, ее нет или у них нет для нее соответствующей квалификации. Правда, перспектива автоматизации делает еще более настоятельными проблемы планового территориального перемещения рабочей силы, а также профессионального переобучения и освоения новых квалификаций. Но в то же время остается неоспоримым факт, что лишь менее половины бедняков составляют безработные (примерная продолжительность безработицы колеблется в пределах 14—15 недель); остальные — это группы вне городского промышленного общества: жители сельских областей, сезонные рабочие, мелкие фермеры, старики, национальные меньшинства — не только негры, но и пуэрториканцы, эскимосы, мексиканцы, индейцы, далее категории низко оплачиваемых трудящихся и люди, занятые временно или лишь частично. Наконец, это те, кто не может работать, потому что слишком стар — а иногда слишком молод — или слишком болен. И тут в США повсюду наталкиваешься сейчас на максимально обострившееся противоречие между общественной необходимостью социального обеспечения в самом широком смысле слова и устаревшими законами и обычаями, не говоря уже о своеобразном дарвинистском варианте государственной идеологии, отвергающей всякую идею welfare state* (первоочередных гарантий на случай болезни, инвалидности, безработицы, старости) как социалистическую и полностью предоставляющей человека самому себе, так что уже только от него самого зависит, как он себя обеспечит. Американские порядки в этом отношении кажутся почти невероятными не только с нашей точки зрения, но и, например, в сравнении со Скандинавскими странами или Англией: лишь примерно на половину безработных распространяются какие-либо посо-

* Государственное обеспечение *(англ.)*.

ИРЕНА ДУБСКАЯ
АМЕРИКАНСКИЙ ГОД

бия, проблема стариков и пожилых становится общенациональной травмой — 85% людей старше 65 лет не имеют прожиточного минимума; расходы на лекарства, медицинскую помощь, больничный уход и похороны столь велики, что являются постоянной и повсеместной угрозой даже в зоне материального достатка; высшее образование так дорого, что если учится несколько детей сразу, то это подрывает месячный баланс и у профессоров университета... В разговорах о положении в Чехословакии, которые я вела в Соединенных Штатах с рядовыми гражданами, недоверчиво воспринимались сведения о нашей системе воспитания и медицинского обслуживания, о социальном и пенсионном обеспечении (не говоря уже о некоторых моментах культурной жизни, казавшихся нереальными даже представителям интеллигенции,— тиражи книг, например).

Нищета видна как на ладони в районах городских трущоб, в негритянских и пуэрториканских гетто, в некоторых областях глубокого Юга. Я не интересовалась специально данной проблемой, но просто хотела увидеть одно из средоточий бедноты вне пределов больших городов. По пути были Аппалачские горы, а к этому краю у меня было в какой-то мере личное отношение: первый муж одной из моих кембриджских приятельниц родом оттуда; когда она мне впервые рассказала, что еще в 1950 году местная угольная компания платила своим служащим исключительно талонами, за которые можно что-либо приобрести лишь в магазине этой же фирмы, и единственным путем бегства оттуда было вступление в армию, что и сделали все три ее сына, мне не хотелось верить.

Аппалачские горы расположены на территории нескольких штатов. Внешне самый привлекательный из них Кентукки. Говорят, что туристы, обращающие внимание только на пейзаж, распространяют легенды о простых и счастливых горцах. Предмет гордости этого «голубого штата»—трава: она действительно здесь серо-голубая и способствует общему впечатлению идиллии, затушевывает и скрывает нищету, прочно укоренившуюся в этих местах; как показывают статистические данные, Кентукки занимает одно из последних мест в стране по величине доходов, по медицинскому обслуживанию, по оборудованию жилищ, по росту населения, по степени электрификации, развитию транспорта, по грамотности, а также во всех областях воспитания и образования.

Аппалачские горы в той части, где я побывала, представляют собой угольный бассейн, добыча в котором постепенно механизируется; менее рентабельные шахты одна за другой закрываются, за последние пять лет добыча угля здесь увеличилась на треть, но безработица возросла вдвое. Развитие других отраслей промышленности невозможно — отсутствует, в частности, транспортная сеть,— а разрытую шахтами землю вновь не засеешь. Тут работало очень много европейских иммигрантов: венгры, поляки, сербы, словаки, частично немцы и испанцы, десятилетиями жившие национальными общинами; многие из них до сих пор не умеют хорошо говорить по-английски, не обладают никакой другой квалификацией, общий уровень жизни низкий, никаких сбережений у людей нет. Бедствуют прежде всего пожилые. У них нет никакой надежды, даже если бы они двинулись в промышленные города; там и так больше чем надо подобных безработных. За несколько последних лет Аппалачские горы стали в Соединенных Штатах символом нищеты.

За два дня я исколесила этот край, пусть и на небольшом участке, зато вдоль и поперек. Я видела жилища, которые были лучше, чем в колониях безработных довоенной чехословацкой республики, точно такие же и еще невзрачнее, видела лачуги, сколоченные из досок и крытые картоном, видела пристанища в скальных нишах и строения, успевшие прийти в такую дряхлость, что войти в них было рискованно. Нигде во всей Америке не встречалась я с таким подлинным культом Ф. Д. Рузвельта: здесь он воскресал во всех разговорах в наивном подобии отца страны, спасителя, даже полубога. Я разговаривала с группой безработных, занятых на «общественных работах» — они стригли траву вдоль железнодорожной колеи. Эту работу в рамках государственного вспомоществования они получают, если у них есть хотя бы один ребенок до 15 лет, платят им за нее 10 долларов в день, но за месяц они не могут заработать больше 165 долларов, и плату получают не деньгами, а государственными талонами, которые выдает им работник социального обеспечения и которыми можно погасить основные счета — у зеленщика, пекаря и т. д.; на эти 165 долларов должны были жить семьи иногда из семи человек (по официальным данным, прожиточный минимум составляет 250 долларов в месяц на человека). Старые люди получают пенсию около 100 долларов в месяц только в том случае, если работали до 65 лет и соответствующее время платили налоги; поскольку речь идет преимущественно об иммигрантах, приехавших в США после первой мировой войны, а минимальные реформы принесла только эра Рузвельта, и работы они лишились раньше установленного срока, эти люди не получают сейчас ничего. Однажды со мной полдня ездил пенсионер, проработавший здесь более 50 лет, шахтер; после войны он стал надзирателем над 82 шахтами, получал 350 долларов в месяц. По его словам, много было возни с бумажками, и он предпочел вернуться на шахту, где ему платили 1,95 доллара в час. Говорила я с 88-летним поляком, работавшим тут с 1913 года, он сбнимал меня как родную. Пенсию он не получал, зато имел много детей; они были American born *, как он гордо подчеркнул. ушли отсюда, зарабатывают и регулярно его поддерживают. Говорила с 56-летним венгром, он приехал — прямо сюда — почти 40 лет назад, жена его давно

* Уроженец Америки *(англ.)*.

умерла, теперь он был без работы, больной, без средств к существованию. «Если бы я мог уехать домой, чтобы умереть на родине»,— твердил он.

В эпоху, когда libido consummandi *, подстегиваемое и пестуемое системой самых современных средств рекламы и пропаганды, срывает все человеческие запреты, в эпоху, когда всерьез публикуются профессиональные рассуждения о том, как во время телевизионных передач устранить морщины с лица политиков, ибо это отрицательно сказывается на симпатиях общественности, в Аппалачских горах, так же как в некоторых других областях США, бедствуют, голодают и умирают без помощи американские граждане. Рассказывают, что все благие намерения Дж. Ф. Кеннеди в области социальных реформ зародились во время случайного посещения Аппалачских гор, где он был потрясен тем, что так еще выглядят современные Соединенные Штаты. Вероятно, это легенда; но во всяком случае она правильно указывает на один из парадоксов современного американского «государства благоденствия».

РАССУДОК В ТУПИКЕ

Господство расчета придает относительно выкристаллизировавшимся формам американского мещанства особую отвратительность и уродливость, которые помогают почувствовать и понять, как далеко зашло в них уродство человека и человеческих отношений. Увидеть деформации — это прежде всего задача людей искусства, а в нынешних условиях также и философии, психиатрии, социальной психологии, социологии и других общественных наук; но у себя на родине нам и в голову не приходит, что видение Олби, Сэлинджера, Апдайка, Артура Миллера, Гинзберга, точно так же как анализ Маркуса, Фромма, Миллза, Хорни, Мея, Калера, Гудмена и многих других, вероятно, должны иметь какое-то соответствие с обыденной жизнью. Неповторимые черты американского развития, специфика современных отношений в «государстве благоденствия», тот факт, что пока здесь нет сознательной и организованной общественной силы, которая возглавила бы освободительные стремления, позволяют понять известную судорожность, неистовство, отчаяние, радикализм и негативизм протеста, встречаемых нами в определенном теоретическом и художественном отражении. Чем, однако, американская действительность поражает и как-то даже озадачивает постороннего наблюдателя — вероятно, по его собственной вине,— так это преимущественная распространенность и резкость тех же черт в неинтеллектуальных проявлениях протеста. Хотя этот скорее стихийный и эмоциональный бунт не достигает той же степени интенсивности, но именно его причастность к практическому повседневному круговороту придает ему значение, которым нельзя пренебрегать. Мы читаем: «Случай в зоопарке» Олби, «Хорошо ловится рыбка банан-ка» Сэлинджера, «Кролик, беги» Апдайка и порой даже осуждаем деструктивные, индивидуалистические, интеллигентские, безысходные моменты битнического мятежа, но мало сознаем реальную ограниченность перспектив, какие возникают в отдельных проявлениях непокорности в огромном и великолепном механизме, в недостаточной мере видим, что в этих условиях можно прибегнуть лишь к совершенно неожиданному сальто-мортале, не учитываем, что прочное сцепление колес можно разорвать, лишь предприняв безвозвратный и одинокий параболический путь, уводящий из сферы прежних ценностей. Человек годами вращается в общепризнанных рамках привычного жизненного уклада и в предписанных соотношениях, но в один прекрасный день пожилой менеджер во время торгового вояжа встает, убивает выстрелом из револьвера пилота и разбивается вместе с остальными сорока четырьмя пассажирами; в один прекрасный день молодая женщина (ей 21 год) связывается по телефону со своим двадцатитрехлетним мужем, уехавшим в другой конец страны, и во время разговора пускает себе пулю в лоб, так что выстрел слышен на противоположном конце провода; одним прекрасным утром на берегу Чарлз-ривер находят молодого самоубийцу с искромсанной на куски грудью; в другое утро студенческое общежитие на Среднем Западе получает радиограмму с требованием в пять минут очистить верхний этаж во избежание человеческих жертв, требование это выполняют, и сорокадвухлетний наниматель взятого напрокат аэроплана врезывается в здание и разбивается. Однажды человек, до сих пор считавшийся образцовым супругом, душит жену, убивает троих детей и сваливает их трупы в ванной; любящая жена и мать вдруг убивает выстрелами одного за другим своих четверых детей, а пятому ребенку не то удается, не то не удается бежать вместе с ее мужем; как-то в субботу отец привозит детей с обычной прогулки и, отравив их газом, набрасывает описание того, как они умирали. В центральной и местной печати таких случаев десятки: я выделяю их из общего числа убийств и самоубийств как крайний полюс во много раз большего количества одиноких и страшных людей, которые бродят по этой стране, алкоголиков и наркоманов, бывших и нынешних пациентов психиатрических клиник, воспитанников исправительных заведений, эксцентриков разного рода, людей, спасающихся бегством откуда-то или от чего-то в никуда или в самих себя. Вскоре после приезда в США я познакомилась с историей двадцатипятилетнего парня, сына одного из наиболее известных американских психологов, очень талантливого и тонкого молодого человека. Однажды он совершил странный поступок: оставил институт и родителей; его отдали

* Страсть к потреблению *(лат.)*.

на обследование психиатрам. Недель шесть спустя он сбежал из клиники; совершенно исключительная магнитофонная запись, оставленная им для своих друзей (пародия на беседы психиатров с пациентом, в конце концов оказывающимся Гамлетом),— свидетельствует не только о том, что он в полном рассудке, но и о его высокой интеллигентности, образованности, остроумии, о проницательности зрелого человека. С тех пор он путешествует по стране и от случая к случаю выступает в цирке; в Нью-Йорке у него есть приятельница, время от времени он к ней, как правило, возвращается — не способный принять какой-либо образец жизни из тех, которые наблюдает вокруг себя. Спустя несколько месяцев я два дня просидела на заседаниях суда по делам молодежи. Судили пятнадцатилетнюю девушку, которой суд в последний, уже третий раз назначал испытательный срок. Хорошо развившаяся, бледная, изящная, в школе отличная ученица; проступок все тот же — нарушила сухой закон, снова убежала из дому с товарищами, общаться с которыми ей запрещали родители. Родители на вид были типичной мещанской супружеской парой, с безупречной, по данным суда, репутацией. Мать была в выходном платье, с вуалью на модной прическе, изображала из себя обиженную и оскорбленную в своих лучших чувствах, одним словом — заслуживающую всяческих симпатий; отец — невзрачный чиновничек с резиновым галстуком-бабочкой — был несколько растерян и все время успокаивал жену. На многочисленные вопросы, почему она это делает, девушка сперва не отвечала; она держалась на суде так, как будто все это ее не касается; но без подчеркнутого равнодушия или пренебрежения. Потом судья спросил, хорошие ли у нее отношения с родителями. «Нет»,— ответила она еле слышно и, по просьбе судьи, подтвердила это еще раз уже громче, а когда ей был задан дополнительный вопрос, спокойно сказала: «Я потеряла к ним уважение, я убеждена, что мои друзья живут лучше, и в этом все дело, школа тут почти ни при чем». «И это должно было случиться именно с нами»,— воскликнула мать и вынула платок, отец склонился над ней, а девушка больше уже не отвечала ни на какие вопросы, смотрела словно бы сквозь присутствующих, сквозь стены зала суда, сквозь все здание; приговор был ей безразличен, она была как бы вне всего окружающего и едва ли могла вернуться в этот мир.

Перевод с чешского О. МАЛЕВИЧА

Музей Ф. Леже в Бьоте. На фасаде—мозаично-керамическое панно (450 м²). Проект, 1952 г. Осуществлен в 1956—1961 гг.

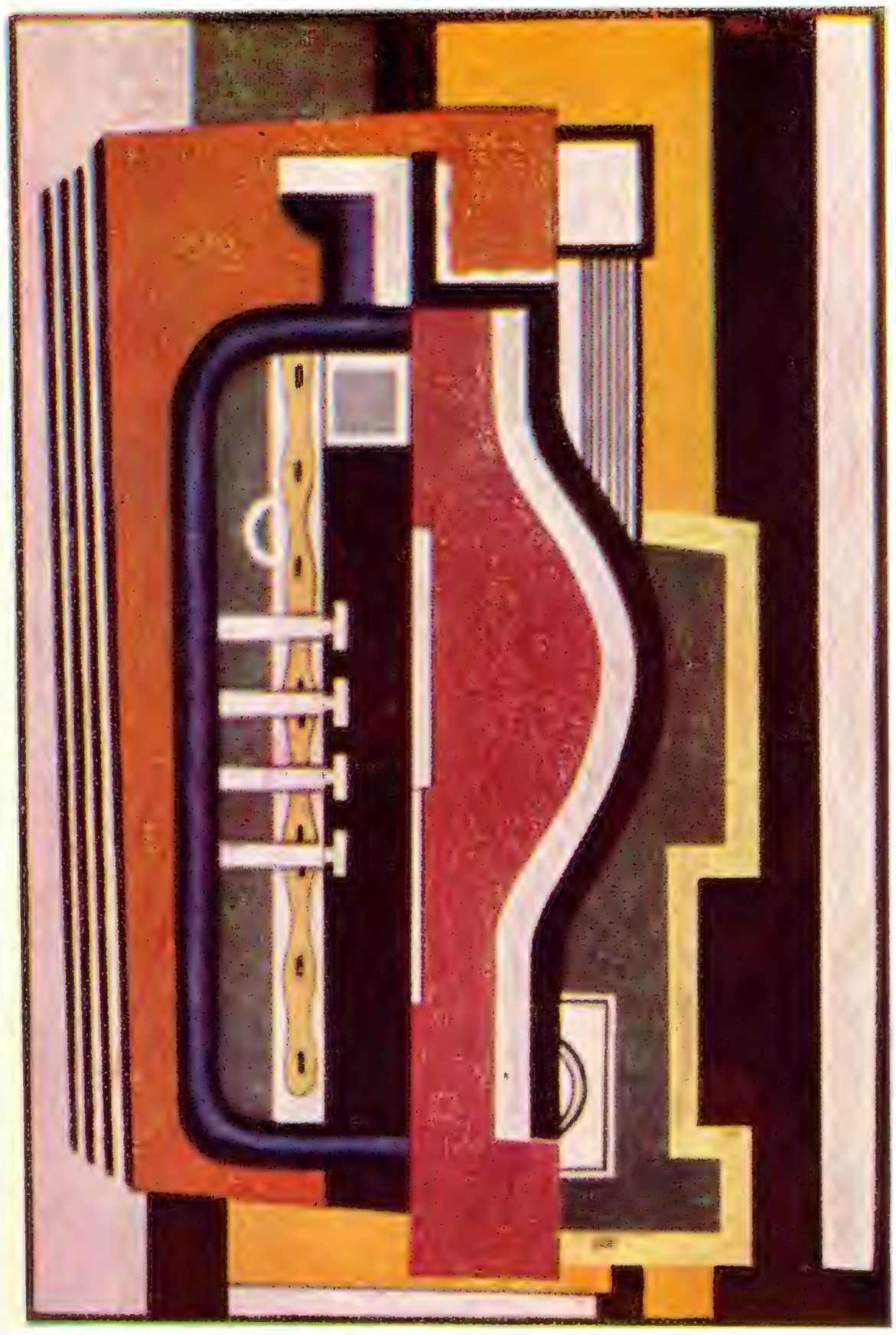
Подсолнечник. Мозаика.
Проект, 50-е годы. Осуществлен в 1966 г.

К статье Л. Жадовой «Фернан Леже».

Акробаты в цирке. 1918 г.

Композиция с тремя фигурами. 1932 г.

Интерьер церкви в Одинкуре с витражами и гобеленом. 1951 г.



Аккордеон. 1926 г.

Детская площадка.
Полихромная
керамическая скульптура.
Осуществлена по макету 1952 г.
в ансамбле Музея Ф. Леже
в Бьоте.

Бабочки.
Фантастический пейзаж. 1937 г.

Ф. Леже с Н. Петровой-Леже.

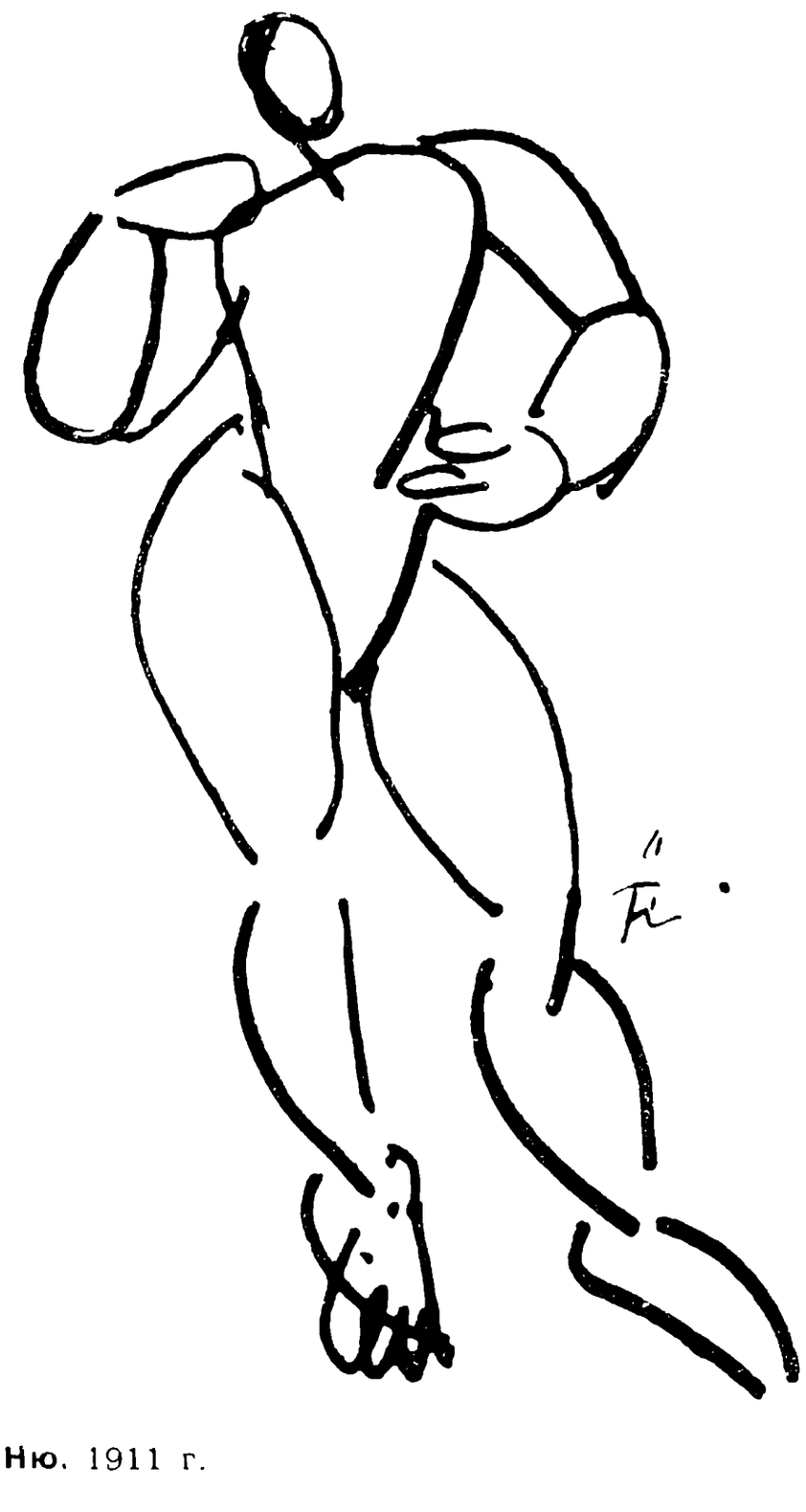
ФЕРНАН ЛЕЖЕ

«Моя цель — попытаться показать, что Красоту невозможно уложить в табель о рангах; всякая иерархия ей противопоказана» — эти слова Леже могли бы стать эпиграфом ко всей его творческой деятельности. Принципиально отрицая иерархию искусств — и теоретически и практически,— он с одинаковой ответственностью большого художника оформлял залы для праздников и писал картины, разрабатывал монументальные мозаики, делал рисунки для книжных иллюстраций, компоновал выставочные плакаты и создавал макеты витражей...

Основа цельности эстетической программы Леже — прежде всего в социальной позиции художника. Он чрезвычайно серьезно относился к общественному назначению искусства. «Художники стоят в настоящее время перед необходимостью откликнуться на потребность времени и работать для нового широкого зрителя... Что они будут де-

---

Ф. Леже родился в 1881 году в Аржантане в Нормандии в крестьянской семье. В 1900—1902 гг. посещал Школу декоративных искусств в Париже. 1914—1917 — фронт, ранение. 10—30-е гг.— выставки в Париже, Берлине, Хельсинки, Нью-Йорке. 1940—1946 — эмиграция в США. В 1946 г. возвращение во Францию, вступление в компартию. Вторая половина 40-х — начало 50-х — выполнение ряда монументальных работ в архитектуре, участие во многих выставках во Франции и за рубежом. Леже умер в 1955 году.



Ню. 1911 г.

лать? И что мы будем делать с народными массами, когда они наконец получат досуг, когда наконец после целых веков борьбы они смогут сосредоточиться, смотреть, размышлять? Сначала им надо дать время для самообразования. Это должно начаться с низших ступеней школы. Дети должны быть окружены красивыми предметами, красивыми картинами. Когда они вырастут, их эстетическое воспитание будет значительно облегчено. Они будут посещать музеи. В их сознание войдет определенная система. Медленно они будут приобщаться к красоте... при условии, однако, что художники, их современники, не приготовят на скорую руку для них упрощенное искусство под предлогом, что оно будет быстрее понято народными массами. Нужно проявить к ним доверие и дать им возможность спокойно развивать свой вкус...» — еще в 1938 году писал Леже. Он всегда утверждал, что трудящиеся массы должны получать от художников не упрощенный вариант искусства в духе так называемой «массовой культуры», а подлинное, большое, гуманистическое искусство. При этом он считал, что проблема воспитания художественного вкуса во всенародном масштабе может быть решена лишь при «осуществлении нового социального порядка». И тем не менее полагал возможным начинать строить новую культуру, создавать новое искусство во Франции уже сейчас. В условиях господства капиталистической системы это было нелегко, и тем не менее все силы Леже были направлены на это.

И. Эренбург, близко знавший Леже с десятых годов, пишет в своих воспоминаниях: «Драма его была в том, что перед ним были стены гостиных, на которых знатоки вешали его картины, а стен новых общественных сооружений он так и не нашел» *. Его мечта — большое монументальное здание с мозаикой, витражами, керамикой. Оно было построено после его смерти. Это музей Ф. Леже и Бьёте в Южной Франции, созданный его женой Н. Леже и его учеником Ж. Бокье.

В одном из писем С. Эйзенштейну Леже с завистью замечал: «Ваше счастье — в обладании социальной профессией, обращенной к массам. Избранность нашего зрителя изолирует нас, художников» **.

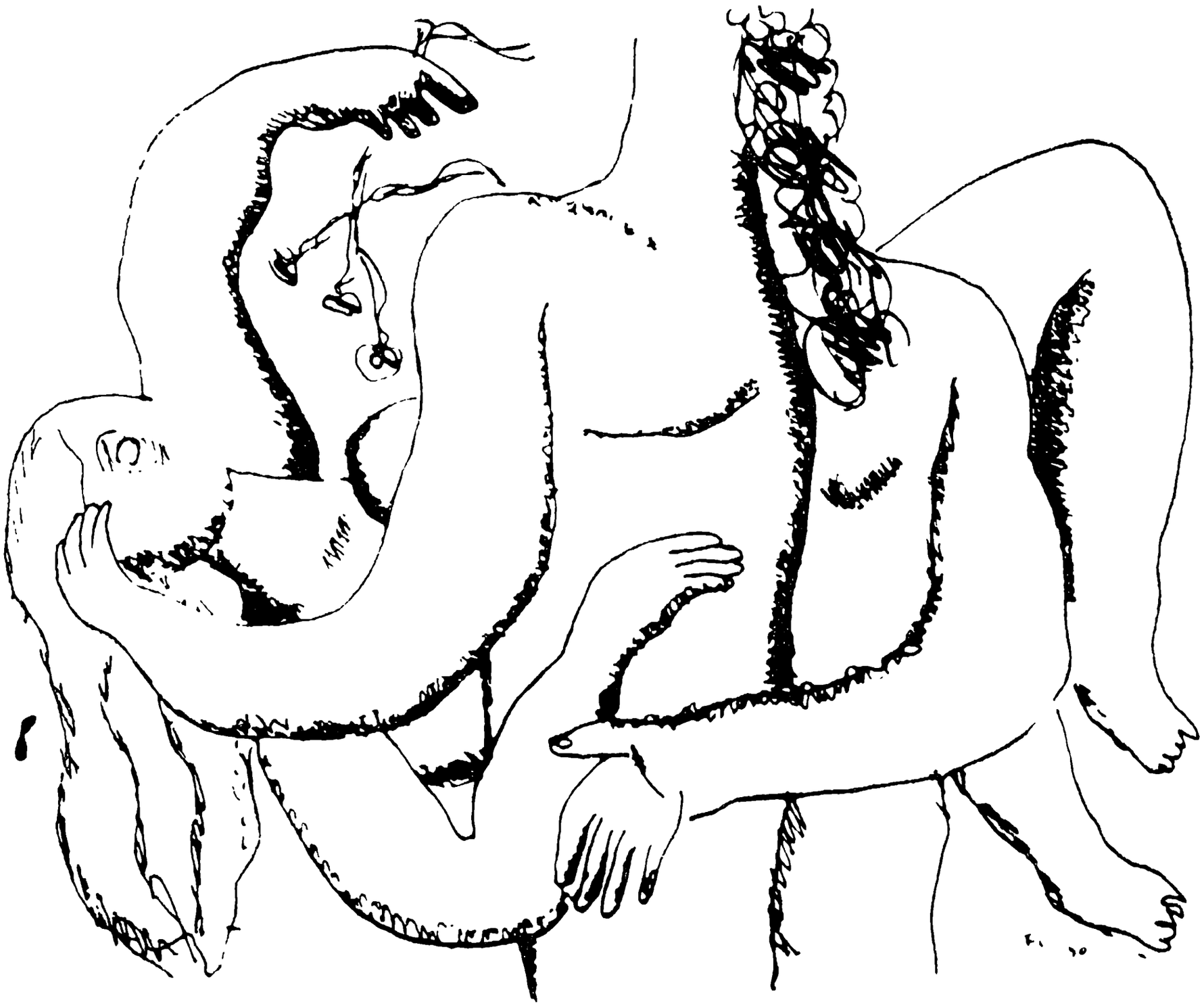
Всю жизнь Леже стремился преодолеть эту изоляцию. Именно поэтому он придавал первостепенное значение монументальным искусствам, связанным с архитектурой,— настенной росписи, мозаике, витражу, керамике... окружающим людей в их повседневной жизни; именно поэтому он интересовался работой художников в кино, театре, полиграфии.

При всех противоречиях в своем творчестве Леже — один из самых больших опти-

---

* И. Эренбург. Люди, годы, жизнь. М., 1961.

** Из письма С. Эйзенштейну от 10 июня 1932 г. Цитата по копии из архива Ф. Леже в музее в Бьёте.



Танцовщицы-акробатки. 1930 г

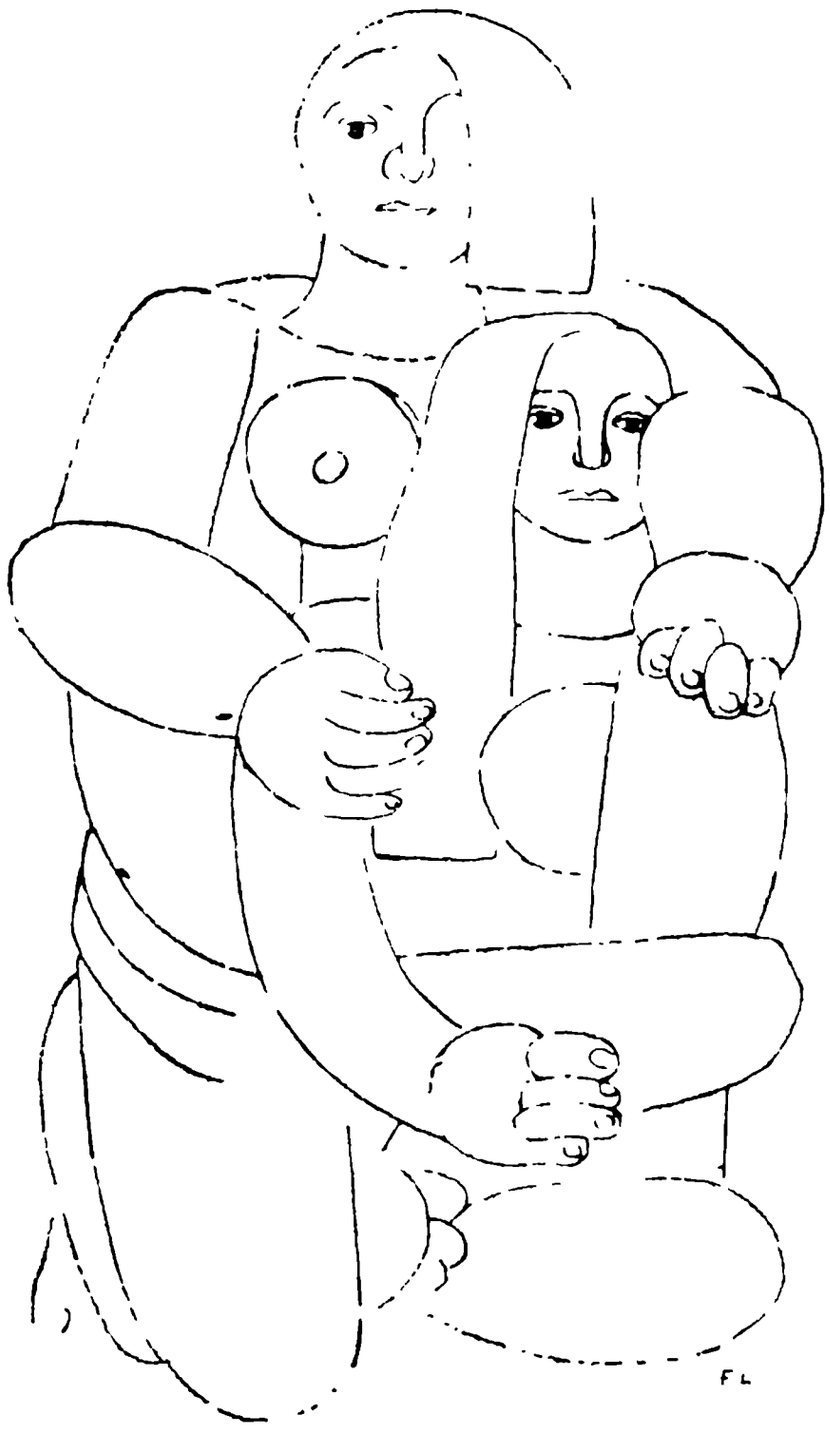


Рисунок для картины «Две обнаженные». 1923 г.

мистов среди художников двадцатого века. Его искусство наполнено мощным, грубоватым жизнелюбием, духовным и физическим здоровьем.

Может быть, чем-то отношение Леже к сложной действительности бурного, предельно насыщенного противоречиями двадцатого века и оказывалось порой наивным и прямолинейным. Случалось, что искусствоведы даже называли его «примитивом двадцатого столетия», и в этом присутствовала доля истины. Но тем не менее положительный пафос искусства Леже несомненно близок нам.

Маяковский в своем очерке «Семидневный смотр французской живописи» в 1928 году писал: «Леже... произвел на меня самое большое, самое приятное впечатление. Коренастый вид настоящего рабочего-художника, рассматривающего свой труд не как божественно предназначенный, а как интересное, нужное мастерство, равное другим мастерствам жизни... Его отношение к российской революции — то же отсутствие эстетизма, рабочее отношение. Радует, что он не выставляет вперед свои достижения и достиженьица, не старается художественно втереть очки своей революционностью, а как-то, отбросив в сторону живопись, расспрашивает о революции русских, о русской жизни... Как только я заикнулся о том, что моих товарищей может заинтересовать его живопись, то увидел не дрожащего над своими сокровищами купца-художника, а простое: «Берите все. Если что через дверь не пролезет, я вам через окно спущу» *.

Творчество Леже развивалось в эпоху сложнейших противоречий, в эпоху грандиозных общественных сдвигов и катастроф, в эпоху войн и социальных, научных и технических революций. Первая половина XX века входит в историю под знаком кризиса одной культуры и зарождения новой. Леже отдавал себе в этом отчет. «Мы живем,— писал он,— в опасную и прекрасную эпоху отчаянного столкновения двух миров: одного — приходящего к концу, другого — лишь зарождающегося. Но за этим лихорадочно тревожным и разорванным фасадом, из этой сложной смеси элементов гибнущего, отжившего и примитивных новообразований робко прорастают несколько цветов. Как будто появляется «новое пространство», в котором двадцатилетние развиваются, находя новые точки опоры».

Леже, Пикассо, Матисс творили в условиях хаотического столкновения, а иногда и победы декадентских тенденций, разрушавших художественную культуру. Конечно, полярно противоречивые силы, порождавшие анархию в искусстве начала XX века, так или иначе, в той или иной мере выражали себя и в творчестве этих крупнейших художников.

И в то же время каждый из этих мастеров в силу масштабов своего таланта возвышается над этим хаосом, стремится к созданию общезначимых эстетических ценностей.

И Пикассо, и Матисс, и Леже хотели не только отражать духовный мир своих современников, но и формировать их чувства и эмоции, активно воздействовать на их интеллект. Они делали это, идя каждый своим собственным, неповторимым путем.

Пикассо шел путем последовательного, удивительного по многообразию художественных «подходов» стремления обнажить драматические коллизии эпохи.

Матисс морально воздействовал на зрителя своей жизнерадостностью, прославлением здорового, непосредственно-чувственного отношения к миру, воспринимаемому им через красоту природы и женщины, солнечного света и красок южного пейзажа.

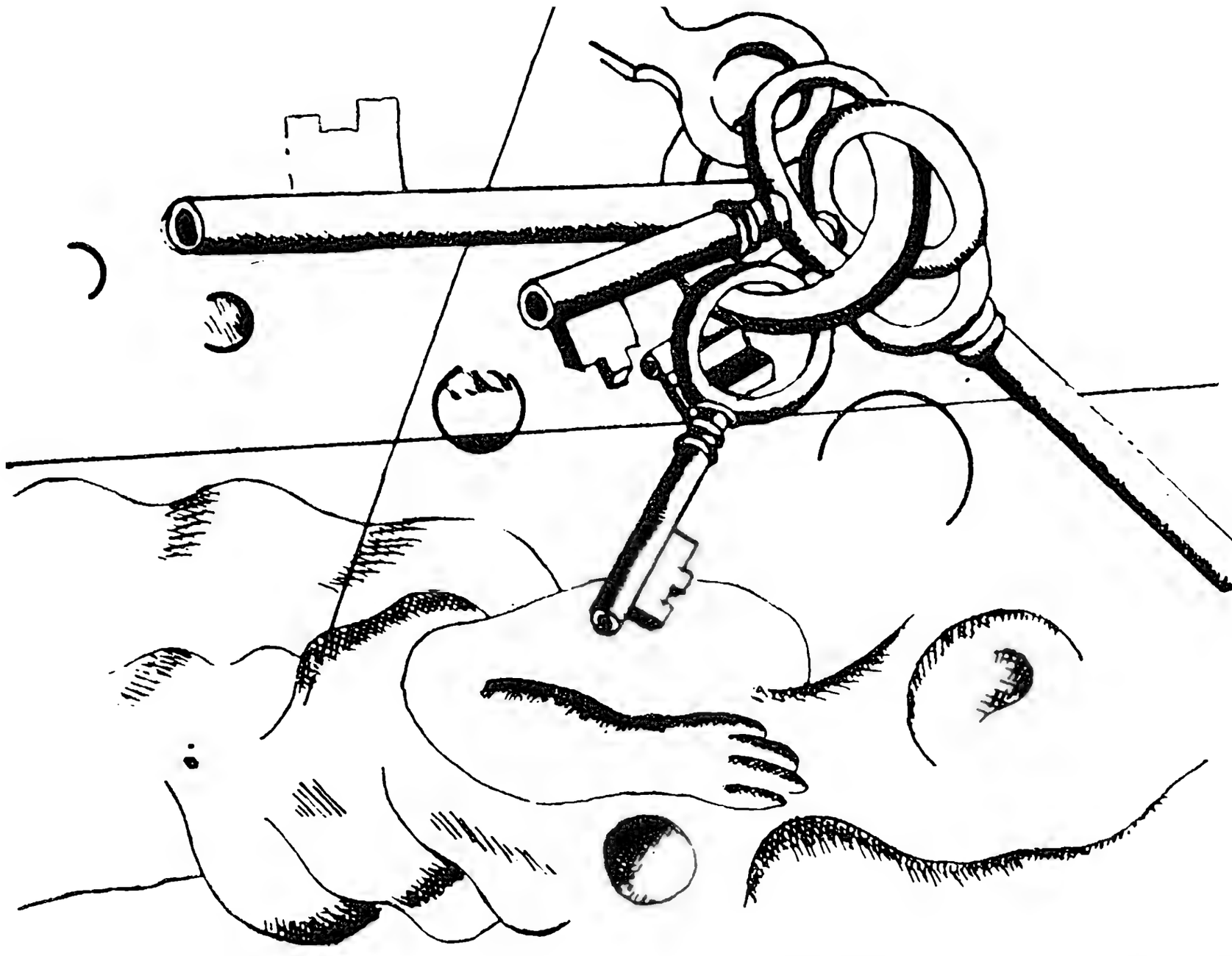
Леже успешно прокладывал иной, свой путь. Он оптимистически показывал красоту современного мира машин и техники, красоту современного города: он уверенно утверждал место человека в этом новом мире промышленной цивилизации. Большую роль играл и принципиальный интерес Леже к монументально-декоративным искусствам, выход за традиционные рамки станковой живописи. Леже хотел формировать не только чувства своих современников: он хотел видоизменить сам материальный мир, саму среду. Леже как бы хотел вмешаться своим искусством в саму «материю» меняющегося современного мира — участвуя в создании новой предметной среды, воздействовать на формирование нового человека, на эмоции своих современников. Леже мечтал о создании принципиально новой материально-духовной культуры, где между производственным трудом людей и их искусством, их художественной деятельностью не было бы той полосы отчуждения, которая характерна для культуры буржуазного общества. Напором своей творческой воли Леже как бы стремился, обгоняя время, продвинуть искусство вперед, в будущее человечества.

В художественный мир XX века, кишащий самыми разнородными и зачастую взаимоисключающими эстетическими взглядами и идеями, Леже стремился внести простое, ясное, здоровое начало гармонии и порядка. Эпическое искусство Леже пронизано спокойствием, уравновешенностью, невозмутимостью, тем французским классическим рационализмом, который сам художник называет «эспри ложик», то есть «логика духа». По словам французского писателя Андре Моруа, это качество объединяет творчество Леже с той традицией классического французского искусства, которая нашла свое выражение в трагедиях Корнеля и романах Флобера, в живописи Пуссена, Давида и Сезанна.

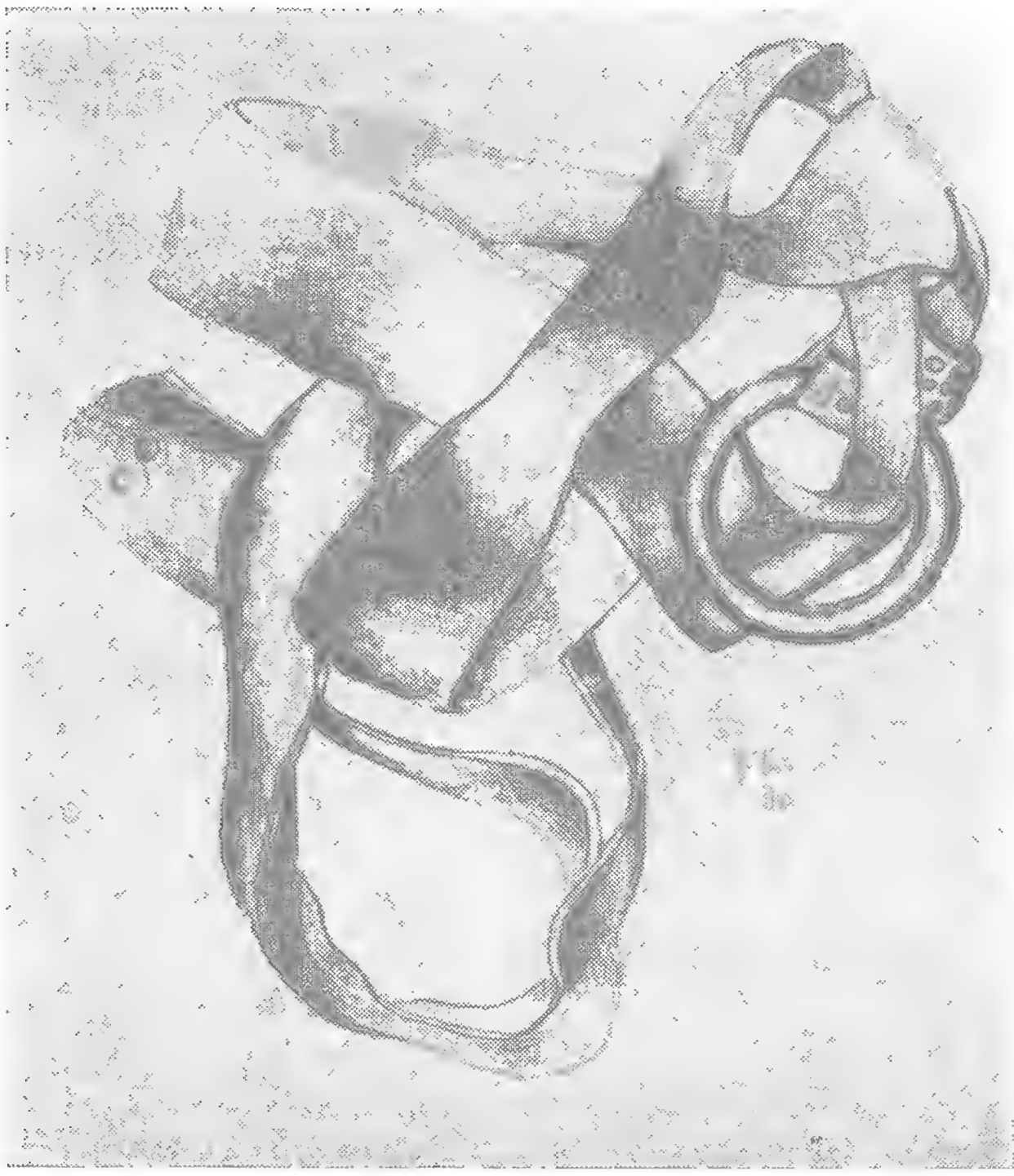
И вместе с тем эта классическая традиция в творчестве Леже получила новое, современное выражение. Ее пластическое развитие связано у него прежде всего с

---

* Примечательно, что в плане журнала «ЛЕФ», приложенном Маяковским к заявлению в Агитотдел ЦК ВКП(б), которое он подал с просьбой разрешить это издание, среди иностранных представителей предполагаемой редколлегии был назван и Ф. Леже.



Композиция с ключами. 1929--1930 гг.



Ремень. 1930 г.

воссозданием в живописи нового мира машин и техники, в которых человеческий труд и разум находят свое наиболее мощное и наиболее очевидное предметное воплощение.

В искусстве новейшего времени Леже знаменит как художник, открывший красоту новой промышленной техники. Он смог это сделать потому, что и сами машины, и изделия, получаемые с их помощью, не существуют для него в отрыве от их создателя — человека.

Многие произведения Леже пронизаны восхищением художника перед человеком — творцом материальных ценностей, строящим заводы и фабрики, изобретающим сложные машины и инструменты, конструирующим автомобили, самолеты, корабли и управляющим ими. Думается, однако, что это восхищение, которое художник сохранил и пронес через всю жизнь, никогда не было бы таким полным и светлым, если бы Леже не ощущал реальности перспектив социального прогресса, обещающего в будущем полную власть человека над техникой. Проблемы технической революции XX века для Леже неотрывны от проблем социальной революции.

С точки зрения Леже, вместе с индустриальными методами строительства жилищ и общественных зданий, новейшей полиграфией, фотографией, кино человек получает принципиально новые возможности для создания массовых эстетических ценностей, для создания «искусства для всех». И свой долг художника он видел в том, чтобы помочь человеку овладеть этими возможностями на самом высоком художественном уровне.

Леже не уходит от решения проблем: техника — человек, техника — искусство. Он не игнорирует «ненавистную промышленную цивилизацию», как это делают многие представители современной западной культуры и искусства. Он не противопоставляет друг другу технику и искусство соответственно широко распространенной ныне формуле о физиках и лириках. За такой формулой, в сущности, прочитывается тезис о непримиримой противоположности между культурой и техникой, искусством и наукой. А это неизбежно приводит к тому, что сама культура начинает пониматься как лекарственное средство от техники, как некий компенсирующий витамин.

Французский философ Ж. Симондон назвал вышеупомянутые теории противопоставления техники и искусства «маской легковесного гуманизма, скрывающей реальность, полную человеческих действий и усилий...» — усилий к преодолению этого разрыва. И безусловно, искусство Леже — одно из таких «усилий», тем более поразительное и действенное, что оно исходит от художника, то есть представителя как раз того мира искусства, которое традиционно считалось лучшим прибежищем от чудищ техники.

Думается, что в этом смысле творчество Леже предстает и как символ связи двух миров — человека и техники, и как реальное проявление этой связи в искусстве. Оно убеждает и в возможности создания «гуманистической техники», и в возможности ее эмоционального осмысления.

На основе понимания мира как единого и могучего целого, в котором под руководством человека-творца гармонично объединяются естественная природа и машины, часто называемые сейчас искусственной, второй природой, возникает пластический эпос Леже с его принципами монументальной образности, формальной декоративно-пространственной системой, общей для всех видов и жанров искусства, в которых он работал.

Сооружение Трансатлантического подводного телеграфного кабеля, появление первых автобусов и такси в Париже, перелеты через Ла-Манш и через Средиземное море, получение первой нержавеющей стали промышленным путем — эти и многие другие важнейшие технические завоевания и изобретения сопровождали юность Леже. На его глазах машины и аппараты появились не только на заводах и стройках, но и на кухнях жилых квартир. Туннели, автострады, вокзалы и аэродромы, нефтехранилища и линии электропередач коренным образом меняли облик пейзажа. Художник с восторгом чувствовал себя в этом мире первооткрывателем. И нужно сказать, что уже на заре научно-технической революции XX века он сумел многое предчувствовать.

Его восхищают индустриальные конструкции, промышленные детали и формы, созданные химиками и инженерами материалы, никогда до этого не существовавшие в природе. Этот мир индустрии уже в ранних работах Леже, несмотря на их в достаточной мере отвлеченный и условный язык, предстает пластическим символом тех коллективных человеческих сил, которые создают все эти огромные материальные ценности. Эти силы ощущаешь и в заполняющих полотна художника мощных объемах цилиндров и труб, как бы силой огромного труда отлитых из неподатливых материалов — бетона, железа, стали; и в колоссальной энергии самих геометрических композиций.

Для Леже, художника XX века, машина не только увлекательное новое зрелище, как это было для английского пейзажиста У. Тернера в начале XIX века,— она не просто вторгается в природный ландшафт, но и может качественно изменить его. Леже понял, что промышленная цивилизация сообщает человеческой культуре новое качество, придает ей новую мощь, новые перспективы. Человек с помощью техники становится для Леже творцом нового мира — мира, в котором принципиально изменяется психологическая оценка расстояний и скоростей; мира, в котором предметная среда беспрестанно преображается и получает все новые импульсы развития.

«Я никогда не имел пристрастия копировать машину. Я изобретаю образы машин, как другие по воображению пишут пейзажи. Механические элементы не являются

для меня ни позой, ни предвзятым мнением, но способом, к которому я прибегаю, чтобы дать чувство силы и могущества»,— писал сам Леже еще в 20-х годах. В этом высказывании была заложена целая программа действий на будущее. Однако сам процесс формирования эстетических идей Леже, а тем более процесс их претворения в его работах был длителен и сложен и нес на себе, особенно на первых этапах, печать многих художественных веяний и заблуждений века.

Научно-технический прогресс и промышленная техника, с начала XX века энергично менявшие облик мира и психологию людей, оказывали большое влияние на формирование и развитие эстетических и художественных концепций новейшего времени. Кубизм с его подчеркнутым рационализмом, с его стремлением «кубизировать», разложить на геометрические, механически четкие элементы все объекты изображения, в том числе и формы живой природы, человека,— производное машинной эры. Еще более очевиден «культ машин» в таких послекубистских направлениях искусства 20-х годов, как неопластицизм (пуризм) и конструктивизм. Представители этих течений ставили перед собой задачу создания новых пластических форм, таких же экономных, «чистых», лишенных всего ненужного, какими им представлялись в идеале машины.

Протестом против этого культа разума и машин было в известной мере обусловлено возникновение таких направлений искусства, как сначала анархический дадаизм, а затем сюрреализм с его иррационалистической философией и поисками объектов изображения в области подсознания.

Эстетическая и творческая эволюция Леже связана со всеми этими веяниями в искусстве то прямо и непосредственно, то косвенно, отдельными гранями.

Для Леже машина — не только один из стимулов творчества, но и любимый мотив изображения. Легко представить себе, как в эпоху кубизма на начальных этапах творчества, почти в детском восторге и преклонении перед «машинной натурой» художник зачастую наивно абсолютизировал ее эстетическую значимость. «Механические элементы» — так называется серия картин Леже, написанных в 10-х — начале 20-х годов. Он механизирует живые формы человеческого тела, уподобляя руки и ноги цилиндрическим трубам, а головы — шарам. Тяжело движущиеся роботы появляются в ранних работах Леже. В фильме «Механический балет»* жесты и движения человеческого тела (ноги, шагающие по лестнице, моргающий глаз...) привлекаются для сравнения и уподобления ритмам вращения колеса, качания маятника, движения рычага...

Передача энергии.
Монументальное панно во Дворце открытий на Международной выставке в Париже в 1937 г.

Клещи. 1934 г.

* В 1924 г. Леже в сотрудничестве с Д. Мюфри снял экспериментальный короткометражный фильм «Механический балет». В этом фильме, который очень понравился С. Эйзенштейну, главные роли «играли» вещи: бутылки, шляпы, манекены, рычаги, качели, колеса, ярмарочные тиры...

Небо Франции. Ковер. Проект, 1942 г. (Осуществлен в 1962 г.)

Этюд руки 1951 г.

Однако уже под влиянием личного «окопного опыта» Леже начинает отходить от своего сугубо механического истолкования мира и постепенно освобождать свою художественную концепцию от безжизненного схематизма. На смену периоду «Механических элементов» приходит период «Оживших пейзажей». Деревья, животные в них переданы еще в геометрически стилизованной, упрощенной манере, но тут уже налицо интерес к живым пластичным формам. Это не значит, что Леже отказывается от эстетического осмысления и передачи современного индустриального мира. Наоборот, в середине 20-х годов он как бы подводит первый итог своим опытам в этом направлении: и теоретически, и практически. Не без влияния идей неоклассицизма и конструктивизма он пишет знаменитые статьи «Эстетика машин» и создает первые живописно-монументальные панно в современной архитектуре.

Однако Леже все менее удовлетворяет трактовка мира как подобия мощной, хорошо сконструированной, но бездушной машины, в которой человек, ее создатель, оказывается лишь одной из «привинчиваемых деталей». Положительная программа Леже начинает конкретизироваться, напол-

Надя. 1951 г.

В. Маяковский и Л. Брик. 1955 г.

няться новыми живыми импульсами. Этот процесс особенно усиливается с 30-х годов в атмосфере общего подъема прогрессивного европейского искусства.

Рационалисту Леже, трезвому, здравому, всегда уверенному и в своих собственных силах и в возможностях человека вообще, философия сюрреализма с его мистическими тенденциями была не только чужда, но и враждебна. Тем не менее значение, которое эстетика сюрреализма придавала чувствам и эмоциям, фантазии и воображению в акте творчества, не прошло мимо внимания Леже, хотя он подошел ко всему этому по-своему, на других эстетических основах.

Общий процесс гуманизации эстетической программы Леже в 30-х, 40-х, 50-х годах ярко выражал себя в интересе к тематическому искусству, к «большим сюжетам» и особенно к образу человека.

Живописно-монументальные панно Леже 1925 года еще носили чисто декоративный характер.

Первые тематические монументальные работы Леже — это четыре панно на спортивные темы для Брюссельской выставки 1935 года и роспись «Передача энергии» для Парижской выставки 1937 года. В творчество Леже властно входит человек.

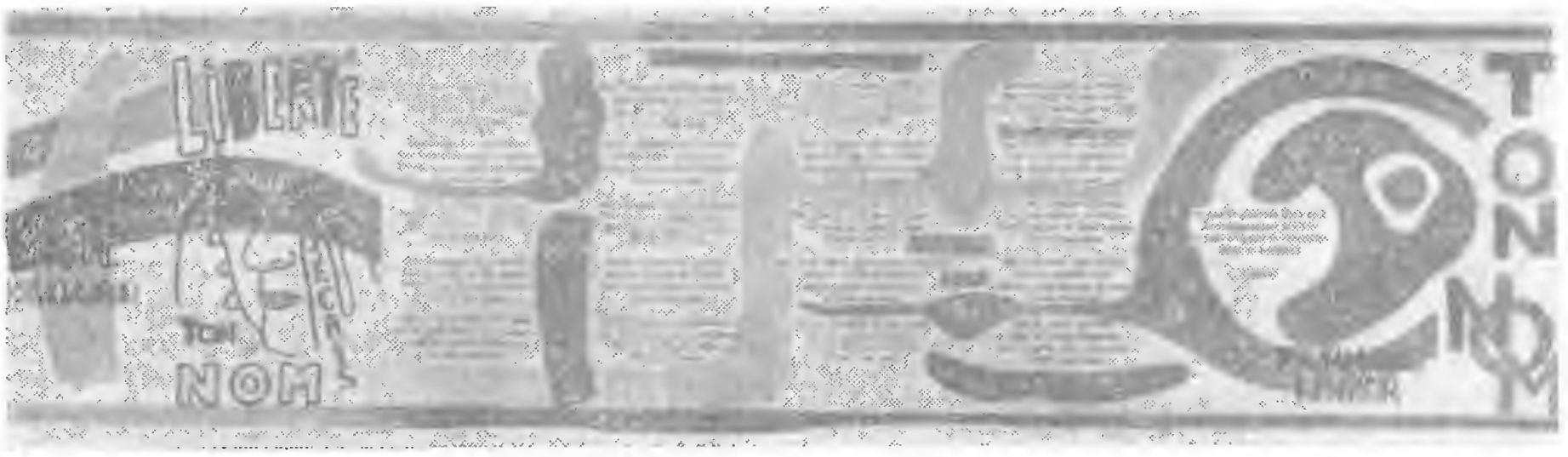
Пластический эпос Леже находит нового героя. Процесс этот был трудным. Леже постигал человека не непосредственно, а как бы опосредованно, через те предметы и формы, которые были созданы при помощи человеческого труда. Он как бы воссоздавал модель человека по его приметам, заложенным в сооруженных человеком конструкциях и машинах, с усилием извлекая человеческую фигуру из мощной, но бездушной материальной среды.

Вначале человеческие фигуры и лица Леже торжественно-застылы, неуклюжи, тяжеловесны. «Раньше я ломал форму человеческого тела. Теперь я принялся ее восстанавливать...» — замечал Леже.

Этот процесс восстановления был целеустремленным. Художник стремился найти новое соответствие человеческой фигуры масштабу тех переворотов, которые происходят на земле в процессе созидания «второй природы». Человек, владеющий техникой, многократно усиливает свои физические и интеллектуальные возможности. Но как показать это в изобразительном искусстве, в трактовке человеческой фигуры?

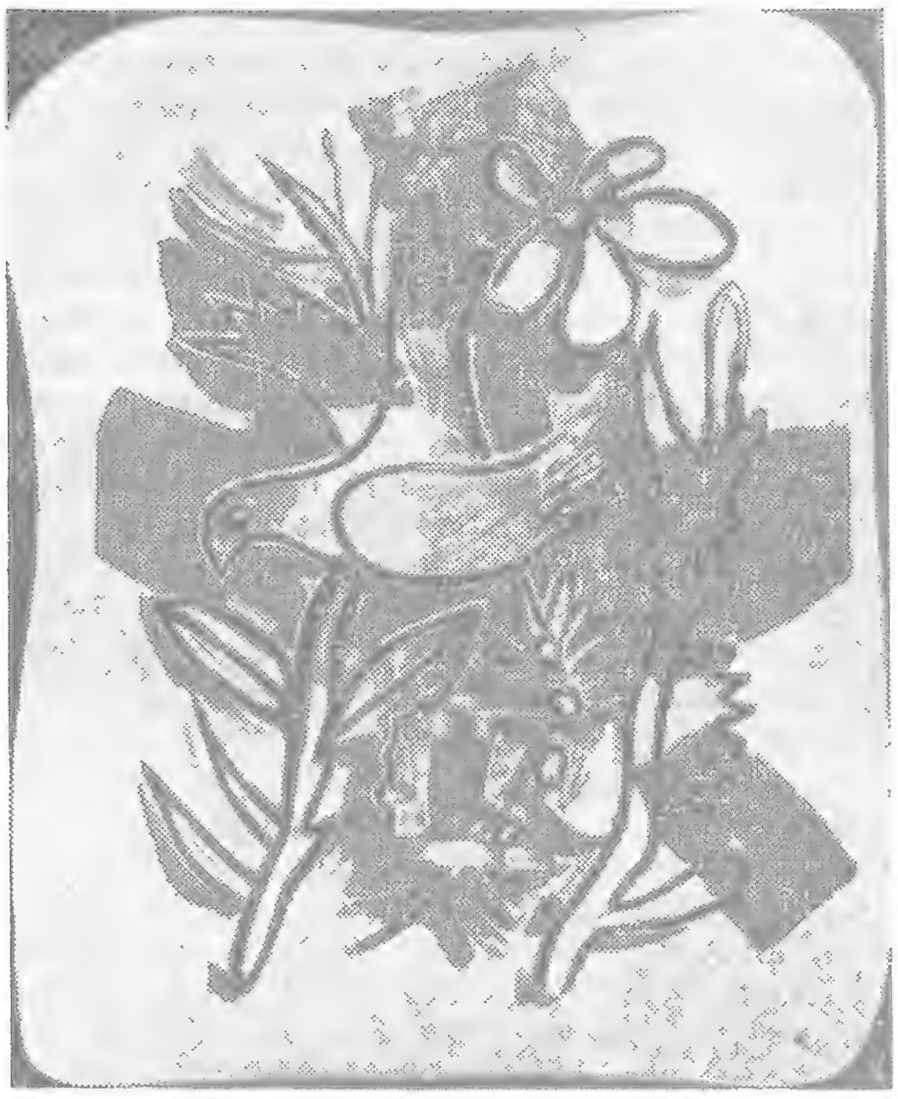
Леже с наивной дерзостью ищет решения проблемы. Он масштабно увеличивает человеческие фигуры, обращается к крупному плану, формы тел обобщает так мощно и упрощенно, что теряется анатомическая точность изображения. Энергия черных толстых линий, резкая рельефность изображения, яркая цветность — все направлено к тому, чтобы создать новое пластическое представление о человеке. «Он

Натюрморт с сумкой. 1951 г.



Оформление поэмы П. Элюара «Свобода — имя твое». 1947 г.

Птица на ветке с цветком.
Полихромный керамический рельеф. 1954 г.

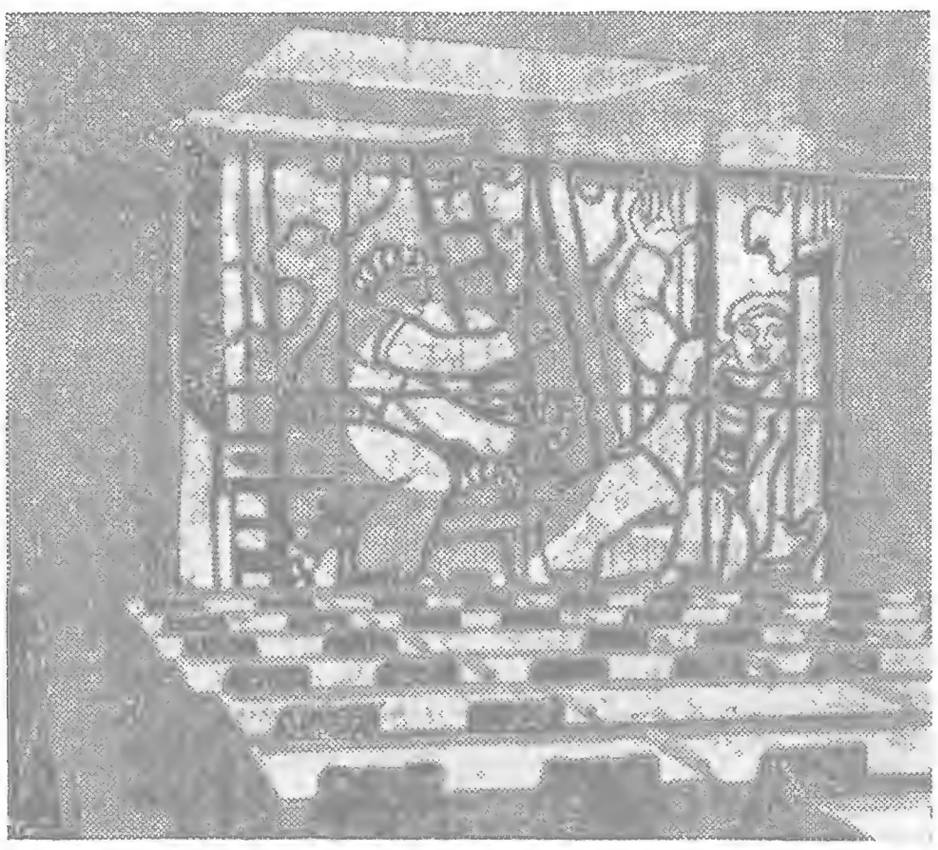


хотел видеть человечество более великим, более свободным, более счастливым. Он дал ему в своих полотнах новое измерение»,— писал Морис Торез в предисловии к каталогу выставки Леже в Москве.

Образ человека в творчестве Леже становится все одушевленней. Две серии картин и графических эскизов на темы отдыха и труда рабочих 40—50-х годов являются своего рода завершением этого процесса. Герой Леже, прежде стоявший за отвлеченными формами его машинных построений, появляется на первом плане как главный творец нового мира. «Строители» — это энергичный и радостный апофеоз труда. Контраст геометрии стальных лесов, устремляющихся в голубое небо, и живого ритма движений работающих людей очень выразителен. Человеческие фигуры трактуются гораздо более свободно и динамично, чем раньше.

Коллектив людей, захватывающий ритм их работы, ее слаженность и разумная организованность привлекают главное внимание художника. Фигуры строителей — это уже не статичные гиганты: именно люди господствуют здесь над конструкциями, а не наоборот.

Строители. Витраж в интерьере зала Института М. Тореза в Париже.



Одна из гуашей, выполненная в период работы над «Строителями», послужила макетом для известного гобелена Леже «Строители с алоэ», другая легла в основу витража, установленного весной 1967 года в Институте М. Тореза в Париже.

Работая над картинами «Досуг» и «Строители», Леже осуществляет массу подготовительных эскизов и рисунков. Великолепно, например, сделаны с натуры рисунки рук рабочих. Натруженные, чуть-чуть деформированные тяжелым трудом и вместе с тем одухотворенные, они сами по себе могли бы стать эскизами монументальных произведений. Примечательно, что именно эти рисунки рабочих рук послужили Леже для графического обрамления написанного им тогда же стихотворения «Руки строителей», посвященного памяти Маяковского. Представление художника о силе поэзии Маяковского ассоциировалось с этими одухотворенными руками трудовых людей. Когда смотришь на эти руки, невольно вспо

Танец. Ковер в интерьере Французской синематеки. Макет, 1953 г. (Осуществлен в 1960 г.)

минаешь строки Маяковского: «Мой стих трудом громаду лет прорвет...»

Большое место в монументально-декоративных работах и эскизах Леже, созданных и выполненных в последние годы жизни, занимает человеческое лицо. Все чаще оно является главным объектом изображения. Оно на мозаиках («Мать и дитя», «Радость жизни»), на настенных керамических рельефах («Женщины с попугаем в пейзаже»), на коврах («Лицо на голубом фоне»). Примечательно, что художник начинает интересоваться портретом: портрет Поля Элюара, 1947 г. (один из набросков его стал основой гобелена), портрет Н. Леже, 1951 г., портрет Анри Мартена, 1952 г., двойной портрет В. Маяковского и Л. Брик, 1955 г. Представляется, что эти работы — оригинальный вклад в портретное искусство современности. Леже не интересовался психологией, он безусловно искал характерности. Однако характерность для него была органически слита с его идеалом нового типа человека. Кого бы ни портретировал Леже — людей искусства или простых тружеников,— они одинаковы в их главном для него человеческом качестве: это люди дела, труда, мастерства, создатели всех — и материальных и духовных — ценностей жизни. Недаром художник так любит изображать то лицо, охваченное ладонями рук, то лицо с одной рукой, свободно положенной на лоб или щеку. Лицо и руки для Леже — это как бы пластический символ разума и физического труда.

Броский, лаконичный монументализм портретов Леже не спутаешь со стилем никакого другого художника. Печать Леже лежит на всех созданных им человеческих образах. Лица — и портретные, где обычно точно схвачена главная черта индивидуального сходства, и непортретные — тем не менее чем-то поразительно похожи одно на другое. Их сходство — в физическом и моральном здоровье, в нравственной силе. Характерен и типаж, излюбленный художником. Его привлекают чистые и грубоватые линии красивых простонародных лиц.

Во второй половине 30-х годов в творчестве Леже появляются очень интересные полуреальные-полуфантастические композиции, такие как «Композиция с алоэ» (1937) или «Бабочка и цветок» (1937). Излюбленные Леже «механические элементы» как бы натурализуются, романтически трансформируются в своеобразные символы. Могучая конструкция, завязанная гигантским причудливым узлом-бантом, отдаленно напоминает крылья бабочки. Изогнутые, вытянутые вверх металлические балки, похожие на криволинейные лопасти локаторов, раскачиваемых ветром, уподобляются гигантски разросшимся листьям алоэ.

В этих произведениях силой таланта и воображения художника происходит как бы взаимопроникновение, синтез мира техники, созданного человеком, и вечного мира природы. Причем в природе его в данном случае больше всего интересует живое органическое начало, близкое миру человеческой жизни. Если в ранних работах Леже даже человек превращался в сумму машинных деталей, теперь, наоборот, самые, казалось бы, неподатливые металлические конструкции становятся подобием неких органических существ.

Показательно, что Леже вновь с пристальным вниманием изучает натуру. Он пишет пейзажи, делает наброски, выявляющие форму древесных стволов и ветвей, и крупноформатные, как бы увеличенные под микроскопом рисунки древесной коры, крыльев бабочки. При таком подходе к привычным глазу растительным и анималистическим формам они зрительно предстают с неожиданной стороны. Художника интересует формообразование материи. В ее бесконечной изменчивости он стремится найти определенные закономерности, ритмы движения и роста. «Я изучаю то, что меня интересует,— например, камни, листья деревьев, насекомых. Я гуляю, смотрю, собираю. Потом я рисую с натуры. Часто я использую лупу. Я исследую форму, я ищу ритм»,— говорил он сам.

Эти натурные штудии Леже сыграли большую роль в создании его фантастических пейзажей. Вновь рожденная красота техники и гармония природы являются в них в новом сильном и выразительном пластическом единстве, блистающем самыми свежими и яркими красками. Это как бы романтический символ будущей гуманизированной промышленной техники. Даже удивительно, как пришел Леже к такому ощущению общности техники и человека в буржуазном обществе, где они столь часто

и столь пессимистически противопоставляются.

Быть может, не сразу понятные, но чрезвычайно активные по своему эмоциональному воздействию пейзажи Леже оплодотворили большинство монументально-декоративных работ и проектов художника.

Мощные аккорды красочных пластических форм, почерпнутых из его фантастических пейзажей, можно увидеть и в мозаиках здания «Газ де Франс», и в росписях зала ООН, и в витраже университета в Каракасе, и в витражах церкви в Оденкуре... И конечно, они поражают на фасаде музея Леже. Эти же формы и на многих коврах Леже — таких как знаменитый гобелен «Небо Франции», задуманный в период оккупации страны в 1942 г.

Керамическая полихромная скульптура-метаморфоза «Шагающий цветок» тоже связана с этими фантастическими пейзажами. Отсюда же и причудливые формы цветов-моторов, цветов-пропеллеров, цветов-пламени, стеблей-подсвечников...

А бабочка и листья алоэ материализовались в объемы уникальной керамики «Детская площадка», стоящей на территории музея. У подножия керамики — бассейн и песочница, а к разноцветным изогнутым пилонам подвешиваются качели.

Весь ансамбль музея с его мозаиками, витражом, керамикой — это осуществленная в реальном пространстве фантазия Леже, шагнувшая сюда с полотен и картонов. Это и контраст человеческого творчества с природой Средиземноморья, с ее вечнозелеными кипарисами и блистающим солнцем, и в то же время явление новой гармонии, гармонии искусства и окружающего мира современной человеческой жизни.

«И сейчас Леже наиболее современный художник... И сейчас, через восемьдесят лет после рождения, его картины впереди нас». Эти слова известного прогрессивного английского искусствоведа П. Берджера не просто громкая фраза. Ее истинность все реальней подтверждается после смерти Леже, с каждым годом все шире, одна за другой, осуществляются монументально-декоративные работы по его эскизам.

Монументально-пластическая концепция Леже как бы заключает в себе потенциальные силы развития.

Л. ЖАДОВА

Цветок-пламя.
Полихромная керамическая скульптура.
1952 г.

МЕРА ЗРЕЛОСТИ

Не только в опусах буржуазных критиков, глумящихся над позитивным содержанием социалистической литературы, слова «положительный герой» берутся в иронические кавычки и право на существование признается исключительно за «антигероями». Скептическое или подозрительное отношение к положительному герою без всяких кавычек еще бытует и в литературной критике социалистических стран. И далеко не всегда это объясняется чуждыми влияниями или заразительным снобизмом. Иногда это — принимающая уродливые формы или выливающаяся в полемические «перехлесты» реакция на сусальность, ходульность, навязчивую дидактичность тех образов, которыми в свое время изобиловали поделки так называемой «лакировочной» литературы. Но есть и еще более глубокая, так сказать, объективная причина этого скептицизма по отношению к положительному герою: она коренится в самой сложности его художественного воплощения. Как замечает по этому поводу польский критик Вацлав Садковский в статье «Мера зрелости», опубликованной в «Трибуна люду»,

> «то, что художнику особенно близко и дорого, что полностью владеет его чувствами, бывает вместе с тем труднее всего показать и выразить с той степенью убедительности, которая была бы способна передать читателю накал творческой страсти. Крупнейшие мастера слова часто терпели в этом плане поражения, и значительная часть дорог, ведущих в ад, по которым бредет постоянный читатель художественной литературы, вымощена именно этими слишком благими намерениями, которым не хватало художественной убедительности».

И все же на всем протяжении истории, от шумерского Гильгамеша до революционной литературы нашей эпохи, не иссякал спрос на положительного героя.

> «Огромный поток литературных произведений,— пишет В. Садковский,— получал признание и широкий общественный резонанс именно на основе удовлетворения потребности, более того — жажды фигуры, способной стать образцом и идеалом, который без недомолвок и фальши равно разделили бы писатель и читатели».

В наши дни эту общественную потребность, эту благородную жажду этического идеала в его художественном воплощении удовлетворяет прежде всего та литература, которая вдохновляется исторической эпопеей революционного переустройства общества,

> «от классической «Матери» до новейших произведений типа «Живых и мертвых» Симонова, где два главных героя — Серпилин и Синцов — олицетворяют огромный духовный опыт, накопленный советским народом в трагические годы войны, до произведений Арагона, Анны Зегерс, а у нас — Кручковского».

Но и в творчестве писателей, далеких от социалистического мировоззрения, отмечает В. Садковский, наиболее значительные художественные явления порождены стремлением предложить читателю образец более достойного человека отношения к окружающему миру:

> «Надо вспомнить о воинствующем гуманизме Роберта Джордана из романа Хемингуэя «По ком звонит колокол» и о Гете — положительном герое «Лотты в

Веймаре» Томаса Манна, вершащем суд над драматической историей своего народа с высот ее всеобъемлющего познания. Наконец, следует вспомнить положительного героя такой горькой, классической для экзистенциалистского понимания судьбы человека книги, как «Чума» Камю: доктор Риё является в ней носителем тех остатков надежды, которая заставляла Камю писать и вообще жить в мире, охваченном «заразой».

В этой жизнеспособности положительного героя, подчеркивает В. Садковский, несомненно есть своя идейная и эстетическая закономерность, не следует только ее абсолютизировать и механически переносить на все факты и все литературные ситуации.

Литература нередко ставит вопросы, на которые еще не находит ответа, и не всегда от нее можно этого требовать. В таком случае ее значение в том, что она будит умы и стимулирует поиски решения этих наболевших общественных проблем. Но вместе с тем литературе свойственно и стремление предложить свои ответы на «проклятые вопросы» — пусть частичные, гипотетические или рабочие, но обогащающие и расширяющие общественный опыт.

«Функцией литературы в равной мере является как отрицание и протест против решений упрощенных, банальных, знаменующих застой, так и соучастие в выработке конструктивных решений, в равной степени ошибаются и те, кто пренебрегает «литературой вопросов», и те, кто не доверяет «литературе ответов».

Диалектический характер литературного творчества и его общественного содержания, пишет В. Садковский, необходимо иметь в виду, подходя к проблеме положительного героя. Иначе невозможно оценить по достоинству, например, творчество целой плеяды современных американских писателей, которые, обнажая слабость и ничтожество своих героев, ниспровергают таким образом мифы и иллюзии, характерные для руководствующегося законами джунглей буржуазного общества.

«Отсутствие положительного героя в этих книгах свидетельствует о критическом отношении автора к ходовым идеалам «американского образа жизни», впрочем, свидетельствует оно и об одиночестве этих писателей, не умеющих найти носителя идейных и моральных ценностей, способного противостоять пустоте и лживости окружающей их действительности».

Однако идейная общность, которую можно установить между произведениями, исполненными протеста и отрицания фетишей и оков, по мысли Садковского, несравненно менее отчетлива и прочна, чем общность гуманистической основы тех произведений, где в образах героев воплощены человеческие надежды и поиски идейных и моральных ценностей: не всякий протест, не всякий крик боли и гнева действует в масштабах общества в пользу освобождения и очищения человека, тогда как художественно убедительный образ положительного героя неизменно олицетворяет в литературе ценности, прошедшие общественную проверку.

Но эта художественная убедительность, подчеркивает Садковский, не может быть достигнута путем рассудочного комбинирования и дозирования определенных ингредиентов — героических доблестей и человеческих слабостей, величественного и смешного: «пресловутая «капля под носом» не оживит и не очеловечит уродца, созданного в инкубаторе путем искусственного осеменения, а не в горниле живой фантазии художника». Тут весь вопрос не в удачном приеме или замысле, а во внутренней убежденности, в горении страсти, в глубочайшей «завербованности», то есть партийности в истинном и широком понимании этого слова.

«Тут нельзя уклоняться от ударов, соблюдать дистанцию, «смотреть с прищуром» — надо завербоваться и взять на себя ответственность за своего героя, надо попросту всем сердцем смело включиться в созидание мира, согласно собственной фантазии, собственным чаяниям и надеждам. Придется подставить себя под удары противников, это верно, но ведь нет для писателя более ценной награды, чем полнейшая солидарность читателей с его героями и с ним самим».

Вот почему, считает В. Садковский, именно положительный герой — его художественная полнокровность, его интеллектуальная и моральная зрелость и радиус его влияния на читателей — является «мерилом зрелости и социалистической завербованности нашей литературы».

Н. Н.

МЯТЕЖ В ШПРИНГЕРОВСКОЙ ИМПЕРИИ

Общественное мнение Западной Германии за последнее время живо заинтересовалось своим собственным происхождением, вопросом о том, кем и как оно информируется и формируется. Началось все, так сказать, на самой кухне: издатели западногерманских газет и журналов забили тревогу по поводу того, что за несколько послед-

них месяцев в связи с финансовыми затруднениями прекратили свое существование более 40 газет. Выяснилось, что это не случайность, а явно прогрессирующая тенденция и что ее основное направление — концентрация газетного дела в руках нескольких крупнейших издательских концернов и отмирание менее крупных изданий согласно закону капиталистической конкуренции. Кризисные явления в западногерманской экономике самым непосредственным образом отразились на газетно-журнальной сфере, вызвав резкое сокращение отделов объявлений и лишив прессу главного источника финансовых поступлений. Известный издатель Аксель Шпрингер драматически воскликнул: «По Германии бродит призрак газетной смерти». Естественно, что подобная перифраза вызвала в царстве буржуазной прессы самые тревожные ассоциации.

Экономические опасения были подкреплены и социально-политическими соображениями. Эти последние были наиболее четко сформулированы католическим журналом «Манн ин дер цейт»: «Свободе печати угрожает опасность задохнуться в джунглях газетных смертей, концентрации и манипулирования общественным мнением».

Дальнейшие изыскания причин этого явления показали, что именно г-н Аксель Шпрингер имел меньше всего оснований бить тревогу. Популярный еженедельник «Шпигель» привел в высшей степени интересные статистические выкладки, свидетельствующие о том, что массовая эпидемия, охватившая западногерманскую прессу, отнюдь не затрагивает этого самого могущественного издательского концерна ФРГ, а, напротив, идет ему только на пользу. На кружках-диаграммах, дающих схему концентрации газетного дела в ФРГ, ширококрылыми бабочками расположились шпрингеровские издания (числом — 18, тиражом — 16 миллионов экземпляров). Если 45 крупных газет ФРГ занимают 73% общей площади в диаграмме, то 41% идет за счет шпрингеровского концерна. Особая диаграмма приводит данные о распространении газет бульварного толка: в этой обширной в Западной Германии епархии двум шпрингеровским иллюстрированным изданиям — «Бильд» и «Бильд ам зоннтаг» — принадлежит больше трети всей площади. Своим выкладкам «Шпигель» предпослал в качестве эпиграфа слова известного журналиста Пауля Зете: «Свобода печати есть свобода двухсот богатых людей распространять свое мнение».

Специальные данные о бульварных изданиях приведены журналом «Шпигель» не случайно: они дают представление о сфере и направлении интересов шпрингеровского концерна. «Шпигель» подкрепляет эти цифровые выкладки знаменательными выводами о содержании шпрингеровских изданий:

> «Ни в какой другой западной стране один человек не обладает даже приблизительно подобной властью в газетном мире. И никто другой так последовательно не использует свои издания для того, чтобы вдалбливать своим читателям готовые мнения. В газетах Шпрингера либеральность и терпимость рассматриваются как симптомы упадка, в них насаждается подозрительность по отношению к интеллигенции и студенчеству, проповедуются воинствующий антикоммунизм и национализм. Все темное, что есть в Федеративной Республике,— неофашистские настроения, солидарность с полицией, избивающей демонстрантов или стреляющей в них,— все это постоянно поощряется и вдохновляется шпрингеровскими газетами».

В журнале «Франкфуртер хефте» напечатана статья Герта фон Паченского, тринадцать лет сотрудничавшего в гамбургской газете «Вельт». Паченский, еще в 1960 году отказавшийся по принципиальным соображениям от сотрудничества, хорошо помнит, как Шпрингер, купив в 1953 г. эту газету, вскоре потребовал от всех, кто ее делал, чтобы они стали мастерами фальшивок.

> «Последовал запрет каких бы то ни было дискуссий о разрядке международного напряжения. Началась фальсификация истины, выбрасывание из сообщений того, что считалось ненужным, раздувание незначительного, умаление значительного...»

Все это, как подчеркивает журналист, делалось сначала в интересах Аденауэра, потом в интересах «большой коалиции». Впрочем, Шпрингер имел в виду прежде всего свои собственные интересы. Об его умении извлекать выгоду из всего, чего угодно, свидетельствует, например, тот приводимый Паченским факт, что недавно шпрингеровская «Бильд-цейтунг» широко и пышно рекламировала... дом терпимости, а также одну из дам, рассчитывающую, по ее словам, зарабатывать в только что открывшемся заведении «от 300 до 400 марок за ночь». В общем, Аксель Шпрингер делает все что хочет в своем берлинском 20-этажном доме, в своих гамбургских владениях, в своей «империи». Паченскому, употребившему это выражение, ясно, что самодержавная власть Шпрингера поддерживается теми, кого он поддерживает,— правящей кликой ФРГ.

Недавно шпрингеровский концерн выпустил очередную фальшивку, цель которой заключалась в том, чтобы скомпрометировать старейшего немецкого писателя Арнольда Цвейга. Ему, добровольно избравшему своей родиной Германскую Демократическую Республику, приписывали, по поводу ближневосточного конфликта, такие высказывания, которых он никогда не делал. Арнольду Цвейгу не трудно было доказать, где правда и где ложь, но сам по себе факт безнаказанной клеветы — разумеется, не первый и не

последний для шпрингеровской прессы — не прошел незамеченным: он вызвал возмущение. Правда, Шпрингер попытался сделать вид, будто он — не клеветник, а оклеветанный. Однако кто в это поверит? Паченский, например, заявил, что он готов, если будет процесс, выступить свидетелем против Шпрингера.

Возмущение Шпрингером и его прессой нарастало.

Западногерманские студенты устроили бурную демонстрацию перед стендами шпрингеровских издательств на книжной ярмарке во Франкфурте-на-Майне, требуя «выгнать Шпрингера», называя его вместо Акселя Адольфом; после вмешательства полиции уборщицам пришлось выметать клочки шпрингеровской газеты «Вельт», многочисленные экземпляры которой были демонстративно порваны студентами. Студенты же устроили манифестацию перед зданием, где проходило очередное ежегодное собрание писателей «Группы-47»; требования студенчества были в высшей степени радикальными — или распустить группу, если она, не принимая участия в событиях, докажет свою общественную несостоятельность, или «экспроприировать Шпрингера». Писатели растерялись, но группу не распустили, а призыв «экспроприировать Шпрингера» приняли вполне серьезно. В последний день заседаний писатель Рейнхард Леттау зачитал подписанную членами группы резолюцию, в которой они заявляли не только о своем отказе печататься в изданиях шпрингеровского концерна, но и просили своих издателей не печатать никаких сообщений об их книгах в газетах Шпрингера. О своей солидарности с писателями «Группы-47» уже заявили издатель Клаус Пипер и сотрудники издательств Зуркамп и Ровольт — литераторы Унсельд, Раддац и Вагенбах.

Трудно сказать, чем окончится эта история для г-на Шпрингера. Ясно одно: общественное мнение Западной Германии не желает более мириться с монополией на информацию, фактически означающую дезинформацию. Это уже обнадеживает.

А. КАРЕЛЬСКИЙ

ИЗДАНО В СССР

ТАК ПОЕТ ПАБЛО НЕРУДА

Пабло Неруда. Птицы Чили. Перевод с испанского О. Савича. Редактор Н. Любимов. Москва, «Прогресс», 1967. 79 стр.

Я, парагвайский поэт, держу в руках русское издание книги моего чилийского друга Пабло. И я думаю: есть поэты, которые пишут стихи по вдохновению мгновенному, и есть другие, взволнованные большой идеей, они создают книги и стихотворные циклы. Испанец Гутьеррес де Сетина известен одной только песней, в то время как Виктор Гюго охватил много тем и передал их глубокими стихами.

Неруда принадлежит к поэтам подобного склада. Никогда его творчество не было нагромождением отдельных стихов, в нем отразилась вся гамма его огромного жизненного опыта.

В его «Двадцати поэмах о любви» стихи, как молнией, пронизаны от первой до последней строки переживаниями влюбленного подростка Кажется, что исчерпан весь жизненный опыт поэта. У этих стихов не может быть продолжения. Все, что он напишет, будет простым повторением. Лучше молчать. Но жизнь идет вперед, и поэт избирает другой путь. И вот уже его подросток почувствовал боль открытой раны, мучительное беспокойство и страх. Он надел страшную маску, на его лице застыла гримаса мрачного страдания.

Второй большой цикл стихов Неруды называется «Пребывание на земле». Выросло изломанное и болезненное растение, в душе поэта властвует идея быстротечности жизни. Казалось бы, закончена песня и исчерпал себя певец. В последних страницах «Пребывания на земле» все заканчивается: и страсть, и мертвящее, мрачное видение мира, и вроде бы больше нечего сказать. Стихи, как и душа, кровоточат — капля по капле, до последней.

Но Испания его потрясла.

Как большая рыба, избегая опасности, обходит подводные камни, так Неруда избирает другое направление. Медаль обернулась другой стороной. Рождается надежда, дух борьбы и могучий пыл. Меняются образы. Водолаз выходит из мрачной глубины и дышит полной грудью, солнце светит ему в лицо.

Что же он станет делать теперь? Повторит себя? Кажется, что он снова захлопывает окна. И нужно будет открывать их вновь.

Он обращает взгляд к Латинской Америке, к Чили. Начинается новый период его творчества. В глубоких страданиях берут начало рожденные Нерудой стихи.

В латиноамериканском цикле поэт достигает наибольшей силы в «Вершинах Макчу-Пикчу». «Всеобщая песнь» оканчивается за-

вещанием: он покинул свои книги, свой дом возле моря, все. Кажется, что это опять предел. Но накопление его жизненного опыта бесконечно. Его взор остановился на животворной простоте. Он будет петь о вещах обыденных. Его стихи становятся более простыми, он отбрасывает усложненные представления.

Рождаются «Простые оды», четыре книги в одной. Куда идти дальше? Он вновь размышляет над основными вопросами бытия и обновляет манеру письма.

Его «Эстравагарио» кажется снова его лебединой песней.

Но ничего не исчезает бесследно в творчестве этого многогранного, плодовитого и щедрого поэта. «Сто сонетов о любви», «Ритуальные песни» — два лучших образца из многих других его стихов.

Поразительное стремление охватить все многообразие природы проявляется в книге «Птицы Чили» — поэт пьет из одной чаши с природой. И он не только приобщается к природе, но и привносит в нее элементы своего творчества. Его выдумка, его фантазия безграничны.

Книга «Птицы Чили» оригинальна по замыслу. Вся она построена на метаморфозах. В воображении своем поэт создал не существующих в природе птиц. Вот птица Неруды летит и поет:

Птица Пабло — так зовусь я,
птица одноперая;
я лечу по ясной тени
и по ясности неясной...

(«Птица я»)

Одним взмахом пера — пера художника — он расковывает стих, освобождает его от языковых пут. Поэт совершенно свободен и полон этой «ясности неясной», как он определяет свои стихи.

В его «Простых одах» все предметы одушевлены. В «Птицах Чили» его охотничья стрела быстра и неуловима.

Так поет великий поэт и жизнь, и смерть, и печаль, и любовь, и борьбу, обнимая мир.

ЭЛЬВИО РОМЕРО

ОДНОТОМНИК АПОЛЛИНЕРА

Гийом Аполлинер. Стихи. Перевод М. П. Кудинова. Статья и примечания Н. И. Балашова. Серия «Литературные памятники». Москва, «Наука», 1967. 335 стр.

Гийом Аполлинер во французской поэзии века — первооткрыватель. Истинный сын двадцатого столетия, он яростно, с кровью отдирал от себя липнувшие к телу лохмотья иллюзий и самообмана:

На холсте пейзаж намалеван,
Кровь струится в поддельной реке,
Под раскрашенным деревом клоун
Одиноко мелькнул вдалеке...

и с наслаждением подставлял лицо свежим ветрам времени. Он впитывал новое, что нес с собою век, поражался невиданным прежде масштабам и скоростям, но за гулом толп и моторов умел расслышать немой стон страдающих сердец. Поэт воспевал и отрицал новый век, всматривался в него, восхищался небывалой технической мощью эпохи, содрогался от его бесчеловечности и рвался в будущее. Многое в этом будущем было еще туманным для него:

Над грядущим и над минувшим
Ворожит непонятный мотив...

Но поэт тянулся ко всему истинно новому и доброму:

Нет! Сумрак никогда зарю не победит.
Пусть вызывает вечер удивленье,
Жизнь по утрам в окно твое стучит.
Питайте к неподвижности презренье!
Я погружаю руки в волны счастья.

И в первых же дошедших до него отголосках Февральской, а затем и Октябрьской революции в России французский поэт признал зарю человечности, побеждающей сумрак насилия.

Аполлинер видел жизнь в ее трагической противоречивости и каждой строкой стремился эту противоречивость выразить, запечатлеть, понять. Новые формы поэтического искусства искал он прежде всего потому, что хотел наиболее гибко и точно сказать об окружающем мире. Аполлинер — это живая лаборатория, клокочущий тигель новых ритмов, слов, интонаций, рифм, мелодий, походная мастерская по перековке крика улиц и толп в щедрое поэтическое слово, порой непривычное и дерзкое, потому что идет оно от неизведанных жизненных пластов, от непривычных ситуаций, увиденных в действительности.

Аполлинер умер в 1918 году, не дожив до сорока лет. Эстафета его поисков была подхвачена ярчайшими поэтами Франции. Без Аполлинера нет Арагона, Элюара, Десноса, Шара, Превера, нет Реверди, нет Перса. Он дал толчок развитию самых противоречивых, зачастую даже взаимно исключающих друг друга тенденций, и длинные вереницы талантливых и бездарных эпигонов тянутся по французской поэзии века, беря начало от тех или иных аполлинеровских опытов, многие из которых были отвергнуты за их бесперспективностью самим поэтом еще на заре двадцатого столетия.

Нежный певец любви, виртуоз стиха, Аполлинер был и злым сатириком, живописцем, автором широких фресок, и оратором, трибуном. Никто среди французских поэтов того времени так провидчески верно, как этот поэт-фронтовик, не запечатлел страшный образ мировой войны, никто из них так беспощадно, как он, не выразил ее ужаса и бесчеловечности. Никто тогда во французской лирике с такой силой не воспел устремленность самого времени к коренным социальным переменам во имя счастья людей.

Прошло почти полвека со дня смерти Аполлинера, и стихи его прочно вошли во французскую поэтическую культуру. Но вокруг его имени и наследия не утихают споры, кипят страсти. Он удивительно живой поэт, этот классик двадцатого века.

Двуединство классичности и жизненности, «памятника» и современника в Аполлинере прекрасно выражает первое издание Гийома Аполлинера на русском языке, вышедшее в «Науке» в серии «Литературные памятники». Советский читатель получил теперь возможность близко и детально познакомиться с поэтом.

Этот однотомник представляется мне принципиальной удачей. В нем собрано все — или почти все — самое ценное, живое, интересное у Аполлинера-поэта (который был еще и романистом, новеллистом, драматургом, критиком). Учтены здесь и новейшие текстологические изыскания, проведенные на родине поэта.

Включенные в книгу стихи позволяют живо ощутить многообразие поэта, в котором словно бы живет несколько разных Аполлинеров, составляющих творческое содружество. Переводчик Михаил Кудинов точно и бережно, хорошим русским стихом, в котором сохранен «французский аромат» оригинала, передает особенности поэтического мира Аполлинера. Афористично звучат в этом переводе миниатюры из озорного и мудрого «Бестиария», хорошо передано вечное струение Сены под знаменитым — благодаря одноименному стихотворению Аполлинера — мостом Мирабо, неподдельным трагизмом насыщены «Песнь несчастного в любви» и многие фронтовые стихи, естественно передано в русской строфике движение новаторского аполлинеровского верлибра в «Зоне» или в «Маленьком авто», чеканны шестистопные ямбы «Пролетария», прихотливы ритмические узоры «Исфагани», простодушны фольклорно-балладные интонации «Города Оркениза», глубоко поэтичны в своей нарочито внешней прозаичности строки «Облачного призрака».

Равноправной частью книги оказались большая статья Н. И Балашова «Аполлинер и его место во французской поэзии» и составленные им же комментарии. В статье Балашова — сочетание научной основательности с увлеченностью изложения. Автор критически освоил то, что написано об Аполлинере в мировой литературе, создав самостоятельную концепцию творчества Аполлинера; он проследил многосторонние эстетические связи поэта с французской поэтической традицией, представил его во взаимодействии с современной ему литературной и художественной средой, тонко проанализировал текст ряда стихотворений. В результате перед читателем предстает живой и сложный человек, поэт-демократ, новатор, озабоченный судьбами гуманистической культуры в двадцатом веке,— поэт во всей противоречивости его устремлений, поисков и находок.

Наверно, таким и должен быть «литературный памятник», созданный бережными и умелыми руками.

МОРИС ВАКСМАХЕР

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРАДИЦИИ

Immer um die Litfaßsäule rum. Gedichte aus sechs Jahrzehnten Kabarett. Berlin, Henschelverlag, 1965.
Fürs Publikum gewählt — erzählt. Prosa aus sechs Jahrzehnten Kabarett. Berlin, Henschelverlag, 1966.
Mitgelacht — dabeigewesen. Erinnerungen aus sechs Jahrzehnten Kabarett. Berlin, Henschelverlag, 1967.

Весной 1967 года в одном из столичных издательств ГДР, Хеншельферлаг, была опубликована книга под несколько необычным названием «Кто был там, смеялся вместе со всеми» — воспоминания поэтов, писателей и композиторов — авторов немецких литературных кабаре. Этому сборнику предшествовали два других — «Не отходя от афишной колонки» и «Отобрано и рассказано публике», составленных как из сатирических и юмористических стихотворений, баллад, песен и куплетов, так и из фельетонов, скетчей и пародий, написанных для литературных кабаре более чем за 60 лет их существования.

Литературные кабаре — весьма своеобразное явление в культурной и общественной жизни Германии, но о них, к сожалению, пока очень мало написано в самой Германии и почти ничего — в СССР.

Этот трехтомник, вышедший под редакцией Хельги Бемман,— наиболее полное из всех изданий подобного рода, имевшихся до сих пор: в нем представлены почти 70 прозаиков, драматургов и поэтов. Не многие из

них впоследствии стали знаменитостями, но всех роднит одна общая черта: оружием смеха «уничтожать достойное уничтожения» (Э. Вайнерт).

Впервые литературные кабаре возникли в Париже в конце XIX века: в 1881 году художник Родольф Салис в противовес банальным варьете и кафешантанам открыл на Монмартре кабаре «Черный кот» («Chat noir»), где собирались литераторы, музыканты и художники — сначала раз в неделю, а затем ежедневно. Они исполняли свои песни и стихи, проникнутые ненавистью и презрением к сытому и бездумному буржуа. В программе «Черного кота» значилось: «Мы будем смеяться над политическими событиями, будем поучать человечество, напоминать ему о его глупости; мы излечим брюзгу от плохого настроения, покажем филистеру солнечную сторону жизни, сорвем маску лицемерия с ипохондрика. А в поисках материала для этих литературных забав мы будем рыскать вокруг и прислушиваться, как то делают ночами кошки на крышах». Такой программе как нельзя лучше соответствовали произведения малых форм — социально-критические или политические песни, куплеты, баллады, пантомимы. Сатирическая направленность их не исчезла, когда среди завсегдатаев кабаре — парижской интеллигентской богемы — все чаще стали появляться и сами объекты сатиры — финансисты, промышленники и главным образом обыватели.

В конце 1900 года Э. Вольцоген предпринял попытку организовать в Берлине кабаре по типу парижских. Однако его «Варьете» («Überbrettl») особого успеха не имело: боясь отпугнуть серьезной проблематикой берлинского мещанина, этого, по выражению Маркса, «пивного политикана», он предпочел сатире безобидный юмор, разбавленный лирическим сиропом. По той же причине постигла неудача другие берлинские кабаре — «Голодный Пегас», «Седьмое небо» и др.

Совершенно иной характер носило мюнхенское литературное кабаре «Одиннадцать палачей», главными фигурами которого были Франк Ведекинд, Людвиг Тома и художник Томас Теодор Гейне, все — активные сотрудники сатирического журнала «Симплициссимус», выходившего в Мюнхене с 1896 года. Представления, или «экзекуции», как их называли «палачи», всегда проходили с шумным успехом. В значительной мере это объясняется злободневностью большинства номеров, их антимещанской и антимилитаристской направленностью. Достаточно вспомнить в этой связи «Опору трона» Ф. Ведекинда или «Войну» Л. Тома.

Исключительно большой популярностью пользовались также гротескно-сатирические «песни висельников» Х. Моргенштерна, а стихотворение Э. Мюзама «Р-р-революционер» — об идейной шаткости социал-демократии — предвосхитило множество произведений на ту же тему, созданных после 1918 г., когда начался следующий, несомненно более значительный этап деятельности кабаретистов.

В это время литературные кабаре в Германии растут с невиданной ранее быстротой. То были годы поражения прусской монархии в первой мировой войне, изгнания Вильгельма II за пределы страны, революции, установления Веймарской республики. Стремлением осмыслить случившееся проникнуто творчество большинства кабаретистов 20-х годов. Среди них следует в первую очередь назвать Курта Тухольского, человека, трудившегося, как он сам признавал, «в пять лошадиных сил» (свои фельетоны и стихи он часто подписывал псевдонимами Петер Пантер, Теобальд Тигер, Игнац Вробель, Каспар Хаузер). Разочаровавшись в политике правительства Веймарской республики, Тухольский вместе с Клабундом, Э. Кестнером и В. Мерингом подвергал злому осмеянию как вершителей судеб Германии («Германия — анатомическая достопримечательность. Она пишет левой рукой, а действует правой»), так и лидеров социал-демократической партии, метко сравнивая последних с редиской («красно снаружи — бело внутри»).

С середины 20-х годов получают широкую известность сатирические стихи пролетарского поэта-трибуна Эриха Вайнерта, своеобразного хроникера Веймарской республики. Начав свою деятельность в качестве автора шуточных песенок для мелкобуржуазного лейпцигского кабаре «Реторта», Вайнерт уже через несколько лет стал откликаться на все сколько-нибудь значительные события в жизни страны. Он читал свои стихи сразу после их возникновения, не заботясь о том, чтобы «вкропать интересный материал в поэтическую мозаику», ибо важно было не упустить момент, не дать остынуть страстям, разгоравшимся после очередной антинародной правительственной акции, приковать к

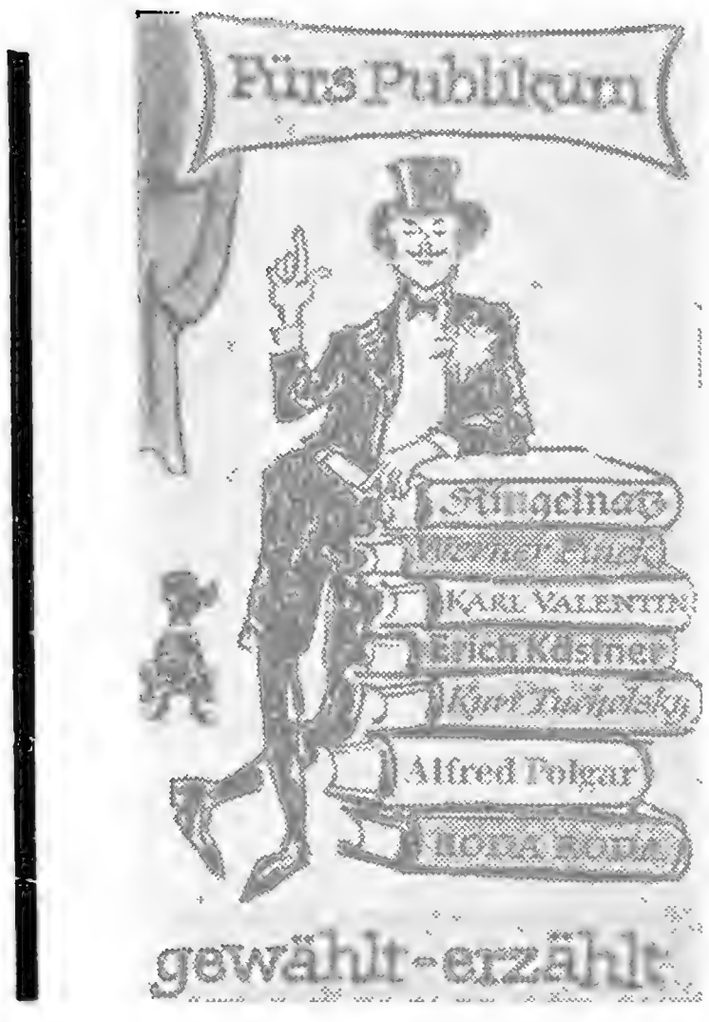
ним всеобщее внимание. С именем Вайнерта в Германии связано появление жанра агитационно-политического стихотворения, жанра, о котором поэт говорил следующим образом:

У наших песен
один мотив:
к восстанью призыв!

Об эффективности его поэзии свидетельствуют многочисленные факты, но особенно показателен случай, рассказанный самим Вайнертом: после одного из его выступлений в Зальцбурге 27 присутствовавших подали заявления с приеме в коммунистическую партию.

Правительственные чиновники прибегали к различным уловкам с целью помешать распространению «крамольных» стихов, песен и фельетонов Вайнерта, Кестнера, Тухольского. Но они по-прежнему звучали в исполнении авторов и таких выдающихся артистов, как Эрнст Буш, Роза Валетти и Марлен Дитрих. Успеху кабаретистов в немалой степени способствовала музыка композиторов М. Сполянского, Фр. Холлендера, Г. Эйслера.

Однако сразу после прихода к власти нацисты повсеместно запретили литературные кабаре. Некоторые сатирики были брошены в тюрьмы и концлагеря, другим удалось эмигрировать. Часть из них продолжала свою деятельность и в трудных условиях эмиграции. Создавались передвижные кабаре, «лебединая песнь германской республики», как охарактеризовал их Томас Манн. Переезжая из города в город, из страны в страну, немецкие кабаретисты предупреждали мир об опасности, которую представляли гитлеровский рейх и его заправилы. Важную роль в показе подлинного лица фашистского руководства Германии сыграло литературное кабаре «Перечница», созданное Эрикой Манн. «Перечница», литературное кабаре с ярко выраженным политическим оттенком,— творение Эрики; то был великолепно переданный артистически, но вместе с тем очень серьезный, страстный протест против коричневого позора» (Клаус Манн). Сатирические стихи, написанные Э. и К. Маннами, имели актуальный характер, в силу чего порой, по цензурным соображениям, авторы были вынуждены прибегать к эзоповскому языку.



После второй мировой войны литературные кабаре в Германии были открыты вновь. Уже через некоторое время обнаружились принципиальные отличия кабаре ФРГ и ГДР. В первых главными объектами сатирического осмеяния по-прежнему остались чиновничье-бюрократический государственный аппарат, филистеры, отсутствие демократических свобод (примечательно в этом отношении название одного из первых кабаре ФРГ, организованного в Мюнхене Э. Кестнером,— «Маленькая свобода»). В кабаре ГДР критика направлена на отдельные недостатки, на отдельных лиц, тормозящих строительство социалистического общества. Правительство ГДР, высоко оценивая художественное мастерство и действенность критики одного из литературных кабаре, «Чертополоха», несколько лет назад присудило его сотрудникам Национальные премии.

60 лет существования литературных кабаре в Германии — срок, подтверждающий их жизненность и популярность у самых широких слоев населения. А жизненность эта коренится в том, что немецкие сатирики и юмористы XX века, продолжая лучшие традиции своих предшественников, постоянно обращаются к узловым проблемам современности, метким словом разя противников прогресса.

В трехтомнике читатель найдет лучшие образцы творчества немецких кабаретистов с начала века до наших дней, и эти фельетоны, сатирические стихи и миниатюры не оставят его равнодушным. Отличное оформление каждого тома, большое количество иллюстраций, сведения о жизни и творчестве и указатель имен авторов — все это, несомненно, дополнит впечатление.

В. ПОЛЮДОВ

СВЯЗИ ТОЛСТОГО С ПОЛЬШЕЙ

Bazyli Bialokozowicz. Lwa Tolstoja związki z Polską. Warszawa, Ksiazka i Wiedza, 1966.

Круг международных интересов Льва Толстого был необычайно широк. Связи Толстого с поляками и польской культурой — это, казалось бы, специальная, частная тема. Но она представляет принципиальную важность. Судьбы Польши волновали передовую русскую интеллигенцию на протяжении многих десятилетий. В годы творческой зрелости Толстого «польский вопрос» то и дело вставал в порядок дня. Вопрос этот в разные периоды жизни Толстого тревожил его, как художника и мыслителя.

На эту тему в Польше вышла недавно интересная книга. Ее автор Базыли Бялокозович, доцент Варшавского университета, проделал большую исследовательскую работу. Он обследовал архивные фонды, изучил польскую прессу за несколько десятилетий, собрал много документальных, мемуарных фактов и свидетельств. В итоге появился обширный труд «Связи Льва Толстого с Польшей». Эта тема освещена комплексно, с разных сторон: тут идет речь и о польских образах и мотивах в произведениях Толстого, и о личных контактах великого писателя с польской общественностью и культурой.

Об отношении Толстого к Польше и полякам писал в нескольких работах известный литературовед В. Ледницкий, живущий ныне в эмиграции в США. Он признает, что автор «Воскресения» испытывал и выражал дружеские чувства к угнетенному польскому народу, но только в поздний период; до 80-х годов, по мнению Ледницкого, Толстой «относился к Польше согласно русскому официальному историческому взгляду» Бялокозович обоснованно возражает: нельзя «воздвигать китайскую стену» между творчеством Толстого «до» и «после» перелома. Толстой никогда не стоял на великодержавных позициях. Да, в рассказе «Севастополь в мае» среди офицеров-карьеристов, изображенных трезво и без прикрас, есть и поляки — ну и что же? «Толстой встречал таких людей, и это нашло отражение в его творчестве». А вскоре после Крымской войны он поехал за границу, побывал у Герцена, общался с польскими революционерами-эмигрантами, навестил в Брюсселе в 1861 году ветерана польского национально-освободительного движения Иоахима Лелевеля — и не раз вспоминал потом об этой встрече. «Лелевель остался для Толстого живым символом страданий и трагедии польского народа». Так, еще задолго до перелома в мировоззрении Толстого, укреплялись в нем симпатии к народу Польши, придавленному царским сапогом.

Бялокозович тщательно выясняет историю возникновения тех или иных польских мотивов и образов в произведениях Толстого. О тяжкой судьбе революционеров, находившихся в царских тюрьмах, на каторге и в ссылке, Толстой много слышал, в частности, от А. В. Дмоховской, у которой сын умер в иркутской тюрьме. С семьей Дмоховских Толстой встречался в период работы над «Воскресением» — это отмечено в его дневниках. Возможно, что именно эти встречи и беседы отозвались в одном из наиболее сильных эпизодов «Воскресения» — описании казни польских революционеров Лозинского и Розовского, о которой рассказывает Нехлюдову политический заключенный Крыльцов.

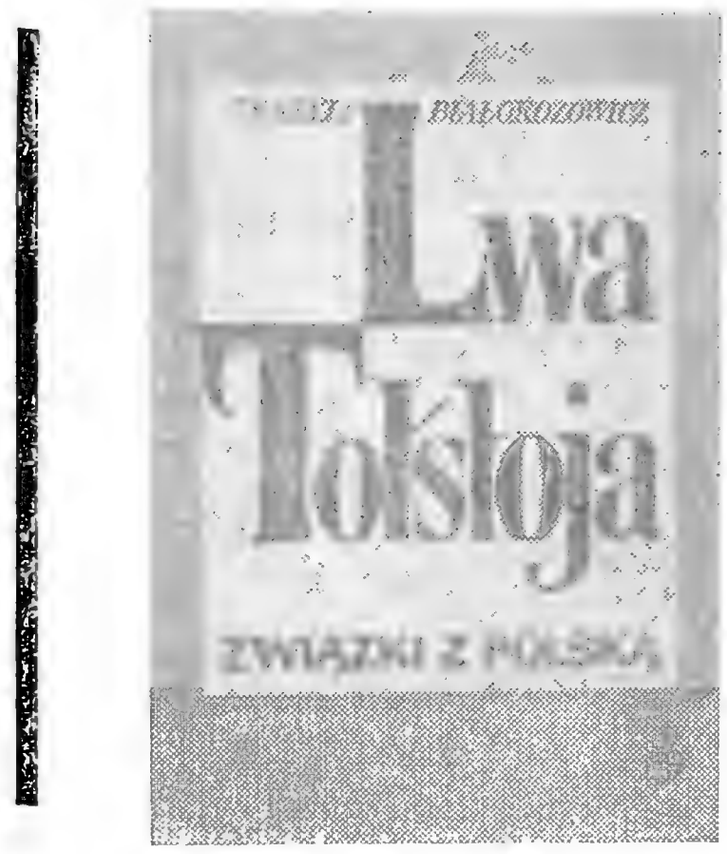
На подлинных жизненных фактах основан, как устанавливает исследователь, и эпизод из «Хаджи-Мурата», где Николай I отдает распоряжение прогнать сквозь строй студента-бунтаря Бжозовского.

Особое внимание уделяет Б. Бялокозович анализу рассказа Толстого «За что?», героями которого являются польский революционер Мигурский и его жена Альбина. Внимательно изучив творческую историю рассказа, сопоставив его с источниками, Бялокозович приходит к выводу: «Работа над этим произведением свидетельствует о великом чувстве ответственности, с каким Толстой подошел к трудному материалу — национально-освободительной борьбе польского народа. Рассказ «За что?» возник в результате многолетнего интереса автора к Польше — именно поэтому так точно воссозданы в нем польская среда, ее специфика». В обрисовке Альбины Мигурской, предпринявшей смелую попытку бегства с мужем из царской ссылки, Б. Бялокозович справедливо видит характерную черту толстовского художественного метода: в обыденном, казалось бы, человеческом характере обнаруживается глубоко заложенное героическое начало. Примечательно и другое. Отвергая революционные методы, Толстой в этом рассказе тем не менее показал национально-освободительную борьбу поляков как справедливое дело. Гений художника-реалиста оказался здесь — как это не раз бывало — сильнее его религиозной проповеди.

В публицистике и переписке Толстого — там, где заходила речь о польском вопросе,— нередко обнаруживались противоречия его мировоззрения. Так было, например, когда Толстой в 1895 году ответил ученому и публицисту Мариану Здзеховскому. «Вы пишете о тех страшных насилиях, которые совершаются дикими, глупыми и жестокими русскими властями над верою и языком поляков, и выставляете это как бы поводом для патриотической деятельности. Но я не вижу этого. Для того чтобы быть возмущенным этими насилиями и всеми силами противодействовать им, не нужно быть ни поляком, ни патриотом, нужно быть только христианином».

Бялокозович подробно рассказывает об откликах и спорах, которые вызвало это письмо. Он приводит, в частности, выступление газеты «Слово польске», где — вслед за критикой взглядов Толстого на патриотизм и христианство — идут строки: «...Но за то, что он обратил свое сердце к Польше и сказал в глаза своим соотечественникам горькие слова правды, мы навсегда останемся ему искренне благодарны».

Среди поляков, которые вступали в общение с Толстым или писали ему письма, были, конечно, не только его религиозно-философские единомышленники. В 1908 году известный революционер-большевик Феликс Кон попросил у Толстого разрешения перевести его статью «Не могу молчать» и издал эту статью отдельной брошюрой во Львове с кратким предисловием «От переводчика»: «Выпуская для польского читателя прозвучавший на весь мир протест великого писателя земли русской против массовых убийств в России, заявляем, что мы не отступили от оригинала даже на волосок, хотя, разумеется, не во всем солидаризируемся с взглядами гр. Л. Толстого. Находя-



щийся на закате жизни маститый старец, до последней минуты продолжающий борьбу за правду и справедливость, ударяющий словно таран в крепость фальши и лицемерия, грязи и крови, имеет право на то, чтобы его голос полностью, без поправок и купюр, дошел до читателей».

Контакты Толстого с польскими деятелями культуры были живыми и разнообразными, особенно в последние десятилетия жизни. Издательство «Посредник», идейным руководителем которого был Толстой, выпустило отдельными массовыми изданиями рассказы «Бартек-победитель» и «Янко-музыкант» Г. Сенкевича, «Мендель Гданский», «Со взломом», «Дым» М. Конопницкой, «Михалко» Б. Пруса, повести «Хам» и «Колдунья» («Дзюрдзи») Э. Ожешко. Так, благодаря деятельности «Посредника», в России приобрели популярность некоторые лучшие реалистические вещи польской прозы.

Последний параграф книги Бялокозовича выразительно назван «Прежде всего — Фридерик Шопен». Творчество Шопена Толстой сравнивал с поэзией Пушкина и Тютчева, находил в шопеновской музыке нечто очень родное, близкое себе — словно он сам ее написал, как он сказал однажды А. Б. Гольденвейзеру. Привязанность Толстого к национальному композитору Польши отмечается исследователем, как еще одно свидетельство того, насколько глубоким и искренним было отношение Толстого к польскому народу, к его духовному достоянию.

Т. МОТЫЛЕВА

«ПИРАМИДА» УИЛЬЯМА ГОЛДИНГА

William Golding. The Pyramid Faber and Faber, London, 1967.

Как может показаться с первого взгляда, новый роман Голдинга написан в несколько ином, более интимно-лирическом ключе, чем его прежние книги. Там в большинстве случаев образы и события группировались, подчиняясь внутренней логике аллегории. «Повелитель мух» (1954), эта современная «антиробинзонада», изображавшая стремительное и ужасающее озверение вполне «нормальных» английских детей, заброшенных на необитаемый остров, воспринималась как притча о непрочности цивилизации, которой угрожают изнутри скрытые в ней губительные силы. В повести «Скупец Мартин» (1956) вся история борьбы за существование, которую ведет, постепенно теряя рассудок, выброшенный на скалистый утес в океане лейтенант Мартин, оказывалась притчей о призрачности человеческих представлений: неожиданным поворотом повествования автор напоследок пояснял читателю, что все, рассказанное в романе, было всего лишь иллюзией, мгновенным видением, промелькнувшим в сознании утопающего в ту последнюю секунду, когда его поглотила морская пучина. В «Шпиле» (1964) осуществление маниакальной идеи средневекового монаха, отца Джослина, задумавшего, не считаясь ни с какими жертвами и катастрофами, увенчать грандиозным шпилем древний собор, могло быть истолковано как победа творческого воображения над «косной» материей,— но вместе с тем и как аллегорическое осуждение волюнтаристского произвола, пытающегося, наперекор законам жизни, строить на костях и крови свои химеры.

По сравнению с этими книгами «Пирамида» кажется поначалу более непосредственной, более «наивной», хотя, учитывая дух и направление творчества Голдинга, можно догадываться, что и здесь присутствует скрытый «параболический» смысл, но только запрятанный где-то очень глубоко в подтексте повествования.

Эпиграф к «Пирамиде» — изречение, взятое из древнеегипетских «Наставлений Птахотепа»,— возвещает главную тему всего романа: «Если ты живешь среди людей, сотвори себе любовь, начало и конец сердца». О любви и идет речь в книге Голдинга, но о любви униженной, осмеянной, исковерканной, запятнанной грязью...

Небольшой городок под символическим названием Стилбоурн (Затишье) — родина Оливера, героя, от лица которого идет повествование,— обдуманно «вписан» Голдингом в топографию той старой, еще относительно устойчивой, патриархальной провинциальной Англии, где развертывал действие своих «Барсетширских хроник» викторианец Троллоп. Мы встречаем здесь поблизости и город Барчестер, и Омниум, знакомые нам по Троллопу. А девушка, в которую был безответно влюблен еще школьником Оливер, носит фамилию Грэнтли — одну из тех, которые также фигурировали у Троллопа. Эти совпадения должны, очевидно, способствовать созданию определенной атмосферы: кажущегося затишья, старых традиций, добропорядочного провинциального быта.. И все это затем, уже начиная с первой части романа, поворачивается к нам своей изнанкой, представая в

гротескно-ироническом ракурсе, где буффонада граничит с трагедией.

Заглавие первой части «Пирамиды» — «Канун летней ночи» — прямо перекликается с шекспировским «Сном в летнюю ночь», как бы предупреждая, что речь пойдет о таких же любовных ошибках, самообмане и слепоте, какие выпали и на долю смертных афинян, и божественной Титании, влюбившейся в Основу с его ослиной головой. Здесь, в этой части, Оливер, сын стилбоурнского аптекаря, вчерашний школьник, застенчивый и угловатый юнец, ошеломленный известием о помолвке Имоджен Грэнтли, по которой он молчаливо вздыхал, вдруг встречает на своем пути то, что готов считать «настоящей» любовью.

Но его ждет горькое разочарование. Эви Баббакум, дочка сторожа городской ратуши, регистрирующая пациентов врача, живущего рядом с аптекой, на первых порах кажется Оливеру воплощением девической прелести. Все в ней — ее гладко уложенные локоны, ее особенная, «плывущая» походка, ее безукоризненно белое форменное платье, дразнящая немногословность ее речей — кружит ему голову, опьяняя его воображение загадочным обаянием женственности. Но загадка Эви разрешается грубо и пошло: она сама, после их сближения, рассказывает Оливеру, что уже с пятнадцати лет начала сходиться «с кем придется». «Все мужчины — скоты» — таково твердое убеждение, к которому Эви пришла в свои восемнадцать лет. И она пользуется случаем, чтобы выместить на Оливере накипевшую в ней злобу. Роман, столь поэтически-таинственно начавшийся летней ночью у заглохшего лесного пруда, кончается постыдным скандалом в городской пивной, где пьяная Эви громогласно, в расчете на любопытство публики, обвиняет Оливера в том, что он будто бы изнасиловал ее. Так стыдом, грязью и ненавистью отравлено навсегда первое приобщение Оливера к любви, если можно назвать любовью его двойственное чувство к Эви.

Заглавие «СОС» (которое носит вторая часть «Пирамиды») в этом контексте воспринимается как патетический призыв «спасти душу» героя. Голдинг, однако, придает ему и другой, неожиданный смысл, расшифровывая его как сокращенное название местного Стилбоурнского оперного содружества и строя всю эту часть как комическую интермедию, написанную в лучших традициях английского эксцентрического, гротескного юмора. Приехавший из Оксфорда на каникулы Оливер по настоянию своей энтузиастки матери привлечен к участию в любительском оперном спектакле. Смехотворно-нелепые положения, в которые он то и дело попадает во время репетиций и премьеры, усугубляются тем, что ему приходится участвовать в одних сценах с местным тузом, самодовольным и наглым богачом Клеймором и его супругой, в которой он узнает свою первую любовь, ту самую Имоджен Грэнтли, чьей помолвкой был так потрясен несколько лет назад. Увы, поэтическая, возвышенная Имоджен оказалась пустой, надутой и холодной светской дамой, вполне под стать своему мужу; и Оливер, сперва озадаченный этой встречей, со злорадным удовольствием нарушает напоследок все безапелляционные приказы Клеймора — заглушает своей скрипкой арию этого безголосого дилетанта, заставляет его запутаться в репликах и подставляет ему подножку своей алебардой. Заглавию «СОС» возвращается, таким образом, его первоначальный, драматический смысл: весь этот эпизод оказывается все-таки историей «спасения души» Оливера, избавляющегося еще от одной пагубной иллюзии..

Но что же остается в итоге, после всех этих разочарований и утрат? Голдинг уклоняется от прямого дидактического ответа. Взламывая неожиданным и резким зигзагом композицию романа, он переносит действие на много лет вперед, уже в наши, 60-е годы. Оливер, теперь уже немолодой семьянин, нашел свое место в жизни; его последний приезд в Стилбоурн ничего не прибавляет к биографии Оливера. Но воспоминания детства, всплывающие в его сознании, позволяют автору воссоздать другую, поистине трагическую историю загубленной любви, завершающую всю «Пирамиду».

«Внутри пирамиды» — так озаглавлена эта последняя часть романа, где Оливер, посетив могилу своей старой учительницы музыки, восстанавливает по разрозненным, неполным и беглым впечатлениям детских лет трагедию бедной мисс Доулиш. Старая чудачка, посмешище всего города, так часто удивлявшая и маленького Оливера своими странностями, только теперь становится ему понятна. Теперь, умудренный жизнью, он угадывает по отдельным запомнившимся сценкам, разрозненным подробностям, обрывкам разговоров судьбу этой женщины, мечтавшей о счастье, о разделенной любви, пошедшей ради этого на великие жертвы, которые все же оказались напрасными, и кончившей старческим безумием и бесконечным одиночеством. Оливер вспоминает, как в Стилбоурн впервые явился бойкий расторопный Генри Уильямс, шофер, механик и мастер на все руки; как овладел он вниманием мисс Доулиш, поселился в ее доме и под предлогом покупки для нее автомобиля и обучения ее искусству водить машину стал постоянным спутником ее прогулок. Оливер вспоминает, как поразило его тогда внезапное преображение угрюмой, неуклюжей, старообразной мисс Доулиш (которую в городке только в насмешку звали Попрыгуньей): она, казалось, и помолодела, и похорошела, и расцвела душой... Но недолгий расцвет Попрыгуньи окончился плачевно. В городке появилась жена Генри Уильямса с ребенком. Мисс Доулиш не остановило и это: она поселила в своем старом особняке всю семью, лишь бы не разлучаться с Генри. Постепенно он выстроил на ее земле свой

гараж, потом — целую мастерскую; после смерти мисс Доулиш, прибрав к рукам все ее наследство, он оказался владельцем сети предприятий, укоренившихся в городке и изменивших его облик. «Прежние сады отступили, их место заняли гаражи и асфальт»,— так воспринимает Оливер эти перемены, связанные с восхождением Генри Уильямса на вершину предпринимательской карьеры.

Он вспоминает и последние, самые мрачные эпизоды трагедии мисс Доулиш, когда, убедившись в банкротстве своей любви, эта немолодая, грузная, невзрачная женщина, одержимая эротической манией, появлялась перед своим испуганным учеником обнаженная, «одетая только в шляпу, перчатки и туфли», или тщетно пыталась инсценировать где-нибудь в окрестностях Стилбоурна аварию своей машины, чтобы найти повод хоть так вызвать на свидание своего ненаглядного Генри... А теперь «это жалкое, ужасающее, никому не понадобившееся тело» лежит под воздвигнутым Уильямсом безвкусным, громоздким памятником, где под сенью огромной мраморной арфы значится надпись «Клара Цецилия Доулиш (1890—1960)», а пониже, мелкими буквами, ханжеская фраза: «Рай — это музыка». С «горестью и негодованием» думает Оливер об этой искалеченной, загубленной человеческой душе и, глядя на свою крохотную дочку Софи, дает себе слово: сделать все, что будет в его власти, чтобы ее женская доля была не такой, как судьба злополучной мисс Доулиш. Этим слабым — очень слабым! — лучом надежды, появляющимся на мгновение в самом финале, лишь оттеняется беспросветная мрачность заключительной части «Пирамиды».

Роман Голдинга оставляет двойственное впечатление. Его обдуманная разорванность, внезапные, резкие переходы из одной тональности в другую, ироническая ужимка, становящаяся уже *приемом*, могут вызвать у искушенного читателя подозрение, что в этом сложном построении — больше от «литературы», чем от жизни. Может показаться, что Голдинг скорее озабочен преодолением технических трудностей, им же самим себе поставленных, чем приобщением читателя к своим раздумьям о человеческих судьбах. Уж слишком отчетливо и бегло, как хорошо разученный экзерсис, проиграны все модуляции этой сюиты, от пасторального зачина до похоронного финала... Многое и в самом повествовании может показаться уже знакомым тем, кто помнит рассказы Шервуда Андерсона, романы Фолкнера.

И все же сквозь холодноватую вычурность формы до читателя доходит и биение пульса жизни. При всей зашифрованности творчества Голдинга этот писатель значителен тем, что его пытливая, ищущая мысль постоянно обращена к моральным и социальным проблемам современного человечества. Созданный Голдингом трагикомический и отталкивающий образ английской «общественной пирамиды» — грандиозного надгробия убиваемой любви — заставляет задуматься о многом. И в этом — ценность его гротескно-сатирического романа.

А. ЕЛИСТРАТОВА

НАШИ ГОСТИ

НЕЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ ГЕРБЕРТА ИОБСТА

— Я споткнулся о литературу, как о порог,— говорит о себе немецкий писатель Герберт Иобст,— я, можно сказать, упал в литературу...

А было дело так. После войны и плена Герберт Иобст работал на рудниках. И вдруг начал писать роман, не имея, в сущности, никакого представления о том, как это делается.

— Я попросту начал описывать все пережитое, описывал подряд,— объясняет Герберт Иобст.

Однако все это было не так уж вдруг и не так уж просто. Стать писателем, остаться писателем — едва ли не самое трудное из всего, что выпало на долю Герберта Иобста за его нелегкую жизнь. Об этом он и рассказал в беседе в редакции «Иностранной литературы».

Еще в школе Герберт писал сочинения не только за себя, но и за своих одноклассников. В обмен на сочинение он получал что-нибудь съестное, и это оказывалось весьма кстати, ибо Герберт был подкидышем и чужие люди, у которых он жил и на которых работал, редко кормили его досыта. Но сочинительство не только приносило ему ощутимую пользу: оно доставляло удовольствие.

— Никто не знал, кто мой отец и кто моя мать. Это отталкивало от меня и учеников и учителей. Вот я и начал создавать свой собственный фантастический мир, стал населять его вымышленными людьми. В этом мире у меня тоже не было ни отца, ни матери, зато был дядя...— рассказывает Герберт Иобст.— В школьных сочинениях я давал волю фантазии. Отсюда, надо думать, все и пошло.

Вспоминая трудное детство и трудную юность, Герберт Иобст рассказывает и о том, как в шестнадцать лет сочинил первое любовное стихотворение. Он тогда еще ничего не знал ни о девушках, ни о любви, поэтому стихи получились отвлеченные, высокопарные. А позже у него, по его словам, вообще «пропала охота к любовной лирике», потому что «время было жестокое».

В это жестокое время растление душ молодых людей, начинавшееся в школах, завершалось в гитлеровских казармах и на фронтах второй мировой войны, где они вольно или невольно становились соучастниками преступления. Герберт Иобст тоже стал солдатом фашистской армии, но обстоятельства сложились так, что часть войны он провел в крепости Торгау. Оттуда его отправили со штрафным батальоном в Россию, где он попал в плен.

— В штрафном батальоне я оказался после того, как меня обвинили в «разложении вермахта»,— рассказывает Герберт Иобст,— но было бы ошибкой причислять меня тогда к борцам против фашизма. Мои действия того времени не означали осознанного политического протеста; это была, так сказать, моя частная революция, мой частный бунт.

Пусть так, но все же факт остается фактом: Герберт Иобст пытался оказать какое-нибудь, хотя бы и слабое противодействие существующему порядку. Быть может, это объяснялось тем, что еще до прихода Гит-

лера к власти, во времена Веймарской республики, он вступил в комсомол.

— Но и это было продиктовано не столько разумом, сколько сердцем, шло отсюда,— говорит Герберт Иобст, прикладывая руку к груди. По его мнению, молодым рабочим, таким, каким был он, недоставало аргументов, которые они могли бы противопоставить фашистской демагогии, недоставало знаний, служащих основой мировоззрения. И в этом, на его взгляд, одна из причин «германской трагедии», трагедии сбитой с пути молодежи, совращенной бесноватым фюрером и его чудовищными идеями. Как говорит Герберт Иобст, одно из многочисленных последствий этой «германской трагедии» заключается в том, что и в настоящее время для всего человечества представление о немцах связано с представлением о диких зверствах минувшей войны.

— Когда за границей говоришь по-немецки, не можешь не знать, что думают окружающие: немцы — это те, у кого на совести война,— с горечью признается Герберт Иобст.

Он живет и творит в ГДР, а это — первое в истории человечества германское государство, которое хочет не войны, а мира. Вероятно, именно поэтому Герберт Иобст особенно остро ощущает ответственность за то, что было. Он готов отвечать и за то, что будет.

— В плену я много думал и понял, что наши дети должны пойти иным путем,— говорит он.— Но в этом им надо помочь.

Трилогия «Нелегкая жизнь Адама Пробста» *, созданная Гербертом Иобстом, помогает молодежи ГДР увидеть прошлое таким, каким оно было вопреки справедливости, вопреки человечности. Писатель убеждает читателей в том, что во все времена, даже и при фашизме, были люди, боровшиеся за справедливость и за человечность.

— Убеждать читателя надо умело, так, чтобы он только в последнюю минуту, перевернув последнюю страницу прочитанной книги, понял, что его убеждали. Тогда уже поздно сопротивляться, искра брошена, огонь зажжен,— объясняет художник.

Герберт Иобст умеет зародить искру. Он доказал это с самого начала своего творчества, первой книгой, романом «Подкидыш» **. Эта книга принесла ему известность, за нее он был удостоен премии имени Генриха Манна. Однако в ту пору, когда он работал над ней, живя на выхлопотанную для него руководителем литературного кружка стипендию, ему не раз хотелось все бросить и снова стать тем, кем он был раньше: штейгером. Насколько это было проще!.. К тому же его угнетало, что товарищи по шахте, с которыми он прежде был близок, теперь отдалились от него. Они не имели ясного представления о том, чем он занят. Им казалось, что это не мужское занятие. Иногда это казалось и ему самому.

— Руководитель шахты, мой соотечественник, которому я сообщил о своем намерении вернуться на работу, ответил мне: «Приходи, нам нужны шахтеры»,— вспоминает Герберт Иобст.— А представитель советской администрации отослал меня домой. «Твое дело — литература, а на шахте мы без тебя обойдемся,— сказал он мне,— совмещать одно с другим ты не сможешь: работа на шахте требует такого физического напряжения, что после нее уже ничего не напишешь». И я послушался его совета.

На Биттерфельдской конференции, как известно, был провозглашен лозунг: «Рабочие, беритесь за перо!» Герберт Иобст — рабочий, взявшийся за перо. Но чтобы стать писателем, нужен далеко не всем пишущим свойственный дар, особый, единственный в своем роде. Герберт Иобст стал писателем, потому что обладал таким даром; оказалось, это дар сатирика.

— Мне объяснили, что я — сатирик,— говорит Иобст, имея в виду ту пору, когда в печати появились первые рецензии на роман «Подкидыш»,— и я понял, что так оно и есть.

Позже меня не раз спрашивали, как делается сатира,— добавляет писатель.— Не знаю, это что-то во мне, я это чувствую кожей.

Рецепта изготовления сатирического романа Герберт Иобст не может дать и теперь, хотя он, занимаясь самообразованием, узнал многое, чего не знал раньше.

— Теперь в моей библиотеке три тысячи томов, в том числе немало редких книг, это моя гордость,— говорит он.— А прежде у меня было всего три книги, причем две из них я стащил.

Герберт Иобст высоко ценит знание и умение. Вот почему он говорит:

— Раньше писателю из рабочих многое прощалось. Считалось: пусть делает, что может. Эти времена миновали безвозвратно. Представьте себе, я скажу: «Дорогой читатель! Понимаешь, я кончил только лишь народную школу. Так уж будь другом, посмотри сквозь пальцы на мои промахи в языке и стиле». Можно не сомневаться, что читатель на это не пойдет. Ведь сам он стал квалифицированным рабочим, ездит на работу в собственной машине, для него и в нем самом многое изменилось. Кто же даст мне право оставаться таким, каким я был? Никто!

У Герберта Иобста оригинальный язык и стиль, своеобразная форма повествования — он это называет «упаковкой содержимого». Конечно, Иобст, создавая свои книги, не просто описывал все подряд...

Иобст с удовлетворением называет имена Вернера Бройнига, Мартина Фиртеля; это тоже рабочие, ставшие писателями. Но с особенной любовью он называет имя Эрвина Штриттматтера, бывшего крестьянина, ныне достойно представляющего литературу ГДР не только у себя на родине, но и за ее пределами. Его «Оле Бинкоп» — любимая книга Иобста. Ему по душе и роман Германа Канта «Актовый зал». В этом нет

---

* Два романа этой трилогии — «Подкидыш» и «Воспитанник» — изданы «Молодой гвардией»

** См. рецензию на этот роман в «Иностранной литературе» № 10, 1959 г.

ничего удивительного: ведь родная стихия всех трех писателей — смех, то язвительный, то горький, то веселый, всегда жизнеутверждающий.

Эрвин Штриттматтер, Герберт Иобст, Герман Кант... Кто знает, быть может, ярким дарованиям этих людей из народа и не удалось бы проявиться, если б они не жили в новых социально-исторических условиях? И так ли уж случайно то, что Герберт Иобст стал «молодым писателем», когда ему было уже за сорок. Ведь тогда-то и складывались эти новые условия. Обо всем этом думаешь, слушая, как Герберт Иобст рассказывает свою творческую биографию.

Писателя спрашивают, издаются ли его книги в ФРГ.

— У меня недавно был интересный разговор с западногерманскими учителями,— отвечает он.— Эти люди объяснили мне, что в ФРГ время от времени тот или иной издатель выпускает книгу коммуниста. Это, так сказать, для вывески, надо же показать, что там демократия. Но западногерманские учителя убеждены, что мои книги в их стране ни за что не издадут. Потому что я не только коммунист, но и атеист, а это считается совершенно неприемлемым. Ведь религия — один из устоев, на котором все держится в ФРГ.

Генрихом Бёлем я восхищаюсь потому, что он подрывает эти устои. Да, Бёль — католик, но всю католическую иерархию, ступеньку за ступенькой, он изничтожает так, что не оставляет камня на камне. Бёль — отважный писатель, а язык у него как музыка...

Иобст утверждает необходимость взаимного понимания между честными писателями разных стран, углубления информации, расширения контактов. И снова возвращается к тому, о чем говорил не раз,— к трудностям писательского дела.

— Для того чтобы написать удачную фразу, надо думать и думать, продумать все, целую вселенную. Размышляешь без конца. Размышляешь, когда что-то получается. Размышляешь, когда ничего не получается.

Писатель сомневается, нужно ли ему писать четвертую — завершающую, относящуюся к новым временам — книгу об Адаме Пробсте.

— Нужна ли читателям еще одна книга про Адама Пробста? — спрашивает он самого себя.— Может быть, им нужно что-то совсем другое?

Его, горячего поклонника Эгона Эрвина Киша, в данный момент увлекает такая форма литературного творчества, как репортаж.

— Конечно, повторить Киша нельзя, да и ни к чему, но вчитываться в него можно и нужно,— утверждает Иобст.— Ведь это он втащил репортаж в литературу.

Иобст рассказывает об одном современном предприятии, о котором он написал репортаж. На нем работает около тысячи человек, одна треть — ученые, две трети — квалифицированные рабочие. Все ново, и техника и люди, владеющие техникой. Ново и то, что в этом предприятии индустрия и сельское хозяйство дополняют друг друга.

Однако Иобста волнует и другая тема, для разработки которой требуется жанр рассказа или романа. Писатели ГДР, по его словам, до сих пор почти не касались этой темы. Если говорить откровенно, и писателям и читателям не хочется вспоминать о том, что было — о годах плена, последовавших за годами войны. Но бывает так, что неожиданно встретишь человека, лицо которого напомнит о чем-то, что случилось во времена плена. И тогда уже не отвяжешься от мыслей, так или иначе связанных с пребыванием в плену. Вот и начало для рассказа или романа, в котором не будет непосредственного изображения лагерной жизни, а будет сегодняшний герой, с его сегодняшним мировосприятием, частью которого становятся и его воспоминания о былом.

Будущее покажет, напишет ли Герберт Иобст четвертую книгу об Адаме Пробсте, или рассказ о плене, или новый репортаж, а может быть, и то, и другое, и третье.

Он обещает еще раз приехать в Москву и к тому времени научиться говорить по-русски. Конечно, он тогда еще раз посмотрит «Лебединое озеро», «потому что Москва без «Лебединого озера» — это не Москва». А когда он в этот раз любовался Кремлем, ему пришло в голову: «Воскресить бы на мгновение русских царей; пусть посмотрят, какие люди ходят по их владениям!»

Нет, Герберт Иобст не споткнулся о литературу. Он вошел в нее на правах тех, кто теперь входит в Кремль. И у него в литературе своя дорога.

Л. СИМОНЯН

НАШИ ГОСТИ

ДЖАСИМУДДИН

НА БЕНГАЛИ И УРДУ...

— Сборну было легко написать в одной из своих пьес, что уже не осталось проблем, ради решения которых стоит жить. Для нас существует чересчур уж много проблем, не разрешив которые, невозможно жить.

Эти слова д-ра Сарвара Муршида из Восточного Пакистана выхватывают крупным планом основную сложность пакистанской литературы сегодня — необозримое количество тесно переплетенных проблем, неизбежное для страны, всего двадцать лет назад появившейся на карте мира.

Пакистан, «страна чистых», был образован в 1947 г. в результате раздела Индии по плану Маунтбеттена — последнего из индийских вице-королей. Полторы тысячи километров по прямой — через Индию — отделяют Западный Пакистан от Восточного. По официальной статистике, сто миллионов населения этой страны говорят на двадцати четырех языках, на шести языках есть литературы, традиции которых уходят в глубины истории. Конституция 1962 г. объявила государственными языками урду — на нем говорят в Западном Пакистане — и бенгальский, распространенный в Восточном.

Естественно поэтому, что побывавшая у нас в гостях группа членов Гильдии писателей Пакистана, крупнейшей литературной организации страны, включила в себя тех, кто пишет на урду и на бенгали. Не удивительно и то, что наши гости больше всего интересовались, как разрешается проблема взаимных переводов в Советском Союзе.

— У нас, к сожалению, мало переводчиков и еще меньше хороших переводов,— сказал Джасимуддин, один из старейших лирических поэтов Восточного Пакистана.

На этот раз среди литераторов Пакистана, посетивших нашу редакцию, преобладали бенгальские писатели. Встреча с ними означала возможность расширить и углубить наши представления — ведь так случилось, что мы гораздо лучше знаем произведения писателей урду — Фаиза Ахмада Фаиза, Ахмада Надима Касми, Шауката Сиддики и других, чем литературу их коллег, пишущих на бенгали.

Ведущим жанром пакистанской литературы была всегда и остается сегодня поэзия — как на всем Востоке.

Джасимуддина, известного у нас по сборнику стихов «Плач земли», мы попросили рассказать о том, что представляет собой современная бенгальская поэзия в Пакистане. Джасимуддин считает, что в ней существуют сегодня три основные школы. Рассказывая о них, он начал со школы модернистской поэзии — с тех молодых поэтов, которые находятся под большим влиянием Т. С. Элиота, Эзры Паунда и — в меньшей степени — под влиянием французских сюрреалистов.

Почти двухсотлетнее владычество англичан привело к тому, что интеллигенция Пакистана — да и других бывших британских колоний — большей частью двуязычна: английский язык стал практически ее вторым языком, не говоря уже о том, что пока это единственный lingua franca многоязычной страны. В Пакистане не перестает дискутироваться вопрос — какое же место должно быть отведено английскому языку. А тем временем англоязычная литература продолжает непосредственно воздействовать на творческий процесс и на создание новых форм и жанров в литературе Пакистана.

Синтез традиций Востока и Запада в бенгальской поэзии начался еще в начале века, и самый блестящий тому пример — поэзия Рабиндраната Тагора, которого прогрессивная интеллигенция Восточного Пакистана с полным основанием считает поэтом всего полуострова Индостан.

Взаимное влияние литератур Запада и Востока уже имеет в Бенгалии свою историю.

Д-р Сарвар Муршид, правда, в другой связи, заметил:

— Историю нашей литературы невозможно отсчитывать с 1947 г. Хотя этот год и стал важнейшей исторической вехой в политическом смысле, но в литературе мы считаем своим и то, что было создано до раздела страны на Индию и Пакистан; и Тагор, и Назрул Ислам — неотъемлемая часть нашей духовной жизни.

Немало возникающих в Пакистане проблем новы для новой страны, но успели стать привычными для стран Запада, успели найти свои формы отражения в литературе, вот почему молодые поэты Пакистана пытаются воспользоваться иной раз готовыми формулами. Джасимуддин подчеркивает необходимость различать влияние и подражание, поиски новых средств выражения и слепое поклонение моде.

Школу модернистской поэзии в Восточном Пакистане возглавляет Шамс ур-Рахман, получивший значительную известность

САРВАР МУРШИД

КАТИЛЬ ШИФАИ

сборником стихов «Между небытиями», поэт талантливый и сложный. Его читатели — это преимущественно студенты и молодая творческая интеллигенция. Широким же массам стихи его неизвестны. Впрочем, нельзя забывать о том, как низок уровень грамотности в стране, где из ста детей, поступающих в школу, кончают ее одиннадцать...

Настойчиво прокламирует свою близость к народу школа так называемой «исламской поэзии». Поэты этой школы исходят из того, что поскольку Пакистан, как государство, был создан на религиозной основе, то один только ислам способен сделать пакистанцев монолитной нацией, стерев различия и классовые, и этнические; что должна быть создана литература мусульманская, не только идеологически, но и формально. Исламские поэты насыщают свой язык арабскими словами и выражениями, метафорами, ассоциированными с Кораном и хадисами, и тщательно очищают его от всего, что хоть отдаленно напоминает традиции индийской поэзии. В своем пуризме они порой доходят до того, что объявляют «индийскими» — а следовательно, «антимусульманскими» с их точки зрения — поэтические образы явно фольклорного происхождения: например, сравнение женских глаз с зернами риса.

Как и следовало ожидать, все крупнейшие поэты этой школы — прежде всего Фарук Ахмад — силой своего таланта вырываются за рамки искусственных установлений и пишут действительно превосходные и действительно народные стихи.

— Я лично полагаю,— говорит Джасимуддин,— что если поэт действительно талантлив, то как бы он ни определял цель своего творчества, его поэзия неизбежно в конечном счете окажется шире нее. Так бывало не раз, достаточно вспомнить

Мильтона или Руми. Руми писал во славу ислама, но сосуд ислама оказался мал для его стихов, и они переливались через края. Получилась просто великая поэзия.

Третья школа поэзии, к которой Джасимуддин относит и себя, тоже стремится приблизиться к народу, но поэты этой школы считают лучшим — если не единственным — для этого способом развитие фольклорной традиции.

Рассказывая об этих школах поэзии, Джасимуддин делает очень важную оговорку: он отмечает, что к какой бы из школ ни принадлежали поэты, все они каждый по-своему, ищут близости с народом, и все стремятся к построению такого общества, которое дало бы людям вдоволь еды, крышу над головой и равноправие, хотя иные употребляют термин «исламский социализм» для описания этого общества, а иные говорят просто о социализме.

Продолжая разговор о том, какое место может занять фольклор в «осовременивании» традиционных жанров и в создании новых форм литературы, Джасимуддин затрагивает один довольно неожиданный аспект проблемы — уже самые первые результаты расширения сети школ привели к тому, что молодежь относится к фольклорному наследию со снисходительным пренебрежением. Как говорит Джасимуддин, сын крестьянина, став грамотным, начинает мечтать о городе, джазе и американской бульварщине.

Отчасти с этим же связан спор, возникший между прозаиком Шаукатом Усманом и критиком Сарваром Муршидом.

Д-р Сарвар Муршид, литературный критик и профессор литературы Даккского университета, видит парадокс в современном состоянии бенгальской прозы в Пакистане: создание новой государственности дает литераторам богатейший, интереснейший материал; писатели, хотя бы в силу того, что коренная перестройка общества никого не оставляет в стороне, остро осознают суть социальных конфликтов, но форма их отображения либо заимствована на Западе, либо примитивна. Проза, создающаяся сегодня в Восточном Пакистане, интересна, по его мнению, почти исключительно с репортажной, документальной точки зрения, но, к сожалению, заурядна с точки зрения эстетической. Одной из причин замедленного развития прозы и большой опасностью для ее будущего д-р Муршид считает провинциализм литературной критики, которая не предъявляет высоких художественных требований к литературным произведениям, особенно прозаическим.

— Конечно, существует определенный уровень мировой литературы,— говорит Сарвар Муршид,— но ведь от него можно отвернуться и установить уровень собственный, провинциальный. Маленький человек будет похлопывать по плечу другого маленького человека, и оба будут чувствовать себя великими.

— Возникает противоречие,— продолжает Сарвар Муршид,— когда к определенному строю мыслей, отличающемуся ярко выраженным национальным своеобразием, начинают приспосабливать формы выражения, заимствованные извне.— Д-р Муршид понимает, что в Пакистане возникают сейчас проблемы, в известной мере сходные с теми, о которых пишут Камю, Сартр или Бютор,— в первую очередь, проблема отчуждения,— но простое заимствование опыта, приобретенного этими писателями в иных условиях, не может дать пакистанской литературе того, к чему она стремится.

ШАУКАТ УСМАН

Шаукат Усман не соглашается даже с самим фактом существования проблемы отчуждения в Пакистане.

— Я живу в слаборазвитой стране,— говорит он,— что за дело мне до проблем, которыми живут герои Камю, или Сартра, или Беккета? Начиная с тридцатых годов,— добавляет Усман,— бурно развивающаяся техника помогла человеку быстрее преодолевать расстояния, но литература от этого глобальной не стала — она становится все более и более региональной. Горький обращался ко всему человечеству, а теперь?

При всех спорах о достоинствах или недостатках отдельных произведений художественной литературы Восточного Пакистана наши гости согласились с тем, что можно назвать имена по меньшей мере четырех прозаиков, произведения которых объективно отражают современную пакистанскую действительность во всей ее сложности.

Саед Валиулла опубликовал два интересных романа: «Красное покрывало» — о мертвящем влиянии религиозных суеверий и о страшной их живучести, и «Лунное затмение», впервые поднимающее проблему отчуждения в той ее форме, в какой она существует в стране.

Алауддин аль-Азад — писатель-реалист, пишет в основном о столкновении жителей отдаленных уголков Пакистана с урбанистической цивилизацией. В последнем его романе «Карнафули» герой отвергает большой город и пытается найти убежище среди «натуральных людей» маленького племени. Аль-Азад родом из деревни, из простой крестьянской семьи, поэтому его описания деревенской жизни отличаются художественной убедительностью и лиризмом.

Абуль Калам Шамсуддин тоже пишет о деревне, но показывает при этом неизбежность распада феодальной системы отношений. Лучшим его романом считается «Девушка из деревни».

Крупнейшим прозаиком Восточного Пакистана единодушно признан Шаукат Усман. Его романы «Мать» и недавно завершенный «Смех рабы» представляют собой значительное явление современной бенгальской прозы.

Поэт Катиль Шифаи не мог принять участие в разговоре о бенгальской литературе в силу именно того, о чем говорил Джасимуддин — Шифаи, пишущий на языке урду, так же мало знаком с творчеством своих коллег, как они — с его книгами.

Когда Катиля Шифаи попросили рассказать о литературной жизни Западного Пакистана, он горячо поддержал д-ра Муршида — литературу урду тоже нельзя начинать с 1947 г.

— Чтобы убедить вас в правоте моих слов, достаточно просто назвать имя Мухаммада Икбала,— сказал он.

Катиль Шифаи думает, что раздел страны на Индию и Пакистан принес литературе урду и потерю, и выигрыш. С одной стороны, распалось единое движение прогрессивных писателей, которое воспитало таких видных пакистанских литераторов, как Фаиз Ахмад Фаиз, Ахмад Надим Касми, Гулаш Аббас и многие другие. Но в то же время раздел дал писателям новые темы, показал им жизнь на изломе, что очень важно для литературы.

— Сегодня наша задача,— продолжает Катиль Шифаи,— заключается в том, чтобы писать не лобовые произведения, а книги, которые постепенно подводили бы читателя к мысли о необходимости борьбы за социальный прогресс. Не нужно растолковывать, что хорошо и что худо; нужно отображать действительность так, чтоб читатель сам понял, где добро и где зло.

Не менее важно и другое — наши произведения должны быть в силах противостоять дешевой американской литературе, отравляющей сознание молодежи. Нельзя упрощать эту задачу — наш противник предпочитает сейчас находить пути для обходных маневров, избегая открытого боя. В этих условиях, подчеркивает Катиль Шифаи, нам необходима поддержка интеллигенции социалистических стран, и в первую очередь Советского Союза.

— Дайте нам больше вашей современной литературы,— просит он,—содержательной, высокохудожественной, настоящей, и вы поможете этим и нам, и молодому поколению наших писателей.

М. САЛГАНИК

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРАЛИЯ

МИР СТАНЕТ ЛУЧШЕ...

«Иностранная литература» сообщала (см. № 3, 1966) о книге Фрэнка Харди «Рассказы Билли Боркера». Недавно автор выпустил книгу о новых приключениях своего излюбленного героя, которую он назвал «Снова рассказывает Билли Боркер». Это рассказы (первоначально предназначенные для телевидения) о жизни аборигенов в Австралии, размышления о мнимом процветании и о сомнительных буржуазных свободах.

Еженедельник «Трибюн» опубликовал рецензию Гарри Стайна на новую серию рассказов Билли Боркера, в которой говорится: «В новой книге Фрэнка Харди Билли Боркер стал как бы серьезнее, масштабнее». Рецензент подчеркивает социальную остроту наблюдений Фрэнка Харди, которая особенно ярко проявилась в новом сборнике. Особо Гарри Стайн выделяет рассказ «Они во всем виноваты». «Думаю,— пишет он,— что это произведение войдет в число классических образчиков короткого рассказа. В нем Билли предстает как защитник простого человека, которого «они» всячески подавляют».

Кто такие «они»? Билли объясняет — это представители финансового капитала: «они» дерут огромные деньги за жилье, выбрасывают рабочих на улицу, начинают войны, посылают австралийских парней умирать в джунглях Вьетнама, поддерживают авантюры Пентагона. «Они» никогда ничему не научатся, но когда-нибудь «они» получат по заслугам от народа. «...И мир без них станет значительно лучше»,— говорит Билли Боркер.

Книга, отмечается в рецензии, отлично иллюстрирована известным австралийским карикатуристом Полом Ригби.

Одна из иллюстраций Пола Ригби к книге Фрэнка Харди «Снова рассказывает Билли Боркер».

(Еженедельник «Трибюн»)

АНГЛИЯ

БУДНИ АНГЛИЙСКОГО КИНО

Линдсей Андерсон — один из видных представителей так называемой «новой волны» в английской кинематографии, автор известного советскому зрителю фильма «Такова спортивная жизнь». Кроме того, он работает в театре. В интервью корреспонденту польского еженедельника «Культура» Андерсон рассказал о буднях английского кино.

«Перемены в нашей кинематографии начались лет через десять после окончания войны, — сказал Линдсей Андерсон.— Лишь тогда английское кино освободилось от наслоений прошлого и нашло для себя новый, животворный источник вдохновения. Возникновение «новой волны» было довольно тесно связано с экономическим и политическим положением в стране. Первым сигналом, первой заявкой нового направления был

фильм «Путь наверх»... Это был первый фильм, в котором остро ставилась проблема социального неравенства, определившая мировосприятие героя-пролетария. Этот фильм в известном смысле положил начало новому направлению поисков темы в кино. Признаки обновления к тому времени отчетливо проявлялись в театре и литературе». Возникла группа писателей в Северной Англии, выходцев из рабочей среды, которые были не удовлетворены бессодержательным, эпигонским искусством. Это был Джон Осборн, а также Джон Брейн (автор романа «Путь наверх», который приобрел известность и славу благодаря экранизации), затем Алан Силлитоу, Шейла Делани. Их произведения получили новую жизнь на экране и положили начало «новой волне» в кино.

«Каково состояние в английской кинематографии сейчас, как вы его оцениваете?» — спросил корреспондент «Культуры».

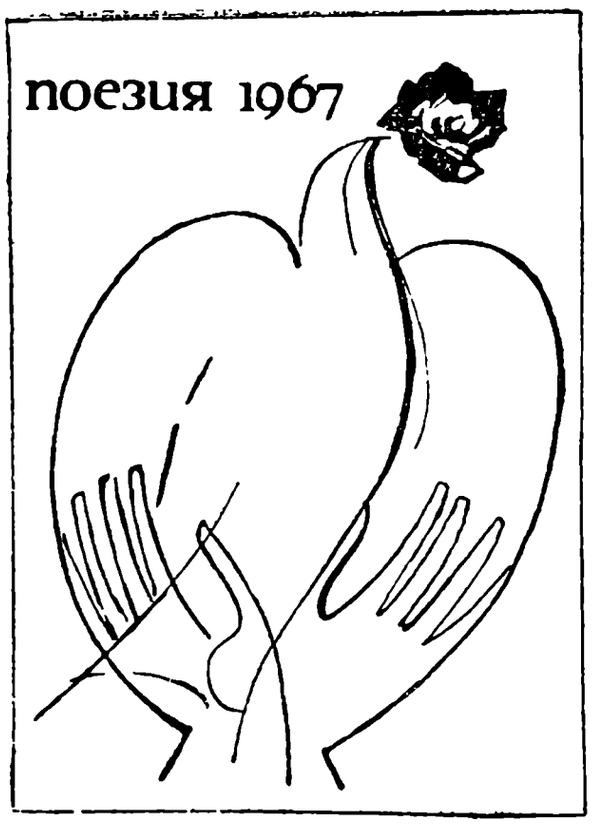
«...В целом состояние нашего кино несколько ухудшилось,— ответил Андерсон,— это связано с экономическим положением Англии, а оно не из легких. Возникает необходимость создания фильмов, которые удовлетворяли бы требованиям заправил американского проката... Сейчас в Англии негде получить деньги на создание фильмов, их могут дать лишь американские корпорации».

БОЛГАРИЯ

НЕДЕЛЯ ПОЭЗИИ

В Болгарии прошла Неделя поэзии. Хотя этот праздник — ежегодный, каждый раз он проводится по-новому; на нем чествуют заслуженных поэтов, отдают дань памяти тем, кто ушел из жизни.

На нынешнем празднике поэзии отмечалось столетие со дня смерти поэта-демократа Георгия С. Раковского. Центром торжеств был выбран город Котел, в котором родился Раковский.



Обложка сборника «Поэзия 1967».
(Еженедельник «Литературен фронт»)

Выступивший на открытии праздника секретарь Союза болгарских писателей Анастас Стоянов сказал, что именно в этом древнем городе глубоко ощущается единство поэзии и революции, то единство, которое символизирует творчество Георгия Раковского, призывавшего слить воедино «железо и слово, лиры и трубы».

В празднике участвовало много любителей поэзии города Котел и его окрестностей, большая группа поэтов, писателей и критиков из Софии, гости из Советского Союза, Польши, Чехословакии, Франции, ГДР и других стран. С чтением своих стихов выступили Владимир Башев, Устин Керим, Стефан Поптонев, Евтим Евтимов и др. Председатель секции поэтов Союза болгарских писателей Ламар от имени жюри, рассматривавшего стихотворения, опубликованные в 1967 г., объявил названия лучших стихотворений года. Ими были признаны «Самый хороший день» Александра Муратова, «Моему отцу» Крыстьо Станишева и «Созопол» Радоя Ралина.

Следующие дни Недели поэзии были не менее насыщенными. Состоялся творческий разговор на тему «Патриотические мотивы в современной болгарской лирике», начало которому было положено докладом известного литературного критика Ефрема Каранфилова. Участники торжеств выступили с чтением своих стихов в близлежащих селах. В последний день Недели любители поэзии до отказа заполнили большой зал библиотеки имени Возрождения: присутствовавшие голосованием определяли лучшие из 23 только что прочитанных и еще нигде не опубликованных стихотворений. Лучшим было признано стихотворение Орлина Орлинова «Даешь ли, даешь ли...»

К дням поэзии издательство «Блгарски писател» приурочило выпуск сборника «Поэзия 1967». Редакция сборника отобрала для него более ста стихотворений 86 поэтов разных поколений. Среди них — стихи Елисаветы Багряны, Радоя Ралина, Павла Матева, Дамяна Дамянова, Александра Муратова, Недялко Йорданова.

Новшеством, по отзывам прессы, явилось то, что в сборник этого года включены критические статьи о творчестве известных болгарских поэтов.

БОЛГАРСКИЕ КНИГИ ЗА РУБЕЖОМ

Вслед за переводами на немецкий язык стихов Вапцарова и Ботева в ГДР недавно появилась составленная Паулем Винсом антология болгарской поэзии под названием «Синие огни» (издательство «Фольк унд вельт. Культур унд фортшритт», Берлин). В книгу вошли стихи, написанные после 9 сентября 1944 года. Винс привлек к переводам наиболее известных поэтов ГДР.

По сообщениям западногерманских газет, в ФРГ вскоре выйдет антология поэзии восточноевропейских стран, включающая произведения современных болгарских поэтов.

* * *

В серии «Лучшие рассказы» римское издательство «Паолине» выпустило сборник рассказов П. Тодорова «Солнечная женитьба», переведенных Луиджи Сальвини и Коррадо Альбертини. Сборнику предпослано

обширное предисловие, написанное Сальвини, в котором определяется место и значение творчества П. Тодорова в болгарской литературе.

ГДР

«ВОЛОДЯ»

Такое название носит новая телевизионная пьеса Бернгарда Зеегера, недавно показанная по телевидению ГДР в постановке режиссера Хагена. В пьесе Зеегера рассказана история русского мальчика Володи, который был вывезен гитлеровцами в Германию с оккупированной советской территории для «воспитания в хорошей немецкой семье». Однако, когда гитлеровская Германия стояла перед катастрофой, те, кто в прежние времена нацизма хотел лишить Володю его настоящей родины, отступились от него. Его усыновила простая немецкая женщина Кете Шюрер.

Ее приемный сын Вальдемар Шюрер стал рабочим. Его увлекли занятия в кружке «пишущих рабочих». Написанные им однажды воспоминания о детстве легли в основу репортажа, который был затем помещен в советских газетах и помог настоящей матери Володи-Вальдемара отыскать сына...

«Своей новой пьесой Бернгард Зеегер нашел путь к сердцу зрителя,— писал рецензент газеты «Берлинер цейтунг». — История маленького русского мальчика, увезенного в фашистскую Германию, превращается под пером Зеегера в историю двух матерей, в историю величия и силы человека».

Недавно Бернгард Зеегер стал лауреатом Национальной премии, присужденной ему «за все его творчество, в особенности за телевизионные пьесы, в которых он создает жизненно правдивые образы людей нашего социалистического общества».

ЗАПАДНЫЙ БЕРЛИН

ВОКРУГ «СОЛДАТ» РОЛЬФА ХОХГУТА

В Западном Берлине в театре «Фрейе фольксбюне» состоялась премьера пьесы западногерманского писателя Рольфа Хохгута «Солдаты». Несколько лет назад Хохгутом была написана пьеса «Наместник», в которой он разоблачал пособничество Ватикана нацизму в годы второй мировой войны.

Действие новой пьесы Хохгута происходит в годы минувшей войны и в наши дни. Среди действующих лиц пьесы — Черчилль, глава польского эмигрантского правительства в Лондоне генерал Сикорский, офицеры агрессивного блока НАТО, а также представители различных сил, действующих ныне на мировой арене. Основная проблема, которая волнует автора пьесы, это перспективы сохранения мира в наши дни. Пьеса имеет подзаголовок «Некролог Женеве».

В одном из интервью, данных Хохгутом перед премьерой «Солдат», он заявил, что пьеса задумана и написана им в связи со столетием заключения первой Женевской конвенции 1864 года. Соглашения Международного Красного Креста, сказал Хохгут, распространяются на военные действия на суше и на море, но не в воздухе; до сих пор не существует закона о защите городов и гражданского населения от воздушных бомбардировок и обстрелов.

Драматург говорил о жестокостях современной воздушной войны. От массовых убийств в газовых камерах гитлеровских концлагерей и бессмысленного варварского разрушения Дрездена — прямой путь к Хиросиме и войне во Вьетнаме, сказал Хохгут. Своей пьесой, по его словам, он призывает запретить воздушный террор, направленный против мирного населения городов.

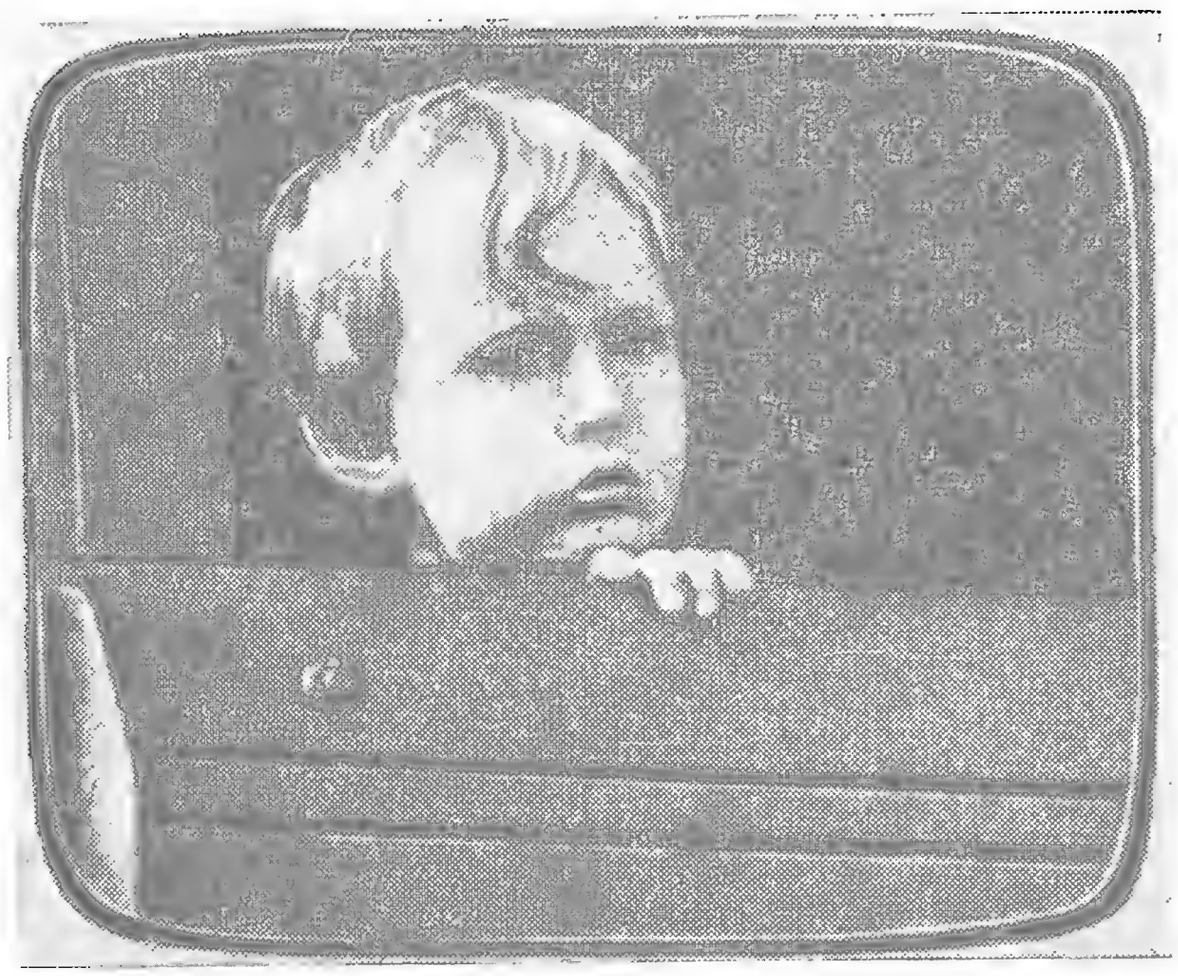
Шумные отклики в западной печати вызвал один из эпизодов пьесы, где Черчилль показан как организатор катастрофы английского военного самолета близ Гибралтара, во время которой 4 июля 1943 года погиб генерал Сикорский.

Характерно, что правая западная печать в общем сдержанно, а иногда и откровенно отрицательно отзывается о пьесе Хохгута.

Ватиканский журнал «Оссерваторе романо» писал об

Кадр из телевизионного фильма «Володя».

(Газета «Берлинер цейтунг»)



авторе «Наместника» и «Солдат» в крайне раздраженном духе.

Прогрессивная критика разных стран подчеркивает антивоенную направленность «Солдат» в целом, отмечая при этом наличие в пьесе открытого осуждения внешней политики Вашингтона и Бонна.

По сообщениям газет, пьеса «Солдаты» готовится к постановке в театрах ФРГ, Австрии, а также в одном из частных театров Англии (совет директоров Национального театра запретил постановку пьесы Хохгута на своей сцене).

ФРГ

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ И СОВРЕМЕННОСТЬ

В последнее время некоторые западногерманские издательства выпускают сборники рассказов, написанных несколькими авторами на заданную тему. Так, издательство Ровольт заказало десяти известным писателям по рассказу на тему одной из десяти библейских заповедей.

В числе наиболее актуальных рецензенты называют рассказ Гейнца Пионтека, поведавшего о том, как на Западе злоупотребляют именем бога для оправдания войн. Документальный рассказ Йозефа Янкера на тему заповеди «Не убий» посвящен убийствам по политическим мотивам и концлагерям. Мария Дессауер в рассказе на тему заповеди «Чти отца своего...» рассуждает о противоречиях между «современной педагогикой и разрушительной моралью отцов», а Пауль Шаллюк (тема: «Не лжесвидетельствуй») критикует своих соотечественников за предвзятое отношение к иностранным рабочим, приезжающим на заработки в ФРГ. Генрих Бёль, которому досталась заповедь о прелюбодеянии, по отзыву рецензента газеты «Франкфуртер рундшау», «отнесся к своей задаче со всей серьезностью, хотя заданной темы коснулся лишь слегка...»

«...Во всех рассказах чувствуется, однако,— замечает рецензент,— как трудно подходить с мерками христианско-иудейского морального кодекса к реальному миру, пережившему Освенцим...»

Другая аналогичная книга «Портреты — 28 рассказов на одну тему», выпущенная мюнхенским издательством «Гербиг», посвящена образу современного «бундесбюргера». Двадцать восемь писателей, по отзывам критики, создали правдивый собирательный портрет западногерманского общества. «Если молодые авторы (Гюнтер Гербургер, Теодор Вейсенборн и Гейнц Кюппер),— пишет тот же рецензент,— посвятили свои рассказы пасынкам благоденствующего общества — пенсионерам, многодетным семьям, людям, имеющим в прошлом судимости,—то писателей с именем (Пауля Шаллюка, Вольфганга Зее и Герхарда Цверенца) заинтересовали попытки пресыщенных буржуа вырваться из привычного жизненного уклада...»

Составитель «Портретов» привлек к участию в сборнике также членов «Группы-61» — Макса фон дер Грюна и Франца Тумлера. Литература ГДР, отмечает рецензент, представлена в этом сборнике, к сожалению, только одним рассказом Гюнтера Кунерта.

Из всех рассказов рецензент выделяет как наиболее «меткий» рассказ Гейнца Пионтека, в котором «как бы сфокусировалось все самое типичное в жизни Западной Германии за последние двадцать лет...»

«ХОЧУ ВЫРАЗИТЬ БЕССМЫСЛЕННОСТЬ ВОЙНЫ»

В гамбургской «Галерее Комметер» состоялась выставка рисунков и офортов прогрессивного художника Эгона Посселя. Отвечая на вопросы корреспондента газеты «Блинкфюэр», Поссель сказал: «...Я родился в 1921 г. в семье рабочего. Учился столярному делу и посещал вечерние курсы ри-

Рисунок Эгона Посселя «Все забыто, господин генерал?»

(Еженедельник «Ди андере цейтунг»)

сования. Потом — мобилизация и война. Был тяжело ранен, некоторое время лежал парализованный... Да, война принесла мне немало горя, это несомненно нашло отражение в моем творчестве, и я не желал бы, чтобы она повторилась... Своими рисунками я хочу выразить всю бессмысленность войны, хочу, чтобы люди решительно воспротивились ей».

По словам художника, в ближайшее время выставка его произведений состоится в Париже, а затем в Лондоне.

ГРЕЦИЯ

ИНДЕКС ПОЛКОВНИКОВ

Афинская газета «То Вима» взывает к читателю: «Напиши сегодня письмо. Вложи в него душу, вложи в него любовь. Письмо всегда доставляет радость... Напиши же тем, кого ты любишь, твоим близким, которые годами живут на чужбине, родственнику, который работает за рубежом, другу, который учится за границей».

Покровители эпистолярного жанра из газеты «То Вима» не только объясняют

читателю, к кому он должен обращаться, но и любезно подсказывают, что именно он должен написать.

«Напиши о нашей Греции, о ее красотах, спокойствии и равенстве, которые наконец воцарились в нашей стране. Расскажи о веянии возрождения, которое нас вдохновляет, о нашей поднимающейся экономике, о коренных переменах, которые стали неизбежны... Подумай о том, что если каждый из нас напишет эмигранту или иностранцу, по всему миру разойдутся миллионы радостных посланий, рассеивая все недоразумения и противодействуя распространению ложных известий, направленных против нашей родины. Напиши же письмо, чтобы защитить нашу славную родину, чтобы помочь ей в ее движении к спокойствию и возрождению».

Однако вопреки красноречивым призывам литераторов в штатском греки что-то не спешат рассылать во все концы света «радостные послания». И немудрено. О том, что в действительности означает монархо-фашистское «возрождение», например, в области национальной культуры, свидетельствуют факты, куда более убедительные, чем подобные письма.

По указанию начальника канцелярии премьер-министра запрещено 647 книг, 48 журналов и 63 газеты. Уж не говоря о трудах Маркса, Энгельса, Ленина, Плеханова, Тольятти в Index prohibitorum попали произведения Горького, Арагона, Шолохова, Назыма Хикмета, Эренбурга. Более того, греческие скалозубы усмотрели крамолу даже в таких книгах, как биография чешского спортсмена Эмиля Затопека, сборник китайских сказок, греко-болгарский словарь, учебник русского языка и «История греческой революции 1821 года» Финлея. Да что Затопек! От проницательного взора нынешних цензоров не укрылись и «подрывные элементы» в античном театре: с греческой сцены изгнаны «Скованный Прометей» Эсхила, «Аякс» Софокла, «Финикиянки» и «Просительницы» Еврипида и все комедии Аристофана за исключением «Плутоса».

Не прошло и недели после переворота, как исполняющий обязанности генерального цензора Фармакис поспешил собрать продюсеров и объявить им, что отныне все греческие фильмы должны отвечать «национал-христианскому духу, провозглашенному правительством Национального спасения», что они ни в коем случае не могут быть посвящены греческому Сопротивлению, что их героями не должны быть люди, придерживающиеся левых взглядов, и т. д. Кроме того, в качестве предварительного условия апробации фильмов цензурный комитет требует отстранения от участия в съемках прогрессивно мыслящих деятелей кино, например, Стефаноса Менеоса, который до переворота был генеральным секретарем Ассоциации актеров.

Многие известные киноактеры подверглись полицейским репрессиям. В числе других патриотов сослан на остров Ярос бывший участник Сопротивления и политэмигрант шестидесятилетний Никос Напатакис, игравший главную роль в фильме «Пастыри хаоса».

Уж не от них ли ждет «То Вима» радостных писем зарубежным друзьям?

ДАНИЯ

ПИСЬМА ХАНСА КИРКА

Недавно известный датский писатель Ханс Шерфиг получил по почте четыре необычных письма. Почта доставила их адресату спустя... 26 лет. Автором писем был друг Шерфига — датский писатель-коммунист Ханс Кирк.

Подобно многим другим датским коммунистам, Кирк осенью 1941 года находился в лагере для политических заключенных «Хорсерёд». Там Кирк тяжело болел — лагерные условия окончательно расшатали его здоровье. Однако местное начальство, всячески стараясь угодить гитлеровским оккупантам, не намерено было облегчать участь писателя-коммуниста.

Датская почта не несет ответственности за задержку писем Кирка к Шерфигу. Несколько лет они хранились у инспектора лагеря «Хорсерёд» — рьяного коллаборациониста Бенцена, а последние 22 года — в датском министерстве внутренних дел. Задержаны были эти письма ввиду «нежелательности» содержавшихся в них упоминаний о тяжелом лагерном быте.

В ту пору — осенью 1941 года — друзья Кирка неоднократно пытались передавать ему продукты и необходимые вещи. Одна из передач была конфискована «по причине ее демонстративного характера», как заявили Шерфигу в датском министерстве юстиции: цветы и другие подарки были доставлены в лагерь «Хорсерёд» 7 ноября 1941 года, в день годовщины Октябрьской революции.

Только однажды Кирку «повезло»: он получил присланную Шерфигом пачку табаку и тотчас написал об этом другу:

«Дорогой Шерфиг!

Большое спасибо за табак. А вот письмо твое конфисковано. Его, вероятно, отошлют в министерство юстиции, чтобы доподлинно расследовать, не пытаешься ли ты между строк протащить в государственный лагерь «Хорсерёд» коммунистическую пропаганду. Одновременно министерством юстиции будет рассмотрен вопрос о возможности твоего появления у нас».

И это письмо Ханса Кирка было конфисковано администрацией лагеря. Только спустя 26 лет оно, вместе с тремя другими, попало к адресату.

Письма Кирка к родным и друзьям, написанные в заключении, сейчас выходят в Дании отдельной книгой в издательстве «Сириус» (в городе Орхус). «Письма Ханса Кирка,— отмечает обозреватель газеты «Ланд ог фольк»,— имеют не только литературную, но и историческую ценность».

НОВЫЕ ЛАУРЕАТЫ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ

«Рабское положение страны в прошлом имеет тяжелые последствия. Одно из последствий состоит в том, что культурные связи этой страны ограничиваются контактами только с метрополией»,— такими словами начала свое выступление Индира Ганди, патрон Фонда Неру, который вот уже в третий раз объявил о присуждении литературных и журналистских премий, носящих имя этого выдающегося государственного деятеля и литератора.

«Премии Неру изменили такое положение,— продолжала Индира Ганди.— Они открыли новые горизонты для нашей литературы, для наших писателей, поэтов, журналистов...»

За 1967 год премией Неру были отмечены произведения двух крупнейших индийских поэтов: Фирака Горакпури — он пишет на языке урду — и Санкара Куруп, который пишет на языке малаялам. Маратский писатель Л. Бхаве получил премию за книгу о Неру, а бенгальский литератор Манматха Рой — за пьесу «Тарас Шевченко».

Среди лауреатов премии Неру по журналистике и переводам нужно прежде всего отметить известного бенгальского критика, коммуниста Гопала Халдара, автора книги «История русской литературы», киноактера Балраджа Сахни, запомнившегося нашим зрителям по превосходному фильму «Два бигха земли», автора «Русского дневника», а также керальского литератора К. Наира, опубликовавшего на языке малаялам собрание сочинений Максима Горького в семи томах.

На церемонии вручения премий в Дели присутствовала узбекская поэтесса Зульфия. Она тоже лауреат премии Неру, но премии другой,— ее учредило в 1967 году правительство Индии для поощрения лучших произведений советской литературы на тему из жизни Индии. Эта премия была присуждена поэту Николаю Тихонову, который написал свое первое стихотворение об Индии сорок пять лет назад и все эти годы оставался верным индийской тематике, художнику Семену Чуйкову, поэту Мирзо Турсун-заде за книгу «Индийская баллада», профессору Евгению Челышеву за монографию «Современная поэзия хинди», искусствоведу Сергею Тюляеву за труды по искусству и архитектуре Индии.

Журналистские премии имени Неру были присуждены советским журналистам Олегу Бенюху и Ирине Шапошниковой.

РАДЖ КАПУР: «ЛЮБЛЮ ИГРАТЬ «МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА»

Известный индийский кинорежиссер, продюсер и актер Радж Капур занят в настоящее время съемками своего первого цветного фильма, который будет называться «Шут».

На V Международном кинофестивале в Москве советские зрители имели возможность познакомиться с его последней работой — фильмом «Третья присяга», который получил премию бенгальского Объединения кинокритиков. Кроме того, Радж Капур и его партнерша по этому фильму Вахида Рахман были признаны лучшими киноактерами года.

Радж Капур в фильме «Шут».

(Еженедельник «Экран»)

Герой фильма «Третья присяга» — извозчик Хироман, «маленький человек». «Его прототипом,— рассказал Капур в интервью для печати,— был герой фильма «Бродяга», одного из самых первых моих фильмов. В «Третьей присяге» он приобрел некоторые новые черты, типичные для обыкновенного индуса. Благодаря этому он стал любимым героем миллионов бедных людей. Он — один из них, в нем много национальных черт, и потому все его неудачи и успехи зрители принимают близко к сердцу. Я очень люблю играть человека, у которого ничего нет. Ведь я и сам начинал жизненную карьеру с нуля, был мальчиком на побегушках в киностудии...»

О своей новой работе режиссер рассказал следующее: «Фильм «Шут», который я сейчас снимаю, будет двухсерийным. Это повесть о нескольких годах из жизни клоуна. Герой фильма — молодой человек, которому хочется развлекать людей, даже ценой собственных слез. Это немного напоминает мою собственную жизнь и потому я сам играю главную роль».

«Какие изменения, на ваш взгляд, за последнее время произошли в индийском кино?» — спросили Капура.

«Прежде всего нужно отметить изменения в стиле игры актеров и режиссуры. В наших фильмах сейчас значительно меньше мелодрамы, меньше песен... Некоторые авторы и вовсе обходятся без них. Кроме того, новые фильмы стали короче. С некоторых пор в творчестве наших режиссеров появляется нечто такое, что мы называем неореалистической манерой. Зрителям оставляют простор для размышлений. Но все это проявляется скорее в области эксперимента и пока что не оказывает серьезного влияния на продукцию кино в национальном масштабе».

ИСПАНИЯ

ПЕВЦЫ О ПЕСНЯХ

Два года назад в одном из концертных залов Барселоны состоялся не совсем обычный концерт. Выступал молодой каталонский поэт-певец Раймон. В его репертуаре было всего три песни — остальные не пропустила цензура. Каждую песню Раймон повторял несколько раз, и в конце вечера зал дружно подхватывал куплеты.

Имя Раймона стало известно сейчас любителям музыки во многих странах, так же как имена Боба Дайлона и Джоан Баэз. Недавно Раймон приехал на гастроли во Францию, где выступал вместе с известным французским певцом, новозеландцем по происхождению, Грэмом Оллрайтом.

— Я учился в университете и писал стихи,— рассказал Раймон корреспонденту еженедельника «Леттр франсез» Рене Бурдьелю.— Однажды, это было в 1960 году, я сочинил песню, которую исполнил под аккомпанемент гитары, одолженной у брата. Друзьям понравилось. Я был, что называется, дилетантом, пока не узнал, что в Барселоне возникло движение против коммерческой песни и что участникам его нужен исполнитель песен на каталонском языке, запрещенном в Испании с 1939 года. Я предложил свои песни, их записали на пластинку, которая стала бестселлером.

Рене Бурдьель: Ваш друг и коллега Грэм Оллрайт, как известно, собирается на гастроли в Испанию, не думаете ли вы, что его могут не пустить туда, ведь он идейный, что называется, «завербованный» певец.

Раймон: Мне кажется, что в области творческого труда нет людей, так или иначе не «завербованных»; певец, например, зависит от публики, перед которой он выступает, от предприятия, выпускающего его пластинки, от моды, устанавливающей свои неписаные законы... Но у певца свой собственный взгляд на мир, свое мировоззрение, которое отражается в его творчестве...

Рене Бурдьель: Должен вам сказать, что быть идейным певцом стало модным во Франции. (Я не имею в виду людей искренних убеждений, скажем, исполнителей собственно политических песен.) Что такое у нас сегодня идейный певец? Это парень, который хочет побольше заработать. Вот почему я выступаю против подобного определения, превратившегося в модную вывеску для весьма посредственных исполнителей.

Раймон: Ну что ж, это даже интересно. Получается, что под давлением общественного мнения даже певцы любовного жанра вынуждены включать в свой репертуар песни на такие серьезные темы, например, как война.

Рене Бурдьель: Вы идеалист. Боюсь, что речь в данном случае идет исключительно о коммерческой выгоде...

Раймон: Мне кажется, что это не так. Дело, я думаю, в том, что за последние годы общественное мнение во Франции стало более прогрессивным.

Грэм Оллрайт: Я согласен с Раймоном. Мне не хотелось бы заниматься здесь наставлениями, но я уверен, что во Франции, безусловно, есть почва для распространения идейных песен. Конформизм — своего рода капитуляция людей перед тем, что им навязывают,— вот главная опасность во Франции, против которой надо выступать. Задача не из легких. Но против конформизма надо бороться всеми средствами, в том числе и песней. Я думаю, что, пока людям есть, что сказать друг другу, в мире всегда будет место для хороших песен.

Раймон: В Испании дела обстоят несколько сложнее, любое культурное движение, возникшее в Европе, приходит к нам с большим опозданием и в искаженном виде. Здесь играет роль разница между положением в нашей стране и атмосферой в тех странах, где зарождается движение. Так было с песнями протеста, которые обошли всю Европу... И все-таки в Испании меня называют «певцом протеста». Ну что ж, я не возражаю.

ИТАЛИЯ

ПРЕМИЯ ПИРАНДЕЛЛО И ИТАЛЬЯНСКИЙ ТЕАТР

Жюри премии имени Луиджи Пиранделло, которая учреждена в связи со столетием со дня рождения этого выдающегося драматурга и отныне будет присуждаться каждые два года за лучшую пьесу итальянского автора, единодушно приняло решение не присуждать премии в этом году. Жюри, в которое входят Сандро Де Фео (председатель), Альберто Арбазино, Наталия Гинзбург, Луиджи Скуарцина и другие писатели, драматурги, режиссеры, театроведы, рассмотрело 262 пьесы, представленные на соискание премии. Решение жюри, опубликованное в печати, не только свидетельствует о его взыскательности, но дает также возможность судить об общем положении итальянской драматургии сегодня. В решении сказано, что члены жюри рассмотрели общую картину драматургического творчества, которое, с одной стороны, утратило связь с национальными традициями, а с другой, не сумело органически слиться с передовыми течениями современного театра. Кроме того, по мнению жюри, в подавляющем большинстве произведений ощущается глубокая неуверенность во всем том, что касается характера и требований театрального языка, в основе которого должно лежать умение персонифицировать человеческие конфликты и выражать их в форме, способной убеждать зрителей. Другими словами, жюри вынуждено было констатировать, что в Италии, как правило, люди, пишущие для театра, весьма далеки от него. «Однако,— говорится в решении жюри,— в последнее время заметно некоторое оживление интереса к театру со стороны

как известных писателей, так и молодежи, стремящейся к его обновлению. Это позволяет надеяться, что хотя и медленно в Италии все же растут новые драматурги, творчество которых обогащено современным опытом европейского театра и в то же время глубоко уходит корнями в итальянскую культуру».

«ОСВОБОДИ НАС, ОГОНЬ!»

Большая дискуссия развернулась в Италии вокруг новой книги известного литературного критика и очеркиста Марио Спинеллы «Освободи нас, огонь!», вышедшей недавно в издательстве «Мондадори». Спорили даже о том, к какому жанру отнести это произведение. Сам автор внес в этот вопрос ясность. «Я написал памфлет на то неокапиталистическое общество, в котором мы живем»,— заявил он в беседе с сотрудником еженедельника «Паэзе сера либри».

В произведении Спинеллы современное капиталистическое общество предстает в виде психиатрической лечебницы. Здесь используются самые последние достижения науки и техники. В палате у каждого «больного» — прекрасная мебель, телевизор, предметы роскоши, в углу невнятно бормочет и поблескивает глазами-лампами электронный страж. Человек не может вырваться из этого роскошного сумасшедшего дома, у него нет ни друзей, ни даже знакомых, он совершенно одинок. Обитатели лечебницы не знают друг друга, хотя ежедневно встречаются в лабиринте коридоров и о чем-то разговаривают между собой. По нескольку раз в день в палате появляются «врачи» со шприцами или какими-то лекарственными настойками. Они хотят приучить «больных» безропотно подчиняться им... Но вдруг один из обитателей лечебницы — герой книги — осознает, что он совершенно здоров. Он обращается к «врачу» с просьбой выпустить его, объясняя, что хочет дать простор своему разуму и своим способностям. «Разве вам плохо у нас? — удивляется «доктор».— Здесь есть все, что необходимо цивилизованному человеку». Однако герой не хочет оставаться рабом вещей. Он мучительно ищет выход и в конце концов поджигает лечебницу и погибает в огне...

«Главный герой моей книги — человеческий разум,— сказал Марио Спинелла в беседе с сотрудником еженедельника.— Я намеренно ввел в этот памфлет сцены из разных периодов истории, чтобы показать, к чему испокон веков стремился разум человека, чего он достиг и чего мог бы достичь»... По словам Марио Спинеллы, он хочет своей книгой помочь многим людям понять антигуманную сущность современного капитализма, который ныне, предоставляя в распоряжение человека все более совершенные вещи, старается еще больше поработить его разум.

«ФИЛЬМ В ФИЛЬМЕ»

«Беспощадное око» — так называется фильм итальянского режиссера Паоло Кавары, который с большим успехом прошел по экранам Италии. В фильме рассказывается история режиссера документального кино, который вместе с небольшой съемочной группой отправляется в поездку по странам Африки и Юго-Восточной Азии в поисках «больших сенсаций». Для этого — в угоду своим хозяевам — он готов фальсифицировать действительность и там, где нет сенсации, создать ее. Он завлекает в африканскую пустыню нескольких своих знакомых и потом заявляет им, что бензин и все съестные припасы кончились,— только для того, чтобы заснять их растерянные, встревоженные лица. Он подкупает группу хулиганов, чтобы они избили перед камерой курильщиков опиума. На его глазах гибнет под развалинами старого дома член съемочной группы — он заботится лишь о том, чтобы снять эту сцену крупным планом. Когда труппа прибывает в Южный Вьетнам (это, по отзывам рецензентов, самые сильные кадры фильма), он просит карателей сделать «дубль» — расстрелять еще одного партизана, потому что на фоне белой стены кадр получится отчетливее.

Паоло Кавара последовательно разоблачает тип распространенного в настоящее время на Западе «кинематографиста», у которого съемочная камера превращается в «беспощадное око», выслеживающее добычу, пишет рецензент газе-

Один из эпизодов фильма «Беспощадное око».
(Газета «Унита»)

ты «Паэзе сера». Фильм сделан почти в документальной манере. Недаром в печати замелькала фраза «фильм в фильме». Это и понятно: Кавара давно известен как автор многих интересных документальных лент, в числе которых — известная советским зрителям картина «Женщины мира».

Правая буржуазная печать обошла фильм Кавары молчанием. Левые и демократические печатные органы дали высокую оценку фильму «Беспощадное око». Рецензенты отмечают, что герой фильма как две капли воды похож на расиста и дельца от кино Якопетти, выпустившего два года назад печально известный «документальный» фильм «Прощай, Африка!», который вся демократическая печать единодушно назвала «позором для итальянской кинематографии». «Фильмом «Беспощадное око»,— пишет рецензент «Паэзе сера»,— Паоло Кавара не только осуждает таких «кинематографистов», но и активно борется против них».

В СТОЛИЦЕ КЕРАМИКИ

Слово «фаянс» происходит от названия итальянского города Фаэнца, старинного центра керамического производства. В этом городе вот уже 130 лет ежегодно проводится международный конкурс художественной керамики.

Недавно в светлых и просторных залах, отведенных муниципалитетом Фаэнцы для выставки представленных на конкурс художественных изделий, экспонировались предварительно отобранные жюри произведения 237 мастеров из 29 стран: согласно установленным правилам, двери конкурса «равно открыты для всех наций». Правда, как пишет газета «Юманите», позволительно усомниться в том, что этот принцип неукоснительно соблюдается: «вызывает удивление, например, что в Фаэнце отсутствовала Германская Демократическая Республика, тогда как ФРГ была представлена 41 именем».

В числе премированных: работы Эдуарда Шапалла (Швейцария), Марио Терещи (Италия), Цолаброса (Греция), Элены Кольмейро (Испания), Пьетри Вейс и Пьера Кюло (Бельгия), а также изделия серийного производства с маркой фабрики «Томас» (ФРГ) и фабрики «Бинг и Грендаль» (Дания).

Судя по общему впечатлению, которое оставляет выставка, усилия мастеров керамики направлены ныне не столько на поиски необычных цветовых сочетаний, сколько на поиски новых, современных форм.

НИГЕР

АФРИКАНСКИЙ ВЕСТЕРН

Нигерский кинематографист Мустафа Алассан известен африканскому кинозрителю как автор короткометражного фильма «Кольцо короля Кода», основанного на народном предании. Он создал также несколько документальных фильмов.

Новый фильм Алассана «Возвращение авантюриста» — история молодого нигерца, который путешествовал по странам Западной Европы и США и усвоил там волчьи законы борьбы за существование. Он готов стрелять в каждого, кто ему не по нраву. Вернувшись на родину, авантюрист встречает своих дружков и вместе с ними начинает заниматься грабежами, убийствами, стрельбой в кабаках...

Мнения критиков по поводу фильма Алассана разделились. Так, нигерский журналист Башару в рецензии, опубликованной в еженедельнике «Нижер», пишет: «Нигерский вестерн! Что это может дать национальному самосознанию? Почти ничего. Между тем прокат этого фильма уже начинает приносить свои плоды, поскольку оказывает пагубное влияние на молодежь... «Возвращение авантюриста» развращает ее.

Если бы Мустафа Алассан остался верен африканской тематике, было бы трудно отыскать более талантливого кинематографиста. Африканского, конечно. Разве жизнь Самори или Беханзена не может послужить сюжетом для фильма?»

Однако в печати были высказаны и другие мнения. Так, Мустафа Диоп в ответе Башару пишет, что последний не отдает себе отчета в том, «насколько мы затоплены, отравлены этими американскими поделками, всеми этими скверными иностранными фильмами и вообще всеми дурными иностранными влияниями». Диоп считает, что «Возвращение авантюриста» разоблачает молодежь, стремящуюся всем своим обликом и поведением походить на героев западного кинематографа. «Мустафа Алассан предостерегает нас от некритического усвоения западной цивилизации. У нас есть своя культура, и мы не откажемся от нее в пользу иной»,— заключает Диоп.

НОРВЕГИЯ

ЭКРАНИЗИРУЕТСЯ «СУРОВАЯ ЗИМА»

Советские читатели познакомились недавно с романом норвежского писателя Сигбьёрна Хёльмебакка «Суровая зима», вышедшим в русском переводе. Критики считают, что по значительности темы и по художественному мастерству это одна из лучших книг норвежской литературы последних лет.

Герой романа Хейки, рискуя жизнью, зимой 1944 года спасает от гибели советского человека, попавшего в плен к фашистским захватчикам.

В настоящее время автор романа в творческом содружестве с кинорежиссером Кнутом Андерсеном работает над созданием одноименного фильма. Замысел фильма созрел у писателя давно, более того, первоначально «Суровая зима» возникла как киносценарий, который Хёльмебакк впоследствии переработал в роман. Нынешний сценарий фильма — новое произведе-

ние, написанное Хёльмебакком в соавторстве с кинорежиссером Андерсеном.

Создатели фильма ставят перед собой — в числе других — задачу показать норвежской молодежи, каким чудовищным злом для ее отечества было нашествие гитлеровских варваров. «Весьма печально, что молодые норвежцы так мало знают о трагедии, постигшей Север страны в годы войны»,— с горечью заявил Хёльмебакк корреспонденту газеты «Фрихетен».

Съемки фильма уже начались. Местные жители с энтузиазмом согласились участвовать во всех массовых сценах, которых в картине довольно много. Авторы фильма предполагают представить его на суд зрителей к осени 1968 года.

ПОЛЬША

ХУДОЖНИКИ ОБ ОКТЯБРЕ

Пятидесятилетию Великого Октября был посвящен организованный министерством культуры и искусства Польши, а также Главным правлением Союза польских художников конкурс на лучшее графическое произведение о славной годовщине. Конкурс приобрел широкий размах — жюри получило 899 работ со всех концов Польши.

Присуждены две главные премии: Стефану Гарватовскому (Варшава) за рисунок «Ленин и солдаты» (воспроизводится нами) и Роману Опалке (Варшава) за литографию, названную «Это есть наш последний и решительный бой».

Одновременно были подведены итоги общепольского конкурса на лучшую медаль, посвященную революционной тематике. Жюри конкурса отобрало из 117 проектов четыре лучших, которым присудило одинаковые вторые премии.

Лучшие графические работы и медали были выставлены в Варшаве в Доме художника.

Работа С. Гарватовского «Ленин и солдаты».

(Газета «Жице Варшавы»)

* * *

Варшавское отделение Союза польских художников и «Группа художников-реалистов» организовали выставку полотен, тематически связанных с 50-летием Великого Октября. На выставке представлены работы 39 художников различных поколений, в основном из Варшавы и Лодзи.

По сообщению корреспондента газеты «Трибуна люду», большая часть полотен посвящена В. И. Ленину. На полотне Ежи Кравчика Владимир Ильич изображен читающим письмо. Ришард Скупин и Здислав Календ-кевич выполнили портреты Ленина в плакатной манере.

Во многих работах Ленин изображен на фоне, символизирующем революционные события; таковы работы Бенона Либерского, Юлиуша Краевского, Мечислава Барылко. Корреспондент «Трибуны люду» выделяет также композицию молодого художника Януша Качмарского, в центре которой — бюст вождя революции, а также композицию-фантазию Марека Сапето «Алое пламя».

На выставке есть полотна, рассказывающие о революционной борьбе польского пролетариата, о второй мировой войне, а также о событиях наших дней. Так, Веслав Шамборский выставил работы «Космонавт Леонов» и «Восток-1».

РАССКАЗЫВАЮТ КИНОРЕЖИССЕРЫ

Корреспонденты еженедельника «Фильм» обрати-

лись к ведущим режиссерам польского кино с просьбой рассказать, что готовится в их «творческих лабораториях».

Председатель Союза польских кинематографистов Ежи Кавалерович работает над двумя сценариями, которые так или иначе связаны с актуальными современными проблемами. «Пока что мне не хотелось бы вдаваться в детали»,— сказал режиссер.

Автор комедийных лент Тадеуш Хмелевский готовит сценарий фильма с рабочим названием «Как я начал вторую мировую войну». Героем фильма будет польский солдат времен минувшей войны, одна из разновидностей бравого солдата Швейка.

Военной тематике будет посвящен новый фильм Ежи Пассендорфера «День очищения» по книге Ежи Пшездецкого «Рубеж». По словам режиссера, это будет одна из картин о судьбах поляков во второй мировой войне — из цикла «Покушение», «Возвращение» и «Цвета борьбы».

«Когда любовь была преступлением» — такое название будет носить новый фильм режиссера Яна Рыбковского, который вскоре выйдет на польские экраны. Фильм расскажет о преступлениях нацистов, совершенных в соответствии с их расовой теорией.

А Ежи Сколимовский, автор картин «Приметы», «Вальковер» и «Барьер», а также поставленного в Бельгии фильма «Старт», заканчивает работу над фильмом «Руки вверх!» (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 8, 1967).

США

«ПОЛВЕКА СОЦИАЛИЗМА»

«Полвека социализма: жизнь в Советском Союзе в шестидесятые годы» — так называется книга журналиста Уильяма Поумроя, который в течение полугода жил в Советском Союзе в 1966—1967 гг.

«Чувствуется, что книгу писал верный друг, задавшийся целью спокойно и убедительно защитить то, что пытались порочить и поносить,— пишет рецензент газеты «Уоркер».— Поумрой прекрасно справился с грандиозной задачей, которую он поставил себе в этой небольшой книжке,— показать Советский Союз как авангард человечества, оплот мира, свободы и равенства».

Поумрой пишет о размахе промышленного производства, о росте благосостояния и улучшении жилищных условий трудящихся, о советской демократии, о социалистическом соревновании, о миролюбивой внешней политике СССР.

«Поумрой помогает понять и оценить тот огромный вклад в жизнь человеческого общества, который был сделан Октябрьской революцией 1917 года и обусловленными ею грандиозными достижениями».

ВУДИ ГАТРИ — ТРУБАДУР СВОБОДЫ

Американская печать откликнулась большими статьями на смерть известного исполнителя народных песен и песен протеста, композитора, певца и публициста Вуди Гатри.

Джозеф Норт пишет в газете «Уоркер», что Вуди Гатри был первым, кто в тридцатые годы воспел простой народ. «Земля эта создана для тебя и для меня» — так начиналась знаменитая его песня о родной стране, хозяином которой, говорилось в ней, должен стать народ. В песнях Гатри времен второй мировой войны содержались страстные призывы не жалеть сил для разгрома гитлеризма.

Генри Уинстон в некрологе, озаглавленном «Великий певец трудового народа», написал: «Все мы оплакиваем великого певца американских трудящихся Вуди Гатри. Никто не забудет певца, сказавшего: «Я ненавижу песни, которые заставляют вас думать, что вы родились неудачниками... Я буду до конца бороться против таких песен».

Вуди Гатри был также блестящим журналистом и постоянно выступал на страницах прогрессивной печати. Он был участником второй мировой войны, и редакция газеты «Уоркер», пишет Джозеф Норт, всегда с нетерпением дожидалась его острых, захватывающих корреспонденций... «Он ушел от нас еще молодым,— продолжает Норт.— Как много мог бы он еще спеть песен, вроде тысячи созданных им, где говорится о тяжелой жизни американских трудящихся и воспевается лучшее будущее, о котором мечтают простые люди».

Даже печать, стоящая на службе монополий, отдала должное таланту и заслугам Гатри. «Легендарный менестрель»,— пишет о нем еженедельник «Ньюсуик». «Человек, сыгравший огромную роль и оказавший грандиозное влияние на развитие американского фольклора»,— так характеризует его газета «Нью-Йорк таймс».

«МИР ДИСНЕЯ»

Студия мультипликационных фильмов Уолта Диснея, по сообщениям печати, продолжает работать, как и при жизни ее создателя. Съемки многих фильмов, прерванные из-за смерти Диснея, возобновлены и завершаются его сотрудниками. На студии закончены съемки

Кадр из последнего мультипликационного фильма Уолта Диснея — «Книга джунглей».

(Газета «Франкфуртер рундшау»)

«Книги джунглей» по Киплингу, последнего фильма Диснея, начатого им три года назад. По мнению художников студии, это один из лучших диснеевских фильмов.

Старший брат Уолта — Рой Дисней, ведающий административно -хозяйственными делами студии, руководит строительством сказочного «Мира Диснея», который будет открыт для публики в 1971 году и по замыслу покойного превзойдет по размерам и сказочному оформлению широко известную «Страну Диснея». Расходы на строительство «Мира Диснея» достигли уже почти миллиарда долларов.

ФРАНЦИЯ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ 1967 ГОДА

Конец ноября—начало декабря — счастливая пора раздачи «рождественских подарков», как привычно посмеиваются французские журналисты над несчетным количеством литературных премий, присуждаемых ежегодно. Система литературных премий, вокруг которых плетутся сложные издательские интриги, поскольку премированные романы обещают большой доход, давно уже порицается прогрессивной общественностью как признак «коммерциализации» литературы, как один из приемов торговой рекламы, зачастую выдвигающей на первый план книги, вовсе того не заслуживающие. Однако значение премий, в особенности наиболее популярных, нельзя недооценивать. Книги, удостоенные Гонкуровской премии, премии Теофраста Ренодо, Фемина или Медичи, выйдут большими тиражами, будут затем опубликованы в дешевой «карманной» библиотечке, им обеспечен самый широкий круг читателей.

Судя по откликам прессы, наиболее значительным из премированных романов 1967 года является «Элиза, или Настоящая жизнь» Клер Эчерли, увенчанный жюри Фемина (оно состоит из писательниц). В романе рассказывается о жизни рабочих, что для Франции достаточно необычно. Клер Эчерли 34 года. Она дочь докера из Бордо, в 1942 году расстрелянного немецкими оккупантами. «Элиза» — роман не автобиографический, но в основу его лег личный жизненный опыт Клер Эчерли, работавшей в годы алжирской войны браковщицей на автомобильном заводе «Ситроен». «Работая с алжирцами, сталкиваясь с ними повседневно, я смогла близко узнать их в те годы, когда немногим это было дано. Об этом опыте я и хотела рассказать»,— объяснила она в одном из интервью.

Героиня романа Элиза, работница, как и сама Эчерли, приезжает в Париж в поисках «настоящей жизни» и находит изнурительный труд на конвейере, предрассудки, несправедливость и прежде всего расизм, которым заражена известная часть рабочих. Любовь Элизы и Арезки, алжирца, активного члена Фронта национального освобождения, принимает драматический характер, потому что окружающие травят француженку, вступившую в связь с арабом. Обрывается их близость трагически: Арезки, арестованный во время облавы, исчезает, очевидно, гибнет.

Критика подчеркивает, что роман написан просто, строго, сдержанно. Главное его достоинство — предельная достоверность.

Гонкуровским лауреатом стал в 1967 году Андре Пейр де Мандиарг, удостоенный этой высокой премии за роман «На полях», повествующий о человеке, который три дня бродит по злачным местам Барселоны, не распечатывая письма, где, как он предчувствует, сообщается о самоубийстве его жены. Потом он раскрывает письмо и кончает с собой. Эти три дня, как бы уже вычеркнутые из жизни,— протекающие на ее «полях».— пронизаны эротикой и стремлением к смерти, воссозданы, по отзывам критики, со свойственной стилю Мандиарга барочной изысканностью.

Премия Медичи, по традиции, досталась одному из столпов «нового романа» — Клоду Симону за его роман «История». Отправной точкой этой книги была найденная автором переписка его родителей в пору, когда они еще были женихом и невестой. На этой реальной основе возник громоздкий роман в четыреста страниц, где идеи и образы сплетаются в ассоциативную сеть, вне хронологии или фабульной последовательности. Как и в других романах Симона, его поэтическая проза тяготеет к копированию памяти, прихотливо хранящей и воспроизводящей разом события, не находящиеся во временной связи.

Если Гонкуровская премия, которая, по замыслу основателей, должна поощрять молодые и оригинальные таланты, к вящему изумлению критиков и журналистов досталась Мандиаргу, чье шестидесятилетие уже не за горами и чья писательская репутация установилась много лет назад, если премия Медичи увенчала роман, нисколько не меняющий нашего представления об авторе «Ветра», «Дорог Фландрии» и «Дворца», то жюри Теофраста Ренодо выдвинуло на авансцену новое лицо — молодого писателя Сальвата Эчара, чей роман «Мир, как он есть» оригинален не только по форме, но и по содержанию.

Несколько лет назад Эчар отправился на о. Мартиника в качестве представителя французского радио. Вскоре, однако, он оставил этот официальный пост и стал вести трудную жизнь бедняка, наемного служащего на одной из плантаций. «Мир, как он есть», третий роман Сальвата Эчара, рассказывает о рабстве—о том, которое было триста лет назад уделом негра, предка жены героя, и о том, которое все еще не изжито сегодня. В романе несколько временных наслоений — повествование ведется от име-

ни Бертелеми Кебрена, белого, женатого на мартиниканке, чиновника в Фор-де-Франс, который мысленно переносится то в XVII век, то в тридцатые годы нашего века, когда по приказу одного из правителей острова был казнен доктор Ален Аликант за издание газеты «Голос трудящихся» и попытку создания коммунистической организации.

Премирование романов Сальвата Эчара и Клер Эчерли свидетельствует, по мнению французской критики, о росте интереса к социально насыщенной, реалистической прозе.

«ПОЭМА О РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

На экранах Парижа идет фильм «Октябрьская революция» кинорежиссера Фредерика Россифа. Это произведение об Октябре, составленное из документальных кадров, а также фрагментов, снятых самим Россифом в Советском Союзе.

«Я стремился показать новейшую историю русского народа...— рассказал Россиф представителям печати. — В фильме нашли отражение наиболее значительные события до- и послереволюционных лет. В Советском Союзе меня и моих помощников превосходно принимали и очень нам помогали. В Кремле, впервые после съемок Эйзенштейном «Ивана Грозного», из-под стекла извлекли шапку Мономаха, чтобы мы могли ее снять. В монастырях и церквах я заснял церковные службы и песнопения. В Ленинграде по моей просьбе завели знаменитые часы Зимнего дворца, что происходит обычно раз в десять лет. Я сделал много натурных съемок. В колхозе близ Ярославля отыскали одну из последних «плакальщиц» России, и мы записали ее причитания. Молебны и плачи вошли в эпизод, рассказывающий о голоде на Волге. Я нашел много неиспользованных документальных лент, в частности съемки сражений с участием Чапаева. Текст в фильме сведен к минимуму, музыка же играет очень большую роль, так как я стремился создать не документальное, а музыкальное произведение, ритмом передать пульс Октябрьской революции. Музыка записывалась на пленку в Москве».

Французская пресса высоко оценивает фильм.

В «Юманите» фильм назван «событием в кино. Россиф сумел как бы изнутри осветить отрезок истории, который изменил облик всего земного шара». Самюэль Лашиз в своей рецензии пишет: «Это дань уважения русскому народу... Главное не в недостатках и ошибках фильма, которые, конечно, есть, а в показе того, что революция не была стихийной, что она была подготовлена и победила благодаря большевикам и Ленину».

Альбер Сервони в еженедельнике «Франс нувель» признает фильм крупным кинематографическим достижением: «Свой фильм Россиф строит главным образом на документах, обнаруженных им в советских и иностранных фильмотеках. Многие из этих документальных лент до сих пор не были известны. Так, из западногерманских фильмотек он извлек кинокадры, запечатлевшие расстрелы красноармейцев. Казни эти засняты по приказу Колчака, который таким образом «отчитывался» перед «союзниками», снабжавшими белую армию всем необходимым... Значение фильма — в богатстве информации о социальном устройстве дореволюционной России, в безоговорочном разоблачении иностранных интервенций, в показе роли большевиков, их преданности делу революции и служения народу, в объективном изображении враждебной роли кулаков, прятавших хлеб во время голода. Фильм не претендует на всеобъемлющий охват событий, связанных с победой первой социалистической революции. Это произведение информационное, интерес и полезность которого неоспоримы».

Рецензент «Комба» пишет: «Нужно иметь большой кинематографический талант и щедрое сердце, чтобы создать подобную музыкальную поэму о русской революции. Это значительно больше, чем исторический фильм».

ЯПОНИЯ

ПРЕМИЯ АКУТАГАВА

Около 700 книг и более 2000 рассказов, напечатанных в периодических изданиях, рассмотрело жюри конкурса на премию Акутагава и приняло решение присудить ее писателю с Окинавы Тацухиро Осиро за рассказ «Коктейль-парти».

Местный интеллигент, находящийся в прекрасных отношениях с американской администрацией, приглашен на коктейль. Вечер проходит весело, непринужденно. Американцы наперебой демонстрируют теплые чувства к японцам. Но когда этот интеллигент возвращается домой, то узнает, что его дочь-школьница изнасилована американским солдатом. Родители подают в суд, хотя прекрасно понимают, что он послушен американским оккупационным властям и оправдает солдата. Таково содержание рассказа.

Возвращение Окинавы, которую американцы сделали своей военной базой, для японцев поистине больной вопрос. Этим и объясняется заявление члена жюри, одного из старейших японских писателей Ясунари Кавабата: «Жюри уже приняло решение, и теперь можно признаться, что большое влияние на него оказало и то, что рассказ посвящен Окинаве. Я рад, что автор у себя на родине, в Японии, получил одну из высших литературных премий».

Журнал «Бунгэй сюндзю», опубликовавший рассказ, отмечает его как значительное достижение не только литературы Окинавы, но и всей японской литературы.

Авторы этого номера

АЛЬФРЕДО ВАРЕЛА — ALFREDO VARELA (род. в 1914 г.).

Известный аргентинский писатель. Его творчество представлено в этом номере отрывком из поэмы «El abono inagotable», полученной от автора в рукописи.

Советским читателям А. Варела знаком по переведенным на русский язык роману «Темная река» и книге «Куба революционная», главы из последней книги печатались в нашем журнале под заголовком «Куба — да!» (№ 12, 1960).

■

УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР — WILLIAM FAULKNER (1897—1962).

Выдающийся американский писатель, лауреат Нобелевской премии, автор многих романов и рассказов об американском Юге. В нашей стране издана его трилогия — «Деревня», «Город», «Особняк» (последний роман был напечатан «Иностранной литературой» в 1961 году, №№ 9—11) и роман «Солдатская награда». В советских журналах публиковались его новеллы; рассказы «Дым», «Победа», «Поджигатель» напечатаны в нашем журнале.

В этом номере мы знакомим читателей с романом У. Фолкнера «Осквернитель праха» («Intruder in the Dust», 1948).

■

ТО ХЫУ (род. в 1920 г.).

Один из самых популярных поэтов Вьетнама (ДРВ). Стихи То Хыу знакомы советским читателям — они неоднократно печатались в нашей периодике, в том числе и в «Иностранной литературе» (см № 8, 1965), вышли отдельной книгой «Стихи».

Известны сборники его стихов: «Вьетбак» (1954) — включает 24 произведения разных лет, среди которых поэмы, стихи, переводы,— «С тех пор» (1959), «Порыв ветра» (1962).

ХЮИ КАН (род. в 1919 г.).

Вьетнамский поэт (ДРВ). Его первые сборники стихов «Священный огонь» (1940), «Песни вселенной» (1942). Задолго до Августовской революции 1945 года включился в общую борьбу за национальное освобождение. В последние годы вышли его книги стихов: «Небо с каждым днем светлее» (1958), «Земля распускает цветы» (1960), «Стихи жизни» (1963) и др.

ТХУ БОН — южновьетнамский поэт. Его поэма «Сказание о птице Те-рао» в 1966 году удостоена премии имени великого национального поэта Нгуена Динь Тиеу, учрежденной Национальным фронтом освобождения Южного Вьетнама.

ХОАНГ ЧУНГ ТХОНГ (род. в 1925 г.). Вьетнамский поэт (ДРВ). В литературу пришел после Августовской революции, во время войны Сопротивления (1946—1954). Автор сборников стихов: «Родная земля сражается» (1955) и «Наш путь» (1960).

Хоанг Чунг Тхонг известен также как переводчик стихов Пушкина и Маяковского и как литературный критик.

ТИМ ЧАНГ — южновьетнамский поэт и прозаик. Его произведения неоднократно публиковались во вьетнамской периодической печати.

СУАН ХОАНГ — южновьетнамский поэт. В последние годы в ДРВ была издана его эпическая поэма «Партизаны на реке Лоан» (1963) и книга стихов «Центральный район» (1965).

НГУЕН ДИНЬ ТХИ (род. в 1924 г.).

Вьетнамский прозаик, поэт и литературный критик (ДРВ). Советские читатели знают Нгуена Динь Тхи по переведенным на русский язык роману «Вперед, в атаку!» и повести «В огне», напечатанной в нашем журнале (№ 6, 1966).

Среди его наиболее популярных произведений — книга рассказов «На берегу реки Ло», поэма «Песня о Черном море», пьеса «Черный олень», роман «Прорванные берега».

НГУЕН СУАН ШАНЬ (род. в 1920 г.). Вьетнамский поэт (ДРВ). Автор сборников стихов «Песни моей родины» (1955), «Шаги весны» (1961) и др. Его перу принадлежит также несколько эссе и литературно-критических статей.

АНЬ ТХО (род. в 1921 г.).

Вьетнамская поэтесса (ДРВ). Стала печататься задолго до Августовской революции 1945 года. Автор сборников стихов «Родные картинки» (1940), «Прежде» (1942), «История Ву Ланга» (1956), «На крыльях голубя» (1960) и др. В последнее время на страницах периодической печати появилось много ее новых произведений, посвященных героической борьбе народа против американских агрессоров.

ТИНЬ ХЫУ.

Вьетнамский поэт (ДРВ). В последние годы вышел его сборник стихов «Луна на дулах ружей» (1965).

ТХАНЬ ХАЙ (род. в 1937 г.).

Южновьетнамский поэт, пришедший в литературу после Августовской революции 1945 года. Его сборник стихов «Верные товарищи» в 1966 году был отмечен премией имени Нгуена Динь Тиеу.

ГЕРМАН КАНТ — HERMAN KANT (род. в 1926 г.).

Роман «Актовый зал» («Die Aula», 1965), первоначально появившийся в немецком журнале «Форум», стал заметным событием литературной жизни ГДР. Он вызвал живой интерес читателей, письма которых печатались на страницах газет и журналов, дискуссию в печати. Роман был отмечен как одно из наиболее примечательных произведений последних лет в литературе Германской Демократической Республики.

Автор романа, как и его герой, в прошлом — электромонтер, солдат, в период с 1945 по 1949 год находился в лагере для военнопленных в Польше, где был одним из основателей антифашистского комитета. Возвратившись на родину, учился на рабоче-крестьянском факультете, после чего работал преподавателем, редактором, выступал в печати со статьями и новеллами. В 1962 году вышел сборник его рассказов «Немножко южного моря» («Ein bißchen Südsee»). Удостоен литературных премий им. Г. Гейне и Свободных немецких профсоюзов. Роман «Актовый зал» напечатан в журнальном, сокращенном варианте.

■

КРИШАН ЧАНДАР (род. в 1912 г.).

Выдающийся индийский писатель — романист, драматург, публицист, пишет на языке урду. Мировую известность приобрел как мастер короткого рассказа.

Кришан Чандар — автор более тридцати книг, из которых многие изданы в нашей стране. В разные годы в русском переводе вышли роман «Поражение», повесть «Когда пробудились поля», сборники рассказов «Пламя и цветок», «Мать ветров», «Избранное» и др. Неоднократно его новеллы и статьи печатались в «Иностранной литературе» (см. № 9 1958, № 4, 1959, № 4, 1964).

В этом номере Кришан Чандар представлен рассказами, взятыми из разных сборников.

■

АМРИТА ПРИТАМ (род. в 1919 г.).

Индийская писательница, член Литературной академии Индии, пишет на пенджабском языке. Наиболее известные ее произведения: роман «Налетчики» (1950), сборник стихов «Золотистое» (1955), отмеченный Национальной премией, повесть «Скелет» (1962) и сборник рассказов «Аша» (1964).

Стихи, напечатанные в этом номере, взяты из книги «Черная роза».

■

МАРТТИ ЛАРНИ — MARTTI LARNI (род. в 1909 г.).

Финский писатель, творчество которого хорошо знакомо советским читателям. На русский язык переведены его роман «Четвертый позвонок» и опубликованный в нашем журнале роман-памфлет «Прекрасная свинарка» (см. №№ 8, 9 за 1960 г.).

Остроумные рассказы, памфлеты и юморески Мартти Ларни часто публикуются в советских журналах и газетах (см. в «Иностранной литературе» № 12 за 1967 г. рассказ «Сократ в Хельсинки»).

Статья «Раздумья о реализме» получена от автора в рукописи.

■

ИРЕНА ДУБСКАЯ — IRENA DUBSKA (род. в 1924 г.).

Чешский философ, социолог, публицист. Статьи И. Дубской часто печатаются на страницах чехословацкой периодической печати. Она — автор книги «Открытие Америки» («Objevování Ameriky», 1964) и нескольких работ в сборнике «Семь раз о смысле философии» («Sedmkrat o smyslu filosofie», 1964).

В 1963 г. Ирена Дубская была приглашена Массачусетсским технологическим институтом и Гарвардским университетом в Кембридже на двухсеместровое чтение лекций, а летом 1964 года она предприняла трехмесячную поездку по Соединенным Штатам Америки. Ее наблюдения и впечатления послужили основой книги «Американский год» («Americký rok», 1966), главы из которой мы публикуем в этом номере.

■

ЭЛЬВИО РОМЕРО — ELVIO ROMERO (род. в 1926 г.).

Парагвайский поэт, автор нескольких книг стихов.

Статья «Так поет Пабло Неруда» получена от автора в рукописи.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **Б. С. РЮРИКОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: **С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, С. А. ДАНГУЛОВ** (первый зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**

Адрес редакции: Пятницкая, 41. Телефон В 3-51-47.

А 00666. Сдано в производство 10/XI-67 г. Подписано к печати 30/I-68 г.
Бумага 70×108 1/16 = 9 бум. л. = 18 п. л. (25,2) + 2 вкл. Уч.-изд. л. 28,7. Зак. 3822.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394